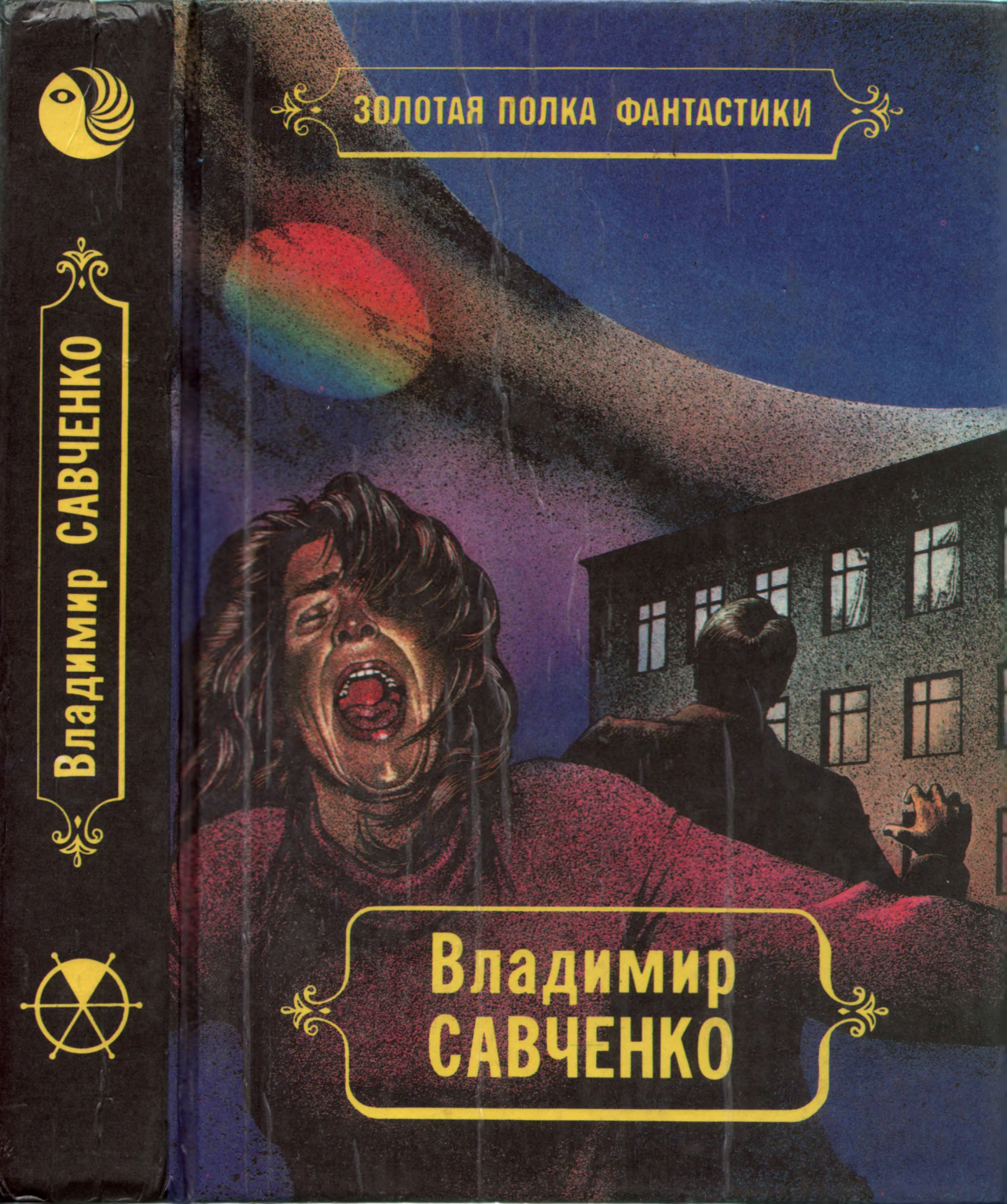
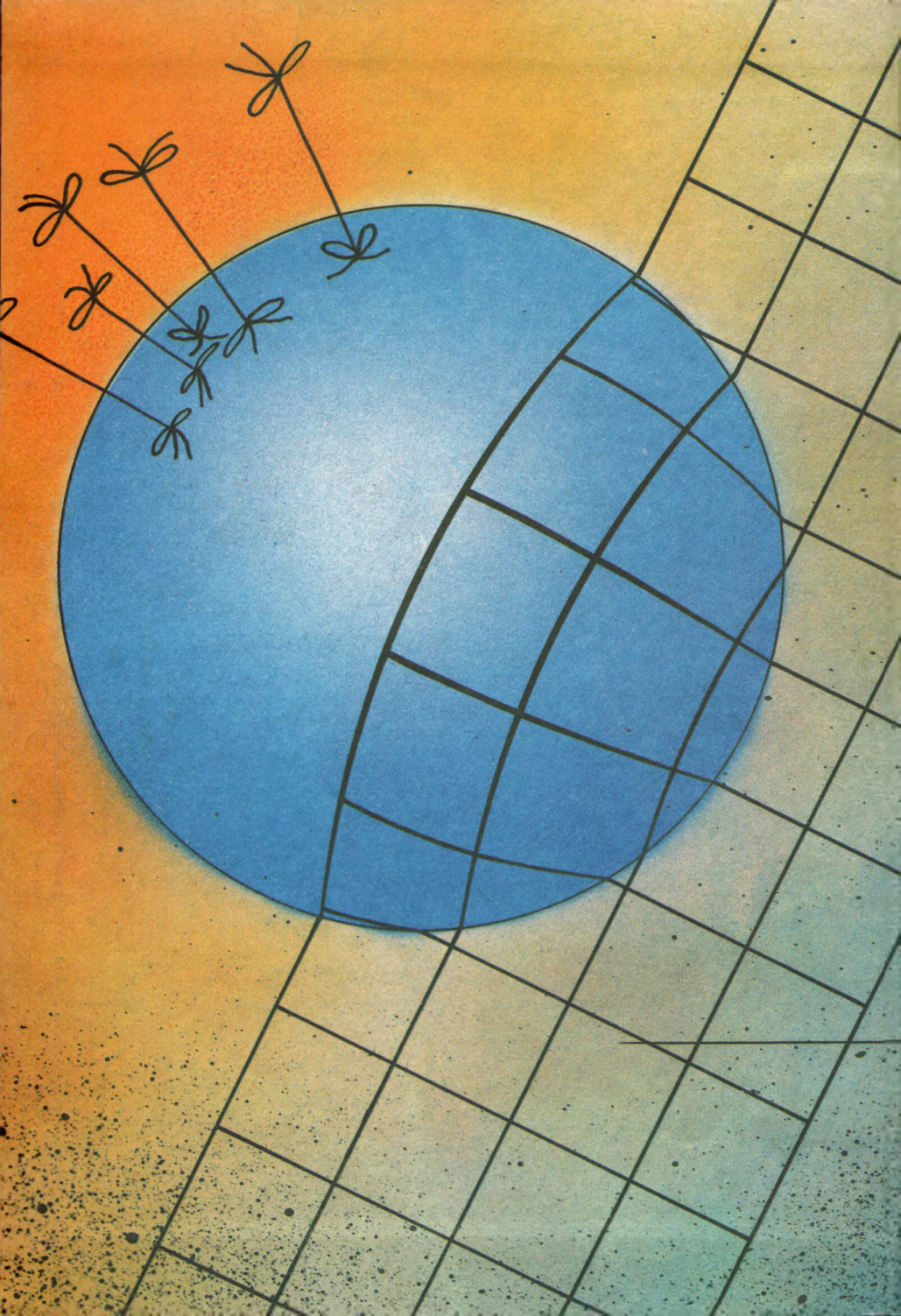
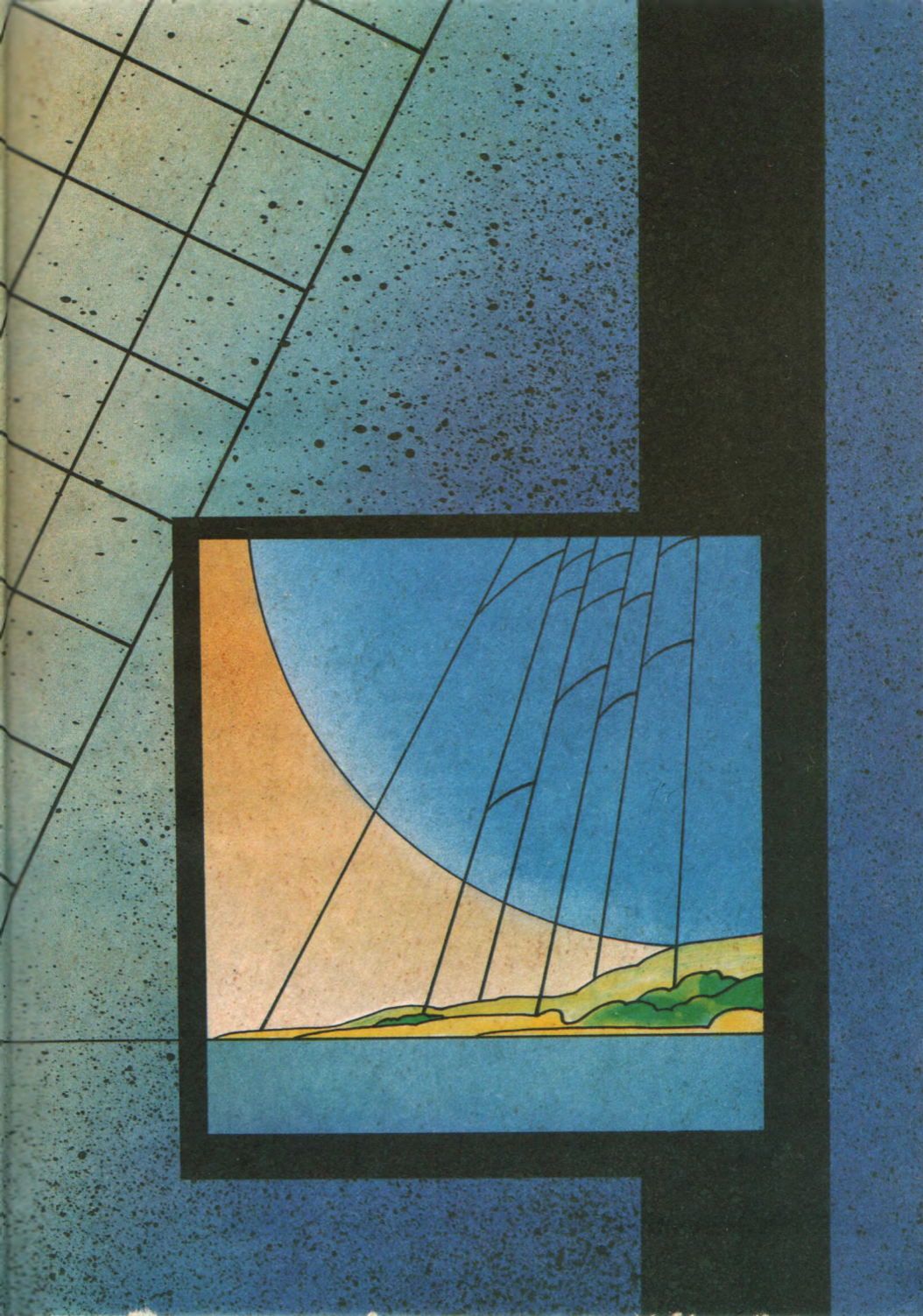

ЗОЛОТАЯ ПОЛКА ФАНТАСТИКИ
Владимир САВЧЕНКО
Владимир САВЧЕНКО





ЗОЛОТАЯ ПОЛКА ФАНТАСТИКИ

Владимир
САВЧЕНКО

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Владимир САВЧЕНКО

Том 1

ДОЛЖНОСТЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ

роман

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

повесть

ЧАС ТАЛАНТА

повесть

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФЛОКС»
1993

ББК 84.Р7
С13

Обложка и форзац А. ТАРАСОВА

Иллюстрации В. ВАСИЛЬЕВОЙ

Савченко В.

С13 Избранные произведения. Т. 1. Должность во Вселенной. Фантастический роман. Пятое измерение. Час таланта. Фантастические повести.— Нижний Новгород: Флокс, 1993.— 576 с.: ил.

ISBN 5-87198-038-4

Произведения Владимира Савченко известны не только нашему читателю, но и за рубежом.

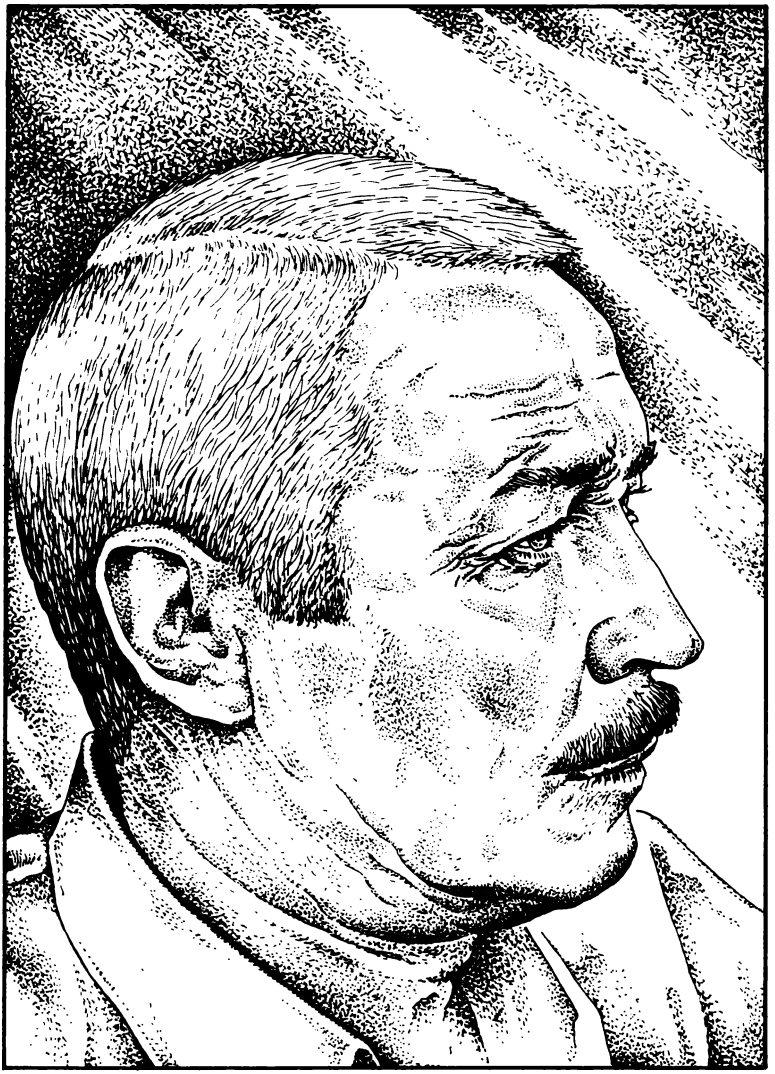
Они переведены на английский, немецкий, французский, японский, польский, венгерский, болгарский языки. Писателя любит читатель Португалии, Бразилии, Канады, США.

В произведениях В. Савченко вы встретите множество фантастических ситуаций, будящих мысль, заставляющих задуматься над развитием цивилизации.

С $\frac{4702010201—019}{Д40(03)—93}$ без объявл. ББК 84.Р7

ISBN 5-87198-038-4

© Составление, оформление. Издательство «Флокс», 1993



ОТ АВТОРА

В романе развиваются идеи, к которым строгая наука еще не пришла. Автор решил не ждать, пока она к ним придет.

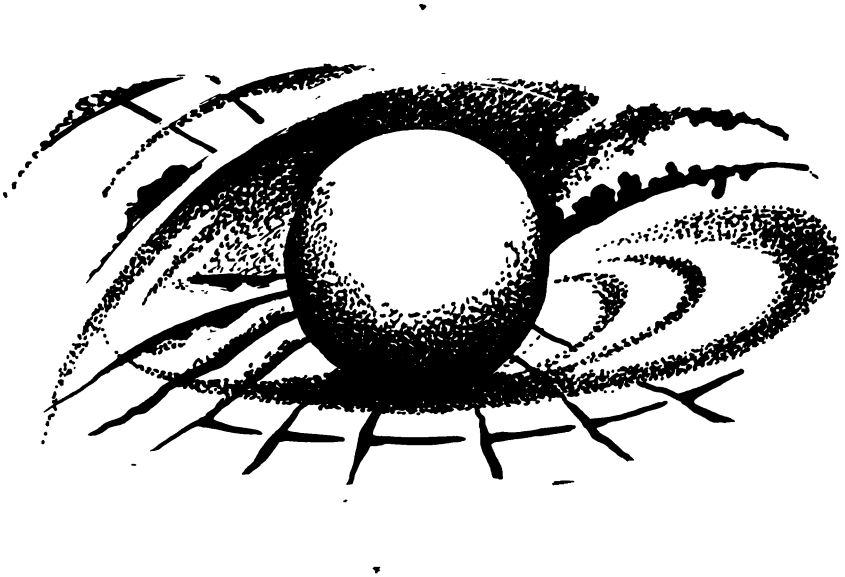
Но, несмотря на это и на обилие ситуаций и картин фантастического плана, перед вами реалистический роман. Особенность лишь в том, что его глобальный и Вселенский реализм, реализм сути, соотносится с обычным литературным реализмом, как правда с правдоподобием.

Целью данного произведения является: изменить нынешний ход человеческой цивилизации. Да, так, ни больше ни меньше. Смехотворность претензии очевидна: писк комара против грохота бури. Но в последней части читатель сам сможет измерить глубину пропасти, куда нас увлекает этот КОСМИЧЕСКИЙ процесс, и согласится, что иную задачу здесь ставить и нельзя. Если разум людей не самообман, а действительно вселенская реальность, то еще не поздно овладеть ситуацией.

Роман писался долго, поэтому читатель найдет в нем немало примет т. н. «застойного времени». Собственно, по литературным кондициям он был готов для печати еще в 1975—1976 годах, но, вникнув в текст, читатель поймет, почему издание оттянулось до 90-х. Однако и тема его, и проблемы не только не устарели, но стали куда более злыми.

Да, пожалуй, было бы неуважением к избранной теме — работать над ней менее двадцати лет.

ДОЛЖНОСТЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ



КНИГА ПЕРВАЯ

Покорение

Действие не может устранить заблуждение, ибо оно не противоречит ему. Лишь знание устраняет незнание, как свет разгоняет мрак.
Шанкара «Атмабодха», VIII век

Существует ли предначертание судьбы? Свободны ли мы? Как неприятно не знать этого. Как было бы неприятно знать!
Жюль Ренар «Дневник», XIX век

ЧАСТЬ I

ШАЙТАН-ШАР

ГЛАВА 1

ТАРАЩАНСКАЯ КАТАСТРОФА

Если бы фантасты тратили силы не на убеждение других в возможности проникать сквозь стены, летать без аппарата и обмениваться душами, а на сами эти дела,— как далеко продвинулось бы человечество!

К. Прутков-инженер, Мысль, № 121

Второго сентября, в воскресенье, на улицах Таращанска, районного центра в степной части Катаганского края, было много народа. День выдался солнечный, не по-осеннему теплый. Легкий ветерок шевелил листья кленов, ив и пирамидальных тополей. Население тяготело преимущественно к рынку, прилавки которого ломились от осеннего обилия фруктов и овощей, к недавно открытому универмагу — трехэтажному бетонно-стеклянному кубу с красочными витринами — и к Дому культуры, где шел новый фильм.

В половине одиннадцатого к городу со стороны далеких, едва видных на горизонте гор приблизилось, постепенно оседая с ясного неба, нечто, похожее на округлую тучку в серо-синими краями и темной сердцевиной. Впоследствии нашлись очевидцы, утверждавшие, что им показалось странным, что «тучка», во-первых, шла не по ветру и, во-вторых, будто не освещалась солнцем: у облаков обращенный к солнцу край всегда светел,— а у нее такого не было. Действительно ли эти люди обратили внимание на такие странности или сообразили потом, под действием событий,— кто знает. Взгляды большинства жителей были прикованы к земным предметам, в небеса никто особенно не засматривался. Идет себе тучка — и пусть. Дождем вроде не грозит.

Через четверть часа эта «тучка», двигавшаяся неровно, произвольными скачками, оказалась примерно над центром Таращанска и стала спускаться, увеличиваясь в размерах неправдоподобно быстро. «Будто зонт раскрывался»,— скажет потом один очевидец. Напористо подул ветер. Он крепчал и (это заметили многие) гнал

пыль, мусор, склонял верхушки деревьев на всех улицах в сторону «тучи». А вблизи рыночной площади, где она нависла густой тьмой, ветер превращался в вихревой восходящий поток небывалой силы: он не только закрутил в смерч пыль и бумажки, но срывал у людей кепки, шляпы, заворачивал полы плащей и пиджаков.

Странности этим не ограничились. Солнце, которому предстояло еще подниматься в небе, начало круто снижаться к горизонту, сплющилось, изменилось в цвете: верхний край его сделался бело-голубым, нижний желто-оранжевым — желтизна будто стекала по солнечному диску. «Тучка», осев, превратилась во внушительное сгущение темноты; оно распространялось — и будто выдавливало в стороны синее небо со сплюснутым, странно близким к земле солнцем. Лица людей — теперь все смотрели вверх — были зловеще освещены алым с желтым, как на пожаре.

Ветер около «тучи» усилился до воющего урагана. Он, будто спички, ломал пирамидальные тополя, выворачивал с корнями яблони в садах, ивы, акации, клены, валил дощатые заборы, киоски, срывал с крыш гремящие листы железа, мгновенно разметал товар на прилавках и раскладках рынка. Все это вместе с мусором и пылью втягивал в черное ядро «тучи»: немыслимый смерч предметов и обломков.

Народ в страхе заметался.

Ураган длился считанные минуты, затем стих. Наступившая после его воя и грохота первых разрушений тишина казалась особенно глубокой. Оседала пыль. Ночь заполнила небо. И вдруг все, кто находился у центральной части города, почувствовали, что земля под их ногами кренится, будто выпирает горбом. Некоторые, выдержавшие удар урагана, тополя рухнули, вывернулись с корнями. На глазах у всех беззвучно разломилось от черепичной крыши до фундамента двухэтажное здание райисполкома (пустое, к счастью, в выходной день) на дальнем краю площади. Все со стенаниями кинулись кто куда — спасаться.

Самым ужасным было спокойное безмолвие происходящего. Неторопливо округлой волной выпирала твердь под ногами, опрокидывая сначала сараи, киоски, автомобили — что полегче; потом валились деревья; разрывались, начиная сверху, от крыш, здания; улицы и дворы разверзались щелями и оврагами — местами до десятка метров глубиной... И все это не сопровождали ни сотрясения почвы, ни вспышки молний с ударами грома. Только слабый шум осыпающейся штукатурки и комьев земли, стук падающих кирпичей. Поднималась и оседала пыль. Впечатление было такое, будто кто-то незримый и сильный рвал на куски объемные декорации, изображающие город.

Свидетельства очевидцев, достаточно согласованные до момента опускания «тучи» на город, далее содержали разительные противо-

речия, зависящие от того, где данный очевидец находился: в центре или ближе к окраинам и даже в какой именно стороне. Отчасти это можно понять: людям было не до беспристрастных наблюдений, надо было спасаться, спасать близких, а по возможности и имущество, домашнюю живность. Но некоторые несоответствия оправдать только этим было невозможно.

Начать с того, что, по уверениям тех, кто находился в разрушенном центре города долго (некоторые оказались завалены в комнатах нижних этажей разрушившихся зданий, были и такие, чьи дома отделили со всех сторон глубокие расселины — не выйдешь), время происшествия — и их невольного заточения — составило от 18 часов до двух суток; у всех по-разному. На самом деле все окончилось в тот же день, 2 октября: «туча», «чернота», «это самое», «эта зараза» — по-всякому именовали свалившуюся с неба напасть, некоторые очень даже крепко,— ушла ввысь и удалилась от города перед заходом солнца, то есть никак не позже, чем через восемь часов.

Внутренние очевидцы соглашались, что да, до захода, многие из них видели это солнце — хоть и где-то внизу; но по их часам и по иным признакам: по нарастанию и утолению голода, по естественным отправлениям и надобностям, по усталости — выходило куда больше восьми часов.

Не совпадало и другое. Например, по впечатлениям находившихся в «эпицентре» (термин, утвердившийся позднее: так стали называть место касания Шара с планетой), земля именно здесь выперла бугром, а остальная окрестность оказалась внизу. Надо заметить, что Таращанск — город без холмов и впадин, выстроен на ровной площадке. Жители же, оказавшиеся на периферии зоны разрушений, утверждали, что нет, это у них земля выпятилась горбом, а все остальное ушло вниз; при этом каждый отстаивал свое место... А по уверениям тех, кто оказался совсем в сторонке, на расстоянии более километра от эпицентра, все под «тучей» как было, так и осталось ровно, плоско, нигде земля не выпячивалась. Только очертания зданий и деревьев, говорили они, изменились как-то... ну, будто их приплюснуло или они оказались за уменьшительным стеклом,— и колыхались, кривлялись, «вроде как в мультфильме».

Всякие бывали моменты...

Когда в Доме культуры среди сеанса — как водится, на самом интересном месте — разверзлись крыша и потолок над переполненным кинозалом, то понеслись вопли в адрес киномеханика: «Сапожник!», «Выключи свет!», «На мыло!» — и свист. А через секунды все давились возле искореженных дверей, высаживали рамы из окон, чтобы скорее покинуть зал; многие выбрались через широкие трещины в стенах.

Помимо Дома культуры, райисполкома и универмага (он срезался по диагонали от третьего этажа к первому, верхняя часть сместилась на несколько метров) сильно пострадали две стандартные жилые пятиэтажки на Гоголевской и пятиглавая церковь Сретенья, памятник старины: каждая позолоченная луковка, кроме центральной, откололась и упала. Несколько одноэтажных домов под железными крышами (деталь, которой придали значение потом) полностью уцелели в том месте, где «туча» рвала и крушила все; они только оказались окруженными глубокими, подходившими под фундамент трещинами. Два таких дома при последующих «ёрзаньях» (тоже новый термин) Шара съехали в эти овражные трещины, оказались там завалены.

Вне города — в краевом центре, в соседних станицах и селах — о случившемся узнали с опозданием.

Телефонная связь с Таращанском прекратилась сразу: телеграфные столбы в зоне эпицентра все стали врастопырку, провода между ними натянулись и лопнули с печальным звоном. Сведения можно было передать только по райкомовской рации, оказавшейся в разрушенном здании; другие радиопередатчики были и вовсе за городом — один на аэродроме полевой авиации, батарейная радиостанция «Урожай» в правлении пригородного колхоза. И до того, и до другого места километры — пока примчались первые очевидцы, пока растолковали, что к чему... понять их было непросто. С аэродрома передали о землетрясении, из правления — об обрушившемся на Таращанск мощном тайфуне.

В Катагани справились у метеорологов насчет землетрясений и бурь, подтверждения не получили. В Таращанске тем временем нарушилась линия электропередачи, аэродромная рация замолкла. Пока по маломощному «Урожаю» выяснили картину бедствия — прошли часы.

Потом поднимали тревогу, загружали вертолеты и вездеходы необходимым...

Трудность была и в том, что никто не мог внятно сказать, от каких бед надо выручать людей.

К трем часам пополудни примчались на машинах и верхом добровольцы из соседних селений. Примчались — и остановились в смущении перед расселинами, отделившими центр города от окраин. За ними была бурая тьма, облака пыли над развалинами, среди которых метались обезумевшие фигурки людей.

Часом позже прибыли два тяжелых вертолета со спасательным снаряжением, медикаментами, врачами. Военлеты, люди нетрусливого десятка, повели машины в «тучу», чтобы приземлиться в районе бедствия. И... влетев в нее на высоте примерно двести метров, они неожиданно для себя оказались далеко и от центра города, и вообще от города, утратили ориентировку, стали блуждать: кончи-

ли тем, что приземлились с пустыми баками на другой окраине Таращанска.

Еще хуже получилось с летчиком Михеевым, который на свой страх и риск решил пролететь над Таращанском на единственном Ан-2, не занятом в этот день полевыми работами,— поглядеть, что делается.

Как только он вошел в Шар, оборвалась его связь с аэродромом (кстати, так было и с вертолетами), самолет, по свидетельствам очевидцев, набрал невозможную для тихоходной двукрылки «реактивную» скорость, уменьшился, удаляясь неизвестно куда, исчез из виду... но вскоре показался на другом краю «тучи», круто снижаясь. Самолет не смог выйти из пике, врезался в травяное поле стадиона, разбился и сгорел. Легчик погиб.

В половине седьмого вечера, преодолев двухсоткилометровое расстояние от Катагани, прибыла на вездеходах саперная рота. Солдаты принялись наводить мостки через овражные трещины, выводить людей, откапывать заваленные входы зданий.

А еще час спустя поднялся ветер, который теперь дул во все стороны от «тучи». Сгусток тьмы, нависший над Таращанском, сдвинулся чуть к югу, разрушив несколько домов в той стороне и плотину между рыборазводными прудами. Затем эта пыльная тьма стала подниматься, одновременно смещаясь еще более к югу. Снова — только в обратном направлении — ревел и бушевал ураган, пригибая к земле последние деревья в садах и на улицах, начисто обдирая с них листья, раздувая прочь весь ранее засосанный в Шар мусор.

Через несколько минут он стих. Посветлело. Беззвучно захоронив все, что туда попало, «туча» ушла в вышину — только прокотало в ней что-то.

Земля выровнялась, небо очистилось. Багряное закатное солнце висело над горизонтом в оседающей пыли, освещало развалины, разметанные заборы и прилавки, вывернутые с корнями или сломанные деревья, здания с растрескавшимися стенами и сорванными крышами, грязные, осунувшиеся лица людей. По изуродованным улицам журчали ручьи прорвавшей из прудов воды. Где-то в вышине плыло в южную сторону округлое сизое пятнышко. Тучка. Шарик.

В последующие дни хватило работы и жителям, и саперам, и доброхотам из соседних станиц: разбирать развалины, откапывать пострадавших, осушать подвалы и нижние этажи залитых зданий, восстанавливать линии электропередачи и связи, водопровод, канализацию, плотину... Город недосчитался 16 жителей. Одиннадцать трупов нашли, об остальных пяти было сообщено, что они «пропали без вести» — и лучше было не задумываться над тем, как они пропали.

ГЛАВА 2

РАССЛЕДОВАНИЕ

(подвиг Васюка-Басистова)

Не спеши объяснять другим то, что сам только лишь понял: ты понял далеко не все.

К. Прутков-инженер.
«Советы начинающему гению».

Для выяснения причин катастрофы хорошо было бы на время исследования сохранить все как есть. Об этом, понятно, речи быть не могло: город должен жить. Поэтому работа прибывшей в Таращанск комиссии,— сначала из местных ученых, затем присоединились столичные,— протекала среди восстановительной суеты.

К упомянутым выше разногласиям относительно течения времени сразу прибавились и разногласия о размерах Шара (так стали называть феномен) и его частей. Все очевидцы сходились на том, что издали э т о выглядело невинно: сгусток небесной синевы с фиолетовым пятном внутри. Внешние наблюдатели оценивали размеры сгустка сотнями метров; так, в частности, выходило по сопоставлению с объектами в городе, между которыми он находился. Зона самых сильных разрушений и растрескиваний грунта имела форму овала размером около 400 метров с запада на восток и 600 метров с севера на юг — в направлении, по которому Шар сместился к вечеру. Овал окружало километровой ширины кольцо из радиально поваленных деревьев и заборов, сорванных крыш: место, где поработали возникшие при опускании и подъеме феномена странные ураганы. Разнобой был в том, что поперечник наиболее темной области в Шаре внешние наблюдатели определяли кто в сто, кто, самое большее, в двести метров; находившиеся в эпицентре против этого единодушно возражали. Для них эта область имела размеры километров, даже многих километров; она закрыла небо и распространилась над городом во все стороны.

Заблудившиеся в Шаре вертолетчики держались еще более дикого взгляда: там с о т н и километров расстояний, если не тысячи. Ведь где-то же вылетали они весь запас горючего!

Показания, показания...

— Я сам видел, своими глазами: универмаг, наш Торговый центр — только отстроили... так когда эта чертовщина стала опускаться на площадь, то он с левого верхнего угла скривился, сплющился, сел, стены трещинами пошли, стекла посыпались. Новое здание, а! Этих строителей судить надо!.. Люди все вниз, кто и из окон прыгал. Просто безобразие!

— Я стояла третья с краю в том ряду, де фрукты. Привезли от совхоза виноград и яблука. Я краз титочка торгувала, два кило за карбованець. Я зверху радио писню передавало, мущина спивав... та враз як заверещить! Тут все потемнило, магазин напротив заколыхався, земля иначе боком стала. Яблука мои покотылыся, деревья гнуться, ломаються, буря, люди бигуть, репутують, а хмара все нижче... Щоб йим усим пусто стало!

— Кому, бабушка?

— Та тим, хто отой атом выдумав.

— Ну, мы только, это, хотели подойти к тому дому, как вдруг — р-раз! — земля треснула. Такой сразу перед нами овраг, шириной с улицу... и глубокий! Туда все повалилось, покатилось: люди, бочки, киоск, скамейки какие-то, стулья. А те, кто остался на той стороне, оказались будто внизу. Бегают как-то криво, быстро, голоса у них писклявые... чистые Буратино! Ну, тем, кто провалился в щель, мы веревку кинули, повытаскивали.

...И так далее, и тому подобное. Люди говорили о пережитом. Большими стараниями из этого удавалось извлечь хоть что-то, проясняющее суть дела. Так установили, что в это время по первой программе радио, транслировавшейся в динамиках рынка, народный артист России Исаак Харавецкий (бас) исполнял украинскую застольную песню «Чтоб вы нам все так были здоровы!» и что трансляционный узел попал в зону поражения.

Более других помог комиссии преподаватель сельхозтехникума Анатолий Андреевич Васюк-Басистов, который предоставил в ее распоряжение двенадцать заснятых в этот день пленок, по 36 кадров в каждой. То, что Анатолий Андреевич оказался, по сути, единственным на весь славный город Таращанск человеком, не потерявшим в беде головы, было неожиданностью для его знакомых, близких, а возможно, и для него самого. Жил себе человек, преподавал основы механизации животноводства, невозмутимо выслушивал на зачетах невежественный лепет заочников, растил сынишку и дочь, был корректен с соседями и коллегами. А когда случилась напасть, он не выкидывал из окна квартиры (которая была в том пятиэтажном доме на Гоголевской, что разломился, будто придавленный коленом) телевизор, холодильник и иные предметы первой необходимости, не волок узлы и чемоданы, чтобы затем, когда от колыханий Шара снова вокруг лопались стены и валились деревья, в ужасе бросить все, а действовал по иному плану.

Эвакуировав жену и малышей за водокачку, которая находилась в четырех кварталах от зоны наибольших разрушений, Васюк-Басистов вернулся в эту зону, проник в разрушенный универмаг, а там в секцию культтоваров, выбрал портфель пообъемистей, положил в него фотоаппарат «Зоркий-7», стрелочный экспонометр

и изрядное количество заряженных пленкой кассет. Вернувшись к водонапорной башне, он велел жене увести детей за город и ждать, а сам, пренебрегая запретами и причитаниями супруги, полез наверх.

У Анатолия Андреевича не было внятного представления о характере происшедшего: то ли это явление природы, то ли неудачный эксперимент... А может, и нападение? Так ли, иначе, но снимки могли пригодиться.

На крыше водокачки он и провел этот день, фотографируя. Опасности он подвергался немалой: Шар не застыл неподвижно, а время от времени е р з а л, совершал неожиданные короткие перемещения, каждое из которых сопровождалось шквальными порывами воздуха и новыми разрушениями. Захвати он в таком ерзанье башню, она непременно рухнула бы.

Представленные им кадры как бы сводили вместе все то, что видели, но не умели описать другие: искривленную, будто косой уменьшительной линзой, перспективу центра города, сломанные деревья, столбы с оборванными повисшими проводами, раскорячившиеся во все стороны стены разломанных зданий и зияющие трещины подле них в глинистом грунте, клубы пыли, пронизанные косыми, неестественно изогнутыми лучами солнца, нависшую над всем этим тьму.

На одной пленке была запечатлена расселина в процессе ее возникновения и разрушающийся рядом дом; Анатолий Андреевич снимал так быстро, как только мог. По динамике картины стало ясно, что все шло сверху: сгущалась тьма, лопались по слабым местам скаты черепичной крыши, трескались стены, дом раскрывался, как бутон, возле него распахивалась, углублялась под фундамент трещина. Нет, это было не землетрясение!

Примечательны были и последние, предвечерние кадры (которые, кстати, трудно дались Васюку-Басистову: хоть он заблаговременно привязался ремнем к скобе на крыше башни, но поднявшийся радиальный ураган вполне мог сорвать и крышу): от снимка к снимку светлело небо над городом, искаженные контуры предметов выравнивались, возвращались к обычному виду, смыкались стены и овраги-трещины... И вот уже темное, с размытыми краями пятно видно целиком над вереницей тополей на окраине; оно уменьшается, становится точкой в небе.

Снимки были содержательные. (Интересно сложилась дальнейшая судьба их автора и владельца. В Таращанске Анатолию Андреевичу это фотографирование так и не простили. Добро бы так поступил чужак, заезжий репортер, а то — свой, знакомый половине города... И даже не из начальства, не из милиции, вместе пиво пили! И в то время, как все спасались, спасали близких и имущество, следовали своей натуре,— он, понимаете ли, ф о т о г р а ф и р о-

в а л. Запечатлял. «Вот из-за таких!..» — распаленно возглашали некоторые, кому очень уж хотелось найти виновного в своих несчастьях и потерях. Да еще и выпятился, снимки и пояснения Васюка оказались в центре внимания ученой комиссии, вошли в отчет, стали широко известны... Словом, не простили настолько, что — хотя в этот день погибло и было расхищено немало товаров, люди в стесненных обстоятельствах без церемоний брали из брошенных магазинов, что им было надобно, хотя, более того, Васюк-Басистов вернул фотоаппарат, экспонометр, портфель и кассеты, а стоимость пленки оплатил,— он был привлечен к суду по обвинению чуть ли не в мародерстве. И хотя, далее, суд его целиком оправдал, от преподавания в техникуме Анатолия Андреевича все-таки отстранили. На очереди было восстановление через новый суд: но в это время Васюк получил интересное предложение из Катагани, быстро перебрался туда на новую работу — и впоследствии даже душевно благодарил таращанских теснителей, что они помогли ему сдвинуться с места. Действительно, иные передряги по сути своей оказываются «переводом стрелок», посредством которого судьба направляет нас на новый — и нередко лучший — жизненный путь. Мы с Анатолием Андреевичем еще встретимся.)

Но вернемся к комиссии. Несмотря на снимки Васюка, на обильные свидетельства очевидцев, на собственные замеры и съемки, положение ее было затруднительным. Можно даже сказать — фальшивым: участники комиссии должны были объяснить другим то, чего сами решительно не понимали. Ну вот, взять хотя бы единодушные утверждения потерпевших, что времени в эпицентре протекло гораздо больше, чем вне его,— при этом каждый, главное, имел свою точку зрения: насколько именно больше!.. Единственный теоретически обоснованный случай различных течений времени — для систем, движущихся друг относительно друг друга с околосветовой скоростью,— здесь явно не проходил. А так получалось и по часам, по субъективным переживаниям жителей и, что особенно интересно, по наблюдаемому многими «квазидопплеровскому эффекту»: у попавших в зону темп речи и высота ее тона были для внешних очевидцев явно ускорены, смещены к высоким частотам; поэтому российский бас Изя Харавецкий и завизжал, будто Има Сумак. И в освещении наблюдались аналогичные спектральные сдвиги. И обмен веществ у плененных Шаром явно ускорился...

— Что есть время, как не течение жизни нашей?! — риторически вопросил председатель комиссии профессор Трещинноватов, когда обсуждали этот предмет.

Или взять свидетельства, что темная центральная часть Шара,

имея внешние размеры никак не более двухсот метров, для оказавшихся внутри распространилась на многие километры. Ведь она же часть, сам Шар имел поперечник метров четырехста. Часть — больше целого?!

И почему по показаниям одних земля под ними «выпирала горбом», а по показаниям других оставалась в этом месте ровной, только люди там кренились, а деревья валились?

И почему такие разрушения: сверху, с неба, но без бомб? Почему трескалась, а потом смыкалась твердь таращанская?

И почему опусканию Шара, затем удалению его ввысь сопутствовали краткие, но сильные ураганы?

И вообще: что за «Шар», «туча», «нечто»?..

Да и Шар ли? Некоторые участники комиссии считали недоказанной шаровую форму этого атмосферного образования.

«Почему атмосферного? — возражали им третьи.— Это тоже не доказано!»

Словом, если по-настоящему, то заключение комиссии должно было пестрить фразами, начинающимися со слов: «мы не знаем», «мы не понимаем». Но, простите, как же так: а кто знает-понимает? За что вам деньги платят? Страна должна быть так же уверена в мощи своей науки, как и в мощи армии. Поэтому в тексте упоминался и Эйнштейн, его релятивистские эффекты замедления времени (хотя наличествовало вроде бы ускорение), искривление пространства в больших масштабах Вселенной (хотя здесь-то масштабы были не очень), голографические эффекты объемности двухмерного изображения, биологические особенности организма в стрессовых условиях... Все, что удалось наскрести. Разумеется, с конкретными фактами Таращанской катастрофы члены комиссии увязать эти положения не могли да и не пытались. Оговаривалась возможность и иных интерпретаций парадоксов ускорения времени, пространственных несоответствий, обратимых разрушительных деформаций, «выпираний земли» — в частности, как кажущихся. Если такого более нигде не случится, то почему бы и нет!

Фактическая сторона происшедшего, впрочем, была изложена обстоятельно и добросовестно.

Два члена комиссии записали особые мнения. Одно они высказали вместе: «Полагаем, что причина наблюдавшихся наклонов, выпираний и колыханий земной поверхности, а также разрушения высоких зданий в том, что Шар создавал в эпицентре значительные и к тому же меняющиеся во времени искажения гравитационного поля Земли». Подписано: А. И. Корнев (Институт электростатики) и Б. Б. Мендельзон (Катаганский госуниверситет).

Второе особое мнение выразил только Б. Б. Мендельзон: «Полагаю, что такое искажение поля тяготения может быть вызвано имеющимся в Шаре массивным телом или системой тел».

ГЛАВА 3

ОХОТА ЗА ШАРОМ

Когда вспоминаешь детство, умиление вызывает даже широкий отцовский ремень.

К. Прутков-инженер.
Опыт биографической прозы.

Путанность выводов комиссии в сопоставлении с впечатляющей картиной катастрофы отрицательно повлияли на гласность этого события. «Нет,— устало жмуря набрякшие веки, молвил секретарь крайкома Виктор Пантелеймонович Страшнов, когда редактор «Катаганской правды» принес ему на утверждение материал о Таращанске.— Как-то это слишком все...— он поискал слово,— апокалиптично. Не следует будоражить население. Дадим пищу суеверным толкам».

Редактор настаивал, мотивируя, что толки и слухи все равно пойдут, замалчивание внесет в умы еще большее смятение. Страшнов покачал головой, предложил подождать, пока еще что-то выяснится о Шаре.

Редактор был прав. Вернувшиеся в свои институты участники комиссии рассказали все на семинарах и в частных беседах, тем вызвав у многих шок и недоверие действительности. Таращане тоже отнюдь не приняли обет молчания; все, что они писали и телефонировали родичам и знакомым, шло далее в многократных пересказах с искажениями и дополнениями. Поэтому наряду с достаточно верным изложением событий в плодившихся слухах фигурировала и дичь: «Таращанск провалился», «инопланетяне хотели сесть», «испытательная ракета не туда залетела», «под Таращанском заработал природный реактор» и т. п.

Шар между тем исчез из поля зрения, уплыл в атмосферу. Однако то, что значительная часть населения Катаганского края была настороже и чаще обычного с опаской посматривала в небо, помогло засечь его снова.

Обнаружили Шар на юго-западе края, в предгорье Тебердинского хребта. Почему он обосновался там, на выходе в степь Овечьего ущелья, где берет начало Коломак, бурный приток реки Катагани, вначале никто не понял. Знали лишь, что это место издавна является своего рода «кухней погоды» для края и прилегающих областей; отсюда на степные районы шли дожди, грозы, дули сильные ветры. Обнаружили там феномен не ученые, не метеорологи, даже не летчики — пастухи овцеводческого совхоза имени Курта Зандерлинга. Правда, это были и не отрешенные библейские пастыри с бородами и посохами, а вполне современные парни-ингуши с мотоциклами, нейлоновыми юртами и транзисторными приемни-

ками; они, безусловно, были в курсе таращанских событий и того, что было до них, а возможно, и того, что будет после.

...Роман наш, как, вероятно, заметил читатель, насыщен фактическим материалом. Настолько, что это ограничивает возможности автора выписывать все с художественными подробностями. А так бы хотелось живописать в духе соцреализма:

как ясным утром пастухи освежевывают некондиционного барашка для плова на завтрак;

и как старший и славнейший среди них Мамед Керим Кербабаев, орденоносец и многоженец, смотрит, отирая нож от нежной молодой крови, на восток, а затем, встревожась, указывает другим;

как чистый диск восходящего солнца странно искажается слева;

как в него вминается пятно с непрозрачным ядром; оно растет, одевается кольцевой радугой,— и все вокруг: сизый от росы луг, стадо серых и черных овец, юрты, сами пастухи — окрашивается радужными тонами;

как пятно вырастает в размерах, заслоняя солнце, а оно сначала обволакивает темную сердцевину Шара слепящим кругом, затем будто отпрыгивает в сторону;

как Шар снижается и заполняет глубины ущелья: искажаются скалистые уступы справа и слева, внезапный ветер клонит молодые дубки и буки на них в сторону ядра; некоторые ломаются, выворачиваются с корнем; с грохотом валятся камни;

как овцы перестают жевать траву, поднимают головы, а вожак стада — баран с витыми рогами и колокольчиком...

Но от такого способа повествование разрастается явно за пределы возможностей автора — и не столько по написанию, сколько по изданию романа. Поэтому вернемся к лаконичному стилю.

Похоже было, что Шар облюбовал Овечье ущелье на постоянное жительство: он исчезал к ночи и возвращался сюда на следующее утро. После второго его визита пастухи по рации сообщили в совхоз, после третьего (это было 11 октября) директор позвонил в Катагань — и три часа спустя к Овечьему ущелью подлетел вертолет. На борту его были секретарь крайкома Страшнов и двое участников Таращанской комиссии: профессор Трещинноватов и руководитель лаборатории атмосферного электричества в Институте электростатики А. И. Корнев — тот, что остался при особом мнении.

Бурный Коломак, неся воды высокогорных ледников в степь, за миллионы лет пропилил в горном кряже щель с крутыми боками высотой в сотни метров. На исходе она расширялась, стены снижались и становились пологими, уступчатыми; дно ущелья, по которому шумел поток, переходило в пойменный луг.

Они еще с воздуха, издали заметили Шар: он уютно устроился

впритык к расступившимся склонам ущелья. На подлете машину дважды сильно тряхнуло; летчик решил не облетать Шар, как намеревались вначале, а сесть и запросить метеосводку по району полета. Приземлились километрах в четырех от Шара, неподалеку от юрт.

Подошедшие пастухи рассказали, как сегодня Шар при опускании устроил небольшой обвал в ущелье, изменил течение Коломака; опустился он не так низко, как вчера. Прилетевшие рассматривали феномен в бинокль. Шар висел под тучами, которые все сгущались, обещая затяжную осеннюю грозу, над плоско растекшимся потоком. Верхняя часть сгустка достигала туч. Справа и слева искривленными зазубринами выгибались стены ущелья.

Шар не висел неподвижно, слегка ерзал — колыхался то вверх, то чуть вниз, вправо, влево. Это было заметно по меняющимся контурам скал и уступов в ущелье. Кроме того, от каждого его движения сюда передавались мягкие, но внушительные толчки воздуха — вроде ударных волн от далеких неслышных взрывов.

Ерзанья Шара и толчки воздуха вызвали настороженность прилетевших: а не рванет ли он этак сюда, на них? Куда тогда денешься?.. Но пастухи и овцы вели себя спокойно — привыкли. Непонятно было, какие силы управляют этим пространственным феноменом, заставляют его танцевать. Не ветер — потому что ветер ровно и сильно дул с запада, а Шар метался в разных направлениях. «Может, тучи?» — подумал Корнев, заметив, что снизившийся облачный слой не проник в Шар, а выпячивается над его макушкой, обтекает сверху. Угадывалось в шевелениях Шара некое соответствие с чередованием туч над ним: он то будто тянулся к приближающейся туче, то отдалялся от следующей.

— Ну как живой,— задумчиво молвил Страшнов.

— Живой? — встрепенулся профессор Трещинноватов.— Со своей свободой воли, хотите вы сказать? Да, похоже.

— Уж вы сразу: похоже! — с неудовольствием взглянул на него секретарь.— Давайте поглядим, подумаем.

Смотреть и думать помешал поливший дождь. Накинули плащи, раскрыли зонты. Позади затрещал заведенным мотором вертолет. К секретарю крайкома приблизился нервничающий пилот:

— Сводка неблагоприятная, уходить надо от грозы, товарищ Страшнов. Иначе можем застрять.

— Нет, но подождите, какие выводы? — досадливо поморщился тот.— Что же мы, прилетели-улетели — и все?

— Наблюдать надо, вот какие выводы,— сказал Трещинноватов.— Кому-то надо остаться и наблюдать.

Корнев, размышлявший, глядя на Шар, что правильно отказался подписать вместе с Мендельзоном второе особое мнение, будто внутри Шара большие массы: какие массы, если он так шарахается

из стороны в сторону неизвестно отчего, пляшет между тучами и землей! — краем уха услышал последние слова профессора.

— Я! — живо повернулся он к Страшнову.— Позвольте мне... Я хотел бы остаться.

Секретарь окинул его дружелюбно-внимательным взглядом: перед ним стоял рослый парень лет тридцати пяти с открытым чистым лицом, крутым лбом и крупным прямым носом; темные волосы были с легкой сединой на висках, серые, широко поставленные глаза смотрели с живой мыслью и интересом. «Энтузиаст,— определил Страшнов.— Такому новое дело всегда по душе. В возможно, и по плечу».

В эту минуту Шар мотнулся как-то особенно резво: под ним развернулись во все стороны белые веера брызг, на склонах осыпались еще камни, сломалось несколько деревьев. Мягкий, но плотный, как накат волны, удар воздуха свалил всех на мокрую землю.

— Ну что ж...— сказал Страшнов, грузно поднимаясь на ноги с помощью пилота.— Пожалуй, это ближе всего к вашей специальности. У вас, Василий Гаврилович, отвода нет?

— Какой отвод, помилуйте! — с облегчением (миновала его чаша сия) отозвался Трещинноватов, счищая грязь с плаща.— Электрику-атмосфернику здесь и карты в руки. К тому же Александр Иванович человек не только знающий, но и принципиальный, имел приятную возможность убедиться в этом на комиссии.

— В таком случае,— секретарь протянул Корневу руку,— желаю успеха. Если что надо — радируйте. Вернетесь — доложите.

Профессор и пилот тоже пожелали успеха, пожали Александру Ивановичу руку. Вертолет поднялся в воздух, взял курс на Катагань.

А несколько минут спустя к Корневу пришла разгадка причины ерзаний Шара. Из надвинувшейся на ущелье темной, налитой дождем тучи ударила под берег Коломака молния. И тотчас, ранее чем орудийный грохот разряда достиг ушей Александра Ивановича. Шар метнулся в сторону ломаной слепяще-белой полосы. Снова разбрызгался веером ручей, пихнул Корнева в грудь воздушный шквал, но раньше этого в его уме сверкнула догадка: электричество, атмосферные заряды — вот что управляет Шаром!

Далее, как это всегда бывает, когда осенит счастливая мысль, все несоответствия в наблюдаемых повадках феномена стали одно за другим превращаться в соответствия. «Шар заряжен, никакой массы в нем нет или почти нет — заряды атмосферного электричества гоняют его, как хотят: притягивают, отталкивают... Он всякий раз располагается в месте электростатического равновесия — но равновесие-то это держится минуты! И блуждания Шара оттого же, суточные движения — от слоя Хевисайда: он болтается в возду-

хе, как заряженная пылинка между пластинами конденсатора. Одна пластина — поверхность Земли, другая — ионизированные слои атмосферы. Ночью слой Хеви поднимается — и Шар за ним; а днем опять вниз... Стоп, здесь не все так просто: он следует не только по величинам зарядов Земли и слоев в атмосфере, но и по их проводимостям. Земля проводит — в разных местах различно, кстати! — и ионизированный воздух тоже. Эти экраны деформируют, сминают электрическое поле, каковое в Шаре имеет, понятное дело, форму шара. Он и колышется. И поскольку сферическое распределение наиболее устойчиво, деформации его порождают силы, которые так или иначе (например, удалением от причины деформации) восстанавливают сферичность. Вот и выходит, ни тебе в Землю уйти, ни сквозь слой Хевисайда проникнуть!..»

Теперь Александр Иванович смотрел на Шар иными глазами. «А он-то: как живой... Вот и вся его живость. Ну-ка, молнию еще сейчас, молнию! Ну!..» Природа благоприятствовала: слева от Шара голубой ломаной вертикалью ударил разряд. Гигантский сгусток тьмы тотчас шатнулся от него, а через секунды — к месту погасшей вспышки. «Так и есть: комплексное действие зарядов и полей проводимости.— Корнев наклонился вперед, принимая телом удар воздуха.— Разряд-проводник — Шар от него, молния кончилась — туда, к месту наибольшего электрического покоя...»

Кто-то тронул его за плечо. Он оглянулся: старший чабан Кербабаев щурил в улыбке и без того узкие глаза:

— В юрта иди, промокнешь.

— Что?.. А, хорошо, сейчас.

— Скажи, этот Шайтан-шар страшный? Овцы перегонять надо?

«Шайтан-шар, хе! Фольклор уже работает». Александр Иванович весело глянул на кутавшегося в брезент пастуха:

— Пока не очень, у него еще все впереди. Ладно, ступай. Я позже приду, чаем напоишь.

«Но что же это все-таки? — сразу забыв о чабане, повернулся он к Шару.— Шар-заряд... Любой заряд подразумевает и носителя, заряженное тело. А здесь нет тела, видно же... Просто ионизированный воздух с избытком ионов одного знака? Вздор, их ничто не удержит вместе. Да и у ионов есть масса. Заряд велик, масса всех ионов должна быть изрядной, а — нет никакой...»

Мысли смешались. Дождь усилился, закрыл Шар сплошной пеленой. Александр Иванович побежал к юртам.

К вечеру, когда дождь прекратился и небо очистилось, Шара в ущелье не было. Как Корнев ни искал его глазами и в бинокль, но ничего не увидел. «Господи, которого нет, сделай так, чтобы Шар завтра опустился сюда!» — молил он природу. Александр Иванович оценивающе оглядел местность: сужающееся в горы уще-

лье, ручей-экран, растекшийся широко и мелко, впереди горный кряж, позади степь... Интуиция физика, знающего электрические свойства атмосферы, вод и пород, нарисовала пространственную модель зарядов и проводимостей. В сердце шевельнулось предвкушение удачи: Шар д о л ж е н сюда вернуться, в естественную полевую ловушку, прикрытую сверху слоем Хевисайда. «Если только ночью не будет электромагнитной бури... А ночью их почти не бывает».

От нетерпения, а также от блох, которых в кошме и овчине, служивших ему постелью, было немало, он почти не спал эту ночь.

Институт электростатики, в котором работал Корнев, принадлежал к довольно распространенному типу организаций, которые существуют лишь по той причине, что существовали прежде. Научные учреждения создают ряд проблем — и верно, в начале 30-х годов, когда в нашей стране развернулись исследования атомного ядра с помощью линейных ускорителей заряженных частиц, разработка генераторов Ван дер Граафа и иных устройств, дающих высокие постоянные напряжения, была серьезной проблемой. Институт электростатики кое-что в этом сделал, кое-что нет; проблема электростатического ускорения частиц, между тем, отпала, ее вытеснил электродинамический (циклотронный) метод; а институт остался. Обосновать правильность существования того, что уже есть, вообще дело нехитрое, а в науке и тем паче — ибо кто, помимо людей, занимающихся этим делом, может выставить обоснованные возражения? Кто, кроме них!

В таких учреждениях люди живут долго и тихо, умеренно публикуясь, умеренно склочничая, умеренно продвигаясь. В начале года утверждаются планы, в конце пишутся отчеты. За счет остепенившихся неуклонно растет фонд заработной платы... Скверно бывает молодому, полному сил и розовых надежд специалисту, если распределение заносит его в такое тихое научное болотце: завязнет он там и будет до седин, до лысины ходить в инженерах или в «млэнээсах» — «сто в месяц — и все впереди», как называют таких в академических кругах. К счастью, в силу долголетия сотрудников вакансии здесь редки и заявки на пополнение умеренны.

Саше Корневу после окончания физфака ЛГУ в этом отношении не повезло: он вынужден был добиваться направления в Катагань, где жили его престарелые родители, а здесь работа по специальности была только в ИЭ. Правда, и тут благодаря способностям и неуемной энергии он за десять лет продвинулся от «млэнээса» до и. о. завлаборатории («и. о.» — поскольку не было еще кандидатского диплома). За это время он написал и опубликовал десяток статей по атмосферному электричеству, по грозовым разрядам, сделал на

всесоюзной конференции привлекший внимание доклад по шаровым молниям, исполнил и сдал на рецензирование рукопись диссертации, запатентовал несколько изобретений, хлопотал по внедрению их, женился, завел дочь, изменял — не столько по влечению, сколько от неуемности характера — жене, развелся с ней, снова женился, завел еще дочь, изменял и этой жене — влюбленной и обидчивой артистке местного театра, загонял два мотоцикла, получил автоводительские права, копил на «Жигули»... И все это было не то, не то, не то!

«Шайтан-шар — шаровой заряд...— думал он сейчас, почесываясь и чувствуя на боку и около паха энергичные прыжки и укусы блох.— Это ниточка, за которую его можно вести. Только бы он появился завтра!.. Стой, а почему Шар не рвет землю здесь, как в Таращанске? Да все потому же: тут под ним ручей и мокрая почва — проводники, экраны, не позволяющие заряду углубиться. А Таращанск стоит на базальтовом плато, на изоляторе то есть,— туда заряд проникает легко... А отчего радиальные ветры, шквальные порывы?.. Ничего, разберемся. Ах, только бы Шар завтра появился!»

План действий у Александра Ивановича был готов.

Шар появился: вольно петляя, скатился с неба в Овечье ущелье немного далее того места, где стоял вчера. Белым пенистым смерчем втянул в себя воды Коломака, осушив ручей под собой до дна. Фиолетовая мгла сплющила, оттеснила вниз и в стороны стены ущелья. Утро было ясное.

Мамед Керимович согласился ассистировать. Корнев завел его «ИЖ», повесил на грудь его же транзистор, дождался сигналов «Маяка»: та-ра-рира-раа...— половина десятого, сверил свои часы с часами пастуха, включил скорость — вперед! Чабаны из-под ладоней смотрели, как отчаянный парень Сашка, виляя среди камней и разбрызгивая лужи, несется прямо под Шайтан-шар.

Корневу было страшновато, он избегал смотреть в стороны, чтобы не видеть, как справа и слева головокружительно искажается, будто ее отражают зеркальные конуса, местность; да и валунов столько, что гляди, не зевай. Вот двигатель зазвучал глуше, уменьшились обороты — будто мотоцикл брал подъем. «Ага, то самое искажение гравитационного поля. Привет тебе от Бор Борыча Мендельзона! Я въезжаю...» Он прибавил газа. Проехав метров сорок, остановился. Густая тьма нависла над головой. Ущелье, суживаясь сильнее обычного, уходило далеко вниз. Непонятно было, как оттуда, с н и з у, мог течь сюда ручей. Приемник на груди молчал, хотя громкость была введена до отказа; из динамика слышалось только шипение. Корнев сдвинул верньер настройки к меньшим частотам.

— ...на юго-западе Европейской части...— басовито и размеренно, будто диктуя, произнес диктор.

Александр Иванович не слушал, какую погоду обещают для юго-запада, сердце колотилось быстро и радостно. «Значит, так и есть: частота «Маяка» поехала вниз, тембр голоса диктора тоже... внешнее время течет медленнее моего! Вот так да!» Одно дело было слышать об этом от очевидцев-таращан, совсем другое — убедиться самому. «Вперед? Нет, назад».

Он развернул мотоцикл, помчал обратно. Осадил возле Мамеда:

— Время?

У того на часах было 9.40, а на корневских 9.45. Александр Иванович снова повернул в Шар.

Так он сделал пять ездок, с каждым разом углубляясь все дальше. В последний заезд он проехал эпицентр: частота «Маяка» снова увеличилась. Время в эпицентре текло почти вдвое быстрей, чем снаружи. «А ведь это только пятнышко касания. В Таращанске ускорялось втрое, там Шар осел глубже. Значит, запас есть!»

Александр Иванович поднял голову, смотрел вверх, во тьму — и понял вдруг без всяких измерений: то, что местность, оттесненная фиолетовой мглой, подалась вниз, это потому, что в глубинах Шара гораздо больше пространства, чем видится извне. Он не мог объяснить себе, как такое может быть, но — это было так, он видел и чувствовал.

Тройка диких голубей-сизяков слева, «снизу», из обычного мира, влетела в Шар над ним и мчала во тьму все стремительней, все чаще махая крыльями, быстро превратилась в серые точки. «Ого, на высоте ускорение и вовсе изрядное. И вертолетам было бы там где поблуждать, точно... Ай да Шайтан-шар! Ай да Шарик-бобик! Ай да я!»

В совершенном восторге Корнев включил приемник на полную громкость — передавали ритмичную песенку, голос певицы бухал смешно и обиженно, завел мотоцикл и начал выделывать на пятачке эпицентра круги и восьмерки. Это была немыслимая жутковатая гонка в никуда. Травянистое, усеянное камнями ложе ущелья с растекшимся ручьем выперло здесь макушкой планеты; двухсотметровые скалистые стены, оранжево-зеленая степь, блестящая полоска воды, блеклые пятна юрт, стада, пастухи — все было внизу, в обморочно искривленной глубине. И солнце, сплюснутое, отекшее желтизной книзу, тоже моталось у колес. Весь мир был под ногами! Александр Иванович казался себе космонавтом, кружащим под шариком Земли на рычащем мотоцикле.

— Ай люли, гей-гей! — кричал-пел он, пересекая ручей в фонтанах брызг из-под колес, ловко огибая камни.— Гей-гей, Шайтан-шар, я тебя понял!.. Нам не страшен Шар-шайтан, Шар-шайтан, Шар-шайтан! Ты поедешь в Катагань, Шар-шайтан, Шар-шайтан!.. Гей-гей! Пусть у тебя время не такое, и пространство, и тяготение,— я это знаю теперь! И знаю, как прибрать тебя к рукам, Шайтан-

шар, хо-хо! Черная тьма надо мной, голубое небо внизу, солнце внизу, и земля, и горы... но я о т к р ы л тебя, Шар-шайтан!..

Увлекшись, он забыл о ерзаньях Шара от электрического непокоя атмосферы. В один момент, когда Корнев несчетный раз пересекал ручей, темное ядро чуть сместилось. Луг под мотоциклом накренился — Александр Иванович не удержал руль, с размаху шлепнулся на кремнистое дно ручья. Ледяная вода его отрезвила. Вскочил, поднял мотоцикл. Фара была разбита, бак помят. «Э, хватит». Он поехал к стойбищу.

Кербабаев, увидев разбитую фару и мятый бак, ударил себя руками по бокам. Когда же Корнев предложил деньги, и вовсе поднял крик:

— Что мне твои деньги, джигит! Разве дело в мотоцикле? Ты ведь сам мог разбиться! Ты же носился, как сумасшедший, цирк устроил! Что бы мы сказали твоим товарищам?

Корнев счастливо рассмеялся: ну конечно! Не так и быстро он там гонял. Это они о т с ю д а видели, что он носился со страшной скоростью, отсюда — из обычного медленного времени!

Ныли ссадины на кисти и локте левой руки. Гневался Мамед Керимович. Осуждающе посматривали на него подошедшие ближе пастухи. Рычали собаки, брели на водопой овцы... Никогда он не был так счастлив, как сейчас!

Никогда он не будет так счастлив, как сейчас.

ГЛАВА 4

ЗАХВАТ ШАРА

Если бы не было политики — как много людей заслуженно чувствовали бы себя ничтожествами!

К. Прутков-инженер. Мысль № 91.

— ...Так ведь ничего иного не остается, Виктор Пантелеймонович! Ладно, пока Шар осел в Овечьем ущелье — но ведь это п о к а, до первой электрической заварушки в атмосфере. Она его из тебердинской ловушки вызволит — и па-ашел он гулять, как савраска без узды. Ну, как он тем же манером, что 2 октября Таращанск, навестит Катагань? Или другие крупные города: Саратов, Новгород, Москву? В Таращанске больше всего досталось высоким домам, от трех до пяти этажей, выше там не было. А каково придется девяти- и шестнадцатиэтажным?

— Ну, вы меня не пугайте,— сказал Страшнов.

— Я и не пугаю, только говорю, что решать и делать что-то надо сейчас, не теряя дней.

Уже полчаса Корнев обрабатывал Страшнова. Тот велел никого к себе не пускать.

Из Овечьего ущелья Александр Иванович вернулся до отказа заряженный идеями, проектами по овладению Шаром, его изучению и эксплуатации. Сейчас он не представлял себе дальнейшей жизни без Шара, без исполнения связанных с ним замыслов и мечтаний. Он нашел, наконец, дело своей жизни и был готов на все ради овладения им.

Виктор же Пантелеймонович, напротив, чувствовал себя неуютно, чаще обыкновенного помаргивал набрякшими веками. Не любил он дел высшей категории ответственности, тех, от ошибки в которых легко загреметь. А здесь, похоже, назревала именно высшая. Слова Корнева о возможности новых катастроф произвели на него впечатление.

— А как получаются эти разрывы домов и грунта, разобрались?

— От избытка внутри Шара физического пространства они и получаются. Что есть разрыв плотного тела? Такое его изменение, когда между плотно примыкавшими ранее друг к другу частями оказывается пустое пространство. В обычных условиях для этого прилагают силу. А Шар может и без нее: избыток физического пространства вклинивается в слабые места — и разделяет.

— А эти... радиальные ураганы, толчки воздуха — отчего?

— От того же избытка пространства в Шаре, Виктор Пантелеймонович. Физический объем Шара в сотни, если не более, раз больше видимого — и воздуха он засосал в себя соответственно. Но пространству безразлично, что в нем есть: дома, облака, воздух... Оно первично и безынерционно, поэтому мы и называем его свободным,— Александр Иванович объяснял это секретарю, блестя глазами: ему доставляло удовольствие еще раз вникнуть в дело, растолковывая его другому.— Теперь представьте, что электрические поля атмосферы сместили Шар... ну, для простоты — на свой размер. Оболочки, отделяющей его от обычного пространства, нет, и избыток воздуха он с собой не унес. Это количество воздуха оказалось вдруг в физическом объеме, в сотни, а может, и в тысячи раз меньшем,— иначе сказать, при давлении во столько же раз большем атмосферного. Вот вам и ураган, толчок, ударная волна... Правда, такое, чтобы Шар скакнул сразу на свой размер (все-таки четыре сотни метров!), практически невозможно, иначе бы мы тогда живыми из Овечьего ущелья не ушли. Он перемещается помалу. При этом позади его оказывается избыток воздуха, повышенное давление, а впереди — недостаток, разрежение. Вот и перекачка.

Корнев посмотрел на секретаря, почуял, что тот то ли еще не понял, то ли не слишком верит, добавил:

— Ну, если совсем упростить, то внешняя поверхность Шара,

которая нам кажется наибольшей, на самом деле в соотношении с его внутренними пространствами — вроде дырочки. Как в насосе. Вот и... Хорошо, что еще умеренно засасывает — мог бы в принципе и всю атмосферу Земли. Дыши тогда, чем хочешь!..

— М-да...— «Все-таки пугает, давит на психику». Тем не менее Страшнов вспомнил, как много лет назад присутствовал на испытании мегатонной водородной бомбы и чувства, которые тогда испытал: он от души надеялся, что это уже предел, страшнее не бывает. А насчет ускоренного времени — тоже подтверждается?

— Еще как! — оживленно поднял брови Корнев.— Я замерил двойное ускорение, в Таращанске было тройное. Это большие перспективы открывает, Виктор Пантелеймонович: ускорение производства, испытаний, исследований...

— О перспективах потом,— поднял руку секретарь.— Не до жиру...— Он снова сильно прижмурил веки, задумался. Поднял плечи.— Но я все же в толк не возьму: снаружи меньше, внутри больше — и пространства, и времени! Есть этому внятное объяснение?

— «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам»,— лихо продекламировал Корнев. (Страшнов поморщился: эк он — дистанции не чувствует. «Друг Горацио...» Но парень привлекал своей увлеченностью.) — К счастью, кое-кому уже снилось. Вот,— он извлек из кожаной папки брошюру с синим репринтным текстом.— «К теории материи-действия. Обобщение на случай переменной величины кванта h». Автор — В. В. Пец, доктор физико-математических наук, профессор Саратовского университета. Издано в прошлом году...

Александр Иванович понимал, что в крайком надо идти во всеоружии. Поэтому накануне он перелопатил в институтской библиотеке гору реферативных журналов, экспресс-информаций, аннотированных указателей. Увы, близкой к теме оказалась только эта невзрачная брошюра неизвестного, явно малоавторитетного автора. Строго говоря, Корнев не был уверен, что и в ней речь идет о теории того явления, практические дела которого он наблюдал в Таращанске и в ущелье: в брошюре трактовались возможные свойства пространства и времени вообще, в галактических далях. Но то, что он прочел и уяснил, не противоречило виденному им, а стало быть, могло служить подспорьем.

— «На правах рукописи»,— прочел секретарь гриф на обложке.— Даже не считается научным трудом, что же так убого? — Он надел очки, принялся листать.

— А это потому, что теория — из тех «сумасшедших», к которым физики призывают, а когда они появляются, то сами от них и шарахаются.

— И в чем она, эта сумасшадшая идея? Вкратце.

— Вкратце — в том, что надо различать геометрическое и физическое пространство. Геометрическое — это некая однородная пустота без свойств, «вместилище богово» по Ньютону, вместилище материи по-нынешнему. А материальное пространство-время суть сама материя: физический вакуум и тела с полями в нем. Элементом материи является квант действия Н. Мы отождествляем материальное, единственно реальное для нас пространство с идеальным геометрическим только потому, что в нашем мире материальное пространство однородно. Недаром h именуют «п о с т о я н н о й Планка»...— Корнев заметил, как у Виктора Пантелеймоновича от напряженного внимания посоловели глаза, подумал: «Ну и пусть».— Вот профессор Пец и разграничивает: геометрические представления годны только для в н е ш н и х измерений чего-то, а то, что делается внутри объема, физично и зависит от величины кванта h в нем. Если внутри кванты мельчают, то и реального пространства здесь больше, чем по внешним геометрическим меркам, и время течет быстрее. Короче говоря, если следовать теории Пеца, то Шар есть объем с уменьшенными квантами действия. Самое интересное, что и по этой теории выходит, что такие объемы электрически заряжены.

— Да, мудрено...— Страшнов снял очки, помассировал пальцами веки.— Он ссылается в подкрепление своей версии на какие-то авторитеты, наши или зарубежные?

— А как же! — Корнев показал последнюю страницу брошюры.— Вот перечень литературы, здесь и Эйнштейн, и Бор, Гейзенберг, Дирак... все корифеи.

«Ну и проворный же малый! — умилился в душе Виктор Пантелеймонович: до крайкома он немало лет преподавал в вузах экономику промышленности и, конечно, знал, что упоминаемые в библиографии источники далеко не всегда подкрепляют позицию автора, обычно касаются частностей, а иные и противоречат.— А может, так с нами, рутинерами, и надо?.. Но дело не в том. С Шаром необходимо решать, раз уж он получился в моем ведении. Беды от него в самом деле могут быть еще худшие. Тогда... этот же Корнев первый заявит, что сигнализировал, вносил предложения, а им пренебрегли. А энергии у парня на троих, даже завидно».

— Хорошо,— секретарь отодвинул брошюру, посуровел, в упор взглянул на Александра Ивановича.— Что вы предлагаете? Только по-серьезному, пожалуйста, без забивания баков.

«Эге! — Корнев понял намек, струхнул.— Перебрал. Меня могут не принять всерьез».

Он раскрыл папку, стал старательно излагать свой проект овладения Шаром — даже, пожалуй, излишне старательно. Поскольку Шар суть заряженное пространство, не обладающее заметной

массой, то управлять им можно, перераспределяя надлежащим образом атмосферные и литосферные поля. А их можно перераспределять надлежащим расположением проводников. Простейший пример — громоотвод, который увеличивает напряженность поля вблизи острия и-тем обеспечивает здесь электрический пробой в атмосфере во время грозы...

— Это понятно,— сухо сказал Страшнов.

«Да, действительно, зачем я про громоотвод? Нервничаю... Перебрал со ссылками на корифеев, черт! Теперь он не так настроен...»

Как человек, всей душой прикипевший к замыслу, Корнев не мог простить себе даже малой оплошности и в ослеплении азарта боялся, что эта мелочь все разрушит. Хотя, конечно же, она не могла разрушить грозные обстоятельства, которые свели в кабинете его и Страшнова и которые требовали действий. Да и секретарь был достаточно умен и опытен, чтобы понимать, что дела делают не с умозрительно идеальными людьми, а с теми, какие есть и — могут.

— Есть основания полагать, что деформирующие свойства Шара связаны с электрическими,— продолжал Корнев.— Еще в Таращанске заметили, что Шар щадил покрытые железом дома, не раздробил купола церкви. Значит, он отступает перед проводящими экранами. То есть если мы удержим заряд Шара, то удержим и Шар... А сделать это можно так,— он пододвинул к Страшнову листок с вычерченной схемой.— Над Шаром днем, когда он стоит в Овечьем ущелье, надо навесить проволочную сеть, чтобы она его накрыла, как шапка. Сеть экранирует Шар от атмосферных полей. Теперь они его с места не сдвинут.

— Ага...— Секретарь посмотрел рисунок. Идея была простая.— А как навесить сеть? Вертолетами?

— Лучше аэростатами. Аэростаты заграждения есть у военных, в ПВО. Нужны еще стальные канаты, лебедки, блоки, тягачи... А лучше бы танки повышенной проходимости. Металлическую сеть обеспечат кабельный завод и сварщики. Да, вот записка к проекту.— Александр Иванович передал Страшнову стопку листков.— Там и расчеты, и количества, и затраты. В трое суток можно управиться, если не тянуть.

«Расчет экранной сети. Схема изготовления». «Материалы, оборудование, рабочая сила»...

Виктор Пантелеймонович снова вооружился очками, листал записку, прикидывал, размышлял. «Полтора миллиона метров стальной проволоки сечением 1,5 мм, ого!.. А вес всего 23 тонны — ну, это немного, кабельный завод даст. Ой-ой, четыреста электросварщиков со всем обеспечением! Две двенадцатичасовые смены... Верно, все надо сделать авральной.— Он поймал себя на том, что

мыслит уже конструктивно.— А что? Здесь и вправду не так много дела, можно даже не согласовываться с Москвой. Да и как все объяснить с теоретическими тонкостями? Там ведь тоже тугодумов хватает. Нет, здесь проще сделать, чем согласовать. Дивизия ПВО в крае есть, танки тоже. Верно, надо максимально загрузить военных — их благородный долг, так сказать. На кабельном поднять парторганизацию, комсомольцев. Сварщиков добудем в стройуправлениях... Молодец парень, хорошо придумал. Нахал, правда, любит попылить — ну, да это от той же изобретательской неуемности. Что есть наши недостатки, как не продолжение наших достоинств?»

Корнев точно почувствовал момент, когда секретарь склонился в пользу проекта, и заговорил, едва тот поднял от листов голову:

— Это, Виктор Пантелеймонович, так сказать, проект-минимум: поставить Шар на приколе в Овечьем ущелье, чтобы не опасаться его художеств. Но давайте глядеть на дело прямо: ведь его же придется исследовать и осваивать, это неизбежно. Если делать это в Овечьем, надо дорогу туда вести, линию электропередачи, может, и газопровод...— Он загибал пальцы на руке.— Здания там строить, людей поселять, специалистов. Все это сумасшедшие деньги и долгое время. Между тем возможен проект-оптимум, который позволит нам переместить Шар, куда захотим. Он потребует ровно вдвое больше средств и сил, чем первый. Изложить?

Страшнов, помаргивая веками, смотрел на инженера со скрытым любованием: ну активность, ну напор!

— Изложите.

— Все просто: нужно изготовить две сети. Перемещая верхнюю, можно вести Шар. Вот и надо вкатить его на вторую, поднять ее, связать с верхней. Шар окажется, как между ладонями, можно вести его во взвешенном состоянии. Притарабаним к городу и здесь будем с ним работать... Вот, пожалуйста! — И Корнев протянул еще рисунок: схему пленения Шара в две сети.

Секретарь рассмотрел листок, потом — впервые за беседу — улыбнулся автору проектов:

— И вы за неполных трое суток исследовали там, в ущелье, и идею продумали, и проект рассчитали... все сам?!

— Нет, почему же, проекты считала моя лаборатория. Так на какой из них будем ориентироваться: на минимум или на оптимум?

— На минимум,— твердо сказал Страшнов. Полюбовался разочарованием на лице собеседника, потом добавил:

— С последующим развитием его в случае успеха в проект-оптимум.

Час спустя было собрано бюро крайкома; членами его состояли

и директор «Катаганькабеля», и генерал-майор Мягких, командир дивизии ПВО.

Виктор Пантелеймонович ознакомил бюро с обстоятельствами, с проектом Корнева. Бюро приняло решение. Сразу после него Александр Иванович вместе с военными вылетел на вертолете к ущелью — для рекогносцировки. Страшнов в городе изыскивал средства, поднимал общественность.

На следующее утро Мамед Кербабаев и его помощники спешно перегоняли отары далеко в степь, перевозили свои юрты, кошмы, все имущество.

На освободившемся лугу раскатывали бунты проволоки — вдоль и поперек на сотни метров; ревели армейские дизель-генераторы, сверкали искрами контактно-сварочные аппараты. Из подъезжающих автобусов выходили работники, грузовики подвозили оборудование, катушки кабеля, канатов, харчи, палатки, спальные мешки — все необходимое. На открытом «газике» разъезжал охрипший Корнев с электрофоном. Дальше к степи расположилась аргоно-водородная станция — над зелеными фургонами ее уже вяло колыхались надуваемые голубые баллоны аэростатов.

Время от времени Корнев поднимался на вертолете: обозреть все работы можно было только с достаточной высоты. Экранная сеть развертывалась на вытоптанном лугу километровым цветком о шести лепестках, окантованных стальными канатами. Паутинно блестели под солнцем тысячи перекрещивающихся проволок. Букашками путались в них арматурщики и сварщики, прикладывали к каждому перекрестию контактные щипцы.

Работали споро. Нервы у всех были напряжены: никто не знал толком, что за чудище колышется бугром тьмы и оптических искажений в глубине ущелья; знали только, что эта штуковина в один присест разрушила город.

Перед закатом Шар снялся и улетел. Александр Иванович провожал его глазами и с ужасом думал, как на него будут смотреть все, если завтра Шар сюда не вернется. И послезавтра... никогда. «А ведь может, стихиям не прикажешь». Он ослабел от этой мысли, но, поняв это, прогнал ее — и снова командовал, проверял, советовал, ругался.

Ночью работали при прожекторах. Выбившиеся из сил люди спали кто где мог: в автобусах, в палатках, прямо на траве в спальных мешках, а кому их не хватило — завернувшись в пальто или фуфайки.

Утром со спокойного неба скатился в ущелье Шар. И весь день, пока шла работа, а затем и проверка, стоял там темным, сравнимым с горами размытым комом, легко колыхался от редких атмо-

сферных зарядов в проплывавших облаках, обдавая каждый раз порывами ветра работавших, будто дыханием.

К пяти часам вечера все секторы-лепестки сети были сплетены, сварены, укреплены прутьями жесткости. Через блоки в центре и на краях лепестков продели канаты от установленных на танках мощных лебедок. К канатам присоединили аэростаты: к лепесткам по одному, в центре связка из четырех. И...

— Поднима-а-а-ай!

Закрутились, вытравливая блестящие тросы, барабаны лебедок. Пятидесятиметровые продолговатые баллоны, лоснясь голубыми боками и мягко ударяясь друг о друга, тянули канаты вверх. Скоро из них образовались треугольники: в нижней точке их находились танки, в верхней — аэростаты, боковые линии изламывались углом в месте шкивов на сети. Все треугольники были криволинейными, из геометрии Лобачевского; они вытягивались вверх контурами косых парусов.

Вскоре внутренние углы их стали тупыми, еще расширились — в небо, кренясь и покачиваясь, вознесся четырехсотметровый шатер, блестящий и прозрачный. Барабаны лебедок крутились до тех пор, пока макушка шатра не поднялась на полукилометровую высоту.

Далее начиналось самое ответственное. Шесть тяжелых танков повели аэростаты и проволочный шатер к Шару, пробираясь по самым краям ущелья — три слева, три справа. Выше сети, ниже аэростатов летели два «МИ-4». В одном находился майор Ненашев, командир спецотряда, в другом Корнев, который с беспокойством поглядывал на низкое солнце: через час, самое большее через полтора, Шар снимется с места, улетит.

Танки ревели в сумрачном ущелье, наполняя воздух синим дизельным перегаром.

С первого захода сеть была подведена низковато и, вместо того чтобы накрыть Шар, попятила его в глубь ущелья. Корнев едва не выпрыгнул из вертолета на Шар, увидя, как тот норовит податливо ускользнуть. «Стоп! — заорал он в микрофон.— Задний ход! Стоп! Вира передние канаты! Вперед помалу! Еще вира передние!.. Трави задние!..» Выправили.

Наконец нахлобучили на Шар проволочную шапку — и на сегодня это было все. Люди вымотались. Наступил вечер. Жгли костры, готовили ужин. Кое-где даже пели песни; а что? — победили. Приделали Шайтан-шар. Танки стояли в ущелье правильным шестиугольником. На краях сети и на аэростатах, державших ее, зажглись предусмотренные майором Ненашевым красные огни. Шар темной полукилометровой копной выпирал из ущелья на фоне алой зари.

Проект-минимум был исполнен.

ГЛАВА 5

КОНЦЕРТ ДЛЯ ШАРА С ГРОЗОВЫМ ОРКЕСТРОМ

> В проблеме «коллектив и личность» решено не все — и это томит душу. Да, 20 слабаков сильнее одного атлета. Но 20 дураков умней ли одного мудреца? А двести? А тысяча? А миллион?..
>
> *К. Прутков-инженер.*
> *Мысль № 225.*

На следующее утро снова раскатывали по степи катушки стальной проволоки, сваривали по той же схеме вторую сеть. Теперь работали хоть и без недавней горячки, но все равно споро: людей сняли с заводов и строек Катагани, держать лишнее время их было ни к чему. Окончившие свое задание тотчас уезжали автобусами.

Нижнюю сеть изготовили за двое суток. Наполнили аргоноводородной смесью новую партию аэростатов. Водители заняли места в застоявшихся в ущелье танках. Корнев и Ненашев поднялись в вертолет. По их радиоприказам механики лебедок перетянули канаты так, что шатер-экран накренился в сторону гор, тем слегка выталкивая Шар вперед. Танки осторожно тронулись. Шар пополз по ручью из лощины в степь. Александр Иванович, видя это, пережил еще более сильные чувства, чем два дня назад: то было о б у з д а н и е Шара — теперь оно переходило во в л а д ы ч е с т в о над ним.

По мере того, как Шар набирал скорость до установленных пяти километров в час, в верхней части его нарастало гудение; оно повышало тон и громкость, пока не перешло в могучий музыкально-сиренный вой. Это «запела» сеть в урагане вихревой перекачки: невинный звук, который издают под ветром телефонные провода, только помноженный на число проволок в сети. Из-за него общаться вблизи движущегося Шара оказалось возможным только посредством микрофона и наушников или прямого крика в ухо.

На первом километре движения обнаружилось и более серьезное осложнение: ураган перекачки засасывал воздух перед Шаром до высоты в тысячу метров и выдувал его шквалом позади. От этого несущие аэростаты раскачивались, плясали, дергали канаты, и сеть-система грозила потерять устойчивость. Пришлось остановиться и нарастить канаты так, что они унесли баллоны на полуторакилометровую высоту; там они выглядели серо-голубыми продолговатыми мячами для игры в регби и не имели, казалось, отношения ни к темной махине Шара, ни к танкам — ни к чему земному.

Так с воем, разбойным свистом, треском моторов вывели Шар

в степь, накатили на нижнюю сеть. Поддели ее лепестки на тросы второй партии аэростатов, запустили их в компанию к первым. Края обоих сетей схватили металлическими связками, закрепили. Перетянули по-иному километровые треугольники канатов — Шар поднялся над степью, застыл, искривляя контуры гор и облаков за собой.

— Ф-фу!..— Майор Ненашев выпрыгнул из приземлившегося вертолета, снял фуражку, отер пот с бледной, контрастировавшей с загорелым лицом лысины, улыбнулся подошедшему Корневу.— Ну, Александр Иванович, спеленали мы его, как лилипуты Гулливера. Что теперь?

— Теперь? Начать и кончить.

Если это и было преувеличением трудностей, которые ожидали их на пути к Катагани, то не слишком большим. По прямой до города двести с небольшим километров; однако Шар вместе с танками и зоной опасных ветров захватывал в движении полосу двухкилометровой ширины. Поскольку в нее не должны попасть ни населенные пункты, ни хозяйственные сооружения, ни линии электропередач, то на прямой путь рассчитывать не приходилось. Прикинув по карте, самый короткий маршрут едва уложили в пятьсот пятьдесят километров; от краевого центра их отделяли, стало быть, многие дни и ночи умеренного, не быстрее 10 км/час на ровных участках, и осторожного, со многими остановками, движения.

...Наверное, участникам этой уникальной операции больше всего запомнилось звучание перемещаемого пространственного феномена: оно сопровождало их дни и ночи. Рев танковых двигателей и треск вертолетов в сравнении с ним казались игрушечными — как и они сами на фоне Шара. Когда скорость движения приближалась к девяти километрам в час, вой сети становился вибрирующим — видно, отдельные участки ее начинали дрожать от напряжения; от этого звука делалось муторно на душе. Каждый рывок танков в пересеченной местности добавлял что-то новое в дьявольское пение Шара: то гогот внутреннего эха, то резонансное, с тембрами электромузыкальных инструментов улюлюканье... Корнев на остановках объяснял военным, что они транспортируют всего лишь пустоту с особыми свойствами. Те воспринимали это с вежливым недоверием: чтобы пустота — и выделывала такое!..

Впереди на «газике» ехал офицер связи: оповещать, объяснять, прослеживать, чтобы согнали в сторону скотину, птицу, убрали с полей инвентарь. Убрать могли далеко не всё; стога соломы, которых много оказывалось на пути, ревущий вихрь Шара втягивал, размётывая так, что сам становился на минуту желтым и пыльным, а затем выдувал из себя солому под самые облака.

Часто оказывалось, что прибывшему на хутор или в станицу офицеру уже некого оповещать и некому объяснять,— объяснил-

оповестил все своим видом сам Шар. Издали не были заметны ни танки по бокам, ни аэростаты вверху, ни канаты — катится по степи жутко воющая полукилометровая шаровая тьма...

Александр Иванович более других желал, чтобы все поскорее осталось позади. Его одолевало беспокойство, которое, чем далее, приобретало все более определенный смысл: что-то он в спешке, в сумасшедше напряженном и стремительном исполнении проекта упустил из виду. «Что?» — спрашивал он себя, объезжая на «газике» танковую колонну или облетая на вертолете Шар и придирчиво осматривая в бинокль секции-лепестки сети, места крепления канатов, блоки, стяжки. Все было в порядке. Но предчувствие не проходило.

Погода тем временем портилась. Почти ясное в первые дни небо все гуще пятнали облака. Они шли все ниже, цепляясь иногда и за область воздушного вихря над Шаром. Дважды Корнев наблюдал с вертолета, как вихрь засасывал небольшие облака целиком, гнал их, вытягивая шлейфом, в переднюю часть Шара; тот их заглатывал через проволочную сеть, туманно-молочно белел на несколько минут, затем прояснялся, только сине-черное ядро его оставалось подернутым пепельной пленкой. Затем исчезала и она, и воздушный вихрь позади Шара рассеивал моросящий дождичек — будто гигантский пульверизатор.

В середине шестого дня пути, когда небо полностью забили серо-черные, напитанные влагой и электричеством тучи и впереди по движению колонны уже громыхало и полыхало, Корнев наконец понял, какую он допустил ошибку и чем она сейчас может обернуться: грозовая защита сетей. Не то чтобы он не учел ее в проекте (это было бы смешно!), но... он исходил из показавшейся ему впопыхах очевидной посылки, что сеть представит для молний не бóльшую мишень, чем металлические крыши высоких зданий; эти крыши защищают молниеотводами очень умеренно, а то и вовсе обходятся одним заземлением; практика это оправдывает. Вот и он запроектировал для порядка десяток трехметровых штырей на стыках секций верхней сети.

И только ввиду надвигающейся грозы — а какими они бывают в этих местах, он знал! — Александр Иванович дозрел до мысли, что эта сеть сама по себе была бы такой скромной мишенью. А сеть, нахлобученная на Шар, погрузившаяся на какое-то расстояние в его неоднородное, имеющее свое электрическое поле пространство... да еще усилившая собой краевую напряженность этого поля,— совсем иное дело! Молнии обожают разряжаться в местах повышенной напряженности. Корнев остановил машину, вытащил блокнот и ручку, прикинул схему: да, каждое перекрестие проволок сети будет не менее притягательно для молний, чем молниеотводы.

Он догнал Ненашева, объяснил, что может случиться. Тот расстроенно сказал: «Что же ты, Александр Иванович, раньше-то... мать твою за ногу!» Посовещавшись, решили остановить танки, подтянуть пониже аэростаты и...

Танки стали, завыли лебедки, наматывая на барабаны тросы аэростатов, пока те не вынырнули из туч в сотнях метров над Шаром. Вихрь перекачки успокоился. В наступившей тишине слышалось негромкое урчание танковых двигателей на холостом ходу да поодаль трещали вертолеты, рассекая винтами первые капли дождя. И налетела гроза!.. Ах, как хотелось Корневу, чтобы Шар вдруг стал маленьким! Но он остался четырехсотметровой громадиной — и в нее, в шатер над ним исправно били молнии: белые, голубые, лимонно-желтые, фиолетовые, ломаные, ветвистые, наклонные, вертикальные... Предчувствия Александра Ивановича оправдались.

Он уговорил своего пилота поднять машину. (Ненашев, на которого канонада над Шаром произвела сильное впечатление, отказался дать соответствующий приказ: «Если бы боевая обстановка, или людей выручать... а так не имею права». С высоты при вспышках новых молний Корнев увидел, какие дыры прожгли в сети предыдущие. На его глазах белая толстая молния жахнула в стягивающий лепестки нижней и верхней сетей стальной канат. Тот лопнул гнилой ниткой. Край верхней сети, утягиваемый аэростатом ввысь, задрался, нижний лепесток отвис. «Ну, если эта дыра расширится...»

— Ненашев,— безнадежно-спокойно сказал Корнев в микрофон,— поднимись, может, ты что-то придумаешь?

— Спешу и падаю! — донесся сквозь разрядные трески в наушниках злой голос майора.— У меня, между прочим, семья! А у лейтенанта вот старики и невеста. Из-за твоей-то дури!..

Тем не менее через две минуты в серой завесе дождя, расцвеченной вспышками, вырисовался неподалеку силуэт второго вертолета. А еще минуту спустя новая молния разорвала второй стягивающий канат. Шатер-экран поехал в сторону, между сетями распахнулась огромная прореха.

Покуда Корнев смотрел в оцепенении, как она расширяется, Ненашев таки что-то придумал. Его машина взмыла к аэростатам. Оттуда сквозь треск моторов Александр Иванович расслышал крепкие хлопки пистолетных выстрелов, увидел, как один из задиравших верхнюю сеть баллонов съежился, опал. «И верно!» Корнев взбодрился, начал отдавать команды танкам. Те перестроились, перетянули канаты — сеть выровнялась.

К вечеру гроза прекратилась. Корнев и Ненашев вместе облетели Шар, насчитали в верхней сети двадцать семь дыр — некоторые многометровые, в опасной близости одна от другой. Внизу техники надували запасной аэростат; другие с помощью второго вертолета закидывали новые канаты-связки.

— Двигаться теперь надо очень осторожно,— молвил Корнев.

— Осторожничай не осторожничай, а еще такая гроза — и кончен бал,— сказал майор.

...И снова был страх, было уныние. «Если следующая гроза разметет сети, освободит Шар, то все, не вернется он в Овечье ущелье, снова не поймаешь... И это будет конец, жизненное поражение. Большего позора для меня, электрика-атмосферника, и не придумать: осрамился в своей специальности! Те, кто будет разбирать причины неудачи, конечно, не примут во внимание, что фокус с напряженностями не лежал на поверхности, поэтому и не допер сразу, времени не было. У них-то будет достаточно времени — и обсудить, и осудить, и предложить верные решения... и хихикать в спину, указывать пальцем: грозозащиту не сделал, повесил такую пену!.. А Страшнову-то как я бойко про громоотводы разъяснял... Стыд какой!»

Воображение — то, которое помогало Корневу вживаться в проблемы, придумывать интересные идеи, находить решения,— теперь схватило его за шиворот, терзало, малевало мрачными красками предстоящую беду и ее последствия. Так всегда бывало при осложнениях, он знал это за собой — но ничего не мог поделать.

Повреждения залечивали всю ночь.

Следующее утро начиналось ясным небом, сверкающим восходом умытого солнца; неискушенных по части погоды в предгорьях такое начало дня могло бы успокоить. Танковая процессия поволокла Шар дальше на север — осторожно, со скоростью пешехода. Рев перекачки казался теперь умеренным.

В одиннадцатом часу ночи тучи обложили небо. Посерело, затем и потемнело. К «музыке» Шара добавились далекие раскаты грома. Корнев и Ненашев ехали на «газике» впереди колонны по раскисшему лугу. Машину кидало на кочках. Осунувшийся за ночь Корнев смотрел в упор на сизые тучи, которые вот сейчас отнимут у него и сделанное, и неисполненные замыслы — весь смысл жизни.

— Обложили-то как, и не сманеврируешь,— сказал Ненашев. Притормозил, сочувственно взглянул на инженера.— Что, Александр Иванович, надо опять останавливаться, готовиться, подтягивать аэростаты. Авось пронесет. Полетаем еще около сети, подстрахуем... Сделаем, что возможно. Удержим — так удержим, а нет — что попишешь! Что мы против грозы? Она же все равно как ядерное оружие, факт.

«Вот только и осталось надеяться на русский авось,— зло думал Корнев, чувствуя бессилие.— Подожди... я снова что-то упускаю из виду, не учитываю. И ведь не прощу себе, если соображу потом, когда Шар вырвется... Это будет страшнее всех казней. Что?! Ведь руки же на себя наложу... Что?!! Ну?!»

И всплыло в памяти, как — давным-давно, еще до вчерашней грозы, до всех терзаний — аэродинамический вихрь Шара заглатывал над собой облака, что шли ниже других.

— Есть! — Он схватил за рукав майора.— Ядерное, говоришь, оружие? Сейчас мы... мы сами будем делать погоду!

И принялся командовать в микрофон рации: механикам — вытравливать тросы аэростатов на максимальную высоту, поднимать Шар, водителям — набирать скорость до восьми... нет, до десяти, до двенадцати километров в час! Бегом!

...Никогда еще Шар не звучал так: это был и сатанинский вой, и рев во всех клавирах исполинского орга́на, и удары сверхзвуковых переходов в вихре перекачки. И не было для Корнева прекрасней, возвышенней музыки — потому что вихрь в охваченном им километровом слое атмосферы с ъ е д а л грозовые тучи! Стягивал в ком темно-серое одеяло их над Шаром, справа и слева от него, скручивал в кудельный жгут, тотчас начинавший истекать дождем и искриться молниями — и Шар заглатывал, всасывал, пил невиданную струю уплотнившихся грозовых туч с их влагой и электричеством. От них он и сам клубился, будто набухал грозой: уменьшившиеся молнии сверкали внутри сине-голубым, громики выскакивали вовне короткими пистолетными щелчками. Позади Шара раздувался фонтанами, поливал степь и замыкающее звено танков феерический ливень.

Шар втягивал тучи еще и еще — и очищалась в небе голубая просека километровой ширины: правый край белый от света невидимого солнца, левый — темный. Выше в голубизне плыли бульбашки аэростатов. Просека наращивалась по движению колонны, вихрь перекачки будто фрезеровал ее в слое туч. По сторонам ее продолжалась гроза и буря: полыхали нестрашные теперь молнии, гнулись от порывов ветра редкие деревья, хлестал ливень.

— Дава-а-а-ай! — счастливо орал весь мокрый Корнев, стоя в «газике», который вез его за Шаром.— Гони-и! Улю-лю-лю!..— и, будучи не в силах удержаться, сунул в рот пальцы, засвистел вибрирующим свистом.

Хотя что был тот его свист в органном реве Шара!

Так шли, пахали небо до чистой голубизны, пока не выбрались на сухую землю. Вечером, когда остановились, Ненашев предложил хитроумную операцию: перетягиванием канатов и накидыванием новых, с крюками сблизить обе сети и... перевернуть, чтобы нижняя, целая, оказалась сверху. «За завтра управимся, Александр Иванович. Так надежней будет». Корнев одобрил.

Шар притянули к земле, нижнюю сеть опустили, расстелили — оснащать. Корнев ушел по ней в эпицентр, в самую середину. Сел там на кочку, смотрел на ало-черную полосу заката — внизу, на приплюснутые фигуры людей и контуры машин — внизу, на сигналь-

ные огни и загорающиеся у горизонта красно-желтые звезды — все внизу. Слушал выразительную тишину осевшей над ним темной громады. Здесь была особая тишина, такую не спутаешь с иной: устоявшийся покой величественных просторов; похоже молчит спокойное море вдали от берегов или гор ночью; редкие вялые звуки извне — голоса военных, лязги инструментов — только подчеркивали ее. «Моя тишина. Мой простор... Надо же: другим уверенно и доходчиво объяснял, что в Шаре много пространства, а сам, как дошло до дела, мечтал чуть ли не зонтиком его прикрыть! А он — вот он какой: что ему спрятать какую-то грозу в задний карман брюк!..» Сидел, курил и думал, что если он захочет совладать с Шаром, с замыслами своими и с жизнью самой, то не должен позволять себе сомневаться, тревожиться, суетиться и вообще — мельчить. Достичь всего он сможет только безграничной смелостью мысли и ясной твердостью духа.

На следующий день сети поменяли местами, нижнюю — дырявую — подлатали. Далее двигались без особых приключений.

На десятый день к вечеру они увидели впереди над горизонтом отсвет в тучах невидимых пока огней краевого центра.

В день одиннадцатый кавалькаду встречали подкатившие на «Чайках» и черных «Волгах» отцы города во главе с довольным Виктором Пантелеймоновичем. При них были корреспонденты, операторы кинохроники; они сразу принялись за дело. «Вы слышите эти мощные, своеобразные звуки, дорогие радиослушатели? — вопрошал один, поворачивая фаллосоподобный микрофон то к плывущему неподалеку Шару, то к себе.— Это сами стихии исполняют победный гимн во славу нашей науки...» — «Вы видите эти утомленные лица,— причитал другой рядом с оператором, устремившим объектив телекамеры на «газик», где за рулем сидел Ненашев, а рядом обросший по самые глаза разбойной щетиной Корнев.— Это скромные герои, покорившие... овладевшие... прославившие...» Вели себя репортеры — особенно столичные — довольно нахально: один, намереваясь взять снисходительное телеинтервью у Корнева, потребовал, чтобы тот побрился и «привел себя в божеский вид». Александр Иванович за все время овладения Шаром и его транспортировки не позволил себе ни одного черного выражения (хотя сам их выслушивал неоднократно); а тут в нем что-то щелкнуло, и он выдал жрецу ТВ-музы такое полнозвучное, крупнокалиберное, многозарядное предложение, что вопрос об интервью тотчас отпал. Разговелся.

...И был день последний: Шар вывели к реке Катагани ниже города, около впадения в нее Коломака. Здесь расстилалось ровное поле аэродрома ДОСААФ; на нем и причалил Шар.

Работы на месте: установить лебедки на бетонные фундаменты,

перепасовать наверх отремонтированную нижнюю сеть — для пущей надежности, в помощь первой, отнивелировать расположение аэростатов и натяжение канатов так, чтобы Шар устойчиво, но без опасных искажений пространства прилегал к полю,— были уже, как говорится, делом техники.

Теперь, когда эпопея ко всеобщему удовольствию завершилась благополучно, можно было не таиться. В газетах появилось сообщение ТАСС — весомо-краткое, но с обширными комментариями. По всем программам ТВ был передан впечатляющий телерепортаж; кинохроника выпустила — с полугодовым опозданием — короткометражку. И даже Александр Иванович — отоспавшийся, выбритый, при галстуке — был показан в программе «Время».

За творческое и личное мужество, проявленные в операции по овладению Шаром, научный руководитель операции А. И. Корнев был награжден орденом Красного Знамени. Майор Ненашев получил Красную Звезду.

ЧАСТЬ II

НИИ НПВ

ГЛАВА 6

ПЕЦ ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Вместо эпиграфа:

«...первичность действия S, а тем и его физических носителей квантов h, математически очевидна: **это непроизводная величина.** Энергия $E = dS/dt$ есть производная от S по времени, импульс $P = dS/dr$ — производная от действия по расстоянию, сила $F = dS/drdt$ — производная от него по тому и по другому... но само действие мы не можем так произвести ни от каких физических величин. Другой довод в пользу первичности — то, что без квантов действия h невозможно описание микромира. Не напрасно h называют «владыкой современной физики». (О. Д. Хвольсон).

Но является ли величина $h = 6{,}626 \times 10^{-27}$ эрг$\times$с действительно Богом или природой установленной константой? Не вернее ли полагать (вслед за Я. И. Френкелем), что из-за обилия этих элементарных актов-действий в природе мы измеряем среднее значение, относительно которого индивидуальные h-кванты статистически рассеяны: есть и меньше, и больше, и даже очень меньше и очень больше. А поскольку Вселенная велика и разнообразна, то в ней могут быть области, где реализуются мелкие против «наших», или, наоборот, крупные кванты h. Для нас и любых других существ, порождений h-материи, мир выглядел бы одинаково при любых величинах квантов: важно их количество, а не значение в эрг-секундах. Но если соседствуют области с разными h, это обнаружится новыми законами и явлениями.

Во-первых, должен проявлять себя следующий **закон сохранения материи-действия:** в равных геометрических объемах произведения числа квантов n на их величины h равны:

$$S_1 = n_1 h_1 = n_2 h_2 = S_2. \qquad (1)$$

Но при этом для внутренних наблюдателей, для которых счет размеров объектов и длительностей событий идет, повторим, в «штуках», а не в величинах h, физические размеры объемов окажутся различны. Где кванты мельче, а число их больше, больше и физического пространства-времени. Там могут вместиться более крупные объекты и произойти — за внешне малое время — более долгие события.

Во-вторых, на границе областей с разными h создастся НПВ, **Неоднородное Пространство-Время.** Особенностью его будет наличие силового поля чисто математической природы. Действительно, смысл приведенной выше дифференциальной ф-лы для силы F в том, что между отстоящими на $\triangle r$ друг от друга в пространстве и на $\triangle t$ во времени участками есть не равный нулю избыток действия $\triangle S$: $F = \triangle S / \triangle r \triangle t$. При этом если $\triangle S = S_2 - S_1 = 0$, то в обычном мире силы f нет. Но в НПВ для равных между собой S_1 и S_2 мы вправе написать это выражение так:

$$F_{НПВ} = S_2 / \triangle r_2 \triangle t_2 - S_1 / \triangle r_1 \triangle t_1. \qquad (2)$$

При этом, поскольку по закону (1) произведения в знаменателях $\triangle r_1 \triangle t_1$ и $\triangle r_2 \triangle t_2$ не равны между собой, то сила F — а следовательно, и силовое поле — будет!

Так как в квантовой электродинамике с h наиболее явно связаны электрические заряды и электрическое поле, то в переходной зоне НПВ оно и будет таким».

Из брошюры д. ф.-м. н. В. В. Пеца «К теории материи-действия. (Обобщение на случай временного кванта h)».

I

Невысокий плотный мужчина в темном пальто с поднятым каракулевым воротником, в пегой пыжиковой шапке неспешно шагал через заснеженное, изрытое ямами поле. Позади остались девятиэтажные корпуса жилмассива, слева виднелись дощатые заборы и одноэтажные дома среди голых деревьев, справа дымящейся серостальной лентой вилась в сторону города река Катагань. На этом берегу ее, на разбитом обледенелом шоссе ревели самосвалы и грузовики.

Ему тоже следовало бы добираться по шоссе, так объяснили: шагайте, пока не упретесь в проходную. Но там было шумно, противно: под ноги смотри, от машин уворачивайся — и оглядеться некогда. Валерьяну же Вениаминовичу на первый раз хотелось именно осмотреться внимательно и не торопясь; впоследствии, он это понимал, такая возможность появится не скоро.

Поэтому он как слез с автобуса, так и повернул прямо в поле. Заблудиться он не мог, ориентир был перед глазами: шесть пар цеплявшихся за тучи голубых аэростатов по краям да четыре, еще выше их, в центре, держали незримый издали проволочный шатер. Сам Шар на фоне серого зимнего неба был виден смутно — только темнело его ядро и темная щетина далекой лесополосы за ним была в этом месте как бы вмята. Сначала Пец шел по нетронутому снегу — благо неглубокому, в ботинки не набивался; затем набрел на

тропинку среди ям. Впереди по правую сторону нервно фырчал канавокопатель, дальше рабочие с помощью автокрана выкладывали в нитку трубы. «А работы-то развернулись»,— с некоторой ревностью отметил он.

...Не без душевного трепета — хоть и останавливаясь, чтобы не спеша и внимательно обозреть местность, стараясь не особенно глазеть издали на то, что видел на многих снимках,— но не без душевного тем не менее трепета приближался Валерьян Вениаминович к объекту, работами в котором ему отныне надлежало руководить. Поднявшаяся после укрощения Шара шумиха поначалу задела Пеца только краем, приятным краем. Его теория была упомянута в сообщении ТАСС и, более развернуто, в статьях центральных газет. (Не обошлось и без курьезов: одна газета, не разобравшись, известила мир, что Шар с о з д а н катаганскими инженерами по теории и замыслу профессора Пеца). Его тощая ротапринтная брошюра была немедленно перепечатана в одном научном и двух научно-популярных журналах. Ученый совет Саратовского университета выдвинул его кандидатуру в члены-корреспонденты Академии наук, и на днях он узнал, что избран единогласно. Были и звонки из редакций, приглашения выступить по радио и телевидению, приезжали на кафедру и домой брать интервью... Словом, было все, что еще лет десять назад доставило бы ему искреннее удовольствие.

Но главное было не это. Главным было то, что его «теория» — в уме и сейчас именовал он ее именно так, в кавычках,— его игра ума, на которую он не тратил много сил, подтвердилась. И еще как! «Ну, а этому-то ты рад?» — спрашивал он себя. И как ни копался в душе — выходило, что не очень. Скорее, было не по себе, проявлялась озабоченность: не породит ли это проблем больше, чем разрешит?.. Потому что проявил себя слепой случай, стихия: блуждал в просторах Вселенной сгусток уменьшенных квантов, увлекаемый и отталкиваемый разными сочетаниями электрических полей туманностей и звезд, оказался вблизи Земли, потом — вблизи какой-то прорехи в слое Хевисайда, в прошлом году активного Солнца они были часты. Попал в атмосферу, приблизился к почве, начал куролесить. Точно так Шар мог оказаться вблизи Венеры, Плутона, Марса, у иной звезды... Слепая стихия, от которой никогда не знаешь, чего ждать!

За пятьдесят пять лет жизнь изрядно помотала Валерьяна Вениаминовича, не раз переворачивала его с боку на бок, роняла с высот в каменистые низины. У него были основания не любить стихии. Беспризорник, потерявший в 20-м году родителей, затем детдомовец, он бедовал со страной и рос со страной. Только выправился, окончил рабфак, затем институт, начал достаточно, чтобы одеться и есть досыта, зарабатывать,— война. Командиром взвода связи на Западном фронте, который был чем угодно, только не фронтом,

попал в окружение в болотах Полесья, а затем, больной и истощенный, и в плен. Пропадал за колючей проволокой; немного придя в себя, бежал; был пойман, доставлен обратно («в состоянии пониженной трудоспособности», как сказано в сопроводительной бумаге немецкой полевой жандармерии) и отправлен в спецлагерь Вестербрюкен «на обработку». С двумя заключенными бежал и оттуда, на сей раз удачно. Пробрался в оккупированную Белоруссию, нашел партизан, голодал и мок, подрывал и мерз, убивал и был ранен.

Кончилась война, вернулся в физику. Но из-за пребывания в плену к серьезным экспериментальным работам не дали допуска; путь был открыт только в теорию. Как ни странно, но именно в теории поля, отвлеченной тогда области матфизики, у него прорезались способности, получились результаты — так что в этом случае стихии вроде бы вынесли Валерьяна Вениаминовича на хороший путь. Успех, впрочем, был умеренный: кандидатская диссертация и место ассистента на кафедре физики в Харьковском технологическом. К тому же началась кампания «русского приоритета». Он был самый что ни на есть русский и всегда «за» — но ершист, горяч, верил в немедленную справедливость, не страшился вступать в спор, в том числе и с начальством, и на рискованные темы. Декан факультета обвинил его, что в диссертации он протащил реакционную общую теорию относительности Эйнштейна и идеалистические взгляды Дирака, а заодно — используя фамилию и не совсем рязанскую внешность Валерьяна Вениаминовича: прямой нос, черные в то время волосы, крутой, выразительной лепки лоб, четкий подбородок — и в том, что он скрывает свою национальность. Уволили. Пец подал в суд. Суд после разбирательства склонялся восстановить. Тогда декан встал и сказал:

— Товарищи, у нас закрытая тематика. Как мы можем держать на кафедре человека, который дважды бежал из лагерей?!

За что Валерьян Вениаминович, поддавшись порыву (опять стихии!), тут же в кровь разбил ему физиономию, тем доказав, что держать такового Пеца на факультете действительно не следует.

Уехал с женой в Алма-Ату, где с научными кадрами было туго и к тонкостям не придирались. Там написал докторскую диссертацию, преподавал, прошел по конкурсу на заведование кафедрой в пединституте в Самарканде, перебрался туда. Он был лекарством для души — древний, видавший все и переживший все, мудрый и скептический Восток. Валериан Вениаминович отошел, увлекся горным туризмом, древнеиндийской и древнекитайской философиями и даже полюбил, наконец, свою теоретическую деятельность — скорее всего за отрешенность ее от жизненной суеты. На суету уже не доставало ни охоты, ни сил.

Теория пространств с меняющимися квантами h была его увлечением последних лет, сначала в Самарканде, потом в Саратове,

куда пришлось перебраться из-за ухудшившегося здоровья жены. Он строил эту «теорию» дома, после лекций и кафедральных дел, строил для себя, для души, не рассчитывая на признание и резонанс; даже приговаривал, адресуя себе слова, кои в «Ревизоре» городничий высказал зарвавшемуся Держиморде: «Не по чину берешь!» Действительно, не по «чину» ему, скромному провинциальному профессору, была эта сверхидея для корифеев. Но что поделать, если она пришла в голову именно ему и если в работе над ней он более всего чувствовал себя человеком! С результатами он знакомил только немногих людей, чье внимание ценил. Один из них, доцент кафедры астрофизики Варфоломей Любарский, хоть и оспаривал многое, но все-таки подбил Пеца размножить рукопись на университетском ротапринте: не пропадать же работе!

Корнев в разговоре со Страшновым, пожалуй, напрасно аттестовал теорию Пеца как «сумасшедшую». То есть применительно к самим идеям может быть и так, но по отношению к автору ее — ни в коей мере. Напротив, эта теория выражала совсем другие черты Велерьяна Вениаминовича: основательность и скептицизм. Взгляд, что «мировые постоянные» не всегда и не всюду постоянны, безусловно, излишне волен для присяжного физика и преподавателя — но для материалиста-диалектика естественен: все меняется. Основательность же вообще была созвучна натуре Пеца; недаром и в художественной литературе он наиболее ценил сочинения великих романистов, умевших так развернуть, исследовать и исчерпать тему, что другим ничего не оставалось прибавить. По этой же причине, когда начала приобретать сторонников в физике идея «материи-действия», он не устремился вместе с другими — в жажде опубликоваться и снискать — на верхние этажи строящегося здания новой теории, а начал придирчиво простукивать у этого здания фундамент и стены: а глубоко ли? а прочно ль? а не выйдет ли, как прежде: пока этажей мало, идея-фундамент держит, а как нагромоздится большое скопление фактов и несогласующихся выводов — трещина, авария, обвал? Кризис физики. И ничего, хорошо даже, что его обобщение на случай переменного кванта пока не злободневно: можно работать спокойно, не насилуя мозг и душу гонкой, подгонкой и сиюминутным соответствием. Когда-нибудь и эта проблема всплывет, окажется злой. Потомки скажут спасибо.

Валерьян Вениаминович и в мыслях не держал, что проблема окажется злой при его жизни. Да еще так всерьез. Ну пусть бы обнаружили в галактических просторах, в звездах какие-то там спектральные феномены, кои только и можно объяснить через изменение кванта h; или в сверхускорителях что-то такое мелькнуло... И того, и другого хватило бы за глаза и для признания, и для шумихи, для избрания в Академию — и, главное, ни к чему особенному не обязывало бы. А тут: громадный Шар, с одной стороны,

опасный катастрофами, а с другой — пригодный для устройства в нем целого НИИ... Вот что всегда настраивало Пеца против стихий, так это отсутствие у них чувства меры.

II

Задумавшись, Валерьян Вениаминович не сразу осознал, что шагает с некоторым усилием и наклонясь вперед, будто поднимается в гору. Он остановился, огляделся: да, теперь он шел в гору, хотя минуту назад никакой «горы» перед ним не было. Серо-желтые дома массива переместились вниз, снежное поле накренилось; два ближние аэростата грушевидно исказились и нависали над ним.

Пец вернулся метров на пятьдесят назад, наблюдая, как все восстанавливается в горизонтальной плоскости и в обычных пропорциях; снова зашагал к эпицентру, туда, где снежное поле разлиновали косые штрихи и столбы проволочной изгороди. Вскоре он ощутил, что в корпус ему ударяют время от времени мягкие, но плотные порывы ветра, а земля под ногами слегка покачивается. «Порывы — это перекачка, понятно. А почву что шатает?.. Внешний ветер отдувает аэростаты, смещает сеть и Шар — и меняется вектор гравитационного поля?.. Но п о ч е м у около Шара искривляется поле тяготения?! Не понимаю».

Валерьян Вениаминович поднял голову, следя за стальным канатом, уходившим откуда-то справа в серую мглу. «Этот инженер остроумно придумал — заэкранировать Шар сетями и держать его, как бычка на веревочке. Но что ни говори, а его сети экранируют предсказанное мною электрическое поле без заряда, от переходной области НПВ. С этим полем у меня здорово получилось, есть чем гордиться! Другие свойства пространства-времени с меняющимися квантами предугадать легко, любой бы дошел, а вот поле, обнаруженное по знаменателю формулы,— это не на поверхности. Высокий теоретический класс!» У него поднялось настроение.

Изгородь приблизилась. Пец прочитал фанерное объявление на столбе:

> **ВНИМАНИЕ!**
> **ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА!**
> **Проход строго воспрещен!**
> **За нарушение — *штраф*.**

Рядом за колючей проволокой зияла метровая дыра. В нее и вела тропинка. Валерьян Вениаминович пригнулся и осторожно, чтобы не зацепить пальто, пролез. «Исторический момент,— иронично отметил он.— Первооткрыватель Шара проникает в Шар».

Распрямился, сделал шаг; его качнуло. Пец остановился, осмотрелся — и почувствовал головокружение. Мало того что оставшиеся позади дома, шоссе, река оказались глубоко внизу и как-то расплылись, сделались туманно-серо-желтыми, но и снежное поле впереди, еще секунды назад поднимавшееся в гору, теперь загибалось вниз — чем дальше, тем круче. Ушло вниз и далекое ярко-оранжевое игрушечное зданьице в два этажа, с сарайчиками-ангарами возле, со строящейся поодаль кривой кирпичной трубой и фигурками рабочих около. Справа и слева местность тоже заваливало. Валерьян Вениаминович стоял, будто на пятачке, на вершине. Он сделал шаг, другой — и чуть не упал. Идти было невозможно: это для глаз все впереди уходило вниз, а искривленное в сторону Шара тяготение выворачивало местность по-прежнему «вверх», на подъем. Зрительные ощущения Пеца вступили в болезненный спор с чувством равновесия: глаза заставляли корпус откидываться назад, а для шага надо было податься вперед.

«Что за чепуха! — Пец двинулся, сердясь на себя.— Ходят же люди, вот и тропинка — а я что за цаца!»

В этот момент дунул ветер. Воздух шатнул Валерьяна Вениаминовича, взметнул порошу; качнулась под ногами тропинка. Он увидел, как предметы по стронам заколыхались, будто были погружены в прозрачное желе. «Ну и ну...» Он сделал еще несколько шагов, балансируя руками. Снова качнуло местность. Поле перед ним с каждым шагом запрокидывалось круче. «Все правильно, я прохожу область краевых искажений».

Но он ее не прошел, эту область. Тело взмокло, желудок вел себя самостоятельно, ноги дрожали, сердце замирало — все признаки укачивания. Пец опустился на снежный холмик: пейзаж вокруг сразу выровнялся, сделался почти нормальным. «Ну, ясно,— он снял шапку, подставил ветру разгоряченную голову,— у почвы кванты почти обычные, а чем выше, тем они мельче, искажения сильнее. Здесь хорошо бы иметь глаза на ногах...»

Через минуту он пришел в себя, встал. Впечатление было необыкновенно сильным: он будто воспарил над накренившейся и завернувшейся краями вниз местностью. Пришлось обратно сесть.

Валерьян Вениаминович чувствовал растерянность и унижение. «И стыдно, и смешно, и ноги не идут... первооткрыватель! Еще покачивания эти — неужели нельзя было жестче натянуть канаты?.. И ведь я все фокусы НПВ понимаю. До чего, оказывается, ничтожно мое теоретическое знание, если по ощущениям я переживаю то же, что пережила бы забредшая сюда корова! Да корове и легче бы пришлось — у нее четыре ноги, глаза ниже. Что же мне, к подчиненным на четвереньках добираться?!»

Он рассердился всерьез, поднялся, глядя только под ноги. «Ну, хватит, возьми себя в руки, директор! Хорошо еще, не видит никто.

Я действительно з н а ю, что все это иллюзии неоднородного пространства, нет здесь ни провала, ни подъема. Я знаю и больше, что необязательно знать в однородном мире: пространство вокруг меня и во мне, во всем — мощная упругая среда, воспринимать как реальность надо не пустячные неоднородности в ней — домики, поле, деревья, канавы — а его самое. Пространство-время. Я в нем — как рыба в воде. Ну, вперед!»

Он зашагал — сначала балансируя руками, потом ровнее, спокойней. Обморочно покачивалась окрестность, кривлялись контуры строений, изгибалось поле... Но реальность была вокруг и в нем, основная, постигаемая рассудком реальность. Вскоре идти стало почти так же легко, как и перед Шаром.

«А что? — сказал себе Валерьян Вениаминович, отирая платком лицо.— Ты полагал, что если прошел войну, сделал научную карьеру и сочинил теорию, то уже познал жизнь? Нет, похоже, это еще впереди».

Вдали на тропинке показался человечек; он шел, быстро-быстро перебирая коротенькими ножками. «Еще исторический момент: встреча с первым сотрудником!» Завидев Пеца, человек остановился, поглядел по сторонам, снова двинулся вперед, ненатурально быстро вырастая в размерах. Его тоже пошатывало на ходу.

Вблизи Первый Встречный Сотрудник оказался приземистым мужчиной в зеленой армейской стеганке, в сапогах и в кубанке с синим верхом; через плечо был перекинут бунт ВЧ-кабеля в голубой хлорвиниловой оболочке. Из-под кубанки выбилась рыжеватая челка. Рыжими были и брови, и короткие щетинистые усы на обветренном докрасна лице. Голубые глазки недобро и настороженно глянули на Валерьяна Вениаминовича. Сотрудник явно был не в восторге от исторической встречи, хотел пройти мимо. Но Пец его остановил:

— Это куда же вы несете?

— А вам что за дело? — сипло сказал сотрудник.

— А то, что материальные ценности надо выносить через проходную. И по пропуску.

— А может, он у меня есть, пропуск. А так мне короче.

— А есть, так покажите,— с нарастающим отвращением к диалогу потребовал Пец.

— Чего-о? — Мужчина взглянул, будто примериваясь.— Да кто ты такой?

— Директор новый. Так как насчет пропуска?

— Директор...— В голубых глазках Сотрудника возникло смятение. Какой-то миг он колебался, не свалить ли ему Пеца ударом кулака и не кинуться ли в бег. Но — понял, что влип, раскис лицом и голосом.— Товарищ директор, так я ж... так мне же разрешили...

— Ну, ясно! — Теперь и у Валерьяна Вениаминовича был такой вид, что сам того и гляди врежет.— Поворачивай. Неси обратно, ну!

Мужчина понуро брел впереди, бормотал: «Вот тебе и на... так ведь я же ж в первый и последний раз!..» Пец шагал за ним молча, только в уме матерился так густо, как не приходилось с военных времен. «Ну, начинается научная работенка, и в бога, и в душу, и в печенку!.. С первым успехом, товарищ член-корреспондент: несуна поймал, распро..! Засужу шельмеца, чтоб другим неповадно было. Ах, не следовало соглашаться на директорство! Завом теоретического отдела или там замом по науке — это пожалуйста. А ведь теперь надо быть и недреманным оком, и погонялой, и пробивным дядькой — кем угодно, только не мыслящим исследователем».

— Иди, не озирайся! — рыкнул он на Сотрудника, который оглянулся, хотел что-то сказать.— Как фамилия, кем работаешь?

— Ястребов я, механик-монтажник. Я ж, не на продажу, товарищ директор! — запричитал тот сипло.— Я ж для себя... И он списанный, этот кабель, еще от авиаторов остался. В конце концов, я мог и иск предъявить, мне советовали: разве для того я отвалил семь сотен за телевизор, чтобы он из-за вашего Шара ничего не показывал? У соседей через два двора показывает, а у меня ничего. Вот и хотел нарастить антенну, отвести ее в сторону...

«Хм, еще один фокус Шара: радионепрозрачность. С чего бы?..»

— Где живешь?

— Да вон там, на Ширме,— обернувшись, указал вдоль тропинки механик.— А телевышка как раз за Шаром.

«Это непонятно. В Шаре пространство как пространство, вышка остается в пределах прямой видимости, радиоволны должны проходить. Ну, в пути до центра Шара они сокращаются — так ведь затем удлиняются, все симметрично. Или там в глубине есть что-то, что отражает?.. Непохоже».

Дальше шли молча, все внимание отнимала дорога: путь преграждали многочисленные трубы, выложенные в разных направлениях, выгнутые, сваренные. Так они приблизились к сарайчикам, которые оказались не такими и маленькими: полутораэтажные строения с арочными крышами. «Ремонтные ангары для легких самолетов»,— понял Пец. Из ближнего донесся визг циркулярной пилы, из соседнего — стук движка; там вспыхивали голубые блики сварки.

За ангарами находился двухэтажный дом, который издали казался ярко-оранжевым; он был из красного кирпича. Крышу его венчала метеобашенка с флажком и стрелкой ветроуказателя. Флажок висел на нуле, только изредка колебался.

Площадка перед домом была заставлена контейнерами, ящиками, снег истоптан.

Пец остановился, огляделся: окрестность отсюда заваливалась

равномерно во все стороны. Над головой висела тьма с сумеречно серыми краями.

Механик Ястребов стоял рядом, опустив голову,— переживал. Валерьян Вениаминович задумчиво глядел на него. Тот поднял глаза, криво усмехнулся: мол, что ж, теперь воля ваша.

— Ладно,— молвил Пец,— отнесите кабель на место, и на первый раз все. Не вас пожалел, не хочу с этого начинать. А еще замечу — безусловно, под суд. И это припомню. Ступайте.

— Спасибо, ой, спасибо вам... не знаю, как вас?

— Валерьян Вениаминович.

— Ой, спасибо, Валерьян Вениаминович! Да я ж никогда и ничего!..

Механик радостно направился к ангару. А Пец, смеясь в душе над собой: сибарит, ушел от скандала, нервы свои пожалел...— вошел в здание.

III

В коридоре первого этажа гуляли сквозняки, пахло маслом и горелой изоляцией; где-то гулко били по железу. На втором этаже было чище, уютней. Обшарпанные дермантиновые двери украшали новенькие таблички: «Бухгалтерия», «Главный энергетик», «ПКТБ», «Директор» (Пец подергал двери: заперты), «Отдел снабжения». Из-за последней двери слышался нестройный гул.

Валерьян Вениаминович вошел — прямо в галдеж, перемешанный с сизым дымом. В обширной, на три окна комнате людей было не так и много, но все они — и сидящие за столами, и стоящие возле — переговаривались.

— Альтер Абрамович, когда же придут ртутные вентили? Ведь разнарядка давно утверждена!

— Мы запрашивали Дубну. Обещают во втором квартале.

— Послушайте, или мне курированием заниматься, или снабжением!..

— Надо ставить вопрос перед Вериванной, а Вериванна...

— Если во втором квартале, так вполне могут и 31 июня отгрузить.

— Да в июне тридцать дней, побойтесь бога!

— При чем здесь бог, о чем вы говорите! Они все могут.

— Э, что Вериванна! Надо ставить вопрос прямо перед товарищем Документгурой. А уж товарищ Документгура...

«Ну, шарага!..— прислоняясь к косяку, подумал Пец.— Как ни в чем не бывало... А чего ты ждал? Чтобы они обсуждали здесь теорию неоднородных пространств? Снабжение — всюду снабжение, действительно, могут и 31 июня отгрузить».

Троекратно с непривычной размеренностью прозвенел телефон. Грузный мужчина со скульптурным профилем римлянина и скептическими еврейскими глазами взял трубку:

— Давайте, жду... Рига? Алло, Рига!.. Здравствуйте, товарищ Коротков. Почему не отгружаете нам высоковольтные трансформаторы?.. Как кому, как куда! В Катагань, в филиал Института электростатики, заказ номер 211... Что? Ничего не понимаю. Тише, товарищи, я с Ригой разговариваю!

В комнате стихли.

— Мы давно вам перечислили все сполна,— упрекал мужчина собеседника в Риге дребезжащим баритоном,— а вы... Что-что?.. Бог с вами, товарищ Коротков, какая я девушка? С вами говорит заведующий отделом снабжения Приятель, мы же не первый раз беседуем. Что?! Вы не Коротков, вы его секретарша? Коротков будет через час?..

Он с отвращением бросил трубку. Кто-то фыркнул. Кто-то сочувственно покачал головой. «Ага,— приободрился Пец,— специфика все-таки себя показывает!»

— Невозможно работать,— сказал Приятель плачущим голосом.— Ну просто совершенно невозможно работать! — Он поднял глаза к двери, увидел кого-то входящего.— Александр Иванович, как хотите, но я в таких условиях бесперебойного обеспечения не гарантирую. Невозможно вести переговоры с поставщиками! Я ему, понимаете, о трансформаторах, а он: «Не щебечите, девушка!» Это я девушка, я щебечу. И в заключение оказывается, что баритон, который я принял за коротковский, принадлежит его секретарше, у которой на самом деле дискант. Как вам это понравится?

Валерьян Вениаминович оглянулся: рядом стоял рослый шатен с веселыми глазами и прямым мужественным носом; слушая снабженца, он обхватил нос пальцами, будто доил, потом отпустил; борт синего пиджака украшала красно-белая колодочка. Вот он какой, Корнев!

— Спасение утопающих, Альтер Абрамович,— сказал шатен,— как известно, дело рук самих утопающих. Доставайте скорее инвертеры. Сейчас мы в зоне двухкратной деформации, и то трудно общаться с внешним миром. А проникнем в десятикратные и выше,— там будут диалоги уже не баритона с дискантом, а инфразвука с ультразвуком. Без инвертеров онемеем!

— Инвертеры? — поинтересовался Пец.— Это вроде телемониторов, которые моменты забития гола растягивают?

— Да, только эти проще, для телефона. Те тоже привлечем, без телевизионного контроля здесь не обойдешься,— ответил Корнев, внимательно взглянув на Пеца.— А вы, простите, кто и к кому?

— К себе... и к вам,— Валерьян Вениаминович представился.

— О, я вас второй день выглядываю! Вот вы какой!

Рукопожатие. Корнев повернулся к сотрудникам.

— Минуту внимания, товарищи! Как вы знаете, с нового года мы больше не филиал ИЭ, а самостоятельный НИИ НПВ, научно-исследовательский институт неоднородного пространства-времени. Позвольте представить вам человека, о котором вы, несомненно, слышали: Валерьян Вениаминович Пец, член-корреспондент Академии наук, теоретический первооткрыватель Шара и — директор нашего института!

Это было сказано звучным торжественным голосом, пожалуй, даже излишне торжественным — потому что все, кто сидел, встали, а те, кто стоял, выпрямились. Пец, обходя снабженцев и пожимая с бормотаньем «Оч-приятно!» их руки, чувствовал себя стесненно.

ГЛАВА 7

ТОЛЧОК В ОПРЕДЕЛЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ

— Ты чего меня ударил балалайкой по плечу?
— Я того тебя ударил: Познакомиться хочу.

Фольклор.

I

На самом деле Корнев был настроен далеко не радушно. Успех развращает даже скромного. Когда же человек сам жаждет погрязнуть в славе, искуситься властью и влиянием, погрузиться в пучину почитания, если он уже слегка вкусил — в самый раз для возбуждения аппетита — этих плодов, то для него оказывается серьезным ударом, когда обстоятельства и люди (главное, люди все эти!) отодвигают его в сторону. «Обошли!» — так воспринял Александр Иванович весть, что директором нового НИИ назначен Пец, а его кандидатура предполагается на должность главного инженера. Нет, вы подумайте: Пеца, не глядя, ставят директором, а он, человек, понявший Шар, захвативший его и доставивший из дебрей к городу, только п р е д п о л а г а е т с я на вторую должность! А кто откопал этого, извините, Пеца, как не он? Кто бы его знал по репринтной брошюрке! «Выходит, мавр сделал дело — мавр может удалиться? Ну, люди!.. И ладно, и пожалуйста, могу вообще уйти к чертям, вернусь в ИЭ — посмотрим, как тут управится этот профессор, будет ли себя не жалеть, вникать в каждую неувязку! Конечно, там, наверху, академикам в рот смотрят... Еще пожалеют!»

И хотя сознавал Корнев, что никудашеньки он от Шара не уйдет,

за уши не оттянешь, да и быть главным инженером ничем не хуже, чем директором (кто реально окажется хозяином, вопрос больше характеров, чем статуса), но сам факт, что вышло не по-его, не как он представлял в мечтах, всколыхнул в нем волну самоутверждения. Так бывало всегда: вернули статью или заявку на изобретение, не повысили в должности, когда ожидал, или — это еще в студенческие годы — отвергла девушка... И всякий раз он разочарованно и зло мечтал, что все равно добьется, возвысится, совершит — и уж тогда!.. О, тогда о н и (или о н, или о н а — все противоставшее) пожалеют, будут искать его расположения. А уж он... и так далее. Конечно, эти чувства быстро проходили. И если случалось, что он потом оказывался прав делом и мыслью, достигал, совершал и возвышался (а так случалось не раз), то эти злые мальчишеские мечтания — повыламываться и благородно посчитаться — Александр Иванович никогда не исполнял, ибо глупость их была очевидна. Но и они были стимулом его действий.

(И не знал, кстати, Корнев, что не академики, которым «наверху в рот смотрят», продвинули В. В. Пеца в директора, а сработал все его лучший друг Виктор Пантелеймонович Страшнов. Он сам слетал в Саратов, познакомился с Валерьяном Вениаминовичем, убедился в его авторитете и положительности — и продвинул кандидатуру Пеца через Академию и ЦК).

К моменту прибытия Пеца чувства Александра Ивановича почти пришли в норму. Осталась настороженность, опаска уронить себя; разумеется, было и холодное уважение к теоретической мощи профессора. Но более всего он был озабочен тем, чтобы направить развитие работ в Шаре в то русло, которое наметил и начал прокладывать.

Они разговаривали сначала в кабинете, потом прогуливались по территории; Александр Иванович показывал Валерьяну Вениаминовичу, где что есть, что как делается... У Пеца был свой план освоения Шара, умеренный академический план: сначала изучить возможность жизни и работы людей в НПВ — постепенно, начиная от внешних слоев; исследовать свойства Шара (напряженность электрического поля, градиенты неоднородности, гравитационные искажения...). Для этого следовало организовать небольшой, сотрудников на двести, институт с мощным теоретическим отделом и вспомогательными, преимущественно измерительными лабораториями. После фундаментальных исследований — эдак года через три-четыре — можно дать рекомендации и для практического использования Шара. Но то, что он узнавал от Корнева, сокрушало его планы и портило настроение.

Факт разрушения Таращанска, печальный сам по себе, для развертывания работ в Шаре обернулся несомненным благом: явление

следовало принимать всерьез. Были выделены немалые суммы, открыт доступ к лимитированным материалам, изделиям — и это даже в текущем году, не дожидаясь начала нового. Соответственно и Корнев не стал медлить, дал работу проектировщикам и строителям, загрузил заказами заводы, вступил в договорные отношения с серьезными организациями... Александр Иванович не спешил информировать Пеца о договорах, откладывал это напоследок. Но они как раз подошли к участку, огороженному забором с колючей проволокой по верху; за забором слышалась строительная деятельность и лаяли собаки.

— А здесь что — питомник? — недоуменно спросил Пец.— Ускоренное выращивание чистопородных гончих?

— Н-нет,— с заминкой ответил Корнев,— здесь будет лаборатория ускоренных испытаний бортовой аппаратуры. По хоздоговору с предприятием РК-14.

— РК-14... то самое, ракетно-космическое?

— Да.

— И на какую сумму договор, на какой срок?

— На семьдесят пять миллионов, на три года.

Пец только крякнул и не нашелся, что сказать.

— Оказывается, надежностные испытания сильно тормозят их разработки. Многие системы надо годами проверять в тяжелых режимах, прежде чем пускать в серию. Вот они и закупили наше ускоренное время наперед...

Собаки бодро лаяли, оповещая, что здесь секретный объект, на который они, р-р-гаф! — ни одного шпиона не пропустят.

— Собак сами добывали? — хмуро поинтересовался профессор.

— Нет, заказчики привезли. И строят сами, материалы их...

В интонациях Корнева сквозило удивление, что Пец не одобряет сделку. А Валерьян Вениаминович был наслышан об этой фирме, об ее умении накладывать лапу, действуя деньгами либо через правительство. «Не клевал тебя, парень, жареный петух,— думал он.— Подомнут — и прости-прощай широкие исследования! Ну, это мы посмотрим. И собак надо убрать». У него была застарелая, от времен, когда его ловили после побега, нелюбовь к охранным овчаркам.

Они направились к краю зоны, в сторону кирпичной трубы. Корнев шагал широко и вольно — привык, Валерьян Вениаминович делал каждый шаг с опаской, косился на дико искривленные пейзажи «внизу». Раздражение его возрастало: выходит, без него его женили — да еще на такой фирме! Вот и прикидывай: опротестовать договор — хлопотно, исполнять — может выйти еще хлопотнее. Но исполнять — все-таки дело, а отказываться — скандал, склока, испорченные отношения... Черт знает что!

— Хорошо,— Пец решил переменить тему.— Какая здесь закономерность уменьшения кванта h с высотой?

Вопрос был прямой, как на экзамене. И Корнев почувствовал себя студентом на экзамене, студентом не из успешных. Он совсем упустил из виду этот чертов квант.

— Квант h... м-м... ну, чем выше, тем он меньше,— сказал он.

— Какие величины вы измерили? — не отставал профессор.

— Мы измерили... мы, Валерьян Вениаминович, измерили нечто большее, чем величину h,— бодро ответил Корнев.— Мы сняли барометрический закон по высоте, интересный вышел закон. С его помощью промерили изменение темпа времени до километровой высоты. Ну, а темп легко пересчитать и в квант...

Тут он по неуловимым признакам почувствовал, что внимание Пеца стало неодобрительным. «Нет, это не тот человек, которому стоит забивать баки. Надо начистоту».

— Не буду темнить, Валерьян Вениаминович,— вздохнул он, забирая нос в ладонь,— не меряли мы этот квант действия. У нас никто не знает, как его измерить.

— Вот это да! — Пец так и стал, подняв голову.— Нет, это бесподобно! А как же вы давали информацию ТАСС и газетам о соответствии моей теории? А если здесь вообще нет изменений кванта действия, что-то иное?

— Да что может быть иное, все сходится!

— Мало ли — сходится... Природа не очень-то милостива к кабинетным умствованиям. Не измерить за три месяца... ну, знаете! Ладно,— Валерьян Вениаминович снова сдержал себя,— расскажите, что вы измеряли и как.

Корнев рассказал, как они запустили в глубину Шара аэростат с барометрическим самописцем, датчиком сигналов, отсчитывали по длине вытравленного каната высоту, соотносили с ней присылаемые приборами по кабелю импульсы. Давление воздуха здесь распределено не так, как в атмосфере: до тысячи четырехсот физических метров убывает явно быстрее, а далее слабо меняющееся высотное разрежение. Время на высоте в полкилометра ускоряется примерно в сто пятьдесят раз, на восьмистах метрах — в три с лишним тысячи раз...

— Словом, ускоренного времени там завались...— рассказывая, Корнев, присел, вычертил пальцем на снегу кривую барометрического закона в декартовых координатах, кривую ускорения времени. Пец наклонился, смотрел.— Кроме того, мы поднимались на вертолете — до упора, на полтора километра. Выше винт не тянет.

— И что там? — нетерпеливо спросил Пец.

— Пространства тоже хоть отбавляй. Степень неоднородности на всех высотах умеренная, работать можно.

— А еще выше?

— Там — тьма. Сквозь нее, как мы ни глядели, ничего не просматривается: ни сеть над Шаром, ни аэростаты, ни небо.

— То есть, вы полагаете, там есть что-то непрозрачное?

— Вероятно. Какая-то черная муть.

— Муть? Не тело?

— Не похоже на тело. Понимаете...— Александр Иванович в затруднении «подоил» нос,— если присмотреться, замечаешь какие-то мерцания. Искорки, светлячки, блики... они мелькают быстро и едва различимо.

— И летчик видел?

— Да.

— Значит, не иллюзии. Что-то там есть.

Валерьян Вениаминович спрашивал, слушал, вникал — и отходил. Поначалу Корнев так ему не понравился: самоуверенной бойкостью, договором этим самозванным на 75 миллионов, а в особенности тем, что не провел забучные измерения кванта действия, что он было решил отрицательно ответить на вопрос, поставленный ему Страшновым: подойдет ли Корнев в качестве главного инженера? Какой-то оголтелый авантюрный практицизм... Но постепенно он понял, что это вовсе не практицизм околонаучного выжиги — иное. «Надо же, запросто поднялся в вертолете на полтора километра в НПВ. Дело, равное выходу в космос: кто знает, что там такое?.. И проблемы: можно ли жить и работать в Шаре — для него не существовало с самого начала. Разумеется, можно! И в теорию мою он поверил крепче, нежели я,— зачем ему еще эти кванты мерить?.. Нет, его прыть не от спекулянтского духа, скорее, от поэтического жара души. Такому и было по плечу блистательное овладение Шаром, я бы не сумел...»

— А кванты действия по высоте,— въедливо сказал он,— необходимо измерить. И не откладывая. Хитрого ничего нет, в университете на кафедре физики наверняка есть стенд или даже переносной прибор, надо одолжить или скопировать. Это же скандал!..

II

Труба воздвигалась у северного края зоны. Здесь заметно покачивало. Трудились четверо. К Корневу подошел бригадир — пожилой худощавый мужчина в запачканной раствором брезентовой куртке и в шапке-ушанке.

— Александр Иванович,— сердито сказал он,— вы только поглядите, что у нас выходит. Сколь работаю, такого не бывало!

Они подошли к лесам. Трубу выгнали метров на двенадцать, и простому взгляду было заметно, что она искривлена, склоняется к эпицентру. Бригадир взобрался наверх, вытащил из кармана бечевку с грузилом:

— Смотрите, Александр Иванович, по отвесу.

Верно, бечевка искривилась точно по стенке трубы. Бригадир переместил отвес на выпуклую сторону — бечевка повторила кривизну и там.

— Правильно, по отвесу,— сказал Корнев бригадиру, когда тот спустился,— возводите дальше, до отметки «30».

— Так ведь обвалится.

— С чего она обвалится, если по отвесу! Я ведь объяснял, здесь такое поле тяготения.

— Кривая, вот и обвалится,— упрямился бригадир, недовольно глядя на Корнева.— Сроду у меня не было, чтоб криво-косо.

— И кирпичи падают, когда ветер,— поддержал его один рабочий.— Дунет — и кирпич валится. И шатает наверху.

— Вот-вот! — снова вступил бригадир.— Не буду я этого строить, не хочу срамиться. Завтра увольняться приду. Это цирк какой-то, а не строительство!

— Ну, как знаете,— сказал Александр Иванович,— насильно мил не будешь... Молодых надо набирать,— сказал он Пецу, когда они отошли.— Видите, как прежний опыт здесь человека подводит.

Валерьян Вениаминович вспомнил, как час назад учился ходить в НПВ, подумал: «Если начинать с этого, то придется набирать слишком уж молодых». Он оглянулся на кривую трубу.

— Почему Шар искажает поле тяготения, как вы полагаете?

— Как?! — Корнев остановился, выразил крайнее изумление.— Разве из вашей теории это не вытекает? Я ждал, что вы нам объясните!

Это был реванш за кванты. Пец понял, улыбнулся:

— Не вытекает, дорогой Александр Иванович, в том-то и дело, что не вытекает... А для чего вообще эта труба? Для котельной?

Корнев поглядел на него, будто оценивая: сказать правду или воздержаться? Решился:

— А ни для чего. Для приобретения опыта, навыков. И тот объект с собаками сносить будем не достроив. И наше здание под снос пойдет, и ангары... В самом деле, разве можно здесь, на пятачке эпицентра, делать дела, если и шатает, и отвес кривой, да и места мало? Только для пробы, наловчиться работать в неоднородном мире. Людям, которые это сумеют, цены потом не будет.

— Потом?.. Хорошо, выкладывайте свой замысел.

— Замысел простой, Валерьян Вениаминович: вверх. В глубь Шара. Там наше будущее, наши выгоды, результаты... и, видимо, наше понимание его. Для этого, во-первых, аэростаты долой, притянуть Шар накрепко, чтобы он жестко держал себя электрическим полем, во-вторых, здесь, внизу, только коммуникации и энергетика, только вход и ввоз, выход и вывоз. В-третьих...— Корнев загибал покрасневшие на холоде пальцы перед лицом Пеца,— гнать ввысь башню и одновременно, не дожидаясь ее завершения, заполнять

отстроенные этажи лабораториями, мастерскими, стендовыми залами, отделами, службами... и там вести работы. Чем выше — тем быстрее, чем выше — тем просторнее. Честное слово, мне не по себе от мысли, что там,— он указал вверх,— вхолостую течет стремительный, час в минуту, а то и больше, обширнейший поток времени. Помните, у Маяковского: «Впрямь бы это время в приводной бы ремень, сдвинул с холостого — и чеши, и сыпь...» А?

Валерьян Вениаминович, заглядевшись на обращенное ввысь вдохновенное лицо Корнева, зацепился за трубу под ногами, едва не упал.

— А трубы эти,— он указал на поле, где лучами и переплетающимися фигурами сходились к центру тонкие и толстые черные стволы со штурвальными вентилями,— тоже для практики, руку набить? Ведь канавы для них не выкопаны, а теперь экскаваторы не пройдут. Не слишком ли дорогое обучение? — Он сегодня будто подрядился снижать корневский пафос.

— Это не для обучения, что вы! — даже обиделся тот.— Трубы будут в земле на нужной глубине, зароет их туда сам Шар. И фундаментный котлован он нам сделает, как миленький. Идея согласована с нашим архитектором Зискиндом. Рвал Шар землю по-глупому, пусть рвет и для дела.

— Получится ли? — усомнился Пец.

— Мы слегка пробовали, получается. Ведь самые сильные искажения поля возле металла — и пространства, значит, тоже...

Они ходили и говорили, говорили и ходили — под черной тучей Шара, по истоптанному снегу, среди труб, ящиков, сараев-ангаров. Им было о чем поговорить. И о том, что надо Валерьяну Вениаминовичу в ближайшее время провести несколько семинаров по теории НПВ, на них, кстати, выработать и терминологию; и что эскизный проект башни группа Зискинда вот-вот окончит, надо утвердить, строить... и т. д., и т. п. Работа Корневым была проделана большая — она открывала возможности для еще больших свершений.

И постепенно в обоих вызревало нечто, не высказываемое словами, но важнее слов. Валерьян Вениаминович пропитывался новым делом, проникал в замыслы и душу Корнева. Ему уже казался нестрашным и договор с ракетчиками («Подумаешь, семьдесят пять миллионов — цена неудачного космического запуска!»), интересовал задуманный Александром Ивановичем эксперимент — и вообще он не представлял дальнейшей работы без него, заряженного энергией и идеями. Он поверил окончательно, что движет им не приниженное тяготение к выгоде и успеху, а высокое, артистическое стремление максимально выразить себя — стремление, от которого у писателей получаются хорошие книги, у художников — картины, у композиторов — симфонии. Корнев, похоже, и был инженером-художником, художником интересного дела.

У Александра Ивановича тоже менялось отношение к Пецу. К концу долгой беседы-прогулки он понял, что встретил человека, абсолютно чуждого всякой сделке — с собой или с другими, все равно; человека, который может поступить с ним и хорошо, и плохо — и всегда будет прав.

III

Они опоздали на совещание ведущих сотрудников, которое сам Пец назначил на 17.00. По своим часам они и пришли в 17.00 — но из-за того, что удалялись к краю зоны, их время отстало. «Вот еще проблема: синхронизация»,— подумал Валерьян Вениаминович, раздеваясь.

Из тех, кого ему представил Корнев, только две фамилии что-то сказали Пецу: Зискинд, архитектор-проектировщик («Наш катаганский Корбюзье»,— отрекомендовал его Александр Иванович) — худощавый молодой человек в очках на нервном лице, с усиками и длинными черными волосами, которые он откидывал самолюбивым движением головы, и Васюк-Басистов, увлеченный из Таращанска искусителем Корневым и ныне исполняющий обязанности руководителя исследовательской группы, которая пока состояла из него одного. Он вовсе оказался не похож на тот образ удальца и героя, который сложился у Валерьяна Вениаминовича после знакомства с отчетом о Таращанской катастрофе: в дальнем конце стола сидел щуплый паренек с тонким лицом, светлыми прямыми волосами и каким-то детским, задумчиво-удивленным взглядом; вел он себя флегматично и стесненно. Казалось удивительным не только, что он проявил отвагу и смекалку в катастрофе, но и то, что он имел жену и детей.

Пец понимал, что от него ждут тронной речи. И он эту речь произнес.

— Сочиняя известную вам теорию,— сказал он хрипловатым баском,— я рассматривал случай с переменным квантом действия как некое исключение и если и допускал, что этот случай реализуется во Вселенной, то тоже как исключение, игра природы. Но вот теория подтвердилась, обстоятельства занесли вас и меня в мир с переменным квантом действия, в неоднородное пространство-время... в мир, где все не так. Здесь кривая сплошь и рядом оказывается короче соединяющей те же точки прямой, тела могут разрушаться не от приложения сил, а от самого пространства, время течет в разных местах различно... и много диковинного нам еще предстоит узнать. И для успеха дел здесь,— Валерьян Вениаминович сделал паузу, обвел взглядом сидевших по обе стороны длинного стола; все внимали,— нам лучше сразу стать на иную точку зрения.

Не Шар — игра природы, не наше НПВ диковинно, не мы в исключительном положении. Все наоборот: этот обычный, вне Шара, мир исключителен и невероятен по однородности своего пространства, по равномерности течения в нем времени, по обилию в нем так называемых «мировых констант». Ведь что есть постоянство и однородность, как не частные случаи в мире непрерывной изменчивости? Таким образом, мы будем исследовать, обживать, осваивать более о б щ и й случай материального мира, нежели тот, в котором обитали до сих пор и к которому привыкли...— Он снова сделал паузу: ему показалось, что он недостаточно четко выразил мысль; секунду подумал и заключил: — Попросту говоря, наш Шар и обычный мир соотносятся, как уравнение Максвелла и закон Ома.

...Корнев впоследствии, когда они сошлись покороче с Валерьяном Вениаминовичем, не раз поминал ему эту заключительную фразу и даже полюбил начинать «попросту говоря» с самых темных, головоломных суждений. Здесь Пец действительно переборщил, сказалась привычка адресовать слова аудитории близких по квалификации специалистов: для большинства слушавших его сейчас было откровением, что закон Ома вообще как-то соотносится с уравнением Максвелла, да и с уравнением этим не все были на «ты». Но в целом речь понравилась, идея была понята и принята.

Вскоре в Катагани и соседних городах запестрели объявления «НИИ НПВ приглашает на работу...» — и следовал длинный перечень: от штукатуров и монтажников до начальников лабораторий. Отдел кадров трудился в две смены.

В предновогодние дни пошли под снос все объекты в зоне эпицентра, включая заборы и недостроенную трубу: место расчищалось под сооружение по проекту Ю. А. Зискинда 300-метровой (с возможностью дальнейшего наращивания до пятисот метров) башни, главного помещения НИИ.

А сразу после Нового года Корнев осуществил свой замысел: образовать котлован и погрузить всю входную систему энергетики (водо- и газопроводы, канализацию, кабели) в почву посредством Шара. Не прикладывая рук. Это было зрелище: эпицентр застелили экранными листами жести, которые образовали кольцо, теневой чертеж выемки под башенный фундамент; внутри и вне его на снегу расположилась вся кровеносная система будущего сооружения. По сигналу ракеты взвыли электромоторы лебедок, закрутились, притягивая канаты с экранными сетями, редукторные барабаны. Темное ядро Шара приблизилось, оттесняя обычное небо и еще круче заваливая вниз окрестный пейзаж. Неоднородное пространство, перераспределенное металлом листов и труб, начало аккуратно разделять, раздвигать в нужных местах мерзлую землю. Сама собой развернулась кольцевая выемка восьмиметровой глубины. Трубы

и кабели погружались в грунт, как нагретая проволока в масло,— и сверху над ними, как масло над проволокой, бесшумно смыкалась земля. Потом осталось только подровнять место бульдозерами, вывезти несколько самосвалов осыпавшегося грунта — и все.

Много всякого будет в отношениях Корнева и Пеца, не раз первый обрадует второго, не раз и огорчит. Но никогда Валерьян Вениаминович не забудет восхищения, с которым наблюдал этот эксперимент, и светлую зависть к Александру Ивановичу: вот ведь как может человек овладеть ситуацией, брать за шкирку природу!

И дело пошло. Как сказано в иной книге по другому поводу: «История была пришпорена, история помчалась вскачь, звеня золотыми копытами по черепам дураков». (А. Толстой. Гиперболоид инженера Гарина.)

ГЛАВА 8

ТРИ МЕСЯЦА СПУСТЯ

Идеалист — человек, верующий не только в идеалы, но и в то, что другие тоже в них верят.

К. Прутков-инженер.
«Набросок энциклопедии»

I

Если бы агент иностранных разведок... скажем, некий Жан-Сулейман Ибн-Рабинович, он же Смитт-777-бис, он же торговец жареными семечками Семенов, он же (она же) Маргарита Семеновна, оказался в городе Катагани, что расположен на реке того же названия, то он непременно остановился бы в шестнадцатиэтажной интуристовской гостинице «Стенька Разин» («Stenka Razin») и постарался бы взять номер повыше, с обзором. А если бы администратор бдительно уклонился от предоставления ему такого номера, он все равно вознесся бы в лифте на самую крышу гостиницы, в летнее кафе «I za bort eje brossaiet...», где и занял бы, коварно усмехаясь, столик у перил.

Оттуда холодному взору агента открылась бы восхитительная панорама. На юге в лиловой дымке далекие горы с синими лесами на склонах, ближе со всех сторон — полого-холмистые равнины, разлинованные на правильные фигуры сельскохозяйственных угодий; еще ближе, за рекой,— тучные луга со стадами овец, лошадей и говяд. Различил бы он среди полей асфальтовые полосы автострад с оживленным движением, железнодорожные линии, стекающиеся с четырех концов к большой, путей на тридцать, станции с величест-

венным серым вокзалом; увидел бы пристани и причалы на реке Катагань, стремительные «ракеты» и неторопливые баржи на ее блестящей под солнцем поверхности, песчаные пляжи с грибками. Еще ближе Жан-Сулейман углядел бы трубы заводов, выкрашенные черно-белыми шахматными квадратами, белоснежные цилиндры нефтехранилища, серебристые шары газгольдеров и извергающие пар конусы градирен ГРЭС; увидел бы он живописные россыпи частных домиков и дач среди садов и огородов на окраинах, радующие глаз продуманной планировкой и широкими проспектами новые жилые массивы, парк им. Тактакишвили вдоль реки — с эстрадой, колесом обозрения и парашютной вышкой, шпиль старого костела и луковичные головки церквей, здание бывшего Коммерческого, ныне Государственного, банка с витыми малахитовыми колоннами, увидел бы площади и бульвары, памятники и рынки, магазины и автовокзал из алюминия и стекла.

Но эти объекты не заинтересовали бы нашего агента: подобные он видывал во многих городах. Внимание его приковал бы иной, нигде прежде не виданный объект, для названия которого он затруднился бы найти слово. Над обширным полем за южной окраиной парило н е ч т о, шарообразный сгусток с размытыми, незаметно переходящими в атмосферу краями; размеры его были сравнимы с полем и с плывущими над ним облаками — дома соседнего жилмассива рядом казались игрушечными. Снизу, от поля, в Нечто внедрялось не то сооружение, не то холм из трех круто сходящихся на конус уступов; их венчал короткий пик. «Пожалуй, все-таки сооружение,— присмотревшись, решил бы агент,— хоть и редкостное по безобразию. Но что это?!»

Озабоченный агент спустился бы в номер, затем вернулся на крышу, вооруженный призматическими очками с 64-кратным увеличением; в них он мог рассмотреть подробности. Теперь наш Жан-Сулейман заметил бы, что в сгусток часто влетают грузовые вертолеты. И странно движутся они в нем: подлетают медленно, а затем вдруг стремительно у д а л я ю т с я в глубь него, уменьшаясь в размерах. Другие вертолеты так же стремительно выскакивают оттуда.

Он заметил бы и то, что дорога к сгустку от города целиком заполнена машинами, преимущественно грузовыми и самосвалами; другая трасса несла к нему поток автомобилей со стороны реки, от дебаркадеров грузовой пристани, возле которой теснились баржи. Все это втекало в основание ступенчатого холма, который был точно искусственным сооружением: ясно виднелись арочные въезды, полосы этажей и спиральная дорога, которая вилась до второго уступа. По ней тоже сновали грузовики — возносились к верхним этажам и площадкам с возрастающей стремительностью, будто и не в гору, затем скатывались по винту вниз.

«Въезд и выезд разделены,— квалифицированно констатировал

бы агент, время от времени задумчиво нажимая левым ухом спуск вмонтированного в оправу очков стереофотоаппарата,— все организовано для приема больших потоков груза». Около «холма» и на нем он заметил бы оживленную деятельность — даже слишком оживленную: будто в муравейнике, в который ткнули палкой.

Засидевшись допоздна, агент 777-бис увидел бы, как в окутывающих город и местность сумерках начинают светить первые огни. Сам таинственный сгусток растворился в вечерней тьме, но его местонахождение обозначили загоревшиеся на полукилометровой высоте вереницы сигнальных огней; они наметили алым пунктиром гигантский шатер.

Когда же ночь, чудная южная ночь, целиком поглотила очертания неосвещенных предметов, агент увидел бы сквозь свои очки феерическое зрелище: как исчезнувший было во тьме «холм»... начинает светиться — вершина серо-голубым светом, середина тускло-оранжевым, с постепенным переходом в красный, в вишневый и в темноту внизу. Теперь его можно было принять за компактный, спокойно извергающийся вулкан; тем более что свечение клубилось и колыхалось. Но замечательно, что и въезжающие на «холм» машины превращались там в светлячки, кои по мере подъема накалялись до голубого сияния, а при спуске «остывали», меняли цвет до малинового, отъезжали же прочь и вовсе темными, заметными лишь в свете фонарей и прожекторов в зоне около «сгустка».

«Kolossal! Fenomenal! Imposible!» — думал бы пораженный Жан-Сулейман Ибн-Рабинович-777-бис на своем родном языке эсперанто.

Затем, разумеется, он попытался бы проникнуть в объект. Подъехал бы к нему всегда переполненным троллейбусом № 12 или автобусами 21 и 30 (также вечно набитыми людьми), выйдя на конечной остановке под явно маскирующим названием «Аэродром» — чем-чем, а аэродромом там не пахло! Подслушивал бы разговоры, вступал в них, знакомился, выдавая себя по обстоятельствам то за рубаху-парня Семенова, торговца семечками, то за полногрудую и обаятельную Маргариту Семеновну... Склонял бы к сотрудничеству наиболее нестойких граждан: прельщенных западным образом жизни юнцов или — в облике Семенова — разочарованных в местных мужчинах соломенных вдовушек. А затем, женившись на какой-то вдове, и сам устроился бы в Шар, растворясь, подобно ложке дегтя в бочке меду, в массе честных, доверчивых тружеников...

Но хватит домысливать: не было агента инразведок. То ли из-за нерасторопности этих разведок, то ли благодаря, напротив, расторопности наших славных соответствующих органов, но никакого такого Жана-Сулеймана Ибн-Семенова вблизи Шара не оказалось. Не было соответственно и юнцов, и вдовы, которая сначала доверчиво выбалтывала все, а потом, поняв по критическим репликам

Семенова, с кем имеет дело, прозрела бы и пошла сообщить куда следует, ведя перед собой троих, прижитых с врагом отечества детей... То есть, вернее сказать, наличествовали и вдовы, и юнцы, и славные соответствующие органы — но, ввиду отсутствия агента, объединить их в сюжет не представляется возможным.

...А ведь уже взбодрились, воспряли иные читатели: ага, давай, теперь самая читуха пойдет! А то кванты какие-то, отдел снабжения... нет, шалишь, автор: взбодри-ка нас, взволнуй, завлеки — в плане ответа на вечные вопросы:

— Но их поймают?

— Но они поженятся?

Вопросы, существовавшие еще до книгопечатания, да, пожалуй что, и раньше членораздельной речи. И что бы ни вкручивал автор на прочие темы, как бы ни отражал современную действительность, в этом должна быть полная ясность: отрицательных поймают, положительные поженятся. И дадут приплод.

Вынужден огорчить любезных читателей: никого — решительно никого! — дальше не поймают. И ловить не будут. Больше того, все персонажи останутся от начала до конца каждый в своем гражданском и половом статусе: кто женат — так и будет женат, кто развелся — то и в этом деле обошелся без нас.

II

Итак, не агент инразведок, а нормальный директор нормального НИИ НПВ вышел в это приятное утро 6 апреля из подъезда своего дома на Пушкинской улице, рядом с банком (нет-нет, про банк я просто так, читатель, грабить не будем),— Валерьян Вениаминович Пец. Машина подкатила ровно в 8.00 (в 16.00 по времени эпицентра, в 60.00 — координаторного уровня). Он сел на заднее сиденье. Водитель, перед тем как двинуться в путь, нажал кнопку информага, вмонтированного в «Волге» вместо приемника: прокрутить для директора сводку событий, решений и хода работ в Шаре за время его отсутствия с десяти часов вчерашнего вечера (то есть за 20 часов эпицентра и 75 часов по времени координатора).

Пец молча перегнулся через спинку, выключил информаг. Это подождет. Сегодня ему не хотелось сразу погружаться в текучку, не позволяющую мыслить отвлеченно.

Он сдал за зиму, Валерьян Вениаминович, стал суше, жестче, морщинистей. Сейчас он пытался сообразить, сколько прожил р е а л ь н о за три с небольшим календарных месяца от дня, когда шагал к Шару через заснеженное поле. Трудно оценить; это у других начальников в ходу отговорка: «У меня же не сорок восемь часов в сутках!» — а у него, пожалуйста, хоть четыреста восемьдесят.

Только в конце марта ввели в обиход ЧЛВ, часы личного времени, со сточасовым циферблатом. До этого время у них измерялось только делами. На последнем НТС главкибернетик Люся Малюта доложила, что по объему работ в январе они сделали столько, сколько в однородном времени успевают за год; в феврале, поднявшись выше, осилили работу двух с половиной лет, в марте — шести. То есть всего за квартал вышло без малого десять лет. Хоть юбилей празднуй, НПВ-юбилей. «Ну, это время характеризует число рабочих смен в наших сутках и длительность этих смен,— думал Пец.— А сколько я накрутил за эти месяцы? Годика полтора-два, не меньше... Да и что есть время?» Лишь в том и сохранил Валерьян Вениаминович календарный счет дней, что соблюдал обычай обедать, ужинать и ночевать дома. «Дом есть дом, семья есть семья, я не мученик науки, а ее работник»,— в этом принципе было и упрямое самоутверждение, и стремление не дать себя целиком увлечь потоку дел, хоть немного отдаляться для взгляда со стороны.

Машина везла его по окраинным улицам, еще недавно тихим и опрятным, а теперь разбитым и запруженным грузовиками, автоцистернами, самосвалами, тягачами. Тонкий асфальт улочек не был рассчитан на нагрузку, которую ему довелось выдержать, когда развернулось строительство в Шаре; сейчас он являл жалкое зрелище. Заезжены и изухаблены были даже тротуары, лихачи пробирались по ним, когда возникал затор. Стены частных домиков, не защищенные палисадниками, были заляпаны грязью по самые окна.

Поток машин нес в Шар пачки бетонных плит, чаши раствора, звенящие пучки швеллеров, труб, арматурных прутьев, мешки цемента, доски, сварные конструкции, ящики и контейнеры, на которых мелькали названия городов, заводов, фирм (и на всех значилось: «Получатель НИИ НПВ, Катагань»), железобетонные фермы, стены с оконными проемами, балки и плиты перекрытия; в фургонах пищеторга в зону везли продукты, на прицепных охраняемых платформах тянули какие-то накрытые брезентом устройства. Над домами и деревьями стоял надсадный рев моторов, в приоткрытое окно «Волги» лез запах дизельного перегара; Пец поднял стекло, вздохнул: проблема грузопотока в НПВ начиналась здесь.

«Проблема грузопотока... Проблема координации... Проблема кадров и занятости... Проблема связи и коммуникаций... Проблема максимальной отдачи... Проблема размеров и свойств Шара... Можно перечислить еще с десяток — и все они то, да не то, все части главной Проблемы, которую я не знаю, как и назвать!»

Кончились домики Ширмы, машина вышла на бетонное шоссе: водитель наддал, но тотчас сбавил скорость: полотно тоже было разбито, по нему впритир шли два встречных потока — возможности обогнать не было.

— На вертолет вам надо переходить, Валерьян Вениамино-

вич,— сказал шофер,— вон как Александр Иванович. Его машина около Шара и не появляется, на вертодроме дежурит...

— Ну, Александр Иванович у нас вообще!..— отозвался Пец.— А я скоро на пеший ход перейду, врачи советуют.

«А доставку грузов действительно надо более переводить на вертолеты — и чтоб прямо на верхние уровни. Тогда и шоссе разгрузится, и зона»,— заметил он в уме, но тотчас спохватился, что думает не о том, рассердился на себя: опять он не н а д, а ч а с т ь потока проблем и дел!

Впереди разрастался в размерах Шар. Внешние полупрозрачные слои его после тугого притягивания сети осели копной, но двухсотметровое ядро не исказилось, висело над полем темной сферой. Поднимающееся солнце искоса освещало землю с зеленеющей травой, бока автобусов и самосвалов, стены далеких зданий — только сам Шар не отражал солнечных лучей и не давал тени. «Вот, вся проблема перед глазами: что́ мы, собственно, притянули и держим сетями? Не предмет, не облако — пустоту. Даже солнце ее не освещает. Но пустота эта, неоднородное пространство, обладает всеми признаками ц е л о г о: взаимосвязь внутри прочнее связи с окрестной средой. Именно поэтому и можем удержать. И этот нефизический... точнее, д о ф и з и ч е с к и й, признак «цельность» — самый главный, а различимые нами свойства: переменные кванты, изменения темпа времени, кривизна пространства — явно второстепенны. А наша деятельность в Шаре и вовсе?»

Вблизи зоны эпицентра потоки машин разделялись: движущиеся туда сворачивали вправо и выстраивались в очередь у въездных ворот (Пец посмотрел: машин тридцать, нормально для утра), а из левых через каждый 10—12 секунд выезжали пустые. «Поток налажен, хорошо».

Бетонная ограда охватывала круг поперечником 380 метров, отделяла НПВ от обычного мира. За ней высился серый холм — тремя уступами. На освещённом солнцем левом боку его выделялись террасы спиральной дороги. Вершина холма уходила в темное ядро. На фоне бетонных склонов живо поворачивались стрелы разгрузочных кранов. По спирали с немыслимой быстротой мотались машины.

«Холм — это еще что,— усмехнулся Пец,— называют и «извержением Везувия», и «муравьиной кучей», и «клизмой с наконечником»... А ведь уникальное сооружение!

Раньше он наблюдал, как Шар коверкает окрестные пейзажи; теперь каждый раз, подъезжая к нему, убеждался, что НПВ не жалует и предметы внутри. Не холм и не куча находились за оградой — на чертежах это выглядело величественной стройной башней. Точнее, тремя, вложенными друг в дружку. Да, три — и все недостроенные.

Запроектированную вначале семидесятиметровую в основании осевую башню выгнали до высоты в 240 метров — и захлебнулись в грузопотоке. Тогда, это было в начале февраля, они столкнулись с эффектом, который теперь именуют «законом Бугаева» — по имени начальника сектора грузопотока, который постиг его, что называется, хребтом. Звучал он так: выше уровня 7,5 (т. е. высоты 200 метров, на которой время течет в 7,5 раз быстрее земного) башня строится с той скоростью, с какой доставляется наверх все необходимое для ее сооружения. Время самих работ оказывалось пренебрежимым в сравнении с временем доставки.

Прав был Корнев в давнем разговоре со Страшновым, объясняя ему, что внешняя поверхность Шара в сравнении с его внутренним объемом есть маленькая дырочка. А часть ее, ствол осевой башни, по которому проталкивали грузы, и вовсе была с булавочный прокол. Так поняли: чем через силу карабкаться вверх, лучше расшириться внизу; стали гнать второй слой с основанием в сто двадцать метров и спиральной дорогой. Это казалось решением всех проблем. Но — возвели до двухсот метров, осевую башню вытянули еще на полторы сотни метров... и снова захлебнулись. Теперь получалось, что для поддержания темпа работ и исследований входную «дырочку» надо расширить сооружением еще третьего — 160-метрового в основании — башенного слоя: со второй спиральной дорогой, промежуточными складами и эскалаторами.

Этот третий слой, который начали две недели назад, кольцо с неровным верхним краем и широкими арочными просветами, высотой всего с двенадцатиэтажный дом — и являло в ироническом искажении НПВ самую крупную часть «холма». Выступавшая над ним двухсотсорокаметровая промежуточная башня внедрялась в глубинные слои Шара и казалась из-за этого сходящейся в крутой конус. Осевую башню как раз вчера довели до проектной полукилометровой отметки — но с шоссе ее открытая часть, большая по длине остальных слоев, действительно выглядела несерьезной пипкой, наконечником.

«Постой, что это там?!» Серая тьма внутри Шара скрадывала подробности, но дальнозоркие глаза Пеца различили в средней части «наконечника» кольцевой нарост. Вчера вечером его не было! Выходит, изменили проект и за ночь что-то такое соорудили — и солидное! Ну и ну!.. Нарост ажурно просвечивал, там замечалась трудовая суета. «Еще не закончили. Значит н а ч а л и ночью, без меня, чтобы поставить перед фактом. Вот и будь здесь начальником!» — Валерьян Вениаминович потянулся к информагу: — В сводке должно быть.— Но передумал.— На месте больше узнаю. Ну, партизаны!..

(«Опять я съехал на конкретное... Но что есть общее, что есть

конкретное? Вот конкретный факт: за всю зиму — хотя и мело, и таяло, и дожди шли — на башню и возле не упало ни снежинки; только по краям зоны наметало сугробы. Это стыковалось с оптической и радиоволновой непрозрачностью — а по существу непонятно. И так во всем...»)

Они подъезжали, и башня выравнивалась, выпирала горой в заполнявшем теперь небо Шаре. Водитель поддал газу: мотор заурчал громче, беря невидимый подъем. «И искривленное тяготение до сих пор не понимаем. Шар втягивает гораздо больше гравитационных силовых линий, чем ему положено по объему... По исследованному объему,— поправил себя Пец.— Много ли мы исследовали? А если в ядре вправду что-то есть?..»

III

Машина остановилась у выпяченного дугой одноэтажного здания со многими дверьми; оно замыкало ограду, как широкая пряжка — пояс. Проходная была рассчитана на пропуск 14 тысяч работников; сейчас в Шаре работало 17 тысяч. Над входами светились аршинные буквы: над крайним слева «А, Б, В», над соседним — «Г, Д, Е...» и так весь алфавит.

Все, время для общих мыслей исчерпалось — теперь, головой в воду, в текучку, в частные проблемы. Пец двинулся было к своей проходной «О, П, Р»; как раз над ней тройное табло электрочасов показывало время: 8.30 обычного, 17.00 эпицентра и 64.00 уровня координатора и его кабинета. Вот и надо скорей туда: общим правилом руководителей НИИ НПВ было не задерживаться внизу, где каждая потерянная минута стоит четверти часа.

Но в эту именно минуту прямо перед ним затормозила черная «Чайка». «Эт-то еще кого принесло?!» Из нее появился, приветливо жмуря набрякшие веки, секретарь крайкома Страшнов; он придержал заднюю дверцу, помог выбраться сухощавому седому человеку со строгим лицом.

— Значит, вам передали, Валерьян Вениаминович? — сказал секретарь здороваясь.— А то телефона у вас дома нет. Знакомьтесь: заместитель председателя Госкомитета по труду и заработной плате Федор Федорович Авдотьин.

Пец с упавшим сердцем пожал руку, назвался. Ему не передали. «Вот так — пренебрегать сводкой ради эмпиреев! Теперь даже нет времени собраться с мыслями».

— Сразу, пожалуй, и приступим? — сказал зампред тоном человека, привыкшего, что его суждения принимают как приказы.

— Сразу не получится,— ответил Валерьян Вениаминович, чувствуя, что терять ему нечего и лучше быть твердым.— Я отсут-

ствовал восемьдесят координаторных часов, должен войти в курс основных дел. После этого — скажем, в 72.00 — я к вашим услугам.

— А наше дело вы не относите к основным? — Авдотьин поднял седые брови.— Мне не нравится, как вы встречаете представителя правительства.

— Вообще говоря, я живу на свете не для того, чтобы кому-то нравиться,— коротко сказал Пец.

У зампреда от негодования отвисла челюсть. «Ну и пусть снимают! — яростно подумал Пец.— А что я могу?!»

— Ну-ну,— примирительно сказал Страшнов,— зачем такие слова? Уверен, что все выяснится к общему удовлетворению.

— Соглашусь с любыми выводами,— повернулся к нему директор.— А сейчас не могу сам и не рекомендую вам терять время внизу. Проходная товарища Авдотьина первая слева, ваша, Виктор Пантелеймонович, вот эта. Пропуска я сейчас закажу, сопровождающего пришлю к...

— Сопровождающего?! — гневно повторил Авдотьин.— А сами не изволите... да как вы!..

— ...к проходной «А, Б, В»,— закончил Пец и вежливо улыбнулся зампреду.— Вы осмотритесь, здесь у нас интересно. Распушить всегда успеете. До встречи наверху! — и двинулся к своей проходной.

Начальник охраны и — в нарушение КЗоТ — комендант зоны и башни Петренко, бравый усач в полувоенной одежде, как всегда ко времени прихода Пеца, находился в проходной. Завидев Валерьяна Вениаминовича, он встал. Их разделял никелированный турникет и окошко табельщицы.

Пец показал в раскрытом виде пропуск, девушка достала со стеллажа контрольный бланк, передала ему, он отбил на электрочасах время прихода, возвратил бланк. Табельщица поместила его в ячейку в стеллаже, достала оттуда ЧЛВ, пустила их нажатием кнопки, выдала входящему — и только после этого нажала кнопку «впуск» турникета. Процедура заняла 15 секунд: для всех, от директора до уборщицы, она была одинакова.

— Кто наверху? — спросил Пец, пожимая руку коменданту.

— Товарищ Корнев, главкибернетик Малюта, начплана Документгура, завснаб Приятель. Зискинд дежурил ночью, только ушел. Бугаев на пристани. В кабинете ваш референт Синица.

— Референту немедленно вниз, к кабине «А, Б, В» — сопровождать товарищей Страшнова и Авдотьина. Выпишите им разовые пропуска! — Валерьян Вениаминович вышел в зону. Петренко метнулся к телефону.

Среди мужчин, шедших навстречу, к пропускным кабинам, преобладали небритые, заросшие многодневной щетиной. Пецу, чело-

веку аккуратному, подтянутому, и всегда это не нравилось, а сейчас, понимая, какими глазами на это посмотрят высокие гости, приехавшие в институт, он вовсе расстроился. «Взяли моду — демонстрировать, что долго работали наверху! Приказ, что ли, специальный издать, чтобы брились? Ведь хватает там времени для всего: для работы, для трепа, для перекуров — а для этого?.. Как не противно самим! Славянская манера: быть аккуратным не для себя, а для других».

Многие — как встречные, так и обгонявшие Валерьяна Вениаминовича — здоровались; он отвечал, узнавая и не узнавая. Народ валил валом. «И что мне за вас, граждане, сейчас будет!..»

Дело в том, что подавляющее большинство этих людей, окончивших работу и спешивших на нее,— систематически нарушали трудовое законодательство и инструкции о заработной плате.

Набрать достаточное количество строителей и монтажников — людей в Катаганском крае, как и всюду, дефицитных — сразу стало проблемой.

На первой тысяче поток желающих иссяк; из них часть отсеялась в силу специфики работы в НПВ. Пока осваивали низ — обходились. Но чем выше воздвигалась башня, тем яснее становилось: что-то надо придумывать.

Было тошно смотреть, как стройплощадки, начиная с 3-го уровня, только на восемь, реже на шестнадцать часов из 72 возможных (а на высотах за сто метров и вовсе из 120—180 возможных) заполнялись работающими людьми, а остальное время пребывали в запустении.

Каменел неиспользованный раствор, ржавели, распуская на стыках в бетоне мерзкие пятна, трубы и прутья арматуры, покрывались плесенью углы.

«Послушайте, этак придется начинать текущий ремонт, не закончив помещений!» — тревожился Зискинд. Стоило захватывать Шар, целиться на эксплуатацию сверхускоренного времени, чтобы пасовать перед элементарным «долгостроем»!

И руководители НИИ НПВ, вздохнув, пустились во все тяжкие: на противозаконные совместительства, на такие же трудосоглашения — со своими, и без того работавшими на полную ставку, чрезмерные сверхурочные, сомнительные аккордные и премиальные. Через сотрудников, уже вкусивших благ в Шаре, вели вербовку их знакомцев на других предприятиях и стройках: сманивали в штат или совместить, а то и просто закалымить.

Страшнов, считавший Шар своим детищем, призвал других руководителей не препятствовать тому, что их работники отдадут два разрешенных законом часа переработок на сооружение башни. Те не возражали.

И рабочие не против были отхватить за эти два сверхурочных

часа полную, хорошо оплаченную смену; свои, штатные, и вовсе соглашались пребывать наверху хоть сутками, если при этом окажется, что к вечеру они нормально вернутся домой. И работа пошла веселей: при взгляде снизу этажи башни росли на глазах.

И те, кто вслед за строителями осваивал башню, разворачивали в ней службы, мастерские, лаборатории, начинали в НПВ новые исследования и испытания, смотрели на дело совершенно так же. Никто не был против. Но все упиралось в знаменитый международный жест: потирание большого пальца об указательный и средний — и в не менее знаменитый международный термин «petymety»[1]. За работу надо платить. За хорошую работу надо платить хорошо. За большую надо платить много.

К концу зимы о Шаре у населения пошла слава как об Эльдорадо с бешеными заработками. К нему стал тесниться далеко не лучший работник: рвач, несун, халтурщик. Многих пришлось, уличив в недобросовестности, в опасных недоделках, гнать. Эти тоже пускали славу: о произволе, нещадной эксплуатации... А когда руководители других катаганских предприятий заметили, что работники, которым они не препятствовали, за два сверхурочных часа в НИИ НПВ выматываются, будто вкалывали две смены, и на следующий день у них работа не идет, да узнали, что там они получают больше, чем на основной работе,— посыпались протесты.

Конечным результатом этого было возведение за три месяца сооружения, которое иначе не поставить за многие годы, и развертывание в нем уникальных исследований и испытаний; был ценнейший опыт организации сложных работ в неоднородном пространстве-времени. Но и у зампредседателя Госкомтруда были основания нагрянуть с ревизией.

Его и ждали — но не так скоро.

Внешнее кольцо башни опиралось на двадцать четыре бетонные опоры. В высоте они смыкались арками.

Первое, что бросилось в глаза Валерьяну Вениаминовичу, это новенький лозунг над ближней, золотыми буквами на праздничном пурпуре:

ВОДИТЕЛЬ!
ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ РАЗГРУЖЕНИЯ
ОБЕРЕГАЙ СООРУЖЕНИЯ И ОГРАЖДЕНИЯ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ!

Пец, заглядевшись на него, споткнулся, ругнулся: «Ну, Петренко!..»

---

[1] Пети-мети. *(Здесь и далее примечания автора.)*

Под арки справа неспешно въезжали на спиральную дорогу груженые машины, скрывались за кольцом, через минуту появлялись над его рваным краем, все разгоняясь (по впечатлению снизу) и повышая до истошного воя, до визга звук мотора. Казалось невероятным, что центробежные силы не сбрасывают со спирали летящие на такой скорости машины; зрелище было не для слабонервных.

Другая, бóльшая часть грузовиков оставляла привезенное внизу, у складов и подъемников. Сейчас здесь скопилось около сотни машин; к середине дня соберется сотни полторы-две. Эта — дневная — волна на грузопотоке была опасна заторами.

Валерьян Вениаминович спешил к осевому стволу. Вокруг кивали хоботами краны, катили тележки-автокары, шли люди. В динамиках слышался голос диспетчера: «Машина 22-14 на спираль, выгрузка на 9-м уровне... Машина 40-55, к восьмому складу... Машина 72-02 и машина 72-05, разворачивайтесь к выездным воротам, вас разгрузят на кольце. Быстрей, быстрей!..» («Эт-то еще что за новости?» — остановился на секунду директор, но тотчас спохватился, заспешил: вперед, вверх, там он все выяснит!)

Пец прошел под выступом спирали, миновал арку пониже, между опорами промежуточного слоя. Осевая башня опиралась на три бетонные лопасти, как ракета на стабилизатор. Стены ее уносились ввысь, сияя полосами освещенных окон; здесь было сумеречно, средний слой (его этажи тоже светились, голубея с высотой) отгораживал башню от блеска дня.

— Валерьян Вениаминович!

Останавливать руководителей внизу, обращаться к ним было запрещено категорическим приказом. Но это был исключительный случай: перед Пецем возник референт Синица. Он шагал от башни, но развернулся, пошел рядом с директором:

— Я говорю: может, внизу их поводить подольше, пока...— он не окончил вопроса.— Тоже есть что показать.

Валерьян Вениаминович покосился на него. У референта Синицы были круглые щеки, мягкие черты лица, густая шевелюра; по-женски длинные ресницы придавали глубину ясным глазам — и по глазам было видно, что он все понимает. Референту было двадцать восемь лет.

— Нет, Валя,— отрубил на ходу директор.— Пусть идут куда пожелают, смотрят что захотят. Вы — только провожатый. Все!

Пец вошел в кабину сквозного лифта осевой башни. Вместе с ним втиснулись еще человек пятнадцать, явно сверх нормы. Ну да пока бог миловал.

За минуту подъема директор успел кое с кем поздороваться, перекинуться словом.

IV

На уровень «7,5» лифт доставил Валерьяна Вениаминовича к шестидесяти четырем тридцати — координаторным. Здесь можно было вымыть руки и смочить виски в туалете, вздохнуть полной грудью, не спешить.

Кольцевой коридор устилала зеленая, изрядно затоптанная дорожка; двери были обиты кожей, паркет натерт, стены выкрашены до уровня плеч под ореховое дерево. «Иллюзия бюрократического уюта»,— усмехнулся Пец.

Утренняя секретарша Нина Николаевна, миловидная худая женщина средних лет, поднялась навстречу директору. Валерьян Вениаминович поздоровался, тронул дверь в приемной слева, корневскую: заперта.

— А где?..

Секретарша указала в потолок:

— На самой макушке. Налаживает прием грузовых вертолетов и монтаж.

— Монтаж чего?

— Неизвестно.

— Свяжите.

— Там нет ни линии, ни инвертеров.

— Передайте связистам, чтобы к...— Пец взглянул на стену, на электронное табло, указывавшее время всех уровней,— к семидесяти ноль-ноль связь была. Сводку! — Взял сколотые листки, вошел в кабинет.

Столы буквой Т, стулья, кресла, стол-пульт с телефонами, коммутатором и двумя телеэкранами, коричневая доска на глухой стене, диван со стопкой белья (Валерьяну Вениаминовичу нередко приходилось прихватывать здесь несколько часов сна); шелковые портьеры закрывали пятиметровую полосу окна. Он по привычке отдернул портьеру, но увидел серую стену среднего слоя, торчащие по верху ее прутья арматуры, задернул, отошел к столу; раньше вид из его окон был интересней. «Надо перебираться выше».

Сводка объяснила ему замеченное в зоне действие диспетчера, выгонявшего без разгрузки две машины за ограду: там уже есть площадка вертодрома для перевалки грузов прямо на внутренние вертолеты.

«Хорошо, но почему не послали сразу туда? Перепасовка — упущение кибернетиков? Выяснить».

Отдел освоения взялся за 13-й уровень второго слоя, хорошо... хотя операции освоения не указаны, нечеткость. У «эркашников» стендовые испытания идут нормально (там если и бывает что ненормально, обходятся своими силами — образовали-таки государство в государстве!). Отделочники сейчас переходят на этажи от

150-го до 152-го, под крышу,— тоже хорошо, хоть и перескочили туда прямо с девяностых; зато гостиница-профилакторий к конференции будет готова.

На крышу с Корневым отправились исследовательская группа Васюка-Басистова и монтажная бригада Ястребова. Эге, это серьезно, «ястребов» на пустяковую работу не берут! (Механик, которого Пец завернул с казенным ВЧ-кабелем, оказался «золотые руки». Душу Александра Ивановича он покорил тем, что никогда не требовал подробных чертежей для исполнения нового устройства или приспособления, самое большее — эскизик, а то и вовсе: «Вы мне скажите, что эта штука должна делать?» В экспериментальном деле, когда заказчик, как правило, сам толком не знает, что ему нужно, лучше и не придумаешь. Валерьян Вениаминович не скрыл от главного инженера, что руки у Германа Ивановича не только золотые, но и вороватые. «Вот и надо дать заработать столько, чтобы не тянуло украсть»,— сказал тот. И давал, даже помог подобрать бригаду таких же, на все руки, работающих от идеи, ставил их на самые интересные, горячие, аккордно оплачиваемые дела. Вот и сейчас...) «Но что он там затеял? Ведь договорились выше пятисот метров ничего не сооружать!.. Между прочим, и о предстоящем визите Страшнова и Авдотьина в сводке есть, указано точное время. Значит, Корнев знал — и умотал на крышу, а отдуваться перед Москвой предоставил мне. Очень мило!»

Ага, вот разгадка того ажурного кольцевого нароста в верхней части осевой башни: на высоте трехсот пятидесяти метров за ночь смонтировали трубчатое опорно-подвижное кольцо. Ширина — тридцать метров, высота — сорок. На впечатанных в бетон осевой башни зубчатых рейках с помощью винтовых редукторов оно может опускаться и подниматься — пока в пределах пятидесяти метров, но можно нарастить рейки еще. То есть получается кольцевое здание-лифт, в котором можно делать то же, что и в стационарном, но поднимаясь, когда нужно, вплоть до 55-го уровня. «Ах, черти!..» — Пец даже руками потер. Идея и экспресс-проект Зискинда, расчеты исполнил дежурный помощник главкибернетика Иерихонский, перепланировка грузопотока его же; утвердил Корнев. «Конечно, разве Александр Иванович устоит против такого решения! Я бы и сам не устоял».

Для работ забрали строителей и монтажников с третьего слоя... «Теперь нужность третьего слоя и вообще оказывается спорной. И второго?.. Совершенно новое решение, более соответствующее условиям в Шаре, чем жесткие сооружения. И где раньше была их голова?! А где была раньше моя голова?..»

Это тоже одно из противоречий НПВ: ждать, пока осенит наилучшая идея — время пропадает, не ждать, реализовать первую попавшуюся — работа, и немалая, может оказаться напрасной.

Сводка была вся.

Некоторое время Валерьян Вениаминович сидел, привыкая к новой реальности — частично ожидаемой, частью неожиданной. Что и говорить, событий по времени его семейного ужина, сна и завтрака произошло немало. А день только начинается.

Пец притянул к себе селекторный микрофон, нажал на щитке коммутатора кнопку возле надписи «Комендант». Тот сразу возник на левом экране, зашевелил губами. Но слова:

— Слушаю, Валерьян Вениаминович! — пришли, когда лицо его уже застыло в выражении внимания и готовности; да и голос был мало похож на тот, что директор недавно слышал в проходной: эффект двухкаскадного инвертирования.

— Иван Игнатьевич, лозунг насчет вождения, ограждения и повреждения, пожалуйста, снимите. А то от него могут произойти головокружения. Предлагаю другой: «Времени нет — есть своевременность!» Записали? Только не на кумаче, а как плакаты техники безопасности, черным по желтому. А так, знаете, если даже написать, что завтра в девять утра состоится конец света, все равно не прочтут. Все, исполняйте.

И директор отключился в тот самый миг, когда лицо Петренко начало выражать живой интерес к его словам.

«Так, теперь надо бы предупредить кое-кого, что у нас здесь высокий гость из Москвы в компании с местным высоким гостем...» Валерьян Вениаминович для начала нажал кнопки у табличек «Нач. план. отд.» и «Гл. бух.» — но его вдруг, будто током, передернуло отвращение. Ткнул в алую кнопку отмены вызова, откинулся в кресле. Не будет он ловчить, суетиться — староват для этого! «Шарага чертова! И я хорош: всю жизнь презирал блатмейстеров, брезговал им руку подать, никогда не охотился за льготами и дефицитом и жене не позволял — и так спаскудился на старости лет. Погряз в махинациях — ученый, член-корреспондент!.. Нет, замысел был честный: создать конфликтную ситуацию, пусть разбираются, решают, вырабатывают правила для НПВ. Но — ведь все это, чтобы гнать башню выше и дальше... А надо ли? Вот одна идея с кольцом-лифтом перечеркнула добрую треть прежних усилий — в том числе и махинаций! — три НПВ-года из десяти. А еще не вечер, все впереди! И понимаем-то Шар ничуть не более, чем вначале. Только и того, что выгодно торгуем ускоренным временем — как сочинские обыватели морем и солнцем!»

Он поднялся, вышел из кабинета, кинул секретарше.

— Я в координаторе.

ГЛАВА 9

ОБРАЗ БАШНИ

— У излишне умствующих развивается комплекс «вещего Олега». Это опасно.

— Какого Олега?

— Ну, того придурка, который вместо того, чтобы отпрыгнуть от змеи, принялся декламировать: «Так вот где таилась погибель моя!..»

Диалог

I

Координационно-вычислительный центр, упрощенно «координатор», находился на том же этаже в помещении двойной против обычных комнат высоты в форме сектора круга. Операторы в белых халатах неспешно действовали у пультов электронных машин; попискивали сигналы, мерцали лампочки, перематывались ленты программ, на экраны выползали зеленые строки. Сюда сходились из Шара и внешних служб все сведения, какие только можно было преобразовать в двоичные коды и числа. Числа обезличивали мешки цемента и вибростенды, туннельные нагреватели и печеный хлеб для столовой, человеко-часы и площади лабораторий, рацпредложения и аннотации патентов. Обезличивая-обобщая все, этот отдел, по мнению Пеца, погружался в суть дел в Шаре глубже других.

Из глубины зала к директору подходила Людмила Сергеевна Малюта, в просторечии — кибернетик Люся. Официальное звание ее было — главный кибернетик, кто хотел подольститься, называл и «генеральным кибернетиком», и «ваше математическое превосходительство»... Людмила Сергеевна была хороша собой, хороша зрелой нерастраченной красотой тридцатилетней женщины, она была образованна и талантлива,— она была несчастлива. Будь она только красива, то давно утешилась бы во взаимной любви; будь только талантлива — предоставила бы путь лирических побед другим, сама целиком отдалась бы интеллектуальной жизни. А так — мужчины благоговели перед ней издали, они ее боялись. Она видела, что вызывает чувство,— и презирала этих робких, и сама чувствовала неравнодушие к ним, и презирала за слабость себя и огорчалась, видя, как другие женщины, во всех отношениях уступающие ей, давно устроили свою жизнь, и стремилась отвлечься работой. Операторов она называла «мальчики» и никому, кроме себя, в обиду не давала.

— Перепасовку двух машин кто допустил, Людмила Сергеевна? — строго спросил Пец.

— Мы допустили, Валерьян Вениаминович, мы. Мы!..— со смирением, которое паче гордыни, склонила Малюта оплетенную косами голову.

— Кто «мы»? Кто конкретно повинен? Иерихонский, краса и гордость кибернетического цеха?

— Да, Иерихонский. Да, краса и гордость! Да, повинен!..— Смирение уже исчерпалось.— А что вы хотите, если ночную смену загрузили новыми расчетами и на перепланировку дали всего два часа — да на какую! Вы в курсе, что сотворили на пятидесятых уровнях?..— Пец кивнул.— Ну вот! Думаете, легко ночью перепрограммировать поток так, чтобы туда пошли почти все материалы? Ведь пятидесятикратное же ускорение, Валерьян Вениаминович: минутная задержка внизу — час простоя наверху. Уверяю вас, я тоже проглядела бы пару машин.

— Перепасовок не должно быть ни при каких осложнениях. Вы это знаете не хуже меня, Люся.

— Уже все, я откорректировала. Больше не повторится.

Речь между ними шла о той команде диспетчера, выславшей из зоны без разгрузки две машины. При всей кажущейся незначительности это было опасное действие: устремленному вверх, в башню, потоку в самом напряженном месте давалось смещение поперек.

— Хорошо, что утром,— настырно продолжал Пец.—Днем двух машин было бы достаточно.

Такой случай был в начале марта: скопление тысячи ревущих машин, затор на шоссе до самого города, долгая — и местами аварийная — остановка работ наверху. Даже спираль использовали, чтобы загонять туда грузовики и тем расчистить зону. Машины с грузом выносили за забор портальными кранами. После этого постановили: никаких перепасовок в зоне, никаких смещений в стороны. Только в башню, вверх!

М-да... Валерьян Вениаминович на секунды впал в отрешенность. В сущности никто ничего такого не хотел, все занимались интересной и несомненно разумной деятельностью: заключали договоры с поставщиками, вынашивали идеи для использования НПВ с максимальной отдачей, применяли машины, краны, кибернетику, автоматику... А в целом вышло нечто весьма простое — гладкий мощный поток. А такие потоки — это знает любой гидро- и аэродинамик — несут в себе возможность турбуленции — шумного пенного бурления, колебаний, вибраций, бывает что и разрушительных ударов. Чтобы возбудить турбуленцию в напряженном потоке, достаточно малости, например, бросить в него камешек. Эти две машины и могли сыграть роль «камешка».

Будто свежий ветерок повеял на Пеца от этой мысли: сложная разумная деятельность, суммирующаяся в простое... Но Людмила Сергеевна не дала ее додумать:

— А по-настоящему, Валерьян Вениаминович,— она не считала разговор оконченным,— повинен во всем Зискинд, наш катаганский Корбюзье: так вдруг изменить проект! И главное, ночью... аки тать в нощи! И Корнев хорош: утвердил к немедленному исполнению...

— Так ведь идея отменная, Люся. Жаль, раньше не додумались. Я бы, каюсь, тоже утвердил.

— Да, но где гарантия, что завтра Зискинда не осенит новая идея, перечеркивающая и эту, требующая еще больших перемен?.. Нам не нужен талантливый архитектор, Валерьян Вениаминович, я всегда это считала. Нам нужен усердный исполнительный дядя, для которого утвержденный проект — святыня. Это не архитектурное КБ, а стихийное бедствие! И вы тоже — поместили их на тридцатый уровень. У них замыслы плодятся, как мухи-дрозофилы! Ну, чего вы улыбаетесь?

— Обдумываю вашу идею. Главного архитектора за талантливость вон — сразу спокойней работать. Александр Иванович у нас по этой части тоже неблагополучен — вместо него найдем кого-то подубовей. Порядка еще больше. Затем возникает вопрос: а зачем нам такой одаренный, настырный, всегда заряженный идеями главкибернетик, как вы? После вас дойдет очередь и до меня.

— А, ну вас! Так исказить...— Люся обиженно полуотвернулась.— Вы отлично понимаете, что насчет Зискинда я права.

— Нет, не понимаю и не согласен... А это кольцо уже есть на ваших экранах? — сменил Пец тему разговора.— Я хотел бы поглядеть.

— Еще нет, Валерьян Вениаминович. Во-первых, связисты не установили там телекамеры и не дали каналов. Во-вторых... как я его устрою на своей стене, это кольцо?

II

Под этот разговор они приблизились к экранной стене. Она и издали привлекала взгляд своим сиянием, вблизи же просто подавляла: два этажа по высоте и шесть метров в ширину сплошь занимали телеэкраны — черно-белые и цветные, крупные и мелкие — и каждый показывал что-то свое. Экраны вверху и в центре стены — многолучевые — показывали сразу несколько упрощенных изображений. Картины менялись — где медленно, где торопливым мельканием, где скачками. Экранная стена — эта была сама башня: сверху донизу, все помещения и монтажные площадки всех слоев и уровней. (Точнее, п о ч т и всех: вверху, за цифрой «40» на световых шкалах по краям стены, было немало темных экранов — неподключенных).

Под стеной выгнулся дугой коммутационный пульт, за которым

сидели два оператора. Перед каждым лежали бинокли; ими они пользовались, чтобы разглядеть верхние экраны.

— У нас здесь все жестко,— продолжала Люся,— не как в свободном пространстве вокруг башни, где будет кататься кольцолифт имени Зискинда. Что же, и нам делать два подвижных щита с экранами — и опускать или поднимать их по уровням-шкалам вместе с кольцом? Это же ужасно сложно!

— Ну, зачем! Даже странно от вас, кибернетика, такое слышать,— недовольно проговорил Пец.— Поставьте экраны для кольца с хорошим запасом вверх и вниз — и несложную коммутационную систему, которая будет включать нужные ряды в соответствии с его положением.

Это действительно было простое решение — только в пылу полемического неприятия новшества Людмила Сергеевна не пришла к нему сама. Получилось, что Валерьян Вениаминович нечаянно, но довольно больно задел ее самолюбие. Малюта изменилась в лице, смотрела на Пеца исподлобья с нежной злостью:

— Валерьян Вениаминович, в случае чего — место старшего оператора у нас всегда за вами. И уж я-то вас никому в обиду не дам! — И отошла, шелестя полами халата, вредная баба: сквиталась, уела, последнее слово осталось за ней — теперь все в порядке.

«Ну и ладно,— миролюбиво подумал Пец, взял стул, повернул его спинкой вперед и уселся позади операторов, положил голову на руки; но первые секунды смотрел на экраны, ничего не видя.— В случае чего... А я-то хотел по селектору предупреждать. Все уже знают о высокой комиссии, даже слухи соответствующие циркулируют: в случае чего!.. Так, все об этом! — Теперь он смотрел на экранную стену.— Первое: начальнику связистов сделать жесточайшее ата-та по попке — вон сколько «черных дыр» наверху, куда это годится?.. Второе: кого и куда переселять в новые помещения? Претензии будут у всех, фраза «меня повысили» у нас имеет двойной, если не тройной, смысл. На очередном НТС из-за верхних уровней будет свара — именно поэтому надо составить свое мнение. Начнем с самого низу».

Мозаика экранов на стене образовывала сияющие группы. В центре усеченная пирамида до самого потолка — развертка помещений осевой башни, по обе стороны ее две широкие полосы — половинки промежуточного слоя; за ними еще две короткие полосы — внешний слой. Под всем этим овал из экранов — зона.

«Снабженцы как были внизу, так и останутся, для них важнее связь с внешним миром, чем с башней. Ремонтные мастерские... Где они? — Пец поискал, опознал взглядом квадратики с медленным шевелением на уровне «4».— Этих безусловно на 50-й — чтобы время ремонта определялось только доставкой неисправного в мастерскую, а то к ним очередь... Точно так и экспериментально-нала-

дочные. Они устроились на 6-м уровне, низко. «Дорогу идеям!» — лозунг Корнева, к которому я целиком присоединяюсь: самый исследовательский смак, когда свеженькая, не измусоленная сомнениями, не запылившаяся от долгого лежания идея воплощается в металл, в электронную схему, в стенд. Стало быть, их на 60-й... Теоретический отдел Б. Б. Мендельзона, вон те комнаты около оси на 5-м уровне: склонились теоретики над бумагами, никто и голову не поднимет. Толку пока от них маловато, ни одну проблему Шара еще не высветили — и может быть, не без того, что времени им не хватает. Этих, пожалуйста, хоть под крышу, на стопятидесятый, места занимают немного — лишь бы результат давали...»

Глаза Валерьяна Вениаминовича сами стремились от сонного царства нижних уровней к верхним экранам, где кипела жизнь. «Нет, погоди, вот еще тонкие места внизу: столовая и буфет на 3-м уровне. Вечная толчея, очередь... Вон, все будто замерли у стоек самообслуживания, подавальщицы еле перемещают-наполняют тарелки. (На самом деле в два с половиной раза быстрее, не брюзжи!) Их... куда? Проблема похлебать горяченького не шибко научная, но без нее и остальные не решишь. Их... никуда. Просто открыть в середине и наверху еще столовую и пару буфетов, вот и все. А в тех пусть кормятся «низы»... Теперь... а не ну ли их всех к черту?! — вдруг рассердился Пец на проблемы, на службы и на себя.— В самом деле, через час-другой могу загреметь — да не в операторы Люси Малюты, а вообще из Шара — сижу в координаторе, вполне возможное, в последний раз... а размышляю о ерунде, о текучке. Еще и под суд отдадут. Власть есть власть, закон есть закон... особенно если московская ученая мафия целится на Шар, имеет своих кандидатов и на мое место, и на корневское. Там теперь спохватились, что упустили жирный кусок. Э, об этом тоже не стоит!..»

Он распрямился, вытянул положенные на спинку стула руки, окинул взглядом экранную стену. Вот о чем вопрос стоит сейчас: образ башни, внедряющегося в НПВ выроста из обычного мира с обычными людьми. Он такой, да не такой, как на экранах. «Краса и гордость» координатора Шурик Иерихонский, который этой ночью проштрафился, вычертил рассчитанную им модель башни в эквивалентных сечениях — имея в виду, что при нормальной загрузке один квадратный метр рабочей площади на уровне «10» равен десяти обычным и чем выше, тем и больше. «Эквивалентная башня» в противоположность реальной расширялась с высотой наподобие граммофонной трубы; диаграмму так и назвали — «Иерихонская труба». Что более реально — она или видимое глазами?

...А «эффект исчезновения»? Первыми его открыли зеваки. Их немало прибредало к зоне, особенно в погожие дни; в выходные так и целыми семьями, с биноклями и подзорными трубами, с фото-

аппаратами; некоторые волокли портативные телескопы. «РК-шники» и кадровики протестовали, требовали от Пеца принятия мер... А каких? Шар не спрячешь. Выставили милиционера, который время от времени у кого-либо зазевавшегося засвечивал пленку, составлял протокол; любопытствующей массе это было как слону дробина.

Налюбовавшись картинами искажений в Шаре, быстрых удалений и взлетов вертолетов, свечений еле теплого, отвердевающего бетона, радиаторов машин, нацокавшись языками, накачавшись головами, местные жители, естественно, начинали искать в бинокли и телеобъективы знакомых. И оказалось, что узнать работающих в доступных для наблюдения местах средних и высоких уровней невозможно. Мертвые предметы, хоть и искаженные по виду и расцветке, пожалуйста, а живые люди все расплывчаты и как бы сходят на нет.

И это тоже была реальность НПВ. Ее Валерьян Вениаминович видел сейчас на экранах, поднимая глаза к верхним рядам их: мультипликационная быстрота движений работающих, особенно строителей, монтажников, отделочников, нарастала от этажа к этажу. Вот на тридцатом уровне во 2-м слое упрощенные фигурки быстро-быстро накидывают лопаточками раствор в прямоугольничек-ящик, подхватывают, переносят, забавно семеня ножками, выливают на разлинованный прутьями арматуры, засыпанный щебенкой пол, быстро-быстро разравнивают, притирают... в глазах рябит. Пальцы на руках неразличимы, как бы отсутствуют, лица — пятна с дырочками глаз, рта и ноздрей. 36-й уровень, монтажная площадка на экране справа: здесь уже расплывчаты движения рук работающего, не понять, что он делает ими, все накладывается на экран пятнами послесвечения — рук у монтажника больше, чем у индийского божка. Фигурка отступила, видно перекрестие двутавровых балок с болтами; гайки навиничиваются на болты мгновенно и будто сами по себе.

46-й уровень второго слоя. Телекамера показала рваный край бетонной стены, из которого выступала решетка арматуры. Стена и прутья вдруг закрылись дощатыми щитами, опалубкой для заливки бетона. Как бы сами заслонили ее щиты — люди там перемещались столь быстро, что чувствительные ячейки телеэкрана и человеческого глаза не успевали реагировать. Эффект исчезновения!.. Вот на экране рядом в пустом вроде бы помещении часть пола темно-серая, другая светлая, оборвана ломаными зазубринами. Светлая часть наступает на темную, будто съедает ее треугольными зубьями... и за считанные секунды съела всю. Пец нашел на пульте нужную кнопку, включил каскад инвертирования — увидел: два продолговатых пульсирующих комка настилают паркет.

Никакой мистики, быстродействие телесистем пасует перед ускорением времени. И голос человека, крикнувшего (или позво-

нившего по телефону, все равно) оттуда, не услышишь без инвертеров: он весь смещается в ультразвук. И цвета, окраска, оттенки в НПВ не характеризуют предмет, обращать на них внимание — только расстраиваться... «Отметая шелуху подробностей, мы выделяем суть,— думал Валерьян Вениаминович.— Какую же суть предлагаешь ты нам понять, коварный Шар, отметая т а к и е подробности?»

Ему вспомнилось, как неделю назад в башню заявились, заказав пропуска, руководители краевых творческих организаций — писательской, композиторов (Пец, поклонник серьезной музыки, и не знал, что они в Катагани наличествуют во множественном числе), художников и актеров. С целью арендовать этажик повыше для объединенного Дома творчества. На предмет ускоренного создания выдающихся актуальных произведений: романов, повестей, симфоний, ораторий, картин, спектаклей, теле-шоу и тэдэ. Поскольку в обычных условиях они не успевают откликнуться на очередные социальные установки крупным жанром. А времена пошли обязательные: столетия, пятидесятилетия, тричетвертивечия, исторические решения минувшего съезда и еще более исторические надвигающегося. На все это литература-живопись-музыка-театр не может не... На все надо...

Пец был польщен визитом, интересом к НПВ, пленен идеей — но рискнул все-таки высказать свой, ужасно старомодный взгляд, что непреходящая сила истинного искусства не в отражении злобы дня, для этого хватит газет, а в том, что оно проникает в глубины душ, в «тайны создания», как писал Гоголь, и что-де поэтому оно, настоящее, всегда злободневно и нужно. И — почувствовал, что его не понимают. То есть, может, и понимают, но смотрят, как на придурка. Какие еще «тайны»!.. Валерьян Вениаминович, стремясь нащупать общий интерес, заговорил о том, что неоднородное пространство-время очень своеобразная и мало изученная среда обитания, что многие загадки его наверняка окажутся более подвластными исследованию методами искусства, чем рационалистическому подходу ученых,— так не...

— Не,— снисходительно оборвал его Ал-др Брудной, местный писательский лидер и лауреат,— это ж совсем не то, на что нас нацеливают! Очерки о вашем героическом труде — это дадим.

Словом, Пец быстро осознал, какая лавина халтуры может хлынуть на головы беззащитного населения из «дома творчества» в Шаре,— и отказал наотрез. Уж бог с ними, с очерками! Сановные служители муз удалились, громко сетуя и обещая дело так не оставить. Действительно, из крайкома потом последовал неприятный звонок.

«Но все же, все же, все же,— думал сейчас Валерьян Вениами-

нович,— я правильно тогда об этом заговорил, хотя и не слишком внятно. Да и не с «начальниками литературы и искусств» о таком надо: они люди конченые, для них космос и кукуруза, наше НПВ и Чернобыльская катастрофа — одна и та же тема под названием «как ловчее преуспеть». Но все-таки: вот человек, его дело, его труд — самое, действительно, важное, меняющее мир... и нету в НПВ поз, кои могли бы запечатлеть скульпторы, выразительных движений для описаний словами, игры красок, линий, света — для художников. Нету! Мура это все, оказывается, здесь — то есть и вообще (поскольку НПВ — о б щ и й случай реальности) мура, которой мы в однородном мире ошибочно придаем значение. Внешность, показуха... Но что-то должно выделиться главное... что? К примеру: как выглядел бы на экране я, сидящий вот так на стуле где-то на сотом уровне? Да, пожалуй, так же, со всеми малоподвижными подробностями. То есть НПВ прежде всего делает неразличимым ф и з и ч е с к и й труд. Тот, что во поте лица. А умственный — не столь. И «Мыслитель» Родена сидит, а не вздымает молот. Так что: выделяется примат мысли, замысла?..»

И снова холодок истины, еще не одетой в слова, чувствуемой пока только своей наготой-новизной, повеял на Пеца. Но в этот момент его дальнозоркие глаза наткнулись на самых верхних экранах на форменное безобразие: две кучи — в одной новые унитазы, в другой писсуары — на фоне стены из кремового кафеля. «Эт-то кто же додумался в мужском туалете телекамеру установить?! — заклокотал директор.— Кругом «черные дыры», а тут — здрасьте! Не справляется Терещенко, хоть снимай...» К черту полетели общие мысли, перед экранной стеной сидел взъерошенный администратор. Так каждый день, каждый час в башне Пеца шарахало от общего к конкретностям, от горнего в болотистые низины; в этом была его маета, а может, и спасение, потому что всякий раз он снова самоутверждающе карабкался вверх.

В эту минуту унитазы на экране быстро и будто сами по себе (около них дрожало почти прозрачное пятно) выстроились в ряд, уходя в перспективу; их было шесть. За ними вдоль стены выстроились бачки. Затем куча писсуаров как бы сама начала метать на фронтальную стену свои предметы один за другим; образовался идеальный ряд их на нужном для мужчин уровне.

Валерьян Вениаминович смотрел — у него отвесилась челюсть. «А что, и по такому можно заметить работающего человека: унитазы и писсуары были свалены в кучи, а выстроились в ряды с нужными интервалами. Преобразование в антиэнтропийную, упорядоченную сторону. Согласно чертежу, проекту, замыслу. Так, может, это?..»

За спиной звякнул телефон.

— Валерьян Вениаминович, вас,— окликнула его Люся.

— Скажите, что иду.— Пец поднялся, повернул стул в прежнюю

позицию, неспешно направился к двери. «Сейчас мне будут делать ата-та по попке. По моей старой морщинистой попке...»

И все-таки последняя мысль была обобщением его сиденья перед «экранной стеной». Полумысль-полуощущение: стремительного потока, прущего против тяготения вверх — вроде извержения, только без ниспадающей части. Потока, нарастающего с каждым их (их?..) действием и несущего их всех неизвестно куда.

ГЛАВА 10

ПЕЦУ ПЕЦЕВО...

— ...как сказал Семен Михайлович Достоевский.

— Во-первых, не Семен, а Федор, во-вторых, не Достоевский, а Буденный, и, в-третьих, он ничего подобного не говорил.

Диалог

I

71.05 координатора. Приемная. Возле секретарши, оживленной и похорошевшей, склонился, рассказывая интересное, референт Валя. При виде директора он распрямился, стал серьезным и сочувственным:

— Они у вас, Валерьян Вениаминович. И главный бухгалтер. Были у него, у плановиков, в отделе кадров...

— Ясно. Связь с Корневым, с крышей? — это был вопрос Нине Николаевне.

— Связи нет, и Терещенко скоро не обещает. На 130-м уровне, он говорит, нужен дополнительный каскад инвертирования, а туда еще не подвели электричество. Кроме того, он сомневается, сможет ли с аппаратурой подняться на крышу: в последних десяти этажах все на живую нитку, даже лестница без перил.

— Но Корнев и его команда как-то добрались!

— Вертолетами, Валерьян Вениаминович, с самого низу. Им и грузы так доставляют.

— Передайте Терещенко, что если через час связи не будет, то этим он окончательно докажет свое несоответствие занимаемой должности и сегодня же будет уволен. Что значит: нет электроэнергии, нельзя добраться! Есть аккумуляторы, есть подъемные люльки, те же вертолеты... Да и лестница без перил — все же лестница. Любитель комфорта!.. Вы, Валя, сейчас отправляйтесь на крышу. Выразите Александру Ивановичу мое неудовольствие тем,

что он не согласовал свою работу на крыше и не обеспечил связь. Известите о высоких гостях, которые рассчитывают на встречу и с ним. Пусть спускается. Сами сразу обратно, ясно?

— Мне-то ясно, а вот Александру Ивановичу...— В голосе референта не было энтузиазма. И он, и Пец понимали, что на крыше сейчас жарко и не такой человек Корнев, чтобы упустить свежего работника.

— Все, исполняйте.

И Валерьян Вениаминович проследовал в кабинет.

Главбух был бледен и трепетал. Страшнов озабоченно помаргивал. Зампред был гневно-торжественен. Все трое сидели за столом для совещаний. Перед Авдотьиным веером, как карты, были раскинуты бумаги. Как ни настраивал себя Валерьян Вениаминович, что ничего он не боится, но все-таки, живой человек, почувствовал противную дрожь в поджилках.

— Ну, знаете!..— встретил Авдотьин директора возгласом.— Я два десятка лет на контролерской работе, но подобного не видывал. Думал, в письмах и жалобах на вас процентов девяносто наврано, слишком такое казалось невероятным. А теперь убедился, что не только не наврано, но отражена в них лишь малая доля ваших, будем прямо говорить,— зампред нажал голосом,— преступлений, товарищ директор! Ваших и главного инженера.

— Я предупреждал... предупреждал и Валерьяна Вениаминовича, и Александра Ивановича,— блеющим голосом сказал главбух.— Но они приказывали... Я предупреждал и о том, что буду вынужден сигнализировать.

«Ты сигнализировал и чист, чего же ты сидишь с видом навалившего в штаны?» — мысленно огрызнулся Пец, усаживаясь напротив Авдотьина.

— Вот,— тот нервно листал бумаги.— «Оплатить. Пец», «Оплатить под мою ответственность». И будет ответственность, очень серьезная, за вопиющее попрание финансовой дисциплины, за левачество... А нарушения трудовых законов! Вот: приказы о повышении в должностях одних и тех же лиц дважды и трижды в течение недели. Увольнения без предшествующих взысканий, немедленные: «...лишить пропуска и выдворить с территории института до 24.00»! Вы что — диктатором себя возомнили, удельным князем? Да за все эти художества вас и Корнева необходимо судить!

— Ну-ну,— подал голос Страшнов,— зачем такие слова?

— А как вы думаете?! — разгоряченно повернулся к нему зам.

— Что ж,— молвил Пец,— может, это действительно выход из положения: судебный процесс надо мной и Корневым. Желательно показательный, с привлечением общественности и прессы. Возможно, суд и установит, как надо работать, не нарушая законов, в условиях, никакими законами не предусмотренных.

— Смотрите, как рассуждает! — зампред даже всплеснул руками.— Вы что, хотите сказать, что для вас законы не писаны?!

Валерьян Вениаминович тоже разгорячился от нервного разговора, хотел ответить резко. Но его опередил Страшнов.

— Но ведь, кроме шуток, Федор Федорович, все так и есть,— мягко заговорил он,— не написаны еще для неоднородного пространства и времени законы и инструкции. Со столь серьезной спецификой нельзя не считаться... Я одного не пойму, Валерьян Вениаминович,— повернулся он к Пецу,— почему вы не обратились со своими затруднениями к нам? Обсудили бы, придумали что-нибудь вместе. Ведь насчет благожелательного отношения крайкома у вас сомнений быть не должно: средства и фонды для вас изыскивали, кадрами помогали...

— Раз поддержали бы, другой — отказали, третий — середка на половинку,— ответил директор.— И все это были бы полумеры, все на грани конфликта с законами. Да и времени бы это отняло у нас — самого дефицитного, нулевого! — массу. А так все грубо и просто: вот Шар, неоднородное пространство-время, сооруженная в нем за три месяца башня — мощнее Останкинской! — действующий институт, испытания, исследования... Короче, с одной стороны, наши дела, а с другой — противоречия с явно неприменимыми в наших условиях законоположениями. И надо решать не для отдельных случаев, а в целом. Так что, если хотите, мы шли на скандал с открытыми глазами и чистой совестью.

— С чистой совестью?! Люди с чистой совестью, о господи! — завелся, как с полоборота, Авдотьин.— Где этот приказ?

— Вот,— пододвинул крайнюю в веере бумагу главбух. Рука у него дрожала.

— Послушайте, Виктор Пантелеймонович, что выкомаривают эти «люди с чистой совестью». «Приказ № 249 от 10 февраля по НИИ НПВ... Пункт первый... это неважно. Ага, вот пункт четвертый: «Инженера А. А. Васюка назначить руководителем исследовательской группы высотного сектора с окладом 220 рублей в месяц». Пункт пятый, следующий: «А. А. Басистова зачислить ведущим инженером в исследовательскую группу высотного сектора с окладом 180 рублей в месяц».

— Так что? — поднял брови Страшнов.

— А то, что А. А. Васюк и А. А. Басистов — не два человека, а один: Анатолий Андреевич Васюк-Басистов. А вы о высоких материях, совести... Это же прием махровых очковтирателей!

Прием был действительно не из светлых. Страшнов был шокирован. Пец вопросительно глянул на главного бухгалтера. Тот приподнял плечи, пробормотал: «Александр Иванович...» Да, здесь чувствовалась бойкая рука главного инженера. Но раз сделано — надо защищать.

— Васюк-Басистов... кстати, это тот самый, что проявил исследовательское мужество в Таращанской катастрофе, работает, как и многие в высотном секторе, не за двоих, а за пятерых. Сопоставьте его заработок с тем, что вверху сейчас средняя продолжительность рабочего дня около тридцати часов. А скоро будет еще больше. Или и в этом случае надо руководствоваться положением, что у инженеров трудовой день не нормирован?.. Хорошо.— Валерьян Вениаминович почувствовал, что пора переходить в наступление.— Наши распоряжения отменить как незаконные, меня сместить и под суд, Корнева тоже... Но не можете вы не понимать, что это не решение проблемы. А организация и исполнение работ в НПВ есть проблема — не источник наживы и злоупотребления, а большая проблема. Или и проблему закрыть за несоответствие?

— Да, Федор Федорович,— вступил секретарь крайкома,— здесь нельзя рубить сплеча, ориентируясь на живописные факты. Надо вникнуть в специфику, решить комплексно. Я не оправдываю всего, что здесь предпринято, но... Судите сами, ведь нельзя увольняемого за несоответствие работника держать положенные по закону две недели, если им соответствуют многие м е с я ц ы внутреннего времени. За эти месяцы тот дурак такого наломает!..

— Необходимо учитывать не только местную специфику, но и государственные интересы,— не поддавался зампред.— Девальвация может получиться от таких сверхзаработков.

— А вот это мне непонятно: как от нашей деятельности может получиться девальвация? — вскинул голову Пец. Даже главбух позволил себе робко улыбнуться.— Мы государству не стоим ни копейки и приносим немалую выгоду. Поинтересуйтесь у наших заказчиков: радиоэлектроников, ракетчиков, химиков — сколько денег сэкономили они благодаря ускоренным испытаниям на надежность своих устройств и материалов только на свертывании дублирующих разработок?

— На конец квартала восемьдесят два миллиона рублей,— тихо, не слишком стремясь быть услышанным, произнес главбух.

— Девальвация бывает не от того, что люди хорошо зарабатывают, а от неправильной, экономически необоснованной шкалы цен и расценок,— внес ясность бывший экономист Страшнов.— Грубо говоря, оттого, что много платят за то, что мало стоит.

— Вот-вот. А мы никого расценками не балуем, платим по общепринятым,— добавил Пец.

— Согласно тарифным справочникам,— уже чуть громче подал голос главный бухгалтер.

Зампред постепенно успокаивался. То ли внял доводам, то ли на него произвело впечатление, что не чувствует себя директор виноватым, не трепещет и не кается. Разговор далее продолжался в спокойных тонах. Порешили, что товарищ Авдотьин останется

в институте до конца дня (тот легко согласился), ознакомится с ходом работ, поговорит с сотрудниками, узнает их мнение и составит свое. В тех случаях, где сочтет себя компетентным, решит сам, а в остальном («Заранее уверен, что преимущественно будет «в остальном»,— подумал Пец) представит доклад в Госкомитет. Затем, видимо, придется организовать комиссию («Непременно с участием ученых»,— вставил секретарь крайкома), которая все обстоятельно изучит и даст рекомендации.

— А пóка как нам быть? — спросил Валерьян Вениаминович.

— Пока?.. В худшую сторону ваша практика измениться не может, потому что хуже некуда,— с остатком прежней злости сказал зампред.— Действуйте не в ущерб делу и людям. Только,— он постучал пальцем по приказу № 249,— не давайте пищи анекдотам.

Эту пилюлю пришлось проглотить. Для начала Пец отправил Авдотьина в координатор: обозреть все в целом, подумать. Потом им займется референт.

За время беседы было выкурено с десяток сигарет. Оставшись один, Валерьян Вениаминович открыл окно, чтобы проветрить кабинет. Но из подсвеченных электрическими лампами сумерек потянул сложный букет запахов: сырой бетон, неполностью сгоревший в газовых резаках ацетилен, нагретый битум, машинное масло и...— он с интересом потрепетал ноздрями, не ошибается ли,— свиной навоз. Откуда-то определенно пахло свинарником. «Что за новость? Химикалий такой употребляют, что ли?..» Пец закрыл окно, включил кондиционер.

II

В то самое время, как кабинет директора покидали высокие гости, десятью этажами ниже по лестницам осевой башни поднимался, шагая через ступеньку, долговязый черноволосый человек в берете, тренировочном синем костюме и очках. У него была такая привычка: последние пролеты преодолевать не в лифте, а пешком — для укрепления ног и настройки на дела. Сегодня Юрию Акимовичу это было особенно необходимо.

«Ну, сейчас папа Пец мне выдаст: да как вы пошли на такую авантюру, да смешали грузопоток, да поставили под угрозу ночные работы!.. И отлично, и пожалуйста, пора выяснить отношения, расставить точки над «i». Существует нормальная последовательность сооружения объектов, многоуважаемый Валерьян Вениаминович: подготовка площадки, закладка фундамента, сооружение надземной части, сантехмонтаж, отделка — и только после этого сдача и ввод в эксплуатацию. И если эта последовательность нарушена, то с архитектора, как говорится, взятки гладки. А у нас она не то что

нарушена, ее и не было никогда, все смешалось, как в доме Облонских. Одну подземную часть трижды перепроектировал и переделывал (сейчас снова переделывать на этот... «вихревой вороночный ввод») четыре раза менял проект зоны эпицентра. А эти три слоя! А сдача в эксплуатацию недостроенных этажей! А спираль!..»

(«Погнался за интереснятиной в Шаре: возведение башни в неоднородном пространстве — с искривлением тяготения, ускорением времени... ах, ах! Вот и имеешь мороку на всю жизнь: чем дальше вверх, тем больше проблем».)

«...А вообще говоря, Валерьян Вениаминович, вы не очень: пока объект сооружается, архитектор на нем царь и бог. Так заведено с античных времен. А у нас здесь кто архитектор? Надсмотрщик, прораб, погоняла, разрешитель текущих забот, мальчик для битья... Кто угодно, только не творческий руководитель проекта! А ведь архитектура, смею заметить,— это искусство. Конечно, когда надо что-то, так «наш катаганский Корбюзье», ах-ах! А как начинаются осложнения, то Зискинд не так спроектировал, Зискинд не учел специфики, Зискинд то, Зискинд се... мальчик для битья».

(«Мне показалось снизу — или в самом деле кольцо-лифт монтируют с перекосом? Да точно, слева забетонировали этажа на два выше. И куда там прораб смотрит, в осевой башне нагрузка неотцентрована, если еще кольцо добавит... Забыли, что в Таращанске НПВ выделывало, начисто забыли! Может, подняться сразу туда, минуя дирекцию? Нет, выйдет некорректно, папа Пец подумает, что я тру́шу, уклоняюсь от разговора».)

«...Я отпарирую очень просто: Валерьян Вениаминович, если бы я мог с вами связаться по телефону, то непременно согласовал бы. Но у вас же его нет. Бережете свой покой, а теперь сами в претензии!...»

В кабинет директора Юрий Акимович вошел энергичной походкой. Пец поднялся навстречу ему из-за стола.

— Ругать будете? — воинственно спросил архитектор.

— Нет, Юра, не буду. Все правильно, напрасно вы поспешничали, чтобы поставить меня перед фактом, только себе и другим жизнь вчера осложнили. Я бы согласился.

— Ну, вот — поди знай...— Худое лицо Зискинда выразило облегчение, но заодно и разочарование, что доводы, которые он приготовил, остались без применения.— Так я пойду?

— Жаль, конечно, что решение не вызрело раньше,— продолжал Пец,— но если бы затянули с ним и дальше, отклонение от оптимальности было бы еще худшим. Так что и вам это должно послужить уроком...

— В смысле? — насторожился архитектор.

— В смысле безудержно смелого — но в то же время и комплексного, хорошо рассчитанного — проектирования в НПВ. Проек-

тирования-фантазирования, если хотите. С большим запасом возможностей. Симфонического такого, понимаете?

— Симфонического — это звучит. Проект-симфония... Уже, Валерьян Вениаминович, рисуем помаленьку. Проект Шаргорода. Закачаетесь, когда выдадим.

— Не помаленьку надо. Форсируйте.

— Бу сде... так я пойду?

— Объясните мне только, что делает на крыше Корнев с раннего утра? С ним группа Васюка и бригада Ястребова.

— На крыше?! — Теперь на лице Юрия Акимовича были озадаченность и тревога.— Но ведь договорились же на крыше ничего не делать! Послушайте, это опасно: они там нагрузят осевую башню с перекосом, кольцо-лифт еще не сбалансировано, да внутри башни... может плохо кончиться.

— Значит, не знаете? — Директор присел на край стола.— Между тем они там четвертые сутки по своему времени... Юра, вас переселили наверх не только для ускоренного проектирования, но и для присмотра за всем. Верх отсюда почти не координируется, вы же знаете.

— Ну, Валерьян Вениаминович, Корнев есть Корнев. А как они туда доставляют все? Лифт до крыши не ходит, лестницы ненадежны.

— Корнев есть Корнев, Зискинд есть Зискинд, а диетическое яйцо — это диетическое яйцо... Вертолеты им все доставляют. Знаете, вертолет есть вертолет.

— Да ла-адно, Валерьян Вениаминович, я все понял! — Зискинд даже переступил ногами от нетерпения.— Я пошел выяснять.

— Секундочку.— Пец подвел архитектора к окну.— Обоняние у вас нормальное? Что вы скажете об этом? Новое в высотном строительстве? Упрочняющие присадки свиного навоза к бетону?

Зискинд недоуменно потянул ноздрями — и даже побледнел:

— Не надо так шутить, Валерьян Вениаминович! За такие вещи... Хорошо, я разберусь, доложу.— Он метнулся к двери, исчез.

Валерьян Вениаминович закрыл окно, сел в кресло. Он почти зримо представил, как главный архитектор, заряженный этим разговором, ракетой возносится на высокие уровни — выяснять, наводить порядок, приводить в чувство... А его самого кресло располагало к отдыху. «Нет, рано». На табло координаторных часов над дверью было 72.10. Директор нажал кнопку, в дверях появилась секретарша.

— Связь с крышей?

— Еще нет.

— Готовьте приказ об увольнении Терещенко.

— До 24.00 Земли? — уточнила Нина Николаевна срок, в который бедный бригадир связистов навсегда покинет Шар: ей такие приказы были не впервой.

— Да, как обычно.

— Ясно.— Секретарша подошла к столу, положила перед Валерьяном Вениаминовичем бумагу.— Я справилась о грузах, которые доставлены на крышу Александру Ивановичу, вот перечень.

— Вы умница, Нина, спасибо. Как я сам не сообразил! — Пец живо потянулся к листку.

— И еще, Велерьян Вениаминович: бригаду Ястребова вертолетами доставили вниз, двух инженеров группы Васюка тоже. На вертодроме погрузили в автобус, чтобы развезти по домам.

— Уснули?

— Да.

Пец несколько секунд думал, до какой степени надо вымотаться, чтобы мгновенно уснуть в грохочущем вертолете. «А все Корнев: как сам двужильный, так и думает, что все такие». Секретарша ушла. Он углубился в бумагу. Радиолокатор дальностью до 800 километров с параболической антенной, телескоп Максутова, осветительные прожекторы, три бухты капроновых канатов, лебедки, аэростаты, баллоны с гелиево-водородной смесью, листы толстого плексигласа, аппарат газовой сварки, аккумуляторы, дюралюминиевые рейки и уголки, ящики с крепежными деталями... десятки тонн грузов! А еще продукты, мешки с песком... «Во всяком случае, теперь понятно, что он там сочиняет».

В динамике раздался голос секретарши:

— Валерьян Вениаминович, крыша дает связь! Переключить к вам?

— Конечно! — Пец повернул кресло к селекторному пульту.

На верхнем экране среди тьмы замаячило голубоватое пятно — сверху поярче, снизу тусклее.

— Алло, приемная, даю проверку разборчивости! — донесся из динамика высокий голос без обертонов; в нем от терещенковского баритона остался только украинский акцент.— Одын... два... тры...

Директор нетерпеливо нажал четыре раза сигнальную кнопку — знак, что звуки различаются нормально.

— Ясно! Даю импульсную синхронизацию изображения. Пятыкратная... (У голубого пятна на экране наметились расплывчатые, меняющиеся скачками очертания — но и только; Пец нажал кнопку один раз: плохо). Даю десятыкратну... (Теперь ясно было, что пятно — это лицо, но чье — узнать невозможно, мелькающие черты накладывались, смазывали друг друга послесвечением; директор снова нажал кнопку). Даю двадцатку...— и на экране рывками, будто быстро сменялись фотографии, замелькало сосредоточенное, с резкими чертами лицо Терещенко: фас, полупрофиль, профиль, наклон головы... Электронное реле телекамеры на крыше теперь выхватывало для передачи вниз каждый двадцатый кадр развертки.

Это было приемлемо. Пец четырежды нажал кнопку. Захлопотанный бригадир взглянул наконец на свой экран, заметил директора:

— Алло, Валерьян Вениаминович, докладываю: связь установлена, на крыше никого нет.

— Как нет? — Пец даже приподнялся в кресле.— А что там есть?

— Докладываю: по краям площадки три лебедки. Он там, скраю,— аккумуляторы. Целый массив, в жизни столько не видел. Барабаны лебедок пустые, канаты тягнуться вертыкально вверх. И кабели от аккумуляторов туда ж... А шо вверху — не выдно, бо темно.

«Ясно, сейчас спустятся»,— хотел, да не успел сказать Валерьян Вениаминович. Лицо Терещенко закинулось вверх:

— Ага, лебедки включились, барабаны накручують канат! Зверху щось опускаеться прямо на мэнэ. Отхожу к краю, показываю...

Из тьмы вверху показался сначала сноп прожекторного света, а за ним нечто, похожее... собственно, ни на что не похожее. Так мог бы выглядеть инопланетный корабль. На штрихах решетчатой конструкции держалось прозрачное, в форме шестиугольной призмы помещение, в котором находились освещенные серым светом люди и приборы; центр призмы занимал короткий толстый ствол телескопа Максутова. Решетчатую основу подпирали с боков сомкнутые в треугольник баллоны аэростатов. Другие три висели над сооружением на коротких канатах.

Все это скачками нарастало, снижалось. Ушли за пределы экрана аэростаты. Весь обзор заняла прозрачная кабина величиной с малолитражный автобус. «Вот на что толстый плексиглас пустил!» — Пец покачал головой.

В ту же секунду экран заслонило одухотворенное, осунувшееся и от этого казавшееся еще более носатым лицо Корнева. Скачками, в соответствии с выборочной разверткой оно меняло выражение с бесшабашно-раскаивающегося на умиротворенно-доброе, на вдохновенное, на весело-скептическое... И независимо от этого звучал-тараторил сдвинутый по частоте, обесцвеченный инвертированиями, но тем не менее его, корневский голос:

— Валерьян Вениаминович, я все понимаю! Я заслуживаю, и я признаю... Я рассчитывал успеть к этой комиссии — но всякие осложнения!.. Мы поднялись почти на два километра, Валерьян Вениаминович, представляете? И пусть Юра Зискинд не плачет и не боится, что мы перегружаем его малютку-башню. Вы же видите, мы не только не нагружаем ее, напротив — тянем вверх, как казака за чуприну... А что мы там видели, Валерьян Вениаминович! Эти мерцания!..

Пец смотрел на экран и чувствовал, что не сможет сказать те

горькие фразы, которые приготовил для Корнева,— и за партизанщину, и что он отдал его на заклание правительственному ревизору, спихнул на него всю текучку... Было приятно наконец увидеть и услышать Александра Ивановича — тем более что они соорудили такую штуку и поднялись в ней к ядру на два километра. «Ну что тут скажешь! А ведь врет, что рассчитывал успеть... Неужто действительно на два километра? Лихо! И зачем я так его понимаю, весь его душевный пыл и трепет! Вполне хватило бы служебных отношений».

— Мы вышли за предел, Валерьян Вениаминович, выше аэростаты не тянут. Полагаю, вам будет интересно узнать, что квантовая зависимость по всей высоте... Ты куда показываешь?! Ты куда... тебя что, соглядатаем послали — или связь держать?

Это Терещенко, спасибо ему, под разговор повел телеобъективом вдоль крыши, показал бок аэростата, алюминиевые перекрестия с кабиной-призмой над ними, лесенку, по которой Васюк-Басистов и заметно осунувшийся референт Валя осторожно спускали громоздкий куб. (Пец легко представил, как все было. «Александр Иванович,— приблизился скользящей походкой референт к налаживавшему что-то главному инженеру,— мне приказано выразить вам неудовольствие...» — «Ага,— ответил тот,— да-да, конечно. Ну-ка, подрегулируй тот упор... Так, хорошо. Взяли!» — и пошло.) Голос Корнева звучал за кадром, обещая бригадиру все беды. Директор нажал кнопку, привлекая внимание к себе. Лицо Корнева тотчас восстановилось на экране.

— Первое,— сказал Пец.— О том, что вы хотели успеть, а не наоборот, расскажете при случае Красной Шапочке. Второе. Извольте все-таки спуститься для встречи с товарищем Авдотьиным. Он в координаторе и жаждет вам видеть. Третье: немедленно верните референта.

— Валерьян Вениаминович...— Корнев в затруднении ухватил рукой нос; на экране было отчетливо видно, что в дело пошли три пальца — указательный, средний и безымянный.— Думайте обо мне, как хотите, но я не могу сейчас вниз. Нужно все закончить хоть в первой примерке. Вы же знаете эти аэростаты: утечки! И вообще — 150-й уровень, здесь бросить не закончив — это хуже, чем не начать... Мы должны подняться еще разок. Валю верну через полчаса, обещаю.

— Бросьте эти разговоры для простачков — через полчаса! — теряя самообладание, рявкнул Пец.— За полчаса вы его выжмете, как лимон, а он мне нужен работоспособный. Координаторных полчаса даю вам на завершение всех дел.

— Хорошо, тогда я беру Терещенко. Вдвоем с Толюней мы не управимся, да и рискованно.

Что оставалось сказать? Валерьян Вениаминович кивнул: согла-

сен,— и отключил связь. Ясно, что сейчас Корнева не стащишь с крыши и за воротник. «Что они там углядели на двух километрах высоты, что измерили? Эти, говорит, мерцания... хм!» Пец вспомнил характерный жест Корнева, для пробы тоже обхватил нос пальцами. Куда там, хватило двух, да и второй, честно говоря, был необязателен. Настроение у него все-таки поднялось.

Он достал из кармана ЧЛВ, взглянул: ого, он здесь уже семь с половиной часов... да полчаса в пути. Восемь часов со времени завтрака (правда, плотного) — и ни крошки во рту. Пец вызвал секретаршу:

— Нина, принесите мне из буфета чаю и поесть. Что будет, по вашему усмотрению.

В ожидании секретарши (теперь, когда вспомнил, есть хотелось немилосердно) он просматривал и подписывал бумаги. Та вернулась с пустыми руками:

— В буфете ничего, Валерьян Вениаминович, хоть шаром... Даже сахару нет. Одни сырки плавленые окаменелые. Все подобрали. В столовой сейчас перерыв... Хотите, поделюсь своим запасом? У меня и чаю еще полный термос.

Пец покачал головой: нет, если использовать директорские преимущества, то не так. («Надо решать с новыми буфетами и столовой — не откладывая!»)

— Спасибо, Нина. Вызовите лучше машину. По-моему, я заработал передышку.

...И последняя мысль — уже за проходной, когда садился в машину: «А ведь аэростатная кабина Корнева — это и есть следующий после кольцевого лифта этап проникновения в Шар! Да, сначала маленькая кабина из плексигласа... Но ведь пространства там предостаточно для множества аэростатов и всего, что они поднимут. Воздух спокоен: внешние ветры не чувствуются, внутренних нет...»

Валерьяну Вениаминовичу стало бодрее: забрезжила возможность обжить Шар до двух километров физических — и в то же время как-то не по себе. Уж очень стремительно нарастала лавина идей и дел. «К чему-то мы придем завтра? И не в переносном смысле «завтра», в прямом. Может, даже сегодня к вечеру...»

III

Когда в десять часов утра он вошел в квартиру, жена встревожилась:

— Почему так рано? Захворал?

— Нет, даже напротив — очень хочу есть.

— Я только убралась, еще в магазин не ходила... Ничего, сейчас что-нибудь сообразим.

Она заглянула в холодильник, в буфет, в кухонный столик — «сообразила» холодную отварную картошку с селедкой, яичницу, заварила чай по его вкусу. Пец сидел на кухне, в нетерпении выкладывая фигуры из вилок и ножей.

— Видишь, как плохо, что нет телефона,— сказала жена.— Ты бы позвонил, и к твоему приезду все готово.

— Это верно. Только ты не представляешь, что бы здесь творилось, будь у нас телефон. («А ведь придется его, черта, ставить. И не только: телеканал сюда из Шара провести, служебный телевизор с инвертером на ночной столик... А куда денешься! Ведь сегодня я плелся в хвосте событий. Два молодых одаренных нахала, Корнев и Зискинд, вставили мне два фитиля. Так не годится».)

Он принялся за картошку и яичницу. Жена подкладывала, следила, нравится ли, намазала хлеб маслом, налила чаю, села напротив. А Валерьян Вениаминович ел, крепко жуя, и думал о том, какие сложные отношения связывали его с этой женщиной. Впрочем, теперь, к старости, они стали проще.

...Он встретил ее, Юлю, Юлию Алексеевну, в Харькове в первый послевоенный год. Она была простая, с умеренным образованием, красивая и добрая. Она любила его — с самого начала и до сих пор. Он ее тоже — первое время. Если быть точным, то и тогда он ее больше не любил, а — хотел; реакция хлебнувшего неустройств и воздержания мужчины: наверстать, взять свое, о чем мечталось и на фронте, и в лагерях, и в болотах Полесья. С ней было хорошо, спокойно: она признавала его превосходство над собой, ничего особенного для себя не требовала — и он, и жизнь устраивали ее, какие есть. Она была хорошая жена, только он принимал ее не слишком всерьез — больше ценил науку, пытливую мысль, разговоры о мирах и проблемах. Насчет миров она была не очень.

Когда же она забеременела — а он как раз рвался к успеху, писал диссертацию, жили скверно, у частника на окраине, ребенок мог сильно осложнить жизнь,— он ничего не сказал ей, только замкнулся, стал холоден, раздражителен. Она все поняла, избавилась от плода; в то время это было непросто.

Потом пришли успех и квартира, докторская степень и кафедра в Самарканде. Юля гордилась его достижениями больше, чем он сам. Но детей не было. А ему как раз загорелось (да и годы подпирали) сына, наследника. Или хоть дочь. Присмотрел себе другую, ушел к ней жить, решил развестись с Юлей. На суде так и заявил, что разводится из-за отсутствия детей. Она печально согласилась.

А месяц спустя встретил ее в сквере на скамейке: в осеннем пальто, с книжкой — отцветший, выброшенный им пустоцвет, увидел ее взгляд. Сердце у него перевернулось. И сейчас, когда об этом вспомнил, стало не по себе: как он мог совершить такое — наполовину убийство?.. Вернулся. Она простила. Ему она прощала все.

(А та, другая, родила сына. И хоть дал ему свою фамилию, безукоризненно платил алименты, но оскорбленная женщина поклялась, что сын никогда не увидит отца и не услышит о нем ничего хорошего. И обещание свое сдержала. Так что наследником он обзавелся, но сыном — нет.)

И перед Юлей осталось некое чувство вины, а заодно и упрека к ней, что слишком покорно тогда, молодая, поняла и выполнила его волю, не поставила на своем. И пустота в доме, где есть все, кроме детей.

— Может, тебе туда привозить что-нибудь? — спросила она. Пец мотнул головой.— Ах, ну да: дом есть дом, семья есть семья...— Юлия Алексеевна улыбнулась; в этой улыбке была снисходительность к его упрямству и немного горечи: дом-то есть, а вот семья...

«В сущности, она была создана именно для семейной жизни,— подумал Велерьян Вениаминович,— для жизни с многими детьми: выкармливать их, тетешкать, воспитывать, заботиться... А вышло вот как. Не получилось».

— Приляжешь отдохнуть?

— Нет. Обратно.

— Обед готовить?

Пец задумался. Приезжать еще и обедать, снова терять полтора нулевых часа — слишком роскошно даже для директора.

— Знаешь,— неожиданно решил он,— приготовь что-нибудь... потранспортабельнее — и привези туда. Кстати, поглядишь, что у нас там делается, тебе будет интересно.

ГЛАВА 11

...КОРНЕВУ КОРНЕВО

Возможность подобна женщине: она теряет 9/10 привлекательности после овладения ею.

К. Прутков-инженер. Мысль № 155.

I

Всюду была тьма, только далеко внизу вырисовывалось тусклое багряное кольцо вокруг черного пятачка крыши. Они полулежали в откидных самолетных креслах: Корнев и Васюк-Басистов по обе стороны белой короткой трубы телескопа, Терещенко левее и ниже их за пультом локатора. Антенны локатора торчали по обе стороны кабины, будто уши летучей мыши. В кабине тоже было темно, лишь индикаторные лампочки приборов рассеивали слабый свет.

— Вон еще!..— Корнев откинулся к спинке кресла, приложил

к глазам бинокль, поймал в него бело-голубой штрих с яркой точкой в начале, который не то возник в густой тьме над ними, не то выскочил из глубины ядра. Точка трепетала в беге, штрих менял длину.

Васюк резво наклонился к окуляру искателя, быстро завертел рукоятками телескопа — но не успел: «мерцание» расплылось, исчезло. Все длилось секунды. Анатолий Андреевич откинулся в кресле, вздохнул.

— А вон вихрик! — Корнев направил бинокль в другую сторону: возникшие там, чуть левее темного зенита, «мерцания» образовали крошечный фейерверк — флюоресцирующее пятнышко величиной с копейку. Оно быстро развилось в вихрик с двумя рукавами и ярко-голубым пульсирующим ядром; затем все превратилось в сыпь световых штрихов, тьма вокруг них очистилась от сияющего тумана. Еще через секунду точечные штрихи расплылись в туманные запятые, а те растворились в темноте.

— О дает! — сказал Терещенко.— Красиво.

Васюк-Басистов снова ничего не успел: слишком далеко было перемещать объектив телескопа.

— Что же ты, друг мой! — укорил его Корнев.

— Да пока наведешь, их и нет,— сказал тот, устало жмурясь.

— Значит, наводку и надо отработать, Толюнчик. Посадить телескоп на... на турель, как у зенитного пулемета. Да спарить с таким, знаешь, фотоэлементным прицелом с широким углом захвата... да к ним еще следящий привод. На сельсин-моторчиках. Фотоэлемент обнаруживает, привод наводит — успевай только рассматривать!..

«Я хочу домой,— думал, куняя под эту речь, Анатолий Андреевич,— я ужасно хочу домой. Там у меня жена и дети. И неважно, что они видели меня еще вчера вечером и что самые крупные события у них за это время — это четверка по арифметике у Линки или драка Мишки с соседским Олегом. Я-то их не видел черт знает сколько, уже вторую неделю. Я соскучился по ним и по жене — по хорошей, невзирая на мелкие недостатки, жене. Я понимаю, что сейчас мне ночевать дома, швыряться здешними неделями — недопустимая роскошь. На высотах работы и наука остановится, черт бы побрал то и другое! Я все понимаю: важно, эффектно, интересно... сам упивался вовсю. Но всему должен быть край. Я иссяк, сдох, скис, и не нужны мне эти «мерцания». Я хочу домой...»

— И фотоаппарат хорошо бы приспособить,— не унимался Корнев.— Даже лучше кинокамеру, там ведь все в динамике. Толя, это надо сделать.

— Попробуем,— вяло согласился тот. Тряхнул головой, гоня сонливость, добавил: — Их надо снимать в разных участках спектра,

от инфра- до ультра-, даже до рентгеновских. Мы же не все видим.

— Ну вот, золотце, ты все усвоил. Займешься этим... Смотри, вон «запятая». И вон. А левее назревает «клякса»... Пан Терещенко!

— Агов! — отозвался тот.

— Похоже, что «клякса» там сейчас развернется в «вихрик». Попробуй прощупать его локатором. Внимание!..

Светящаяся «клякса» в ядре Шара закрутилась водоворотиком. Коротко и тонко пропели моторчики антенн, решетчатые параболические уши их повернулись в сторону яркого свища. До светящихся штрихов там на сей раз не дошло — через десяток секунд все опять размазалось в тускнеющее пятно-«кляксу».

— Нема ничого, Александр Иванович,— сказал Терещенко.— Ну, никакого ответного импульса, ни чуть-чуть.

— И прожектор ничего не освещает,— молвил Корнев задумчиво.— Лазером попробовать, как думаешь, Толь? Все-таки они на чем-то, эти «мерцания»,— как блики на воде...

Вместо ответа Васюк уронил голову на грудь, мотнулся всем туловищем вперед в сторону — да так, что едва не врезался головой в трубу телескопа. Вздрогнул, распрямился.

— Осторожней, оптику испортишь,— придержал его Александр Иванович.— Ну, ясно, опускаемся.

Он протянул руку влево, включил привод лебедок. Кабина дрогнула, начала опускаться вместе с плавно колышущимися аэростатами.

Корнев полулежал в кресле, смотрел, как вверху уменьшалась, будто сворачивалась, область ядра, которую только и можно было отличить от остальной темноты по возникавшим там «мерцаниям». Теперь они искрили чаще, но делались все мельче, голубее, утрачивали подробности. И само место, где они были, стягивалось от размеров облака в пятно, поменьше видимого с Земли лунного диска.

...У них уже были названия для всего этого: «вихрик» — если мерцание имело вид светящегося смерчика, «клякса» — когда возникало размытое световое пятно, «запятая» (она же «вибрион») — когда за несущейся во тьме световой точкой тянулся угасающий шлейф. Названия были, за названиями дело не стало. Но Александра Ивановича разбирала досада, что, совершив этот бросок ввысь, преодолев многотысячекратную неоднородность пространства-времени, они не приблизились ни к разгадке «мерцаний» в Шаре, ни даже к определению его физических размеров. Только и того, что больше увидели.

Проблема физических размеров Шара... Она всем действовала на нервы. Сама формулировка ее содержала наглый выпад против здравого рассудка: каков внутренний диаметр Шара, имеющего внешний диаметр 450 метров? Пока что он прямому измерению не поддавался — ни с земли, ни с крыши башни. По имеющемуся

опыту подъемов и полетов на предельных высотах можно было предполагать, что физический поперечник Шара не меньше сотен километров.

Сейчас, подняв сюда, в идеальные для наблюдения условия: разреженный воздух, ясность и покой которого не нарушают колебания внешней атмосферы,— телескоп, сильный прожектор и локатор сантиметрового диапазона, они надеялись, по крайней мере, просмотреть сквозь ядро Шара детали экранных сетей; или хоть засечь их локатором, для сантиметровых волн которого сети представляли собой «сплошную» отражающую поверхность. А если внутри, в ядре, что-то есть, то изучить (измерить, пролоцировать) и это. Не просветили Шар до сетей, не узрели их. И то, что внутри, осталось непонятным.

«Ничего, так было бы даже неинтересно — сразу. Главное, тропинку сюда протоптали, изучим, измерим, поймем, никуда не денется!»

По мере опускания кабины светлое кольцо вокруг башни росло, опережая расширение темного пятна крыши, становилось ярче и меняло расцветку от багрового к оранжевому, к серо-желтому. В том кольце вмещалось все: вблизи стен-склонов башни — навеки застывшие краны с грузами на стрелах, автомашины, в бинокль Корнев различал и людей в динамических позах; далее — вывернутая дуга проходной, накренившаяся и выгнутая площадка вертодрома, за полем опрокинувшиеся во все стороны приплюснутые многоэтажные зданьица... и так до горизонта, над которым на юге висело маленькое овальное солнце цвета спелой черешни; на самом деле, поскольку земное время шло к полудню, оно стояло в наивысшей точке.

Спуск занял двадцать минут. Вот аэростаты легли по краям площадки. Терещенко спустил лесенку. Они вышли из кабины. На краю площадки сиротливо торчала на треноге телекамера; рядом светил экран телеинвертера.

— Так-то вот проявлять излишнюю ретивость,— наставительно заметил Корнев связисту.— Давно бы спустился к своим делам, а не вкалывал бы с нами вместо референта Синицы.

— А я не в претензии, Александр Иванович,— отозвался тот.— Було интэрэсно. Якщо хочэтэ, могу зовсим до вас подключиться. Все краще, чем меня Хрыч будэ гонять, увольнением пугать... А по радио и электронике я все умею.

— Ну-ну, ты брось так про Валерьяна Вениаминовича. Он тебя правильно пуганул: связистов своих распустил! А насчет этого — подумаем. Толюнь, ты что делаешь?

Васюк-Басистов, присев возле инвертера, крутил ручки, щелкал тумблерами.

— Вертолет хочу вызвать — что!

— Не прилетят сюда вертолеты, они по другим рейсам пошли.

— Ну, вызови ты, тогда прилетят! Надо же домой... («Я знаю, что он скажет: тебе нельзя домой, ты там проспишь полсуток. А я именно и хочу выспаться дома, на чистых простынях, под одеялом, при открытом окне... и чтобы жена говорила детям: «Тише, папа спит, он устал». А не на раскладушке с поролоновым матрасом среди бетона, мусора и цементной пыли!»)

Корнев понял состояние своего помощника.

— Толя,— сказал он осторожно,— я тоже устал. Давай так: ты выдашь мастерам в экспериментальке задание на телескопический автомат, который мы с тобой придумали,— и отправляйся домой. На весь день. Но чтобы выдать грамотное задание, тебе надо поспать. Ты ведь сейчас сам не свой. Сегодня под крышей начнут оборудовать гостиницу-профилакторий, тогда отдыхать будем, как боги, вниз не потянет... А пока — уж такая у нас с тобой суровая жизнь, друг мой Андреич! Так, действительно, раздумаешься — и позавидуешь тем, кто сейчас мирно преподает в Таращанском сельхозтехникуме.

Этот намек всегда действовал на Васюка-Басистова безотказно. Он посидел еще секунду, на бледном от усталости лице его появилась слабая улыбка. Встал.

Через люк они опустились на последний, 152-й этаж осевой башни. Терещенко двинулся вниз, а Корнев и Васюк свернули в отсек, где среди бетонных колонн и стен с пустыми дверными проемами стояли десять раскладушек без ничего, в углу лежал штабель желтых поролоновых матрасов. Здесь отдыхали инженеры и монтажники всю многосуточную эпопею создания аэростатной кабины. Здесь же они, как можно было догадаться по валявшимся на сером полу пактам из-под молока, замасленным оберткам и колбасной кожуре, питались.

— Хлебнуть бы сейчас чего покрепче,— сказал Толюня,— чтобы размякнуть. А то не уснешь...

— Неплохо бы,— согласился Александр Иванович, укладывая под себя один матрасик и укрываясь другим.— Однако — сухой закон.

Через минуту оба спали. Главный инженер звучно сопел, втягивая носом воздух. Васюк, уткнувшись в матрас, клекотал на вдохе и хрипел на выдохе.

II

Когда Корнев проснулся, Толюни не было. Александр Иванович взглянул на часы. Это был бессмысленный жест спросонок: что здесь могли показать его ЧЛВ, он и не посмотрел на них, когда

укладывался. Да и неважно, сколько проспал,— выспался, вот главное. Время на уровне «150» ничего не стоит. Времени здесь вагон.

Он встал, от души потянулся. Ополоснул лицо под краном в соседнем отсеке, будущем туалете. Вернулся достать из сумки полотенце — и только тогда заметил возле раскладушки придавленную бутылкой пива (полной!) записку: «Задание дал Хайдарбекову и Смирнову. До завтра». «Ну, молодец! — умилился Александр Иванович.— И работу запустил, и наверх кого-то сгонял с запиской. Да еще с пивом, драгоценностью на этих высотах. Наверно, мастера и принесли — поднимались за телескопом».

Прихватив бутылку, он выбрался на крышу. Так и есть, телескоп Максутова в кабине отсутствовал. А телеинвертер на краю площадки по-прежнему наличествовал. Александр Иванович связался с приемной, там был референт Валя. Он сообщил, что сейчас 72.55 координаторного, что Пец сорок минут назад укатил домой поесть, за главного Зискинд, он у себя в АКБ, что зампред Авдотьин желает ознакомиться с работами на местах, а референт сомневается, куда его вести.

— Как куда — повыше, туда, где пожарче. На кольцо. И объясни, что вчера вечером его еще не было. Там и встретимся,— и Корнев отключился.

Прошел между аэростатами к краю крыши, сел на бетонный выступ, высосал в два приема пиво, закурил, поглядывая вниз. Подумал неспешно: надо ограду поставить, удивительно, как еще никто не сверзился... Внизу все было каким-то невсамделишним. Вон в сумеречной стороне, в тени от башни, повис, медленно, будто нехотя и с натугой, поворачивая лопасти винта, бурый (хотя на самом деле, Корнев знал, зеленый) вертолет. И все время, пока он курил сигарету, никак не мог раскрутить винты до слияния лопастей в круг; было странно, что он не падает, а напротив — медленно волочит вверх стальную ферму. Едва ползли грузовики по спирали. А в зоне, в тягучей смоле крупноквантового пространства, и вовсе шаги маленьких приплюснутых человечков растягивались на минуты. «Нудота!»

Александру Ивановичу не хотелось спускаться вниз, в сонное царство. Здесь был иной мир, само ощущение времени приобретало какой-то необъятный пространственный смысл. Он был один на сотни часов вокруг — как на сотни километров. Случись с ним что — никакая помощь не успеет. Пустыня времени...

«Э, хватит прохлаждаться,— одернул он себя.— Время измеряется делами. А это дело закручено — и все, и привет, дальше покатится без меня».

И он зашагал вниз по лестнице, придерживаясь за стену в тех местах, где не было перил, обдумывал на ходу очередные дела. Очередных было три, все взаимосвязанные: 1) проведение послезавтра

Первой Всесоюзной конференции по проблемам НПВ, 2) устройство к этому времени для делегатов гостиницы-профилактория и 3) доклады. «Такие докладища надо выдать, чтобы приезжие делегаты потом сталкивались в коридорах лбами и забывали извиниться!..»

Вообще говоря, Александр Иванович спокойно относился к конференциям, симпозиумам, семинарам и им подобным формам общения людей, объединенных только специальностью. Он называл такие сборища «говорильней»; ему самому и в голову бы не пришло поехать куда-то обсуждать свои проблемы и идеи — он предпочел бы потратить время на разрешение проблем и реализацию идей. Но возможность провернуть в Шаре за неполный рабочий день пятидневную всесоюзную «говорильню» — с пленарными заседаниями, с работой секций, с мощными докладами с в о и х, с обеспечением делегатов всем вплоть до комфортного ночлега — не могла его не воспламенить. И сейчас за гранью беспробудного сна осталась эпопея с кабиной и «мерцаниями» — на иное, новое гнала, подстегивала его высокая тревога души: вот если не устрою как следует «говорильню» да не выдам на ней сильный доклад, то не будет мне счастья в жизни, не будет вовек!

...Если спросить Александра Ивановича, для чего он совершает свое дело, не жалеет себя (да и других), то он, наверно, объяснил бы все пользой общественной и научной, необходимостью разрешать проблемы, а возможно, и проще: нынешней гонкой-соперничеством среди людей, желанием не уступить в ней, продвинуться — а то и заработком. Все мы так — стремимся покороче объяснить причины поступков, движения своей души; в молодости от боязни, что глубокое и сложное в нас не поймут, а в зрелом возрасте — по привычке, пошловатой усталой привычке. И сами так начинаем думать о себе... На самом же деле Корнев — как и любой сильный душой, умом и телом человек — совершал все, чтобы наилучшим образом выразить себя. И подобно тому, как истинна только та добродетель, которая не знает, что она добродетель, так и его натура была настолько цельна в своей поглощенности делами, что не оставалось в ней ничего для взгляда на себя со стороны. Двойственность, которая порядком терзала Валерьяна Вениаминовича, шарахая его от конкретного в отрешенно-общее восприятие всего и обратно (тем ослабляя его деловой тонус), Корневу была чужда.

В этой безгрешной цельности натуры Александра Ивановича было что-то несвойственное нашей так называемой «зрелости», что-то более близкое к той великолепной поре, когда человек и ложечку варенья вкушает не только ртом, но и всем существом вплоть до притоптывающей пятки, весь без остатка горюет, весь радуется. Вероятно, именно это качество и не давало ему переутомляться, свихнуться, загнуться от бешеной нагрузки последних месяцев. Да и месяцев ли? Корнев давно махнул рукой на скрупулезный учет

прожитого в Шаре времени (хоть и сам предложил идею ЧЛВ): организм и обстоятельства сами подсказывали, когда поспать, когда питаться, когда съездить домой выкупаться и сменить белье, когда отключаться для размышлений. Жить было интересно, жить было здорово — вот главное. Какая там двойственность — Александр Иванович чувствовал (глубинно, не словами), что тугая мощная струя несет его, надо только успевать поворачиваться, выгребать на середину, чтобы не затянуло в воронку, не ударило о камни, не выплеснуло на мелкий берег. Здесь был его мир — настолько здесь, что, когда Корнев оказывался в городе, его тяготила бездарная прямолинейность улиц, прямоугольность зданий, примитивная устойчивость форм тел, их цветов и оттенков, простота звуков, уныло сходящаяся перспектива, даже прямизна пучков света из окон в тумане ночи.

В том мире не было верхних уровней, где можно, не нарушая хода дел внизу, заняться чем-то еще, выспаться или обдумать все всласть и не спеша. Тот мир был устроен скучно и неудобно!

Стена башни, по которой Корнев, шагая по ступенькам, задумчиво вел пальцем, вдруг оборвалась: обнажились прутья арматуры. Что такое? Главный инженер ухватился за решетку, высунул голову наружу — и так обозрел незабетонированную брешь в стене шириной метров в восемь и на три этажа по высоте. «Ну Зискинд, ну архитектор-куратор... Это что же такое? Хорошо, что выше кольца лифта — а если бы ниже?! Понятно: здесь не управились к началу работы над кольцом, а люди нужны, он их всех туда. И молчком. Побоялся, что я не дам добро, и скрыл. Ну народ, ну люди!.. Третий человек в институте, а?» Сейчас Александр Иванович искренне не помнил о тех случаях, в которых он (второй человек в институте, а во многом, пожалуй, и первый) умалчивал и маневрировал с целью добиться своего, и был от души огорчен поведением архитектора.

Ниже бреши в осевой башне начиналась цивилизация. У лестницы появились пластмассовые перила, на площадках и в коридорах горели газосветные лампы; на оштукатуренных стенах шахты появились числа: синие — высота в метрах, черные — номера этажей и красные — уровни ускорения времени.

На уровне «54» (120-й этаж) Корнев вышел на кольцо — как раз в тот момент, когда и вертолет, который он наблюдал с крыши, доставил сюда свою ферму. Некоторые монтажники поглядывали на главного инженера с удивлением. Бригадир отделочников присмотрелся, подошел: «О, Александр Иванович, вас и не признаешь сразу!..» Этим его реакция на мятый перепачканный костюм Корнева, его небритые щеки и всклокоченные волосы исчерпалась, дальше пошли заботы: пачки паркета на перевалке на 30-м уровне загребли другие отделочники — как быть? Масляные краски некачественные... штакетник... плитки... «Зискинду адресуйте ваши пре-

тензии,— ответил Корнев,— он вас курирует. Где бытовка ваша?» — «А Зискинду хоть говори, хоть пиши — как об стенку горох!» — «Бытовка, я спрашиваю, где?» Бригадир указал, пробормотал вслед: «Работу так все требуют!» Александр Иванович знал: только поддайся — закрутит, до вечера не выпутаешься из мелочей.

Строители исповедовали принцип: о себе не позаботишься — никто не позаботится. Бытовое помещение у них было, как гостиница, даже постели с простынями, одеялами, подушками; был и душ, и стол для обедов, аварийный запас провизии, который опустили в металлическом баке на тросе вниз, в замедленное время — вместо холодильника. Сейчас здесь отдыхали девчата-штукатуры. Они дали Корневу зеркало, он поглядел: да, попадись в таком виде на глаза грозному зампреду — и пропал. Прощелыга, а не главный инженер НИИ — такой только и способен нарушать законы.

— Выручайте вы меня, девушки,— сказал он.— Найдите у ребят бритву да приведите в божеский вид мой костюм и рубашку.

Нашлись и электробритва, и гладильная доска, утюг, мыло. Корнев помылся, выбрил лицо и шею, подстриг ногти. Девчата, пересмеиваясь, чистили и гладили его одежду, заодно стрекотали, что в башне сегодня какая-то важная комиссия все проверяет, что утром в зоне едва не вышел затор, вроде того, что был три недели назад, когда все работы остановились, а верно, что эта комиссия приехала снимать Пеца? И вас, Александр Иванович, говорят, тоже? Вот будет жалко-то! А другие говорят, что вас — на его место?..

Корнев сидел на топчане, прикрыв ноги в трусах простыней. Услышав последнее, он потемнел лицом, встал:

— Кто это, интересно, такие сплетни распускает? Найти бы... это ж дезорганизатор, паникер. Что за чепуха, девушки! Что — мы с Валерьяном Вениаминовичем попали из милости начальства на свои посты? По блату? Тех, кто так выбился в большие, снять не штука. Но мы... мы оказались руководителями здесь в силу е с т е с т в е н н ы х причин. Снять нас — значит нарушить естественный ход событий в Шаре. Это никаким комиссиям не по силам. Так что выкиньте это из головы.

Вид у него, несмотря на простыню, был внушительный. Девчата притихли.

Когда через полчаса Александр Иванович вернулся на кольцевой нарост, он выглядел вполне прилично для главного инженера; если в одежде и оставались кое-какие изъяны, то их вполне компенсировала спокойная собранность и уверенность руководителя. По мере того, как он опускался с этажа на этаж, к нему подходили бригадиры, мастера, инженеры, сообщали о ходе работ, напирая, как водится, на недостатки, неполадки, помехи смежников — начальство существует не для того, чтобы его радовать. Корнев вникал, советовал, разрешал одно, запрещал другое, подписывал на ходу кое-

какие бумаги — и не подавал виду, что доволен, как растут, образуются будто сами по себе в громаднейшем многоэтажном кольце ячейки будущих лабораторий, мастерских, стендовых залов. Еще вчера ничего здесь не было, шутка ли! И незачем показывать удовлетворение, потом будем радоваться и умиляться: какие молодцы! — а сейчас пусть царит атмосфера деловой озабоченности.

Шагая вниз, Александр Иванович не отказывал себе и в удовольствии полюбоваться милой его сердцу балетной, гармоничной какой-то ладностью движений работающих в НПВ; даже останавливался понаблюдать время от времени. Отступал ли человек, чтобы принять в гнезда опускаемую краном часть стены, завинчивал ли гайки, налегал ли на дрель, подтягивал ли сварочный кабель — во всех действиях была упругая сбалансированность, спокойная, степенная гибкость. «Ну как рыбы в воде, а! Знают НПВ уже не умом, а телом».

Да, пожалуй, так: работники чувствовали неоднородное пространство вокруг себя, как воду, были уверенными пловцами в переменчивом море материи. Эта сбалансированность, чувство пространства как упругой среды сохранялись у них, и когда они возвращались в однородный мир, сохранялись радовавшей глаз грацией и собранностью: по ним и в городе можно было отличить работавших в Шаре. «Великолепное все-таки существо человек! — думал на ходу Корнев.— Вот связь и координацию с трудом подгоняем к НПВ, электротехнику всю приходится на постоянный ток переиначивать. А человека переделывать не надо: присмотрелся, повертелся — и работает!»

На последнем этаже кольца, на «днище», где собирали и отлаживали подъемный механизм, Корнев столкнулся с референтом Синицей.

— А где?..— спросил главный инженер.

— На той стороне. Они вникают сами.

— И как?

— Они склоняются войти в положение.

— Что же ты их одних покинул? Они ведь непривычны. Не дай бог свернут свою превосходительную шейку... другого ж пришлют.

В просторном помещении с оконными проемами без рам вокруг Авдотьина сгрудились монтажники и наладчики. Судя по лицу зампреда, не он им доказывал, а они ему.

— А то шо ж я: утром ушел и утром пришел! — говорил один, трогая темным пальцем костюм Федора Федоровича.— Буду дома крутиться весь день как неприкаянный, жинке мешать. И думаю я там все время про эти кванты, как так получается?.. Оно мне надо! Перед сынишкой и то неудобно, ему в школе вон сколько задают. Работать надо с утра до вечера.

— Конечно,— поддержал другой работник,— так все привыкли: утром на работу, вечером с работы. Пусть нам задают, чтобы выходило на полный день. Оно и заработок, и дело хорошо движется.

— А иначе нужно десять смен в сутки,— вмешался третий, инженер, судя по виду.— Масса людей, обезличка, не с кого качество спросить.

— Все это так,— подал голос Авдотьин.— Но ведь вам придется находиться здесь фактически по многу дней — в отрыве от внешнего мира, без семьи, без удобств...

— О!..— загомонили работники.— Это мы сами все обеспечим. Наш девиз: о себе не позаботишься, никто не позаботится!

— А шо касается семьи, дорогой товарищ,— снова вступил тот, с темными пальцами и зычным голосом,— то наш режим работы сказывается благотворно на семейных отношениях. Оч-чень благотворно! Во-первых, заработок — как у прохвессора. Во-вторых, жены, как известно, ценят нас не только за заработок...— Он конфиденциально склонился к зампреду.— Я не буду называть фамилий, но есть тут у нас один товарищ в летах... так ведь у него до драмы доходило. Раз, слышь, в неделю — и все, и привет. А жена молодая, и, естественно, он в ней не уверен. Мы с ним рядом живем...

— Э, да будет тебе, балаболка, будет! — Пожилой дядя, на которого стали посматривать, побагровел, отошел.

Корнев, наблюдавший сцену от дверей, узнал: бригадир Никонов — тот, что выкладывал кривую трубу и хотел уволиться. Не уволился, вошел во вкус, стремится повыше. А насчет жены сам, чудак, раззвонил, теперь обижается.

— Нет, я, боже избавь, не хочу сказать, что там что-то такое имело место,— продолжал зычный.— Но — не уверен человек в такой ситуации: подозрения, ревность, сцены... что было, то было. Оно ж через забор слышно. А теперь — каждый вечер человек возвращается, будто из долгой командировки... и как, слышь, молодожен! И все в порядке, окрепла семья.

Он выразительно согнул руку в локте. Работяги ржали. Зампред молодо блестел глазами.

— Валя, там действительно все в порядке,— негромко сказал референту Александр Иванович,— моего участия не требуется. Они сами все докажут — рабочий же класс!.. Мы разминулись.

И он вернулся в осевую башню, зашагал снова вниз с этажа на этаж (хотя здесь уже ходили лифты) — принимал парад дел, работ, результатов в Шаре.

III

В пустом выгнутом дугой зале на 90-м этаже, в котором к конференции откроется научная библиотека, Корнев увидел Ястребова.

Тот шел вдоль внешней стены, приседал, распрямлялся, иногда что-то поднимал над головой. В местах, где это «что-то» издавало вой или писк, бригадир делал на стене пометки мелом.

— Герман Иваныч! — изумился Корнев.— Ты уже здесь, выспался?

— Это в честь чего я буду днем высыпаться, нежиться? — Тот подходил, обнажая в улыбке стальные зубы, щурил калмыковатые глаза.— Догадались тоже: не разбудив, в автобусы и по домам... Это себе дороже в будний день отсыпаться, на то ночь есть. Отдохнул, помылся — и сюда.

— А команда твоя?

— Одни спят, а те, что поумнее, вон.— Он указал в дальний конец зала, где трое рабочих — все «ястребы» — собирали трубчатые конструкции.— Стеллажи строим для библиотеки. Юрий Акимович дал наряд.

— Чем это ты пищишь?

— Да вот,— Ястребов показал прибор в корпусе от транзисторного приемника,— сделать я его сделал, а еще не назвал. Ну... вроде миноискателя. Обнаруживаю сильные неоднородности около стен. Здесь стеллажи придется отдалять от стены, чтобы книжки не выскакивали сами. А то и барышня какая может с лесенки загреметь.

— Покажи-ка...— Корнев взял, осмотрел, снаружи ничего примечательного не увидел, крутнул ногтем винт на задней панели.

— Открывать не надо, Александр Ива, я вам так скажу. Там две стандартные платы с генераторами промежуточной частоты, общий выход на динамик. Как сильно неоднородное место, так у ближнего к нему триода частота сдвигается. Получаются биения, они поют и воют — предупреждают.

«Конечно, сдвиг частот, биения... как просто! Это же универсальный индикатор неоднородностей. На микросхемах сделать, на руку надеть — работу облегчит, безопасность увеличит. И я не сообразил. Тогда, в Овечьем ущелье, смекнул, а потом и не вспомнил... надо же! Все текучка заедает». Корнев с уважением взглянул на мастера:

— Золотой ты мужик, Герман Иваныч, что голова, что руки... Премию получишь. А приборчик я у тебя одолжу на часок, надо кое-кого носом потыкать...

Потыкать носом в самодельный индикатор Ястребова следовало начальника лаборатории специальных приборов Бурова; эпитет «специальные» как раз и подразумевал приборы, использующие в измерениях и индикации свойства НПВ. Александр Иванович был не бюрократ какой-нибудь, чтобы вызывать начлаба Бурова к себе в кабинет, отрывать от дел,— он сам, не расплескивая созревшее чувство, направился к нему в лабораторию на 20-й уровень.

Начлаб Буров, цветущей внешности молодой инженер с широки-

ми щеками и пышной шевелюрой, был на месте. Он сидел, отклонив стул на задние ножки, чтобы удобней было держать ноги на столе, и чертил схему в блокноте, положенном на левое, красиво обтянутое джинсами бедро. При виде главного он убрал ноги со стола, встал. В глубине комнаты инженер и две лаборантки что-то паяли.

Тыкал его Александр Иванович носом основательно и с многих позиций. Сейчас он не помнил испытанное при виде приборчика чувство досады, что сам не сообразил: мало ли что он не сообразил, на нем институт, а этот щекастый лоботряс только на приборах сидит.

— А где приборы?! Где система привода и ориентации в Шаре? Вертолеты мотаются по произвольным маршрутам, перерасходуют горючее, высаживаются на площадки, как на полярную льдину! Где ограничители скорости? Где контрольные таймлеры? Где реле неоднородностей?..

— Понимаете, Александр Иванович,— красивым грудным голосом сказал Буров,— нет общей идеи. А без нее...

— Да что идея, у вас здесь масса идей и эффектов: и тебе аккумуляция зарядов, сдвиги частот и фаз, и биения, и барометрический закон, и гравитационные искажения! А спектральные сдвиги, а интерференция от разного хода времени... Море разливанное, самая вкуснятина для разработчика приборов. Давайте прямо, Витя: если вам не по душе или не по силам сделать так, чтобы мы могли в НПВ видеть, слышать, измерять и отсчитывать все не хуже, чем в обычном мире,— скажите. Мы найдем вам занятие по силам и по душе. Вот штатная должность помощника коменданта у нас пустует, в охранотряде есть вакансии... пожалуйста, не стесняйтесь!

В это время очень кстати (или очень некстати, с чьей позиции смотреть) в комнату на голоса заглянул Зискинд; его АКБ находилось в на том же этаже. При виде Корнева живое лицо Юрия Акимовича выразило замешательство, он, похоже было, даже поколебался: не захлопнуть ли дверь? Но — вошел, вслушался, включился, начал долбать Бурова со своих позиций: до сих пор нет способа точного измерения размеров и дистанций в НПВ — визуальные методы врут, метром не всюду приложишься. Приходится завышать запас прочности, а это лишний расход материалов, лишняя работа, грузопоток...

Словом, взбутетененный, воспитанный, осунувшийся за эти четверть часа, Буров на полусогнутых проводил главного инженера и главного архитектора по коридору, обещая немедленно переориентироваться на быстрейшее, всестороннейшее, прецезионнейшее конструирование нужных приборов.

— Вот и чудно,— мирно сказал ему на прощанье Корнев,— а после смены загляните в канцелярию, распишитесь там в приказе — напротив пункта, в котором вам будет объявлен выговор.

— Алекса-а-андр Иванович! — огорченно взревел начлаб, развел руками.— Ну, вы, ей-богу...

— Ничего, Витя, увольняют после третьего выговора, а у вас это только первый. Так что все еще впереди.

Буров удалился. Настала очередь Зискинда.

— Юрий Акимович,— произнес Корнев голосом почти таким же грудным и глубоким, как у Бурова,— если я ошибаюсь, поправьте меня, но мне кажется, что вы не рады меня видеть. Более того, мне кажется, что вас устроило бы, если бы я не заметил тот изъянец в стене осевой башни размером восемь на десять метров и не напомнил вам о нем!

— Александр Иванович, не надо так шутить,— Зискинд приложил руку к сердцу.— Вы не представляете, как я переживал!.. Но кто ж знал, что вы заберетесь на крышу? Мы ведь с вами договаривались...

— Мы не нарушили договоренность...— Главный инженер бегло объяснил, что они устроили на крыше.— Но и это не все, Юра! Сколько у вас человек в АКБ?

— Вы же видите, Александр Иванович!

Они уже находились в архитектурно-конструкторском бюро, в зале двухэтажной высоты, стены которого были сплошь увешаны чертежами, рисунками, таблицами. Два ряда кульманов уходили в перспективу. Людей в зале было маловато: трое за чертежными досками и один в люльке у большого настенного рисунка.

— Вы мне не показывайте, я не о смене спрашиваю. Сколько у вас в с е г о сотрудников?

— Сто двенадцать.

— Вот, пожалуйста! А на монтажных площадках я не встретил н и о д н о г о. А вы знаете, что отделочники на 54-м уровне в недоумении: где что настилать, как облицовывать? А что на 36-м вместо рифленых прутьев пустили в арматуру гладкие, тоже не знаете? Может, вы не знаете, что это ухудшит качество сцепления бетона с решеткой?.. Это знаете? Так почему в такие вещи должен вникать главный инженер? От кульмана оторваться боитесь!..

И пошло, и пошло.

Зискинд отбивался подходящими к случаю репликами, соглашался, обещал — но в темных глазах его блестел какой-то упрек. Наконец он не выдержал:

— Ну и аспид же вы, Александр Иванович!

Это было сказано с такой горечью, что Корнев опешил:

— Здрасьте, это почему я аспид?!

— Ну а кто? Этой ночью мы с вами исполнили такое дело. Вместе замышляли, рассчитывали, организовывали. И было родство душ у нас, чувство локтя, как в бою. А теперь все забыто, и вы меня драите, как Витю.

Александр Иванович на секунду сконфузился: да, верно, забыл. Забыл, потому что после того дела вложил всего себя в еще одно — непроще и нелегче.

— Ах, Юра,— он взял архитектора за локоть,— мы с вами провернем еще не одно сильное дело, не раз испытаем родство душ, боевое товарищество. А по площадкам наверху — прошвырнитесь!

Когда Корнев опустился в приемную, было семьдесят шесть с минутами.

Место Нины Николаевны, окончившей свой день, заняла другая секретарша — Нюсенька, девятнадцатилетняя девушка с кудряшками, нежным цветом лица и пышноватыми формами. При виде главного инженера серые глаза ее заблестели.

Корнев взял сводку за последние часы, папку с накопившимися бумагами, велел сразу предупредить о появлении Пеца и направился к себе.

— Хорошо, Александр Иванович,— сказала вслед ему Нюся: голос ее содержал гораздо больше интонаций, чем того требовала фраза.

Кабинет у главного инженера был точно такой, как и у директора,— вплоть до стопки постельного белья на диване у глухой стены. Здесь было чисто, прохладно, неуютно. Александр Иванович некоторое время стоял посредине, осматривался — отвык. Как-то само собой у них с Валерьяном Вениаминовичем распределилось, что тот больше ведал нижними уровнями башни, зоной и внешними делами, а он — ве́рхом; верхними же уровнями из кабинета не поуправляешь.

Он сел в кресло, откинулся, потянулся. Вникать в бумаги не хотелось. Вид Нюсеньки почему-то напомнил тот разговор наверху о молодой жене бригадира Никонова с моралью о благотворном влиянии Шара на укрепление семьи. И Толюня так стремился домой, едва с крыши не сиганул... У кого укрепляет, а у кого и не очень. Он тоже не прочь провести сегодня вечер и ночь дома — но не выйдет. Не потому что дела, не раб он делам; просто у Зинки норма: если начала сердиться, то раньше, чем через три дня, не кончит. Он был дома вчера (неужто вчера?.. как месяц назад). Она уже тогда дулась на него, дулась артистически выразительно и утонченно... Из-за чего бишь? Нет, вспомнить теперь невозможно. Объяснять ей в таком настроении, что у них разный счет времени и событий, было безнадежно. Дочка чувствовала отчужденность между родителями, капризничала, не хотела идти спать к себе, хотела с мамой. Он тоже рассчитывал спать с мамой. Но когда наконец остались одни, взаимопонимания не получилось. С Зинкой это всегда было сложно, слишком она была какой-то... нравственно-взыскательной, что ли: надо без фальши показывать, что любишь, что жить без нее не можешь.

А он, в общем-то, мог. Да и очень уж вымотался за предыдущий бесконечный день, чтобы еще дома, в постели, играть роль. Так и проспали врозь.

«Еще пару дней показываться не стоит, только настроение испорчу. Пару н у л е в ы х дней, ого!.. Да ну, проблема: вот возьму и с Нюсенькой закручу — не отрываясь, так сказать, от служения обществу. Нет, с ней не стоит, она целочка, для нее все будет слишком серьезно. Вообще сожительствовать с секретаршей пóшло — занятие для неуверенных в себе бюрократов. Созвонюсь-ка я лучше с... Э, да что это я! — спохватился Корнев.— Нашел о чем думать в рабочее время. Вот оно, тлетворное влияние отдельных кабинетов!»

Александр Иванович придвинул бумаги. Сводка... ну, он знает больше, чем в ней написано; отложил. Аннотированная программа завтрашней конференции — просмотрел бегло, подсчитал число докладов и сообщений, прочел фамилии авторов; приезжие тоже будут излагать свои взгляды на НПВ... Давайте, ребята, давайте! Дальше пошли письма.

Минхимпром предлагает исследовать на высоких уровнях НПВ старение полимерных материалов... сотни названий и марок, сулят большие деньги — заманчиво, дело нехлопотное и прибыльное. Минсельхоз пробивает организацию лаборатории ускоренной селекции растений не ниже чем на 50-м уровне... Деньги, правда, обещают скромные, всего шесть миллионов, но, пожалуй, надо согласиться: хлеб все кушаем.

Запросы о возможности получения отчетов, о направлении на стажировку, о перспективах применения НПВ для нужд той или иной техники, такой и разэтакой промышленности; заявки, рацпредложения, проспекты.

Прочитав и разнообразно пометив все резолюциями, Корнев снова с удовольствием откинулся в кресле. Черт, здорово! Башня росла не только вверх, она, как диковинное дерево, распускала корни и внизу, по всей стране. Древо познания... познания — чего? Всего. Там разберемся, главное не сбавлять темп. Он вспомнил услышанный наверху слушок, что его и Пеца за нарушения могут сместить, брезгливо передернул губами: что за вздор! Как это Ломоносов говорил? «Меня от Академии уволить невозможно — разве что Академию от меня». А здесь и так нельзя: ни его, Корнева, от Шара, ни Шар от него. Потому что это он сам выплескивается в глубины НПВ, к ядру Шара, волной идей и дел, материалов и приборов, даже этой горой бетона — башней. «Как раскочегарили за три месяца, а!»

Это была минута самолюбования. Александру Ивановичу она заменяла час отдыха.

ГЛАВА 12

ВЕЛИКИЙ ПОРОСЯЧИЙ БУМ

Социальное изобретение: дуэль на фоторужьях. Секунданты отмеряют дистанцию, противники сходятся, поднимая фоторужья и наводя резкость, по команде щелкают затворами. Потом проявляют пленки, печатают снимки. У кого вышло лучше, тот и победил.

— Как, и это все?!

— Нет. Потом победитель бьет побежденному морду — до мослов.

Из Бюллетеня НТР.

I

Когда Валерьян Вениаминович возвращался в Шар, навстречу его машине промчался съехавший со спирали самосвал; из ковша расплескивалось что-то темное. Шлейф запаха, что распространялся за самосвалом, не оставлял сомнений. «Да что у нас там — в самом деле где-то свинарник?!»

Вверх директор поднимался полный решимости все выяснить и прекратить. На 3-м уровне он завернул в плановый отдел, вызвал по инвертеру Зискинда:

— Юра, я просил вас узнать, откуда источаются свиные запахи. Выяснили?

— У нас здесь ничего такого нет, Валерьян Вениаминович. И не пахнет. Это снизу тянет, ведь около башни конвективный поток воздуха. Там что-то такое...

Пец вызвал координаторный зал, Люсю Малюту:

— Людмила Сергеевна, посмотрите внимательно: не видны ли где на нижних экранах свиньи?

— В каком смысле, Валерьян Вениаминович? — ошеломленно спросила та.

— В самом прямом.

Люся исчезла с экрана, вернулась через четверть минуты:

— Нет, Валерьян Вениаминович, нигде ничего. А?..

— Благодарю! — Пец раздраженно отключил зал. Подумал, подошел к телефону, набрал номер выпускных ворот зоны.— Несколько минут назад вы выпустили трехтонный самосвал со свиным навозом. Чья машина, как оформлен выезд?

Плановики посматривали на директора с большим интересом. Из своего кабинета вышел начальник отдела Василий Васильевич Документгура.

— Сичас...— ответили из пропускной замедленным басом.—

Ага, ось: пропуск на вывоз оформлен согласно хоздоговору № 455 между отделом освоения института и колхозом «Заря». Машина колхоза.

— А?..— с интонацией Люси-кибернетика произнес Пец, но спохватился, положил трубку; неплохо бы, конечно, если бы охранник объяснил директору, что творится в его институте.

— Договор 455,— сказал он приблизившемуся начплана.— С колхозом «Заря». Дайте мне этот договор.

Договор был найден, представлен, весь дальнейший путь в лифте Валерьян Вениаминович листал его, читал — и клокотал от негодования. Оказывается, уже две недели неподалеку от его кабинета, на 13-м уровне второго слоя выкармливают три десятка свиней. «Ну, погодите мне!» Он взглянул на визы, чтобы определить, к кому отнести это «Ну, погоди»,— подписи были неразборчивы; это еще подогрело чувства. «Шарага!.. Ничего не было и нет: ни института, ни исследований, ни башни... началось с шараги и развивается, как шарага!» На свой этаж Валерьян Вениаминович влетел, мечтая, на кого бы обрушить гнев.

Первой жертвой оказалась Нюся. Она с бумагами ходила в отделы и сейчас легкой походкой возвращалась в приемную. Заметила, как из лифта появился директор, вспомнила, что Корнев просил предупредить, заспешила, открыла дверь в кабинет главного инженера — тот читал, наклонив голову, замешкалась на секунду: как ловчее сказать? — выпалила:

— Александр Иванович, Вэ-Вэ на горизонте!

Она явно не учла скорости, с какой может перемещаться разъяренный директор.

— Во-первых, не на горизонте, милая барышня, а за вашей спиной! — рявкнул Пец, входя в приемную.— А во-вторых, что это за «Вэ-Вэ»?! Главный инженер — так Александр Иванович, а директор — так «Вэ-Вэ»?! Пылесос так можно называть, а не человека. Ну нигде порядка нет!..

— Простите, Валерьян Вениаминович,— пискнула Нюся, глядя в пол; она сразу сделалась пунцовой.— Я никогда больше не буду так вас называть, Валерьян Вениаминович.

Корнев уже спешил в приемную, неся на лице широкую американскую улыбку.

— Ну,— сказал он, беря Валерьяна Вениаминовича за локоть,— ну, ну... чего вы так на нее? При чем здесь пылесосы, нет таких марок у пылесосов, ни у чего нет. Вот «АИ» есть сорт вина, его Пушкин воспевал — значит, меня так нельзя. А вас можно...

Он мягко ввел директора в его кабинет.

— Вообще, на такое не сердиться надо, а радоваться. Ведь сколько у нас людей с такими инициалами: и тебе Василиск Васильевич Документгура, и Виктор Владимирович Стремпе из отдела

освоения, и ваш антитезка Вениамин Валерьянович Бугаев, глава грузопотока, и еще, и еще... а никого так не называют. По фамилии, по имени-отчеству, по должности. А вам народом дарованы всего две буквы — и ясно, о ком речь. Да если хотите, «Вэ-Вэ» — это больше, чем «ваше величество»!

— Уж пря-амо! — по-саратовски произнес Пец, швырнул плащ в угол дивана, вкладывая и в этот жест неизрасходованный гнев.— Король, куда там!

— Не нравится «Вэ-Вэ», так имейте в виду, что вас еще называют «папа Пец». Чем плохо?

— Не король, так папа — час от часу не легче. Вот, не угодно ли ознакомиться, какие дела творятся в нашем с вами «королевстве»? — Валерьян Вениаминович протянул Корневу договор № 455.

Тот устроился на углу длинного стола, просмотрел бумаги, фыркнул, ухватил себя за нос: «Ну, черти, ну, откололи!..» — поднял глаза на Пеца:

— Ни слова больше об этом, Валерьян Вениаминович, беру дело на себя, все выясню и ликвидирую. Надо же! — Он снова щедро улыбнулся.— И это вас так расстроило?

Тот стоял, сунув руки в карманы пиджака, глядел исподлобья.

— Не только. Били горшки вместе, а расплачиваться предоставили мне. И еще улыбаетесь! Как хотите, Александр Иванович, но от вас я такого не ждал: в трудную минуту оставить, отдать, собственно, на расправу сановному ревизору... Уж не буду говорить: руководителя, руководителей все предают,— но своего товарища, пожилого человека...

— ...и к тому же круглого сироту, как добавлял в таких случаях Марк Твен,— дополнил Корнев, несколько уменьшив улыбку и тем выражая, что его сантиментами не проймешь.— Не надо таких слов, Валерьян Вениаминович. Много бы вам помогло, если бы я сидел рядом и отбрехивался. А наверху мы тем временем такую систему сгрохали!.. И тоже хватало трудных минут.— Он смягчил тон.— А улыбаюсь я не тому: просто давно вас видел, соскучился. Сколько мы с вами не встречались?

— В наших условиях так говорить нельзя. Лично я не видел вас, так сказать, а ля натюрель, суток пять.

— Э, педант, педант! А я вас больше недели. Поэтому и соскучился сильнее, больше рад вам, чем вы мне.

— Да уж!.. Небось пока здесь сидели зампред и Страшнов, так не спешил сократить разлуку! — Пец все не успокаивался.— Хоть бы в неловкое положение не ставили меня.

— А чем я вас поставил в неловкое положение?

— Да хоть тем, что зачислили в группу Васюка-Басистова — Васюка. И в одном приказе, соседними пунктами... Это ведь прямо для газетного фельетона. Неужели не понимаете: более серьезные

нарушения могут воспринять хладнокровно — но такой анекдотец каждому западет в душу. Теперь ревизор повезет его в Москву... Нет, я догадываюсь, что вами двигало, когда вы составляли приказ: «чувство юмора пронизало меня от головы до пят»,— как писал чтимый вами Марк Твен...

— Так ведь в этих делах, Валерьян Вениаминович, если без юмора — запьешь...

— ...но сможет ли ваш Анатолий Андреевич отнестись с должным юмором к тому, как у него будут теперь вычитать переплату?

— У Толюни?! — Корнев, посерьезнел, встал.— Как хотите, Валерьян Вениаминович, этому не бывать. Нельзя. Он, конечно, и слова не скажет, но... именно потому, что не скажет, нельзя! Другим горлохватам и не такое сходит с рук, а Толюне... нет, этого я не дам. Пусть лучше у меня вычитают, мой грех.

— О наших с вами зарплатах можно не беспокоиться. За злоупотребления нам, вероятно, такие начеты оформят — надолго запомним. А с Васюком...— Пец вспомнил худое мальчишеское лицо, глаза, глядящие на мир с затаенным удивлением, вздохнул: нельзя у него вычитать, стыдно.— Ладно, придумаем что-нибудь. Хорошо,— он сел на диван.— Что вы там наблюдали?

— «Мерцания» и тьму, тьму и «мерцания» — и ничего на просвет.— Главный инженер тоже сел, сунул руки между коленей.

— То есть проблема размеров Шара остается открытой? Саша, но ведь это скандал,— озаботился Пец,— не знать физических размеров объекта, в котором работаем, строим, исполняем заказы! Какова же цена остальным нашим наблюдениям? Что мы сообщим на конференции? От вашего и моего имени идут два доклада, оба на пленарных заседаниях. Ну, второй, который сделаете вы, о прикладных исследованиях, сомнений не вызывает, там все наглядно и ясно... А вот в первом — «Физика Шара», которым мне открывать конференцию,— там многое остается сомнительным, шатким: размеры, объем, непрозрачность, искривленная гравитация, «мерцания» эти...

— Можете смело говорить, что внутренний радиус Шара не менее тысяч километров.

— Так уж и тысяч! С чего вы взяли?

— Хотя бы с того, что к «мерцаниям» мы приблизились во времени, на предельной высоте они иной раз затягиваются на десятки секунд, но не в пространстве. Их угловые размеры почти такие, как и при наблюдении с крыши. Это значит, что закон убывания кванта h сохраняется далеко в глубь Шара.

— Ага... это весомо. И в телескоп ничего не углядели сквозь Шар — ни сети, ни облака?

— Ничего.

— Так, может, Борис Борисович Мендельзон прав: внутри что-то есть?

— Если есть, то оно удовлетворяет противоречивым условиям: с одной стороны, не пропускает сквозь себя лучи света и радиоволны, а с другой — не отражает и не рассеивает их. Ни тела, ни туман, ни газы так себя не ведут.

— Справедливо. Ну, а «мерцания» эти — что они, по-вашему?

— Они бывают ближе, бывают дальше. Те, что ближе, существуют дольше, дальние мелькают быстрее. В бинокль видны некоторые подробности. Но и эти подробности — тоже мерцания, искорки...

— А как это вы различили, какие ближе, какие дальше? — придирчиво склонил голову Пец.

— По яркости и угловым размерам.

— Так ведь они неодинаковые все!.. Впрочем, можно статистически усреднить, верно, для оценок годится. Но что же они?.. Слушайте, может, это какая-то ионизация? В высотах разреженный воздух, а он, как известно, легко ионизируется, если есть электрическое поле, а?

— Я думал над этим, Валерьян Вениаминович. По части ионизации атмосферы я еще более умный, чем вы, это моя специальность. Не так выглядят свечения от ионизации в атмосфере. Там полыхало бы что-то вроде полярных сияний, а не светлячки-вибрионы.

— Так то в обычной атмосфере, а у нас НПВ — все не так!

— Ну, можно подпустить насчет ионизации,— согласился Корнев.

— Подпустить...— с отвращением повторил Пец.— Вот видите, как вы... Может, все-таки снимем доклад? Не созрел он, чувствую. Что подостовернее, включим в ваш — как наблюдательные феномены, без академического округления. А?

— Ну, Валерьян Вениаминович, вы меня удивляете.— Корнев даже раскинул руки.— Меня шпыняете за легкомыслие, а сами... Неужели непонятно, что дать эти загадки и факты просто как феномены, без истолкования в свете вашей теории НПВ — значит, упустить т е о р е т и ч е с к у ю и н и ц и а т и в у! Или вы полагаете, что если мы воздержимся от комментариев, то и другие последуют нашему благородному примеру, будут помалкивать до выяснения истины? Как не так, не та нынче наука пошла. И те, которые истолкуют, какую бы чушь они не несли, будут ходить в умных, в знающих — а мы в унылых практиках, которых надо просвещать и опекать... Вот,— он подошел к столу директора, взял там текст аннотированной программы конференции, вернулся к дивану,— смотрите: на первом пленарном сразу после вас выступает академик Абрамеев из Института философии с докладом «Общефилософские и гносеологические аспекты исследования неоднородного пространства-времени». Сей старец послезавтра впервые окажется в Шаре, с НПВ он знаком по вашим же работам да по газетам;

у нас любой монтажник имеет более ясный философский взгляд на это дело. Но доклад-то — его! А звание — академик. А философия, как известно, руководительница наук. И что выходит?

— Ага,— сказал Пец,— действительно. В таком аспекте я не рассматривал.

— Вот видите,— воодушевился Корнев.— И вообще вы для своего возраста и положения удивительно неделовой человек. Не пускаете в Шар корреспондентов. Шуганули тех деятелей катаганской литературы и искусств — зачем, спрашивается? Разве мы не нашли бы им несколько комнат повыше? Пусть бы себе творили, а заодно присматривались к нашим делам. Уверен, что у многих они вытеснили бы их прежние замыслы... Ведь это паблисити! А без паблисити, как известно, нет просперити.

— А надо?

— Что — надо?

— Да просперити это самое.

— Ну вот, пожалуйста! — Александр Иванович снова развел руками: толкуй, мол, с ним,— и отошел.

— В детстве и юности,— задумчиво молвил Пец,— мне немало крови попортила моя фамилия, которая, как вы могли заметить, ассоциируется с популярным в южных городах еврейским ругательством...

— А, в самом деле! — оживился Корнев.— То-то она мне сразу показалась какой-то знакомой.

— ...А я мальчишкой и жил в таком городе. Да и позже — вот даже жена моя Юлия Алексеевна застеснялась перейти на нее, осталась на своей. Хотя, между нами говоря, Шморгун — тоже не бог весть что... И вот я мечтал: ну, погодите, вы все, которые не Пецы! Я вырасту большим и вас превзойду.

— Ну?

— Все.

— Назидаете? — Корнев забрал нос в ладонь.— Вместо того, чтобы прийти ко взаимопониманию со своим главным инженером, так вы ему басенку из своего детства с моралью в подтексте? Я о том, что нам это ничего не составляет, а для дела польза. И ученым так можно потрафлять: кому диссертацию надо скорее написать, кому опыт или расчет в темпе для заявки, для закрепления приоритета — пажал-те к нам на высокие уровни. Мы же станем отцами-благодетелями ученого мира, вся их взмыленная гонка будет работать на нас!

Пец с удовольствием смотрел на него, улыбался.

— Ну вот, он улыбается с оттенком превосходства! Нет, я вас, Валерьян Вениаминович, до сих пор не пойму: то ли вы действительно гений и обретаетесь на высотах мысли, мне, серому, недоступных,— то ли у вас просто унылый коровий рассудок? Такой, знаете, жвачный: чав-чав...

Это было сказано не без расчета завести Пеца. Но тот только рассмеялся, откинув голову:

— А может, и вправду такой!.. Хорошо, Саша, насчет доклада вы меня убедили. Подпустим.

...И они говорили обо всем — то всерьез, то подтрунивая друг над другом; оба ценили остроумие — вино на пиру разумной жизни. В кабинет заглядывала Нюся, делала озабоченное лицо: в приемной накопились ходоки и бумаги. Но директор или главный инженер взмахом руки отсылали ее обратно. Время от времени призывно вспыхивал экран инвертера — и снова то Пец, то Корнев, кому было ближе, отключали его.

Деловые темы мало-помалу исчерпались, разговор как-то нечаянно снова свернул к фамилиям. «Но между прочим, Валерьян Вениаминович,— сказал Корнев,— так и вышло: вы выросли и превзошли не-Пецев. Так что мораль не совсем та... И, кстати, это типично».— «Что типично?» — не понял Пец. «А это самое. Вы замечали, что на досках почета процент гадких, неблагоуханных фамилий явно превосходит долю таких фамилий в жизни?» — «М-м... нет».— «Ну! Глядишь на иную доску и думаешь: если бы какой-то писатель в своей книге наградил передовиков такими фамилиями, его бы в два счета обвинили в очернении действительности. И тебе Пузичко, и Жаба, и Гнилозуб рядом с Гнилосыром, и Лопух, и Верблюд, и Вышкварок... глаза разбегаются. Так что это общий стимул, Валерьян Вениаминович, не только у вас: доказать всяким там не-Жабам, не-Пецам, не-Лопухам, что они — ого-го!..» — «Хм, вполне возможно»,— благодушно кивнул директор. «Поэтому надо считать несомненным благом для науки, что судьба одарила вас такой фамилией. А то, глядишь, и не имели бы мы до сих пор теории неоднородного пространства-времени».

— Ну уж прямо и не имели бы!..— растерянно сказал Валерьян Вениаминович, поняв, что попал впросак. Настроился было на ответную шпильку, но — взглянул на довольное лицо Корнева, спохватился.— Александр Иванович, а вам не кажется, что мы сейчас бессовестно треплемся? Будто и не на работе.

— Мне это давно кажется, Валерьян Вениаминович,— со вздохом ответил тот, слезая со стола,— только не хотелось кончать. Ну, да вы правы.

Он ушел. Валерьян Вениаминович несколько минут сидел, покачивая левой ногой, закинутой на правую, покойно улыбался и ни о чем не думал. Ему было хорошо.

Вопреки опасениям (или надеждам?.. скажем так: полунадеждам, полуопасениям) Валерьяна Вениаминовича ничего из ряда вон выходящего в этот день в Шаре более не случилось — ни в части идей-замыслов-проектов, ни в части трудовых свершений, ни даже

происшествий. Не случилось по самой прозаической причине: вскоре после полудня (по земному времени) общий порыв действий, забрасывавший людей, приборы, машины и материалы на верхотуру, начал иссякать.

Первыми опустели самые высокие, «подкрышные» уровни: где из-за перебоев с материалами (даже с водой, которую не так-то просто гнать на полкилометра ввысь без накопительных резервуаров), где из-за усталости работников. Затем замерли работы на кольце-лифте... И так этаж за этажом, уровень за уровнем гасли в сумерках Шара окна в лабораториях, мастерских, залах, осветительные трубки и прожекторы на площадках. Люди сдавали на проходной свои ЧЛВ, доставали из карманов остановившиеся часы, заводили их, ставили стрелки на обычное время — и выходили в апрельский слепяще-яркий день.

Земля брала свое.

Только в зоне работа продолжалась вечером и ночью при свете иллюминационных мачт, да по спирали мотались машины, доставляли на перевалочные площадки повыше всякие грузы — на завтра.

II

Историю возникновения и исполнения договора № 455, который вошел в анналы Шара под названием «Великий поросячий контракт», Корнев изложил на очередном НТСе, научно-техническом совещании следующим утром 7 апреля. Александр Иванович питал слабость к тому, чтобы живописать сообщения,— но здесь ему не пришлось и стараться.

...Отдел освоения, где возник и внедрился в жизнь Шара этот замечательный контракт, имел обязанностью занимать вновь отстроенные помещения башни какими-нибудь пробными, как правило, непродолжительными делами — с непременной загрузкой электрической сети, водопровода, канализации, вентиляции, внутренних (но не внешних!) грузовых путей. Это делалось, чтобы новые участки вживились в напряженно действующий цельный организм башни, и координатор далее учитывал их существование. Обычно освоители организовывали на новых пространствах бытовки, перемещали туда раздаточные инструментов и приборов, службы оперативного ремонта — и все получалось мило.

Но старший инженер этого отдела Вася Шпортько был сыном председателя колхоза «Заря» Давыда Никитича Шпортько и часто навещал родителя. В одну такую встречу в марте отец поделился с сыном заботой: горит колхоз с мясопоставками, с прошлого года должны, а сдать нечего. Пьяница-зоотехник запустил ферму, поморил свиней, а те, что остались, такие — хоть зайцев ими гоняй.

Сын подумал, сказал: «Батя, все будет. Сделаем. Готовь корма»,— и объяснил что к чему. Конечно, предложи такое Давыду Никитичу, пожилому солидному человеку, члену бюро райкома, хоть сам профессор Пец, он бы не поверил, отмахался руками. Сыну же он не то что поверил, а — доверился.

И сын провернул. В общей суете никто в содержание договора (где, понятно, не говорилось лобово о производстве в Шаре свинины, а трактовался некий «животноводческий эксперимент, во исполнение которого...» — и т. д.; договор составлял сам Вася) особенно не вникал. Подмахнул его и начальник отдела освоения Стремпе, и замначплана, и Зискинд, оказавшийся в эти часы главой института. Дальше все пошло, как по маслу: пропуска, накладные, рассчитанный машинами координатора график поставок... (Валерьян Вениаминович потом вспомнил, что в день начала исполнения «контракта» 22 марта он, подъезжая к Шару, обогнал грузовик, из которого несся задорный поросячий визг, и подумал: «В столовую, наверное?» — хотя, если здраво рассудить, кто в столовой станет возиться с живыми поросятами?)

Необходимая оснастка: стойла, корыта, поильники, сточные желоба — вместе с жизнерадостными кабанчиками и опекавшей их свинаркой были доставлены на 13-й уровень второго слоя; там как раз захлебнулись работы, оборудовать бытовки не имело смысла. Затем колхоз, строго выдерживая график, начал гнать в Шар машины с кормами; сначала со снятым молоком, творогом, простоквашей, с капустными и свекольными жмыхами, затем — уже в самосвалах — с замесами отрубей, пареной картошкой, свеклой, кукурузой, силосом... Всего за эти дни перевезли более девяноста тонн. Свинарки сменялись, уезжая и приезжая теми же машинами. Поросят откармливали закрытым способом, в помещении им было тепло, светло и благоуханно — работал кондиционер. Они росли, разбухали на глазах, водители и свинарки только ахали.

Все бы, наверное, окончилось благополучно и не узнало бы руководство НИИ об этом деле, если бы не забилась канализация. Случилось это на завершающей стадии, когда взрослые хряки стали, с одной стороны, очень много жрать, а с другой — степень усвоения ими пищи понизилась. «Эти десятки тонн кормов — должны же они во что-то превратиться»,— философски заметил Корнев. Трубы сливов не были рассчитаны на такой поток, захлебнулись — и далее все, как полагается в неоднородном пространстве-времени, стало развиваться ускоренно. Водителям вместе со свинарками (для которых эта история вообще была сильным переживанием) пришлось в темпе грузить навоз на самосвалы, которыми привозили корм. И сам Вася Шпортько, перепуганный таким поворотом событий, закатав рукава кремовой нейлоновой сорочки, кидал совковой лопатой в кузов неблагоуханный продукт.

За этим занятием и застал их главный инженер... (Он же, скажем, забегая наперед, по своей склонности к людям с инициативой отстоял инженера Васю, хотя крови его жаждали и Пец, и оскорбленный в лучших чувствах Зискинд, и все работники сектора грузопотока. «В конце концов, это действительно можно рассматривать как животноводческий эксперимент, хоть и не совсем удачный».)

Совещание, по обычаю, происходило в координаторном зале, напротив экранной стены. Здесь в креслах и за столами расположились все тузы, воротилы, элита Шара: Пец, Корнев, Зискинд, кибернетик Люся, начплана Документгура Василий Васильевич (в редакции Корнева: Василиск Васильевич; в нем и в самом деле что-то такое было), глава мятежного отдела контактных исследований Бор Борыч Мендельзон, начотдела освоения Стремпе (который сейчас подавленно молчал), невозмутимый полковник Волков — шеф «эркашников», начснаба Приятель, командир грузопотока Бугаев, главэнергетик Оглоблин, главприборист Буров, командир вертолетчиков Иванов, могучий мужчина... и даже руководитель высотной исследовательской группы Васюк-Басистов — посвежевший, отутюженный и поправившийся после проведенных в лоне семьи двадцати нормальных часов. Протокол вела Нина Николаевна.

По первоначальному замыслу это были действительно НТСы, на которые полагалось выносить только принципиальные вопросы и идеи. Но поскольку это был единственный случай, когда собирались все — прежде раз в неделю, теперь раз в два-три дня,— то наличествовали и взаимные попреки, и объяснения «почему не смог», и сваливание с больной головы на здоровую, и заключение коалиций, и снятие стружки... все двадцать четыре удовольствия. «Парад-алле» по определению Корнева.

— ...Сегодня последний день откорма,— заканчивал свое «научное» сообщение главный инженер,— свиньи достигли товарного веса. Договор 455 нами выполнен, колхоз «Заря» сможет ликвидировать недоимку. У меня все.

— Девяносто тонн...— тяжело молвил Бугаев.— Мы, как проклятые, вылизываем грузопоток, чтобы протиснуть наверх каждый лишний центнер. А тут отруби, жмыхи, самосвалы с навозом!..

— Ситуация, как в гоголевском Миргороде,— поддала кибернетик Люся.

— Нет, Людмила Сергеевна, не как в гоголевском Миргороде,— поглядел на нее Бугаев.— В том Миргороде не было координационно-вычислительного центра с телевизионным контролем. График-то для поставок-то по договору-то ваши машины рассчитали!

— На то они и машины, Вениамин Валерьянович.

— Это понятно. Но вот для чего над этими машинами вы?! То, что м а ш и н ы здесь умеют мыслить, я знаю.

Это было уже слишком. Лицо Малюты пошло красными пятнами.

— Пожа-алуйста, товарищ Бугаев,— запела она,— займите вы мое место. Охотно уступлю. Может, в координаторе вы, наконец, найдете себя. А я погляжу, как вы справитесь с нашей все возрастающей неразберихой!

Пец постучал карандашом по столу:

— Товарищи, не отвлекайтесь. Нам надо заново обдумать ситуацию. Дело вот в чем: увлекшись описанием «поросячьего бума», Александр Иванович забыл сказать о главном, о результатах своих и Анатолия Андреевича вчерашних исследований. Главное же то, что радиус Шара,— или даже точнее — толщина неоднородного слоя в нем,— не менее тысячи километров...

— Ну, вам-то я об этом доложил,— пробормотал Корнев.

— Что это значит? Если до сих пор мы сдерживали себя в проектах и замыслах, ожидая, что вот-вот выйдем в зону однородности, исчерпаем НПВ, то после их аэростатной разведки ясно, что Шар ни по объему пространства в глубине, ни по ускорению времени нам пределов не ставит. Насколько мы внедримся в него и освоим НПВ, зависит единственно от наших стремлений, технических возможностей и, главное, от глубочайшей продуманности всего в комплексе. Вот я и хотел бы для начала услышать ваши суждения о пределах возможного во вверенных вам службах.

Ситуация была новой. Все замолчали.

Коротко взмахнул рукой Зискинд. Пец кивнул ему.

— Собственно, в своем проекте Шаргорода мы интуитивно таким и руководствовались. Поэтому я смогу сейчас обосновать, что мы внедримся в Шар — для более-менее постоянной работы и обитания — не выше тысячи метров...

— Только-то?! — повернул к нему голову Корнев.

— Да. Смотрите: на пятистах метрах, где кончается ныне осевая башня, ускорение времени сто пятьдесят. На восьмистах метрах оно превосходит три тысячи: три тысячелетия за год. То есть выше этой отметки за год мы охватываем почти все историческое время человечества — от египетских пирамид до наших дней. Ясно, что при с т а ц и о н а р н о м строительстве это за пределами долговечности строительных материалов. Далеко! Поэтому Шаргород мы проектируем не стационарным, а по принципу нашего кольца-лифта, или, если шире, по принципу телескопической антенны, которая, когда надо, складывается, а когда надо, вытягивается. Так можно будет дотягиваться — временами, импульсами — до высоты в километр. В основном же мы ориентируемся на отметку в 730 метров, но с распространением вширь. Вот на эти числа и стоит равняться.

— Семьсот тридцать метров, ускорение две тысячи — тоже...— освоитель Стремпе, наконец, обрел дар речи, закрутил лысой головой.— Как там все заселить, освоить? Ведь это же пять-шесть

лет за сутки, чтоб вы мне все так были здоровы!.. Нужно максимально уменьшать зависимость от земли, от низа. Замкнутые циклы какие-то, а? Вот как с этими свиньями можно было бы... В самом деле: им корма везли — а помои и объедки из нашей столовой (в таком же количестве, если не большем!) вывозили и канализировали. И свиней, Валерьян Вениаминович, теперь вывозить не стоит, раз уж они здесь, а закупить у колхоза, пустим на мясо для борщей. Нет, серьезно!..

Оживление присутствующих. Главэнергетик Оглоблин приложил руку к сердцу:

— Слушайте, кончайте вы о свиньях. С души воротит!

— Нет, почему — здоровая идея! А навоз на оранжереи!..— поддал кто-то.

— Замкнутые циклы в нашем проекте, конечно, будут,— невозмутимо пообещал главный архитектор.

— Не знаю, что и когда будет,— подал голос командир грузопотока,— но если исходить из реальности, то, с точки зрения низа, доставки и вывоза, мы уже сейчас на пределе возможного. И вот-вот окажемся за пределом. Товарищи милые, ведь все, что есть в башне и будет, приходит с земли и возвращается туда же! Как сказано в древнем первоисточнике, «земля еси и в землю отыдеши». Это в высотах все быстро и просторно, а у нас внизу — медленно и тесно. Мы используем все мыслимые способы подачи грузов, от лифтов до вертолетов... вот канатную дорогу скоро пустим от пристани прямо на средние уровни. И что? — он оглядел сидевших с неким мрачным торжеством.— Грузопоток на пределе, малейшие колебания его чреваты срывами — а башня вверху и наполовину не загружена. Думаю, что Юрию Акимовичу, чем рваться в выси, подобно лебедю из басни, надо скорее выдать и реализовать проект «вороночного входа», который он давно обещает.

Пец с беспокойством почувствовал, что разговор от нерешенного общего опять скатывается к нерешенным частностям,— и только хотел поправить, как Люся-кибернетик все окончательно испортила.

— Ну, знаете, Вениамин Валерьянович,— ввинтилась она,— если вы всерьез считаете, что грузопоток на пределе, то вы, простите, созрели для снятия! У вас масса неиспользованных возможностей — и история со свиньями прямое тому подтверждение.

И пошло, и поехало. «Опять!..» — взялся теперь за голову главэнергетик Оглоблин. «Прошу вас, Людмила Сергеевна, займите вы мое место. Научите меня, темного, как надо, просветите!..» — сделал жест рукой Бугаев — и было ясно, что он не уступает место и не собирается учиться, а лишь дает достойную отповедь математической нахалке. «Да вы начните управлять потоком не на въезде в зону, а раньше: на шоссе, на пристани, на вертодроме,— не отступала та,— вдвое его усилите!» — «Вот даже как! Интересно!..» —

«Да что грузы,— сказал начплана,— людей не хватает для полной загрузки. И неоткуда взять...» — «Скорости движения надо увеличивать,— вступил приборист Буров,— лифтов, грузовиков, вертолетов — всего! А то перестраховываются, глядеть тошно».— «А ты нам радиопривод сделал? — подавил его могучим видом и рыком пилот Иванов.— Сделай, тогда будем летать быстро и по коротким маршрутам. А без надежного привода в НПВ если быстро, то прямо в открытый гроб. Летишь на зеленое, а вблизи оно, оказывается, красное!..»

— А я вот ничего не понимаю,— прозвучал среди общего шума голос Васюка-Басистова, прозвучал с такими наивными интонациями, что все обратились в его сторону: чувствовалось, что действительно человек ничего не понимает.— Почему надо все выше, быстрее, больше, мощнее? С самого начала «давай-давай», все время «давай-давай»... Что нам жжет пятки? Ведь если и не выкладываться на пределе возможностей, все равно в НПВ выходит очень прилично. Ну, неполная загрузка, ну, вместо теоретического ускорения в тысячу раз будет практическое в сто... но ведь все-таки в сто раз! Вспомните, недавно мы осваивали уровни «10», «20», «40» — и радовались: как здорово!..

— Если на то пошло, можно вспомнить, как еще полгода назад мир вообще обходился без НПВ,— подал реплику Корнев.

— Тоже верно,— взглянул на него Васюк.— А теперь сплошной зарез и аврал... какое-то судорожное стремление выложиться, выгадать и урвать. Может, мне кто-нибудь объяснить: в чем смысл жизни?

Все запереглядывались: вот нашел, где выяснять про смысл жизни — на производственном совещании. Даже Бугаев, который только что стенал от тягот, смотрел на Анатолия Андреевича с сомнением. Нина Николаевна негромко спросила: «Это писать в протокол?» Около нее захмыкали.

— Смысл жизни, молодой человек,— начплана Документгура, лысый, умудренный и морщинистый, строго взглянул на Толюню поверх очков,— в том, чтобы дожить до пенсии. До хорошей пенсии.

— А когда дожил, то в чем? — не унимался тот.

— Ходить на рыбалку.

— И все?

— И все. Нина Николаевна, протоколировать это необязательно.

Присутствующие облегченно улыбались. Пец наблюдал. Корнев в задумчивости «подоил» нос.

— Нет,— сказал он,— не поняли вы, Василиск Васильевич, нежную, трепетную душу Анатолия Андреевича. Не поняли суть вопроса. Я понял — и сейчас все объясню...— Он облокотился, устремил на Васюка затуманившийся взгляд и даже будто пригорю-

нился.— Понимаешь, Толюня, друг мой, все началось еще в каменном веке. Ну, представь: палеолит, вокруг дико и страшно, и наши славные предки-троглодиты ворочают, перекатывают каменные глыбы. Например, к обрыву — чтобы обрушить на зазевавшегося мамонта. Или сделать завал, запруду... Ну, о чем говорить: каменный век, без камня — как без рук! Работа тяжелая — перекатывают, аж спина трещит. И вот один сообразил: сунул под свой камень палку, уперся — и перевернул глыбу, как пушинку. Изобрел рычаг! Другие радостно перенимают опыт, спина не трещит, жить стало легче... но разве они утешились этим? — Александр Иванович выдержал паузу, вздохнул.— Как не так: они начали подсовывать палки под все более крупные глыбы — пока снова не начала трещать спина и не понадобилось придумывать что-то еще для облегчения труда! Так и повелось, так с тех пор и пошло, дорогой Толюнчик: каждое новшество — от рычага и колеса до кибернетики и нашего НПВ — сначала дает возможность делать легко то, что делалось с трудом... а потом нагружается до предела, пока снова не начинает трещать спина. Эта дурная наследственность и жжет нам, по твоему удачному выражению, пятки. Не будь ее, качались бы мы с тобой, друг Андреич, на деревьях, закрутив хвосты вокруг веток — и никаких проблем.

— Н-да...— вздохнул Бугаев,— вон, оказывается, кто виноват. Не буду я, граждане, ставить канатную дорогу, а выпишу у Альтера Абрамовича шкуру и каменный топор и пойду раскрою череп тому умнику с палкой. Чтоб и другим было неповадно.

— Вениамин Валерьяныч,— подал голос Зискинд,— вы опоздали ровно на миллион лет!

Пец смотрел на сотрудников: одни слушали с удовольствием, другие с вежливой скукой,— но у всех, за исключением разве Васюка, отношение к этому явно было как к интермедии, к забавной передышке между спорами о важных делах, ради которых и собрались. Да и сам Корнев выдал эссе о троглодитах не из склонности к философии, а более от богатства своей артистической натуры. «Образ башни, образ башни...— завертелся в уме Валерьяна Вениаминовича прежний мотив.— Каждый видит только свое, озабочен своим, а все вместе они — живая, лезущая в небеса Шара башня. Даже распри их — лишь различия в том, что объединяет всех как само собой разумеющееся: на стремлении расти, осваивать открывающиеся в НПВ возможности. И они будут делать все, чтобы подниматься и распространяться в Шаре. С упреками и претензиями друг к другу, с деловыми разногласиями, а возможно, и неделовым подсиживанием... но будут!»

И — как вчера у этой экранной стены — холодок какой-то чувствуемой истины повеял на директора. Но уловить и перевести ее

в слова он опять не смог — потому что совещание вернулось к с е р ь е з н ы м вопросам. Следующим пунктом была грызня из-за перемещений на высокие уровни. В протоколе это называется деликатнее, но суть была именно такая: неоднородное пространство-время делили, как в других НИИ делят новые площади (площадя́), штатные единицы и дефицитное оборудование. И как в других институтах выцарапанный у руководства, отвоеванный у других отделов электронный микроскоп (или комната с вытяжным шкафом, полставки старшего механика, т. п.) были не просто микроскоп, комната, полмеханика, а признание заслуг и важности работ, утверждение престижа отдела,— так и здесь это измерялось в отвоеванных, вырванных числах уровня или высот в метрах.

Все стремились вверх, все стремились к быстрым крупным делам.

ГЛАВА 13

РАЗГАДКА «МЕРЦАНИЙ»

Вперед, вперед — и пусть мелькают, как верстовые столбы, остолбенелые преподаватели!

Плакат ГАИ.

I

Х р о н и к а Ш а р а. 1) В этот день закончили отделку и оборудование на четырех последних этажах башни гостиницы-профилактория на тысячу мест; ее так и назвали «Под крышей». 2) Дирекция и координационно-вычислительное хозяйство Люси Малюты переселились на 20-й уровень. 3) В освободившемся помещении на уровне «7,5» развернули еще одну столовую самообслуживания, а на 10-м и 16-м уровнях открыли буфеты. 4) Закончили монтажные и наладочные работы в 12-этажном кольцевом здании-лифте; под вечер опробовали подъем его до 55-го уровня и обратный спуск: все кончилось благополучно. 5) Автоматизировали — по тем наметкам Корнева и Васюка — телескопные наблюдения в аэростатной кабине; Анатолий Андреевич со своим помощником Панкратовым поднялся в ней на предельную высоту, сделал неплохие снимки «мерцаний» различных типов.

...Нельзя не отметить, что ударная и результативная работа в этот день проходила под знаком того, что в следующий в Шаре должна состояться Всесоюзная научная конференция. Именно делегатам ее надлежало заселить на семь условных суток новенькую, с иголочки гостиницу. Для них, в первую очередь, предназначались новые буфеты и столовая. Подъемы и спуски кольцевого здания-

лифта должны были проиллюстрировать одну из тем доклада Зискинда, а снимки «мерцаний» Васюк-Басистов готовил для доклада Пеца.

Показуха — душа нашего общества, пошлая хвастливая душонка. Для нее выделяют то, что не всегда дадут для дела. Разумеется, по велению Страшнова в столовые и буфеты к этому событию были завезены лакомые дефицитные продукты: от сарделек и сухой колбасы до осетрины и крабов (академики ж будут!). Стараниями Альтера Абрамовича и Корнева часть продуктов пошла в поощрение хорошим работникам.

Тот же опытный завснаб Приятель пробил «под конференцию» многие заявки, которые иначе не удовлетворяли: на японскую видеоаппаратуру, ультразвуковые электродрели, лазерные сверхточные локаторы, итальянские унитазы с музыкальным, мажорно-бравурным спуском воды. Корнев его за это обнимал и обещал премировать.

II

Итак, в следующий долгий, бесконечно долгий день 8 апреля на десятом уровне башни началась (в 105.00 по времени уровня) и кончилась (в 190.00) Первая всесоюзная конференция по проблемам НПВ. На нее съехались более тысячи специалистов — и уверенность их в знании предмета сильно поколебалась, пока они приближались к Шару, шли в зоне и поднимались наверх.

В пригласительных билетах, высланных заранее, все были предупреждены, что опоздание к своей проходной на пять минут чревато пропуском пленарного заседания первого условного дня ($8^{а}$ — апреля), опоздание на час — потерей двух первых дней ($8^{а}$ и $8^{б}$) работы конференции; приглашения опоздавших на два часа аннулируются за ненадобностью. В 10.25 земли (104 часа 10 минут десятого уровня) накапливающихся у зоны делегатов начали регистрировать, пропускать, комплектовать в группы и доставлять с сопровождающими наверх. Все заметные места в коридорах и вестибюлях украшали плакаты: «Товарищи делегаты. Ни шагу без сопровождающих, если не хотите заблудиться в пространстве и во времени!», «Товарищи делегаты! Помните, что показания ваших ЧЛВ соответствуют хронометражу конференции, только если вы строго соблюдаете ее программу!», «Товарищи делегаты! Произвольно переходя с уровня на уровень, вы рискуете не только пропустить интересующие вас доклады, но и остаться без еды и ночлега!».

Корнева у входа в конференц-зал встретила большая группа оживленно толкующих приезжих.

— Александр Иванович,— остановил его один, широколицый

брюнет неопределенной национальности,— разрешите наши недоумения.

— Слушаю вас,— сказал Александр Иванович тоном радушного хозяина; он был парадно одет, выбрит, подстрижен и испытывал симпатию ко всем.— Что другое, а недоумение разрешить легко. Итак?

— Вот в программе стоят числа: $8^{а}$ апреля, $8^{б}$... и так до «д». Это значит, что мы будем здесь находиться в командировке пять суток, так?

— Да.

— И все это сегодня, 8 апреля?

— Точно.

— Но... кто же нам оплатит суточные за пять дней?

— И гостиничные,— вступил второй.— Ведь квитанции нам выпишут за восьмое от «а» до «дэ»!

— Наша бухгалтерия такие штуки не пропустит,— сказал первый.— Для нее эта ваша программа — филькина грамота.

— Люди-то в большинстве на пять дней командировочки выписали,— заговорил третий, явный москвич: лысый, курносый, в очках и с широкой бородой, похожей на перевернутую шевелюру,— а, Александр Иваныч? Ну и отметь нам убытие тринадцатым апреля. Загодя, а? По человечеству, едренать. Денек у вас, четыре в Катагани. Апрель, юг, южаночки... Так сказать, сегодня ты, а завтра я.

Остальные глядели на главного инженера с ожиданием. Корнев захватил нос ладонью, смотрел задумчиво; его симпатии поувяли. Есть люди, для которых — чем бы они ни занимались: наукой, хлебопашеством, политикой, литературой, все равно — главное создать атмосферу пошлости; в этом их самоутверждение. «Надо же — нарваться на таких... Ну, хорошо».

— Загодя? — простецки улыбнулся он лысому.— Ну что ж, едренать, как говорится, значицца, эт можна... Давайте ваши командировочки.

Человек пять протянули ему командировочные удостоверения; но лысый москвичок, свойский, интеллигентно двигающий науки с матерком и смефуечками, воздержался — тон Корнева его насторожил.

— Вот что, друзья,— миролюбиво продолжал главный инженер,— вы волею судеб и нашими стараниями попали в Шар, в НПВ, в мир, о котором не могли мечтать ни Лобачевский, ни Эйнштейн. Даже если бы вас командировали на другие планеты, вы не увидели бы там то, что у нас. И вместо того, чтобы радоваться, что с вас за это не берут деньги, так вы еще с такими запросами!.. Валентин Осипович,— подозвал он стоявшего неподалеку референта Синицу и, когда тот подошел, вручил ему командировочные бумажки,— этим пятерым отметьте убытие немедленно, с указанием часа, заберите

у них приглашения...— Он повернулся к делегатам.— И чтоб духу вашего здесь не было! Езжайте туда, где с суточными и квартирными все в порядке. Если бы мы здесь так копеечничали, заботились только о том, чтобы вырвать все, что положено, а при случае урвать и что не положено,— ничего этого не было бы.

— Да не-ет...— все пятеро протянули руки за удостоверениями,— не надо. Мы же только выяснить. Извините!..

Референт смотрел на Корнева вопросительно. Лысый отступил на шаг, отвернулся.

— Ладно,— сказал Александр Иванович,— раздайте,— и пошел в зал.

— Как он смеет с нами так разговаривать,— произнес позади злой голос,— он же даже не кандидат наук!

Корнев не обернулся.

И забурлила разливанным морем слов, засверкала фактами, заискрилась догадками и идеями, заблистала обобщениями и теориями конференция. Отгремел, вызвав смятение умов и массу вопросов, пленарный доклад Пеца «Физика Шара»; Валерьян Вениаминович тряхнул стариной, даже о «белых пятнах» в исследованиях НПВ говорил по-профессорски уверенно и непреложно. Доклад Корнева в следующий условный день многие по-студенчески конспектировали; ловили каждое слово, просили: «Не так быстро, пожалуйста!»

Потом пошли секции. Сшибались лбами противоположные мнения, вспыхивали острые споры. Иные оппоненты добивали один другого и в порядке обсуждения, и в порядке ответа на обсуждение, и в коридорах, и после, когда, поднявшись после трудного «условного дня» в гостиницу «Под крышей», располагались ко сну.

На четвертый условный день 8[г] апреля на секции краевых явлений шарахнул потрясающий, возмутительный по общему смыслу докладище «К вопросу о пучкообразном схождении гравитационных линий вблизи Шара» Борис Борисович Мендельзон, глава отдела упомянутых явлений в НИИ НПВ. Возмутительность его почуяли еще по аннотации в программе — аудитория была переполнена. Александр Иванович тоже пришел, устроился позади, но был узнан и перетянут в рабочий президиум.

— Известно, что любые тела, находящиеся в поле тяготения Земли, от самолетов до Луны, нарушают сферическую однородность этого поля,— выдавал с кафедры в притихшую публику приземистый полный мужчина с обрюзгшим лицом, мягким носом и массивным лбом, переходящим в широкую лысину; в целом он походил на Уинстона Черчилля времен Антанты.— По величине искажения, зная расстояние между телом и центом Земли, можно определить массу искажающего объекта. Таким способом, например, опреде-

ляют массу Луны по образуемой ею в океане приливной волне...

Корнев слушал и не слушал (общий смысл и цель доклада ему были известны, «пучкообразное схождение» там между прочим, в продолжение затаенной борьбы), смотрел на докладчика с лирическим чувством. Перед ним была история Шара, молодость Шара, самое начало. Бор Борыч Мендельзон, вместе с которым они лихо накатали в Таращанске особое мнение, тем предсказав это явление, искажение земного тяготения Шаром... Бор Борыч, который тотчас развил эту идею в предположение о центральном теле в Шаре и выразил его вторым особым мнением... Бор Борыч Мендельзон, который затем перешел из Катаганского университета в НИИ НПВ, организовал отдел исследований места контакта Шара с землей, выдал с сотрудниками массу статей и надменно уклонялся от низменной прикладной деятельности — до тех пор, пока не разъяснятся все принципиальные недоумения. Это было предметом его стычек с Александром Ивановичем, а Пец, напротив, его поддерживал. Бор Борыч Мендельзон, которого природа наградила крепким характером и неказистой внешностью; из нее он сотворил интересный, хоть и несколько одиозный облик — под Черчилля; даже курит сигары, три в день. «Ну-ну, Бор Борыч, давай...»

— Шар тоже создает ощутимую приливную волну, гравитационную выпуклость. Поскольку, в отличие от Луны, он неподвижен, эту выпуклость мы воспринимаем статически, как «бугор» в эпицентре,— хотя, к сведению приезжих делегатов, зона контакта Шара с планетой — поле бывшего аэродрома, реальной деформации местности здесь нет. Это можно истолковать лишь так, что внутри Шара находится вещественное ядро — тело весьма значительной массы...

«Ну, конечно, как втемяшилось тогда в его лысую башку это «центральное тело», так на том и стоит! Воистину черчиллевская консервативность, внешность обязывает...»

— Определение массы тела,— невозмутимо рокотал Мендельзон,— несколько затруднительно в силу того, становящегося уже скандальным, обстоятельства, что мы не имеем достоверных сведений о физической геометрии Шара и, в частности, не знаем расстояния до его центра. Во время подготовки этого доклада у нас в ходу была полученная Александром Ивановичем Корневым (полупоклон в его сторону; «Ага,— подумал Корнев, отвечая наклонением головы,— сейчас по нас выдаст!») и Анатолием Андреевичем Васюком-Басистовым...— докладчик нашел в третьем ряду Толюню, сделал полупоклон и ему,— вертолетная оценка радиуса Шара: несколько сотен километров. По этой величине и по картине искажений поля мы подсчитали (жест в сторону листа с графиками и формулами на доске), что масса центрального тела в Шаре составляет три-пять миллиардов тонн. *(Шум в аудитории).*

— Так мы считали еще позавчера,— переждав шум, продолжал

Бор Борыч.— Но тем временем Александр Иванович *(полупоклон)* и Анатолий Андреевич *(полупоклон)* поднялись вверх на аэростатах и, вернувшись, снабдили нас новой оценкой радиуса Шара, на порядок больше своей же предыдущей: т ы с я ч и километров... *(Шум в аудитории с оттенком веселья. Корнев почувствовал себя в президиуме неуютно. Васюк взирал на докладчика с сонной невозмутимостью)*. Соответственно и массу тела в Шаре мы должны теперь оценивать в 12—15 миллиардов тонн.

— Пучкообразное схождение линий гравитации к центру Шара не может не склонять нас к мысли, что тело внутри — плотное. Локальная масса. Не облако. Оно должно иметь размеры порядка километров... Дополнительный довод в пользу вещественного ядра — непрозрачность Шара: до сих пор центральную область не удалось ни просветить, ни различить сквозь нее внешние объекты.

— Наличию такой массы в Шаре на первый взгляд противоречит кажущаяся безынерционность его при наблюдениях извне. Еще в первых наблюдениях Александром Ивановичем Корневым *(полупоклон)* было замечено, как легко он смещается под воздействием атмосферных зарядов и полей проводимости...

Корнев насторожился: предстояло самое щекотливое место в докладе, интересно, как Бор Борыч здесь выпутается? Мендельзон тоже повел в его сторону глазами:

— Но нам следует помнить, что эти наблюдения и их интерпретация ущербны именно тем, что они п е р в ы е — то есть относятся ко времени, когда мы не знали величины реального объема Шара. Точнее сказать, знали ее еще меньше, чем сейчас, и полагали малой. Теперь эти наблюдения можно перетолковать иначе: под воздействием электрических полей легко смещаются, ерзают самые в н е ш н и е, действительно безынерционные, пустые слои Шара. Внутренние же, наиболее обширные области его это не затрагивало...

«Ну, знаете!» — Корнев даже растерялся. Он, первым проникший в Шар в Овечьем ущелье, в и д е в ш и й, как Шар танцевал вместе с темным ядром в грозу под тучами... более того, он, переместивший Шар оттуда к Катагани,— наконец, сверх того, он, поднимавшийся позавчера в аэростатной кабине к ядру,— сейчас чувствовал бессилие доводов типа «наблюдал», «находился», «видел» перед бульдозерной логикой Мендельзона. «А для тех, кто там не были и ничего не видел, она и вовсе неотразима... Постой, может, все-таки что-то есть, оно и мерцает? И непрозрачность эта... Но масса в десятки миллиардов тонн?.. Чушь!»

— И кстати, раз уж зашла речь об электрических полях и зарядах,— завершал докладчик свои построения,— то не могу не заметить, что мы излишне увлеклись теорией Валерьяна Вениаминовича Пеца (несомненно, замечательной), особенно тем ее положением, что НПВ может порождать электрическое поле в силу факта своей

неоднородности. Настолько увлеклись, что упускаем из виду обычное классическое толкование: раз в Шаре есть заряд, то должно быть и заряженное тело... Все. Прошу задавать вопросы.

Он мог бы и не просить.

— Как вы объясните, что «тело» в Шаре не падает на землю?

— И как удалось тело столь огромной массы транспортировать в воздухе из предгорий сюда?

— Да еще придерживать сверху сетями, чтобы оно не улетело!

Бор Борыч поворачивался к каждому спрашивающему всем туловищем, как медведь. Поднял руку:

— Обсуждение этих вопросов может завести вас весьма далеко. Но если вы настаиваете... мы знаем немало тел, которые различным образом преодолевают тяготение: птицы, летательные аппараты, ракеты, спутники...

Тут не выдержал и Корнев:

— Борис Борисович, если вы полагаете, что там,— он указал вверх,— парит космический корабль, то так и скажите!

— И этот корабль первой посадочной площадкой выбрал город Таращанск...— подал кто-то реплику.

— Я же предупреждал, что обсуждение вопроса заведет нас далеко! — отбивался Мендельзон.— Докажите вы мне, что там ничего нет!

— Одну минуту,— поднялся Васюк-Басистов,— я сформулирую суть разногласий. Речь не о том, что там ничего нет: физическое пространство само по себе есть нечто и весьма плотное нечто. Речь о большом теле, искажающем тяготение. Раз оно искажает, то подчиняется законам тяготения, так? А раз подчиняется, то, будучи неподвижным относительно Земли, должно на нее... на нас, собственно,— упасть. А раз не падает — значит, обладает возможностью игнорировать тяготение. Неважно, как мы назовем эту компенсацию: антигравитацией, антиинерцией или еще как-то,— важно, что притяжение Земли на это ваше, Борис Борисович, гипотетическое тело воздействовать не должно. А раз так, то и гравитационного прилива вблизи Шара быть не должно. Однако, с одной стороны, оно наличествует, а с другой — ничего сверху не падает. Значит, все не так и дело не в том,— и он сел.

Толюня тоже умел водить бульдозер.

Последний вопрос задал Корнев:

— Борис Борисыч, если я правильно понял, вы считаете, что Шар здесь, а его ядро с «массивным телом» — все еще там, в Овечьем ущелье? *(Общее веселье)*.

— А почему бы и нет, Александр Иванович? — невозмутимо ответил Мендельзон, дождавшись тишины.— Пока оценка физических размеров Шара оставалась в пределах сотен километров, это было проблематично. А теперь... что такое двести километров

до ущелья в сравнении с намерянными вами в Шаре тысячами!

На это и Корнев не нашел, что ответить.

III

Поздним вечером того же дня двое — Валерьян Вениаминович и его саратовский знакомец Варфоломей Дормидонтович Любарский, доцент кафедры астрофизики СГУ и делегат закончившейся конференции,— баловались на квартире Пеца чайком. Баловались всласть, по-волжски. На столе высился никелированный самовар, стояли чайники с разными заварками: хошь цейлонский, хошь индийский, хошь грузинский «Экстра» Батумской фабрики, хошь китайский зеленый... блюда с приготовленными Юлией Алексеевной закусками: бутерброды с кетой, с острым сыром, с икрой, пирожки, булочки; банки с вареньем (малиновое, смородиновое, вишневое, ежевичное — все изготовления опять-таки Юлии Алексеевны). Словом, шло не чаепитие, а чаевный загул. Склонность почаевничать возникла у Валерьяна Вениаминовича в Средней Азии, укрепилась в Саратове. Она же — помимо сходства научных интересов и житейских взглядов — сблизила его с доцентом Любарским.

Сейчас они сидели друг напротив друга: Пец в теннисной сетке, сквозь крупные ячейки которой на груди выбивались седые волосы, Варфоломей Дормидонтович в пижамной куртке — блаженствовали. Хозяйка, наготовив им всего впрок, ушла в свою комнату читать. Пили, как подобает любителям, не из стаканов, а из пиал хорошей вместимости. Лица у обоих были розовые. Любарский был лет на десять моложе Пеца, но жизнь его тоже изрядно укатала, наградив и обширной лысиной, и обилием морщин — резких и преимущественно вертикальных — на удлиненном лице, и вставными зубами.

— Ну, Валерьян Вениаминович дорогой,— размягченно говорил доцент,— сражен, пленен и очарован. Я и, когда ехал, ожидал необычного, но действительность, как говорится, все превзошла: полный триумф идеи вашей. Просто блистательный триумф!

— Триумф-то триумф,— Пец поставил чашку под самовар,— да только идеи ли? А если б не Шар — как обернулось бы с идеей, с теорией? Вы же помните, как ее принимали?

— Ну как же, как же! — Варфоломей Дормидонтович осанисто выпрямил спину, изменил выражение лица, пророкотал авторитетным баском: — Ваша теория, Валерьян Вениаминович, отстоит от нужд современной физики гораздо дальше, нежели общая теория относительности от нужд практической механики.

— Шокин Иван Иванович,— с удовольствием узнал Пец.— Как он там?

— Кланяться велел, кафедру вашу занимает... А это? — Любарский снова преобразился и заговорил манерно, высоким голосом: — «Ваш закон сохранения материи-действия, Валерьян Вениаминович, возможно и фундаментален, но он куда более фундаментален, чем это необходимо естественным наукам...»

— Анна Пантелеевна с кафедры философии.

— Она нынче в Москве... Да что таить, Валерьян Вениаминович, я и сам тогда очень косвенно смотрел на вашу теорию. Особенно это электрическое поле смущало меня — от знаменателя.

Астрофизик подвинул свою пиалу к самовару, наполнил кипятком, посмотрел на чайники: «Ахну-ка я теперь зелененького!» — долил заварки погуще.

— С вами чаевничать, Варфоломей Дормидонтович,— сказал Пец, сочиняя себе смесь цейлонского с грузинским,— сплошная радость сердца. Кто нынче так скажет: ахну-ка я чайку! Как говаривал незабвенный Паниковский: «Таких людей уже нет и скоро совсем не будет».

— Ну почему? — возразил доцент.— Сейчас в ходу и более энергичные глаголы. Например, дербалызнуть.

— Так то не про чай. Кстати, если желаете...

— Нет, что вы, кто же смешивает то и другое!

Некоторое время благодушествовали молча.

— По обычным меркам мне действительно надо быть глубоко довольным,— задумчиво сказал Пец.— Еще бы: в половине докладов и сообщений поминали если не теорию Пеца, то полевое соотношение Пеца, то его закон сохранения, то уравнения преобразования пространства-времени.

— Не в половине, почти во всех.

— Вот видите. Признание есть. А удовлетворенности нет. Не понимаем мы здесь, Варфоломей Дормидонтович, ужасно много. И главное, по мере освоения Шара, углубления в него башней, вертолетами, аэростатами — понимание наше не растет. Боюсь, что оно даже уменьшается — из-за того, что обжились в НПВ, утратили чувство новизны, чувство проблемы. Не по себе, знаете, от этого становится... Решаем мы «проблемы», как же: сооружение вон какое выгнали на полкилометра, ускоренные испытания на надежность и сроки службы проводим с большой выгодой, асфальтовые дорожки в зоне накатали, вахтеров поставили, инструкции по технике безопасности при работе в НПВ сочинили... да мало ли! И необходимые термины появились: «уровни», «коэффициенты неоднородности», «краевые искажения» — что хотите. Словом, освоились, можем что-то делать в Шаре — и возникает иллюзия понятности того, что просто стало привычным.

— Так нам кажется понятным земное тяготение,— кивнул доцент.

— Вот именно. И эта конференция...— разгоряченный Валерьян Вениаминович отставил чашку.— Знаете, по-моему, основным итогом ее окажется то, что наше непонимание Шара, не уменьшившись, приобретет черты строгой науки.

— Ну уж!..— поднял брови Любарский.

— Да-да. Даже многих наук...— Пец встал, подошел к рабочему столу, раскрыл папку с материалами конференции, нашел программу. Любарский тоже подошел с пиалой в руке.— Вот, пожалуйста: Тетросян, доктор наук из Еревана, «Обобщение основных принципов теормеханики на случай НПВ». Вот Зискинд и Будылев, наши архитекторы, «Методы расчета и проектирования статично напряженных конструкций в НПВ», вот Сидоров и Петровский, тоже наши: «Специфика конструирования механизмов, работающих в НПВ»... Это уже обобщения сопромата для неоднородного мира. Тут есть и обобщения электродинамики, теории излучений, даже квантовой механики...

— Я, кстати, тоже подумывал выступить с обобщением,— сказал Любарский. «Обобщение астрофизических наблюдений на случай НПВ», чем не тема! Ведь все наблюдаемое мы сейчас интерпретируем для однородной Вселенной. На какие только ухищрения не пускаемся, чтобы втиснуть все в привычную однородность! Заметили «красное смещение» — это непременно эффект Допплера от удаления звезд и галактик. А у вас тут и красное, и фиолетовое — без всяких разбеганий и сближений. Знаем, что в ускорителях можно разгонять заряженные частицы — и быстрые космические частицы объясняем циклотронным эффектом. За уши притягиваем... Нет, правда: куда более естественной станет картина мира, если предположить в ней области НПВ.

— Истинная картина мира какой была, такой и останется,— наставительно заметил Пец.— Наши *представления* приблизятся к ней... Видите, и вы с обобщением — как все.

— Так разве плохо, Валерьян Вениаминович? И отлично!

— Да где же отлично? Смотрите: раз наш опыт... только опыт, ползучую эмпирику! — перенимают во всех науках, то нам уже неудобно — нам, таким умным — обнаруживать свое недоумение о многих фактах в Шаре. Вот и маскируем его туманными понятиями «феномен непрозрачности», «схождение гравитационных линий», «мерцания» (у этих даже подвиды есть: «вихревые», «штриховые», «вибрионные»). А что они и почему?..— Валерьян Вениаминович развел руками.

Они вернулись к самовару. Любарский допил свою пиалу, перевернул на блюдце:

— Нет, вода здесь не та, не наша, не волжская. Та легкая — сколько ни пей, вся пóтом выйдет. А здесь... три чашки — и баста.

— Хлорируют сильно, перестраховочно,— отозвался хозяин.—

Если несколько человек умрет от какой-нибудь заразы — скандал на весь Союз. А что хлорка отнимает у каждого горожанина пару лет жизни, это медикам все равно. За это их наука не ответственна.

— У них, как у всех, Валерьян Вениаминович.

— Да... Так что же вы не выступили со своим сообщением? Интересно и стоило.

— А по причине, которую вы и сами заметили: слишком прикладной, приземленный характер носила конференция. Будто и не из космоса залетел к нам Шар, будто его на заводе в Мытищах сделали... помните, как та газетка писала! — и надо эксплуатировать. Не в тон попало бы мое выступление.

— Ну, знаете, в тон, не в тон! Эдак если ждать... Готовьте статью, дадим в сборник «Проблемы НПВ». Кстати, Варфоломей Дормидонтович,— Пец поглядел на гостя со значением,— многие делегаты интересовались условиями работы, перспективами, высказывали намерение перебраться к нам... А?

— Что? — не понял тот.

— Так ведь — займут все хорошие, интересные места.

Любарский наконец сообразил, рассмеялся со вкусом:

— О, Валерьян Вениаминович, да у вас, оказывается, хватка! Не просто переходи, мол, к нам работать — а затронули самое ретивое научного работника в современной гонке. Раньше вы таким не были... Астрофизик я, что мне у вас делать!

— Астро-, тепло-, электро- и тому подобное — лишь приставки к слову «физик», которое означает, если помните, «исследующий природу вещей». Вы физик — и с ясным мышлением, широкими взглядами. Нам таких надо... Хорошо, искушать не буду, но подумайте.

Любарский поблагодарил за чай, вылез из-за стола. Валерьян Вениаминович на правах хозяина собрал чашки, блюдца, остатки снеди, чтобы, не тревожа жену (она, наверное, легла), отнести все на кухню. Когда он вернулся, Варфоломей Дормидонтович, наклонясь над его рабочим столом, рассматривал что-то в папке.

— Не совсем удачные снимки, но угадать можно,— сказал он Пецу.— Ну-ка... ага, это галактика из созвездия Рыб, хоть и немного смазанная. А это.— он взял другой снимок, повернулся к свету,— м-м... скорее всего М-81. Хотя у той нет такого бокового завитка... Странно!

— О чем вы? — не понял директор.

— Квалифицированный астроном обязан узнавать галактики — во всяком случае, ближние — как старый морской волк корабли. А с этой у меня осечка, не могу опознать. Занятно: явно ближняя, снимок крупный, такие все наперечет. А эта? О, да у вас здесь их много! Я и не знал, что вы астрономией увлекаетесь, Валерьян Вениаминович.

Пеца будто по голове ударило. Он как стоял с двумя чайниками в руке, так и сел на стул, который перед этим занимал гость: челюсть у него отвалилась, заварка из чайника полилась на ковер. Там, немыслимо далеко, у рабочего стола, доцент Любарский рассматривал фотоснимки «мерцаний», сделанные Васюком для его доклада. Валерьян Вениаминович не смог их использовать: оказался великоват формат, в кассету эпидиаскопа снимки не всовывались. Он оставил их в папке.

После первых секунд оглушения все в голове Валерьяна Вениаминовича начало быстро, даже поспешно как-то, с лихорадочным пощелкиванием упорядочиваться и яснеть. «Вихревые «мерцания» — это галактики в ядре Шара. А штриховые и вибрионные...— назвали же! — отдельные звезды, оказывающиеся близко к нам. Время «мерцаний» — это время существования там звезд и галактик, миллиарды и десятки миллиардов лет. Соответственно и (щелк, щелк!) глубины Шара простираются не на тысячи, даже не на десятки тысяч физических километров — там сотни тысяч килопарсек! Размеры побольше. Метагалактики... И до самых глубин непрерывно убывает квант действия в переходном слое, до немыслимо малых величин — иначе не вместилось бы там все ни в пространстве, ни во времени. Поэтому так и быстры «мерцания» — галактики-события и звезды-события. Поэтому же... щелк-щелк! — и феномен непрозрачности Шара, его ядра: попробуй просвети прожектором Вселенную, просмотри ее насквозь в телескоп, прощупай локатором... попробуй пролети ее снежинка или дождевая капля! И пучкообразное схождение гравитации от той же причины. Очень просто: поле тяготения распределено равномерно вокруг Земли: чем больше участок пространства, тем больше в него попадает силовых линий. А из-за неоднородности выходит, что в Шаре даже на высоте нескольких километров пространства больше, чем в иных местах над целым краем, даже над материком. Вот он и втягивает силовые линии, собирает их, будто колосья в сноп. Но... боже мой!»

Валерьян Вениаминович поставил чайники на пол, провел ладонью по лицу. Не было никакой радости в том, что он понял. Напротив, было жутко, брала оторопь. И еще чувствовал он себя бесконечно униженным, просто уничтоженным. Природа нашлепала его и поставила носом в угол... И он еще сетовал на сотрудников, что они-де мало думают над общими проблемами Шара, мельчат — а сам!.. Лучше вовсе не думать, чем думать так: составил в уме уютный, кабинетный образ Шара — в самый раз для подтверждения теории и умеренных практических дел. Когда установили, что до центра не менее сотен километров, отнесся скептически: что-то больно много намеряли! А как он позавчера засомневался в сообщении Корнева: уж прямо и тысячи километров!.. А сотни тысяч килопарсек — не желательно? Ускорения времени в тысячи, в де-

сятки тысяч раз тоже представлялись ему чрезмерными, их ведь и практически использовать нельзя.

А ускорения, при которых звезды-солнца, рождаясь и живя там, мелькают метеорами, а галактики взметываются и рассыпаются ракетами-шутихами,— не желательно?.. Микросекунды и века, микроны и килопарсеки, 10^{18} и 10^{-18} — что природе эти интервалы и числа, меры нашей конечности!

— А вот это я и вовсе не понимаю,— не унимался Любарский.— На полях пометки «Телеск. Максут., выдержка 0,2 сек.». Что за чепуха! Во-первых, такие снимки можно получить только на телескопах-рефлекторах с диаметром зеркал от пяти метров и более. Во-вторых, экспозиция должна быть не две десятых секунды, а несколько часов. Обычно держат всю ночь, поворачивая телескоп за небосводом... А эти черточки, которые можно истолковать лишь как собственные движения звезд в галактике,— такое и вовсе возможно заметить только за десятки лет наблюдений!.. Валерьян Вениаминович, не томите мою астрофизическую душу, объясните, что это: имитация, мистификация?..

— Не имитация и не мистификация,— сказал Пец глухим голосом.— Это «мерцания». Сняты действительно через телескоп Максутова.

— Вот это да!..— пролепетал доцент, поднял глаза на хозяина, лицо у того было страшное. Тоже сел, держа снимки в руке.

Минуту оба сидели в оцепенении. Валерьян Вениаминович вспомнил, как вчера с Васюком-Басистовым и Терещенко поднимался в аэростатной кабине к ядру. Поднимался, прямо сказать, как директор, чтобы ознакомиться с новым участком исследований, принять новый объект. Он и до этого разок наблюдал «мерцания» — с крыши, в бинокль. В кабине, когда баллоны подняли ее на полтора километра, он несколько раз приложился к окуляру телескопа, отлаженного на автоматическую наводку и слежение... Но и тогда его занимало не сомнительное сверкание в облаке тьмы над головой, а куда больше: как ловко организовали механики и инженеры, что за мелькнувшим с метеорной скоростью светлячком-«вибрионом» можно проследить в телескоп! Дал Васюку задание на снимки — и вниз, к делам.

«Все было перед глазами — только не трусь мыслью, держись на уровне своих же идей! Плохо, когда человек не умеет держаться в жизни на уровне своих сильных идей, лучше ему и не выдвигать такие... Ум мой был далеко, и я не видел, ум мой был далеко, и я не слышал,— вспомнил Пец староиндийское изречение, покачал головой.— Не так: ум мой был мелок — и я не видел».

Валерьян Вениаминович поднялся, раскрыл одежный шкаф, достал рубашку.

— Так. Вы, Варфоломей Дормидонтович, располагайтесь в гос-

тиной, там Юля вам постелила, отдыхайте. А я поеду, погляжу все это в натуре,— и взялся за телефон, вызвать машину.

— То есть как?! — Доцент тоже встал — красный, растерянный, гневный.— А я... а меня? Да я вас... да я вам завтра яду в чай подсыплю!

И вид у него был такой, что действительно — подсыплет.

IV

Так в ночь с восьмого на девятое апреля завершился первый этап в исследовании Шара, этап, в котором они нашли то, чего не искали.

...И текла эта знаменательная ночь над Катаганью рекой тьмы и прохлады, рекою без берегов. Серыми мышками шмыгали по улицам автомобили и последние троллейбусы. Люди спали в домах, люди видели сны, всхрапывали или стонали от страсти, люди шли на ночную смену, люди гуляли в обнимку по весенним бульварам, разговаривали, целовались. Типографические машины с пулеметной скоростью перерабатывали рулоны бумаги в кипы завтрашних газет; в пекарнях автоматы быстро выпекали и укладывали в лотки хлеб наш насущный, а также насущные булочки, кренделя и пирожные.

Отсветил ежевечерний накал верхних уровней («наконечника») башни, запасших дневное тепло,— башни, бетонного дерева, выросшего в Шар и распространившего по земле корни-коммуникации. И мчались по ним — по шоссе, по рельсовым, воздушным и водным путям — материалы и приборы, метизы и механизмы, деловые бумаги и продукты... все то, посредством чего рутинная жизнь — озабоченная, уверенная, целеустремленная — накладывает лапу на Неизведанное-Необычное, подчиняет его своим нуждам.

А по сторонам от путей и городов лежали степь и горы, река Катагань вместе с другими потоками впадала в море, оно сливалось с океаном. И над всем этим: над городами, реками, степями, горными хребтами, над материками и океанами, укрытыми тонким одеялом атмосферы с пушинками облаков, над ночной и дневной частями планеты, разделенными закатно-восходным обручем терминатора,— плескалась мирами Вселенная! Ходуном ходили туманности, взбухала галактиками темная мощь пространства, сгущались в них и начинали ярко пульсировать звезды.

— Где, в Шаре?

И в Шаре тоже.

КНИГА ВТОРАЯ

Не для слабых духом

...Я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных, для человеческой жизни гибельных обстоятельств, и эти гибельные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе,— я чувствовал свою особенность человека.

Андрей Платонов
«В прекрасном и яростном мире»

ЧАСТЬ III

В ПРЕКРАСНОМ И ЯРОСТНОМ МИРЕ

ГЛАВА 14

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗДАЛИ И ПОСПЕШНО

От нуля до бесконечности
Мы проходим все по Вечности.
С бесконечности и до нуля
Мы проходим ею, тру-ля-ля!

Фольклор доведического периода.

I

Небо было с овчинку, даже с кулачок — звездное небо в Шаре. По мере подъема оно разрасталось, оттесняло в стороны тьму — или это сами наблюдатели съеживались в высотах НПВ? — но все равно оставалось обозримым для взгляда. Как облако. Только «мерцания» там накалялись все ярче.

Кабина подрагивала на неровно вытравливаемых канатах. Внизу они раскручивались с барабанов лебедок с бешеной скоростью, но здесь ее съедало ускорение времени; последнюю сотню метров они едва ползли. Только на приборном щите в окошечке цифрового индикатора выскакивали все более впечатляющие числа: 100 000, 500 000, 800 000 — затем пошли со степенями: 10^6, 3×10^6... На предельной высоте ускорение времени составило $1{,}1\times10^7$ — время текло в 11 миллионов раз быстрее. За микросекунду Земли (за такое время электронный луч на экране телевизора вычерчивает половину строки развертки) здесь можно было произнести небольшую речь.

Но речей пока не произносили. Корнев сидел в правом пилотном кресле возле пульта управления. Любарский находился в центре, в жестко связанной с телескопом люльке. Валерьян Вениаминович полулежал в левом кресле напротив экранов. Они не впервые поднимались к ядру Шара с той памятной ночи на 9 апреля — как втроем, так и в иных сочетаниях: Корнев — Любарский — Буров и Васюк-Басистов, Любарский — Буров — Мендельзон, Пец — Лю-

барский — Люся Малюта... Варфоломей Дормидонтович был теперь не заезжий астрофизик, а руководитель лаборатории исследований МВ; она, потеснив гостиницу-профилакторий и иные службы, развернула работы наверху, в самом «наконечнике». Все сотрудники новой лаборатории избегали расшифровывать предмет своих исследований — видимо, чтобы не пугать других и себя. МВ и МВ. Другие исследуют полупроводники или рентгеновские спектры, а они вот МВ — Меняющуюся Вселенную.

...В эти дни с Валерьяном Вениаминовичем иногда случались приступы отрешенности. Слушал ли он сетования Альтера Абрамовича по проблемам снабжения, доклад ли Бугаева о грузопотоке или еще чей-то о чем-то — и вдруг переставал воспринимать, видел только лицо с шевелящимися губами. Накатывало: «А т а м сейчас рождаются и умирают галактики, вспыхивают и на лету гаснут звезды!..» И подъезжая утром к своему НИИ, он новыми глазами смотрел на Шар, на купол экранной сети над ним: это Вселенная разбила шатер подле Катагани, Меняющаяся Вселенная!

Когда на следующее утро после их рискованного подъема к ядру (по ночному времени не нашли никого, кто бы подстраховал их на крыше у лебедок) Пец на НТСе в новом зале координатора сообщил о своих с Варфоломеем Дормидонтовичем выводах о природе «мерцаний» (постеснявшись назвать открытием то, что месяцы маячило перед глазами), а равно и о вытекающих отсюда новых представлениях о размерах и структуре Шара,— что-то пошатнулось в умах всех, дрогнуло. Мышиной возней на задворках Вселенной показалась всем их хлопотная ответственная деятельность. Минуты две командиры башни молчали.

— А что? — молвил Толюня с еще более удлинившимся от восторженного удивления лицом.— К тому шло!

Корнев хлопнул ладонями по бортам кожаного кресла, звучно, со вкусом рассмеялся. Все посмотрели на него.

— А мы-то, Анатолий Андреич, мы-то — прожекторами туда светили! Это чтобы звезды получше разглядеть, а!

— Лазерами собирались,— добавил тот.

— Ну, Борис Борисыч, поздравляю,— столь же весело обратился главный инженер к Мендельзону, дымившему первой в этот день сигарой,— вы оказались на сто процентов правы. Да что — на миллион процентов! Там не одно тело, там их навалом: и звезд, и планет, и чего хотите. Не вижу энтузиазма на вашем лице!

А Бор Борыч и не испытывал энтузиазма. Даже напротив, его лицо как-то сразу одрябло; оно если и напоминало сейчас черчиллевское, то никак не времен Антанты, а скорее — окончания второй мировой войны, когда сэр Уинстон проиграл на выборах. Какие поздравления, какой энтузиазм — дураку понятно, что концепция

«массивного тела» в ядре (под которую была подогнана работа отдела, опубликованы статьи, прочтен доклад на конференции) лопнула мыльным пузырем.

— Мм...— Мендельзон вынул сигару изо рта.— По-моему, все это пока еще... очень предположительно.

— Но до сих пор мы такого и не предполагали,— ошеломленно сказал Зискинд, почему-то взглянув вверх.— Н-да!...

— А кстати, Александр Иванович, лазер-то,— перегнулся через стол к Корневу Приятель,— уже оплачен и отгружен из Сормова. Восемнадцать тысяч четыреста, чтоб вы мне все так были здоровеньки!

— Ничего,— откликнулся тот,— найдем применение.

И — съехало. Опало. Снова вспомнили о том, что еще не отгружено, не оплачено, не сделано... вернулись к текучке, на круги своя. Минута шока миновала. Подернулись дымкой нереальности неизмеримые дали в Шаре, где плескался и блистал мирами океан материи-действия. Первостепенной снова стала реальность связей, неотложная Реальность Здесь и Сейчас.

...Но все-таки вколыхнуло. Вечный оппозиционер Мендельсон поднялся с Васюком к ядру, поглядел в телескоп на «мерцания», потом явился к Пецу:

— Как хотите, Валерьян Вениаминович, но я в эти, с позволения сказать, галактики не верю.

— А в учебниковые, из каталога Мессье — верите?

— В те верю.

— Вы их видели? Не фотографии с ретушью, а в натуре — в телескоп.

— Мм... не приходилось.

— Я видел. И поверьте, трудно согласиться, что эти отражаемые рефлекторами вихревые светлячки, а то и клочки светящейся ваты... поменьше, знаете, тех, что на спичку накручиваем в ухе почистить,— такие же, как и наше небо, скопления из многих миллиардов звезд.

— Допускаю. Но они — в большом небе. Во Вселенной. А здесь... как-то это выглядит игрушечно.

— Борис Борисович, а картину искажения гравитации, исходя из предположения, что в Шаре тысячи мегапарсек, вы рассчитали?

— Мм... еще нет.

— Так что же вы: верю, не верю, игрушечно! — рассердился директор.— У нас не божий храм. Извольте посчитать, если сойдется, то и спору конец.

Мендельзон удалился походкой сконфуженного бегемота. Он задал работу отделу. Три дня его сотрудники толклись в зоне с маятниковыми гравиметрами, уточняли картину искажений, мешали. Потом ринулись в выси — рассчитывать, строить графики. Как раз

сегодня утром Бор Борыч принес Пецу отчет, положил на стол, молвил, пыхнув сигарой: «Вопрос остается открытым, Валерьян Вениаминович»,— и удалился с тяжеловесной торжественностью.

Пец прочел — и не мог не умилиться. Нет, отчет был безукоризнен, содержал убедительные формулы и таблицы, пояснительные тексты и многомерные, сложенные гармошкой диаграммы. Но — над всем этим возвышалась фигура толстяка с сигарой и обрюзгшим лицом, коя молчаливо извещала: вот если бы я, Б. Б. Мендельзон, разделял идею, что в Шаре галактики, то подкрепил бы ее данной проверкой, а поелику не разделяю — не обессудьте, Мендельзон применил для проверки метод последовательных приближений. Сначала он принял, что физический диаметр Шара составляет десять миллионов километров; реальные искажения поля тяготения оказались при этом на треть сильнее расчетных. Он увеличил предполагаемый поперечник до ста миллионов километров: расчет дал картину, лишь на три процента уступающую реальной. Он повысил диаметр Шара еще на порядок — и теория совпала с измерениями в пределах допустимой погрешности приборов. Все более крупные поперечники, вплоть до мегапарсек, укладывались в ту же погрешность. Вопрос оставался открытым, потому что искажения определялись переходным слоем, а не глубинами Шара.

II

— Все-таки Меняющаяся Вселенная название не из самых удачных,— сказал Пец.— Это мы впопыхах. Разве наша обычная Вселенная не меняется? Только что темп не тот.

— Ну... давайте: Быстро Меняющаяся Вселенная,— предложил Корнев.— БээМВэ.

— Марка немецких мотоциклов,— поморщился Валерьян Вениаминович.

— Событийная Вселенная,— подал голос Любарский,— эСВэ!

— Ага, это уже ближе! — поднял палец директор.

— Мерцающая Вселенная,— сказал Александр Иванович.— Тогда и название менять не надо: МВ и МВ.

Все трое негромко посмеялись.

Кабина замерла на предельной высоте. Корнев выключил ненужные приборы, их подсветки и индикаторы погасли, установилась полная темнота. И в ней они увидели, как «мерцания» над прозрачной крышей кабины расплываются, образуют в ядре сплошной колышущийся блеклый комок — и как он тускнеет, растворяется в ночи.

— Та-ак,— с досадой молвил Корнев,— прибыли к самой паузе.

...Это было первое, что установили: существование неких Все-

ленских циклов. Пец, поклонник древнеиндийской философии, отождествил их с «кальпами», циклами миропроявления, Днями и Ночами первичного вселенского существа Брахмо (он же Брама и Брахман). При взгляде с крыши они следовали 10—12 раз в минуту — когда чаще, когда пореже. *При этом яркие выразительные «мерцания» составляли малую долю цикла. В черных глубинах ядра (как правило, всякий раз на новом месте) зарождалось округлое голубоватое сияние; оно расширялось, охватывало изрядную часть ядра и одновременно накалялось; равномерный накал вдруг свертывался в ослепительные «вихринки», «штрихи» и «вибрионы» — в галактики и звезды. Затем, посуществовав, все рассасывалось и исчезало во мраке п а у з ы.* На высоте, куда они забрались, она могла тянуться сотни часов.

— Придется пятиться, здесь не пересидим. Не отработано это у вас,— с неудовольствием заметил Валерьян Вениаминович.

— Есть, капитан! Виноват, капитан! Исправим, капитан! — побоцмански рявкал Корнев, нажимая кнопки и щелкая тумблерами.

Александр Иванович, как ни странно, не ввязывался в дискуссии о природе «мерцаний». Во-первых, он давно раскусил Мендельзона — что для того выставление поперек всему с в о е г о мнения было способом самоутверждения, а в какой мере это способствовало истине и делу, Бор Борыча не волновало. Во-вторых, для самого Корнева вопрос не был открытым: с первых слов Пеца на совещании он уверился, что в Шаре именно галактики и звезды, что там живет и дышит Вселенная — Вечность-Бесконечность!

Тогда он комментировал новость весело, со смехом. Но это был что называется видимый миру смех сквозь незримые ему слезы. В душе было холодное кипение. Не он, создавший аэростатную кабину и первым поднявшийся в ней к ядру, пришел к потрясающей расшифровке «мерцаний», даже не Толюня, не другие питомцы, а случайный астрофизик в компании с Пецем. Опять унавозил почву для других! «Занесся, самообольстился, почил на лаврах! — думал Александр Иванович, бледнея от гнева на себя.— Я, мол, такой-сякой значительный, кабинет имею, персональную машину, орден, секретарей... Значит, умный и все постиг. Куда к черту! Вот и получил. И перед глазами ведь было! Телескоп в кабине установил — чтобы экранную сеть за Шаром разглядеть. Не Вселенную, а проволочки за ней, мелкач распро...ный! — Думать так было чуть ли не физически больно, но он истязал себя дальше.— А ведь сам себе внушал — на пути из Овечьего после той грозы: насчет безграничной смелости мысли, которой только и можно познать и покорить Шар... помнишь, гнида, помнишь?! И, выходит, не хватило ни смелости, ни мысли, ни воображения. Ух, ты!..»

Словом, ушибла и его Меняющаяся Вселенная, она же Событийная и Мерцающая. С того дня серыми стали для Александра

Ивановича еще недавно заполнявшие его душу проблемы башни; в ядро Шара уносились его мысли и мечтания.

— Слушайте,— говорил он и на НТСах, и Пецу или другим руководителям, и в лаборатории МВ (которая чем далее, тем больше становилась думающим клубом, куда каждый приносил суждения и идеи),— слушайте, но ведь Шар со всеми своими тысячами физических мегапарсеков внутри — все-таки шар. Компактное пространственное образование поперечником четыреста пятьдесят метров. Мы его уловили проволочными сетями, приволокли сюда, привязали канатами к трубам. Можем, если пожелаем, отвязать, таскать — как детки разноцветные пузыри на Первомай... Со всеми Вселенными, что в нем, понимаете?

— Так уж и можем,— возражал Зигмунд или кто-то из архитекторов,— а башня?

— А что башня? Аккуратно поднять Шар вверх — она и не шелохнется. Останется стоять дура дурой. Она принадлежит Земле. А галактика в ядре принадлежит Шару. А он принадлежит нам!

— Ты куда гнешь, скажи прямо? — не выдерживал Васюк-Басистов или кто-то еще.

— А туда и гну, Толюнчик (или Буров, Бармалеич, т. п.), что раз мы по-настоящему о т к р ы л и Шар, надо по-настоящему его и о с в а и в а т ь. Ускоренное строительство, всякие испытания и проекты в НПВ — семечки, пройденный этап. Этим мы доказали, что в неоднородном пространстве-времени работать и жить можно... в чем, кстати, никто особенно и не сомневался. Теперь надо в н е д р я т ь с я в Шар!

— Как? — вопрошали.— Запускать в него спутники? Космонавтов?

— Здесь картина тяготения неблагоприятная для запусков,— замечал Мендельзон или кто-то из его отдела.— Запустить, собственно, не штука, только обратно не вернется.

— О чем вы говорите, товарищи? — тревожно озирал всех Альтер Абрамович.— Надо заказывать космодромное оборудование? Пусковые ракеты? Космические корабли «Союз» и орбитальные станции «Салют»? Вы это всерьез?..

— Действительно, о чем вы говорите! — широко раскидывал руки Корнев.— Видите, какое у вас ординарное мышление: в самый обрез для однородного пространства — да и то на рядовых должностях. Ракеты, спутники!.. У нас должен быть с в о й путь к звездам — к н а ш и м звездам!

— Какой?! — вопрошали.

— Ну вот, пожалуйста! — Теперь Александр Иванович вскидывал руки и очи горе.— Да если бы я знал, то зачем тратил бы время на неинтересные разговоры с неинтересными людьми, домогался бы от вас проблесков мысли!.. Надо думать, искать и найти этот путь!

А для этого и мне, и вам, и даже Валерьяну Вениаминовичу, который вот сидит молча, но, я уверен, глубоко взволнован своим вторым открытием Шара,— всем необходимо перестроить свое мышление. В том именно плане перестроить, что Шар — и чепуховина размером в полкилометра вместе с сетями и башней, и необъятный мир чередующихся во времени вселенных. Должно что-то открыться, должно, я чувствую!

Даже на деловитых НТСах после пламенных речей главного все затихали. Но — шли сообщения с уровней, звонки извне, на экранах разворачивались ситуации, требующие вмешательства и решений — башня брала свое, жизнь брала свое.

Думали, делали... Отличился главприборист Буров, тот нерадивый в обеспечении НВП специальный аппаратурой завлаб — молодой, толстощекий и скуластый. Его романтическую душу не могли увлечь поделки ради экономии бетона, погонных метров сварочного шва или его оптимизации, блошиных скачков вертолетов около башни. И только когда добрались до звезд, когда он сам поднялся в кабине и узрел голубые вселенские штормы, вихри и звездные вибрионы — душа его пробудилась, проблема видения в неоднородной вселенной встала перед ним в полный рост. «Потрясно, фартово и лажа,— заявил он на современном языке, вернувшись на крышу.— Только это, ребята, все бодяга. Вы видите не то. Видеть — вообще проблема из проблем. Даже на обычный мир мы не столько смотрим, сколько подсматриваем в спектральную щелочку для волн от 0,4 до 0,8 микрона. А здесь у вас и в эту щелочку попадают, вы меня извините, радиосигналы. Ваши штрихи и вихрики — радиозвезды и радиогалактики. Не спорю, внутри их могут быть вещественные звезды и туманности, но их надо уметь обнаружить. Пока что их свет смещен в диапазон жесткого ультрафиолета. Не надо рыдать — я с вами, я за вас, я вам помогу».

И помог, построил электронно-оптический преобразователь: спектральная щель расширилась, смотреть через нее в Меняющуюся Вселенную стало интересней. На этом деятельный приборист не остановился, толкнул девиз: «Свет мало видеть — свет надо еще и слышать!» — и сочинил акустический комбайн, который превращал электромагнитные волны из МВ в звуки разной силы и тона. В этот подъем Корнев намеревался его опробовать.

Но все равно — все это было не то, не то, не то...

III

Кабина опустилась до уровня 15 000. Переждали Вселенскую паузу (Ночь Брахмы в терминологии древних индусов) — шесть минут по времени кабины, четыре секунды крыши, сотые доли се-

кунды Земли, несчитанные миллиарды лет в МВ. Когда в ядре снова голубовато замельтешило, тронулись помалу вверх. «Мерцания» множились, крупнели, приобретали выразительность и накал. Впечатление было такое, что не только кабину с наблюдателями несет к ним, но и *сами первичные комковатые туманности мощное движение объема ядра, вселенский выдох полной грудью, раздувает во все стороны, выносит сюда и закручивает в вихри разных размеров и вида, а их друг около друга.*

— Поток и турбуленция в нем — вот что это такое,— молвил внезапно Любарский.— Галактические и звездные вихри — будто водоворотики на реке в половодье.

Варфоломей Дормидонтович еще не знал, что высказал догадку, которая определит образное понимание ими космических (не только в Шаре) процессов и которую они будут плодотворно развивать. Так, сказалось. Он произнес, другие запомнили, никто не отозвался: лица троих, освещенные светом рождающейся в Шаре Вселенной, были обращены вверх.

...«Не образумлюсь, виноват!» — эти слова Чацкого постоянно вертелись в уме доцента. Человек приехал на конференцию — не выступать даже, послушать других. Зашел почаевничать к давнему знакомцу. Увидел фотоснимки — и жизнь его переменилась. А жизнь была установившаяся, добротная, да и сам человек был не из тех двуногих бобиков, кои стремглав мчат на первый свист фортуны. Даже в лекциях Варфоломей Дормидонтович всегда держался основательного, несколько консервативного тона, излагал студентам устоявшиеся теории и хорошо проверенные факты астрофизики, а к модным новинкам типа квазаров-пульсаров, гравитационных коллапсов и «черных дыр» относился сдержанно.

И вот — все полетело кувырком. Его и здесь именовали доцентом (Корнев — так вообще как угодно, только не по имени-отчеству. «Жизнь коротка,— объяснил он,— ее надо экономить. Хватит с меня Валерьяна Вениаминовича и Вениамин Валерьяновича!») — а таковым он, вероятно, уже не был. Среди семестра отказаться от чтения курса на трех потоках, бросить университет — и не по-хорошему, с выдумыванием уважительных причин, а прямо: телеграмма ректору об уходе — такие вещи даром не проходят. На его имя в НИИ НПВ прибыл пакет с увещевательным письмом декана и копией направленного в ВАК ходатайства Ученого совета СГУ о лишения к. ф.-м. В. Д. Любарского ученого звания доцента.

И жене в телефонном разговоре ничего не смог растолковать. Здесь приютился у Пеца («Ради бога, Варфоломей Дормидонтович, хоть и надолго, Юлия Алексеевна тоже будет рада!»). Впрочем, время, проводимое им — как и Пецем, Корневым, другими сотрудниками, вне башни было настолько незначительным, что не имело большого значения, где и как его скоротать.

И в лаборатории было трудно. Работали на энтузиазме, себя не жалели — а добиться от человека, работающего на энтузиазме, чтобы он аккуратно или хоть разборчиво делал записи в журнале наблюдений, а в конце рабочего дня чехлил приборы и прибирал свое место, куда труднее, чем от работающего ради хлеба насущного. Да и характер был не командирский: когда после душевных колебаний делал замечание — в деликатной форме и неуверенным голосом, то ребятушки, закаленные общением с Корневым, чуяли слабину и заводили:

— Бармалеич-то наш — ух, грозен!

— Свире-еп! — подхватывал другой.

— Лю-т! — включался третий.— Ууу-у!..

Так что у самого Любарского продольные морщины на лице неудержимо выгибались скобками: «Ну, ладно, ладно...»

Но все это было неважно — так, преджизнь. Самая жизнь для Варфоломея Дормидонтовича начиналась здесь, в кабине на предельной высоте. Именно благодаря проведенным в МВ часам он пребывал все дни в не по возрасту восторженном, поэтическом состоянии духа. Потому что он в и д е л.

...Человеческое познание развивается от малого к большому. В пространстве оно идет от знания своей местности к познанию материка, океанов вокруг, всей планеты; от нее — к познанию планетной системы, ближних звезд, Галактики, множества других галактик и всей обозримой в телескопы части мира — Метагалактики. Во времени познание идет от эпизодов личной жизни к осмыслению человеческого существования в целом, к познанию жизни народов, возникновения, расцвета и исчезновения государств и цивилизаций; далее к представлению о геологических эрах в истории Земли, о возникновении жизни и, наконец, к представлению об образовании, существовании и возможном в будущем конце нашей планеты и других миров — до чего мы еще не дозрели. При этом если в пространстве мы наблюдаем — или, по крайней мере, можем наблюдать — любые крупные и далекие объекты, то во времени все интервалы событий, выходящие за рамки человеческой жизни (или, самое большее, исторической памяти человечества) существуют для нас чисто умозрительно. Большой мир для нас как бы застыл, колышется-меняется лишь в некоторых подробностях, вроде смены сезонов.

И теперь им открылся противоположный путь познания, от большого к малому. И начинался он с такого Большого, что в нем даже галактики — и не мгновенные, видимые нами обычно пространственные образы их, а г а л а к т и к и-с о б ы т и я во всей их богатой многомиллиарднолетней жизни — чиркают по пространству, как спички по коробку. Исследователи находились в самом начале, до подробностей предстояло долго добираться; однако

для них сейчас стало различимым неразличимое, обозримым необозримое — мировой процесс в целом. И ясно стало, что именно в нем, в Большом и Едином, а не в мелких причинно-следственных цепочках с многими «потому что» и «так как»,— заключена главная простая причина Бытия всего, от миров до людей и до атомов. Настолько главная и настолько простая, что постигалась она более чувством ошеломляющего откровения, перехватом дыхания и мурашками по коже, нежели умом, в словах-понятиях.

Но и постигать МВ только подсознанием, чувствами, ноздрей — без рационального мышления — Варфоломей Дормидонтович тоже не был согласен; без этого он не чувствовал бы себя человеком. «Обычно для нас объекты Вселенной, от астероидов и планет до галактик...— подступался он мыслью,— ну, вроде как для дикаря, нашедшего будильник, его детали: шестеренки, зубчики, оси, пружинки. К чему они? Часы стоят — ничего не поймешь. Тряхнул — пошли. Время дикарь все равно определить не сумеет, но все-таки поймет, что перед ним ц е л ь н ы й м е х а н и з м. Так и мы. Впервые увидели, что Вселенная реально четырехмерна, время ее — поток материи, и главное в нем — не тела, а события. Всплески и круговерти времени...»

Однако и в рациональном выражении новые знания из МВ оказывались настолько выше, значительней всего, что астрофизик Любарский знал прежде (да и еще вдалбливал это другим), что... короче, пренебрежением прошлой жизнью и нормальным устройством в нынешней Варфоломей Дормидонтович как бы отмежевывался от прежнего себя. Монахи в подобных случаях меняют имя; но в миру, из-за милиции и прописки, это не так просто.

Вернулись на предельную высоту. Над головами, над кабиной набирал масштабы и накал объемный Вселенский шторм: голубое клубление, волнение, вихрение. Взгляд с трудом проникал за внешние его колыхания, они застили яркую область в глубине, откуда все и распространялось. Корнев включил буровский преобразователь. Экраны — вереницей слева направо — дали картины Шторма в ближнем ультрафиолете, в дальнем, в мягких и средних рентгеновских лучах. Образы были скупее, но отчетливее, выделялось самое выразительное: огненно переливающиеся вихревые воронки, искрящиеся эллиптические кольца с зыбкими сферами внутри, древовидно растекающиеся или наоборот, стекающиеся — с турбулентным кипением внутри — многоцветно светящиеся потоки.

— Виктор Федорович Буров был прав,— сказал Любарский,— видимые глазу клубы и волны ничто, волнение почти пустого пространства, разреженного газа — чуть теплее абсолютного нуля. Вещественные скопления светят нам в жестком ультрафиолете, а то и в рентгене.

— Уже есть что-то? — спросил Пец.

Астрофизик приложился к окуляру телескопа, повертел ручками поиска. Но нет, в рефлекторе все забивал голубой туман.

— Рано еще, Валерьян Вениаминович.

Корнев тем временем запустил свето-звуковой преобразователь Бурова. Из четырех динамиков, расположенных с расчетом на стереоэффект, на них сверху хлынула «музыка сфер»: плеск и рокот, перекатывающиеся над головами вместе с волнами яркости, неровное шипение, гулы, какие-то короткие трески... Теперь полностью, для глаз и ушей, бушевал в Меняющейся Вселенной творящий миры Шторм.

Фаза «мерцаний» и в этом цикле близилась к максимуму выразительности: пространство очистилось от тумана, вихри и комковатые всплески разделились большими полями темноты, сами стали компактнее и ярче. Некоторые вихрики Дыхание Ядра вышвыривало к нижнему краю, сюда, к ним: они стремительно нарастали в размерах, в динамиках все покрывал звук, похожий на вой пикирующего самолета. Когда же в галактической круговерти возникали слепящие яркие игольчатые штрихи, то в динамиках от них слышались множественные «пи-у!.. пи-у!..» скрипичных тонов. Так звучали звезды.

И чем ближе подступал Цикл миропроявления к своей выразительной кульминации, тем явственнее в динамиках хаотические шумы и рокот-грохот оттесняла — даже вытесняла — какая-то немыслимо сложная, для тысяч симфонических оркестров сразу, тонкая и прекрасная музыка.

Опять у Варфоломея Дормидонтовича немели щеки, гуляли по коже мурашки, а губы сами шептали:

— «...Моих ушей коснулся он — и их наполнил шум и звон. И внял я неба содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье...» Вот оно — неба-то содроганье! Ай да Пушкин, ай сукин сын, молодец — еще в те времена проник!.. Потому что нет во Вселенной ни радиогалактик, ни зримых, ни звезд, ни планет — то есть наличествуют и они, но как детали, мелкие подробности. А главное — движения-действия Единого. В нем гармония — и познание ее, когда удается прикоснуться. Чаще это дается поэтам и композиторам — но вот и я «внял неба содроганье». Хорошо!

IV

Первым не выдержал Пец.

— Э, нет,— сказал он,— так работать нельзя. Александр Иванович, выключите, пожалуйста.

Корнев щелкнул тумблером преобразователя Бурова.

Мир онемел — и будто несколько отдалился от кабины.

— Все это эффектно и впечатляет,— сухо продолжал директор,— но двигаться в эту сторону, полагаю, не стоит. И без «музыки сфер» обстановка располагает к самогипнозу и обалдению. Мы а к а д е м и ч е с к и е и с с л е д о в а т е л и, давайте помнить об этом. Наука под ритмы и завывания не делается. Давайте выполнять намеченную программу наблюдений. Пункт первый — поиск объектов для съемки. Приступайте, пожалуйста.

У Любарского нашлось бы что возразить Пецу в защиту эмоций, познания мира посредством их — поэтического, художественного, музыкального. Да и Корневу не понравилось распоряжение директора. Но было не до споров: обстановка близка к боевой, Пец — командир.

— Есть, капитан! — только и выразил свое отношение Александр Иванович, включил систему слежения.

Варфоломей же Дормидонтович и вовсе без слов влип в окуляр телескопа: теперь он был глаз высшей квалификации. Работа пошла. Главный инженер по экранам рентгеновского диапазона обнаруживал перспективные «мерцания», подгонял к ним перекрестие искателя; моторчики привода, завывая на повышенных оборотах, поворачивали белый ствол телескопа с пришпиленным к нему астрофизиком, пока тот не произносил: «Нет, не то. Далеко, неразборчиво. Ищите еще!» Кабину слегка покачивало. Корнев нашаривал в ядре новое ближнее «мерцание».

— Вас не укачало, доцент? — сердито спросил он минут через двадцать.

Наконец Любарский сказал сдавленным голосом: «Ага, есть. Вроде годится. Веду!» Александр Иванович запустил видеокамеру.

Эту запись потом просматривали много раз — краткую, на девятьсот кадров, историю о том, как в глубине ядра рождаются, живут и умирают миры. Без телескопа это выглядело малым световым вихриком, рассеченным перекрестием на четыре дольки. Объектив выделил центральную часть его: *бурлящий ком, в котором клубились, меняли формы, делаясь все четче и выразительней, светлые струи. Из самых ярких (остальные расплылись в ничто) свились волокна около колышущихся сгустков. В некоторых выделился сияющий овал-центр. Прочие волокна завились вокруг него рукавами. Так образовалось дозвездное тело Галактики. И — в какой-то трудноуловимый миг размытое туманное свечение в ядре ее и в серединах рукавов начало свертываться в яркие игольчатые штрихи, разделенные тьмой. Это образовались и набирали накал звезды!*

«Миг творения! — упивался зрелищем Любарский; сейчас и без динамиков в его душе звучал орган, какие-то хоры вели мелодии

без слов.— Поток и турбуленция, звезды — турбулентные ядра в струях материи-действия. Творенция-турбуленция, ха!.. Как просто. Но нет, не так все просто: эта искрящаяся гармоничная четкость, избыточная первичная живость — ведь в потоках жидкости картины турбуленции слабее, размытее, хаотичнее. Да, первичная избыточность — вот слово. От избытка действия возникают миры!»

Звезды-штрихи высасывают туманное свечение окрест. Теперь весь быстро вращающийся вихрь состоит из них. Ядро Галактики набухает голубым вибрирующим светом. Рукава загибаются около него все более полого, касательно — и вот сомкнулись в сверкающий эллипс. Звездные штрихи меняют оттенки и яркость — эти переливы распространяются по эллиптической Галактике согласованной дрожью. Видно: она целое, главный образ Вселенной.

Что-то ослабело, спало в пространстве — галактический эллипс опять раскручивается в вихрь. Рукава его расходятся, раскидывают во вращении своем звездные ошметья — в них по краям тела галактики звездные пунктиры накаляются, вспыхивают сверхновыми, а те расплываются в туманные блики. Они сливаются в волокна и струи теряющей выразительные формы субстанции. Процесс захватывает центральные области — все прощально вспыхивает, тает, растворяется во тьме.

Галактика жила восемнадцать секунд. Звезды в ней — от четырех до четырнадцати секунд.

А в двух соседних с ней вихрях звезды так и не возникли: эти вселенские образы прожили свой многомиллиарднолетний век круговертями сверкающего тумана.

Вверху воцарилась Ночь. Кабина возвращалась вниз.

— Все, как у нас,— задумчиво молвил Любарский, отстегиваясь от кресла-люльки.

Пец вопросительно глянул на него.

— Я о тех двух соседних,— пояснил доцент.— В обычном небе из многих миллионов наблюдаемых галактических туманностей только десятка два на снимках расщепляются на звезды. Мы объясняем это так, что те, в которых звезд не различаем, слишком далеки. Но после увиденного здесь я склонен подозревать, что и в тех галактиках — если не во всех, то во многих — звезд нет. Мы полагаем звезды главными образами Вселенной потому, что считаем главным проявлением материи вещество. Но теперь мы видим, что это не так.

— Крамольный вы, однако, человек, Бармалеич! — молвил Корнев.

— Здесь станешь...

Кабина, колыхая аэростатами, ползла вниз. Вселенная в ядре

Шара съеживалась, тускнела. Говорить не хотелось. Под стать увиденному были бы слова и фразы, доступные гениям, их испепеляющие сердца глаголы. Откуда взять такие им — обыкновенным, поистрепавшим речь в быту, на лекциях и совещаниях? Но и отмалчиваться не стоило: заниматься-то этим делом им, уж какие есть.

— Смешение и разделение,— задумчиво сказал Пец,— разделение и смешение. Два акта в вечной драме материи-действия. Разделение — выделение образов из однородного... то есть для нас п у с т о г о — пространства. Выделившееся усиливает выразительность свою: четкость границ, яркость, плотность... Так до максимума, за которым начинается спад, смешение, распад, растворение в однородной среде. Возвращение в н е б ы т и е — если нашу жизнь считать бытием... У этих процессов много подробностей, маскирующих суть, но она всюду одна: разделение — смешение. Все, что имеет начало, имеет и конец. Одно без другого не бывает.

Снова замолчали. Корнев хмыкнул, подоил нос:

— Бармалеич, прокамлайте теперь вы что-нибудь.

— Если позволите, Саша, я продолжу вместо него,— мягко и в то же время как-то величественно произнес директор.— Варфоломей Дормидонтович уже «прокамлал»: сказал слова, которые, хоть их и было всего три, перевешивают все, что мы с вами сказали и скажем: «Поток и турбуленция в нем». Вы, безусловно, герой дня сегодня, Варфоломей Дормидонтович, поздравляю вас. Это многообещающая идея, и даю вам задание исследовать ее. Там есть четкий критерий Рейнольдса для начала бурления — выжмите из него все. Доклад через пять дней. Но пока вы не погрузились в гидродинамику, подкину вам еще информацию. В стихах. Вот первая:

> При наступлении Дня из непроявленного все проявленное возникает,
> При наступлении Ночи оно исчезает в том, что непроявленным именуют.

Имеется в виду День Брамы и Ночь Брамы, стадии в цикле миропроявления. Вторая:

> Вначале существа не проявляются. Они проявляются в середине.
> И растворяются они в исходе...

Обе цитаты из «Бхагаватгиты», «Божественной песни» в древнеиндийском эпосе «Махабхарата». Ему более трех тысяч лет. «Существа» — в смысле «все сущее».

— Вы хотите сказать,— оживился астрофизик,— что этими словами описано миропроявление как вскипание турбуленции в потоке материи-времени?

— ...И даже в соответствии с критерием Рейнольдса, Варфоломей Дормидонтович! Ведь и по нему турбуленция возникает в потоках не сразу, а когда они наберут напор и скорость. В какой-то из предшествующих цивилизаций это понимали.

— Занятно.

Корнев только переводил глаза с одного на другого. Наконец не выдержал:

— Ну, наговорили!.. Нет, граждане, как хотите, но я с вами сюда больше подниматься не буду. Это ж потом не уснешь. И вещества — то есть тела, то есть мы с вами! — ничего во вселенских процессах не значат, и вообще существует только мировое пространство да смешение-разделение в виде турбуленции... Ну и ну!

Варфоломей Дормидонтович поглядел на главного инженера — кажется, первый и последний раз в жизни — с сожалением и превосходством:

— А слабенек, оказывается, наш главный на философскую мысль, жидковат. Чем вы, собственно, огорчены и недовольны?

— Послушайте! — В глазах Александра Ивановича действительно были возмущение и растерянность.— Но если все так страшно просто... ведь это же и просто страшно!

V

Для зевак (коих всегда много толпилось около зоны) многочасовое путешествие троих исследователей к ядру выглядело так: колечко голубовато-белых баллонов с рафинадно блестящей пирамидкой внутри скакнуло к темной сердцевине Шара, ринулось вниз, повисло на миг между тьмой и башней, опять рванулось вверх — и почти сразу шлепнулось на «наконечник», на крышу башни. «Ух, черт! — подумал не один.— Авария! Никто, поди, и не уцелел...»

Для Васюка-Басистова и Германа Ивановича, дежуривших на крыше, впечатление было не столь сильным, хотя первый откат кабины и зависание ее посредине их обеспокоили. Тем приятней им было увидеть выпрыгнувшего из пирамидки, едва она коснулась крыши, Корнева и затем приставить лесенку для директора и Любарского.

— Ну,— сказал главный инженер, беря сигарету из протянутой Толюней пачки и прикуривая ее от протянутой механиком зажигалки,— вот ты, Ястреб точной механики, технический Кондор, Орел смекалки, работающий от идеи...— Тот от комплиментов скалил стальные зубы, щурил калмыковатые глаза.— Давай как обычно: не надо чертежей, скажите, что эта хреновина должна делать. Сообщаю: она должна приближаться к ядру и входить в него. Желательно, не отрываясь от башни.

— Так вот же кабина и аэростаты, Александр Ива...— указал на сооружение механик.— Вместе строили. Вы же только оттуда, что вам еще?

— Мы не о т т у д а, мы с высоты два километра, на какой

еще держат баллоны. А далее — пустота, космос, звезды, галактики. Вот к ним бы и надо!

— Какие звезды, ну что вы такое говорите! — Герман Иванович обиделся, не понимая, чего это главный вздумал над ними шутить.— Светлячки, мерцания — разве ж звезды такие! Что я, звезд не видел!

— Ну вот, не верит...— Александр Иванович повернулся к Васюку.— А ты, Толюнчик, веришь?

— Верю,— флегматично отозвался тот.

— Так ну?..

— Идею надо.

Корнев махнул рукой и направился к люку, размышляя, что вот есть в его распоряжении и разнообразнейшая техника, и средства, и умелые работники, и неограниченное время, которое тоже деньги... а без идеи все это выглядит так, что лучше бы ничего не было! Он испытывал сейчас что-то подобное мукам неразделенной любви.

И Валерьян Вениаминович спустился вниз, в прозу. В приемной Нина Николаевна вручила ему стопку листов с типографским текстом:

— Верстка вашей статьи для сборника, просят скорее вычитать и вернуть.

— Это уж как водится,— буркнул директор, забирая бумаги.

В кабинете он разложил листы на столе, вооружился ручкой, начал читать. Это был его доклад на конференции, состоявшейся страшно давно, будто в другую геологическую эру — еще до открытия МВ. «Что ж, кое-что придется исправить»,— подумал Пец. И — глаза его зацепились за последний абзац на последнем листе, за свои заключительные слова, произнесенные неделю назад перед большой аудиторией: «Неоднородное пространство-время в Шаре изучено нами еще не до конца. Не совсем ясен, например, закон уменьшения кванта h в глубинной области; соответственно шатки оценки ширины промежуточного слоя. Не в полном объеме исследовано еще и наблюдаемое в ядре Шара явление (по-видимому, атмосферно-ионизационной природы) «мерцаний» — быстро меняющихся короткоживущих свечений вихревой и штриховой конфигураций. Познание вышеуказанных явлений и их закономерностей несомненно усилит наше понимание физики неоднородных пространств и обогатит практику».

Сначала у Валерьяна Вениаминовича запылали щеки. По мере чтения жар от них перекинулся на лоб, уши, подбородок, даже на шею. Скоро вся неприкрытая сединами часть головы приобрела отменный багрово-свекольный оттенок. Лишь один раз в жизни ему было так стыдно, как сейчас: в Самарканде, когда встретил Юлю в сквере — после развода... Со страниц собственной статьи на Пеца глянула самодовольная физиономия ученого-мещанина, физионо-

мия, которую он так ненавидел и которой боялся у других: с лоском фальшивой эрудиции и снисходительного разумения всего. Положитесь, мол, на мой авторитет, граждане, я все знаю-понимаю... Ну, правда, некоторые незначительные вещи «не в полном объеме», «не до конца», «не совсем». Вот пока еще не разобрался с такой малостью, как «мерцания»... Но это все пустяки, граждане, третьестепенные детали в картине мира, которую я разумею и преподаю другим; будучи разгаданы, они займут надлежащее место в ней. Волноваться не из-за чего, граждане, ваше дело меня обеспечивать, возвышать и хорошо оплачивать.

Неприятно было обнаружить в себе самодовольную ограниченность человека, который, зная лишь чуть больше других, уверен и убеждает прочих, что постигнул все. «А ведь конспектировали многие...» — сатанея, подумал Пец.

Он собрал оттиски и, бормоча с яростью: «Подпустить! Подпустить!?» — разорвал их пополам, потом еще и еще.

ГЛАВА 15

ОДА ТУРБУЛЕНЦИИ И ПОСЛЕДНИЙ ПРОЕКТ ЗИСКИНДА

Наша дружба переросла в любовь, как социализм сейчас перерастает в коммунизм.

Из заявления о разводе.

I

...Более трети века, с самого начала работы в фантастике, автора упрекают, что он излишне научен. Слишком обстоятельно излагает нужные для понимания проблемы сведения. Излишне добросовестен в обосновании идей. И так далее.

Само то, что добросовестным можно быть и з л и ш н е, определенным образом характеризует нашу фантастику. Упреки участились в последние годы, когда жанр этот, как мухи зеркало, засидели гуманитарии. Вот уж у них-то ничего не бывает слишком, за исключением разве одного: вторичности.

Автор не однажды объяснялся на этот счет с редакторами и рецензентами. Сейчас считает нужным объясниться публично.

Представим себе дерево, скажем — клен. После созревания на нем семян, соткнутых семядольками двух лопастей, и при малейшем дуновении ветра рассеивает их; и летят, красиво вращаясь, тысячи, десятки тысяч пропеллерчиков — чем дальше, тем лучше. Подавляющая часть их падает на асфальт, на мусор, на камни —

пропадает без толку. Несколько попадает и на благоприятную почву. Но чтобы здесь проросло деревцо, мало почвы — надо, чтобы и семя было хорошим, п л о д о т в о р н ы м.

А поскольку неясно, какой пропеллерчик куда упадет, надо, чтобы в с е семена были плодотворны, несли заряд будущей жизни.

Заменим дерево автором (в компании с издателями, разумеется), многие тысячи семян тиражом его книги, почвы — равно и благоприятные, и неблагоприятные — читателями... Дальше должно быть ясно.

Да, увы, в большинстве случаев мы сеем на камень. Читатели ждут от книг развлекухи, в крайнем случае — ответа на злободневные вопросы (т. н. «жизненной правды»), а иное не приемлют. Поэтому, если отвлечься от коммерции (а от нее надо отвлечься), книги выпускают большими тиражами ради того единственного экземпляра, который попадет к ч и т а т е л ю-п о ч в е; он примет новую идею, совпадающую с тем, что сам чувствовал и думал. Тогда она п р о р а с т е т.

Для этого и бывают в книгах идеи-семена. Чем больше — тем лучше, чем обоснованней — тем лучше. Обоснование суть удобрение.

Знать бы того читателя, прямо ему и послал бы, а остальное можно и не издавать. Но как угадаешь? Вот и переводим леса на бумагу.

По одному читателю-почве на идею — и цивилизация будет продолжаться. Не станет таких читателей или не станет авторов с идеями — все под откос. Ни кино, ни телевидение, ни иные игры в гляделки книжный интимный механизм оплодотворения идеями не заменят.

...Автор это к тому, что излагаемые ниже размышления Варфоломея Дормидонтовича Любарского на заданную Пецем тему, смесь гидродинамики и богоискательства, в сюжетную канву романа, в общем-то, не очень вплетаются. Их можно было бы и не давать. Даже, пожалуй, ловчее не давать, выигрышнее. Ну, подумаешь: объяснение тайн мироздания — сложно-простых недетективных тайн... что они супротив трупа в запертой изнутри комнате!

Но ради того единственного читателя — дадим. Прочие же все, если им этот раздел покажется скучным и трудным, могут пропустить его без ущерба для своего пищеварения.

(Но, кстати, о пищеварении и о других процессах нашего организма, кои идут когда хорошо, когда худо; да и не только о биологических.

Чтение и обдумывание некоторых мест «Оды турбуленции» — автор убедился в этом на опыте — помогает самоисцелению от недугов. Уравновешивает. Улучшает житейскую стратегию и тактику, сиречь поведение. Так что смотрите.)

II

Заметки В. Д. Любарского к докладу «Наблюдаемый мир как многоступенчатая турбуленция в потоках времени». (Назначение заметок научное, но от одиночества и неуюта Варфоломей Дормидонтович заносил на эти листки и посторонние мысли, свое житейское.)

«Почему издревле любят слушать журчанье ручья? Какой смысл в этих меняющихся звуках, веселых и печальных, звонких и глухих, сложных и простых, повторяющихся и новых?.. Наверное, тот, что ручей сообщает нам — полнее всех слов — главную истину о мире и о жизни. Имя этой истины — турбуленция.

...Кипенье струй, их сердцевин. Бурленье в «ядре потока», как это именуют в гидродинамике. Множество струй и потоков во Вселенском океане материи-действия, кои сами порождены крупномасштабной турбуленцией и которые без кипения-бурления-вихрения в них и обнаружить невозможно».

Академические сведения о турбуленции (только сведения, наукой это не назовешь). Слово «turbulentia» по-латыни означает «бурный», «вихревой» (отсюда «турбина»), «беспорядочный». Большинство реальных потоков жидкости и газа, включая атмосферу, несут в себе турбулентную сердцевину; бывают турбулентны и целиком.

Переход ламинарного (плавного) потока субстанции, имеющей определенную вязкость μ, в турбулентный происходит при увеличении его скорости v или возрастании сечения S — то есть так или иначе при возрастании явления потока. Характеризуют переход знаменитым, уважаемым даже В. В. Пецем (а на мой взгляд все-таки изрядно дутым) критерием Рейнольдса, или числом Рейнольдса:

$$Re = vS/\mu = \text{const}.$$

Дутость его в том, что даже в экспериментальных потоках, текущих в трубах или каналах заданного сечения, эта величина далеко не «const», она меняется от двух до семидесяти тысяч. Было бы интересно, если бы моим коллегам-гидродинамикам с такой определенностью отвешивали и отмеривали то, что они покупают в магазинах!.. А для вольных потоков типа струй в реке, ветров в атмосфере или там Гольфстрима, Куросиво Re и вовсе неизвестно. Да и попробуй определи у таких потоков сечение или усредни их скорость.

Так что это не формула, а скорее образ: в потоке при некотором напоре и размерах возникает неустойчивость — бурление-волнение-вихрение. А когда поток ослабевает, все постепенно успокаивается, возвращается к плавности-однородности — в ламинар.

Еще не все. Для начала турбуленции (и для образа ее) важна инициирующая флюктуация — какое-то случайное событие-возмущение. Например, если кинуть в гладкий

поток камешек, турбуленция начнется при Re=2300; если не кинуть — оттянется до Re=60 000. Если тот же камешек не кинуть, а осторожно внести, тоже затянется. Если камень крупный — за ним пойдут крупные волны, если маленький — мелкие, и т. п.

...Это можно наблюдать на водосливных плотинах: переваливает через бетонную стенку во всю ее ширь тугая, насквозь прозрачная зеленая полоса — а ударившись о поддон, сразу делается пенистой, шумной, серой, в зыби и водоворотах; совсем другая вода.

Или на берегу моря: идет красивая гладкая волна, а как коснулась галечного дна — запенилась, забурлила...

«Не образумлюсь, виноват». А виноват я в том же, что и Чацкий, смысле: горе от ума... Прибыло решение ВАКа о лишении меня по ходатайству СГУ звания доцента. И как быстро-то! Бумаги о присвоении мне такого звания лежали в комиссии целый год. А здесь в неполные две недели — чик! — и готово. А еще говорят, что в ВАКе сидят бюрократы.

Теперь я сам подскажу Александру Ивановичу, который любит именовать меня доцентом (подозреваю, что более под влиянием фильма «Джентльмены удачи»), уточнение: доцент-расстрига.

Но продолжим о турбуленции. Что существенного удается выжать-обобщить из всех источников? Какую квинтэссенцию?

...что полного математического описания турбулентных процессов нет и не предвидится: все они сложны, как... как сама природа. Теории описывают простенькие частные проявления турбуленции: гармонические волнения — нарастающие, убывающие, интерферирующие — и вихри.

О последних стоит подробнее:

— центральная часть, «ядро» вихря, вращается по закону твердого тела, как целое;

— за пределами ядра скорость вихря убывает пропорционально квадрату расстояния;

— вихревые трубки во взаимодействии завиваются друг около друга; тонкие, естественно, обвивают те, что толще, мощнее.

(Все это так и просится на аналогию с... но не спеши.)

...что при всем богатстве образов турбуленция не есть хаос — сложные, но устойчиво повторяющиеся картины пульсаций, колебаний, вихрений.

При этом опять выпирают замечательные свойства турбулентного «ядра» в потоке:

— во-первых, при нарастании скорости потока «ядро» стягивается, уплотняется; картина бурлений в нем становится более упорядоченной, периодической; а при уменьшении напора наоборот — «ядро» разбухает, рыхлеет, расплывается;

— во-вторых, запас турбулентной энергии в «ядре» пропорционален квадрату скорости потока.

Это опять ассоциируется с... но молчание, молчание!

...что — и это, пожалуй, самое важное — крупномасштабная турбуленция многоступенчата, и энергия в ней распределяется также многоступенчато:

— наиболее крупные пульсации (волны-струи) получают энергию от несущего потока; когда напор и сечения в них достигают критерия Рейнольдса, то в этих струях возникают свои зоны турбуленции — то есть первичные струи-волны сами оказываются для них несущими ламинарными потоками, питают вторичные ядра и вихри бурления своей энергией;

— самые выразительные и крупные пульсации в этом волнении оказываются несущими гладкими потоками для еще меньших зон турбулентного кипения третьего порядка... и так далее;

— и все это древовидно ветвится во времени и пространстве, дробится на заметные образы в «однородной» среде — до некоего предела. До какого?!

...что, наконец, в информационном смысле взаимоотношения между потоком и турбуленцией таковы, как, например, между магнитной лентой памяти и записанной на ней информацией. А содержание информации, как я отмечал, зависит от вида первичных возмущений потока. Они подобны г е н а м в актах з а ч а т и я.

Но последнего я, пожалуй, в докладе не скажу — побьют.

Турбуленция в живом, турбуленция посредством живого... у п р а в л я е м а я турбуленция. Это тоже тема. Возьмем, к примеру, духовую музыку: если дуть в мундштук валторны (трубы, кларнета) слегка, без напряжения,— никакого звука не будет. Шипение, сипение — ламинар. А поднаддать дыханием да соответственно сжать губы, да нажать нужный клапан — и пошел музыкальный звук! Да-да: иначе сдвинуть губы, надавить иную клавишу — будет иной звук... но музыка пошла, прежде всего, потому, что превзойден критерий Рейнольдса. И все выпеваемые дыханием звуки-ноты инициированы определенной флюктуацией-затравкой: движением губ, клавишей, клапаном.

Да и не только духовая музыка, а смычковая: скрипки, виолончели, контрабасы! Если вести смычком по струнам легко и слабо, звука нет; так же, если струны слабо натянуты. Ускорил движение смычка, нажал на струны — полился чарующий звук...

Черт побери, а ведь и речь наша — турбуленция! Спокойное дыхание тихо, ибо ламинарно. Что мы говорим и как — это от инициирующих движений гортани и языка. Но сама речь, голос — от того, что дыхание перешло за критическое число Рейнольдса.

Какое, однако, богатое явление!

...Да и храп наш во сне, милостивые государи, от него же. Ведь не зря сей звук исторгается из носоглоток спящих не в начале выдоха, а самой сильной части его, при достаточном напоре.

Впрочем, это уже неуправляемая турбуленция.

Но главное — на размытость числа Re от 2000 до 60 000 не следует негодовать ни мне, ни теоретикам-гидродинамистам и аэродинамистам. Это дар божий для нас, в этой размытости содержатся все наши возможности управлять образами турбуленции. Вот так и получается вся «творенция-турбуленция». Не творение — великий созидательный акт, а именно творенция. Ничего особенного в ней нет.

21 апреля. Подъемы в МВ, наблюдения МВ становятся нашим бытом. Сегодня поднимались с Валерьяном Вениаминовичем. Наблюдали и сняли замечательное зрелище: разрушение Галактики от внедрения ее в переходный слой, в барьер неоднородностей. Она была спиральная, возникла в юго-восточной части Шара, развилась до звезд — и все время своей эволюции будто падала на нас. Было страшновато. В переходный слой Галактика внедрилась всем ядром — оно разорвалось на клочья звездных скоплений. Дождь звезд падал на нас, как праздничный фейерверк... Но в возросшей неоднородности пространства и они все размохрились в светящиеся кисточки, расплылись в туман, в ничто.

Картина уникальная: не просто кончина звездной системы в результате старения, ослабления напора ее времени-потока, а — катастрофическая гибель ее. Зрелище для богов, цепенящее душу. И снова я смотрел, будто подсматривал, задавал себе вопрос: имеем ли мы, смертные, право видеть это? Не приличней ли нам заблуждаться-самообольщаться, нежели познавать т а к и е истины?

...Ибо мир сей велик и страшен. Он велик и прекрасен. Велик и добр. Велик и беспощаден. И его краса, ужасность, беспощадность и доброта пропорциональны его величию.

А оно — бесконечно.

Немного покалякали об этом с В. В. на спуске. Начали с академических выводов:

— что в неоднородном пространстве миры-цельности существовать не могут;

— что поэтому переходный слой надежно защищает нас от неожиданностей, например, от того, что из МВ сюда выскочит звезда;

— и что в глубинах ядра микроквантовое пространство-время однородно...

Но потом съехали на лирику. Валерьян Вениаминович декламировал космогонический гимн из «Ригведы»: «Без дуновения само собой дышало Единое — великая тьма, сокрытая тьмою...» — и перебивал сам себя:

— Знали древние об этом первичном Дыхании Вселенной, порождающем миры и поглощающем их. А, Варфоломей Дормидонтович!..

Я тоже декламировал из Киплинга: «И Тамплисон взглянул вперед и увидал в ночи звезды, замученной в аду, кровавые лучи. И Тамплисон взглянул назад, и увидал сквозь бред звезды, замученной в аду, молочно-белый свет...» А на мой вопрос-сомнение (вправе ли?) В. В. ответил вроде бы невпопад:

— Когда Будду спрашивали, конечен или бесконечен мир,— он вместо ответа погружался в созерцательное молчание. Это было красноречивее всех слов. Так и нам надо.

По существу верно. Величие мира — не тема для умствований. В словесах легко заблудиться. Делаем, что можем, вот и все.

Но как мы, двое пожилых и сложных, были близки там друг к другу! Поистине, подлинная близость возможна только перед ликом Вечности.

А с турбуленцией — и натягивать особенно не надо, искать детальные соответствия. После того, что мы увидели в МВ, как все различимые образы («проявленное») возникают в стремительном полете из пустого пространства, а затем растворяются в нем же,— нам от этого процесса и деться некуда. И не надо.

Надо лишь преобразовать мысленно (и теоретически) все потоки из обычных трехмерных в четырехмерные, текущие по времени,— а себя, как наблюдателей, отождествить с ним.

А сейчас, милостивые государи, я весь во власти неуправляемой турбуленции. И почему, интересно, так бывает: когда вникаешь в идею, то вживаешься в нее и тем, чем надо и чем не надо? В бронхах скребет, щиплет и колет, температура за 38°, глаза слезятся, нос и того хуже. Хрипло, шкварчу и кашляю. Прохватило на апрельских сквознячках, когда, разгоряченный вышел из башни и прогуливался у реки с открытой шеей. Сижу на бюллетене, Юлия Алексеевна, спасибо ей, отпаивает меня чаем с малиной и медом; Вэ-Вэ вечером по своей рецептуре добавляет в этот чай вина или коньяку.

Сижу, стало быть, на бюллетене и мудрствую.

Ведь что есть данная болезнь (а вероятно, и не только данная!), как не переход в турбулентное состояние моего организма от внешней зловредной флюктуации в виде сквозняка? Из здорового спокойного состояния организма, кое мы не ценим и не замечаем, ибо оно есть ламинар? Сколько сразу мелких, вздорных, неприятных изменений — в легких, носоглотке, во всем теле... Откуда что и взялось! Сколько ощущений, переживаний. Апчхи!.. Аррряяяпчьх!.. Чем не духовая музыка!

Нет, богатое явление.

И недаром, видимо, индусы лечат больных тем, что перво-наперво перестают их кормить — так снижая напор жизненных сил, напор праны. Болезни суть избыточность здоровья.

И еще одно родство турбуленции и болезней: начинается легко и внезапно — тянутся, сходят на нет долго и трудно.

И еще, и еще: добро ламинарно, зло — турбулентно. Мы обычно рассматриваем борьбу добра и зла на равных. И с неизвестным исходом, как в футболе. Но это потому, что мы не знаем, насколько всеобъемлюще и мощно то неразличимо прозрачное, ясное Добро, что держит, несет, обволакивает и пропитывает наш мир. Верующие догадываются об этом — и называют его Бог.

...Именно поэтому не следует платить злом за зло, отвечать ударом на удар, мстить: лучший способ борьбы с турбуленцией... отсутствие борьбы. Ненасилие. Тогда она сникнет, растворится в ламинарном Первичном Добре.

Но это я, пожалуй, также приберегу для себя.

Из доклада В. Д. Любарского на семинаре:

— Мир пространственно четырехмерен. Время — тоже пространство. Только по этому — четвертому — направлению мы движемся-существуем. Разбегание галактик, заметное в обычной Вселенной по «красному смещению», как раз и подтверждает, что направление времени не всюду одинаково: существование дальних миров в своем времени мы видим как их движение в пространстве. По-видимому, и в нашей Вселенной, как и в МВ, это разбегание породил Вселенский Вздох. Наивной механистической интерпретацией его является гипотеза Вселенского Взрыва — попытка утвердить первичность «тел» в материи. Ибо мы сами тела.

Между тем, разбегание галактик допускает простой вывод: чем они дальше от нас, тем их время ортогональней к нашему. То есть по своему направлению времени все миры мчат-существуют — наращиваются спереди, сникают сзади — с наибольшей возможной скоростью, со скоростью света. Обычное относительное движение тел, кое мы видим, его часть их движения-существования в своем индивидуальном для каждого тела времени, а если проще, то в своих несущих струях. Тела в них — турбулентные ядра.

Больше того, сам факт наличия предельной скорости может быть понят только в теории плотных сред и применительно к малым возмущениям в них. В самом деле, ведь эта скорость, которая нам, малым, кажется чудовищно огромной,— триста тысяч километров в секунду! — во вселенских... да что, даже в межзвездных — масштабах просто мизер. А остальные, кои меньше ее, так и вовсе. Что ж громадная и могучая Вселенная с этим так сплоховала? А то и сплоховала, что в ней это скорость распространения малых возмущений в плотной упругой среде — ни они сами, ни скорость их для нее существенной роли не играют. Не то что для нас. И кстати, эти знаменитые лорентцевские, приписываемые Эйнштейну, множители «$1-V^2/c^2$», от коих в теории относительности укорачиваются стержни, удлиняется время и растут массы — поражающие

наше воображение эффекты! — вы всегда встретите в учебниках по газовой и гидродинамике при описании движения потоков и малых возмущений в них. Только под «с» там разумеют скорость звука в газах и жидкостях, а не света в «пустоте».

...По своему направлению движения-существования мы воспринимаем только себя: в одну сторону памятью, в другую, в будущее,— воображением-прогнозированием, уверенностью в продолжении себя и дальнейшем бытии. Для восприятия прочего мира остаются три измерения. Естественно, что в текущих рядом с нами струях времени мы в силу синхронности процессов видим не их и не пенно бурлящие дорожки-сердцевины в них, а некие трехмерные образы в «пустоте». Это еще та пустота.

...Для нас различимый мир значителен и весом, а неразличимо однородная среда — ничто. На самом деле все наоборот: различимое есть малые, не крупнее ряби на поверхности океана, возмущения-флюктуации в очень плотной упругой среде. По представлениям Дирака и Гейзенберга — ядерной плотности.

...Теперь сообщу вам рецепт, как одним простым процессом, вздохом, сотворить Вселенную. Как известно, библейский бог с одной только нашей Землей провозился немало: сначала сотворил небо и землю, отделил свет от тьмы, воду от тверди, моря от суши, создал твари всякие, и траву, и светило дневное, светило для ночи... и так уморился, что весь седьмой день отдыхал. Старик суетился зря. Только необходимо подчеркнуть, что отдельную планету, даже звезду или галактику,— так нельзя,— а вот Вселенную целиком, запросто. Разумеется, речь идет о Вселенском Вздохе огромных масштабов и немыслимого напора, который мы наблюдаем в МВ. Его можно сравнить со взрывом по скорости и напору — но разница в том, что взрыв — событие кратчайшее, а Вселенская пульсация-вздох длится все время существования мира. Конец ее — конец времен. Но самое замечательное все-таки то, что этот простейший процесс породил все сложное, включая уникальных нас.

Итак, поехали. Вдох, выдох, йоговская пранаяма с раскачкой в масштабах Мира. Начнем с экстремальной стадии охвата и напора: пошло растекание от какого-то центра в Меняющейся Вселенной — хоть в нашей, хоть и в той, что в Шаре. Растекание идет радиально, напор, скорость и сечение потока растут... И вот в каких-то местах достигнут и превзойден критерий Рейнольдса. Он, как вы знаете, довольно зыбок: где и какие возникнут образы турбуленции, зависит от местных инициирующих флюктуаций. Во всяком случае, нарушилась устойчивость-однородность в самых крупных масштабах, пошли пульсации, струи-волны, вытянутые всяк по своему времени, а в них вихрения, да и сами струи закручиваются друг около дружки. Все это первичные наметки будущих скопищ звездных вихрей — но звезд еще нет, до звезд надо дожить.

Напор Выдоха между тем растет. Но, поскольку и он — малое возмущение среды, скорость света в порождаемых им потоках превзойдена быть не может. Естественно, энергия расходуется на дальнейшее турбулентное дробление и ветвление их. Разделение — в терминах Валерьяна Вениаминовича. При этом отдельные струйки галактической турбуленции теперь играют роль несущих потоков. В тех из них, где сочетание скорости и сечения выполняет «норму» Рейнольдса, возникают свои бурлящие и вихрящиеся «ядра»: где одно, где пара вьющихся друг около друга, а где и больше. При дальнейшем возрастании напора Вселенского Выдоха они уплотняются. Эти образы, понятно, несравнимо мельче галактических, даже деталей галактик — это протозвезды, двойные и тройные сочетания их, протопланетные системы.

Остальные же струи галактической турбуленции, где критерий Рейнольдса не выполнился, неотличимы от первичного потока между ними — остаются «пустотой».

...И так по мере роста напора реализуется ступень за ступенью Вселенская турбуленция-творенция. Никто не создает звезд — они сами уплотняются, закручиваются в огненные шары в своих струях незримого времени-действия. Никто не создает и планет, никто не отделяет на них твердь от вод и свет от тьмы. Все это просто проявления турбуленции — самовыделения мира веществ из «пустоты» — и разделения-дифференциации всего на стадии максимального напора, наибольшей выразительности. Так все дробится до некоего предела, меньше которого уже нельзя, строение материи не позволяет.

Думаю, вы догадались до какого: до квантового, когда турбулентно-вихревые образы, несомые мельчайшими струйками времени, состоят из считанных квантов h. Эти образы — атомы, молекулы, атомные ядра, элементарные частицы; поэтому им и свойственна дискретность. В принципе же, разницы между галактическим вихрем, атмосферным циклоном и орбитой электрона в атоме нет. Природа всего одна — турбуленция.

Из протокола обсуждения:

В. В. Пец. Я не согласен с вами в одном существенном пункте, Варфоломей Дормидонтович: что все делает только напор Вселенской Пульсации. Общую картину — да, но не все. Давайте не забывать, что материя — действие. Самореализация первичная. А она одинаково свойственна и Метапульсации, и галактическим струям, и звездным, и планетным... вплоть до атомных. Поэтому так во Вселенной все и выразительно. Мертвая субстанция так не смогла бы.

Корнев. Вы что же, Вэ-Вэ, стоите на ущербных позициях первичности жизни во Вселенной? Ай-ай-ай, почтенный ученый, крупный руководитель... тц-тц!

Пец. А Вселенная, между прочим, ни у кого разрешения не спрашивала, какой ей быть. В том числе и у руководящих работников.

Васюк-Басистов. Ваша гипотеза, Варфоломей Дормидонтович, помимо прочего объясняет и происхождение вихревого и вращательного движения во Вселенной. Гипотеза Первичного Взрыва перед этим пасует, после него все должно разлетаться прямолинейно.

Мендельзон, скептик и эрудит. По-моему, ничего нового, весьма напоминает теорию вихрей Рене Декарта. Я вот только не ухватил, на какой стадии у вас возникают атомы, их ядра — вещество?

Любарский *(обаятельно улыбаясь; трубки под потолком лаборатории озаряют его острый нос и лоснящуюся лысину)*. Ну как же, Борис Борисыч, это очевидно — на самой крайней. Не забывайте, что вся энергия турбулентных образов происходит из одного источника, из потока времени. Другой в мире нет. Стало быть, чтобы дошло до предельного бурления-дробления — на то, что мы воспринимаем как тела с кристалликами, волокнами, молекулами, доменами, атомами, ионами... короче, как вещества,— надобны наибольший напор и наибольшая энергия. Что бывает далеко не всюду, не всегда — поэтому многие галактики в МВ не дозревают до вещественных звездо-планетных стадий.

Корнев. То есть, Дормидонтыч, вещество, по-вашему,— вроде барашков пены, которые украшают гребни самых крупных волн на море?

Любарский. Да. Только квантовой пены.

Корнев. Да вы смутьян, доцент, карбонари! Это что же вы с атомами-то сделали?! Сколько веков, от Изи Ньютона, все процессы объясняют через Сцепления и Расщепления атомов и Первичных Частиц... а вы о них — как о пене, как о дискрентных мелких подробностях мировых процессов. Да вас за это на костер!

Любарский *(польщенно потупясь)*. Так уж прямо и на костер!..

Мендельзон *(вынув сигару из уст и утратив невозмутимость)*. Но постойте... если атомы последними образуются, то при спаде напора времени они первыми должны и распадаться?

Любарский. Ну, а разве это не так, Борис Борисович? Из всех знаемых нами материальных объектов атомные ядра единственные, которые просто так, за здорово живешь, распадаются. Даже делятся. Ни планеты, ни кристаллы этого не делают. А атомы раз! — и нет. Лопаются, как пузырьки пены на воде.

Пец. А ваша мысль, Варфоломей Дормидонтович, что речь турбулентна и подчинена критерию Рейнольдса, имеет в «Чхандогьяупанишаде» такое обобщение: Вселенная есть речь Брахмо.

Любарский. То есть миры — звуки в дыхании Брахмо?

Васюк-Басистов. Применительно к живому вообще критерий Рейнольдса можно отождествить с явлением пороговости. Допороговое раздражение не ощущается и не действует, а запороговое...

Корнев *(грустно доит нос)*. И выходит у вас, ребята, что никакой принципиальной разницы между простой болтовней или сонным всхрапом и творением миров — нету?.. Но ведь, если на то пошло, можно унизиться и дальше: истечение газов с сопутствующими звуками у нас возможно не только через рот. И тоже бывает когда тихо, когда громко...

Любарский *(мягко, но настойчиво)*. Александр Иванович, не увлекайтесь, прошу вас.

Толчея идей, смятение чувств и мыслей от них — тоже турбуленция.

Пена оседает — суть остается.

III

Несколько дней спустя Зискинд представил, наконец, научно-техническому совету Института долго вынашиваемый и долго всеми ожидаемый проект Шаргорода — седьмой и окончательный проект башни. Исполнение всех предыдущих было скомкано, спутано, незавершено — от «давай-давай», от проблем грузопотока и хозрасчета и, главное, от незнания физических масштабов Шара. Поэтому всегда всплывало, с одной стороны, непредусмотренное, а с другой — запроектированное напрасно. Теперь, когда узнали об МВ, вроде и наступило время рассердиться и замахнуться на сверхпроект, который бы решил с запасом насущные проблемы и давал перспективы развития.

Вряд ли, впрочем, только насущность вдохновляла Юрия Акимовича на проектирование Шаргорода с постоянным населением в 110 тысяч человек при среднем ускорении времени 600 (год за полдня). Он был художник — а для всякого художника, строит ли он здания, сочиняет симфонии или пишет картины, его работа есть способ дальнейшего постижения жизни и человека. И конечно, Зискинда, видевшего, как работа в НПВ влияет на людей, меняет представления о мире и себе, не мог не занимать вопрос: а что, если они останутся жить в Шаре оседло, поколениями? Насколько люди изменятся сами, шкала их ценностей, взгляды на жизнь? Что рухнет, что уцелеет, что возникнет?

Архитектурно-конструкторское бюро под его началом трудилось над проектом земной месяц (три рабочих года) и на славу.

В это утро участники НТС усаживались не напротив экранов в новом зале координатора, а расставили свои стулья поодаль от боковой стены, на которой архитекторы крепили саженные листы ватмана и метровые фотографии компоновочных моделей. Зискинд был в черном парадном костюме, при галстуке, тщательно выбрит; даже в блеске его очков чудилось нечто горнее. Он стал с указкой у листов. Рядом, несколько превосходя главного архитектора всеми размерами, высилась хорошо освещенная модель из пенопласта. Она напоминала складывающуюся подзорную трубу, поставленную на окуляр. Возле нее сидел оператор.

— В данном проекте,— начал Юрий Акимович глуховатым от волнения голосом,— мы ставили себе задачей показать возможность длительного, устойчивого, ненапряженного функционирования в Шаре исследовательско-промышленного и житейского комплекса с числом обитателей до ста десяти тысяч человек. Города собственно. Он располагается — пока на бумаге — в диапазоне высот от нуля до шестисот или, при полной растяжке башни, восьмисот метров и в диапазоне ускорений времени от единицы до двух тысяч. При этом мы стремились учесть весь опыт работ и жизни в НПВ...

И опыт был учтен и охвачен, возможность показана. Ах, как он был охвачен, как она была показана!.. Стержнем Шаргорода, его коммуникационным стволом осталась нынешняя, только доведенная до шестисот метров, башня. От нее, начиная со ста пятидесяти метров (а не от земли, как прежде) отслаивались кольцевые ярусы: каждый предыдущий поддерживал последующие растопыренными пальцами бетонных консолей, каждый добавлял в поперечник сооружения свои две сотни метров, и, главное, каждое кольцо посредством уже проверенного зубчато-червячного механизма могло передвигаться вверх-вниз относительно соседнего на свои сорок метров. В сумме и получалось в необходимых случаях наращивание высоты до восьмисот метров.

Ярусы-кольца имели по тридцать этажей — и чего в них только не было! Жилые квартиры и общежития, бассейны и спортзалы, мастерские и лаборатории, библиотеки и видеосалоны, бытовые предприятия, магазины, кафе, поликлиники, родильный дом, ясли и детсадики. Были кольцевые бульвары с велодорожками, спиральные подъемы и спуски, эскалаторы и лифты, оранжереи, где под лампами дневного света гидропонным или обычным способом ускоренно выращивались ягоды, фрукты, овощи; два стадиона — один закрытый, другой на вольном воздухе, водонапорная трасса с накопительным шаром наверху, вычислительные комплексы, автоматические прачечные, аэрарии. Короче, были запроектированы все условия, позволяющие людям в Шаргороде плодотворно и с удовольствием проводить в условиях НПВ месяцы, годы, а если пожелают, то и всю жизнь.

На самом верху находился «мозг города» — информационный и координирующий центр, начиненный ЭВМ и телеэлектроникой. Здесь же в самом центре крыши расположили «энергетическое сердце»: АЭС с урано-плутониевым циклом самообогащения и идеально замкнутой циркуляцией теплоносителя. Мощность станции была умеренной — 80 мегаватт, но с учетом местоположения реально получались многие гигаватты.

Благодаря обилию энергии и замкнутым регенеративным циклам, Шаргород приобретал независимость космического корабля. Все пищевые и бытовые отходы, сточные воды перерабатывались, поступали удобрениями, комбикормами и очищенной водой на воспроизводство запасов пищи. Система вентиляции и кондиционирования очищала, увлажняла, в необходимых случаях обогащала кислородом воздух. Словом, для жизненно важных веществ получался замкнутый, мало зависящий от внешней среды кругооборот.

Но и проблема общения Шаргорода с планетой, доставки людей и грузов также была решена с блеском. Магистрали извне, включая и железнодорожную ветку, сходились, скручиваясь в спираль, под основание башни. Оттуда автоматические подъемники, ленточные эскалаторы, лифты, повинуясь сигналам координатора, распределяли грузы по ярусам, по складам, по магазинам, несли вверх и разделяли по слоям потоки людей. (Бугаев, командир грузопотока, даже руки потер, пробормотал: «Вот, давно бы так-то!») Но венцом разрешения проблем доставки было не это, а новаторское применение наиболее соответствующего ритмам НПВ транспорта — авиации. Двухсотметровая внешняя полоса на крыше, которая вся имела километровый радиус, представляла кольцевой аэродром, способный принимать пассажирские и грузовые самолеты всех типов, кроме сверхзвуковых. С учетом ускоренного времени (и возможности поднять аэродром в еще более ускоренное) пропускная способность здесь оказывалась намного большей, чем у крупнейших аэропортов мира: десятки тысяч самолетов в сутки! В случае опасности так можно было быстро эвакуировать весь Шаргород.

Комплекс в равной мере годился и для постоянного жительства, и для временного обитания тех, кому требовалось поэксплуатировать НПВ и ускоренное время. На отдельном листе Зискинд подал, как блюдо, рациональные «маршруты жизни» в Шаргороде. Сначала человек поселялся в верхних ярусах, что позволяло неспешно, с экономией времени освоиться со спецификой быта и работ, осмотреться. Затем спуск — в комфортабельное жилье на 5-м ярусе, в лаборатории, КБ, мастерские, читальные залы 4-го и 3-го; отдых и развлечения на 2-м, приобретение нужных вещей на 1-м... Для командированных предполагался в среднем шестимесячный срок проживания в Шаргороде, что соответствовало семи-восьми часам нулевого времени: можно отлучиться из дому на обычный рабочий

день, выполнить в НПВ рассчитанную на полгода работу, вечером вернуться и поужинать в кругу близких.

Оператор в нужные моменты нажимал кнопочки на пульте: модель удлинялась или складывалась, от внутренних подсветок в кольцевых ярусах ее загорались окна этажей, освещались разрезы. По рукам членов совета ходили красиво переплетенные экземпляры проектной записки, в которой излагались расчеты материалов, денег, затрат труда (с числами, проводившими в оторопь), варианты перехода от нынешней башни к Шаргороду. Зискинд, дирижируя указкой, умело пудрил мозги.

...И, вполне возможно, запудрил бы, если бы перед ним сидела партийно-государственная комиссия — из тех, что одобрили проекты поворота северных рек, превращение Волги и Днепра в многокаскадные море-болота или сооружения самых крупных АЭС около самых крупных городов; люди, вознесшиеся на показухе, державшиеся посредством нее и более всего уважавшие в проектах помпезную, масштабную, возвеличивающую их показуху. Они утвердили бы и египетские пирамиды. Но сейчас Юрия Акимовича слушали те, кого все это касалось непосредственно.

Частные решения в проекте командирам понравились, не могли не понравиться. Бугаев приветствовал вихревой вход. Люся Малюта даже зарумянилась, увидев, что координатор в Шаргороде будет выше всех: правильно, только там ему и место! Но... по мере вникания складывалось общее впечатление — и оно было таково: да, в далекой перспективе (до которой в Шаре еще надо суметь дожить) проект действительно решает все проблемы строительства, работы и жизни в НПВ; но в ближнем плане он куда больше добавит проблем и дел, нежели решит.

— Все,— сказал Зискинд.— Прошу задавать вопросы.

Сидевшие по сторонам сотрудники его АКБ впились ожидающими взглядами в лица членов НТС. Однако лица эти не выражали особого воодушевления.

— А что это у вас ВПП, взлетно-посадочная полоса аэродрома на крыше вроде наклонена внутрь? — Командир вертолетчиков Иванов подошел к модели, закинул руку, провел ею.— Или мне кажется?

— Нет, не кажется. С учетом кольцевой конфигурации и несколько искривленного тяготения так и должно быть. Самолетам придется заходить на посадку на вираже. И взлетать так же...— Зискинд выставил перед грудью ладонь и, поворачиваясь, показал, как должны прибывать в Шаргород самолеты.

— Гм!..— сделал Иванов и вернулся на место.

Поднялся Шурик Иерихонский — долговязый длинноволосый брюнет с мрачноватым лицом. Он не был членом совета, просто сейчас дежурил в координаторе и все слышал; а задавать вопросы не возбранялось никому.

— Юрий Акимович,— забасил он,— если помните, я в свое время сочинил диаграмму нашей башни в эквивалентных площадях, с учетом ускорения времени. Получилась расширяющаяся труба, которой местный фольклор присвоил название «иерихонской». Понимаете, понятие эквивалента применимо не только к площадям. Ваши сто десять тысяч жителей Шаргорода при среднем ускорении времени шестьсот равнозначны шестидесяти шести миллионам людей в земных условиях, населению довольно крупной страны. Так ведь?

— Да,— кивнул главный архитектор.

Иерихонский смотрел с вопросом, ждал, не скажет ли Зискинд что-нибудь еще; не дождался, пожал плечами, сел.

— А... зачем? — подал голос Бугаев.— Зачем такой город в Шаре? Что там будут делать сто десять тысяч людей, они же шестьдесят шесть миллионов в эквиваленте?

— То же, что и нынче: исследовать, испытывать, разрабатывать. Общий принцип: максимум информации в минимуме материала.

Многие выжидательно посматривали на Пеца и Корнева: в сущности, они должны задать тон обсуждению. Но те оба молчали, потому что в умах и главного инженера, и директора главенствовал один мотив: МВ. Меняющаяся Вселенная. Мимолетная, Мерцающая, Событийная... О ней, когда заказывали проект, не знали. «И она игнорирована там,— думал Корнев.— Обыкновенно, как во всех земных начинаниях, даже самых крупных, игнорируют космичность нашего бытия. То, что мы на маленьком шарике-планете мотаемся вокруг горячей звезды и мчим вместе с нею черт знает куда со страшной скоростью. Окажись вдруг, что Земля плоская и стоит на трех китах, у земных архитекторов не изменилась бы ни одна линия в чертежах.

А у нас можно ли так?..»

Александру Ивановичу в общем-то, нравился проект. Он был созвучен его натуре своим размахом, лихой экстраполяцией того, как можно раскочегарить дела в Шаре на основе достигнутого. Он понял и то, что Зискинд рассказал, и то, о чем тот предпочел умолчать. Но... в сущности, и от проекта, от сегодняшнего доклада Корнев ждал-надеялся, что подскажется ему некая идея, как лучше, глубже внедриться в МВ, забрезжит что-то от увиденного и услышанного, заискрит... Нет, ничего не забрезжило и не заискрило. Да, разумеется, и на крыше Шаргорода была стартовая площадка с аэростатными кабинами, станция зарядки баллонов, лебедки — странно, если бы этого не было! Но все это не то, не то, не то!..

А Валерьян Вениаминович и вовсе чувствовал себя неловко, избегал встречаться взглядом с Зискиндом. Ведь это он, если и не инициировал, то во всяком случае понукал главного архитектора проекта Шаргорода — и чтоб на всю катушку, на полный разворот

возможностей. Более того, это он, Пец, в своей «тронной речи» высказал великий тезис, что именно неоднородное пространство-время нормально во Вселенной, а следовательно, и жизнь в нем. Вот Юрий Акимович и разворачивает — в соответствии с его, Пеца, идеями и понуканиями — картину *нормального* бытия в Шаргороде. Ну, ясно, что бросать все и приниматься за реализацию проекта — невозможно в любых случаях; но если до открытия МВ можно было хоть рассматривать это как перспективу, намечать пути перехода, то теперь... проект просто надо топить. Удушить подушками. Хорошо еще, что он пока на бумаге, не в бетоне. Нельзя дать этой «ереси» завладеть мыслями, пока не разобрались с МВ.

«Не с МВ,— поправил себя Валерьян Вениаминович,— а с местом в ней всех наших работ и дел, нас самих. Как ни мало мы в нее пока проникли, но увидели что-то такое... Как тогда Александр-то Иванович воскликнул: «Если все так страшно просто, так ведь это же просто страшно!» А еще этот доклад Любарского о турбуленции... Проект Зискинда всем хорош, кроме одного: он построен — как и почти все в нашей жизни — на абсолютизации человеческой выгоды, человеческого счастья. Что хорошо и выгодно людям, то хорошо вообще. Вот с этим как раз и надо разобраться...»

— Максимум информации в минимуме материала...— повторил, поднимаясь с блокнотом в руке, начплана Документгура.— То есть потребуются работники высокой квалификации, так, Юрий Акимович? А я вот что прикинул. Пусть в вашем Шаргороде половина — гости, командированные, а половина, так сказать, долгожители. Контингент первых сменяется примерно трижды в сутки — и прежде, чем снова забраться в Шар на полгода, люди эти хоть несколько дней проведут на земле. Многие и вовсе не вернутся. Для долгожителей, как ни странно, получается похоже: современный горожанин ежегодно покидает свой город на несколько недель. То есть как бы люди ни были привязаны к Шаргороду и НПВ, по земному счету они куда больше времени проживут не там. А это значит, что для загрузки Шаргорода стотысячным населением надо иметь в штате несколько *миллионов* работников высокой квалификации. Не объясните ли, где их взять? — И он сел.

— И как доставлять в наши места ежесуточно от трехсот до четырехсот тысяч человек? — снова включился Бугаев.— Да столько же вывозить? Нет, ввод в башню у вас прекрасный и все это пропустит — но Катагань?! Ведь это, я извиняюсь, побольше, чем осиливает Москва посредством восьми вокзалов, четырех мощнейших аэропортов и десятка автостанций. А, Юрий Акимович?

— Послушайте! — Зискинд начал терять терпение.— Я же говорил, что мы исследовали и доказывали *возможность*. Ваши вопросы выходят за пределы обсуждения проекта. В принципе, можно перепроектировать и Катагань.

— Ну, ясно,— сказала Люся,— товарищи нулевой месяц занимались в свое удовольствие архитектурной фантастикой. Я так и предчувствовала.

— Нет, почему же, здесь есть выход, и я не понимаю, почему вы, Юра, темните,— сказал Корнев.— Атомное горючее регенерируется, стоки и отходы тоже... а демографические процессы в Шаргороде разве нельзя пустить на замкнутый цикл? Есть родовспомогательное отделение, ясли, детсады, школы... Нет проблем для организации техникумов и институтов — и при среднем ускорении 600 те миллионы специалистов, которые волнуют нашего начплана, можно наплодить, вырастить и обучить за земные месяцы.

— Ну, знаете, товарищи! — нервно воскликнул Альтер Абрамович.— Так мы договоримся...

— И опять вопрос: куда потом эти миллионы деть? — не унимался Документгура.— Как в те же несколько месяцев обеспечить их жильем и работой?

— Никуда не девать,— вел свое Корнев,— в Шаре идеальные условия регуляции населения. Чем старше обитатели, тем их перемещать на жительство выше, где жизнь летит все быстрее... И так до крематория при АЭС на крыше. С выдачей пепла на оранжереи. Пятое поколение, десятое, ...надцатое — а далее людям Шаргорода и вовсе покажется диким, ненужным появляться на земле, в однородном мире, где все будто застыло, никакого движения мысли, где живы и здоровы друзья и родичи их прапрапрапра... и так далее — бабушек и дедов. Какой интерес с ними общаться?! Ведь так, Юрий Акимович?

— В конкретных аспектах не совсем,— ответил главный архитектор.— Но в целом... логика освоения НПВ неизбежно приводит нас к нужде в людях, для которых Шар — нормальная среда обитания, а мир вне его пустыня. Уверен, что вы, Александр Иванович, понимаете это не хуже меня.

— Да нет, бодяга какая-то! — главприборист Буров замотал головой, будто отгоняя мух.— Это же социально непредсказуемая ситуация. Они ведь после десятого поколения, а то и раньше, станут на нас смотреть, как на троглодитов!

— Н-да, действительно, Людмила Сергеевна, вы правы,— сказал начплана.— Сады Семирамиды. Нулевой месяц работы АКБ! — Он взялся за голову.— Тут распекаешь людей за потерянные часы...

— Это называется оторваться от жизни,— сказал Бугаев.— И людей за собой повели, Юрий Акимович!

— Не я ли говорила вам, Валерьян Вениаминович,— торжествующе повернулась к директору Люся,— что не следует так высоко помещать архитекторов. Ведь это действительно не проектирование, а научное рвачество какое-то: сотворить на чужих спинах роскошный проект — а там хоть трава не расти!

Это уже был перебор. Сотрудники АКБ возмущенно зашумели. Зискинд выпрямил спину, закинул голову, несколько секунд рассматривал собравшихся — будто впервые увидел.

— Если угодно знать,— сказал он, чеканя звенящим голосом слова,— если угодно знать, то данный проект сохранит свою непреходящую научно-художественную ценность независимо от того, хватит ли у вас таланта его понять и смелости и умения его реализовать! — Он дал знак помощникам снимать листы, затем бросил в аудиторию последнее слово: — Дел-ляги!..

Юрий Акимович никогда не ругался, не умел, но интонации, с какими он произнес это слово, соответствовали, по крайней мере, трехэтажному мату.

Так тоже не следовало говорить. Теперь завелся и Корнев. Он встал, держась за спинку стула:

— Юра, вы считаете, что вы один у нас умеющий и любящий творить,— а другие так, исполнители, на подхвате? Мы здесь все такие, каждый при своем деле. Иные в Шаре и не удерживаются. И если дела у нас идут трудно, то не из-за отсутствия творческой инициативы, а может, скорее, из-за ее избытка. И еще из-за того, что вот такие, как вы, милый «катаганский Корбюзье», считают, что их идеи должны немедленно подхватывать и реализовать другие. Вам не кажется, что это не по-товарищески?

Затем и Пец поднял руку. Все стихли.

— Я согласен с Юрием Акимовичем, что проект Шаргорода будет иметь непреходящую ценность, ибо он не только квалифицированно, но и талантливо исполнен. Мне лично особенно понравилось решение ввода и въезда и, само собой, регенеративный цикл, автономная энергетика. Думаю также, что все мы должны быть благодарны разработчикам за то, что они показали нам полную и далекую перспективу н о р м а л ь н о г о развития работ в Шаре. Не знаю, как другие, но я лично ее плохо представлял...— Он помолчал, взглянул на Бурова.— Лично меня не очень пугает встреча с представителями десятого или даже двадцатого поколения шаргородцев. Во-первых, как вы знаете, среди нынешних тенденций развития есть и идущие под девизом «Вперед, к троглодитам, вперед, к обезьянам!» — у определенной части молодежи. Они могут проявиться и в Шаре, так что это еще бабушка надвое сказала, кто на кого как будет смотреть. *(Оживление. Зискинд глядел на Валерьяна Вениаминовича с теплой надеждой).* Во-вторых, в любом случае интересно бы встретиться и поговорить. Но дело не в том. Я подчеркнул, что это перспектива нормального развития: на основе нынешнего уровня знаний, представлений и идей. Но все вы знаете, что такого развития у нас ни одного дня здесь не было, нет и не предвидится — все время новые открытия, факты и идеи отменяют, перечеркивают предшествующие им проекты и начинания. И не

только те, что на бумаге, но и воплощенные. А сейчас, когда мы обнаружили над своими головами в Шаре Меняющуюся Вселенную,— Пец указал рукой,— было бы крайне наивно полагать, что оттуда ничего такого к нам не придет и не изменит...— Он снова помолчал, взглянул в упор на Зискинда.— Так что, если бы у нас было два Шара, я был бы целиком «за», чтобы в одном из них построить ваш Шаргород. Юрий Акимович. Но поскольку он один, то связывать этим проектом — пусть даже усеченным! — себе руки и головы, вкладывать в него силы и средства, лишать себя возможности исследовать; маневра... это, поймите, нереально. Кроме того полагаю, вам стоит подумать над упреками и недоумениями, которые здесь высказаны,— независимо от формы их выражения:

Последний и, пожалуй, самый чувствительный удар нанес Зискинду пилот Иванов. Когда совещание кончилось и все потянулись к выходу из координатора, он встал возле модели, выставил перед грудью ладонь, повернулся вокруг оси, изображая вираж, сделал губами: «Бжж-ж-ж...» — потом недоуменно поднял богатырские плечи почти к ушам. Все так и покатились. Юрий Акимович не произносил «Бжж-ж...» — просто показал; тем не менее именно это «Бжж-ж...» с соответствующим жестом и поворотом долго потом служило предметом веселья в Шаре.

IV

Столь сокрушительного разгрома Зискинд не ждал и перенести не мог. Самым неприятным было, что его не поняли и не поддержали Пец и Корнев, люди, которых он ставил наравне с собой.

В последующие два дня Юрий Акимович развил бурную деятельность: побывал на площадках, во всех бригадах монтажников и отделочников, разрешил — даже с походцем на будущее — их вопросы, недоумения, претензии. Он вникал и в другое: часами просиживал в кинозале лаборатории Любарского, где прокручивали первые ленты о Меняющейся Вселенной, разок поднялся с Варфоломеем Дормидонтовичем в аэростатной кабине, рассматривал в телескоп и на экранах колышущуюся сизую муть, которая порождала, а затем вбирала в себя галактические вихри и звездные фейерверки; прочел рукопись гипотезы Любарского и долго ходил задумчивый. А утром 27 апреля явился к директору и положил на стол заявление: «Ввиду расхождения во взглядах на развитие работ в Шаре, из-за чего был отвергнут мой последний, самый серьезный проект, не считаю возможным продолжать здесь работу. Прошу с 3 мая перевести меня на прежнюю должность заместителя главного архитектора города Катагани. Письмо главного архитектора с просьбой о переводе прилагаю».

Пец был неприятно поражен:

— Послушайте, Юра, это мальчишество. Поклевали вас на совете, вы и обиделись.

— Это не мальчишество, и я не обиделся,— возразил тот.

— Так зачем уходить? Ваш проект не отвергнут начисто. Я ведь говорил, что мне нравятся циклы регенерации, энергетика, вихревой ввод... Там куча интересных решений, дойдет дело и до них, дайте срок!

— Не дойдет дело до них, Валерьян Вениаминович, не будете вы ни АЭС наверху строить, ни зону реконструировать. И вообще, архитектор — во всяком случае такой, как я,— вам теперь ни к чему.

— Это почему? — поднял брови Пец.

— Потому что... видите ли, я в самом деле, увлекшись проектом, оторвался от нашей быстротекущей жизни, много проглядел, а теперь наверстывал. Особенно мне хотелось понять, почему даже люди, напиравшие на то, что жизнь в неоднородном пространстве-времени нормальна и естественна, а обычная лишь частный случай ее... почему они отвернулись от проекта, который это и выражал? Другие — ладно, но вы, Валерьян Вениаминович, вы!..— В голосе архитектора на миг прорвалась долго сдерживаемая обида; но он овладел собой.— Впрочем, все правильно. Это нам казалось, что мы осваиваем Шар для ускоренных испытаний, исследований и разработок. На самом же деле мы карабкались вверх, чтобы увидеть и понять эти...— Юрий Акимович мотнул головой к потолку,— звезды-шутихи и галактики-шутихи. До проектов ли теперь! Теперь башня лишь бетонная кочка, с которой можно, поднявшись на цыпочки, заглядывать в МВ. Кому важна форма кочки? Держит — и ладно. Предрекаю вам, что скоро лаборатория МВ подчинит себе все.

— Ну, это вряд ли — хотя новая, и особенно т а к а я область исследований потребует изрядно времени и сил. Но какие масштабы открываются, Юра, какие перспективы! Вы ведь знакомы с нашей спецификой: наперед предсказать все трудно, но... может и так повернуться, что Шаргорода вашего окажется мало.

— Это масштабы не для архитектора,— Зискинд встал.— А перспективы... вам, конечно, виднее, Валерьян Вениаминович, советовать не дерзаю — но мне от этих перспектив почему-то сильно не по себе.

И Корнев был поражен, узнав, что Зискинд увольняется, примчался в его кабинет в АКБ:

— Юра, что вы затеяли, верить ли слухам? О другом я бы подумал, что мало зашибает, стал бы совращать прибавками... но вы же человек идеи, я знаю. В чем дело? Неужели выволочка на НТС так вас сразила?

— Александр Иванович, только не пытайтесь на меня влиять,—

поднял руки архитектор.— Вы правы, я человек идеи — и ухожу по идейным соображениям.

— Я и не пытаюсь, просто мне как-то грустно, тревожно: Юрий Зискинд, один из основателей и столпов нашего дела, бросает его... Что же тогда прочно в этом мире? Поделитесь вашими идейными соображениями — может, и я проникнусь и уйду.

— Вы не уйдете, Саша, вам незачем уходить: все идет по-вашему.

— По-моему, вот как! А если бы шло не по-моему, я бы уволился?

— Александр Иванович,— Зискинд передвинул стул, сел напротив главного инженера,— мы с вами одного поля ягоды: мастера дела, любители крупного интересного дела, рыцари дела, можно сказать. Давайте напрямую: если бы вашим занятием было проектирование и строительство, разве вы не сочинили бы сверхпроект типа Шаргорода?

— М-м... не знаю.

— Не хотите согласиться, потому что ваше дело не проекты, а Шар и башня: гнать все вверх, осваивать, подчинить своей мысли и воле как можно больше. Валерьяна Вениаминовича судить не берусь, у него цель может быть обширнее, с креном в познание,— но у вас, Саша, именно такая. И мой совет (вы его не примете, но хоть запомните): не стремитесь туда, в ядро, в МВ. Гоните вовсю прикладные исследования, осваивайте Шар... но к мерцающим галактикам вам лучше не соваться. Как и мне.

— Почему?!

— Да и потому... не знаю, смогу ли передать чувства, какие вчера испытал, когда видел на экранах и в натуре эти светлячки — и вдруг понял, что они такие миры, как и наш! — Юрий Акимович заволновался, говорил сбивчиво.— И... чирк — и нет, растворился в темноте. Понимаете, это знание не для нас!

— Вот тебе на! А для кого?

— Ну... может быть, для тех, из Шаргорода, из десятого поколения. А то и из сто десятого.

— А нам что же, почву для них унавоживать? Нет, хватит.

Они сидели друг напротив друга — два южанина, два крепких парня, знающих и любящих жизнь.

— И эта гипотеза Любарского,— продолжал Зискинд,— жизнь, мир — турбуленция, вихрение на потоке времени... и все?

— Юра, разве это первая гипотеза о происхождении миров?

— Нет, все прежние были не то: там через химию, излучения, поля, частицы... сложно. И всегда оставалась приятная уму лазейка, что оно, может, и правильно, но правильно в том смысле, чтобы выучить, сдать экзамен, получать стипендию — а к жизни мало касаемо. Планеты и звезды одно, а мы, люди,— совсем другое. А здесь выходит, что все одно: и галактики, и атомы, и человек. Теперь ему не отвертеться.

— Ну, Юра, знаете!.. А надо отвертеться? Надо вилять, прятать голову в песок от факта, что мы — материя, что мир наш конечен, смертен? По-моему, это немужественно. И вы, получается, уходите... или, прямо сказать, даете тягу — от возможного разоблачения иллюзий? Пусть серьезных, но ведь все-таки з а б л у ж д е н и й — так, Юра?

— Мне нравится моя жизнь, Саша,— помолчав, тихо сказал Зискинд,— такая, как есть, со всеми ее иллюзиями. В этой жизни с иллюзиями я занимаю неплохое место. И вы тоже. Неизвестно, каково это место на самом деле, в жизни без иллюзий. И ваше — тоже. Вы напрасно храбритесь. Хотел бы ошибиться, но боюсь, это знание больно вас ударит.

— Возможно, и ударит,— согласился Корнев.— Но альтернатива-то какая? Дожить до пенсии, до хорошей пенсии, а потом ходить на рыбалку... и все?

Архитектор молчал.

Александр Иванович посидел еще несколько секунд, подоил нос, поднялся с широкой американской улыбкой, в которой на этот раз не было веселья:

— Нет, Юрий Акимыч, видно, не одного мы поля ягоды. А жаль, очень жаль!

Но ему не было очень жаль.

Начкадрами настаивал перед директором, что по законам перевод Зискинда можно оттянуть на недели, а с учетом его важного положения и на месяцы.

Но Валерьян Вениаминович вспомнил, как он выдворял из Шара нежелательных работников, и посовестился. Насильно мил не будешь. Да и чувствовал он в этой истории какую-то свою вину: не смог сопрячь одно с другим, МВ с Шаргородом, уступил обстоятельствам, стихии... дал слабину.

И два дня спустя Юрий Акимович покинул институт. На прощание он подарил хорошую идею: есть Министерство строительных материалов и конструкций, которое много отдало бы, чтобы узнать в течение года (а лучше бы раньше), как их новые материалы и конструкции поведут себя в сооружениях лет через двадцать — пятьдесят — сто... Корнев, услышав, чуть не подпрыгнул: и как прежде не сообразил! Наилучшее решение строительных проблем: министерство не только обеспечивает материалами и конструкциями, но и специалистов-разработчиков пришлет, денег даст, если надо. «Юра, и теперь, когда рутинные дела посредством вашей идеи будут решены, когда развяжутся руки для творчества, вы?!» — «Александр Иванович, пусть они развяжутся у кого-то другого»,— ответил тот.

Толчея идей, толчея людей; кто-то приходит, кто-то уходит... турбуленция.

ГЛАВА 16

ГОРА И МАГОМЕТЫ

Грешить, злодействовать, а равно и делать добро или совершать подвиги надо без натуги. А если с натугой — то лучше не надо.

К. Прутков-инженер. Мысль № 77.

I

Войдя этим майским утром в приемную, Корнев заметил, как Нюся при виде его быстро задвинула ящик стола и выпрямилась.

— Та-а-ак! — зловеще протянул Александр Иванович, приближаясь к секретарше; та покраснела.— Читаем художественную литературу в рабочее время. Ну-ка? Про любовь, конечно?

— И вовсе не художественную и не про любовь,— Нюся открыла ящик, выложила книгу.— Не до любви.

— А!.. «Теория электронно-дырочного перехода в полупроводниках». Понимаю, вы ведь у нас вечерница. Ну, это можно и не прятать, Нюсенька, читайте открыто, разрешаю не в ущерб делам. Повышение квалификации сотрудников надо поощрять. Когда экзамен?

— Сегодня.

— Кровавая штука эта «теория перехода», как же, помню. Дважды сам срезался, пока сдал... а уж сколько я потом на ней невинных студенческих душ загубил — и не счесть! — День только начинался, настроение у Корнева было отличное, Нюся ему нравилась — он придвинул стул, сел возле.— Пользуйтесь случаем, Нюсенька, лучшего консультанта вы в Шаре не сыщете. Над чем вы корпели?

— Да вот...— Оживившаяся секретарша раскрыла учебник из закладке.— Это электрическое поле в барьере — не пойму, откуда оно там берется без тока?

— А... ну, это просто: по одну сторону барьера высокая концентрация свободных электронов, по другую — «дырок». В своих зонах они электрически уравновешены с ионами, поля нет. Но концентрация свободных носителей заряда не может оборваться резко — вот они и проникают за барьер, диффундируют... ну, вроде как запах, понимаете? — Нюся старательно тряхнула кудряшками.— А проникнув, становятся скоплениями зарядов: электроны — отрицательного, «дырки» — положительного. Между ними и поле... Здесь, главное, надо уметь пользоваться этим соотношением,— главный инженер отчеркнул ногтем в книге формулу «$n \times p = const$»,— означающем... что?

— Что произведение концентраций электронов и «дырок» в каждом участке полупроводника постоянно,— отрапортовала та.

— Истинно. Из него все и вытекает...— Александр Иванович вдруг с особым вниманием взглянул на это соотношение.— Похоже на соотношение Пеца, на его закон сохранения материи-действия, скажите, пожалуйста!

— А почему это поле меняется от внешнего напряжения? — спросила Нюся.— То расширяется, то сужается?

— Это не поле меняется, а барьер сопротивлений. Барьер! — Корнев поднял палец.— Это запомните, Нюся, на этом часто горят. Когда к переходу приложено напряжение в «прямом направлении», толщина барьера уменьшается, когда в «обратном» — увеличивается, и весьма сильно... Постой, а ведь и в самом деле,— он сбился с тона,— при одной полярности барьер растягивается от напряжения, а при другой... уменьшается! Вот это да! Ой-ой! Как это я раньше-то не усек?..— Он глядел на секретаршу расширившимися глазами.— Вон она, идея-то! Где Вэ-Вэ?

— В координаторе,— Нюся смотрела на него с большим интересом.

— В координаторе...— в забытьи бормотал Корнев, поднимаясь со стула; он побледнел.— И соотношения похожи. У нас ведь тоже барьер, переходный слой с полями... Нюся, вы — гений!

Он взял голову секретарши в ладони, крепко чмокнул ее в губы, выбежал из премной. Нюся сидела, ничего не понимающая и счастливая, все еще чувствуя горячие губы Корнева и уколы от его щетинок.

Валерьян Вениаминович, сидя на повернутом спинкой вперед стуле перед экранной стеной, предавался необходимому по утрам занятию — вживался в образ башни. Все знали, что в эти минуты его отвлекать не следует.

— Вэ-Вэ! — услышал он вдруг голос и почувствовал на плече руку Корнева — и по жесту этому, по обращению, позволительному только с глазу на глаз, да и то не всегда, понял, что главный инженер в необычном состоянии.— Вэ-Вэ, кончайте смотреть на экраны, смотрите лучше на меня: я нашел! Та-ак...— Корнев огляделся.— Давайте-ка сюда! — Потащил директора и его стул к столу, за которым трудился над программами старший оператор Иерихонский.— Шурик Григорьевич, кыш отсюда! Чистую бумагу оставь.— Тот исчез. Они сели к столу, Александр Иванович нацелился авторучкой на лист: — Значит, так...— Но передумал: — Нет, сначала вы, Валерьян Вениаминович: изложите-ка мне вкратце, но внятно суть вашей теории электрического поля в переходном слое Шара. Я читал, помню, но лучше, если вы освежите. Прежде всего — суще-

ствование этого поля вытекает из вашего знаменитого соотношения, что произведение числа квантов на их величины в равных геометрических объемах постоянно?

— Вытекает.

— Вот и в полупроводниках вытекает! Из «p×n=const»! — Корнев смачно потер ладони.— Ну, объясняйте, я весь внимание.

Пецу очень хотелось объяснить ему не это, а неуместность, даже скандальность такого поведения на виду у сотрудников. Но — облик Александра Ивановича дышал уверенностью, довольством собой, какой-то счастливой озаренностью; видимо, он и вправду что-то нашел. И Валерьян Вениаминович придвинул лист бумаги, принялся чертить на нем графики, писать символы — объяснять. Сначала сухо, с оттенком вынужденности, но постепенно увлекся: нетривиальный вывод, что в неоднородном пространстве-времени появляется без внешних зарядов (от знаменателя формулы) электрическое поле, был, как мы отмечали, его тайной гордостью.

— Та-ак!..— нетерпеливо приговаривал Корнев, ерзая на стуле.— Ага, значит, чем круче градиент, изменение величин квантов с высотой, тем сильнее поле. Вот и в полупроводниковом переходе — чем резче меняется концентрация примесей, тем сильнее напряженность...

— И что же? — не выдержал Пец.

— А то, майн либер Валерьян Вениаминович, что должно быть в НПВ справедливо и обратное: чем сильнее поле, тем круче сделается градиент величин квантов. Ведь как в полупроводниковом диоде? Если приложить обратное напряжение, барьер расширится... Уподобим барьер неоднородности в Шаре таком p-n-переходу. Только нам надо наоборот: чтобы от приложения внешнего напряжения он сужался...

— То есть не как в диоде? — Валерьян Вениаминович ничего не понимал.

— Да... то есть нет... то есть... ага!..— Корнев сбился, в недоумении поднял брови.— Гм... нет, диод здесь ни при чем.

— А что при чем?! — Пец начал сердиться.

— Э-э... м-м... понимаете, Валерьян Вениаминович, я ведь, собственно, о том что... ну, это поле Шара — оно ведь не космической напряженности, а так себе...— Александр Иванович окончательно утерял нить и мямлил, выкручивался, лишь бы спасти лицо.— Н-ну, как и у атмосферных объектов таких размеров... геометрических, я имею в виду. Грозовая туча может нести такое же поле. А напряженности в них куда выше бывают, молнии получаются.

— Так что?

— Ну и...— Корнев в отчаянии ухватил нос, отпустил.— Ничего. Мне показалось...— Вильнул глазами, уводя их от спокойно-

негодующего взгляда директора.— Сорвалось. Я пойду, Валерьян Вениаминович?

— Минутку,— тот огляделся, понизил голос.— Послушайте, Саша, вы только, пожалуйста, не повредитесь на этой проблеме. Я вас очень прошу. Вот и Зискинд ушел. С кем я работать-то буду?

— Хорошо, Валерьян Вениаминович, я постараюсь,— смиренно ответил увядший Корнев.— Так я пошел.

И он удалился, необыкновенно сконфуженный и раздосадованный: так срезаться! А ведь была идея, была! Рассчитывал, что по пути до координатора она оформится, а вышло наоборот: растряс. Надо же!

II

Пец после его ухода вернул стул к экранной стене, сел в прежней позиции, положив руки на спинку стула,— но глядел на экраны, ничего не видя. Он был расстроен. «Ну что это такое: главный инженер солидного НИИ, орденоносец... Страшнов недавно говорил, что надо на второй орден представлять, да и есть за что,— а как мальчишка! Примчался, нашумел, оператора с места согнал. И, главное, не продумал идею как следует, а пытался внушать. Полупроводниковый p-n-переход... ну при чем здесь, спрашивается, то соотношение — произведение концентраций! — к моему? Нашел сходство, эва... Да в теориях навалом случаев, когда произведение величин постояннее сомножителей, это основа взаимосвязи. И поле в диоде... что у него общего с полем в Шаре, оно ведь от совсем других причин! Объяснил: если приложить напряжение, барьер расширяется — это он барьер сопротивлений имел в виду. А нам надо, чтобы он сужался, в том вся и загвоздка, молодой человек... О господи!» — Валерьян Вениаминович едва не подпрыгнул на стуле. Мысль оформилась в мозгу так отчетливо, будто кто-то произнес ее громким голосом: «Да ведь потому тот барьер и расширяется, что там поле обычное, а твое, которое «от знаменателя», будет сужать барьер!»

...Он влетел в приемную, спросил Нюсю голосом, каким кричат о пожаре:

— Корнев! Где Корнев?!

Та вскочила и с испугу — она вообще побаивалась директора, а сейчас лик его его впрямь был ужасен — не смогла и слово молвить, только помахала рукой на дверь корневского кабинета; там, мол, там. Валерьян Вениаминович ринулся туда. «Чего это они сегодня как с ума посходили?» — подумала Нюся, оседая.

Главный инженер сидел на краю стола, болтая ногой, вспоминал: что же это мелькнуло в голове, заставило броситься к Пецу —

и пропало, будто посмеялось. Когда в дверях появился Валерьян Вениаминович, то он — по лицу директора, торжественно-ошеломленному, по его резвым, молодым каким-то шагам — понял: есть, тот сообразил все. И возликовал. Но Корнев не был бы Корнев, если бы тотчас не взял реванш:

— Нет-нет, Валерьян Вениаминович, не надо так смотреть! — тревожно и предупредительно двинулся он навстречу.— Успокойтесь, все будет хорошо, не надо так переживать, увлекаться идеями и проблемами... а то еще осиротите нас. Позвольте-ка вас сюда, в кресло, не нужно ли воды? Не думайте ни о чем, расслабьтесь, сейчас это у вас пройдет...

— Э-э, злодей-мальчишка! — оттолкнул его тот.— Не пройдет, если мне что приходит в голову, так это прочно, не как у некоторых. Где у вас доска? — Корнев отдернул штору на боковой стене, обнажил черный прямоугольник.— Мел есть?..— Валерьян Вениаминович снял пиджак, зашвырнул его в кресло, закатал рукава. Глянул на Александра Ивановича с видом человека, у которого перехватило дух: — Ну, Саша, если мы это сделаем...— Он не закончил, но у Корнева тоже перехватило дух.

...И неважно было, не имело значения, кто да какую фразу сказал, кто начертал на доске ту или иную формулу, линию, цифру. Они были сейчас будто один человек — одно мыслящее существо. Идея, когда ее четко сформулировали, оказалась настолько простой, что стало понятно, почему они долго не могли к ней прийти, кружили вокруг да около: *если изменение величин квантов в пространстве создает поле, то полем можно перераспределять величины квантов.* Двенадцать слов — и лишние только запутали бы дело.

— Даю название: регулировка пространства-времени. Не приближение или удаление, не замедление — регулировка, невинное занятие.

— *Неоднородного* пространства-времени.

— Да-да... Давайте прикинем на местности. Имеется, стало быть, барьер неоднородности, отделяющий нас от МВ, от ядра Шара, толщиной в физические мегапарсеки, а геометрически — сотня метров. Задача простая: чтобы он в нужном месте...

— ...над башней.

— ...утончился до... ну хотя бы до сотен физических километров. В сравнении с дистанциями в МВ это ничто. Поскольку для физических расстояний важны не величины квантов, а их число, то его и надо уменьшить здесь...

— ...создав более крутой градиент. Чтобы до величин, что имеют кванты действия в ядре, переход здесь сделался куда круче и короче. Прокол.

— По данным Мендельзона, напряженность электрического

поля во внешних слоях Шара доли вольта на километр высоты. Небольшая, мы ее и не замечаем...

— Очень большая! Мы можем манипулировать с напряжениями в миллионы вольт, самое большее — в десятки миллионов. Ну, сумеем так убирать... сокращать — дистанции в сотни миллионов километров? В космических масштабах это — тьфу!

— Не забывайте, что в глубинах ядра все выходит на однородность. Стало быть, чем ближе к МВ, тем градиент кванта меньше... и теми же приращениями поля можно будет убирать-сокращать многие парсеки, а то и килопарсеки.

— Ага, в этом спасение! Значит, не попусту я молол языком, что по запасу электричества грозовая туча соперничает с Шаром?

— Да... и пустим через трансформатор.

— Не понял?

— Ну, анекдот такой: давится человек в московском ЦУМе в очереди неизвестно за чем, соображает: «Если э т о большое — ушьем, маленькое — растянем, электрическое — пустим через трансформатор...»

— Хм... ситуация похожая. Только мы знаем, что э т о электрическое и через трансформатор его нельзя. Поле-то постоянное!

— Как же мы добудем такие напряжения?

— Генераторы Ван дер Граафа. До миллиона вольт статического напряжения на каскад... То-то обрадуются в моем родимом Институте электростатики, когда мы у них закупим это старье!

— А каскадов может быть много?

— Сколько потребуется, лишь бы места хватило. Прикинем конструкцию. За основу берем нашу аэростатную кабину. Вообще, все будет висеть на воздусях, но поскольку выше семисот метров атмосфера в Шаре идеально спокойна, аэростаты должны держать не хуже бетона, согласны?

— М-м... не знаю, но от них все равно никуда не деться. Не спешите с конструкцией, надо сначала хорошенько оседлать электрическую идею. Тогда, если и получится шатание в аэростатах или в чем-то еще, всегда сможем подрегулировать полями.

— Справедливо. «Чтоб решение простое дать техническим проблемам, относитесь к ним, как схемам из задачника по ТОЭ». Не слышали эти стишки? Профессор Перекалин начинал у нас ими чтение курса теоретических основ электротехники. Так и будем: нет никаких Событийных Вселенных, галактик, Шара — схема из задачника по ТОЭ. Вот такая: генераторы на крыше, напряжение от них подается по разнесенным кабелям на... на электроды — с их формой придется экспериментировать — размерами эдак в десятки метров. Кольцевые, скорее всего, с сегментами... Они и будут убирать пространство перед поднимающейся кабиной... Два-три каскада по миллиону вольт и...

— И чепуха выйдет.

— Кто это говорит?! Послушайте, Вэ-Вэ, вы ведь не электрик.

— Все равно чепуха, хоть я и не электрик. Смотрите: этими электродами мы создадим перед кабиной предельно крутое распределение квантов, проколем барьер в пространстве. А время? Разница в течении времени будет определяться отношением величин квантов в МВ и в кабине. А оно останется огромным! Звезды и галактики на уменьшенной дистанции будут проскакивать, как курьерский поезд перед носом стрелочника. Ничего не разглядишь. Стоит ли огород городить?

— А и верно... «Чтоб решение простое дать техническим пробле...» Ага, есть! Золото у меня директор, все замечает, пропал бы я без такого директора. Все просто: кабину надо помещать м е ж д у двумя кольцами электродов! Нижние электроды выталкивают кабину в область микроквантов и тем регулируют темп времени, а верхние убирают пространство над ней. Слушайте, да мы сможем такой наблюдательный сервис навести, что лучше не бывает: отдельно время регулируем, отдельно пространство, а!

— Разорвет кабину между электродами, неоднородность же страшная. В пыль разнесет, на атомы...

— Не без того, что может и разнести, верно. Надо... надо предусмотреть вокруг кабины систему выравнивающих электродов. Такую, знаете, электрическую колыбельку. Капсулу...

— Не вокруг, а жестко связать их с платформой кабины.

— Да, пожалуй, так лучше... Но вы чувствуете, Вэ-Вэ, к чему мы пришли: немеханическое перемещение тел! Пешеход приближается к городу Б, не удаляясь от города А.

— Гора идет к Магомету.

Внизу за время их диалога в зону въехали четыре машины. Вверху темное микроквантовое пространство-время не раз слепило из себя блистающие диски галактик, выделило из них огненные мячики звезд, поигралось и растворило все во тьме. А они все теснились у доски: «Нет, Вэ-Вэ, не так, вот дайте-ка...» — «Нет, лучше так...» — отнимали друг у друга мел. А когда получалось удачно, хватали один другого за плечо, толкали в бок, смеялись — два комочка материи, чрезвычайно довольные, что эту самую материю удается крупно облапошить.

Идея — была!

III

Научный прогресс движет не только воображение, но порой и его отсутствие. Если бы Пец и Корнев с самого начала могли представить, сколько от исходной идеи полевой регулировки НПВ возник-

нет сложнейших дел, сколько раз от кажущихся неразрешимыми частных проблем им будет мерещиться, что все рухнуло, работа делалась напрасно... да и сколько самой работы-то будет! — эта громада, несомненно, подавила бы их мысли и энтузиазм; и не бывать бы проекту ГиМ (Гора и Магометы), не воплотиться ему в металл. Только то и выручало, что последующие проблемы становились заметны с холма решенных предыдущих,— ничего не оставалось, как карабкаться на новый холм.

Это всегда выручает, движет всеми нами: больше пройдено, меньше осталось... Меньше осталось! Как будто может остаться м е н ь ш е в соревновании конечного с бесконечным.

ТРИ АКСИОМЫ КОРНЕВА: 1) У нас достаточно места, чтобы сделать все как следует; 2) у нас достаточно времени, чтобы сделать все как следует; 3) (появлению ее предшествовал визит в Шар представителей Министерства стройматериалов и конструкций, во исполнение той прощальной идеи Зискинда: их она тоже пленила, они на все согласились, все обещали — уж когда везет, так везет): у нас достаточно средств, чтобы сделать все как следует.

...Прав оказался мудрый Зискинд, молодой, да ранний Юрий Акимович: не для архитектурных совершенств предназначалась башня, не для технической и коммерческой выгоды — хотя возводили ее, казалось, для этого. Но и неправ, скажем это, забегая вперед, оказался Юрий Акимович на все 100%: стоило, очень стоило ему не пороть горячку, дождаться возникновения новых идей в Институте — хотя бы только этой одной.

Всю следующую неделю НИИ НПВ лихорадило как никогда. И Бугаев не мог пожаловаться на Альтера за сбои в грузопотоке или на Люсю Малюту за плохую координацию; равным образом и прораб монтажников товарищ Бражников не мог заявить протест, что прораб высотников товарищ Плотников при попустительстве начплана перехватил материалы, переманил людей и т. п. Претензии негде было высказать, так как научно-технические совещания не собирались; их и не имело смысла высказывать, ибо все делалось по распоряжениям с в е р х у — в прямом и переносном смысле слова: директор и главный инженер всю эту неделю ниже двадцатого уровня не спускались.

Даже жене Пеца Юлии Алексеевне пришлось на эти дни перебраться в башню, на самую верхотуру — кормить и обихаживать супруга, а заодно и всю честную компанию: Корнева, Любарского, Васюка-Басистова, Бурова, Ястребова — стихийно образовавшийся штаб проекта. Многие из часто сменявшихся монтажников и наладчиков не знали, что эта улыбчивая простая женщина — жена их директора, член-корреспондентша, думали, что она для того и находится на крыше, чтобы обращаться к ней по обиходным делам: «Мамаша, как насчет чайку?», «Мамаша, зашейте...» и т. п.

Толчея идей, толчея людей — турбуленция... Грузы неслись наверх. На экранах координатора, показывающих, что делается на крыше, в лаборатории МВ и экспериментальных мастерских, искрилось расплывчатое, трудно поддающееся контролю мельканье. Проектировщики гнали чертежи для двенадцатого — уже! — варианта системы электродов и экранов. Лаборатория моделирования, спешно развернутая в конференц-зале, проверяла в ваннах-бассейнах конфигурации алюминиевых лепестков, отбраковывая девять из каждого десятка.

...Поднимался на крышу, распространяя аромат сигары, Бор Борыч Мендельзон, доказывал весомо, что одними полями они не совладеют с барьерами неоднородностей, слишком широк диапазон величин квантов. Под влиянием его сочинили компромиссный вариант — с механическим перемещением наблюдательной кабины внутри «полевой трубы». Он погиб в расчетах, получалось слишком инерционно для того спрессованного до масштаба «год-микросекунда» времени, с которым предстояло работать.

— Все-таки самым безынерционным прибором является электронная лампа,— задумчиво молвил Толюня, когда мудрили-гадали, как быть.

И — сначала в воображении, затем в расчетах, чертежах и модельных прикидках — начал утверждаться образ полуторакилометровой «электронной лампы» с кольцами и лепестками выжимающих пространство, ускоряющих время, выравнивающих и управляющих электродов и экранов. Только вместо стекла ее ограничивали баллоны аэростатов. Кабина должна была, раз поднявшись, зависнуть в полутора километрах над крышей, а все регулировки времени и расстояний (они уже без содроганий употребляли эти понятия) будут делаться из нее поворотами ручек, нажатием кнопок и клавиш.

...То Варфоломей Дормидонтович начинал смущать народ, что-де они зря не предусматривают заранее возможность поперечной регулировки НПВ — для сноса, слежения. «Верно: и всего-то потребуется легкая система над верхними электродами, несколько дополнительных!» — поддерживал его Буров. «Нет,— осаживал обоих Пец,— сейчас могут пойти в дело только у п р о щ а ю щ и е предложения, а не усложняющие. Прекрасная идея, но... имейте терпение, мы к ней вернемся». Валерьян Вениаминович старался держать вожжи как можно крепче — иначе обилие инициативы понесет, запутает, опрокинет все.

Наконец приступили к сборке. Громоздкие генераторы Ван дер Граафа не умещались на крыше; для них создали кольцевую галерею. Там же разместили станцию зарядки аэростатов. Смонтированные боки электродов цепляли к баллонам, поднимали над башней, где — согласно 1-й аксиоме Корнева — места было доста-

точно. Издали верхушка башни теперь походила на малыша с шариками, собравшегося на первомайскую демонстрацию.

Точность монтажа проверяли пробными включениями, а возросшую неоднородность между электродами — бросанием туда разных мелких предметов. Последнее у работающих на крыше даже превратилось в не слишком корректную забаву: швырнуть вверх, в обведенное белым кругом электродов пространство чью-то (разумеется, не свою) туфлю или пластиковую каску — и в нескольких метрах над головами ее бесшумно разрывало в клочья, затем и клочья — в пыль.

Казалось невозможным, что там под напряжением в миллионы вольт уцелеет кабина и люди в ней.

За земную неделю, которую длилась эпопея создания системы ГиМ, для работавших наверху минуло примерно по году: для творческих работников побольше, для исполнителей поменьше. Биологически и по ЧЛВ — год, а психологически все-таки семь дней, в которые они выполнили громадную интересную работу. Никакими бухгалтерскими комбинациями, ни законными, ни сомнительными, невозможно было оплатить сделанное людьми. Да и счет шел не на заработок, не на производственные заслуги — все были охвачены порывом, чувствовали себя чудо-богатырями. Спроси самых рядовых монтажников, зачем они вкалывают во всю силу, выкладываются, они затруднились бы ответить — настолько само собой разумелось, что если у человека есть мозг и руки, знания и мастерство, то для исполнения таких проектов.

...Пошел последний этап: развертка и свертка. Вся система, увлекаемая аэростатами, вытягивалась на полтора километра вверх, к черному ядру, подергивавшемуся мутью «мерцаний». Выглядела она блистательно и дико — как в предутреннем сне интеллигентного пьяницы, по определению Корнева: сверкали в свете прожекторов конусами сходящиеся в перспективу алюминиевые дуги электродов, стеклянные чаши высоковольтных изоляторов растягивались между ними гирляндами, выстраивались в многоугольные фигуры керамические распорные балки, матово лоснились серые бока аэростатных баллонов, от натяжения капроновых тросов вокруг кабины веерами растопыривались выравнивающие пластины. Извивались, тянулись ввысь, как змеи у факиров, синие толстые кабели; пели лебедочные моторы, выпрастывая канаты; вблизи медных шаров генераторов Ван дер Граафа круто искажалось пространство, шипел тлеющий разряд.

Кабина ушла вверх без людей. Все стояли на крыше, задрав головы. Ястребов покрутил шеей, сказал: «Действительно, не дай бог — приснится...»

И было пробное включение. По мере увеличения поля на нижних электродах кабина вместе с несущими ее аэростатами съежилась

сначала до игрушечных размеров, затем и вовсе сошлась в точку — и исчезла, не удаляясь. Когда поле ослабили, она так же внезапно, за секунды, возникла из ничего, разбухла до прежних размеров, оттесняя баллонами и прозрачными гранями во все стороны чистую черноту пространства.

Все выходило по расчетам.

ГЛАВА 17

«ДЕВЧОНКУ ЗВАЛИ ДЕЗДЕМОНА»

Пьянство — самая распространенная в России форма демократии и социального протеста. Самый распространенный в ней способ борьбы за экономическую справедливость — воровство.

Записки иностранца, XIX век.

I

Все выходило по расчетам, все было правильно: к ядру должна протянуться «электрическая труба». Громадная — из тех, что порождают молнии,— напряженность поля в ней сделает распределение квантов очень крутым и, соответственно, дистанцию до МВ короткой. Внутри «трубы» по пространству-времени будет сновать, не сдвигаясь с места, кабина с наблюдателями... И тем не менее в последний час приготовлений Пец и Корнев избегали разговаривать, даже смотреть друг на друга, чтобы не выдать своих чувств. Оба вдруг утратили уверенность. «Что за нелепость, как это можно убрать пространство — да еще исчисляемое килопарсеками! — подумывал Валерьян Вениаминович.— Теория теорией, но...»

Корнев суетился, что-то проверял, приказывал, прогонял с площадки лишних, шутил и — чего за ним прежде не замечалось — сам первый смеялся своим шуткам. А Пец стоял на краю, смотрел вниз, на дикий пейзаж вокруг башни — с навеки застывшим багровым солнцем, опрокинутыми домами и замершими машинами — и желал лишь, чтобы все скорее осталось позади: успех — так успех, провал — так провал. Никогда он не думал, что может так трýсить.

— Ну,— произнес наконец Александр Иванович шатким голосом,— кто в бога не верует, детей осиротить не боится... прошу! Карета подана.

Сказано это было так, для куража, потому что заранее решили, что в первую вылазку отправятся трое: он, Пец и Любарский.

На площадке у контрольных приборов остался Толюня. Возле

лебедок с инструментами дежурили Ястребов и два его помощника. У оградки на краю крыши стояла Юлия Алексеевна. На кольцевой галерее похудевший, с опавшими щеками Буров хлопотал у генераторов.

Они поднялись в кабину (которая тоже изрядно усовершенствовалась со времени первых путешествий). Любарский занял кресло у телескопа — он, астрофизик, играл по-прежнему роль главного наблюдателя. Пец сел поближе к экранам — ассистировать. Корнев устроился у пульта ПВР — пространственно-временной регулировки; рядом с ним, по правую руку была панель буровского светозвукового преобразователя.

За полчаса, пока развертывалась по высоте система и кабина выходила к верхней отметке, не было произнесено ни слова. Варфоломей Дормидонтович время от времени подавался туловищем к окуляру, смотрел, откидывался к спинке кресла. Пец регулировал настройку на экранах, где клубились в разных участках спектра пятна и мельтешили точки нового цикла «мерцаний». Корнев следил, как по сторонам располагаются электроды и экраны системы ГиМ; вверху они очертили ребристым светлым кольцом круг тьмы с синевой и вихриками, по бокам огородили кабину стеной с продольными прорезями... но воспринимал все с оттенком нереальности, будто телевизор смотрел.

Наконец покачивания прекратились. «Подъем весь»,— молвил Корнев, вопросительно взглянув на астрофизика. Тот нагнулся к окуляру: по известным ему признакам он хотел выбрать «вихрик», который бы дошел до крайней — звездной — стадии галактической выразительности.

Признаками было скорее нарастание яркости и смещение спектров на экранах вправо, к жестким лучам.

— Валерьян Вениаминович,— негромко сказал Любарский,— подстрахуйте меня на правых экранах. Если за секунды переходит от ультрафиолета на ближний рентген, это — кандидатура.

Минут пять сосредоточенного молчания.

Только Корнев нетерпеливо поворачивался то к телескопу, то в сторону экранов.

— Эта подойдет? — спросил Пец.

— М-м... нет,— мотнул головой астрофизик,— велика скорость сноса, не угонимся. Надо такую, чтобы шла на нас.

— Долго вы еще будете возиться? — не выдержал Корнев.

— Но мы же не сами их делаем, Александр Иванович,— кротко заметил Любарский.

Пец хмыкнул. Напряжение в кабине спало.

— Ага! — изменившимся голосом сказал астрофизик.— Это, похоже, она. Как у вас, Вэ-Вэ?

— Вижу на всех экранах,— сказал Пец.— Яркость нарастает.

— Давайте помалу, Александр Иванович. Старайтесь больше временем, чем пространством.

— Сейчас...— Корнев склонился к пульту.— Не ошибиться бы для начала. Включаю.

Он медленно вводил напряжение на верхних и нижних электродах. Валерьян Вениаминович почти чувственно представлял, как кабину с ними спрессовываемая полями неоднородность выталкивает, выносит наверх, в микроквантовое пространство, в МВ. И точно: кольца белых электродов, смутно белевшие над куполом, стали быстро расширяться — и сгинули в темноте. Они остались, какими и были, понимал умом Пец, это съежилось пространство-время в н у т р и; кольца теперь охватывают не десятки метров, а миллиарды километров.

Одновременно вверху Меняющаяся Вселенная, вот только сейчас еще представлявшая собою обозримую взглядом область волнующегося светлого тумана с вихревыми вкраплениями, разрасталась во все стороны над куполом, разрасталась величественно и прекрасно. Туман таял, очистившееся пространство открыло головокружительные дали: мириады галактик мерцали и роились там, будто снежинки у фонаря!

Корнев наддал еще — *и вихревое «мерцание» в центре неба,* на которое нацелил кабину Любарский, *стало стремительно надвигаться и расти. Сначала это было вьющееся — блестящей воронкой в черной воде — переливчатое свечение; от него отделился и сносился влево завиток. По мере нарастания-приближения исчезало впечатление потока с круговертями — образ вихря становился трехмерным, застывшим. Вот сплошное свечение его разделилось, начиная от середины, на множество колышущихся и мигающих в сложном ритме черточек: пошла стадия звездообразования. Теперь сверху надвигался пульсирующий звездный шар с размытыми краями, который обнимали три далеко уходящих в черноту, искривленных и нестерпимо блистающих рукава.*

— Временем больше, Саша, временем! — приказывал и молил Варфоломей Дормидонтович.

Тот подбавил поля: черточки наверху из голубых стали белыми, сократились до ярких точек. Вращение вихря прекратилось. *Галактика, трехрукавная спиральная галактика надвигалась на купол из тьмы несчитанными миллиардами звезд, необычным, ни с чем не сравнимым светом озаряя* обращенные к ней лица троих.

— Стоп! — сказал Пец (у него сильно билось сердце).— Что на приборах, Саша?

— Еще не исчерпали и половины возможного: на электродах «Время» по четыреста пятьдесят киловольт на каскад, на пространственных — по пятьсот киловольт. Двинули дальше?

— Давайте,— поддерживал Любарский.

— Только помалу, с паузами после каждой сотни киловольт,— дополнил директор.— И... не более восьмисот на каскад.

Корнев тронул рукоятки, стрелки киловольтметров поползли вправо. Электрические поля наращивали и напрягали незримый «пространственный шприц», который теперь прокалывал почти весь барьер неоднородности. Вне «шприца» физические расстояния от них до башни соизмерялись с галактическими. Кабина в верхнем кончике электрической «иглы» воткнулась в МВ, в Галактику.

Кабина входила в *галактику — и та теряла образ цельного вихря, растекалась во все стороны необозримо. Унеслось влево ее звездное ядро, отмахнул за купол один рукав. Вошли во второй — и развернулось вверху звездное небо,* на первый взгляд чем-то даже подобное видимому над Землей. Как и в обычном небе, здесь тьму разделяла наклоненная и размытая полоса из множества звездных точек: проекция плоскости вихря, здешний млечный путь. Яркие близкие звезды образовали характерные фигуры, хотелось даже поискать среди них Орион, Плеяды, Медведиц, Кассиопею — или, не обнаружив, дать название здешним созвездиям: вот Паук, вон Ожерелье, Ромб, Кленовый Лист, Профиль... Сходство было и в том, что звезды мерцали, меняли цвета от красного на зеленый, от голубого на желтый — будто во влажной послегрозовой атмосфере.

Но так представлялось лишь на первый взгляд. Уже при втором становилось заметно собственное движение звезд, скоплений их и целых участков галактики. Разрушались иллюзорные «созвездия»: выворачивался Ромб, рвалось на части Ожерелье, искажался Профиль; возникали новые характерные группы. Было в этих движениях миров что-то от половодья, от танца закручивающихся друг около друга водоворотиков на стремительной речной глади.

В ритме с движениями звезды меняли цвет и блеск, пульсировали. Точнее, это *галактика пульсировала-играла частями своего громадного тела,* только и видимого наблюдателям благодаря вкраплениям звезд,— *изменения в них, как и движения их, распространялись ветровой рябью по темной воде пространства. Большинство звезд меняли яркость и цвета умеренно, немногие — беспокойно, резко; время от времени ликующими аккордами световой симфонии взрывались в рукавах галактики новые и сверхновые звезды.*

Александр Иванович не удержался, включил звуковой преобразователь Бурова. Слышимое из динамиков гармонично дополняло видимое над куполом и на экранах: ближние звезды вели — каждая свою — скрипичные мелодии с переливами, мириады далеких создавали — комариными дольками писка — аккомпанемент; был в звуках МВ и смущающий душу ропот пространства, и отдаленное аханье, и перекаты, контрабасовый рокот, шорох, гул... Не просто музыка, не оркестр из миллиардов инструментов — проявляла себя звуками другая сторона Вселенского жизнедействия.

И соединение пространственного образа звездного вихря со сложно-ритмичной картиной изменений в нем, видимой и слышимой, давало впечатление простой, ясной и величественной Цельности. Не мертвый поток нес и создавал в турбулентном кипении галактики вихри и струи: было во всех струях, всплесках и колыханиях МВ нечто превосходящее любые течения и волны мертвой субстанции, что-то подчеркнуто резвое, стремящееся выразить себя — ж и в о е. Эти потоки могли течь и в гору, э т и вихри сами могли вовлекать, закручивать в себе окрестную среду.

Да и то сказать: если материя не жизнь, значит она — мертвечина. Середины нет.

Они смотрели, слушали, чувствовали и думали — каждый свое.

«Мне повезло,— думал Любарский,— мне необыкновенно, свински, фантастически повезло. Я не фанатик науки, не жрец и не герой — ученый средней руки. Если кто-то, к примеру, попрет на меня с проработочной рогатиной: дескать, твоя теория вселенской турбуленции вредный вздор, а истинно то, что академики вещают,— я отступлюсь. Ради бога, вещайте... Но вот для того, чтобы не лишиться э т и х наблюдений, чтоб увидеть, как в пространство, будто луна из-за забора, выплывает новая галактика, закручивает в спиральный хоровод рождающиеся в ней звезды, а они накаляются, пульсируют, меняют «вечные» рисунки созвездий,— ради этого я дам отрубить себе руку. Потому что это не просто наука — гораздо большее. Это Истина — не записанная и не сказанная, существующая вечно и просто: возникновением, жизнью и распадом миров. Это то первичное Знание, ради достижения которого возникают цивилизации и живут, сами того не сознавая, люди».

«Я много знаю о материи, о мирах,— думал Пец, чувствуя сразу величие и ничтожество, покой и смятение, торжественность и восторг,— по этой части я, пожалуй, один из наиболее информированных людей на Земле. Но — насколько мало это выраженное в словах и уравнениях, снимках и графиках, воплощенное в статьи, монографии, учебники, энциклопедии комариное знаньице перед прямым видением Жизни Вселенной! И — я не смят, не подавлен. Вот когда впервые понял, что находится в Шаре, был подавлен и унижен,— а сейчас ничего. Потому что мы — достигли: поняли и сделали, пришли сюда. Понять и посредством этого сделать — это и есть разумная жизнь. Теперь величие Меняющейся Вселенной — и наше величие.

...Эта истина жестока, как смерть. Потому что подобно смерти она может отнять у человека все иллюзии, а тем и привязанность к миру. Эта истина сильна, как жизнь. Потому что она и есть Жизнь — часть от части которой наша.

И нам теперь надо... просто необходимо! — уметь встать над жизнью и над смертью».

«Пи-у, пи-у!..— думал Корнев, слушая звучание звезд в динамиках.— Какой простор! Какой необыкновенный простор!..»

Он между тем все увеличивал нижнее поле, приближая время, текущее в кабине, ко времени Галактики. Совсем замедлились собственные движения звезд, сникла голубая составляющая в их блеске, но сами они оставались далекими точками.

— Сколько еще в запасе? — спросил Пец.

— По четверти миллиона вольт на нижних каскадах, чуть поменьше на верхних,— Корнев взглянул на него и астрофизика.— Попробуем? Есть что-нибудь обнадеживающее, доцент?

Речь шла о втором пункте программы: попытаться приблизиться к какой-нибудь звезде до различения ее диска в телескоп.

— М-м... сейчас-сейчас...— Астрофизик приник к окуляру, отсчитывал деления.— Вот эта наискось идет к нам, но... ей еще надо двигаться к нашему, извините за выражение, «перикабинию» тысяч двенадцать лет. В пересчете на наш уровень поменьше, с тысячу.

— Тоже многовато,— сказал директор.

— Теперь для нас это не проблема,— кинул Александр Иванович.— Отступим на семь порядков во времени, через минуту вернемся.

— Только не промахнитесь, упустим,— сказал Любарский.

Повороты ручек на пульте — и *звездное небо свернулось в Галактику, она удалилась, играя струйками звезд-штрихов в себе, меняясь в очертаниях. Рукава вихря приближались к ядру, вытягивались вокруг него все более полого, касательно — и вот замкнулись в эллипс.* Через две минуты Корнев тронул реостаты: *Галактика надвинулась, замедлила вращение, разделилась на звезды и темноту.*

— Вот! — торжествующе сказал Варфоломей Дормидонтович.— Первая после Солнца!

В защищенном фильтрами окуляре телескопа он видел белый шарик. Шарик вращался, края его слегка колебались; по диску проходила рябь глобул. На левом краю возник огненный гейзер-протуберанец.

— Эх... нестабильно все-таки, нечетко,— жадно сказал астрофизик.

Валерьян Вениаминович смотрел на экраны, где плясала синебелая горошина, без подробностей, потом взглянул вверх. Над куполом сияла, подавляя своим светом все окрестное, голубая звезда. «Как Венера после заката»,— подумал он.

Это была первая после Солнца звезда, чей диск увидели люди.

— Есть запас в сотню киловольт,— сказал Корнев.— Придвинемся еще?

— Не вижу смысла: нечетко, шатко,— покачал головой директор.— Возвращаемся.

...И только когда кабина приблизилась к крыше, спохватились, что не включили ни кино-, ни видеокамеры. И в голову никому не пришло! «Вот они, эмоции-то! — Пец недружелюбно покосился на Буровский преобразователь.— Когда-нибудь я эту штуку сломаю...»

II

Кабина опустилась на крышу, они вышли. Первой к Валерьяну Вениаминовичу подошла жена:

— В чем дело? Что-нибудь испортилось?

И он не сразу сообразил, почему она так решила: по времени крыши они отсутствовали три минуты.

Ястребов приблизился к Корневу:

— Ну, Александр Ива, все в порядке? И что ж оно там наверху?

— Как что? Что и предполагали: галактики, звезды, Вселенная!

Механик странно посмотрел на него, отошел.

Дело было сделано — самое крупное из дел Института.

— Послушайте, граждане,— Корнев обнял нос ладонью, исподлобья оглядел стоявших на площадке,— кто кого, собственно, держит канатами: мы Шар или Шар — нас?

— Правильно, Александр Ива, одобряю! — как всегда, с ходу понял идею Ястребов.— Грех не отметить.

— И расслабиться,— сказал Любарский.

— И вздрогнуть,— уточнил Буров.

И они всем штабом двинулись вниз, а оттуда двумя машинами в тресторан при интуристовской гостинице «Stenka Razin». Только Юлия Алексеевна уклонилась, ее подбросили домой.

...Оказывается, уже началось лето. Отцветала сирень в скверах, все улицы были в сочной зелени. И небо, которое они привыкли видеть у себя под ногами, мутно-желтой полосой вокруг зоны, оказывается, было голубым и огромным; в нем сияло, склоняясь к закату, жаркое неискаженное солнце. По тротуарам и бульварным аллеям шли загорелые люди; женщины были в легких платьях. Ветерок шевелил их волосы, ткани одежд, листья деревьев, воду в реке — ветерок! Они и не думали, что по нему можно так соскучиться.

Они были похожи на сошедших на берег после долгого плавания моряков — после полярного плавания, стоило бы уточнить, взглянув на их бледные лица. В ресторане все как-то сначала застеснялись блистающего великолепия сервизов, белых скатертей, сюрреалистического мозаичного орнамента вдоль глухой стены, величественных официанток. «Ну, граждане, одичали мы, надо скорей поддать,— сказал Корнев.— Шесть бутылок коньяку, девушка, да получше. И все прочее соответственно». И официантка сразу будто осветилась изнутри от доброжелательности.

И верно, когда поддали, закусили, еще поддали — захорошели, освоились, отошли.

Коньяк был отличен, едва вкусна, жизнь великолепна — ибо они создали и победили!

— «И внял я неба содроганье!..» — возглашал, подняв на вилке ломоть осетрины, порозовевший Любарский И тут же, сменив тему, напал на Корнева: — Между прочим, драгоценнейший Александр Ибн-Иванович, тот маневр-отступление не понадобился бы, если бы послушались меня и сразу установили отклоняющие электроды. Тогда бы наша «полевая труба» изгибалась и достигала намеченного объекта с р а з у!.. А если сверху пристроить еще каскад электродов — на предмет образования ими «пространственных линз»...— он сделал паузу, поглядел на всех со значением,— то и видели бы мы все куда четче и крупней!

— Вот народ, вот люди! — весело качал головой главный инженер и наполнял рюмки.— Не успели одно сделать... и ведь какое одно! — им уже мало, подавай другое. Дайте срок, Бармалеич, сделаем отклоняющие и эти... кхе-гм! — на предмет «пространственных». Толюнчик, а? Буров? Сделаем?

Те поднимали рюмки, обещали. «А что...— мечтательно щурился Буров,— раз там звезды, то при них должны быть и планеты. А на планетах и цивилизации, а?» — «За контакт с братьями и сестрами по разуму!» — возглашал быстро хмелеющий Любарский. «Нет, но как же вы запись не включили?! — возмущался, отодвинув рюмку, Анатолий Андреевич.— Сами поглядели — и все. Эгоисты!» — «Забыли,— горячо говорил Корнев,— просто затмение нашло. Да не огорчайся, Толюнчик, нашел из-за чего! Еще наглядишься и наснимаешь, сколько захочешь».— «Нет, но самое-то первое... это же история!» Выпили и за историю.

«Валерьян Вениами...— склонился на другом краю стола к директору раскрасневшийся Ястребов,— а помните, как вы меня с кабелем завернули? Как мне было стыдно, ой-ой! С тех пор, не поверите, гвоздя ржавого не тронул».— «Что ж, это хорошо»,— похвалил его раскрасневшийся Пец. «Валерьян Вениами...— наклонился еще ближе механик.— Хоть вы мне скажите: что там такое наверху? Александра Иваныча спросил, так он какую-то, я извиняюсь, несуразицу сплел: звезды, говорит, Галатики...» — «Отчего несуразицу? Он правильно сказал». Ястребов отодвинулся и очень выразительно обиделся: «Нет, ну, может, мне нельзя-а!? Так прямо и скажите: секретно, мол. Я человек меленький, делаю, что велят. А зачем насмешки строить!?» Валерьян Вениаминович принялся доходчиво объяснять, что в ядре Шара именно Галактики и звезды — как в обычном небе. Герман Иванович выслушал с недоверчивой улыбкой, спросил: «Ну, а это зачем?» — «То есть как зачем?» — опешил Пец. «Ну, ускорение времени и большие пространства в малых

объемах — это я понимаю: работы всякие можно быстро делать, много площадей, места... А звезды и галактики — их-то зачем?..» Из дальнейшего разговора выяснилось, что славный механик и бригадир был искренне уверен, что Шар не стихийное явление, а дело рук человеческих. Оказывается, среди работников башни эта версия популярна, расходились только в месте и характере предприятия, выпускающего Шары: одни утверждали, что это опытный завод в Казахстане, другие — что СКБ в Мытищах под Москвой.

А потом разогретые эмоции перестали вмещаться в слова, потребовали песни. Для начала грянули могучими (как казалось) и очень музыкальными (как казалось) голосами «Гей, у поли там женци жнуть...». Ревели, заглушая оркестр, который наигрывал для танцующих, про казацкую вольницу, про гетмана Дорошенко, что едет впереди, и про бесшабашного Сагайдачного, «що проминяв жинку на тютюн та люльку — необачный!»

«Мэ-ни з жинкой нэ возыться»,— вел баритоном Корнев.

— «...мээ-нии з жинкой нэ возыться-аа!» — ревели все.

И все, даже смирный многосемейный Толюня, были сейчас убежденные холостяки, гуляки, сорвиголовы; и дымилась туманом вечерняя степь, загорались над ней, над буйными казацкими головами звезды — звезды, которые из века в век светят беспокойным людям. Подошел администратор, дико извиняясь, предложил либо прекратить пение, либо уйти. «А то интуристы нервничают».

— А, мать их, ваших интуристов,— поднялся первым Корнев.— Пошли, ребята, на воздух.

...Они шли парком, по набережной Катагани: Корнев (баритон) и Витя Буров (молодой сексуальный бас) посередине, Любарский со сбитым набок галстуком и Васюк возле них, Пец и Ястребов по краям. На воздухе всех почему-то потянуло на студенческие песни: «Если б был я турецкий султан...», «Четыре зуба», о том, «что весной студенту не положено о глазах любимой вспоминать». А был как раз конец мая, время любви и экзаменов; под деревьями смутно маячили пары. И они чувствовали себя студентами, сдавшими экзамен.

Ах, вы, грусть моя, студенческие песни! Давно я вас не пел, давно я вас не слышал. Видимо, вытеснили, задавили вас шлягеры развлекательной индустрии. Наверное, и вправду вы не дотягивали в сравнении с ними до мировых стандартов — ни в ритмах, ни в оркестровке, ни в мелодиях: вас сочиняли наспех перед зачетами и исполняли натощак перед стипендией. Но все-таки — ведь было что-то в вас, песни мои, было, раз память о вас до сих пор томит сердце! Где ты, лефортовское общежитие, шестой этаж, бутылка наидешевейшего вина на фанерном столе, влажная ночь и вопли из корпуса напротив: «Да угомонитесь же вы, наконец, черти!..» Где ты, молодость?

Вот и Валерьяна Вениаминовича сейчас размягчили воспоминания о его студенческой поре. Жаль только, песни тогда пели иные, эти, поздние, их и не знают — ни «Гаудеамус игитур», ни «Сергей-поп»... А те, что они поют, не знал он. («У меня для этой самой штуки-штуки-штуки,— залихватски выводил Корнев,— есть своя законная жена».) Васюк, Буров и даже старый хрен Дормидонтыч — все подхватывали, бойко вторили... А Пец, не зная ни слов, ни мотива, маялся. Он подмугыкивал, подхватывал обрывки припева — но это было не то. Душа томилась, душа рвалась в песню, душа хотела молодости!

Отелло, мавр венецианский,
один домишко посещал,—

завел новую Корнев. («Ага,— воспрянул Валерьян Вениаминович,— эту я слышал, помню. Про папашу там...»)

Шекспир узнал про это дело
и водевильчик написал.
Девчонку звали Дездемона,
лицом — как полная луна.
На генеральские погоны,
знать, загляделася она...—

голосили все, и Пец начал неуверенно подтягивать.

Папаша, дож венецианский,—

вел дальше Александр Иванович («Вот оно, ага, вот!» — радостно затрепетало в душе Пеца.)

любил папаша...

И тут Валерьян Вениаминович хватил в полную силу медвежьим голосом:

...г'эх — пожрать!!!

И несмотря на то, что дальше шли замечательные, свидетельствующие об интернациональных чувствах безымянного автора песни слова «любил папаша сыр голландский «Московской» водкой запивать»,— дальше уже не пели. Васюк-Басистов и Ястребов, отвернувшись (все-таки директор, неудобно), держались друг за друга, содрогались и только что не рыдали от хохота. Любарский аплодировал, кричал: «Браво, фора, бис!» Корнев висел на Бурове, глядел на Валерьяна Вениаминовича счастливыми глазами, просил, стонал:

— Папа Пец, еще... еще разок, а?

— Ну, чего вы, чего? — озадаченно бормотал тот.

— Теперь я понял, почему он так взъелся на буровский преобразователь! — радостно орал астрофизик.— Вам же медведь на ухо наступил, Валерьян Вениаминыч, милый!

— Прямо уж и медведь...

Потом они спорили, пререкались. «Нет, но зачем это, зачем?!» — кричал Герман Иванович. «А эти — зачем?» — возглашал в ответ Любарский, указывая на звезды над головой. «Эти понятно: природа. А вот в Шаре зачем?..»

— Валерьян Вениаминович,— доказывал Пецу Буров,— а этот способ стоит применить и к обычной вселенной. Ведь если в ней есть области с НПВ...

— О, нет, майн либер Витя,— ответствовал тот,— мало областей с НПВ, надо иметь сильный барьер, где возникает электрическое поле от этого... от знаменателя. В нашей маленькой Галактике Млечный Путь... ин унзере кляйнхен Мильквеггалактик диезе нихт геен... это не пойдет,— Валерьян Вениаминович неожиданно для себя перешел на плохой немецкий и обращался не к Бурову, а к шедшему слева Корневу.— Диезе нихт геен!..

— Папа Пец,— отозвался тот,— ты меня уважаешь? Дай я тебя поцелую!

— Нет, но зачем!?.

— «Кому повем печаль свою?..»

Тянуло холодом от реки. Светили звезды. Где-то содрогалась в родовых схватках материя, мелькали эпохи и миры. Они шагали, смеялись, пели, спорили — люди, сделавшие дело,— и Вселенная салютовала им галактиками.

ГЛАВА 18

ОТЧАЯНИЕ ТОЛЮНИ

Жил долго. Одной посуды пересдавал — страшное дело. Если бы всю сразу, то хватило бы на машину и дачу. Но поскольку сдавал малыми порциями. то всякий раз едва хватало на опохмелку.

К. Прутков-инженер.
Опыт биографической прозы.

I

Хроника шара. 1) На место Зискинда (и по его рекомендации) был принят заслуженный строитель, действительный член Академии строительства и архитектуры, автор проектов многих административных зданий, лауреат и прочая-прочая Адольф Карлович Гутенмахер. Деятельность свою он начал с того, что отселил из смежных с кабинетами директора и главного инженера комнат наладчиков радиоаппаратуры из команды Терещенко, а на освободившейся площади создал роскошные туалетные комнаты с ван-

нами. За одну земную ночь, в порядке сюрприза. Когда же озадаченные руководители, явившись на следующее утро, заметили ему, что это он, пожалуй, перебрал, Адольф Карлович лирически склонил к правому плечу красивую седую, с усами и бородой «а ля Ришелье», голову:

— Ах, Валерьян Вениаминович и Александр Иванович! Вы по малости своего руководящего стажа и не представляете, насколько выигрывает авторитет руководителя от того, что подчиненные не видят его у писсуара или, боже упаси, со спущенными ниже коленей штанами. Даже не говоря о быдловатых номенклатурниках, от земли, от гущи, кои без этого и без персональных машин, в принципе, неотличимы от дворника Васи,— но и людям высокого полета: академикам, научным руководителям — тоже надо немного корчить из себя небожителей...

Житейский и строительный опыт Адольфа Карловича равнялся его словоохотливости; чувствовалось, что он многое мог бы порассказать на эту тему. На Пеца же и Корнева со всех сторон напирали дела — они без лишних слов смирились. Впрочем, поскольку в течение земных суток в кабинетах обретались (с правом главнокомандования) не только они, но и Люся Малюта, Любарский, Бугаев, Б. Б. Мендельзон и сам Гутенмахер — все командиры, новшество не приобрело оттенок советской ясновельможности; к тому же твердо постановили, чтобы каждый убирал за собой. А практичный Корнев, поняв склонность нового архитектора, заказал ему соорудить при гостинице-профилактории «Под крышей» финскую сауну и римскую терму — с номенклатурным шиком, но и с хорошей пропускной способностью; за что тот с удовольствием и взялся.

2) ...Тем более что ушедший Зискинд предвидел правильно: строительные дела в Шаре начали затихать, его преемнику оставалось превращать «незавершенку» в «завершенку». Разворачивались дела ремонтные: годы и десятилетия, мелькавшие наверху за месяцы, неумолимо брали свое — от арматуры в стенах, от покрытий, от труб, от лифтов... от всего. Поскольку же самый «ведьминский шабаш» (определение Люси Малюты) творился на уровнях выше тридцатого: испытания, эксперименты, моделирования,— то работники «низа» (Бугаев, Приятель, Документгура, главэнергетик Оглоблин) с грустью убеждались, что обеспечение ремонта выстроенной башни требует не меньше усилий, чем ее возведение.

3) Отдел кадров готовился к торжественным проводам в августе на заслуженный отдых первых с в о и х ветеранов. Кандидатами были бригадир Никонов, очень уж вошедший во вкус работы наверху, и Герман Иванович Ястребов, который, поступив прошлой осенью на работу в Институт пятидесятипятилетним, намотал к июлю пятьдесят девять с половиной зарегистрированных посредством ЧЛВ лет; реально же ему было наверняка за шестьдесят.

4) Варфоломей Дормидонтович, поддержанный Буровым, пробил обе свои идеи: о боковых смещениях «электрической трубы» в системе ГиМ и о «пространственных линзах». По их проекту мастерские изготовили дополнительные электроды, кои команда «ястребов» привесила к новым аэростатам, подсоединила к кабелям и изоляторным распоркам генераторов; теперь предстояло все это испытать.

5) Пец ввел — для теоретических обобщений наблюдаемого в МВ — понятие о б ъ е м а с о б ы т и я, или «событийного объема». Оно охватывало как пространственные размеры наблюдаемых событий и явлений во Вселенной, так и их длительность. Это простое понятие было удобно, потому что события в Меняющейся Вселенной вкладывались друг в друга, как матрешки: турбулентное «ядро» в свой поток материи-действия, отдельные струи-волны — в это ядро, в них по достижении должного напора возникали турбулентные события-галактики — и так далее.

Теперь для исследователей МВ забрезжила возможность не только выстроить и е р а р х и ю таких событий (а тем и иерархию причин и следствий во Вселенной), но и дать им количественную меру; чем Валерьян Вениаминович и поручил заняться Любарскому.

А вверху, непричастное к обычному, земному, *ядро Шара дышало в метагалактическом ритме, дышало глубоко и ровно.*

II

Утро, будничное летнее утро в квартире Васюков-Басистовых. Подъем-туалет-завтрак, толчея в прихожей, все спешат к своим делам; а тут еще погода испортилась, прохладно и сыро, надо все наперед спланировать... Расставание:

— Значит, договорились: Мишу ты и заберешь?.. И я тебя прошу, Анатолий: не дави мне на психику своей растительностью на щеках, что много работаешь и побриться некогда. Я тоже не гуляю. А на щеках у меня ничего не растет по понятным причинам.

Дети переглядываются, пересмеиваются: небритая мама, или даже с бородкой (Анатолий Андреевич, случается, иной раз появляется и таким) — это было бы интересно!

Жена Толюни Саша, Александра Филипповна,— врач-горловик, работает в поликлинике — красивая, уверенная в себе женщина. Анатолий Андреевич ее любит и благодарен, что она его на себе женила; сам бы он не решился. Саша его тоже любит и воспитывает. Правда, происшедшее в Таращанске несколько нарушило установившиеся отношения: для нее оказалось полной неожиданностью, что ее муж, которого она выбрала для нормальной семейной жизни,

отважился на действия весьма рискованные и, главное, не в интересах семьи. Но — после переезда в краевой центр, в полнометражную комфортабельную квартиру все восстановилось: получилось, что и это было в интересах семьи. Они никогда не говорят о том эпизоде.

...Не говорят — но Саша помнит. Особенно момент, когда она самым решительным образом преградила Анатолию путь к водонапорной башне, к скобам, схватила за рукав, повысила до крика голос. И — неожиданно получила затрещину. По левой щеке. При детях. «Ну, ты!..» — сказал ей Толюня. (Или «Ну, ты, сучка!»?.. Нет, для такого он, пожалуй, слишком интеллигентен, «сучка» осталось в интонациях. Но смысл был такой.) Более всего Саше запомнились не слова, не интонация, а лицо мужа, освещение сбоку багрово-пыльным солнцем: отрешение и спокойно-гневное. Это был не муж, не в том состояло его назначение в жизни: какой-то совсем иной человек. Он будто носком ботинка отшвыривал ее и детей ради чего-то более главного. Настоящего, Первичного. И она на миг действительно почувствовала себя не то сучкой, не то рабыней, готовой все претерпеть и повиноваться.

Об этом не говорили, Саша и детям внушила, что ничего такого не происходило, им показалось. Толюня был прежним, тихим, покладистым, делал все по дому, ходил в магазин, отдавал зарплату. Но она знала, что он может быть совсем иным — и иногда, преимущественно к ночи, ей хотелось, чтобы Анатолий оказался тем, иным. Днем же Саша понимала, что это не для быта — разговаривала с мужем несколько покровительственно, наставительно: сохраняла позиции.

Прощальный осмотр: кто как застегнулся, завязал шнурки. Чмок-чмок — расходятся. Жена провожает в школу Линку — это ей по дороге. Номинальный глава семьи отводит в садик Мишку, это ему по дороге.

Они шагают по тихой улочке, соединяющей жилмассив с троллейбусной трассой; здесь, в трех кварталах, среди одноэтажных частных домов высится здание с Зайцем, Волком и Чебурашкой на кирпичных стенах — Мишкин детсадик. По случаю сырой погоды мама заставила Мишку надеть яркий плащ и новенький берет.

Миша — пятилетний румяный и красивый (в маму) мальчик; плащ и берет набекрень ему очень идут. Он с ревнивым вопросом посматривает на редких встречных: оценивают ли они, какой он симпатичный? Анатолию Андреевичу тоже приятно, что у него растет хорошенький и бойкий пацан, приятно чувствовать его теплую ладошку в своей руке — и держать ее покрепче, когда Мишке захочется проскакать на одной ножке или пройтись по бордюру.

Яблони за заборами гнутся от обилия плодов, вся улица напитана запахом спеющих яблок. Туман осел на листьях и ветках бриллиантовыми капельками.

— А вчера в мертвый час Витька, мой сосед справа, уписался,— сообщает сын.— Лариса Мартыновна потом поставила его в круг и сказала: «Смейтесь над ним, дети, он писун!» Было так весело!

— Что, и ты смеялся?

— Ага!

— А давно ли ты сам пи́сал в постель? Если не ошибаюсь, на прошлой неделе?

— Ну, пап...— Мишка явно недоволен таким поворотом темы.— Это же было ночью!

— А какая разница?

— Как какая? Ночь же длинная.

На это Анатолий Андреевич не находит, что возразить. Помолчав, все-таки говорит:

— Ты так больше не делай. Ничего смешного здесь нет. Ваша воспитательница сглупила. Это... ну, неблагородно, понимаешь?

Путь короткий, вот и садик. Сыну направо, отцу прямо. Прощаясь, Мишка смотрит снизу вверх шкодливыми глазами:

— Па, а можно, я скажу Ларисе Мартыновне, если она опять что-нибудь не так... что она — глупая?

— М-м... нет. Я сам с ней поговорю потом. Дети не должны делать замечания взрослым.

Все, интермедия обычной жизни кончилась. Последняя мысль по пути к троллейбусу, что зря он так отозвался о воспитательнице. еще ляпнет Мишка что-нибудь на свою же голову. Эта шкура Лариса Мартыновна благоволит к детям только тех родителей, которые дарят ей к календарным (а иные и к церковным) праздникам шампанское и коробки дорогих конфет; он этого не делал, не сделает, да и Саша тоже. Не те у них достатки.

Остановка. Троллейбус по-утреннему переполнен. Но все набившиеся в него едут в Шар — теснятся, находят место и для Толюни. Кивки знакомым, поскольку с рукопожатиями в такой давке не развернешься. И — начался, сперва в мыслях, переход от предметно-конкретного о б ы ч н о г о мира к н а с т о я щ е м у.

...Еще недавно он жил только в обычном. Хорошо, что теперь это не так. Да, у него там жена, дети, знакомые, связи и обязанности — но никогда, с самого детства, он не был там действительно своим.

Он всегда чувствовал себя маленьким, незначительным — меньше и незначительней всех знакомых и близких, уверенно-однозначных, точно знающих, чего они хотят и чего опасаются, а также способы достичь одного и избежать другого. Он уступал им в хватке, в напоре и активности. Да что о них — перед своими детьми он чувствовал себя не совсем уверенно...

«Смирный Толюня», «тихий Толюня», «Толюн не от мира

сего» — эти определения следовали за ним с юных лет. Задумчивый худощавый подросток, который всем уступал, не ставил на своем, не доказывал своей правоты, ни тем более — силы. Он отдавал товарищам книги, которые хотел бы сохранить для себя, и отступался от девчонок, которые нравились ему. Родители, друзья-доброхоты, а позднее и жена — все журили его за покладистость-уступчивость, за то, что он пасует перед нахальными дураками, изворотливыми пролазами, что не использует для успеха свои способности и прилежание. Он огорчался выговорами, даже соглашался и обещал, но больше огорчался не течением жизни своей, а тем, что вынуждает волноваться и переживать за себя других. Для него самого было изначально интуитивно ясно: дело не в том. Не нужны ему житейские успехи. Не хотелось т а к жить, вот и все. И не потому, что слаб, робок, неспособен, нет — просто ощущал он за своей житейской малостью-незначительностью большой и мощный спокойный поток бытия. В этом была его сила — жертвенная, несделочная сила: готовность пойти туда и сделать то, куда не пойдут и чего не сделают люди, слишком уж знающие цену себе и своей шкуре.

Таращанская катастрофа, а затем работа в Шаре и в лаборатории МВ все расставили по местам. Анатолий Андреевич понял то, что раньше только чувствовал: не он мал — это его окружающе велики и значительны д л я с е б я, лишь потому что отграничили из бесконечно-вечного, глубинно-мощного мира свой, очень крохотный и поверхностный «мирок связей»; да и уверенность-то их держится на том, что они ничего сверх него знать не хотят... Или просто боятся узнать? И покой души его возрастал.

Конечная остановка. Все вываливающиеся из трех дверей троллейбуса и взгляда не бросят на апокалиптическую картину искаженного пространства окрест и над головами — скорей к своим проходным. Толюнина «А, Б, В» крайняя слева. Окошко табельщицы — показать пропуск — отбить на бланке в электрочасах время прихода — вернуть, получить и сунуть в карман запущенные ЧЛВ — турникет щелк-щелк — в зоне.

...Утренняя пульсация: втягивание Шаром и башней людей из конкретно-предметного мира в себя — их действий, сил, знаний, энергии, идей, чувств, мыслей. Вечером будет противоположная: откат, возврат. Все — как т а м, в ядре, в МВ. Все события одинаковы, только кажутся разными.

Крытым переходом к осевой башне, сквозным лифтом до уровня «20», пересадка на высотный, до крыши. В нем Васюк поднимается один: из-за проводов Мишки в садик он всегда опаздывает — внизу на минуты, вверху — на часы. Ничего, Шар своего не упустит; впереди очень долгий «рабочий день», за который успевает отрасти на щеках щетина, а когда и бородка.

В круговом коридоре последних этажей (двери вовне на галерею, к генераторам Ван дер Граафа, внутрь — в лабораторию МВ и гостиницу-профилакторий) стены сплошь увешаны метровыми снимками галактик. Внизу фотографий размашистые надписи: «Правовинтовая Рыба-17», «Фронтальная Андромеда-7», «Малый Магеллан-21»... и так далее. Это проявил себя понятный только самим исследователям жаргон, возникший из необходимости экономить время.

«Рыба» была не рыба, а спиральная галактика, подобная той, что в обычном небе наблюдаема в созвездии Рыб: с небольшим ядром и обширными, далеко раскинутыми в пространстве рукавами. «Фронтальная Андромеда» походила на знаменитую «Туманность Андромеды» — только ориентирована была к наблюдателям не как та, со «страшным-страшным креном», а фронтом звездного вихря — так сказать, анфас. «Малый Магеллан» походил на бесформенное Малое Магелланово Облако, галактику-спутник нашего Млечпути.

На стенах красовались «Вероники» — видимые с ребра галактики, похожие на те, что с Земли наблюдает в созвездии Волос Вероники; «Треугольники» — рыхлые спиральные структуры, наподобие имеющейся в созвездии такого названия. А на иных снимках и просто указывали «81-А», «31-Л» и тому подобное — в соответствии с образами галактик, обозначенных в каталоге Мессье этими номерами. Буквы и дополнительные числа означали, сколько такого вида звездных вихрей довелось наблюдать и заснять в Меняющейся Вселенной.

...И это еще было ничего, если увиденное в очередной Матагалактической пульсации, Вздохе-Шторме первичной материи (или во Всхрапе?..) оказывалось похожим на объекты классической астрономии. А ежели нет, то припечатывали что-нибудь покрепче, лишь бы с маху охарактеризовать запечатленный образ из «Вселенной на раз». Нашли свое место на стенах бесформенные галактики с подписями «Коровья лепешка-8» или «Негатив кляксы» (типичные картины начальных и самых конечных стадий их жизни); напротив дверей просмотрового зала красовалась двойная галактика «Очки Любарского» (название дано Корневым, сам Варфоломей Дормидонтович протестовал): два почти эллиптических звездных вихря противоположной ориентации с туманной перемычкой между ними. (Еще одной паре галактик Александр Иванович присвоил гениальное, по общему мнению сотрудников лаборатории, название «Ягодицы в тумане»; но на снимок налетел Пец, прочел подпись, велел снять. Валерьян Вениаминович вообще не одобрял эту, как он выражался, «картинную галерею» и настрого запретил вывешивание снимков за пределами лаборатории).

Сам Анатолий Андреевич, хотя большинство снимков были делом его рук, названий им не придумывал: они его — а равно и но-

мера или индексы при них — как-то не интересовали. Он держался взгляда, что для восприятия Единого не только не надо присваивать названия новым образам, порожденным им, но невредно и позабыть названия для «Земли», для «Солнца», «времени», «пространства», «жизни»... Зачем этикетки первичному! Впрочем, мысль эту — как и большинство своих получувств-полумыслей — он пока не высказывал.

И жене своей Анатолий Андреевич до сих пор и словом не обмолвился о Меняющейся Вселенной, чтобы она не стала наставлять: что ему там делать и как себя вести.

Он совершил полный круг по коридору, чтобы пропитаться соответствующим настроением.

III

В просмотровом зале, куда он после этого вошел, настроение ему в два счета испортили, вернули в мелкость, в прозу. Здесь Любарский и Буров прокручивали вчерашнюю добычу в МВ.

— Плохо, Анатолий Андреевич! — вместо приветствия встретил его возгласом завлаб.— Просто никуда, зря поднимались. Смотрите сами!

Васюк посмотрел на экран — и почувствовал свою вину.

...Как-то так вышло, что в лаборатории на него сваливали все фото- и кинодела; включая и самые малопривлекательные, многочасовую возню в темной комнате над бачками и ваннами с реактивами, от чьих испарений потом болела печень. Одни напирали — не без улыбки — на историческую преемственность от его подвига в Таращанске: кому же, мол, как не тебе? — хотя, стоит заметить, после школьных лет то был первый фотоопыт Анатолия Андреевича (и аппарата не имел своего, пришлось позаимствовать в универмаге). Другие без всяких улыбок считали само собой разумеющимся, что Васюком-Басистовым можно затыкать любую дыру.

— Но ведь строго-то говоря, Анатолий Андреич, по вашей специальности «механизация животноводства» у нас здесь в самом деле пока ничего нет! — заявил на его робкий протест Буров, который благодаря своим электронным новшествам забирал все большую власть в лаборатории.— А кому-то ведь надо...

А сегодня как раз и выяснилось, что его неопытность и непрофессиональность в данном вопросе обернулись неприятностью: высокочувствительные — и в ультрафиолетовой части спектра, в которой наиболее выразительно проявляют себя вещественные образования в МВ,— кинопленки с отснятыми во вчерашнем подъеме Буровым и Панкратовым галактиками и звездами (в процессе их эволюции!) дали вуаль. На экране сейчас мельтешило бог знает что.

Остановили проектор, включили свет, стали разбираться. И скоро выяснили, что качество обработки пленок Васюком в этой беде не повинно, что причина глупее и постыднее: забыли — и он забыл! — о сроке годности. У чувствительных пленок он короткий, менее года. И за трое суток, минувших с момента, когда Альтер Абрамович, гордый своим снабженческим подвигом, доставил сюда триста пятьдесят километровых кассет («И лучше не спрашивайте, ребята, как я их добыл: шестьдесят тысяч по безналичному расчету, так это, между нами, еще далеко не все!»), срок этот — при ускорении 150 — с лихвой перекрылся. В первые подъемы на них сняли отличные фильмы об МВ.

Самое скверное, что пропали и более трехсот неиспользованных кассет. Медленно привыкают люди к новому, косность где-нибудь да просочится: они давно усвоили, что за день наверху можно выполнить работу многих месяцев, что еще выше, в ядре, за секунды сотворяются и разрушаются вселенные... а применительно к хранению фототовара, к сроку его годности, трое суток в умах всех так и остались тремя сутками.

— И в холодильник не догадались сунуть кассеты-то,— раздраженно ворчал Любарский.

— Сначала кому-то следовало бы догадаться обзавестись холодильниками большой емкости,— парировал Васюк.— В те, что есть, бутерброд лишний не сунешь, забиты.

— А что мы теперь Альтеру скажем? — вступил Буров.— Эти надо списывать, просить у него новые... н-да! И зачем он их наверх к нам все припер, кассеты эти? Лежали бы у него на складе...

Они злились сейчас друг на друга, на снабженца — и вообще на жизнь.

— Но главное: с чем мы сегодня вверх поднимемся? — расстроенно потер лысину Варфоломей Дормидонтович.— С пустыми киноаппаратами?

— Это-то как раз ничего,— сказал Буров.— Сегодня у вас испытательный подъем. Освоение боковых перемещений и слежений.

— А «пространственные линзы»? — спросил Любарский.

— А еще не готовы электроды... и схема.

Буров лукавил: с «линзами» и электрическим управлением ими у него все было исполнено. Но он сейчас вынашивал замысел, которым не хотел делиться,— и решил кое-что придержать для себя.

Так они перешли к другому делу. Поднялись на крышу, Витя показал им новые приставки и изменения в управляющем блоке кабины.

— Вот,— говорил он с некоторой горделивостью,— теперь ведущий будет работать, как пилот в реактивном истребителе. Только ногой не газок выжимать, а пространство-время... Левая педаль —

пространство, нажать «вперед», отпустить «назад», а правая — время: нажать «ускорение», отпускать «замедление»... Это, понятно, в пределах одного диапазона неоднородности, а переключение диапазонов, как и было, на пульте...

— Надо бы и переключение диапазонов вывести на ручку, как в автомобиле скорости переключают,— вставил Любарский.

— Мелко плаваете, экс-доцент,— не без спесивости ответствовал Буров,— переключение скоростей!.. Вот вам не ручка, а ручища, штурвал боковых перемещений. Ею вы будете смещать кабину наверху... а верней, изгибать «электрическую трубу» в любую сторону, в какую отклоните.

Между педалей из пола кабины торчала теперь штурвальная колонка с сектором, добытая явно с какого-то списанного самолета. Варфоломей Дормидонтович забрался в кресло, понажимал педали, поворачал штурвалом, с одобрением поглядел на Бурова:

— Лихо! Это нужно освоить.

— Можете считать, что я пересадил вас с самолета братьев Райт прямо на Ту-154. Но если вы вернетесь из МВ, не обнаружив у этих звезд планету... хоть одну! — я вас больше не уважаю и не обслуживаю. А будут на видеомаге планеты — берусь вас перед Альтером защищать, даже вырвать у него новые пленки.

— Различить планеты без «пространственных линз»...— Любарский поскреб плохо выбритый подбородок, усмехнулся.— Вряд ли.

— Да можно это теперь, Варфоломей Дормидонтыч, можно,— горячо сказал Буров,— раз диски звезд там видим! С «линзами» подробности на планетах будем рассматривать, на это целиться надо.

— Любопытно бы! — мечтательно сощурил глаза завлаб.

Толюня тоже считал, что любопытно и возможно, но помалкивал: как от чувства вины из-за погубленных пленок, так и от сознания своей малости перед Витей Буровым. К тому же он чувствовал, что тот настроен к нему неприязненно.

Тем временем на крышу поднялись еще двое. Сначала, собственно, из люка показались длиннющие, метров по шесть, сваренные из уголков штанги, а затем и те, кто их нес: Ястребов и его помощник. Они сложили ношу у ограды и, разминая сигареты, подошли к инженерам — поздороваться, перекурить, покалякать.

— И что это будет? — кивнул в сторону штанг Любарский, пожимая руку Герману Ивановичу.

— Эт-та?..— Механик достал из кармашка в комбинезоне чертежик, развернул, прочел раздельно: — «Координатный регистратор Метапульсаций». Заказ и эскиз самого Валерьяна Вениами... На концах укрепим сейчас фотоэлементные счетчики, расставим от башни на четыре стороны.

— А! — мотнул головой Варфоломей Дормидонтович.— Давно надо.

— Последняя моя морока,— неспешно продолжал Ястребов.— И на крышу, может, последний раз вылез...

Герман Иванович уже выглядел стариком: погрузнел, поседел, в характере появилось созерцательное добродушие, стал разговорчив. Он все более настраивался на заслуженный отдых. «Пенсия у меня будет под верхний предел, очередь на «Волгу» вот-вот... Эх, и поезжу по всяким местам! А вы тут дальше вкалывайте без меня».

— Последняя у попа жинка,— поддал его помощник.— У тебя уже который наряд последний-то?

— А может, и так,— засмеялся механик.— Может, еще погуляем в высях.

Когда они отошли, Буров задиристо обратился к Любарскому:

— Что за «координатор Метапульсаций», не могли бы вы мне объяснить?

— А они в ядре возникают всякий раз на новом месте. Со сдвигами. Вот и надо бы хоть по двум измерениям с нашей крыши засекать координаты «штормов», чтобы потом рассмотреть последовательность скачков.

— Хорошо, а почему идея Пеца и заказ Пеца? Для чего здесь вы и для чего мы? Это наша парафия, наше дело! В чем вообще состоит ваше заведование лабораторией? В поддакивании?..

Варфоломей Дормидонтович с минуту ошеломленно молчал. Идею этого регистратора они с директором обсудили вчера за вечерним чаем (он все еще обитал у Валерьяна Вениаминовича) — и если тот первым, пока не забыл, запустил ее в «металл»... ну, так спасибо ему, да и все!

— Хоть вы, Витя, великий труженик, великий изобретатель и... великий нахал,— обрел наконец дар речи экс-доцент,— вам все равно не светит занять мое место.

— Я и не стремлюсь!.. (Лукавил Виктор Федорович, лукавил — стремился. И не только завлабом МВ видел он себя в мечтах. На все у него был свой взгляд — и уж он бы показал, как надо). Эта затея относится к электронике. А раз так, но не должна проходить мимо меня. Вы там как хотите, но в с в о е й специальности я поддакивать никому не согласен!

В таких слегка склочных отношениях все трое перебрались с крыши в зал тренажеров. Здесь, на интерпретаторе системы ГиМ, Любарскому и Васюку перед подъемом надлежало научиться делать ногами то, что прежде делали руками: педалировать неоднородность пространства и ускорение времени,— а руками то, чего прежде не делали вовсе, боковые перемещения. Упражнения длились шесть часов (с перерывом на обед и чаепитие), и, разумеется, «тренер» Буров согнал с обоих столько потов, сколько счел нужным. И то

сказать: автоматическая точность всех движений и поворотов кабины наверху, в МВ, была для них так же важна, как летчикам в сверхзвуковом полете.

«Пилотом» в предстоящий подъем шел Анатолий Андреевич; его Витя натаскивал особенно безжалостно, заставляя заодно с маневрами переумножать или делить в уме трехзначные числа. Любарский сочувственно роптал, что это не дело, не выход и пора все автоматизировать.

Потом была обработка прежних наблюдений в МВ, составление отчетов, проверка аппаратуры, исправление разладившейся за ночь... В подобных занятиях минула первая 24-часовая смена, после которой разрешался 12-часовый отдых. За эти часы Анатолий Андреевич посетил новенькую сауну, поужинал, посмотрел видеомультики (жалея, что нет рядом Мишки и Линки, которые получили бы от них куда больше удовольствия) и хорошо выспался в своей комнате в профилактории.

Вторая смена началась с проверки навыков нового управления, отшлифовка шероховатостей — зачет, который принимал тот же Буров. К этому времени в лаборатории, в тренажерном зале, появились супруги Панкратовы, Миша и Валя — пара молодых, но уже изрядно обозленных действительностью специалистов-инфизовцев.

(Да им и было отчего: к обычным трудностям жизни молодых специалистов — осваивание на новом месте, отсутствие жилья, малые заработки, бытовая неустроенность — прибавились еще и специфические, от НПВ. Валя забеременела месяц назад, сейчас ходила на шестом месяце. И поскольку ее — первоначально худенькую и миловидную — разнесло в считанные дни на глазах ошеломленной домохозяйки, та возмутилась и потребовала или двойную плату, или пусть освобождают комнату; а двойная плата — это 120 рэ. Освободили, нашли комнату в пригороде, откуда трудно добираться,— вот и опоздали сегодня на полчаса.

...Нет, не только Анатолия Андреевича ставила на место обычная, конкретно-предметная жизнь-житуха: куда вы суетесь, белковые комочки? Ваше ли дело постигать бесконечно-вечную Вселенную? Питайтесь-испражняйтесь, спаривайтесь, плодитесь, размножайтесь, заботьтесь о сиюминутных успехах — это ваше, а насчет прочего... зась! Не только его, каждого на свой лад.

Тем не менее, когда Корнев предложил Панкратовым поселиться в гостинице-профилактории хотя бы до рождения ребенка... а впрочем, и на любой удобный срок,— они категорически отказались. «Такие опыты надо начинать с кроликов»,— твердо сказал глава семьи Миша).

«Зачет» сдали, пора было подниматься на крышу, снаряжаться и отправляться в МВ. Но тут Васюк подошел к телеинвертеру, включил, набрал нужный код и, когда на экране возник Приятель, рас-

сказал ему о загубленных кассетах с чувствительной пленкой. Все время, пока он говорил маловыразительным голосом, завснаб спокойно писал — и только потом ронял ручку, замедленно (от чего возникал оттенок театральности) поднимал и поворачивал голову, расширял глаза, раскрывал рот, воздевал руки... И Витя Буров тоже воздел руки:

— Зачем, о господи! Зачем вы это сделали, Толя?! Он же сейчас примчит сюда...

Верно, Альтер Абрамович примчался в лабораторию с той скоростью, какую позволили лифты; даже, пожалуй, несколько быстрее.

— Рабочие кефир свой не забывают опустить на веревке на двести метров, когда наверху работают, а вы... ученые люди, называется! — кричал он, стоя в фотокомнате над грудой кассет, ради которых ему пришлось немало хлопотать, побегать и даже поподличать.— Ведь шестьдесят же тысяч! А сколько нервов?!

Буров с целью спасти положение выступил вперед, приложил руку к сердцу, заговорил грудным голосом:

— Альтер Абрамович, лично я вас понимаю, как гений гения. Это действительно...

— Он меня понимает, как гений гения... Сопляк! — Старик возмущенно брызгал слюной.— Бросьте вы эти штучки! У вас когда-нибудь было в кармане шестьдесят тысяч, голодранцы?! Привыкли кидаться деньгами, потому что не свои... Нет, я этого так не оставлю. Сейчас же докладную Пецу — и пусть попробует не принять мер!

И исчез так же быстро, как и возник.

— Ну вот, пожалуйста,— сказал Витя с теми же неизрасходованными задушевно-грудными интонациями, люто глядя на Васюка.— Объясните мне, ради бога, Анатолий Андреевич, кто и зачем вас за язык потянул? Я же обещал все уладить — после вашего удачного визита в МВ. Промахи уравновешивают достижениями, это извечный принцип. Показал бы ему новые видеозаписи, ля-ля-ля, то-се, Альтер Абрамович, а знаете, пленочка уже вышла... и было бы хорошо... А теперь...

Любарский тоже глядел на Толюню с недоумением.

— Ну как вы не понимаете,— проговорил высоким голосом Миша Панкратов, худой, сероволосый, с сощуренными синими глазами,— Анатолий Андреевич у нас такой человек. Он ведь отправляется в Меняющуюся Вселенную, а тут... словом, это все равно что умереть, не уплатив за газ и электричество.

— В прежние времена, я читала,— подхватила его супруга Валя,— в подобных случаях надевали чистую рубашку, писали письма родным или заявление: «В случае чего прошу считать меня коммунистом».

Васюк молча улыбнулся. Да что говорить, по существу так и есть.

— Ага... ну, правильно! — Варфоломей Дормидонтович тоже

раскумекал, что к чему.— Было бы отвратительно, пóшло — подниматься к звездам, искать планеты ради того, чтобы потом Виктор Федорович с помощью этой информации смог ублажить Альтера Абрамовича. На предмет пленок... Тьфу! Правильно вы, Анатолий Андреевич, обрубили этот «хвост», присоединяюсь.

— Вам лишь бы к кому присоединиться,— буркнул Буров, чтобы хоть последнее слово оказалось за ним.

IV

И вот все остается внизу. Любарский и Васюк поднимаются в кабине ГиМ, по сторонам ее разворачиваются электроды и экраны, сиреневый свет над куполом колышется и растет.

Подъем сопровождался монологом Варфоломея Дормидонтовича, у которого всегда на этой стадии пробуждались большие мысли и светлые чувства. Толюня был идеальный слушатель: молчаливый, внимательный и все понимающий.

— Вы обратили внимание, Анатолий Андреевич, что все количественные замеры и съемки мы начинаем со стадии галактик, а события и явления — д о н и х; вселенские штормы, полигалактические струи, весь первичный бурлящий Вселенский хаос — не воспринимаем. Не принимаем всерьез. А знаете почему? От мелкости и недалекости нашей. На галактики и звезды наш ум натаскан школьными учебниками, популярными статьями, кое у кого вузовской подготовкой... да и то, впрочем, более как на в е ч н ы е образы в пространстве. А здесь мы воочию видим, что изменения важнее объектов, что Вселенная — и не только в Шаре, всюду — событийна. А коли так, то в самом крупном в ней запрятаны все начала, все причины. Но — не в подъем это умам нашим, мелким и косным... Вот Виктор Федорович недавно вас поддел, что-де в лаборатории нет работы по вашей специальности. И я его уел сегодня на тот же предмет, что и ему здесь не очень по специальности. Эх, да все мы тут не по специальности: ни Пец, ни Корнеев, ни ваш покорный слуга. Все мы телята, задравшие головы к Вечности. Может, и лучше не знать, чем пробираться к сути через завалы специальных знаний. Я вот в астрофизических кругах слыву немалым авторитетом по астрометрии и звездным спектрам. Ну, и что мне прикажете делать с этим багажом и авторитетом здесь, в МВ, где расстояния между звездами меняются на глазах, а спектры пульсируют — либо сами по себе, или от шевеления ручек... простите, нынче уже педалей? Что?.. Вселенная — на раз, галактика — на раз, звезды — на раз...

— Я вам сейчас притчу расскажу, Анатолий Андреевич. Даже не притчу... а попалась мне однажды книжица, «Особенности древ-

нерусского литературного языка». И вот автор, кандидат филологических наук Козлов, сравнивает там текстовую достоверность записей в двух летописях известного приказа князя Святополка об убийстве своего брата. В одной сказано: «не поведуючи никому же, шедше убийте брата моего Бориса», а в другой: «где обрящете брата моего Бориса, смотряше время, убейте его». Действительно, не мог же́ князинька и так, и этак, где-то летописцы переврали. Я читаю, у меня мороз по коже — ведь это же «у б е й т е б р а т а м о е г о»! А кандидат ничего: сравнивает написания, порядок расположения слов «брата», «шедше», «убийте» или «убейте» — и делает вывод в пользу первой фразы...— Любарский помолчал.— Я это к тому, Анатолий Андреевич, что, может быть, и мы такие кандидаты? И наша разнообразная квалифицированная возня соотносится с существом того, что говорит нам Вселенная, примерно так же? Да и все науки, может быть, таковы?.. Так что и вправду шут с ними, с этими пленками, съемками и прочими богатыми возможностями подменить расторопной деятельностью необходимость размышлять.

Аэростаты между тем выносили кабину на разрешаемую канатами высоту. Пора было гасить внутреннее освещение. Перед тем, как повернуть выключатель, Толюня скосил глаза на разгорячившегося доцента, подумал: «Лет через двадцать я буду похож на него, такой же морщинистый и лысый. Разве что не столь разговорчивый. Почему он каждый раз на подъеме выступает, Бармалеич? Наверное, ему — как и мне — страшновато здесь. Или хочет хотя бы высказыванием мыслей компенсировать ту нашу телячью малость перед миром?..»

— Признаюсь вам прямо, Анатолий Андреевич,— продолжал доцент,— не действий и результатов ради поднимаюсь я сюда. Да и не ради исследований остался в Шаре. Количественные знания можно наращивать до бесконечности — и ничего не понять, история цивилизации тому подтверждение... А вот запретное, крамольное понятие «религиозный дух» для меня ныне, как хотите, содержательно! Нет-нет, я атеист, усталый циник. Всегда, знаете, с усмешкой воспринимал сказочки, как кто-то — Будда, Христос, Заратустра — начали что-то такое проповедовать, и люди отринули богачество, семью, посты, пошли за ними. За человеком я бы никогда не пошел, чтобы он ни вкручивал. А вот за э т и м побежал, отринув все. Как бобик.

Индикаторные лампочки на пульте показали Анатолию Андреевичу, что электродная система развернулась целиком и готова к подключению полей.

— Что же касается количественной стороны, то, как вы знаете, Валерьян Вениаминович поручил мне составить Вселенскую иерархию событий и образов. На основе своего — и удачного, должен сказать — понятия «объем события». Там любопытно...

— Все,— молвил Васюк-Басистов.— Начали работать!
И Любарский умолк на середине фразы.

Но он был прав: накаляющееся и растущее в размерах облако Вселенского шторма над головой было для них облаком, а когда Метапульсация вошла в стадию образования галактик, то и они — мириады размытых светлых пятнышек размерами со снежинки — выглядели в их восприятии снежинками у фонаря. Разум подсказывал, что разворачивается сверхкрупное вселенское событие, которое в нормальных масштабах распространяется на мегапарсеки и тянется сотни, если не тысячи миллиардов лет, что в обычном небе все это выглядело бы огромным, застывшим в неизмеримых далях... Но чувства и воображение начисто отказывались сочетать числа и наблюдаемое с тем, что за время Шторма можно затянуться сигаретой.

По совету Любарского Толюня полями устремил кабину в самый центр Шторма, где более вероятно развитие турбулентного потока материи-времени до вершин выразительности; там он нацелился на «фронтальную Андромеду» (коей присвоили номер 19), включил видеомаг. Но и этот туманный вихрь воспринимался сначала как-то книжно; по размерам и виду он уступал развешанным в кольцевом коридоре снимкам.

И только когда размытая вихревая туманность вдруг (в масштабе миллионов лет в секунду это получалось именно вдруг) конденсировалась, начиная от середины ядра и глубин колышущихся рукавов, во множество пульсирующих, набирающих голубой накал комочков, а те сворачивались в точечные штрихи, когда этот цепенящий души процесс распространялся до краев галактики, когда все вращающееся над куполом кабины облако будто выпадало дождем звезд, а они надвигались, распространялись во все стороны, становились н е б о м, застывали во тьме пульсирующим многоцветным великолепием,— вот тогда они чувствовали, что находятся во Вселенной — огромной, прекрасной и беспощадной. Не было «мегапарсеков» — обморочно громадные черные пространства раскрывались во всю глубину благодаря точкам звезд. Не было «мерцаний», «штрихов», «вибрионов» — были м и р ы. Понимание масштабов и прежние наблюдения прибавляли лишь то, что эти раскаленные миры — конечны.

Миры, как и люди, *жили и умирали по-разному. Они мчались в потоке времени, метапульсационного вздоха, взаимодействовали друг с другом, разделялись или сливались, набирали выразительность или сникали. У одних звезд век был долгий, у других — короткий: они позже возникали-сгущались-уплотнялись, раньше разваливались в быстро гаснущие во тьме фейерверки. У одних характер был спокойный: они равномерно накалялись, ясно светили, вели-*

чественно и прекрасно взрывались на спаде галактической волны, оставляли на своем месте округлую яркую туманность, иные неровно мигали, меняли яркость и спектр, размеры и объем — то вспухали до оранжево-красных гигантов, то съеживались в точечные голубые карлики.

Жизненный путь многих звезд на галактических орбитах протекал в спокойном одиночестве — они отдавали свой свет, никого не освещая, испускали тепло, никого не согревая. Другие коротали век в компании одной или двух соседок: завивали друг около друга спирали своих траекторий, красовались округлостью дисков и их накалом, протуберантными выбросами ядерной пыли, светили одна на другую — я тебя голубым, ты меня — оранжевым.

На стадии звездообразования из светящегося прототумана возникало гораздо больше звезд, чем потом оставалось в зрелой галактике. Самые мелкие сгустки быстро отдавали избыток энергии в пространство и гасли; в двойных и тройных системах они превращались в темные спутники светил, в большие отдаленные планеты — и так жили незаметно до сникания галактической волны-струи, до финальной вспышки и расплывания в ничто.

Миры, как и люди, *жили и умирали по-разному.*

Миры, как и люди, *рождались, жили и умирали.*

Буровские новшества работали отменно. Любарский указывал цель, интересную чем-то звезду; Анатолий Андреевич, уверенно дожимая педали и поводя штурвальной колонкой, приближался к ней до различимого в телескоп и на экранах диска. К одной могучей, размерами, вероятно, с Бетельгейзе, но куда большей плотности, звезде он подогнал кабину так, что на них повеял ее жар. И сам Толюня, и Варфоломей Дормидонтович сейчас чувствовали себя не пилотами, даже не космонавтами — какие космонавты могут так переходить от звезды к звезде, листать галактики в пространстве и времени! — а скорее, небожителями. Богоравными.

И мир для них, богоравных, был сейчас иррационально прост; без земных проблем и человеческой запутанности в них: поток и волнение-вихрение на нем. Да и сложность жизни приобретала простой турбулентный смысл: это была сложность виляний отдельной струйки бытия существа под воздействием всех других в бурлящем потоке. Такое нельзя увидеть в МВ ни в телескоп, ни прямо — но они понимали это.

— Та-ак... держитесь этой толстухи, мадам Бетельгейзе, Анатолий Андреевич,— приговаривал Любарский, уткнувшись в окуляр.— Не нравится... а вернее — очень нравится мне ее траектория. Интригует. Следуйте за ней, сколько сможете. По-моему, мадам беременна планетами.

Действительно, было в беге расплывчатого бело-голубого диска

над ними что-то чуть вихляющее. Васюк медленно вел штурвал влево. Диск звезды сплюснулся, выпятился одной стороной, завихлял заметнее.

— Флюс, флюс! — возбужденно шептал Любарский.— Животик! Ну, сейчас...

Огненный «флюс» оторвался от звезды (ее уменьшившееся тело сдвинулось в противоположную сторону), растянулся в пространстве сияющим кометным хвостом. Хвост разделился на три части: дальнюю, серединную и ближнюю к звезде. Каждый обрывок изогнулся, завился вокруг светила дугой эллипса. Эти дуги-шлейфы величественно поворачивались около звезды; ближняя быстрее, дальняя медленнее всех. Светящийся туман переливался и пульсировал в них, тускнел, уплотнялся... и вот в каждой наметился сгусток-смерчик. Смерчики росли, наматывали на себя шлейфы тумана, втягивали его — и одновременно остывали, уплотнялись. Вскоре они были видны только в отраженном свете звезды. Так возникли планеты.

Васюк приотпустил правую педаль «время»: миллионы лет снова спрессовались в минуты. Нажал, вернулся — теперь вокруг уплотнившейся звезды с четким и очень ярким диском мотались три шарика. Они оказывались то серпиками, то полудисками, а при прохождении между светилом и кабиной — черными пятнышками на огненном фоне.

— Ай да мы! — удовлетворенно откинулся в кресле Любарский.— Исполнили больше, чем задал нам Буров: запечатлели о б р а з о в а н и е планет! Все, Анатолий Андреевич, можно отступать.

...Отдалялась, сникала до точки «мадам Бетельгейзе» с искорками планет. Затерялась среди звезд. И все звездное небо стянулось в галактику, теперь эллиптическую, с ярким ядром. Вот и она, голубея и съеживаясь, оказалась одной из многих; неразличимы там более звезды — да и во всех ли есть они?.. Мириады светлых вихриков, расплываясь на спаде Метапульсационной волны, кружились над куполом кабины снежинками у фонаря. Мир снова был иррационально прост: поток и турбуленция в нем.

— Так я о Вселенской иерархии событий,— продолжал Варфоломей Дормидонтович с того места, на котором его прервали; но говорил он теперь без напряжения, благодушно-спокойно. Работа сделана, кабина опускается, можно и покалякать.— Она любопытна не только тем, что в ней последующие вкладываются в предыдущие, вмещаются в них по размерам и длительностям, но и тем, что предыдущие всегда — причины. Причина-поток. Подробно я об этом доложу на семинаре, а сейчас вот вам, Анатолий Андреевич, некоторые оценки масштабов... Ну, самое первое, Метагалактическая пульсация, Вселенский вздох. Количественные рамки события: порядка

ста миллиардов световых лет в поперечнике и тысячи миллиардов лет по длительности — вам вряд ли что скажут, это далеко за пределами наших представлений. Просто примем этот событийный объем — 10^{45} световых лет в кубе, помноженные на год,— за единицу. Тогда событие второй ступени, Вселенский шторм, который вот сейчас гаснет над нами... он на порядок короче по всем размерам — составит по событийному объему одну десятитысячную от него. Отдельные волны-струи в этом турбулентном ядре, события третьей ступени, причины и носители галактик или скоплений их, составляют не более одной тысячемиллиардной доли от Шторма, то есть порядка 10^{-16} от пульсации...

Любарский помолчал, усмехнулся сам себе:

— Нет, это без таблицы и указки невозможно. Не буду глушить вас числами, просто перечислю ступени. Следующая, четвертая, это галактики-события — турбулентные ядра в струях. Пятая — звездопланетная струя, возможный носитель... да и создатель — звездопланетной системы, или просто звезды, или двойной-тройной системы их, как получится. Шестая — возникновение-существование-гибель... то есть просто жизнь — звезд и планет, небесных тел. Далее все ветвится, но применительно к планете пусть седьмая — существование биосферы, восьмая — существование животных, девятая — существование человечества... и, бог с ними, с промежуточными: существованиями народов, государств, эпох — пусть сразу десятая ступень, следствие десятого — всего лишь! — порядка от Вселенской Первопричины это ж и з н ь ч е л о в е к а. Наша с вами жизнь. Самое главное, главнее не бывает,— для нас. Так знаете, как количественно ее событийный объем соотносится с Метапульсацией?

— Как? — спросил Толюня.

— Как единица просто и единица с девяносто тремя нулями. 10^{93}.

— О!.. Это даже и сопоставить невозможно.

— Если поднатужиться, то возможно, дорогой Анатолий Андреевич,— с удовольствием возразил доцент.— Это соотношение событийного объема какого-нибудь искусственного атома... ну, там менделеевия, курчатовия, кои доли секунды живут,— с существованием нашей Земли, шара размером в двенадцать с лишним тысяч километров, прожившего уже пять миллиардов лет и рассчитывающего еще на столько же. Как мал человек!.. Но и это не все: событие «познание человеком мира» еще порядка на три меньше — а у кого и на четыре, на пять, на шесть. Много ли, действительно, мы времени на это расходуем, большую ли часть организма этим загружаем? Слух, зрение, немного руки да кора головного мозга. И получается, что малую долю своего события-существования этот «короткоживущий атом» человек может узнать то, что другие такие «атомы

познания»... или, может быть, вернее, «вирусы познания», а, Анатолий Андреевич? — узнали о мире и жизни, добавить кое-что от своих наблюдений и раздумий — и объять мыслью всю Вселенную! Как велик человек!

— Это если правильно,— подумав, сказал Васюк-Басистов.

— Что — правильно?

— Если он правильно понимает мир и свое место в нем. Тогда это действительно событие.

V

И когда под вечер он возвращался, мир для него — спокойно-гневного, со Вселенской бурей в душе — был иррационально прост. Планетишка без названия моталась вокруг звезды без названия — да и не она, а смерчик квантовой пены, взбитой и закрученной бешеным напором времени. И город был лишь местом дополнительного бурления на планете, турбулентным ядром какой-то струи; все, что перемещалось по улицам, поднималось, опускалось, вращалось, звучало, испускало запахи и отражало свет,— все было искрящимся кипением в незримом тугом потоке.

И чувства все, которые обычно руководили им, как и другими, в делах житейских, сейчас обесцветились, обесценились: за ними маячил и н о й смысл — недоступный словам, неизреченный, но н е т а к о й. Он не переживал их сейчас — восходил над ними; делалась понятной содержательность молчания, многозначительность невысказанного, мощь смирения и стремительность покоя — сущности Бытия. И все освещало отчаяние, великое космическое отчаяние того, кто знает, но изменить ничего не может.

Так было, пока не доходил до ворот детсадика, где его уже выглядывал Мишка, пока теплая ладошка сына не вкладывалась в его руку. Тогда Анатолий Андреевич замечал, что день во второй половине разгулялся, светит солнце, по-июльски жарко — плащ сыну ни к чему.

— Снимай, давай сюда.

Тот радостно снял, отдал и берет. Поглядел снизу на отца:

— Па, а тебе опять будет?..

Толюня потрогал щеки: да, действительно. И не то чтобы времени не было побриться, хватало наверху времени на все — в голову не пришло. «Если Саша не вернулась, успею дома».

Мишка был невесел.

— Пап,— спросил он,— а как в твое время дразнились?

Вопрос был неожиданный.

— А что такое?

— Да понимаешь... там у нас одна девчонка, она дразнится. А я ничего не могу придумать для нее.

— Как она тебя дразнит?

— Та-а...— сын отвернулся, произнес мрачно: — «Зубатик-касатик, кит-полосатик»...

«Самое обидное в детских дразнилках — их бессмысленность,— думал Анатолий Андреевич.— Ну, ладно — зубатик: у Мишки крупные длинноватые передние зубы, их он унаследовал от меня. Но почему — касатик? кит? полосатик?..»

— А как ее зовут?

— Да Танька.

— А, тогда просто: «Танька-Манька колбаса, кислая капуста!»

— Ну, пап, ты даешь! — разочарованно сказало дитя.— Так в малышовке дразнятся, а я с сентября в старшую группу перехожу!

И Толюня почувствовал замешательство и вину перед сыном.

ГЛАВА 19

ТРИУМФ БУРОВА

> «Люби ближнего, как самого себя». Для этого надо прежде всего как следует научиться любить самого себя. Эта наука настолько разнообразна и увлекательна, что осваивается всю жизнь — и на любовь к ближнему времени не остается.
> *К. Прутков-инженер. Мысль № 222.*

I

Внизу была ночь — время, когда работы в башне сходили почти на нет. В зоне и в самых нижних уровнях еще что-то шевелилось, делалось, а вверху было пусто. И выше, над башней, в ядре Шара была Ночь, пауза между циклами миропроявления,— та вселенская Ночь, во время которой, по древнеиндийской теории, все сущее-проявленное исчезает, чтобы затем турбулентно проявить себя снова при наступлении вселенского Дня.

Посредине между ночью и Ночью находился Буров. Он поднимался в кабине к ядру Шара, поднимался один и потаенно, даже выключив подсвечивающие прожекторы на крыше, чтобы не всполошить охрану. Ничего бы они там, внизу, не успели сделать, если б и заметили — едва хватило бы им времени на подъем. Ни с кем Виктор Федорович не желал делить ни радость победы, радость реализации выношенного замысла, ни горечь возможного поражения. (Когда идея пришла в голову, он больше всего боялся, как бы она не осенила еще кого-нибудь, скорее всего быстрого на смекалку Корнева. И необходимые заказы в мастерские выдал сам, и решил не откладывать

опыт на завтра, после того как испытал сегодня — в компании с Мишей Панкратовым — «пространственную линзу»).

Не следовало бы, конечно, подниматься без напарника и страховки внизу — ну, да ничего. Они здесь многое делали так, как не положено. В приборах он уверен, почти все они — его детища. Он лучше других знает, как из них побольше выжать.

Исследования МВ разрастались; в последние дни кабину ГиМ приспособили для долгой работы наверху. В углу положили застеленный простынями поролоновый матрас, подушку — можно прилечь отдохнуть, расслабиться; рядом холодильничек для харчей и напитков. А в закутке стояла герметичная пластмассовая посудина для мочи. Живая тварь — человек, что поделаешь, все ему надо. Сейчас все это было кстати. Кроме бутербродов, Буров прихватил термос с кофе. Виктор Федорович был полон решимости не возвращаться, пока не исполнит намеченного.

Главным, однако, был иной, совсем новый предмет в кабине: привинченная шестью винтами над пультом управления прямоугольная панель со многими клавишами, кнопками, тумблерами и рукоятками; провода от нее разноцветным жгутом тянулись за пульт. В схеме панели наличествовали не только электронные датчики, но и микрокомпьютер.

Кабина вышла на предел, система ГиМ развернулась и застыла. Вверху разгорался очередной Шторм, вселенский День. Буров включил поля, но не спешил внедряться в МВ; только, поглядев вверх, наметил цель: клубящуюся интенсивным сиянием сердцевину Шторма, наиболее перспективное по обилию образов-событий место. Надо заметить, что Виктор Федорович и всегда-то (кроме, может быть, самых первых подъемов в МВ) не был склонен впадать в экстаз-балдеж от развертывавшихся над кабиной космических зрелищ, а сейчас и вовсе он смотрел на них оценивающим, практическим... или, вернее даже, т е х н и ч е с к и м — взглядом: Вселенная там или не-Вселенная, мне важно привести ее в соответствие со своей электронной схемой. В заглавных буквах пусть это воспринимают другие.

«Итак, первая ступень, первая остановка — Шторм. Это будет клавиша 1, левая...— Буров достал фломастер, склонился к панели, поставил над белой клавишей слева единицу, щелкнул тумблером.— Пространственно-временная сердцевина его, куда мы всегда стремимся,— клавиша 2...— Он нарисовал над соседней клавишей двойку, щелчком тумблера задействовал и этот каскад.— Наметим сразу и остальные: галактика-пульсация — клавиша 3, протозвезда или звездопланетная пульсация — четыре, планетарный шлейф или планета около — клавиша 5. Пока все, теперь можно внедряться...»

Он вводил кабину в Меняющуюся Вселенную, сначала в сердцевину Шторма, затем в избранную галактику — но вводил по-новому:

нажимал клавиши, подрегулировал дистанцию и ускорение времени педалями, затем фиксировал положение поворотом рукояток на панели, пока стрелки контрольных приборчиков не возвращались на нуль; настраивал схему на МВ.

После клавиши 3 (галактика-пульсация) остальные пришлось перенумеровать, иначе скачок от галактики к звезде в ней оказывался слишком уж головокружительным. Четвертую клавишу и соответствующий каскад схемы он назвал «участок галактики»; подумал, стер надпись на алюминии, дал проще: «небо».

Внедрился в звездное небо, перебрался к телескопу и заприметил по курсу рыхлую протозвезду с характерными — имени В. Д. Любарского — вихляниями траектории. Вернулся за пульт, подрулил к ней, пока диск на экранах сделался величиной в половину солнечного, зафиксировал положение. Но нет, не получилось: звезду сносило. Виктор Федорович повел вслед за ней рулевую колонку, затем щелкнул еще тумблером на пульте — запел сельсин-моторчик, колонка пошла сама, а ему осталось, посматривая на звезду на экранах, подрегулировать приборы, чтобы смещение было в самый раз по направлению и скорости.

— Ну вот! — Выбрался из пилотского кресла, с удовольствием вздохнул полной грудью, потянулся; налил из термоса стаканчик кофе, добыл из пластиковой сумки кругляшок-кекс, пил и закусывал, поглядывая все время то на протозвезду, то на приборы; они вели кабину и «трубу», все делалось без него. Буров навинтил на термос пустой стаканчик, произнес, адресуясь, скорее всего, непосредственно к Меняющейся Вселенной: — Электричество, между прочим, может все!

«Электричество может все» — этот тезис Виктор Буров исповедывал, без преувеличения, с малых лет. Детство его прошло в старом доме, настолько старом, что там еще сохранилась внешняя электропроводка на фарфоровых роликах, а лампочки ввинчивались в допотопные металло-керамические патроны с выключателем на цоколе — ненадежные и опасные. Нет ребенка, которому не нравилось бы включать-выключать лампочки, но Вите родители строго-настрого запретили это делать. Естественно, пятилетний пай-мальчик ждал момента, когда родителей не окажется дома. Дождался. Стал на стул, с него коленками на стол — и взялся левой ручонкой за патрон свисавшей на шнуре лампочки, а правой за выключатель на нем, чтобы повернуть и зажечь.

И случилось чудо, хоть и не то, которое Витя ждал: красивая медно-белая штучка, неподвижная и холодная, вдруг ожила и так чувствительно стеганула его по пальцам, что он свалился на пол. Такое приключалось со многими детьми, в этом Витя не был исключением. Но то, что он предпринял дальше, несомненно, было

для пятилетнего малыша делом исключительным, Буров потом не без основания ставил это себе в заслугу. Отхныкав и потерев ушибленные коленки, он снова взобрался на стол, снова — хоть и боязливо теперь — взялся за медный патрон, а другой рукой за выключатель... И его снова шибануло электрическое напряжение. Это был его первый грамотно поставленный исследовательский опыт: с повторением и подтверждением результата. Лампочку тогда он так и не зажег. Но с тех пор и поныне тяга ко всему электрическому, интерес к наукам, устройствам, материалам и деталям, имевшим в названии слово «электро-», наполняли ум и душу Виктора Федоровича. В зрелом возрасте первый тезис дополнился вторым: «Электричество, как и искусство, надо любить бескорыстно».

(А ведь и в самом деле: что это за сила такая, овладевшая за полтора века миром настолько, что исчезни электрический ток — и пропала цивилизация? Сила, с одной стороны, математически ясная, подчиняющаяся законам, кои по строгости соперничают с теоремами геометрии и механики, а с другой — весьма таинственная в универсальном умении облегчать, ускорять, даже упрощать все дела людские, которых она коснется...) Во всяком случае, Виктор Федорович чувствовал свою причастность к ясности, мощи и универсальности этой великой силы. Став инженером, он осознал свои немалые возможности делать *новое* в этой области — и значительное: выразить себя в электрических и электронных схемах, как композитор в музыке, а литератор в словах и фразах. Работа в Шаре, в НПВ, давала такие возможности изобильно, поэтому Буров и не хватался за первую попавшуюся, не разменивался на мелочи, а искал и ждал большой идеи, большого дела.

...Когда Пец и Корнев объявили об изобретении полевого управления неоднородным пространством-временем и о проекте системы ГиМ, Виктор Федорович был огорчен ужасно, просто сражен. Ему, влюбленному в электричество, чувственно понимающему его, должна была прийти в голову эта идея, ему, ему! А не пришла. И казалось от досады, что вертелось что-то в голове, маячило; не поспеши эти двое, он бы дозрел и высказал... Ничего, он свое возьмет! Способ Корнева-Пеца был примером того, как можно развернуться в НПВ.

Как и Толюня, Буров чувствовал себя маленьким человеком в НИИ НПВ — только на иной лад: ему хотелось если не сравняться с такими гигантами, как Пец, Корнев и Любарский, кои нашли, сделали, открыли столько потрясающего (потрясного), то хотя бы приблизиться к ним. Да не только к ним — был и Зискинд, сотворивший башню и проект Шаргорода, а затем самолюбиво ушедший; даже за плечами рохли Васюка подвиг в Таращанске. А у него, Бурова, почти ничего — кроме устройств, которые в этих условиях сочинил бы любой квалифицированный смекалистый электронщик.

И вот час пробил. Сначала возникла проблема, а затем и разрешающая ее идея.

II

Проблема выражалась одним словом: планеты. Прав был Варфоломей Дормидонтович — даже более, чем сам бы того хотел: не только Метапульсацию, Шторм и полигалактические струи ум исследователей МВ принимал спокойно, с прохладцей, но и — хоть и в меньшей степени — сами галактики, звездные небеса, даже приближенные до различаемого диска звезды. Во всем этом все-таки было многовато учебникового, к извечному опыту жизни людей мало касаемого. По теории Пеца, пространство-время есть плотнейшая среда и мощный поток, а для нас безжизненная пустота. По гипотезе Любарского, вещество суть квантовая (вырожденная) пена в этом сверхпотоке материи-времени, а по опыту жизни то, из чего состоим; по крайней мере, нам кажется, что мы из этого состоим. Иное дело планеты. И неважно, что не только в теории, но и по прямым наблюдениям они едва различимые точки в пустыне мироздания — для нас это огромные миры, кои нас породили, взрастили, на коих обитаем. Да и практика космонавтики (впрочем, и теория, и даже фантастика) нацеливает нас, что именно это самое важное: Луна, Марс, Венера, далекие планеты, астероиды, кометы — небольшие, несветящиеся, прохладные тела. Они для нас с в о и.

Именно это интуитивно продиктовало, что после описанного выше подъема Васюка-Басистова и Любарского, первыми заснявших планеты Меняющейся Вселенной, обнаружение и наблюдение планет далее как-то само собой стало главной целью. Но — даже после введения в дело «пространственной линзы» рассмотреть удавалось, в основном, начала и концы. Различные начала жизни планет одинаково впечатляли:

— и выделение шлейфов вещества из бешеного огненного вихря протозвезды (что наблюдали Варфоломей Дормидонтович и Толюня).

— и захват крупной звездой в свою круговерть окрестной остывшей звездной мелочи (планет типа Юпитера или Сатурна).

— и даже возникновение планетарных шаров как бы из ничего, путем а к к р е ц и и, стягивания и слипания мелких метеоров.

Кончины миров были не менее интересны: иногда планеты поглощала и сжигала раздувшаяся в «новую» мамаша-звезда (обычно на стадии галактического спада), иной раз сама планета вдруг быстро разбухала, накалялась и расплывалась в облако — при полном благополучии светила и остальных тел. Нередко выбрасываемые звездой новые протопланетные шлейфы уничтожали миры на ближ-

них орбитах. Во всем этом, если смотреть в крупном масштабе и ускоренном времени, проявляло себя единое для участка галактики (а то и для всей галактики) волнение пространства; мерцания яркости и вспышки звезд, выбрасывания шлейфов в нем были подобны бликам на воде. В самых выразительных и долгоживущих галактиках иные звезды много раз выделяли из себя свиту планет (а крупные среди них — и свиты спутников), поглощали их, выделяли снова иные...

Но все это было не то. Две крайние стадии соотносились с длительным существованием планет, их неспешной эволюцией, как рождение и смерть человека соотносятся с его жизнью. А именно картины формирования облика миров, подробности строения и изменений его оказывалиєь малодоступны: уж больно юрко планетишки шмыгали по орбитам около светил, освещаемые ими то так, то этак, а то и вовсе никак; далекие, медленно плывущие в пространстве оказывались тусклы, да и вращались все, да и прикрывали лик свой атмосферой с облаками, а то и сплошь в тучах... С помощью «пространственной линзы» удалось ухватить у некоторых вид полушария, моментальный снимок; для далеких, «вечных» шаров Солнечной системы — Урана, Нептуна, Плутона — это было бы событием; а для «миров на раз» из МВ — пустым, невоспроизводимым фактом, кои наука отметает. Изменения объектов важнее объектов.

В том и был азарт проблемы, чтобы существам размерами в одну десятимиллионную от поперечника своей планеты, живущим в сто миллионов раз меньше ее, охватить подробными наблюдениями, постичь всю миллиардолетнюю жизнь сложного громадного мира! Да и не за жизнь свою, а за малость, за часы. Да хорошо бы не одну планету так изучить, а сравнить десятки, сотни, тысячи... Сама постановка задачи как бы подчеркивала невозможность ее разрешения.

А теперь Буров знал, как ее решить: импульсной синхронизацией.

Он вернулся в кресло пилота и, перейдя на ножное управление, отпустил правую педаль — отступил во времени: чтобы из выброшенных протозвездой, пока он пил кофе, двух эллипсоидных шлейфов поскорее образовались планеты. Так и вышло, упрощенно и быстро, будто в мультике: ядро протозвезды уплотнилось в накалившийся до голубизны карликовый шар, шлейфы, быстро остывая, разорвались на дуги: ближний на три куска, дальний на пять, а те стянулись в закрутившиеся (тоже с мультипликационной быстротой) объемные вихри-комья. Вскоре они были заметны только в отраженном свете звезды и быстро уплотнялись — мечущиеся по орбитам, меняющие цвет и форму серповидные искорки.

«Какую выбрать? Ну, по аналогии с Землей — третью...» Вряд ли она окажется землеподобной, это невероятно. Может, марсо-

подобной или похожей на спутники Юпитера, на Меркурий, в конце концов? А если в густых тучах, вроде Венеры или Юпитера? В ускоренном времени инфралучи, которые проникают сквозь облака, дают видимый свет, что-то все равно увижу. Итак?..»

Нажатием педалей Буров приблизился во времени к звезде и намеченной планете. Но не слишком, чтобы последняя совершала годовой оборот вокруг светила за полминуты: так удобней оценить параметры ее движения. Планетка-искорка неслась в кромешной тьме, разрасталась до крошечного полудиска без подробностей, вблизи купола кабины становилась серпиком, который перекатывался слева направо через полярную область,— и юркала вправо во тьму. Виктор Федорович наметил место в правой части орбиты, куда он будет в ы х о д и т ь на планету, там она хорошо освещена. Сделал необходимые подсчеты на компьютере, поворотами ручек и нажатиями клавиш перенес числа в свой прибор. «Ну?..» Он снова глубоко вздохнул; сейчас как-то само дышалось во всю грудь. То, что Буров делал до сих пор, было присказкой; теперь начиналась самая сказка. Ткнул пальцем черную пипку на щитке, включил импульсный режим. Как раз в момент, когда планетка пришла в облюбованное им место.

Пошло импульсное слежение-сближение. Шмыгнул прочь «белый карлик», застыло звездное небо над куполом. Пингпонговый шарик планеты вдруг замедлил бег по орбите, вяло пополз от намеченного места вперед, в область худшего освещения. Но Буров чуть шевельнул рукояткой «Частота»: планета остановилась, будто в нерешительности... и вернулась в намеченное место! Замерла там, отчетливо видимая над куполом кабины во тьме и на всех экранах.

— Вышло! — азартно выдохнул Витя.

Это был всего-навсего эффект импульсной синхронизации — того типа, что применяют в осциллографах и телевизорах, чтобы не дрожало и не плавало изображение. Требовалась изрядная дерзость, чтобы примерить идею, реализованную для электронного лучика в вакуумной трубке, к километровой электродной системе ГиМ, к ее мегавольтовым полям и, главное, к просторам и образам Меняющейся Вселенной. Труднее всего было преодолеть гипноз пространств, оторопь космического путешественника, внушить себе, что он, Буров, просто настраивает изображение на экране телевизора. Только находится с кабиной в н у т р и «электронной трубки» ГиМ, всего и делов.

Импульс — пауза, импульс — пауза... Поля электродной системы в импульсе выбрасывали кабину максимально близко к планете — как в пространстве, так и по времени, а в паузу — откат кабины к малому темпу. За неощутимый для Бурова интервал в тысячную долю секунды планета совершала годовой оборот — и к новому импульсу оказывалась на том же месте, освещенная своим солнцем.

«Теперь — пространственная линза...» Виктор Федорович щелкнул другим тумблером на панели и поворотом рукоятки увеличил поле на самом верхнем, ажурном венчике электродов над кабиной; это и была «пространственная линза». Сам глядел вверх: планета разрасталась в размерах, на ее дневной стороне обозначились полосы с размытыми краями; граница между атмосферой и тьмой космоса была зыбкой.

«Планета еще формируется?.. Нет, дело не в том — не только в том. Она вращается... И ее сутки не укладываются в годовой оборот целое число раз. Она оказывается в м о е й точке орбиты всякий раз со сдвигом — вот и выходит видимость бешеного вращения, когда все сливается в полосы. Как быть?.. Ага! Надо задать с той же частотой импульсы бокового сноса кабины. Причем не в одну сторону, а то туда, то сюда по орбите... с интервалом в сутки планеты. А какие они?.. Это можно нащупать».

Устроился в кресле с закинутой вверх головой, левая рука на штурвале, правая на панели, расположение клавишей, рукояток и тумблеров он знал — принялся нащупывать. Сначала планета растянулась по орбите в ярко-желтую сардельку, боковые очертания расплылись. Но вот «сарделька» укоротилась, очетчилась в шар — снова планета более никуда не удалялась, ниоткуда не появлялась, висела над кабиной; только теперь с заметным рельефом теней, с темными и светлыми пятнами, с контрастной линией терминатора посреди диска. Все это чуть дрожало: точной работой рукояток Виктор Федорович устранил и дрожания.

«Туда-сюда, туда-сюда!..» — мысленно приговаривал он, представляя, как кабина снует вверх-вниз и вправо-влево, как с каждым ее броском импульсно включается «пространственная линза». Это было не совсем так, сновала не кабина — «сновало», круто меняя свойства, пространство-время.

Для закрепления методики Буров повертел рукоятки. От изменения фазы «снований» планета медленно уплывала вперед или назад по орбите, менялось ее освещение и положение. А от шевеления рукояток суточной настройки вышло совсем чудесно: планета плавно поворачивалась в ту или иную, зависящую от сдвига ручек сторону, показывала невидимую ранее поверхность. Получалось, что легким движением пальцев Витя вертел, как хотел, огромным миром. Он чувствовал себя сразу и богом, и настройщиком цветного телевизора.

Напоследок он поорудовал рукоятками полей «линзы». На предельном увеличении планета имела размеры Луны; дальше начинались дрожания и искажения.

Буров записал положения рукояток. Включил свой старенький свето-звуковой преобразователь: от планеты пошли шумы. Поднялся из кресла, лег на матрас в углу. Оттуда планета смотрелась не-

удобно; вернулся к пульту, подправил положение кабины рулевой колонкой. Снова улегся на матрас, закинул руки за голову, а правую ногу на согнутую в колене левую. Вот теперь было хорошо: он в комфортных условиях смотрел и слушал уникальную «передачу». Самоутверждался.

...И посылаемое сюда планетой излучение было большей частью не обычным светом, а смещенными инфракрасными волнами: и в динамиках звучал не шум бурь, обвалов и иных происходящих на планете процессов, а преобразованный фотоэлементами тот же «свет-несвет» из разных участков планетного диска. Тем не менее шла прямая трансляция Жизни планеты — в четких картинах, в цвете и стереозвучании. Сто раз в секунду выхватывался суточный кадр из каждого годового оборота планеты; отметались кратковременные случайные события в атмосфере и на тверди, выделялось устойчиво повторяющееся из года в год.

Кадр-год, кадр-год — *и ревела, грохотала, рычала формирующаяся планета.* Кадр-год, кадр-год — *все отчетливее вырисовывается рельеф за раскаленно-дымной оболочкой: пятна с рваными краями, овражные трещины. Там, где они уходят за терминатор, заметен в ночи бьющий из них огонь. Твердь зыбка и тонка.*

Кадр-год, кадр-год... В считанные минуты (то есть *за немногие миллионы лет) потемнела ночная сторона, не раскалывают* ее *огневые расселины. Мерцает еще там сыпь малиновых, алых, желтых пятнышек и точек — но и они редеют, гаснут (так сгорает соринка* на раскаленной плите). Кадр-год, кадр-год... *обездымливается, яснеет атмосфера, отчетливо вырисовываются под ней ломаные контуры пятен и грубых теневых провалов. Светлое большое пятно напоминает льдину; другое выгибается по низу полушария Африкой, край его уходит за горизонт. Неспокойны пятна, возникает на них рябь всплесков, пузырьков* на пределе различения (то есть размерами порядка десятков километров). *Но год от года мелчает и сникает эта рябь. Неспокойна и атмосфера, горячая муть ее искривляет рельеф на боках планеты; закручиваются на многие века-секунды пылевые вихри...*

Буров смежил уставшие глаза, с минуту слушал только шум в динамиках. Он стихал — перешел в шорох. Что такое? Виктор Федорович открыл глаза... и понял, что надо подниматься, что-то делать.

Планета успокоилась: окончательно прояснилась атмосфера, контуры и расцветки выступов и плато, равно как и теневые провалы впадин, застыли, не менялись более за века-секунды.

Он вернулся в пилотское кресло. Шевелением ручки боковых сдвигов поворотил планету над куполом другой стороной: там тоже был установившийся рельеф выступов, плато и низин. Затем взялся

за переключатель, который до сих пор не трогал; над клювиком его на панели шли по дуге числа «1:1—1:10—1:100». Его Буров предусмотрел в своей схеме только потому, что такой наличествует в осциллографе: уменьшать или увеличивать в десять и сто раз усиления по вертикали и горизонтали; а вот и пригодился.

Он повернул черный клювик от «1:1» к «1:10». Теперь импульс поля выносил кабину к планете один раз на десять оборотов е вокруг светила: пауза, откат к еще меньшим темпам времени, неощутимо съедала и такой интервал. Пошел режим «кадр-десятилетие».

...И планета ожила. Твердь ее еще не твердь, она дышит, волнуется, ходит ходуном. Вспучиваются, вырастают из темных впадин свищи-вулканы — и опадают. Налезают друг на друга материковые плиты, вздыбливаются горными хребтами. Те еще не нашли своего места, ползут по материкам каменными ящерицами, перебирают лапами-отрогами. Морщат лик планеты ветвистые провалы-ущелья.

Вот за немногие тысячелетия-секунды полушарие покрывала, распространяясь от экваториальных широт, серая дымка. Очертания суши расплылись, темные впадины сглаживались, наполнялись ровно. «Ага,— понял Буров,— планета охладилась, влага сконденсировалась в тучи — и тысячелетние дожди там сейчас наполняют моря!» *Кончился «сезон дождей», очистились небеса над планетой, отдав влагу. Во впадинах и низинах образовались моря и океаны — ровная темно-серая гладь. К ним с разных мест тянутся извилистые темные полосы, ветвятся древовидно — речные долины.*

Снова картина стабилизировалась, мелькание тысячелетий-секунд мало что меняло. Буров повернул клювик переключателя к «1:100» — режим «кадр-век», десять тысячелетий в секунду. По нашим меркам жутко быстро, а для планеты не очень: миллиард ее лет — если они сравнимы с нашими — растянется на тридцать часов, Виктору Федоровичу ни кофе, ни харчей не хватит.

И снова ожила поверхность застывшего, успокоившегося было мира: росли, отбрасывая все большие тени вблизи терминатора, новые горные страны, а в других местах твердь опускалась. Замкнутые «водоемы» (вода ли была в них?) переползали туда, как амебы, шевеля ложноножками-берегами. И един был во всем темп изменений, миллионолетний ритм дыхания суши.

Виктор Федорович поддался гипнозу МВ, смотрел увлеченно и с удовольствием. Нет, слабы были по впечатляющей силе галактики и звезды в них — блестки на новогодней елке! — против зрелища творящей свой облик планеты, большого н а с т о я щ е г о мира! «А ведь и наши моря когда-то так переползали-переливались, и Каспий, и Черное, и Балтика... А их бывшее дно выпирало Кавказом или Скандинавским хребтом».

Но — и этот ритм замедлился, сник за десяток минут. И звучание в динамиках опять стихло до шелеста, до шипения. Под стать

звукам что-то чуть подрагивало в самых мелких деталях гор, берегов, островков на планете; то ли это было от дальнейшей жизни шара, то ли сказывались неточности импульсного снования кабины ГиМ.

Буров решил не досматривать «передачу» о жизни планеты до конца. Отступил во времени и пространстве — и понял, что и не смог бы ее досмотреть: слишком далеко снесло звезду-светило вместе с планетами от оси «электрической трубы», дальше изгибать эту ось полями было рискованно. Он выключил свой импульсный режим, плавно опускал кабину. Уходила в черноту, уменьшалась до горошины, до голубой искорки, сникала в ничто планета с материками и морями, огромный живой мир; удалилось, сворачиваясь в яркую точку, и ее благодатное солнце, включилось в общий хоровод звезд. Вот и все звезды сблизились, небо из них свернулось в галактический рукав, а он впал в великолепно сверкающее шаровое ядро. Галактика удаляется, голубея, сближается с другими — и видно теперь, что все они не сами по себе, а искрящиеся метки-вихрики в потоке материи-времени.

Зрелище философское, отрешающее, грустное. Вспомнив о закончившей свой жизненный путь в глубинах Меняющейся Вселенно планете, своей первенькой, Виктор Федорович вздохнул.

Он отступил вниз по «полевой трубе» как раз настолько, чтобы многие миллиарды лет новой Вселенской Ночи уложились в несколько часов — для отдыха. Включил в кабине свет — забыл, что надо конспирироваться. (Свет засекла охрана, была легкая тревога, происшествие попало в сводку.) Впрочем, теперь это не имело значения: он сделал, что наметил, достиг, победил. Буров добыл из холодильника бутерброды, термос, бутылочку «Фанты», поел, запивая и расхаживая по свободной диагонали кабины из угла в угол. Погасил свет, растянулся на матрасе. Рассчитывал поспать, но сон не шел — просто глядел, как над куполом кабины колышется сиреневая муть. Воображение вместе с памятью недавнего опыта подсказывало, что мир, который он синхронно наблюдал, равновеликий с земным,— точка в этом объемном волнении МВ; а жизнь его — краткий миг, не дольше вспышки молнии. От таких мыслей не очень уснешь.

Отдохнул, встал. Зарядил видеомаг и кинокамеры, нацелил их объективы в центр купола. Сел к пульту, включил поля — кабину вынесло в начинающийся Шторм, День Брахмо. Вошел в него, затем в формирующуюся галактику; выбрал беременную планетами протозвезду, включил импульсный режим — и сноровисто, без ошибок повторил опыт, снимая жизнь планеты на пленки.

...И случился эпизод, о котором Виктор Федорович потом вспоминал: когда планета над головой, над кабиной формировала свой

самый выразительный и прекрасный облик — приспичило по малой. Пи-пи. Да так, что, подкручивая верньеры настройки, Буров едва не пританцовывал. Наконец освободился, достал банку, с наслаждением помочился — и при этом не только умом, но и всей спиной, щекоткой в позвоночнике сознавал, что гремящий громадный мир над ним пережил за это время не одну геологическую эру...

III

И был же триумф на следующее утро, когда Витя Буров, дождавшись, пока соберутся все, да пригласив еще Пеца, Александра Ивановича и Люсю Малюту (на которую имел особые виды), показал на экране отснятое ночью!

Был восторг, аплодисменты и даже поцелуи — к сожалению, только мужчин. Такого никто не ожидал, об этом не думали и не мечтали: увидеть то, что невозможно нам, эфемеридам, прямо наблюдать ни для своей Земли, ни для иных миров Солнечной Системы,— всю жизнь планеты. Да и услышать — потому что Виктор не забыл запустить в просмотровом зале и пленку со звуками от своего преобразователя: бурлила, шумела под аккомпанемент Вселенского моря материи формирующаяся твердь; видимое и слышимое находилось в единстве.

Когда включили свет, Александр Иванович подошел к Бурову, торжественно выпрямился, одернул пиджак.

— Виктор Федорович, Витя,— сказал он проникновенным голосом,— я был к вам несправедлив: драил, шпынял и снимал стружку. Сознаюсь в худшем: когда вы не слишком удачно дебютировали в лаборатории приборов для НПВ, я подумывал от вас избавиться. Сейчас мне противно вспоминать, какую глупость я мог совершить! Так не понять вас, не понять, что вы человек исключительных идей — крупных и смелых, стремящийся действовать на главном направлении, не размениваться на поделки. И то, что вы сопротивлялись моему напору и напору других командиров, теперь не роняет вас в моих глазах, а напротив — возвышает. Теперь я вижу: это было потому, что вы шли впереди нас. Впереди — а мы, считая, что вы отстаете, дергали вас назад!..

Витя Буров тоже стоял выпрямившись возле проектора. Широкие щеки его (и уши, хоть и прикрытые шевелюрой, но заметно оттопыривающиеся) румянились, губы неудержимо растягивала довольная мальчишеская улыбка.

— Поэтому, Виктор Федорович,— продолжал так же проникновенно Корнев,— не держите на меня зло. То, что вы сделали (как, впрочем, и сделанное другими), несомненно заслуживает Госпремии. Но, увы, это пока никому из нас не светит: по обычному счету

наше НИИ работает только восьмой месяц. В метрополии рассмеются, если мы сунемся с такими претензиями... Поэтому мы почтим вас тем, что в наших силах: во-первых, снимем тот выговор... Сняли, Вэ-Вэ? — повернулся главный инженер к директору. Тот кивнул.— Во-вторых, поскольку человеку без взысканий не возбраняется премия, то — двойной оклад. Даем, Вэ-Вэ?

Буров подтвердил:

— Да, конечно.

— В-третьих, когда будем кое с кого снимать три шкуры за загубленные кинопленки,— Корнев многообещающе покосился на Васюка и Любарского,— вас это не коснется. Ну и лично от себя...— Он сощурился, подоил нос.— В ближайшие три дождя обещаю переносить вас через лужи на закорках. Можете приглашать телевидение и фотокорреспондентов.

Все с улыбками поаплодировали такой речи.

— Ну, Александр Иванович,— сказал Буров, обеими руками тряся руку главного,— вы сказали такое... дороже всяких Госпремий!

Лукавил Виктор Федорович, лукавил: конечно, Госпремия была бы лучше. Ну, да ведь все равно не светит.

На этом чествование окончилось, разговор перешел на дальнейшие дела и проблемы.

Перво-наперво все приветствовали успешное испытание в импульсном режиме «пространственной линзы» — и поддержали предложение Бурова устроить над первой еще и вторую, тем создать сверхсильный «пространственный телескоп», а обычный максутовский из кабины долой.

— Только на ручном управлении теперь мы там все не вытянем,— сказал Виктор Федорович.— Столько приборов, ручек, клавишей, переключателей... недолго и запутаться. Надо автоматизировать не только наблюдения, но и поиск объектов в МВ. Возможно это, Людмила Сергеевна?

Та подумала:

— Ну... если ваш шквал новшеств в системе ГиМ уже весь... Весь или не весь, говорите прямо?

Буров ответил:

— Допустим, весь.

— Ох, сомневаюсь! — подал голос Любарский.— Надежнее исходить из того, что не весь.

— Вот видите. Тогда... тогда вам нужна очень гибкая автоматика. С возможной перестройкой схем...— размышляла вслух Люся,— с запоминанием новых образов, с учетом опыта — самообучающаяся! Персептронная. На микропроцессорах.— Она оглядела всех несколько свысока.— Заказывайте, но имейте в виду: это только очень состоятельным людям под силу.

IV

Хроника шара.

Как оно, право, бывает: Анатолий Андреевич Васюк-Басистов считал себя маленьким, будучи на самом деле человеком великой души. Витя Буров стремился вырваться из своего ничтожества, но каким был, таким и остался. Однако именно его изобретение закрутило в лаборатории МВ, да и во всем Институте, такой вихрь новых дел, проблем, идей, открытий, мнений, переживаний, что для описания его автору впору самому изобретать какой-нибудь такой метод импульсного выхватывания — если и не «кадр-год», то хотя бы «факт-час», «реплика-совещание», «возглас-ситуация»... Но если стать на эту дорожку, в конце ее окажется ведический возглас «Ом!» или «АУМ!», в котором, по индуистским верованиям, заключена вся жизнь мира. Может, оно и так — но все-таки слишком уж кратко. Поэтому остановимся на проверенном со времен Карла Двенадцатого методе хроники.

Но доминанта и в ней — изобретение Бурова. С него, с импульсной синхронизации наблюдений МВ началось самое драматическое время в истории Шара. Таков вклад в жизнь мира маленьких людей, но больших специалистов своего дела; вспомним, к примеру, атомную бомбу.

1) Для системы ГиМ начали сооружать второе, самое высокое кольцо электродов — под пространственную линзу-объектив. Делать его приходилось очень легким, поскольку «линза» внедрялась в столь разреженные слои воздуха в Шаре, что аэростаты едва тянули. Здесь действительно исследователи выходили на предел. «Следующим шагом,— заявил Корнев,— может быть только прямой космический полет в МВ».

2) Попытка администрации Института в лице Корнева и Пеца снять с начлаба Любарского и начгруппы Васюка три шкуры за безвременно состарившиеся кинопленки стоимостью в шестьдесят тысяч — после поданной озлобившимся Приятелем докладной — с треском провалилась. Дело в том, что эти люди (как и все работники в Шаре) до сих пор получали зарплату по земному счету времени; обещание зампреда Авдотьина выработать специальные инструкции для НПВ набирало бюрократическую силу в столах инстанций, работающих солидно и на века. Но коли для работников лаборатории минуло от момента получения кассет с пленками три-четыре рабочих дня, как могло оказаться, что для самих пленок минуло полтора-два года?.. Юридически — для взысканий и вычетов — это невозможно.

Больше того, дальнейшее развитие этой логики привело руководство — в лице Корнева и Альтера — к необходимости совер-

шить безнравственный (хотя и выгодный для Института) поступок. Поскольку работники лаборатории МВ не виноваты, чисты, как ангелы, а пленки все-таки дают вуаль, то повинен кто? — поставщик. И кассеты в сопровождении протокола о рекламации и грозного письма отправили в Шосткинское объединение «Свема» самолетом. Тем нечем было крыть, обратным рейсом в НИИ НПВ прибыла партия кассет со свежей пленкой.

— В конце концов, Альтер Абрамович, Земля нам тоже подкидывает свинство за свинством,— сказал Александр Иванович.

Тот только пробормотал: «Мерзавцы!» — но разъяснять, кого имеет в виду (не себя же, высказавшего — по долгу службы — предложение о рекламации), не стал.

3) *Обобщение Любарского.* «Во всех образах-событиях, которые мы наблюдаем в МВ, можно выделить пять четких стадий:

возникновение (синонимы: появление, проявление, выделение из однородной среды...),

дифференциация (формирование, разделение, выделение подробностей, набор выразительности...),

экстремальная (максимальная выразительность, наибольшее разделение, устойчивость),

смешение (спад выразительности, расплывание, размазывание подробностей...) и

исчезновение образа как целого (распад, разрушение, растворение в среде).

При этом замечательно, что образы следующего порядка возникают на стадии дифференциации-разделения предыдущих: протозвезды — на стадии дифференциации галактик, планеты — на стадии разделения протозвезд на звезду и шлейфы, материки на планетах — после формирования в них твердой оболочки и газовой атмосферы и так далее. Соответственно и исчезают образы-следствия на стадии смешения образов-причин».

Это обобщение Варфоломей Дормидонтович доложил на семинаре в лаборатории — после многих подъемов в МВ и импульсных наблюдений за планетами. Потому что главным вопросом было: а на сколько их-то, подобных нашим, миров жизнь отлична от прочего в Меняющейся Вселенной, в четырехмерно пульсирующем океане материи? И, несмотря на обилие живописных подробностей, оказывалось: по-крупному, для теории — ни насколько. Возникновение-исчезновение, разделение-смешение. Посредине между тем и другим стадия выразительного устойчивого существования в волнепотоке. Иногда более выразительного, чем устойчивого, иногда наоборот. И все.

А так хотелось, чтобы было свое, отличное...

4) *Обобщение Люси Малюты,* сделанное ею при создании поискового автомата ГиМ. Довольно простое и, может быть, не шибко оригинальное — но важное: «Во всем наблюдаемом мы выделяем, во-первых, цельный образ, во-вторых, его детали (подобразы) и, наконец, предельно различимые подробности. Импульсную синхронизацию Бурова в МВ следует подбирать так, чтобы образ в целом был выразителен и устойчив, а средние детали изменялись заметно, но не размазанно, с сохранением отчетливости. Второе: скачки пространственно-временного приближения должны быть таковы, чтобы средние детали-подобразы переходили в цельные образы и замирали, а их средними — и меняющимися — деталями оказывались прежние «предельно различимые подробности».

Пример. Цельный образ — планета Земля. Средние подобразы: материки и крупные острова, океаны и моря, горные страны, приполярные области оледенения — все размерами в тысячи километров. Предельно различимые детали (порядка десятка километров): мелкие острова и крупные озера, отдельные хребты и ущелья в горных массивах, широкие речные долины, ледники, полуострова, плато, заливы и проливы.

Как «оживить» это во времени? Нынешняя скорость дыхания земной коры — от одного сантиметра в год (в Скандинавии) до 5 см/год в Средней Азии. То есть в среднем около 3 сантиметров в год. Горизонтальное движение материковых плит примерно такое же. С учетом того, что от вертикальных изменений рельефа происходит перемещение морей, таяние или возникновение горных ледников, а у терминатора и многократно усиленные изменения в картине теней,— это дыхание земной коры, будь оно на планете МВ, можно прямо увидеть в режиме «кадр-век» (десять тысячелетий в секунду). Горизонтальные движения материков и изменения их форм менее заметны, для них потребовался бы «кадр в тысячелетие».

На следующей ступени ПВ-сближения цельным образом оказывается, например, выразительная часть материка с внутренним морем или горной страной, средними подобразами — горные хребты, речные долины, однородные плато, озера, и т. п.; предельно различимы детали порядка километра. Поскольку мелкие объекты, как правило, быстрее изменяются, здесь подходят режимы от «кадр-век» до «кадр-год».

...Эти суждения Людмилы Сергеевны примечательны примеркой нашей родимой планеты к условиям МВ. В десятках первых наблюдений исследователи не уловили ни одной землеподобной планеты; первая, чем-то близкая, на которой Буров отрабатывал свой метод и не заснял, полагая, что таких будет навалом, оказалась уникальной. Но в умах у всех было: а как бы наша Земля выглядела там?.. И популярны стали в лаборатории МВ альбомы снимков зем-

ной поверхности из космоса. Их рассматривали внимательно, но и с разочарованием: уж больно незаметны оказывались даже из ближнего, заатмосферного космоса города, гигантские стройки и промышленные комплексы, аэродромы, морские порты — все, что в силу важности для нас кажется нам таким значительным в цивилизации. Действительно, детали на пределе (а часто и за пределом) различимости: если не сверить с картой, не поймешь, что это такое.

5) Не только это было в их умах. Люди начитанные в фантастике, они — правда, больше в перекурах, в сауне или после еды для пищеварения — обсуждали и возможности приключенческого плана. В духе серий «Детлитературы» и «Молодой гвардии». Вот-де они еще что-то изобретут для системы ГиМ — и смогут посредством ее сигать на планеты МВ. Каким-нибудь таким импульсом, без ракет. А уж там-то — ого-го! оля-ля!.. И тебе встречи с низшими по развитию существами, которые на наших покушаются и пленяют, но наши освобождаются и тех благородно воспитывают. И тебе встречи с высшими цивилизациями, где наши сначала ни хрена не понимают, но потом усекают и всех благородно воспитывают. И пикантные инопланетянки для порции здорового секса. И душераздирающие ситуации... Вот, на выбор, одна, сочиненная Мишей Панкратовым, по молодости своей более других увлеченным фантастикой: как после высадки на живописную дикую планету мужественного Васюка и энтузиаста поиска «братьев по разуму» Любарского в импульсной системе забарахлило реле, управляющее задними электродами, кабина отскочила в медленное время. Подгорел контакт. И за минуту, пока зачищают контакт, на планете протекают десятилетия, наши герои терпят невзгоды, но не теряют надежды. Раз в неделю они приходят на место, где их высадили, ждут: вот-вот в просвете багровых туч появится кабина... А ее все нет, зачищают контакт. Любарский теряет очки и гибнет, сослепу приняв за «брата по разуму» молодого носорога. Толюня питается кореньями и ходит к месту высадки. От мучительной жизни он забыл, зачем наведывается сюда, кто он, чего ждет от небес,— это превращается в дикарский ритуал. Наконец исправили реле, кабина рванула к планете. Ее встречает изможденный дикарь в плавках, с седыми патлами и бородой. Глаза его блуждают, он ритуально помахивает авоськой с черепом Любарского и поет «Если б был я турецкий султан...» Толюню моют, стригут и возвращают в лоно семьи.

Но, натрепавшись, навеселившись, докурив сигареты, они возвращались к приборам и расчетам, к проекторам и реактивам, к наблюдениям и съемкам — к нормальному исследованию Меняющейся Вселенной. Наибольшая драма заключалась именно в нем.

6)...и в частности, в ОБОБЩЕНИИ КОРНЕВА: «В зависимости

от режима наблюдений образы Меняющейся Вселенной могут выглядеть:

— наиболее заметными деталями (метками) пространственно-временного потока материи — в самом крупномасштабном и слитном режиме.

— самостоятельными меняющимися ж и в ы м и цельностями в пустоте — в согласованном режиме;

— неподвижно застывшими м е р т в ы м и объектами — в обычном для нас восприятии мира».

В отличие от других Александр Иванович не спешил объявить о своем открытии на семинарах. Процесс познания мира, начатый им,. как и всеми нами, для других: для получения хороших оценок и похвал, затем для стипендии, диплома, повышения по службе, диссертации...— теперь все более становился необходим ему самому. И Корнев проверял, подтверждал свое открытие-обобщение в каждом подъеме в МВ. Сидел в пилотском кресле, работал педалями, переключателями, штурвалом, рукоятками на пульте Бурова, смотрел на экраны и в небо за куполом — и видел:

нажатие левой педали выносит кабину к облаку «мерцаний»; *оно размахивается фейерверком ярких вихриков-галактик и псевдогалактик;* подход к ближней — *она разворачивается сверкающей воронкой* над куполом...

Но нажать правую педаль «время» — и *остановилась, застыла галактика, живет теперь сама по себе; скручивается, маша рукавами, во все более тугой вихрь, конденсирует свой светящийся туман в точечные сгустки звезд, в* огненные дождинки; *теперь они вихляют вихриками света на несущих их незримых струях...*

А дожать еще педаль «время» — и *застыли они: отдаленное звездное небо,* в кое можно внедриться дожатием левой педали... дожать ее, переключиться на пульте Бурова: разбегается по сторонам звездная мелочь, нет галактики, есть *участок тьмы с десятками ярких вихревых точек; они несутся в потоке пространства, кружат друг около друга, меняют яркости, вихляют* — по недоступному для математического описания, но очевидному для глаз закону турбулентного волнения...

Переключениями на пульте максимально приблизить свое время ко времени т о г о пространства — и очищается от блеклой мути тьма, *гаснут радиозвезды, подлинные светила накаляются, уплотняются до точек, замедляют бег.* Нет потока — *есть небо в определенных фигурах созвездий,* присыпанное сверху золотым песочком Млечного Пути; нормальное *звездное небо,* подобное тому, что наблюдаем мы, наблюдали наши предки и предки этих предков, когда поднимали воющие, чавкающие или рычащие морды вверх. И сразу спокойно-торжественно на душе — как и подобает при созерцании сделанного навсегда *мироздания.*

Новые повороты ручек, нажатия педалей, переключения — выделилась *звезда с планетами*. Все всерьез: *пылающий диск светила* греет лицо, кабину чуть пошатывает *гравитационное поле мечущейся по орбите большой планеты*. Но нет, без синхронизации и звезда не звезда, и планета не планета: все погружено в туманный вихрь светящейся пыли, светило — лишь яркий центр этой воронки пространства; планеты, окутанные ионными шлейфами, водят хоровод круговертей около нее: ближние — быстро, дальние — медленно...

Но переход на согласованный импульсный режим Бурова: *висит в черной пустоте солнцеподобный шар, застыла на орбите в нужном месте планета — и только живет, меняет свой облик, плотнеет, очеловечивается выразительно...*

А переключиться на большую частоту снований «кадров» — и все мертво застывает: *планета — неподвижный прочный мир-фундамент*.

Повороты ручек, нажатия клавишей и педалей, щелканье переключателями... В одну сторону — от потока к убедительно неподвижным объектам-мирам, в другую — от мертвых миров через наблюдение их эволюции-жизни к простому и цельному потоку материи-времени. В одну сторону от Единства к разнообразию, в другую — от разнообразия к Единству.

И зыбок становился для Александра Ивановича обычный мир, когда он покидал башню; смотрел он на него все более тревожно и недоверчиво. Волна, меняющая под собой и в себе воду на пути к берегу, умеет выглядеть неподвижной. Воронка воды и пены над сливом в ванной тоже имеет определенный рисунок.

Истина одна? Кто знает... Истина бывает и многолика.

ГЛАВА 20

САША + ЛЮСЯ=?..

Как мы с милкой целовались,
целовались горячо.
Она мне шею своротила,
я ей вывихнул плечо.

Фольклор.

I

Отрывки из диалогов:

— Куда летит Земля?
— Ну?
— Что — ну?

— Ну, дальше? Вы же хотите рассказать анекдот? Слушаю.

— Какой анекдот, Вэ-Вэ: мы живем на космическом теле, которое вместе с породившей его звездой движется во Вселенной. Между прочим, с довольно серьезной скоростью, 250 километров в секунду. С учетом массы это столь громадное движение-действие, что все остальные на планете против него ничто. Так вот: куда летим? Укажите направление или хоть сообщите ориентиры. Неужто не задумывались?

— Не приставайте к занятым людям, Саша. Мне бы ваши вопросы.

— Может быть, вы, Витя: куда летит Земля?

— Если я заблуждаюсь, Александр Иванович, пусть меня поправят, но, по-моему, к чертовой матери. Скажите мне лучше, когда Людмила Сергеевна выдаст свой персептрон?

— Бармалеич, куда летит Земля?

— Детский вопрос: в направлении между Цефеем и головой Дракона. Это в общегалактическом вихревом потоке. Кроме того, есть еще движение местной группы звезд, включающей Солнце,— к апексу, в созвездие Геркулеса. Правда, его скорость невелика, 19 км/сек. А что?

— Укажите, где это.

— М-м... ну, так сразу я не могу в Шаре-то. Я отсюда вам и Полярную звезду не укажу. Если примерно, то вверх Земля летит. Северным полушарием вперед. А что случилось-то?

— Пока ничего... Толюня, укажи направление ты.

Тот подумал, поднял руку вверх и в сторону: туда. Любарский потом уточнил положение звезд для конца августа и этого времени суток — оказалось довольно верно.

— Толюнь, ты что — чувствуешь?

Васюк промолчал. Да, он чувствовал; для него единой была Меняющаяся Вселенная — та, что в Шаре, и окрестная.

— Мы называем это «ускорением времени, «коэффициентом неоднородности», «сближением в пространстве-времени»... но почему не назвать прямо: увеличением? Система ГиМ — пространственно-временной микроскоп, вот и все. Микробы видны при увеличении в сотни раз, вирусы — в десятки тысяч раз, планеты в МВ — при увеличении в сотни миллиардов раз. А чтобы различить на них подробности наших размеров, придется нарастить увеличение еще в десяток тысяч раз, только и всего.

— То есть, по-вашему, Анатолий Андреевич, человек — не «вирус познания», а еще гораздо мельче?

— А, это что! Жизнь наша есть «бжжж...» на потоке времени.

Больше того — наблюдаемая Вселенная есть такое же «бжжж...» на нем, только в крупных масштабах. Хуже того — все вещества и тела, из них состоящие, в том числе и наши, есть то же самое «бжжж...», но на квантовом уровне. Система ГиМ не пространственно-временной и не оптический, а — ф и л о с о ф с к и й микроскоп. Каково?..

Разговор происходил в сауне между сменами. Участвовали Васюк, Любарский и Миша Панкратов. Попутно потели, хлестались вениками и пили чай.

— Жизнь не «бжжж...» — это «способ существования белковых тел, и этот способ существования заключается по своему существу в постоянном обновлении их химических составных частей путем питания и выделения», вот так-то. Энгельс, «Анти-Дюринг», страница такая-то.

— Ррравняйсь! Смирррна! На крраул!

— Стиль не очень: «способ существования заключается по своему существу...»

— Ну, это у переводчика.

— Постойте. «Жизнь есть способ существования заводов, и этот способ существования заключается по своему существу в постоянном обновлении станочного парка путем ремонта, закупок нового оборудования и списания старого». Чем это определение хуже? Или: «жизнь есть способ существования автомобилей, и этот способ существования заключается по своему существу в постоянном потреблении бензина с маслом и выделении отработанных газов». Таких определений можно настрогать десятки.

— А в милицию? А в самый высокий дом, откуда Сибирь видно?!

— Да погоди ты! Я о том, что питание-выделение, ассимиляция и диссимиляция не определяют существо жизни. Любой цельный объект как-то соотносится с окрестной средой, что-то приходит в него, что-то уходит...

— А я читал, что все жизненные процессы определяет разница в коэффициентах диффузии ионов калия и натрия в нашей крови. Ну, через мембраны клеток. Не было бы разницы, не было бы и жизни.

— Черт знает что! Чувствами мы хорошо знаем, ч т о есть жизнь и где ее больше, где меньше. Здесь, в МВ, мы в и д и м первичную жизнь-активность. А когда пытаемся выразить в словах, получается еле-еле смерть, объективистская мертвечина.

— Жизнь есть активность. А поскольку это слово синоним деятельности, то жизнь есть действие. Материя-действие...

— И выходит, что квант h суть элементарный носитель жизни? Да здравствует квантовая механика — прародительница биологии!

— Жизнь есть стремление к выразительности. Через рост, через

силу, влияние, богатство, потомство, созидание — но выразить себя.

— Жизнь есть стремление... ну, знаете! Стремление суть чувство. Значит, вы уже договорились до первичности, первопричинности чувств, поздравляю! Еще шаг, и у вас получится, что сознание первичней материи! А шаг влево, шаг вправо — считается побег.

— Ну вот, он опять многозначительно позвякивает наручниками в кармане!

— У Алексея Толстого в какой-то статье есть фраза: «Выхватив, как пистолеты, цитаты из Ленина и Сталина...»

— Хорошо, обсудим: «Материя есть объективная реальность, данная нам в ощущении» — так? В ощущении! А оно принадлежит субъекту. То есть материя есть объективная реальность, в о с п р и н и м а е м а я н а м и с у б ъ е к т и в н о. А коли так, то чем измеряется ее первичность и объективность, ее реальность, если на то пошло,— как не ощущением? Чем?!

— Ну, братцы, знаете... я пошел. Дозревайте без меня. За вами придут.

— Александр Ива, а чего вы, вправду, ко всем вяжетесь: куда летит Земля да куда летит Земля; Летит себе и пусть летит.

— Ну, как бы это тебе попроще... Возьмем, к примеру, ядерную энергию, которой мы жутко боимся, но обойтись без нее не можем. Это н о р м а л ь н а я космическая энергия. Самая заурядная во Вселенной. Так чтобы нормально, правильно использовать ее, людям необходимо космическое мышление. А с этим у них туго.

— А я вам говорю, что свето-звуковой преобразователь нужен, чтобы хоть как-то ощутить невидимую составляющую излучений. Хоть ушами, если нельзя глазами!

— А что толку? От галактики шум — и от планеты похожий. От звезд «пи-у! пи-у!..» — и от метеоров, попадающих в атмосферу, «пиу-пиу!» И даже псевдомузыка похожая...

— Так это же хорошо: общность. Вы мне вот что объясните: эта псевдомузыка... Во-первых, почему, собственно, «всевдо»? Ею бы многие композиторы-полифонисты гордились. Во-вторых, откуда она берется в МВ, в экстремальных образах галактик, звездных скоплений, даже планет? Музыка без композиторов, оркестров, дирижеров?..

— А откуда вообще берется музыка в мире? И что такое музыка? Я имею в виду серьезную, не тум-ба-тум-ба. Симфонии, фуги, хоралы, скрипичные и фортепьянные концерты, реквиемы?..

— Из головы.

— До наших наблюдений можно было считать, что из головы. Но теперь... Ведь что такое наша «музыка сфер»? Звуковая — для

нас — составляющая максимальной выразительности галактических образов. Звезды и туманности ведут мелодии, общность изменений задает ритмику. Музыка как максимальная звуковая выразительность мира!

— Что-то не то, Бармалеич. Почему же наилучшим образом музыку Вселенной понимали и выражали композиторы XVIII и XIX веков: Бах, Моцарт, Бетховен, Гайдн, Чайковский, Шопен, Бородин... ну, прибавим еще несколько из начала нашего века: Рахманинов, Шостакович? А сейчас, когда цивилизация победным маршем пошла не только на поля, моря и горы, но и в космос? Когда музыкально грамотных людей больше, чем во времена Баха и Моцарта вообще было населения на планете? Вон в Союзе композиторов СССР, я читал, одних только композиторов тысяча шестьсот — а музыка где? Да и желающих слушать серьезную маловато, все предпочитают эту самую «тум-ба-тум-ба»: роки, буги и шлягеры. Для многих и вообще самая пленительная музыка в выхлопах моторов с отрегулированным зажиганием — в звуках, между прочим, по своей природе непристойных... Как вы это объясните?

— Объяснить нетрудно, только вы опять испугаетесь. Понимаете, восемнадцатый и девятнадцатый века замечательны тем, что, с одной стороны, развивалась музыкальная техника, открывала новые возможности... Ну, как несколько позже теплотехника, металлургия или электричество — а с другой, в людях еще не угас религиозный дух.

— Ох, Бармалеич, не кончите вы добром! Мало вам, что вас расстригли как доцента — так ведь могут и о с т р и ч ь... Ведь если выразить вашу мысль на простом языке, то получается, что наши славные современные композиторы и замечательные современники деградируют в музыкальном отношении, потому что б о г а з а б ы л и! Ну, знаете!

И неважно, где велись эти разговоры: в сауне, в лаборатории, в гостинице или в кабине ГиМ. Неважно, кто что сказал и что ему ответили. Главное, что они не могли теперь не думать и не спорить о таком: потому что по мере совершенствования системы ГиМ, методов наблюдений проблема познания мира все более перемещалась по эту сторону от объективов, окуляров, экранов и пультов. Вопросы типа «что такое Вселенная? что такое материя, время, жизнь... и даже музыка?» — возвращались в измененном виде: а что такое ты, человек?

II

Люся Малюта и Корнев поднимались к ядру в кабине ГиМ — первая сдать, а второй принять систему автоматического поиска

в МВ заданных образов, от галактик определенного типа до планет и до частей планеты. Дело происходило во второй половине рабочих суток, после многих смен, в течение которых систему собирали, устанавливали, прозванивали и отлаживали.

Людмила Сергеевна была уверена в своем детище и сейчас, сидя рядом с главным инженером в откидном кресле перед белым параллелепипедом с выступом клавиатуры и экраном дисплея (взамен прежнего пульта и штурвальной колонки), спокойно объясняла, что создан не просто автомат, действующий по жестким программам, а — п е р с е п т р о н - г о м е о с т а т с обобщенным распознаванием образов и самообучением: если чего он и не умеет сейчас, то, осмотревшись в МВ и поднабравшись опыта, сумеет потом. По сторонам кабины во тьме разворачивались белые пластины электродов. Корнев слушал, вникал, кивал.

— Программы как таковой в нем вообще нет, вы задаете ц е л ь. Целевой образ — на что должно быть похоже то, что вы ищете. Можно ввести его клавиатурой; номер и индекс согласно каталогам знакомых нам образов МВ. Можно — и даже лучше, наглядней — нарисовать на экране... Ну вот,— Люся поглядела вверх и по сторонам, затем на индикаторы.— Система развернулась, можно включать поля. Какой образ будем искать?

— Давайте для начала планеточку,— сказал Корнев.

— Для начала... иголку в стогу сена! — Людмила Сергеевна скосилась на Корнева иронически и несколько высокомерно.— Ах, Александр Иваныч, Александр Иваныч, жестокий вы человек! Вот Любарский или Валерьян Вениаминович никогда бы не позволили себе поставить даму в столь трудное положение. Сразу планету, шестую ступень вселенской иерархии, шутка ли!.. Хорошо, какую: марсоподобную, юпитероподобную, лунного типа, венерианского... какую желаете?

— Юпитероподобную.

— Полосатенькую, значит...— Люся сверилась с каталогом, поиграла пальчиками на клавиатуре: на экране дисплея электронный луч вырисовал зеленый размытый шар — чуть сплющенный и в широких полосах вдоль большей оси.— Подойдет?

— А почему размыто?

— Так это и есть обобщенный образ. Если показать в точности Юпитер, автомат будет искать именно его... пока не сгорит. Вряд ли в МВ окажется точно такой образ. А машины — существа добросовестные. Конкретная планета не будет размытой, не волнуйтесь.

— Хорошо, давайте.

— Внимание! — Людмила Сергеевна нажала клавишу «Поиск»...

...и из тьмы над куполом кабины, оттеснив смутную клубящуюся синеву Вселенского шторма, сразу возникла планета. Она была на три четверти освещена голубым светом незримой звезды. Планета

была заметно сплющена между полюсами, полосы вдоль экватора — зеленовато-голубые, одни светлые, другие темнее — поуже, чем у Юпитера, но зато просматривались почти до полярных синих сегментов-нашлепок. Одновременно включился пульсирующий шум из динамиков, а на него накладывался женский голос — ее, Люсин,— повторявший с паузами: «Кадр-год... кадр-год...» *Планета жила: приэкваториальные полосы ее пульсировали по толщине, белый вихрь газов, отчетливо заметный в нижней из них, в «южной», увеличивался в размерах и смещался к ночной части.*

Корнев смотрел, задрав голову; у него сам по себе раскрылся рот.

— Здрасьте! — растерянно сказал он планете.

Людмила Сергеевна развернула свое кресло, смотрела на Александра Ивановича — наслаждалась эффектом.

— Ну, Людмила Сергеевна,— главный инженер постепенно приходил в себя,— это уж слишком!

Это действительно было слишком: упрятать в неощутимую паузу отката в импульсных снованиях все маневры (сначала сближение со скоплением галактик, потом с одной из них, потом с ее участком, с протозвездой...) и поиски. Ведь наверняка персептрон-автомату довелось «перелистать» немало звездо-планетных систем, чтобы найти шар з а д а н н о г о облика. И все за нечувствуемый миг! А он-то рассчитывал смутить Малюту трудным заданием.

— Так ведь микропроцессоры, электронное быстродействие,— развела та руками.— В сотни тысяч раз быстрее, чем смекаем мы с вами. Могу так вывести и на следующие две ступени сближения: часть планеты типа «материк» и часть типа «горный хребет».

— Люся, вы сами понимаете, что это перебор, вы ведь человек со вкусом. Это уже не автоматизация, а, извините, какой-то кибернетический разврат. В обычной-то Вселенной пока только на Луну высадились, автоматические станции к дальним планетам ушли. Мало того, что мы системой ГиМ выделываем в МВ, что хотим, сигаем в пространстве и во времени, так теперь совсем... Я знаете кем себя почувствовал? Будто сижу в подштанниках перед цветным теликом, левой рукой брюхо почесываю, а правой нажимаю дистанционный переключатель — перехожу с хоккея на «Лебединое озеро», с него на футбол, затем, позевывая, на МВ-планетку... и скучно мне, хоть вой.

Людмила Сергеевна расхохоталась звонко и от души, даже ухватила Корнева за плечо:

— Ой, Александр Иваныч, вы просто прелесть!.. Хорошо, этот кибернетический разврат... хи! — я устраню элементарно, вводом простой команды,— она положила пальцы на клавиши дисплея, но выгнула в раздумье брови: — Вот только надо ли? Сразу на цель выходить проще, рациональней. Может, привыкнете — как при-

выкли граждане смотреть в подштанниках «Лебединое озеро»?

— Надо, Люся, надо. («Что ей объяснять: что иррациональное первичней нашего куцего рационализма, выведенного из пользы? Что надо постоянно держать в уме вселенские цельности, помнить, что мы — малая часть их, подробность? Поток, живой образ, застывшее мертвое — три облика одного и того же...»)

— Что ж, пожалуйста! — Малюта поиграла пальцами: исчезла заданная модель на экране и сразу вслед за ней — планета над кабиной.— Какую вы теперь заказываете?

— Давайте... что-то между землеподобной и марсоподобной. Кстати, Люся, я вас спрашивал, куда летит Земля?

— Спрашивали, Александр Иванович.— Она посмотрела на Корнева с ироническим любопытством.— И я тоже срезалась. Кстати — куда?

— Вверх. Вперед — и выше.

— Кто б мог подумать!

(У Людмилы Сергеевны тоже было немало своего в мыслях и чувствах, в подтексте. Этот ее стиль «запросто»... Она не чувствовала себя здесь запросто, нет. Всякий раз при подъеме в Меняющуюся Вселенную душа ее съеживалась и трепетала; хотелось скорее обратно, вниз, в нормальный мир. Не такой он и там нормальный, тоже НПВ — но все-таки... И сейчас Люся старалась скомпенсировать эту, как она считала, б а б ь ю неполноценность не только демонстрацией наведенного ею в системе ГиМ электронного сервиса, но и кокетливой бойкостью. Звезды звездами, миры мирами, а она еще молода, хороша собой, женственна. Во Вселенной только тогда все в надлежащем порядке, когда мужчина — интересный, надо признать, мужчина! — это восчувствует. И оживет. И увлечется. И вообще...)

Теперь автоматический поиск планет в МВ выглядел приличней. *Скопление галактик — галактика — ее развертывание в звездное небо — протозвезда или звезда с планетами (и та, и другая имели характерные биения траектории)* — все это появлялось и сменялось над куполом кабины хоть и быстро, подобно необязательным начальным кадрам в кинофильмах, идущим под титры, но все-таки наличествовало. Правда, придирчиво отметил про себя Корнев, импульсные основания кабины в пространстве-времени автомат подобрал настолько размашистые, настолько приближал наблюдателей ко времени объектов, что все они, от галактик до планет, приобретали привычный учебниковый вид: застывшие мертвые образы. Но говорить об этом Людмиле Сергеевне не имело смысла: повинен не автомат, а школярский взгляд на Вселенную ее и других разработчиков; перепрограммировать надо их. «Ладно, сообразим потом что-нибудь сами».

...Только в девятнадцатой попытке автомат нашел планету под-

ходящего облика — четвертую от светила. Наверно, благоприятствовало то, что галактика вступила в своем развитии в экстремальную фазу, когда все космические образы приобретают наибольшую выразительность и устойчивость. *Четкий*, даже на взгляд *плотный шар, слегка затуманенный по краям сизой пеленой атмосферы*, повис над кабиной. По рельефу освещенной левой стороны он более походил на Марс и Луну, нежели на Землю: *хребты с розово-белыми ребристыми спинами, серые плато все в округлых воронках «цирков»; их края отбрасывали неровные тени.* Автомат сам изменил частоту синхронизации, прокрутил планету, показал шар со всех сторон: нигде не оказалось гладких пятен водоемов и белых циклонных вихрей в атмосфере. Только бело-розовые нашлепки на противоположных сторонах планеты стали понятней: это были приполярные области.

— Редки землеподобные-то,— разочарованно сказал Корнев,— а нам их более всего и надо.

— Надеюсь, это претензии не ко мне?

— Не к вам, Люся, не к вам. Ко Вселенной.

В режиме «кадр-год» планета выглядела неподвижной. Автомат сам переключился на «кадр-десятилетие» (эти слова так же с паузами говорил из динамиков Люсин голос): поверхность чуть оживилась, но снова застыла. «А какой у нее год?» — задумчиво спросил Александр Иванович. «Может, меньше земного, а может, и больше — кто знает. Оборот вокруг светила, и все... И про ее сутки мы знаем не больше». Застывание повторилось и в режиме «кадр-век». И только когда пришпорили время до «кадр-тысячелетие», ощутимы стали миллионы лет-оборотов планеты по орбите — они неоспоримо увидели ж и в о е т е л о в космосе МВ: рельеф шара дышал, то вздыбливаясь горными странами, то опадая, шевелился, будто под кожей планеты напрягались и расслаблялись бугры и свивы мышц, пульсировали потоки-жилы протяженностями в материк.

Темп оживления нарастал, автомат вернулся к «кадрам в век», затем к «кадрам в десятилетие» и к «кадрам в год». Утолщалась и мутнела атмосфера планеты, твердь ходила ходуном, пузырилась, в теневой части возникли и множились блики света... Затем и в годовом темпе все смазалось. Автомат отдалил кабину: планетный шар съежился в освещенную серпиком горошинку, в искорку, показалось бело-голубое светило. Последнее, что они увидели до полного отката: как оно разбухает в сверхновую, охватывает всепожирающими выбросами ядерного огня орбиты планет.

И хоть далее снова пошли финальные «титровые» кадры звездного неба, удаляющейся галактики, но впечатление о виденной только что жизни и гибели большого мира-планеты ими не смазалось. Такое невозможно смазать, к такому невозможно привыкнуть.

Несколько минут они сидели молча, ошеломленные. Автомат продолжал отводить кабину, в ней становилось сумеречно; над куполом угасал очередной Шторм-цикл.

— Так-с...— Александр Иванович первым овладел собой.— Надо продумать автоматическую синхронизацию чаще кадра в год. Это сложно, я понимаю, планета меняет места на орбите. Но... иначе мы много интересного упустим, особенно в максимальных сближениях.

— Хорошо, Александр Иванович,— со вздохом сказала Люся.— Дождемся сейчас нового Шторма, попробуем. Ну, а вообще-то как?..

— Замечательно, Люся, о чем говорить! Если схватить первого попавшегося ученого-астронома, дважды лауреатного, трижды заслуженного... фамилию забыл, как говорит Райкин,— и поместить в нашу кабину, то он или умрет от черной зависти, или тронется рассудком. Только что пощупать звезды не можем, а так — почти все.

— Во-от!..— удовлетворенно сказала Малюта; голос ее повеселел.— А не намекнула, то и не похвалил бы, не догадался. Ох, какие вы все затурканные!.. Вот у нас час времени до нового Шторма — что нужно вам делать?

— Что, Люся?

— Ну, хоть поухаживать, что ли! Сидим, как неродные... Не мне же за вами! Ну, мужчины нынче пошли — головастики!

Главный инженер повернул кресло, с любопытством посмотрел на Малюту. Рядом сидела красивая — и к тому же прелестно разгорячившаяся от своей храбрости — женщина. Сумерки в кабине скрадывали морщинки и тени, которые могли бы повредить ее облику, но зато выигрышно выделили профиль с прямым четким носиком, капризным изгибом губ, высокую прическу над выпуклым лбом; во всем этом колеблющийся, зыбкий полусвет МВ как-то усилил женственную воздушность, недосказанность, интим. Александр Иванович вспомнил, что не раз при встречах любовался фигуркой главкибернетика, всегда умеренно обтянутой джинсами, свитером или халатиком, ее походкой («Идет, как пишет»), даже хотел подбить клинья, да все отвлекали дела. Вспомнил и про то, что с женой опять нелады, а замену ей — из-за той же предельной занятости, будь она неладна! — он не сыскал... короче, вспомнил и почувствовал, что он мужчина. Не головастик — или, точнее, не только головастик.

(Не в одном этом, если доискиваться до глубин, было дело. В кабине сейчас находился не прежний Корнев, научный флибустьер, хозяин жизни и всех дел в Шаре, а человек сомневающийся, несколько растерянный — ослабевший. Трудами, идеями и подвигами в освоении Меняющейся Вселенной Александр Иванович подсознательно стремился утвердить то же, что и в других делах,— свою

исключительность. Не только, впрочем, свою, не такой он был эгоцентрист — и товарищей по работе, вообще умных, знающих и даровитых людей. Но получилось не так: Меняющаяся Вселенная в Шаре, заманив его сначала интересностью проблем и наблюдений, теперь больше отнимала, чем давала. Сокрушала — одну за другой — иллюзии обычного видения мира, обычной жизни; в том числе и такие, терять которые было больно и страшно... Поэтому утверждение себя — пусть самое простое — было ему позарез необходимо).

— Люся,— с добродушным изумлением промолвил главный инженер,— а ведь вы хорошенькая!

— Та-ак, уже теплее!..— Людмила Сергеевна тоже повернула кресло к нему.— Что дальше?

— Дальше?..

Что могло быть дальше? Корнев перегнулся, сгреб женщину в объятия, перетащил к себе; с удовольствием почувствовал, что свитер и джинсы не обманывали — тело действительно было упругое, теплое.

— Александр Иванович, вы что?! — Люся ошеломленно уперлась в его грудь ладонями.— Я вовсе не это имела в виду!..

— А я это.— Он запустил правую руку под свитер, лево притянул к себе Люсины плечи, искал губами ее губы — и нашел. Потом поднял и понес ее в угол кабины, где лежал застеленный матрас; пол слегка покачивался под ногами.

Людмила Сергеевна вела себя достойно — сопротивлялась, отнимала руки. Но поскольку, кроме их двоих, теперь здесь присутствовал и некто третий по имени Взаимное Влечение, то получилось так, что ее суматошные отталкивания помогли Корневу быстрее и легче освободить ее от одежды, чем если бы она не противилась. Так бывает.

В черноте ядра тем временем голубовато накалился новый Вселенский Шторм. Персептрон-автомат прицельно и не спеша повел кабину вверх, выбрал среди множества новых вихриков-галактик одну, приблизился к ней — и она развернулась в обильное звездами небо.

...И под этим небом, под согласованно мерцающими, переливающимися звездами Меняющейся Вселенной послышалось то, что бесчисленное число раз слышали обычные звезды, луна, облака, кусты, деревья, берега рек, луга и поляны, слышали на всех языках человечьих, птичьих и звериных:

— Ну, Люся... ну, Люсь!..

— Ох, ну не нннадо... не надо, Александр Иваныч миленький, Саша, Сашенька! О... аххх!..

Не было более главного инженера и главкибернетика, отмелись вместе с одеждами имена и различия. Осталось главное: Мужчина

и Женщина, Он и Она — что было, есть и да пребудет во веки веков. И было хорошо весьма.

Во втором заходе Люся научилась (Саша научил) нежно оплетать ногами его мускулистые ноги.

Автомат между тем начал поиск планеты, целевая модель которой осталась в его памяти: приближал звезду, она увеличивалась до диска, в кабине ночь сменялась минутным днем. Звезда уплывала в сторону — опять сумерки, ночь — возникала над куполом планета и светила, как ущербная луна. Но мир сей не подходил под заданный образец, автомат браковал его, а затем, просмотрев и показав всю звездную систему, устремлял кабину к иной... Они, отдыхая, лежали, смотрели: Люсина голова на плече Александра Ивановича.

— Нет, это не то! — Она поднялась, подошла к пульту, нажала несколько клавишей. Звездное небо сгустилось в галактику — теперь весь косо накренившийся вихрь из миллиардов сверкающих точек помещался над куполом. Свет его — слабее дневного, но ярче лунного — волшебно лился на нагое стройное тело Люси.

Корнев глядел, любовался: нет, эта женщина не с Земли сюда поднялась — опустилась из Меняющейся Вселенной. Сгустилась из света звезд.

Она вернулась, легла к нему. Он склонился над ней:

— Ты чудесная женщина, Люсь. Девушка со звезды. И как мы подходим друг к другу!

...они все не могли насытиться. Чем-то их простое и радостное занятие, действие ради чувствования, было родственно делающемуся в МВ. Корнев это ощущал спиной. И шорох их движений, звуки поцелуев, негромкие стоны Люси как-то очень естественно сплетались с ниспадающим на них из динамиков многоголосым ритмичным шумом вселенских процессов, временами переходящим в симфонические аккорды,— как первичное с первичным.

«Действие ради чувствования...— думал затем Александр Иванович, лежа на спине и глядя на галактику, которая все набирала накал и блеск выразительности, сворачивалась в ярчайший эллиптический диск.— А что, если и т а м все так? Ведь невозможно оспорить, что этот мир — живой, что жизнь-активность лежит в начале всех причин. Но раз так, то чувство существует в природе наравне с действием, это две стороны чего-то изначального. *И мир, сам себя делая, выпячиваясь из небытия, сам себя и чувствует — с непредставимой силой воспринимает всю полноту бытия, созидания и разрушения, разделения и смещения...* Поэтому и получается в нем такая выразительность: *пустота — и огненные точки звезд.* Сама материя-действие н е о б ъ е к т и в н а, поэтому каждое образование в ней стремится к долгому устойчивому бытию, к действию-существованию ради чувства с в о е й жизни. Своей! *Свет*

звезд — это и радость их, тысячеградусный накал ядерной страсти. И планеты они рождают-выделяют из себя в счастье и муке. И космический холод суть ужас, и вспышки сверхновых, происходят в экстазе самоотдачи... Но если эти чувства соразмерны объемам, массам, давлениям, скоростям и температурам, всем происходящим в звездах и галактиках процессам, какова же их мощь, глубина самопоглощения, масштабы, сила?! И что против них наше комариное чувствованьице — хоть плотью своей, хоть посредством приборов? Что есть наши попытки выдавать самих себя за единственных чувствующих и познающих о б ъ е к т и в н ы й мир существ?

Но если так... как же мы заблудились!»

Мысль была страшная. Она осела на другие трудные мысли, которые последнее время все больше одолевали Корнева, мешали работать и жить. Он вдруг почувствовал себя маленьким, слабым, напуганным — ребенком. И, как ребенок, приник лицом к груди Люси.

Та почувствовала перемену, погладила, спросила тревожно:

— Что, Александр Иванович?

— Ох, Люсь, знаешь... я вроде перестаю понимать все. И если бы только я!.. Мы стремимся сюда, исследуем... Ну, ученье — свет, знание, стало быть, тоже. А если не свет — огонь? И мы бабочки, летящие на него?.. Ведь дело не в том, что почти никто не знает, куда мчит Земля и Солнце, а — никому дела нет до этого. И мне еще недавно не было дела...

Он говорил не столько ей — себе. Люся не все и поняла из его бормотанья, но — обняла, гладила, целовала:

— Ну, Саша... вы просто устали. Нельзя так влезать в дела — всеми печенками. Нужно уметь отвлечься. А то ведь даже о том, что он мужчина, забыл, бедненький, пока я не напомнила. Мой славный, хороший мужчина!..

И голос у Людмилы Сергеевны был не такой, как обычно,— резкий, с командными интонациями, а тонкий и немного детский от нежности. Она очень любила сейчас и хотела, чтобы ему — прежде всего ему, Сашеньке,— было хорошо и покойно.

И он снова воспрял, и утвердил себя, и почувствовал покой и уверенность.

А галактика над куполом плыла во тьме, упруго подрагивая краями. Колебания яркости цвета звезд распространялись по ней от ядра согласованными переливами. Она снова раскручивалась из эллипса в вихрь — только звездные рукава теперь простирались в другую сторону. И кто знает, шло ли это от несущего ее потока материи-действия, или образ сам выбирал свою форму и изменения, чтобы наилучше выразить себя и насладиться бытием; наверное, не без того и не без другого.

И по краям галактики, в рукавах, все чаще вспыхивали и растекались светящимся туманом сверхновые.

— Послушай, я кое-что понял,— Александр Иванович лежал, закинув руки за голову.— Четвертая координата не время, а ускорение времени. И необъективность нашего взгляда на мир начинается с того, что мы видим все в с в о е м темпе изменений... а что он для вселенских событий! Понимаешь, если так видеть в пространстве, то нам были бы доступны только предметы н а ш и х размеров. По вертикали этаж, а не все здание, по горизонтали опять-таки один балкон. Или окно. Не лес и не деревья в нем, а ствол одного дерева. Или ветка. А на далеких дистанциях и вовсе ничего: камень неразличим, гора необозрима... Во времени мы слепее кротов, понимаешь?

— Понимаю...— Люся приподнялась на локте, посмотрела на Корнева, вздохнула.— Я так понимаю, что нам пора вставать. Петушок пропел давно...— Она вдруг приникла к нему, обвила теплыми руками, целовала грудь, шею, лицо, глаза.— Послушай, почему мне так жаль тебя? Вот ты сильный, умный, а жалко до слез!

И верно, в голосе ее чувствовались слезы.

— Баба, вот и жалко,— отстранился Александр Иванович.— Так вы, женщины, устроены: чтоб вы жалели и чтоб вас тоже. Подъем!

Опустившись на крышу и выйдя из кабины, они сдержанно (поскольку на людях) распрощались. Корнев направился в профилакторий, Люся в координатор — и больше между ними ничего не было. Людмила Сергеевна была не шибко везучим в любви человеком, Александр же Иванович, пожалуй, напротив; но оба понимали, что с ними случилось самое сильное любовное переживание в их жизни: любовь, слившаяся с познанием мира. Повторить такое, уединяясь где-то для жалкого счастья физического обладания, невозможно; а подниматься снова в МВ ради этого было бы и вовсе пошло. Не такие они люди.

Только встречаясь на совещаниях или по делам, они иногда обменивались короткими взглядами — и чувствовали вдруг такую близость, что на секунды исчезало вокруг все.

III

Хроника Шара

1) Б. Б. Мендельзон сделал открытие. Поднялся с папкой в лабораторию МВ, начал спрашивать:

— Кабина в импульсном режиме сближения с планетами вибрирует?

— Уже нет,— ответил Буров.— Отрегулировали полями.

— А почему это было, поняли?

— Тяготение планет, чего ж не понять.

— На пальцах,— или считали? — Бор Борыч попыхивал сигарой и с высоты своей эрудиции и нового знания глядел на сотрудников лаборатории (присутствовали еще Толюня, Любарский и Панкратов), как на насекомых.

— А что считать, и так ясно!

— Считать всегда полезно...— Мендельзон раскрыл папку, разложил на столе рисунки и листки с расчетами.— Сами по себе планеты так кабину не могли тревожить. А вибрации и потряхивания, любезные, были оттого, что ваши пространственные линзы к о н ц е н т р и р у ю т гравитационные поля наравне с оптическими! — И он с удовольствием посмотрел на раскисшие лица собеседников.

Действительно, могли бы и догадаться: что пространственные линзы — не стекла, не зеркала, просто области сильно деформированного полями пространства — не могут обращаться с силовыми линиями поля тяготения иначе, чем с идущими от планет световыми лучами. Но естественно и то, что первым смекнул это давно изучавший гравитационные искажения Мендельзон, а не «эмвэшники», для которых данный факт был лишь помехой в основных исследованиях.

Далее у Бориса Борисовича получалось, что можно подобрать такие поля и импульсные режимы, что зона гравитационного равновесия: ниже ее тянет Земля, а выше исследуемая планета — окажется очень близко от кабины ГиМ. «Из рогатки можно в МВ запулить!»

Это было приближение к тому, о чем мечталось в перекурах, в саунном трепе; фантастика подсказала возможность своей реализации. Необязательно, конечно, забрасывать на планеты МВ Толюню и Любарского, а потом зачищать контакт — но зонды-то можно! Тем более что планетные зонды имелись, их испытывали на надежность в хозяйстве полковника Волкова; заполучить их в обмен на дополнительные комнаты наверху не представило труда.

И как дружно, охотно, рьяно включились в это дело сотрудники лаборатории МВ! Здесь было над чем поломать головы: как запускать? — не рогатками, конечно, даже и не теми, что применяют для планеров; лучше электромагнитную катапульту соорудить над куполом — «электричество может все». Как программировать зонды: что им в атмосфере планеты «щупать», что на тверди, в жидкости? Как кодировать радиосигналы, как принимать их, если будут — а будут! — сдвиги темпа времени? Как тянуть импульс сближения с планетой?.. Как программировать датчики и анализаторы?.. Как?.. Как?..

И соорудили вчерне катапульту, запустили через спирали ее

на марсоподобную планету пробный зондик с парашютиком, с простейшей установкой искрового анализа и средневолновым радиопередатчиком. И приняли от него морзянку радиосигналов (сместившихся в УКВ), по коей поняли, что упал зонд довольно мягко на почву кремнисто-глинистую, но без воды... Сам факт, что от них, с Земли, ушел в Меняющуюся Вселенную весомый предмет и там вместе с планетой сгинул, но перед тем известил, что и в МВ справедлива таблица Менделеева, произвел сильное действие на умы. Идеи, замыслы, проекты у «эмвэшников» понеслись вскачь:

— измерять химический и электронно-ионный состав атмосфер планет, их плотности, влажности, температуры, движение ветров;

— изучить магнитные поля, радиационные, электрические... все, какие обнаружатся;

— обнаружить радиоактивность пород, сейсмические колебания на разных стадиях эволюции планет;

— поискать азотосоединения, бактерии, споры, микрофлору...

...и все требовало новых ухищрений, новых зондов, новых инженерных решений, методик, расчетов, программ. А результаты, буде их получат, тоже потребуют интерпретаций, обсуждений, графических и табличных иллюстраций, теоретических обобщений, дискуссий, возражений, а затем проверочных зондов и замеров, новых обработок результатов, уточнения или ниспровержения теорий. Словом, впереди намечалось нечто необъятное и на всю жизнь. (Миша Панкратов в далеких закидонах мысли все-таки задумчиво посматривал на Васюка и Любарского: как их в случае чего возвращать-то? Реле, конечно, всюду поставим бесконтактные, электронные...)

В считанные дни (впрочем, равные месяцам) это увлечение настолько овладело умами и настроениями, что вытеснило из памяти сотрудников лаборатории первичную, охватывающую несчитанные миллиарды лет, все масштабы, образы, эпохи и эры Реальность вихревого волнения, от которой робела душа и которая в силу наглядности не допускала двух толкований. Забыли, что исследуют так — копируя обычные космические изыскания — микроскопическую часть Единого.

Первым опомнился Васюк-Басистов.

— Послуш-те,— сказал он задумчиво-удивленно,— послуште... а ведь мы, похоже, подменили проблему «понять» проблемой «сделать». Ну, намеряем зондами тысячи чисел давлений, температур, концентраций, напряженностей, влажностей, активностей... и что из этого?

На него сначала окрысились: как — что? как — подменили?! Более других неистовствовал, выдвигал контрдоводы увлекшийся новым направлением Любарский. Анатолий Андреевич посмотрел на него удивленно и с сожалением:

— Ну... от вас, Бармалеич, я не ждал. Такие широкие взгляды.

Неужели непонятно, что это и есть тот случай, когда посредством грамматики исследуют фразу «убейте брата моего»?

Присутствовавшие при споре не слышали тот монолог астрофизика и не поняли что к чему. Но зато все смогли наблюдать, как умеет краснеть их славный зав Варфоломей Дормидонтович: от шеи и по самую лысину — ровненько. Буров даже сказал: «Ого!»

И к зондированию охладели. От него осталось знание, что вещества, квантовая пена Любарского, в мирах МВ такие же; да еще более точное, ювелирное владение системой ГиМ. Теперь они могли приближать к себе планеты до «спутниковых» дистанций — до таких, на которых участки земной поверхности фотографируют со спутников и околоземных космических кораблей.

2) Под это дело в лаборатории МВ возникла проблема дешифровки того, что можно увидеть при подобном сближении с землеподобными планетами Меняющейся Вселенной. Натаскивали себя с помощью атласов фотографий, сделанных со спутников серии «Космос», орбитальных станций «Салют», пилотируемых кораблей «Союз». Заметнее всего отличались от суши моря-океаны, крупные водоемы — темные ровные пятна. Выразительно выделялись горные кряжи и массивы; даже рельефно ветвистые очертания ледников на их спинах невозможно было спутать с облачными грядами. Легко узнавались серо-желтые пятна пустынь, сизо-зеленые лесов; ветвистыми прожилками, как в древесном листке, выделялись на равнинах долины рек — а на самых отчетливых снимках и крупные реки виднелись темными тонкими линиями; местами они разделялись на рукава, затем сходились.

Но вот самое-то самое, ради чего и вникали: объекты и особые признаки цивилизации, разумной деятельности — почти все оказывались за пределом различения. То ли они есть, то ли их нет. Это было даже обидно. Ну, хорошо: Камчатка, Средне-Сибирское плоскогорье, район Байкала — относительно дикие места, претензий нет. Но вот юго-западная часть Крыма, участок сто на сто километров этого обжитого полуострова на снимке с масштабом 5 км/см — тот именно участок, где и стольный град Симферополь, и героический Севастополь, и Евпатория, и Ялта, и Алушта, весь берег в санаториях, домах отдыха, портах, виллах с военизированной охраной, миллионы отдыхающих и миллионы жиреющих на них местных жителей... и ничего! Севастопольская бухта есть — Севастополя нет. Крымские горы вдоль ЮБК есть, а ни Ялты по одну сторону, ни Симферополя по другую не видать. Облака же над Ай-Петри и по обе стороны от него, напротив, хорошо заметны.

Только в степной части Крыма цивилизация обнаружила себя километровыми прямоугольниками сельскохозяйственных угодий — подобные таким же на снимках Кулундинской степи и Киев-

ской области (где сам Киев, мать городов русских незаметен).

Логически (и даже математически) все было понятно: предметы городской и промышленной цивилизации, в которых мы обитаем, работаем, среди которых мечемся с портфелями и хозяйственными сумками, имеют размеры в десятки, в крайних случаях немногие сотни метров; да и сделаны они из материалов, коих полно в природе. Но в плане психическом это выглядело издевательством.

— Послушайте, как же так? — волновался Витя Буров.— Вот я инопланетянин, я прилетел. Ищу место, где бы сесть и вступить в контакт. Я же в Кулундинскую степь сяду! На поле кукурузы, которую посеяли, чтобы отрапортовать, а потом забыли убрать...

— А если там еще не победил совхозно-колхозный строй? — поддавал Миша Панкратов.

— Где — там? — поворачивался к нему Буров.— Где это, по-твоему, мог не победить колхозный строй?!

— На планете, откуда ты прилетел,— Панкратов указывал вверх, в МВ.— Или проще: у тех разумных существ Эвклидова геометрия не в чести, поля они разграничивают по естественным извивам рельефа — как у нас границы государств. Как тогда опознать их цивилизацию?

— Черт знает...— Варфоломей Дормидонтович задумчиво тер лысину ладонью.— Достигли такого могущества, что сто раз можем уничтожить самих себя и все живое. Грозим всей планете экологическим кризисом, потопом от таяния Антарктиды... А с минимальной космической высоты, с двухсот километров — и поглядеть не на что. Существует ли наша цивилизация? Существуем ли мы?!

— Существовать-то она существует,— Толюня смотрел куда-то вдаль и вбок,— просто — не выделяется.

...Они были разные люди: с разными характерами и жизненными обстоятельствами, знаниями, опытом, убеждениями; и дела они исполняли различные, взаимно дополняющие одно другое. Но при всем том чем далее, тем более работники Шара — если и не все, то по крайней мере ведущие — становились именно о н и. Люди в крайних обстоятельствах, в которых, как известно, то, что отличает одного от другого и разделяет, отступает на задний план по сравнению с общим, объединяющим всех. Двойственность НПВ и системы ГиМ, где только километры пронизанной полями тьмы отделяют от мечущихся в непокое материи-действия вселенных, где легкие повороты ручек и касания клавишей на пульте равны путешествиям через мегапарсеки и миллиарды лет, интервалы вечности... и не пустые мегапарсеки и интервалы, а содержащие все акты мировой драмы: возникновение, жизнь и распад миров,— двойственность эта равняла и смешивала то, что равнять и смеши-

вать нельзя: обычных людей — и вселенные, рассчитанный на тысячелетия путь познания с одним актом наблюдения. Да, они наловчились мять неоднородное пространство-время, как пластилин, как глину. Но и Меняющаяся Вселенная силой своих впечатлений давила на их психику и интеллект, деформировала, испытывала, как ответственные узлы и детали ракет.

Они возвращались из трехчасового путешествия к ядру с остекленевшими глазами, осунувшиеся, психически напряженные — и отходили с трудом. У одних повышалась раздражительность; другие, наоборот, впадали в отрешенность, в транс. Впечатления от видеопленок, заснятых в автоматическом поиске и прокручиваемых потом в просмотровом зале, были не столь сокрушительны (спасибо вам, кино и телевидение!), но и после них требовалось время и покой, чтобы прийти в себя.

И зыбок был мир, когда возвращались в город, домой. С сомнением глядели они на ровную степь за рекой, на застывшие на краю ее горы: не застыли горы-волны, катимые штормовым ветром времени, да и гладь степи может возмутиться в любой момент.

И неправдоподобно выглядело ночное небо над Катаганью — скупое звездами, к тому же в большинстве тусклыми, в рисунках созвездий, не сверкающее радиозвездами, новыми и сверхновыми.

А поверни рукоятку — и все оживет, заходит ходуном, заблистает, проявятся держащие наш мир мощные силы. А потом рукоятку обратно — и все застынет в новой о б ы ч н о й реальности.

Обычная реальность была теперь для них не только одной из многих — но и неглавной. Она не могла казаться им главной.

У Валерьяна Вениаминовича, бывалого человека, в те редкие минуты, когда удавалось смотреть на все отстраненно, их положение в этой стадии исследования МВ ассоциировалось с июнем 41 года, с началом войны, которое для многих сразу и начисто отсекло проблемы обычной жизни, попятило неповторимые индивидуальности, объединило в одной цели: воевать и победить.

Только здесь было серьезней, чем на войне. Там люди противостоят людям — они столкнулись со сверхчеловеческим, беспощадным к иллюзиям Знанием. На войне ясно, как добиться успеха: числом, уменьем, техникой, умом, отвагой, выносливостью, трудами, наконец; здесь же неясно было, в чем окончательный успех их исследований, не к поражению ли ведет каждый новый результат, вывод и факт? На войне известно, что может потерять сражающийся: кровь, здоровье, жизнь,— здесь не было известно что, но уже ясно становилось, что гораздо больше.

Укрепи свой дух, читатель! Ты будешь сражаться вместе с ними.

ЧАСТЬ IV

ОСОБЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВА 21

НАСТРОЙКА НА «НАШ МИР»

Мы готовы согласиться с существованием во Вселенной разумных ящеров, рыб, гадов, пауков, если они занимаются тем, чем и мы: зарабатывают на жизнь, делают карьеру, борются за успех и блага... Это куда легче, нежели признать разумным человека, который раздает свое имущество или жертвует собой ради истины.

К. Прутков-инженер. Мысль № 175.

I

Многоствольные деревья с не то сросшимися, не то сплетшимися ветвями и извитыми, будто пиявки в судорогах, листьями сиреневого цвета. Слева сизый полумрак зарослей, справа — опушка, за ней одинаковой формы холмы уходят в перспективу.

Перемена плана, вид сверху:

— деревья слились в массив с черной полоской тени. Далее волнистая сизая степь, длинное озеро, по берегу какие-то предметы размытых очертаний.

Приближение, наводка на резкость:

— грубо сделанная (но несомненно с д е л а н н а я) *изгородь из жердей и суковатых столбов; она охватывает изрядный пятиугольник степи между озером и лесом. В нем пятна сооружений — их равно можно принять и за оранжереи с двускатными крышами, и за погреба. Расположены они не без намека на планировку.*

От крайнего «погреба» удалялось в глубину кадра существо.

Возврат, замедленная прокрутка: существо шествовало на двух толстых тумбообразных ногах с впивающимися в почву темными когтями, волочило мощный, сходящийся на клин серый хвост; бочонкообразное туловище с острым хребтом наклонено чуть вперед и без плеч переходит в длинную шею, которую венчает приплюснутая голова.

Существо удалилось не обернувшись.

Пауза за время которой *порыв ветра т а м, провел вмятину по сплетшимся кронам их деревьев.*

Из леса появились трое существ, похожих на первое: двое крупных, до половины роста деревьев, третье поменьше и поюрчее. Они, плавно шагая на когтистых лапах-тумбах, направились к изгороди. Меньшее опередило, возле ограды огляделось, вытягивая жирафью шею и поводя сплюснутой головой с выпуклыми глазами и вытянутыми вперед треугольными челюстями...

— Ящер! — сказал Любарский.

...Затем обернулось, коротко и изящно мотнуло головой.

У смотревших сильнее забились сердца: в изяществе этого движения чувствовалась высокая организация, не как у животных. Это был явный ж е с т, сигнал тем двоим.

Двое других существ ускорили шаги, выступили из длинной тени деревьев. Небольшими верхними конечностями они тащили нечто похожее на волокушу с двумя оглоблями: одно за правую, другое за левую.

Эти двое направились за левый угол изгороди. Там одно существо, ловко оттолкнувшись ногами и хвостом, прыгнуло через жерди и, пригнувшись так, что шея оказалась на уровне длинных крыш, двинулось к ближнему сооружению, исчезло в нем — и тотчас вернулось, прижимая к чешуистой груди что-то светлое, похожее и на большую каплю, и на мешок...

Шел сеанс в просмотровом зале. Присутствовали Корнев, Любарский, Васюк-Басистов, Миша Панкратов, Буров — и даже Герман Иванович Ястребов, который наконец уверовал, что светящие из глубин Шара живчики — настоящие галактики и звезды, хотя так и не понял: зачем?.. Поскольку почти все помногу раз внедрялись в кабине ГиМ в Меняющуюся Вселенную, то для них все происходило как бы в натуре, на висящей над куполом, головокружительно приблизившейся пятой планете белого карлика в рукаве галактики типа Рыб № 89 562 на спаде ее второй пульсации. И казалось, что застыла Меняющаяся Вселенная, затаила порождающее звезды и сдвигающее материки дыхание, пока у леса, у изгороди эти существа совершали исполненные о с о б о г о значения действия.

Смотрели пленку, снятую в замедлении почти один к одному (и от этого «почти» не было уверенности, что синее там действительно синее, а сиреневое — сиреневое), редкую по отчетливости картины. В натуре, из кабины, следует оговорить сразу, такое никто не наблюдал: для съемок в режиме максимального сближения кабину ГиМ запускали без людей, в автоматический персептронный поиск. Потому что режим этот, придуманный супер-электриками Корневым и Буровым, сильно отдавал — это еще если оценивать деликатно —

техническим авантюризмом: поля, импульсами выносившие кабину в МВ, к звезде, к планете, к намеченной области ее и к намеченному малому участку этой области,— были з а п р е д е л ь н ы м и для материалов системы ГиМ. От них во всех изоляторах и воздушных промежутках мог развиться электрический пробой — с грозовыми сокрушительными последствиями. Такие же поля подавали на «пространственные линзы», гладко и круто выгибая их в максимальном увеличении. Единственное, что не давало развиться необратимому электропробою,— это краткость импульсов внизу, в устройствах на крыше и генераторной галерее; чем короче они, тем дальше за миллион вольт в каждом каскаде можно перехлестнуть. Вверху же, вблизи МВ, они оказывались достаточно долгими для синхронизованного с движением светил и миров поиска автомата, даже для прямых натуральных съемок.

С учетом опасности этого дела Валерьян Вениаминович отобрал у всех причастных к исследованию МВ подписку: не подниматься в таком режиме в кабине и не разрешать делать это другим. Только автомат мог искать в МВ размыто заданные на экране его дисплея образы. «Пойди туда — не знаю куда, найди то — не знаю что»,— определял эту программу Любарский. «Автоматизированная рыбная ловля»,— высказывался о данном методе Буров; Миша Панкратов уточнял: «... и не всех рыб, а только пескарей от пяти до шести сантиметров, и только самцов». Аналогия с уженьем рыбы действительно позволяла понять изъяны способа: можно обучить автомат насаживать червяка на крючок, забрасывать удочку, следить за поплавком и даже дергать, когда клюет, но чтобы бездушная машина могла угадать место, где стоит забрасывать, или уловить момент, когда рыба повела, и подсечь ее... это уж извините! Человеческая интуиция неавтоматизируема, у кибернетиков на этот счет никаких идей нет и не предвидится.

Трудность была еще и в том, что в максимальном сближении не только поля — все управляющие схемы работали на пределе возможного, на том пределе, когда сказываются (и, что хуже, складываются) их погрешности: неточности частот и потенциалов, даже «шум электронов». Поэтому близкие съемки, как правило, оказывались размытыми. Между тем, даже при полной отчетливости угадать в чуждом мире что есть что — задача непростая; а уж коли нечетко... Человек в кабине смог бы, руководствуясь чутьем, точнее, ювелирней, прецезионней все подстроить — уловить миг отчетливой ясности. А автомат — хоть и самый сложный, обучаемый, универсальный — электронная скотина, не умнее лошади.

И наконец, г д е — в пространстве и во времени — стоило на планетах-событиях выделять точечные, с булавочный укол, участочки, перспективные насчет того самого... ну, эдакого. Нашенского. То есть, конечно, не то чтобы людей узреть, об этом и мечтать

не имело смысла (не фантасты, слава богу),— но все-таки чтоб живое чего-нибудь копошилось, с конечностями. А хорошо бы и с головой. А еще лучше, если высокоорганизованное. С предметами, с действиями, иллюстрирующими разумность. Так — где?

В наблюдениях более крупного плана, их обобщениях «эмвэшники» пришли к тому, что во времени это должно быть на спаде выразительности в преддверии конца жизни планеты. Либо — для планет, кои многими волнами-ступеньками набирают свой наиболее красивый и устойчивый (т. н. экстремальный) облик и так же волнами, с частичными возвратами его утрачивают,— на стадиях смешения: когда на тверди все оживляется, мельтешит и надо от режима «кадр-век» переходить к кадру в год. В пространстве же наиболее перспективными для поиска оказались участки вблизи свищей.

«Вы еще чирьями их назовите!» — брезгливо поморщился Пец, когда услышал впервые на семинаре это название. «На чирьи, уважаемый Валерьян Вениаминович, более всего похожи вулканы,— парировал Любарский.— В частности, и на Земле тоже, это видно на спутниковых снимках — Камчатки нашей, например. А их извержения с истечением лавы — на то, как чирей прорывается. Свищи же подобны немного им, немного пузырям... И то, и другое — ни то, ни другое».

Если быть точным, то эти планетные образы-события заметили сначала на стадиях формирования тверди; даже еще точнее — сразу после этого: когда очертания и рельеф материков уже определились и застыли, только в отдельных местах что-то еще вспучивается, вихрится, колышется... и наконец опадает, застывает. Только на начальных стадиях эти свищи-вспучивания со временем все мельчали и редели, сходили на нет — на конечной же они, возникнув, росли числом и в размерах, соединялись какими-то трещинами (явно повышенной активности), пока все не завершалось общим смешением.

II

Что же выхватывал автомат ГиМ при максимальном сближении, когда побоку и галактики на всех стадиях своего закручивания-раскручивания, и звезды, и планеты в их цельной сложной жизни, а есть только чутошное, с булавочный укол, под наш масштаб «здесь-сейчас»?

...*Материк, контурами похожий на спящую кошку,*— зафиксированный вблизи перекрестия телеобъектива по повышенной активности (размытость в режиме «кадр-десятилетие», изменение цветов, тепловые излучения) свищ. Стремительное, как падение, приближе-

ние (полевая наводка пространственных линз) к *бугристому плато*, которое попутно меняет окраску от серебристо-голубого до серо-зеленого,— настройка на перспективу: *поверхность и желтое небо над ней скошены градусов на сорок, горизонт затуманен, длинные закатные (восходные?) тени от холмов* — но сориентироваться можно.

И блуждают, кружат между холмов и друг возле друга размытые фиолетовые смерчи — внизу пошире, вверху пауже — в форме гиперболоидов вращения. Одни вырастают, другие оседают, растекаются, затем снова набирают размеры, уносятся вдаль между холмов... Что это: существа? Атмосферное явление? Сами ли они размыты — или недотянул в резкости автомат? Какие масштабы, каково сближение по времени?.. Ничего нельзя определить в длившемся считанные секунды видении.

В персептрон ввели целевое уточнение, что туманно-пылевые смерчи «не то», что искать их не надо.

...Планета с сильным тепловым излучением и мутнеющей атмосферой: блуждают по накрененной серой равнине огни — большей частью локальные, подобные кострам, но местами извиваются между ними огненные змеи. Огни вспыхивают и тускнеют в общем сложном ритме — и так же согласно меняют цвет от сине-зеленого до оранжевого. Кто знает, истинные ли это цвета да и вообще огни ли это — может, смещенные в видеоспектр источники тепла? Невозможно определить размеры их, темп движений — потому что ничто на равнине не годилось в эталоны. *Огоньки приближались к ветвистым серым предметам, охватывали их, ярко разгорались — так, что освещали черный извилистый след за собой — неслись дальше. В перспективе все складывалось в плоское роение огненных мошек.*

— Строго говоря,— сказал Любарский, когда смотрели и осмысливали эту пленку,— горение такой же окислительный процесс, как и пищеварение. И там, и там важны калории.

— А мышление тоже окислительный процесс?! — раздраженно повернулся к нему Корнев.

— М-м... не знаю,— астрофизик был ошарашен, что его мнение приняли с таким сердцем,— не думаю...

— Конечно, Александр Иванович,— подал голос Миша Панкратов.— Творческое горение. Синим светом, ярким пламенем. Об этом все газеты пишут.

— А, да поди ты, трепач! — с досадой пробормотал главный.

Персептрону откорректировали, что и это — «не то».

...и была удача: *После четвертой звездной пульсации, которая сформировала на планете землеподобные условия, прояснилась на на несколько тысячелетий атмосфера над живописно менявшим*

краски, богатым растительностью и водоемами материком. Сближение, наводка пространственных линз, замедление во времени — и камера запечатлела какое-то существо. Среди зарослей чего-то. Резкость была недостаточна, чтобы разглядеть его формы: *что-то продолговатое, серое, параллельное почве, сужающееся спереди и сзади, слегка изгибающееся при поворотах и остановках в своем движении; и еще раздвигало оно боками расплывчатые сизые заросли...* Тем не менее это было свое, понятное, родное ж и в о е с у щ е с т в о. Живое во всех чувствуемых с дразнящей очевидностью признаках, кои невозможно выразить ни ясными словами, ни тем более командами для автомата. И галактики имели вид живого в определенных режимах наблюдения, двигались, меняли формы; и планеты, звезды, материки, горные хребты, моря... но у них это было просто так. А у расплывчатого не то кабанчика, не то крокодила н е п р о с т о т а к: *существо явно куда-то стремилось, что-то искало, чего-то или кого-то остерегалось, останавливаясь и поводя по сторонам передней частью; оно двигалось по своим делам, обнаруживало невыразимое при всей своей интуитивной понятности* ц е л е с о о б р а з н о е п о в е д е н и е. Здесь между наблюдателями и наблюдаемым возникал какой-то эмоциональный резонанс.

Персептрону намекнули клавишами дисплея, что это «то». Улов стал попадаться чаще:

— *Центральное скопление галактик в шторме, звезда с единственной планетой, а на ней коровы.* Может, и не коровы, четкость сильно играла, но из всего живого эти существа, с продолговатым, раздутым посередине корпусом на четырех подставках со склоненными мордами, более всего ассоциировались с ними. Морды были склонены к краю бурного темного потока — похоже, шел водопой (впрочем, может, и не «водо-»). *И по другому берегу потока змеились, не пересекаясь, узкие желтые полосы — «коровьи тропы».* Это, хоть и сильно дополненное воображением, тоже было свое, родное: есть существа, коим надо к чему-то (к ручью) склониться, чтобы «попить», и затем двигаться с целью дальше, «пастись».

— *Окраина скопления галактик в иной Метапульсации, ядро «Андромеды-187», Желтая звезда, четвертая планета с повышенной против Земли сухостью, гористая твердь с редкими вкраплениями озер...*

...И ползет по широкому ущелью нечто извивающееся, долгое, овальное в сечении, ребристое (или гофрированное?) — полосы играют в такт изгибам. Сдвиг в тепловой спектр — светится долгое, светится, зараза: впереди по движению и сверху ярче, к хвосту и вниз слабее. Выходит, теплее среды — *существо! За ним среди пятен-валунов остается гладкий след-желоб. Вот приблизилось к овальной, под свой размер, дыре в стене ущелья, втянулось туда целиком.*

Может быть, не змея это, не гигантский червь — транспорт?!

...А около другого с в и щ а на той же планете: огромное, уносящее ствол и ветви за кадр дерево впилось в почву судорожно скрюченными корнями. И продолговатые юркие комочки возле. Их что-то испугало — спрятались меж корней. По движениям ясно было, что от с т р а х а п р я т а л и с ь.

— Как просто все, как глупо...— задумчиво прокомментировал Толюня эти кадры, когда зажгли свет.— Даже по́шло.

— О чем ты? — спросил Корнев.

— О жизни нашей. И об ассимиляции-диссимиляции как ее основе. Знаете, почему мы различаем, где целесообразные действия, где кто питается, куда стремится и чего боится? — Анатолий Андреевич рассеянно оглядел всех.— Потому что живые существа нашего уровня не есть цельности. Они... то есть и мы сами — просто наиболее заметные... подвижностью, наверное? — части круговорота веществ и энергий в процессах Большой Жизни. Той самой, что видим в режимах «кадр-год» или еще медленней: материков и планет в целом. И звезд-событий, и галактик. Там тоже что-то от среды, от общего потока времени, что-то у каждого образа свое — но активность есть, а целесообразности нет.

— Жертвенность как альтернатива сделке,— вставил Пец, который присутствовал на просмотре.

— Может быть...— взглянул на него Васюк-Басистов.— Или свобода как дополнение необходимости. Эти круговерти веществ, тел, энергий объединяют все: существа, их стремления и страхи, объекты стремлений и страхов, действия по достижению целей, результаты действий, новые чувства и цели... все! Во всех масштабах и временах. А мы, части, вообразившие себя целым, в иных мирах выделяем коллег по заблуждениям, чувствами понимаем их... то есть себя опять-таки! — и называем это «объективным восприятием мира». А намного ли оно объективней заботы о своей семье?..

Слушали, кривились, комментировали.

К о р н е в. Страшный ты, однако, человек, Толюня!

Б у р о в. Растут люди...

Л ю б а р с к и й. Вот видите, выходит, Энгельс таки был прав в своей уничижительной трактовке нашей жизни как процесса питания и выделения. Куда от этого денешься, раз мы не цельности, а части среды!

П а н к р а т о в. Да-да, главное, чтоб классик был прав, а что мы такое на самом деле — дело десятое!

Вникали, отметали, поправками «то» — «не то» и дополнительной информацией о земной жизни все более настраивали персептрон на поиск с л о ж н о й целесообразной деятельности.

Ящеры — это была наибольшая удача.

III

Оставшийся за изгородью ящер притянул вплотную к ней волокушу, перепрыгнул через жерди, легко двинулся навстречу первому, принял от него груз. Тот вернулся к двускатной крыше. А этот уложил на волокушу каплю-бурдюк, опять кинулся встретить товарища, который вынес еще более крупный бурдюк. Оба то и дело посматривали вдаль и на стоявшего на углу третьего.

Все было диковинно в съемке, экзотично, инопланетно: многоствольные деревья с листьями-пиявками на конических ветвях, розово-голубое освещение от невидимого за облачной мутью светила, лоснящиеся скаты неровных длинных крыш, облик существ и перламутровый блеск их чешуи. Но смысл их осторожных, с оглядками движений был целиком понятен. Наблюдателей роднил с наблюдаемым масштаб 1:1 во времени и пространстве. Если бы сотрудники лаборатории МВ орудовали у той изгороди, они управились бы за такое же время, может, даже малость быстрее.

— Воруют, подлецы,— негромко молвил Буров.

— А того малого на шухере поставили,— добавил Ястребов.— Во дают!

...Накидав в волокушу десятка два капель-бурдюков, два крупных ящера перескочили изгородь и взялись за оглобли. Третий подталкивал волокушу сзади. Процессия удалилась в лес.

И дальше пошло **несущественное:** материк с заоблачной дистанции, меняющийся-живущий в темпе «кадр-год», планета в сверкающем вихревом облаке ионосферы, изменившаяся в эллипсоидную галактика с огромным ядром, мерцающие вспышки сверхновых на ее краях... Пленка кончилась, зажегся свет.

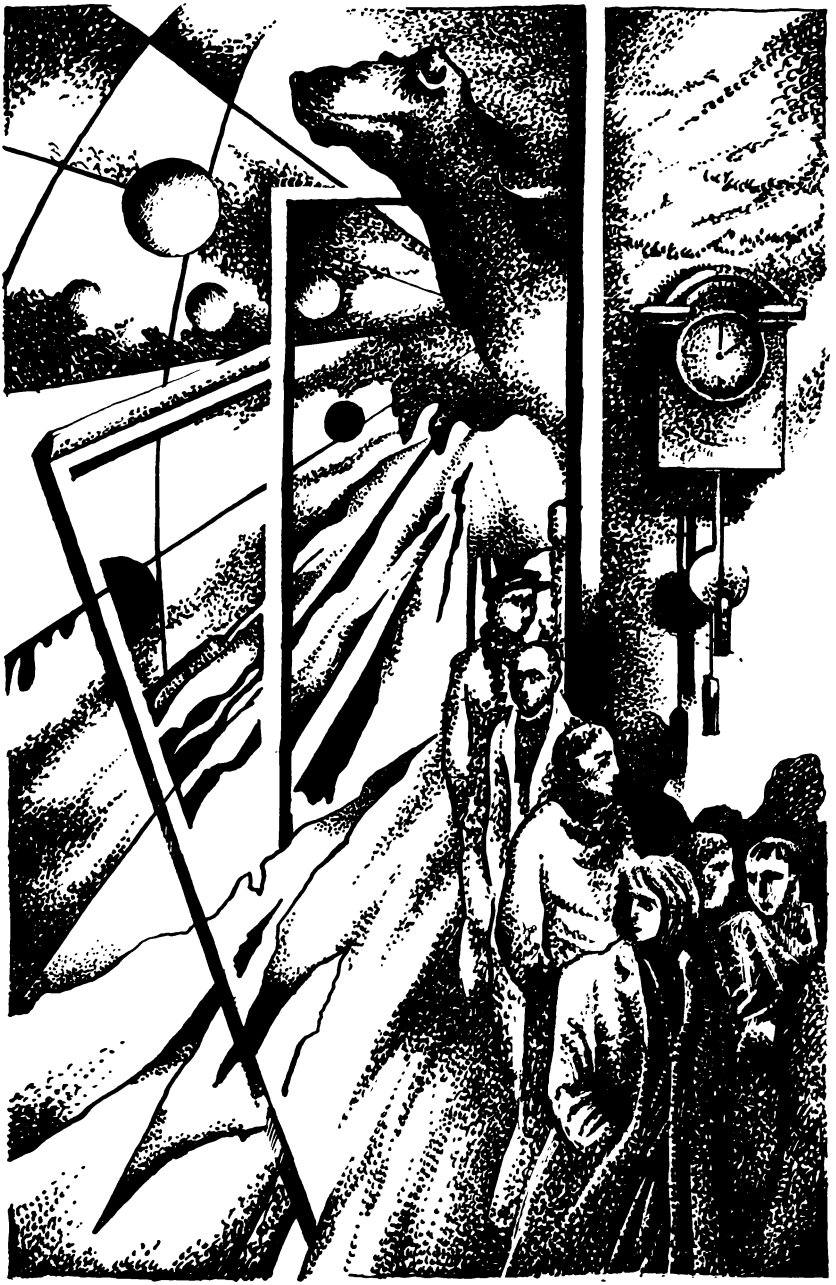
Некоторое время все молчали. Собирались с мыслями и пытались справиться с чувствами.

— Нет, ну что...— нерешительно потер лысину Варфоломей Дормидонтович, возвел брови.— Сложная организованная деятельность с распределением функций, животные так не могут. Наличествуют сооружения, изделия. Развито понятие собственности. Цивилизация?..

— «Собственность есть кража», как говорил Прудон,— добавил Миша Панкратов.— Так это или нет, но наличие собственности можно установить по факту кражи.

— Если бы не катаклизм миллионы лет назад, то, весьма вероятно, и на Земле разумной формацией сейчас оказались бы ящеры,— развивал мысль Любарский.— Гуляли бы с магнитолами по паркам, смотрели кино, пили пиво...

— Вы не о том... нет-нет! — Буров в волнении поднялся с кресла, принялся ходить вдоль стены.— Как хотите, но, по-моему, это апо-



феоз... или апогей? Словом, вершина, Маттегорн, Джомолунгма всей нашей деятельности. Нет-нет, Александр Иванович и все, не прерывайте, я должен высказаться — иначе я взорвусь и заляпаю стены! Смотрите: героическими действиями захватывают Шар, глыбу неоднородной материи — более общий случай пространства-времени согласно великой теории. Осваиваем, изучаем, героическим трудом сооружаем полукилометровую башню, геройским рывком — аэростатную кабину. Наблюдениями и страшным усилием мысли открываем Мерцающую Вселенную — первичную вселенскую Книгу Бытия, написанную микроквантами в Вечности-Бесконечности...— Похоже было, что Виктор Федорович действительно разозлился: говорил сильным грудным голосом, к месту жестикулировал, сами приходили слова — гнев выливался в речь.— Новая героика мысли и инженерного труда: изобрели способ полевого управления барьером в НПВ, создаем систему ГиМ, затем и пространственные линзы, и метод синхронизации... можем в Меняющейся Вселенной исследовать и понять в с е!.. И как же мы используем потрясную возможность исследовать и понять мир?

Он оглядел всех.

— Вселенская Метапульсация и Ее турбулентный Шторм — не то: нам бы что помельче, привычнее, начиная хотя бы с галактик... Хотя нету их самих по себе, лишь вихревая видимость на незримой галактической струе-волне! И звезды такие видимости, и планеты. Но и галактики «не то», и звезды, и звездо-планетные системы в целом... Пренебрегаем несчитанными миллиардами галактик, миров, листаем вселенные, как скучающий интурист проспекты: не то, не то... Нам бы планетку, да не всякую, а з е м л е п о д о б н у ю — что понять то, что у нас, через такое, как у нас!.. На этом уровне незачем держать в уме идеи Валерьяна Вениаминовича и Варфоломея Бармалеича о первичности Метапульсаций, о несущих нас и все миры потоках материи-времени — ага, вот есть планетный шар с материками, атмосферой, скоплениями жидкости, суточным и годовым вращением... как у нас! Но и этого для нас много, мы записываем в «не то» жизнь планеты в целом, жизнь, выражающую себя движением материков и океанов, горных стран, полюсов, катаклизмами, оледенениями,— ищем проявления н а ш е й органической жизни. Находим. Однако и биологические явления в полном масштабе — как ни жалки эти масштабы в сравнении с жизнью планет — «не то». Настраиваем «микроскоп» ГиМ еще тоньше, чтобы обнаружить знакомые нам формы животной жизни и целесообразного — то есть самого низменного, если прямо смотреть, сделочного, обменного «я-тебе-ты-мне»... но зато понятного нам всеми фибрами и печенками — поведения. Технику предельно совершенствуем, на риск идем. А вот если бы обнаружить р а з у м, лелеем при этом мечту, самое что ни на есть в ы с ш е е!.. И вот — раздайтесь во все сто-

роны Штормы, Метапульсации, галактики, мегапарсеки, миллиарды лет, звездишки всякие, материки и океаны! — опушка леса, склад за изгородью, три перламутровых хвостатых жулика воруют не то вино, не то пшено. Ура, вот это то, разумная жизнь, цивилизация, все как у нас: двое перекидывают через забор, третий стоит на стреме! Потрясающее завершение усилий понять мир и себя!

Он замолк, достал платок, вытер разгоряченное лицо.

— Да ты, никак, обвиняешь, прокурор Буров? — Сидевший согнувшись Корнев распрямился, взглянул на него исподлобья: — Кого и в чем?

— Что вы, Александр Иванович, могу ли я! — ответил тот, складывая платок.— Не я... это, как говорят газетчики, факты обвиняют.

— Нет, ну...— Любарский опять погладил лысину.— Если так смотреть, то и системы ГиМ не надо было. Из аэростатной кабины на двух километрах мы — когда поняли, что к чему — как раз и наблюдали в с е. А чем более внедрялись в МВ, тем, по необходимости, отбрасывали все большую часть Вселенского Целого, чтобы докопаться... тут вы правы, Виктор Федорович,— д о с в о и х подробностей бытия.

Ястребов, который не вмешивался в разговор и, казалось, задремал в своем кресле (он уже был старик — седой, неповоротливый, добродушный), вдруг захмыкал, покачал головой, повернулся к Корневу:

— Высокоорганизованная разумная деятельность, хе-хе!.. Такую деятельность, Александр Ива, которая животным не по плечу, можно и без вашей системы наблюдать, без телескопов. Ночью около зоны прогуляйтесь, не в первый, так во второй заход что-то в этом роде увидите. Только подкатывают к ограде не волокушу, а мотоцикл с коляской. А то и грузовик.

— Да уж по такому сорту деятельности ты знаток, что и говорить! — искоса взглянув на механика, сказал главный инженер, сказал жестко, с явным намерением обидеть.

— Эт вы... эт вы о чем? — опешил Герман Иванович.

— Да о том самом.

— Н-ну... раз такой разговор.— И без того красное лицо механика сделалось багровым. Он тяжело поднялся.— Раз уж такое поминаете, то... извините! — И вышел, сутулясь и шаркая ногами.

Все недоуменно смотрели на Корнева.

— Александр Иванович! — звучно заговорил Буров, и уголки рта у него дергались как-то независимо от произносимых слов.— Мы здесь все накоротке, запросто, высказываемся без околичностей... Но я лично сожалею, что не выработал еще столь короткое отношение к вам, чтобы влепить сейчас по физиономии!

— Ну, уж это...— неодобрительно пробормотал Любарский.

Толюня смотрел на своего шефа и друга с грустным удивлением.

Главный инженер поглядел на Бурова, затем на остальных как-то рассеянно-равнодушно, без эмоций, поднялся и вышел из зала. Несколько минут все думали, что он пошел догнать Ястребова, ждали, что они, помирившись, оба вернутся. Но Корнев, как потом выяснилось, поднялся на крышу, двинулся один в Меняющуюся Вселенную.

IV

Заученные нажатия клавишей, повороты ручек... Сверхдальний план, дальний, средний, ближний, сверхближний, запредельный. Масштаб от миллионов лет в секунду до 1:1, синхронизация «кадр-век», «кадр-год», «кадр-декада», «кадр-сутки», непрерывное слежение; параметры орбит на экране дисплея, скорости, большая полуось, малая, поперечник планеты, сплюснутость. Но ведь что-то выражает Вселенная турбулентным кипеньем веществ в прозрачно-упругой плоти пространства-времени? Что-то хочет сказать галактика блеском ядра и рукавов, сверканьем звезд, взрывами новых и сверхновых? Что-то шепчет планета над куполом, шевеля потрескавшимися губами хребтов, какие-то знаки делает она растопыренными пальцами рек? Что? Какие? Кому?

Тревожно, страшно на душе Александра Ивановича.

Неподвижно чужое небо, застыли навсегда странные кляксы морей и горы около. Но измени масштаб — *и побережье, ущелья, долины рек сминает вещественное волнение. Вот на равнине мелкие всплески собираются в крупные...* Остановил время: *теперь здесь горы. На лапах-отрогах «свищи» — беспокойные, излучающие, расплывчатые пятна.*

Еще ближе к ним в пространстве и во времени — сверхближний план, запредельный, насчет которого подписку давал: *мелкая рябь рельефа застывает и вырастает в крупные всплески.* Смутные образы наводят в воображении их размытые контуры: не здания ли это со скатами крыш — если не на европейский манер, то на китайский, тибетский, индийский? Не пирамиды ли? Не улицы ли эти темные ровные ущелья?.. Но переход на крупный масштаб — *и снова все ходуном, нарастает, потом утихает шторм гор; они сникают за секунды-тысячелетия, выравниваются в волнистое плато, а оно опускается в гладь океана.*

— *Э, надоела! Следующая!*

Нажатия клавишей — автомат послушно находит в МВ другую «семейную» звезду, подходящий образ планеты около: повисает над кабиной, заслоняя небо, живой, бурлящий, дышащий шар. *Нету еще материков и океанов — есть возникновение, уплотнение, набор*

выразительности. Шаровая волна самоутверждающего действия втягивает в себя пену веществ из окрестной «пустоты».

Синхронизация «кадр-год» — *смещаются по боку планеты размытые импрессионистские пятна, их разделяют грубые тени, сочные мазки красок.* (Неотразимое впечатление, будто кто-то — сердитый и гениальный — по-крупному набрасывает сюжет будущего мира: здесь выемка для океана, здесь материк, тут водораздельный хребет...) *Темп творения замедляется* — сближение, проясняются со вкусом вымалеванные детали: *речные долины растут в глубь материков плоскими многоветвистыми древами, их дельты, впадая в моря, шевелят протоками, как пальцами; четки и проработаны в полутонах пятна озер и ледников, островов и равнин.* Но — перемена режима — все смешалось. *Дыхание общепланетных и звездных катаклизмов сотрясает твердь в ритме морского прибоя, меняет облик планеты.* И страшно это сходство зыбких, обесцвеченных смещением спектра подробностей с рисунком пены, возникающим на воде после наката волн на пологий берег: рисунок всякий раз определенный, плавно и «закономерно» преобразуется он от колыханий воды, которые объединяют пузырьки в группы, смыкая или разделяя их... Но новая волна все стирает, оставляет после себя иную картину пены, которая преобразуется по новым «законам» — до следующего наката.

Перемены режимов не только от ускоренного до замедленного — от Единства к разнообразию. Перемены, обнажающие нашу связь именно с разнообразием, с мелкими здешними и сиюминутными различиями на глубоком и ровном, огромном и спокойно-мощном.

Просмотрев так с десяток планет, понял Александр Иванович нереальность своих попыток — обнаружить в самом близком и рискованном режиме что-то хоть отдаленно подобное тому, что видел давеча на экране.

Черт знает, сколько персептрон-автомат пересмотрел миров в своих сверхбыстрых поисках, пока снял четко такие кадры: тысячи; сотни тысяч?.. Ему с его белковой неповоротливостью это за жизнь не осилить.

«Но ведь кто-то же там есть: возникает, развивается, живет?.. Пусть часть от части своей планеты — но живет! Кто? Что? Как?.. Что они? И что — мы?..»

Не было теперь для него разных звезд — всюду, во всех Метапульсациях и галактиках, загоралось и светило, порождало или захватывало планеты Солнце. И не было разных миров — всюду уплотнялась, вращалась, выразительно изменяла облик и жила Земля. И не было разных существ — рождался там, боролся за жизнь, любил, страдал, мечтал, трудился, познавал, заблуждался, покорял природу и покорялся ей, умирал и снова рождался — человек.

ГЛАВА 22

ДО УПОРА

Когда у профессиональных убийц нет работы, они убивают друг друга. Критикам надо брать с них пример.

К. Прутков-инженер. Мысль № 169.

I

С Корневым что-то делалось... Собственно, со всеми ими что-то делалось, не могло не делаться. Познание мира, познание Меняющейся Вселенной стало их общей индивидуальностью; эта индивидуальность не ладила, а то и боролась с личностью каждого — с обычным, земным, человеческим — с переменным успехом. С Люсей Малютой, например, дважды после подъема в МВ от совершенно пустячных причин происходили истерики — с хохотом, переходящим в рыдания, с бросаньем предметов. Ее отпаивали коньяком и валерьянкой. Валерьян Вениаминович официально запретил ей подъемы.

Александр Иванович был более сильной личностью — и дурил он по-своему, по-корневски. Валерьяну Вениаминовичу со всех сторон жаловались, что он манкирует обязанностями, отказывается вникать даже в те проблемы башни, кои без главного инженера никто решить не в силах; спихивает все на референта Валю (ныне свежезащитившегося кандидата технических наук Валентина Осиповича Синицу), а то и вовсе ставит на бумагах хулиганскую резолюцию: «ДС»*, насчет которой с ним уже был серьезный разговор.

Изменилось и его отношение к людям. Раньше Александру Ивановичу нравилось свойской шуткой, репликой, остротой расположить человека к себе; а теперь он, похоже, находил удовольствие в обратном: уязвить, обидеть, оттолкнуть. Только за последние дни он:

— охарактеризовал Б. Б. Мендельзона (в присутствии Б. Б. Мендельзона) как «человека-заблуждение» — в том смысле, что его титул «кандидат физико-математических наук» физики понимают так, что он хороший математик, а математики — что он хороший физик; у ошеломленного Бор Борыча выпала из уст сигара;

— оскорбил Ястребова, свою правую руку по всяческой механике; и человек, который еще мог и хотел работать, ушел на пенсию;

— сказал на НТС Адольфу Карловичу Гутенмахеру, распекая того за косность в решении строительных задач в НПВ, что правильная его фамилия не Гутенмахер, а Гутеннемершлехтенмахер —

---

* Деликатная расшифровка: для использования в качестве туалетной бумаги.

то есть не «хорошо делающий», а «хорошо берущий и плохо делающий»... и почтенный академик архитектуры третий день носа не кажет в Шар: то ли захворал от огорчения, то ли по примеру Зискинда оформляет куда-то свой перевод; оно, правда, потеря не из больших — но скандально!

В этих выходках наличествовал прежний корневский артистизм, институтские доброхоты разнесли высказывания о Мендельзоне, и Гутенмахере по этажам и отделам. Но было и другое: Александр Иванович будто вымещал на людях какую-то свою обиду.

А его подъемы к ядру без напарника, без страховки и работа там в запредельных полевых режимах! Ведь сам первый поддержал, что эти режимы только для автомата, первый подписал обязательство не использовать их вручную — и... куда ж это годится?

Пец последние дни искал возможность крепко поговорить с Корневым обо всем с глазу на глаз, да не получалось: то разминулись, то развели дела-неотложки. А сегодня, хотя шла вторая половина дня, главный инженер еще не появился и даже, что совсем было из ряда вон, не дал знать: где находится, до каких пор задержится, как связаться. И такое он позволял себе не впервой. Видели его утром сотрудники, спеша на работу: брел по набережной с рассеянным видом, руки в карманы. Все это было странно.

Валерьяна Вениаминовича менее, чем других, пошатнула Меняющаяся Вселенная — скорее всего, просто потому, что он меньше ею занимался. Некогда было. Он добросовестно тащил воз институтских проблем, воз, в который все больше подкладывалось, тащил без расчета на награды, признательность общества и личное удовлетворение, а просто: к тому приставлен. При этом всюду, где только возможно, старался гнуть свою линию. Пец и сам затруднился бы выразить ее внятными словами; скорее всего это были все те же изначальные, от характера и опыта жизни, стремления *поработиться* (делами, обстоятельствами, отношениями, влияниями) и *разобраться*. Во всем. Чем глубже, тем лучше. Не поработиться, чтобы лучше, обширней, беспристрастней разобраться. А разобраться — чтобы благодаря знанию при новом натиске дел, людей и обстоятельств выстоять, не поработиться, не попасть впросак.

Но чувствовал себя Валерьян Вениаминович уже на пределе. Еще небольшая перегрузка — и он устало согласится признать видимость понимания, закамуфлированную терминами и числами, за понимание, движение по равнодействующей от давлений со всех сторон — за свои решения и действия. Сначала в одном, потом в другом, третьем... и система утратит управляемость. В НПВ это просто, он знал. А тут еще Корнев отлынивает.

А тут еще эта сеть... Комендант Петренко, усатый мужчина, вер-

нулся из контрольного осмотра ее с вертолета встревоженный. В двадцатикратный бинокль он заметил множественные разъединения сварных перекрестий, сдвиги заплат, коррозионные дыры, а также и в местах крепления канатов. Налицо опасность, что в период приближающегося осенне-зимнего ненастья, гроз и ветров нарушения целостности экранных сетей могут принять аварийный характер.

После каждой фразы доклада Петренко замолкал: не скажет ли чего директор? Но Пец только кивал, думал.

Увлеклись освоением Шара, башней, Меняющейся Вселенной — где тут помнить, что все это держится на тонких проволочках, к тому же ржавеющих. Сети были те же, наспех сваренные в Овечьем ущелье, битые грозами, латаные, едва спасенные шальной инициативой Корнева. Когда обосновались здесь, канаты намотали на барабаны электромеханических «балансирных устройств», чтобы те регулировали натяжение их при разных ветрах, гасили возможные смещения Шара. Балансиры работали хорошо, на том и успокоились. «Эк у нас все на авось: до сих пор держала — и дальше удержит! А если нет и в какую-то ураганную заварушку сместится Шар? Шар, в котором башня с тысячами работников, ценности на сотни миллионов... бр-р!»

— Новую сеть надо делать, Иван Игнатьич,— поднял он глаза на коменданта.— Назначаю вас председателем комиссии. В нее включите Альтера Абрамовича, подберите инженера-проектировщика потолковей, найдите ту корневскую документацию, по которой сети делались,— и с богом. Те обе сети были изготовлены за три дня — вам на одну даю четыре. Предоставляю все полномочия по срочному привлечению материалов, установок и людей — вплоть до снятия их с других работ. Сегодня 14 сентября. 18-го сеть должна быть. Вопросы имеете?

— Имею. Подкрепление полномочий, когда нету вас и Корнева?

— Об этом будет написано к сведению всех в утренней сводке завтра. О ходе ваших работ — в последующих.

Петренко удалился, несколько, похоже, ошеломленный тем, как круто директор повернул вопрос с сетью. «Он не все знает, бравый комендант и начохраны,— подумал Пец, придвигая к себе три рулона лент от самописцев.— Не знает, к примеру, что опасность грозит сетям и башне не только снаружи, но и изнутри, из глубин Шара. И может быть, куда более серьезная: блуждания центра Метапульсаций».

Вынесенные на штангах на три стороны от крыши объктивы вот уже третий месяц запечатлевали на пленку и ленты самописцев координаты максимумов свечения, каждые пять-шесть секунд. Их число перевалило за миллион — порождающих галактики и миры дыханий Шара. И центр каждого оказывался не там, где предыду-

щие; да и странно, если бы там же — пульсировал единый и необъятный океан материи-действия. Блуждания центра напоминали броуново движение, но с наложением трудно угадываемой закономерности.

Валерьян Вениаминович развернул рулоны, встал, чтобы лучше обозреть ленты с точками, примерился с одной стороны, с другой... нет, так не ухватить. А важно бы знать, не сместится ли какая пульсация так, что деформирует внешние слои Шара? Вселенскому Вздоху все равно, для него объем этих слоев суть математическая точка, отчего бы ее и не задеть; а нам каково будет?.. Наверное, такие броски случались в Шаре — но пока он гулял свободно, это ничего не значило: шатнулся в пространстве, да и все. А теперь ему смещаться нельзя. Силы, какие передаст на сеть «вселенская деформация», окажутся посерьезней гроз и ураганов.

Он набрал код координатора. На экране появился Иерихонский в белом халате, в шапочке на длинных волосах.

— Александр Григорьевич, вам что-нибудь говорят слова «блуждания Метапульсаций»?

— Почти ничего, Валерьян Вениаминович. Читал что-то в сводке неделю назад.

— Этого достаточно, с блуждающими токами или кометой не спутаете. Примите задачу...— Старший оператор на экране приготовил лист и ручку.— Проэкстраполировать закономерность «блужданий» на 15 дней вперед. Данные за прошлые месяцы у меня, за последние дни в самописцах регистраторов. Необходимые консультации у Варфоломея Дормидонтовича.

— На полмесяца вперед — далековато, Валерьян Вениаминович.

— Задача важная, отнеситесь со всей ответственностью. Прогноз на первые пять дней с точностью до десяти процентов.

— Ох!..

— Срок — на послезавтра, 16-го, не позже 20.00 эпицентра. Все!

Пец выключил экран.

...Этим наверху не приходится рассматривать Метапульсации и Вселенские штормы в таком утилитарном плане. А ему приходится. Они вообще оторвались.

Еще этот Буров, пытающийся поставить перед фактом!.. Утром, войдя в вестибюль осевой башни, Валерьян Вениаминович заметил, что вместо плакатов по технике безопасности и цветных фотографий радужно искривленных пейзажей (времен Зискинда) на стенах красуется нечто другое. Он заметил, собственно, не это, а что у новых фотографий толпились люди; не спешили, как обычно, в лифты и по своим местам. Подошел: снимки галактик МВ, которые прежде украшали кольцевой коридор лаборатории Любарского. На других этажах тоже висели снимки галактик; особенно впечатляли наборы

их, снятые в ступенчатом приближении, где галактика разрасталась от светового пятнышка до звездного диска, а он — в обильное звездами небо. Еще выше Пец увидел метровые снимки планет МВ, их средние и ближние планы: красочные миры с валами гор, диковинными фигурами материков, прикрытых циклонными вихрями туч, с морями, распустившими во все стороны, незнакомые рисунки речных долин... В уголках фотокартин сохранились индексы, номера, числа масштабов и режима съемки.

Затем Валерьян Вениаминович обратил внимание, что и из динамиков на всех этажах слышится не обычный метрономный стук, изредка прерываемый объявлениями: того-то вызывают туда-то, просят связаться с тем-то,— совсем иное. Прислушался: музыка сфер! Все, что улавливал при разных наблюдениях и съемках в МВ буровский светозвуковой преобразователь: плеск электромагнитного вселенского моря, нарастающее до рева переливчатое шипение падающих на кабину галактик, «пиу-пиу!..» возникающих в них звезд (или чиркающих по атмосфере планет метеоров), звонкая нота бегущей по орбите планеты (признак синхронной настройки на «кадр-год»), прибойный грохот вспышек сверхновых и геологических катаклизмов — все низвергалось, интерферируя многоголосым электронным эхом, на головы сотрудников Института. Мало кто из них знал значение звуков, не для всякого был ясен и смысл снимков. Но в целом впечатление получалось сильное, космическое. Выражения лиц у смотревших становились какие-то особенные, в глазах возникал отсвет неземного. Пец на минуту и сам почувствовал себя в некоем космическом суперлайнере, летящем на штурм Вселенной.

Но звездное очарование быстро вытеснила из души директора озабоченность. «Кто же это отличился? — гадал он, поднимаясь к себе.— Ведь договорились не распространять без необходимости информацию об МВ, пока сами толком не разобрались. Зачем смущать людей!»

Из сводки он узнал, что отличился Буров, который вчера в вечерние часы осуществлял в Шаре высшую власть; употребил в дело фотографа из техотдела, радистов из группы Терещенко — и исполнил.

Валерьян Вениаминович намеревался сразу дать команду Петренко все снять, трансляцию «музыки сфер» прекратить. Но — навалились более важные дела, отвлекли. Потом снова вспомнил, снова отложил... а сейчас вот понял, что думает об этом и оттягивает решение не из-за дел, а — колеблется. Сомневается: может, он и вправду излишне консервативен, перестраховочен, не чувствует истекающего сверху дыхания вселенских истин? На чем основана его правота — правота, в силу власти чреватая окончательными решениями? Не лишне проверить себя.

Он, В. В. Пец, ученый и руководитель, шестидесяти пяти биологических лет от роду, исповедует *деятельное познание* — посредством экспериментов, количественных измерений и наблюдений, обобщаемых в математические теории (кои всегда позволяют уловить новые, недоступные поверхностному взгляду тонкости), посредством созидательного овладения явлениями природы... короче, исповедует способ познания, расширяющий человеческие возможности. А познание чувствами (к коим и взывают эти снимки и звуки) есть крен в созерцательность, в пассив. Пассивное же, созерцательное познание соседствует с религиозным признанием «бога во всем»; раньше оно считалось единственно истинным, теперь не считается познанием вообще. Насчет истинности пока отставим, но несомненно, что, если первый способ познания освобождает человека, прибавляет ему уверенности и сил, то второй — психически порабощает. Заставляет чувствовать себя пылинкой перед господом. Это не то. Да, но снимки — не иконы, а буровская «музыка сфер» не хоралы! Все по науке... так и пусть возбудят эмоции во славу науки? Вот! Вот это самое-то гадкое и есть: «во славу». Наука ныне предмет массового поклонения, так сказать, пятая мировая религия. Чем меньше люди ее понимают, тем больше в нее верят (как, кстати, и в религии). Верят бездеятельно и боязливо — опять-таки как в бога. И не к чести науки, а только к выгоде «жрецов науки» — внешне жрецов, по существу спекулянтов — возбуждение таких чувств к себе.

«Словом, ясно, снимаю. И Бурову учиню разнос, чтоб неповадно было впредь.— Пец набрал коды телеинвертора, отдал соответствующие распоряжения. Хорошо бы с Дормидонтычем обсудить этот вопрос вечерком за чаем, поспорить. Он ведь держится иного взгляда... А кабинет директора не для того, здесь не размышляют — здесь решают».

Да, кабинет директора был не для того, совсем для другого. Давно ли подключили к возведению внешних слоев башни то озабоченное испытанием своих материалов и конструкций министерство? И что казалось удачнее этой прощальной идеи Зискинда? Решение проблем строительства раз и навсегда. Только не хотят проблемы решаться навсегда.

И вот бегает по ковру вдоль длинного стола в кабинете растерянного Валерьяна Вениаминовича лысый широколицый коротыш — заместитель министра, академик строительства и архитектуры — и скандалит, бушует на полный голос:

— Ну, знаете, не ждал! Почтенный институт, солидные люди... И так обвели вокруг пальца! Ведь это... даже сравнить не с чем, разве что с тем, как прежде купцы рубль на гривенник ломали в фальшивых банкротствах.

— Вы объясните, пожалуйста, в чем дело? — недоуменно спросил Пец.

— Объяснить! В чем дело!..— ядовито повторил замминистра.— Как будто вы с самого начала не понимали, не потирали руки: нагреем, мол! Они нам на десятки миллионов новейших материалов и изделий, монтажные машины, специалистов в подмогу — а мы им шиш. Шиш, шиш!.. Нет, формально все верно: ускоренное время, два месяца за сутки, на высоте четыреста метров — но черт ли нам в таком времени! А климатика?! Ведь у вас здесь ни дождя, ни снега, ни зноя, ни ветра... комфортные условия с малыми колебаниями температур. Мы этого не могли знать: мы приехали в ясный день и уехали в ясный. Но вы-то ведь знали! А производственная загрузка помещений наверху? Это же курам на смех, пять-десять процентов! Только и того, что лифты бегают...

— Но... мы не представляли, что это для вас так важно.

— Ну да, они не представляли! Десятники у вас строительством заправляют, а не киты вроде Зискинда и Гутенмахера. И в договоре-то как ловко написали...— Замминистра раскрыл кожаную папку с монограммой в углу, прочел: — «Возведенные из материалов и конструкций Министерства сооружения эксплуатируются в открытых полевых условиях».— Закрыл папку, повторил с тем же ядом: — Эксплуатируются в полевых условиях! Формально верно, не придерешься.

— Ну... введите поправочные коэффициенты,— робко вякнул Пец.

— Эх, да какие теперь коэффициенты! — Посетитель уничтожающе глянул на него.— Я вам скажу не как ученый ученому, не как руководитель руководителю, а просто как пожилой человек пожилому: бесстыжие твои глаза, дядя! Все, до встречи в Госконтроле!

И вышел, хряснув дверью. А Валерьян Вениаминович сидел, моргал своими «бесстыжими» глазами и тяжело думал, что ему и отыграться не на ком: договор сочинили Корнев и Зискинд. «И за какие грехи мне суждено за всех отдуваться? Я же действительно не знал о климатике».

Он нажал кнопку, в дверях появилась Нина Николаевна.

— Корнев?

— Нету, Валерьян Вениаминович. И неизвестно где.

— Отправляйтесь на коммутатор... сколько у нас городских линий?

— Двадцать.

— Займите пятнадцать. Обзванивайте все и вся, пока не найдете. Что за легкомыслие: исчезнуть и не известить!..

Секретарша управилась с розыском довольно быстро. Валерьян Вениаминович только прилег на диван, расслабился, прикрыл глаза,

подумал, что устал он сильно — и от обилия дел, и от идей, от потрясающих наблюдений, от безграничных возможностей... хочется, чтоб ограничилось все и не трясло душу. «Юркнуть в одну идейку, как в норку: я, мол, ее двигаю, и не требуйте от меня большего. В конце концов, мы всего лишь люди. Какая-то, черт его знает, лавина!..»,— как Нина Николаевна заглянула в кабинет:

— Повезло, Валерьян Вениаминович, даже не по всем каналам прошлась. Возьмите трубочку.

— А где он? — Пец встал, подошел к телефону.

— В вокзальном ресторане. Телефон администратора.

Разговор получился скверный — и не только потому, что Пецу на каждую реплику доводилось четверть минуты ждать ответа; это было привычно при вызовах города. Корнев был как-то странно настроен. На упрек директора, что вот, оказывается, как подвели министерство стройматериалов, обесцвеченный инвертированиями голос ответил:

— Наш общий знакомый, Вэ-Вэ, староиндейский мудрец Шанкара о подобных ситуациях говорил: «Восприятие веревки как змеи столь же ложно, как и восприятие змеи как змеи». Мы не знаем, где начинается и где кончается обман или самообман.

— А ваш недавний подъем партизанский в МВ в запредельном режиме, насчет которого сами дали подписку! — сердито переключился Пец на другую тему.— Хорошенький пример показываете...

— Подписки для того и дают, чтобы в случае чего освободить других от ответственности,— столь же бесцветно ответили на другом конце провода.

— А что вы делаете в ресторане среди рабочего дня? Пропали, никого не известив!..

— То, что все делают в ресторанах: пью и закусываю,— донеслось еще через четверть минуты.— Имею право на отдых, отпуск еще не использовал, отгулов накопилось на полгодика... Ладно, завтра с утра буду на месте. Обещаю, папа Пец. Я вас люблю, папа Пец.

«Неужели пьян? — директор медленно опускал трубку.— Вот это да... Нет, надо поговорить».

Он снова было направился к дивану — но за спиной окриком конвоира прозвучали сразу зуммер телеинвертера и телефонный звонок. «Нет, здесь я не отдохну, надо наверх. Кстати, и дельце есть».

II

Комната Валерьяна Вениаминовича в профилактории находилась тремя этажами ниже лаборатории МВ; но, конечно же, он нажал в лифте кнопку последнего этажа.

«Эмвэшники» сидели в просмотровом зале, кóторый заодно был дискуссионным клубом. Слово держал Любарский:

— ...и получается, что миллиметровые — и даже сантиметровые, а часто и дециметровые — подробности для нас недоступны. Оно, может, и к лучшему, мелкие частности только отвлекают. Главное теперь, благодаря последнему усовершенствованию Виктора Федоровича: импульсные съемки малых участков планет сразу в широком спектре прямых и отраженных излучений, от радиодиапазона до ультрафиолета, и по обе стороны от терминатора, то есть и днем, и ночью — мы теперь чётко выделяем «места оживления», а в них — быстро меняющиеся и движущиеся объекты, сиречь — тела. Проблема такая... но давайте лучше сначала посмотрим. Прошу, Анатолий Андреевич!

Тот выключил свет, запустил проектор. Пец сел в крайнее кресло, вытянул ноги, без любопытства посматривал на экран: там выделился в среднем плане с в и щ на какой-то планете, от него распространились «трещины интенсивности», яркие благодаря своим излучениям... Валерьяну Вениаминовичу куда больше сейчас хотелось спать, чем вникать, соединяться мыслью с этими бескорыстно и недоуменно ищущими; но он учуял, что ему не отвертеться.

На экране *затуманивалась и прояснялась атмосфера, под ней светились и меняли формы сиреневые, желтые, лиловые, опаловые пятна, от них расходились паутинки-трещинки, они сплетались, на перекрестиях возникали и росли новые «места оживления».* Но вот перешли на сверхближний план, в кадре осталась *одна ветвящаяся «трещина». Она развернулась в длинную полосу, уходящую к накрененному ярко-оранжевому горизонту среди холмов с цветными пятнами. По ней в обе стороны двигались размытые продолговатые тела серого цвета; одни темнее, другие светлее, попадались длинные, как бы составные, и короткие, некоторые совсем крохотные. Скорости у тел были различные.*

— Достаточно, Анатолий Андреевич!

Толюня остановил пленку, оставил на экране кадр, на котором два тела, двигавшиеся в разных направлениях, сравнялись почти бок в бок,— и включил свет.

— На мой взгляд, мы видели сейчас нечто более значительное,— продолжил речь астрофизик,— чем эпизод с ворующими ящерами. Здесь из-за размытости нет деталей, живописных подробностей. Но скажите мне, можно ли истолковать эту полосу и двигающиеся по ней тела иначе, чем д о р о г у с д в у с т о р о н н и м д в и ж е н и е м?.. Не все «трещины» у нас различаются до таких подробностей, как и не все с в и щ и, «пятна интенсивности». То есть мы не можем утверждать, что такие пятна обязательно города, а «трещины» — дороги от них, коммуникации...

— С в и щ и можно толковать и как естественные вздутия,—

вступился Васюк.— Как-вулканические, например, или заработал природный урановый реактор — вроде найденного в Габоне.

— Да-да, а «трещины», соответственно, и как потоки лавы, или горячей воды, или расселины, в которых что-то парит и бурлит...— подхватил Любарский.— Но в эти признаки вписываются и образы цивилизации: города́ и дороги с интенсивным движением. Валерьян Вениаминович, что вы скажете: можно ли то, что мы видели, истолковать иначе, чем проявление разумной жизни?

— Что тела движутся навстречу, но не сталкиваются? — неохотно включился тот.— Да... пожалуй, что и нельзя. Правда, надо бы знать размеры, массы, скорости...— Новая мысль пришла в голову и несколько оживила директора.— Знаете, это можно просчитать — правда, на машинах, не вручную. Множеству хаотически движущихся тел соответствует определенное количество их столкновений... ну, подобно соударениям молекул газа. А если статистика соударений отклоняется в меньшую сторону — чем это не признак разумности! Вы столкновения тел можете замечать на планетах МВ?

— Даже лучше, чем сами тела,— подал голос Буров.

— А что!..— прозвучал оживленный голос Люси-кибернетика; она тоже сидела здесь, хотя от подъемов в МВ ее отлучили.— Мы это можем промоделировать, ввести результаты в персептрон — и он будет вам отбирать картины движений несталкивающихся или редко сталкивающихся тел... по критерию Пеца. Браво, Валерьян Вениаминович, одобряю!

— Назовите лучше критерием гармоничности,— отозвался тот, прикрывая зевок ладонью,— или механической гармонии.

— «О, если б все так чувствовали силу гармонии! — возглаголил вдруг Буров и поднялся с кресла, чтоб лучше декламировать.— Но нет, тогда б не мог и мир существовать. Никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни, все предались бы вольному искусству. Нас мало, избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного жрецов». Пушкин «Моцарт и Сальери». Вы чувствуете, как мы зреем? Пренебрегаем презренной пользой, основой целесообразного поведения... ею, в частности, руководствовались и те ящеры-несуны — и определяем разумность по высокому критерию Пеца, критерию механической гармонии: чем меньше столкновений тел, тем больше разума. Так, Вэ-Вэ?

Пец искоса смотрел на него: как меняются люди, как растут! Давно ли Витю Бурова взбутетенивали за нерадивость в разработке приборов, он смотрел на корифеев Корнева и Пеца снизу вверх щенячьими глазами и обещал исправиться. А теперь Виктор Федорович автор доброй половины воплощенных в систему ГиМ идей, накоротке с мирами и мегапарсеками — и может продекламировать грудным голосом перед директором не только отрывок из поэмы, но и всю поэму.

— Ну, так,— сказал он.

— Ага! А теперь возьмем муравьев. Уверен, что вам доводилось наблюдать на природе, как они движутся по дорожке от своего муравейника к чужому и обратно, с награбленными яйцами — и ничего, не сталкиваются. А с другой стороны, возьмем хоккей, вид разумной игровой деятельности, часто показываемый по телевизору: как там люди-то сталкиваются, сшибаются — и друг о друга, и об забор, и о ворота. А?

— Витенька, но если бы они были слепые и дикие,— вмешалась Малюта,— то сталкивались бы чаще, а по шайбе попадали реже.

Пец тем временем вспомнил, зачем он сюда наведался, встал:

— Ну, в этом вы разберетесь сами. По-моему, критерии пользы и гармонии не противоречат друг другу, ибо какая может быть польза в столкновениях — даже в хоккее? А пока что, Буров,— он устремил взгляд на него,— за самовольное распространение информации об МВ, выразившееся... вы знаете в чем — получите строгий выговор. Содеянное вами ликвидировал. Даже сегодняшняя дискуссия показывает, что вы здесь еще не разобрались, что к чему. А туда же, смущаете людей. Повторится — вылетите к чертовой матери в 24 часа, невзирая на заслуги. Много возомнили о себе. Усвоили?

— Да-а, Валерьян Вениаминович,— ошеломленно сказал Буров; щеки его как-то сразу опали,— усвоил... Понимаете, я ведь, собственно, потому... у нас здесь накопились новые снимки, а к тем привыкли, как к обоям. Я и распорядился переместить их туда, не пропадать же добру.

— А «музыка сфер»? — поинтересовался Пец.

— Она... ну-у...— Виктор Федорович совсем смешался,— заодно.

— Между прочим, Валерьян Вениаминович,— поспешил на помощь Любарский,— я целиком поддерживаю решение Вити. Если бы вчера вечером была моя очередь дежурить, сделал бы то же самое.

— Значит, отнесите сказанное и на свой счет! — В голосе Пеца проступили раскатистые, рявкающие интонации.— Хотя от вас-то я не ожидал: солидный человек, не мальчишка...

(Любопытно, что Варфоломей Дормидонтович до сих пор обитал у директора; но время, проведенное обоими там, за вечерним чаепитием с разговором, каждый раз отдалялось на реальные недели — и получалось как бы не в счет).

— Не угодно ли выслушать, почему я — солидный человек, не мальчишка — одобряю такое? — Экс-доцент тоже завелся: здесь не привыкли к разносам.

— Не слишком...— Пец поглядел на часы, потом на отвисшую в негодовании челюсть астрофизика.— Хорошо, давайте, только кратко.

— Ну, Валерьян Вениаминович, вы!.. Ладно. Кроме метода научного познания, которое опирается на внешние чувства, рассудок и количественную меру, существует, как вы, возможно, слышали, и о б р а з н о е познание мира, опирающееся на глубинные чувства...

— Слышал. Существует. Оно называется искусством.

— Да-с, именно искусством.

— Так это вы с Виктором Федоровичем изобрели еще одну музу, в компании к Мельпомене, Клио и прочим? И как ее имя? Муза Бурова? Варфоломиана Дормидониана?

Они как бы соревновались, кто кого скорее доведет до белого каления. У Пеца опыт был богаче, к тому же будучи недавно высечен замминистром, он жаждал отвести душу. Люся Малюта смотрела на обоих блестящими глазами; чувствовалось, что сцена доставляет ей удовольствие.

— Ну, знаете!.. Браво, Валерьян Вениаминович, фора, бис! Вы делаете успехи в сравнении с тем знаменитым «эх, пожрать!». А что говорить с человеком, которому медведь не только на ухо, но, вероятно, и на душу наступил?.. — Любарский отвернулся, махнул рукой.

— Уравнения Пеца, соотношения Пеца, вот критерий Пеца...— заговорил грудным голосом воспрявший за это время Буров.— Но вместе с тем существует и твердолобость Пеца, узость. Вы консерватор, Валерьян Вениаминович, восемнадцатый век! Да, именно восемнадцатый, потому что уже в девятнадцатом было сказано «чувства добрые я лирой пробуждал». А живи Пушкин сейчас, он славил бы пробуждение в людях с и л ь н ы х чувств. Сильных, величественных и высоких. А вы...

— А я считаю,— повысил голос Пец,— что у вас в руках не лира, на коей бряцают, а наблюдательная система, посредством которой мы извлекаем из Шара знания, значения и смысл которых сами еще толком не понимаем. И сбиваться в такой ситуации с пути прямых исследований на окольные тропки, которые неизвестно куда приведут... а тем более сбивать на них други — преступно.

— Да почему?..— начал было снова Буров.

— Все на эту тему! — еще укрепил голос директор.— О последствиях вас предупредил. Возвращайтесь к делам. Зарвались здесь... бряцатели!

Невысказанные, пока он шел к двери, сотрудниками лаборатории чувства были подобны беззвучному рычанию.

III

На следующий день из-за затора на шоссе Пец опоздал на семь нулевых минут, кои НПВ легко превратило в часы. Из-за этого они

с главным инженером снова разминулись, тот отправился пешком по объектам выше 20-го уровня. Нина Николаевна обзванивала этажи, но Корнев оказывался все выше и менял места все быстрее. Наконец с крыши сообщили, что Александр Иванович только что поднялся в кабине в МВ. «Проверять ваш критерий, Валерьян Вениаминович».

Пецу и самому было интересно, как оправдается его идея «разумного нестолкновения тел»; кроме того, он решил изловить Корнева и объясниться с ним, далее откладывать нельзя.

Поэтому, наскоро отбившись от самых неотложных дел и подписав все имеющиеся бумаги, он посадил в кабинете референта Синицу, сам двинул наверх.

На пути к лаборатории Любарского Валерьян Вениаминович наведался в соседствовавшие с ней экспериментальные мастерские — и узнал о еще одной скверной выходке главного. Оказывается, вчера не только он жаждал встречи с Корневым, то же хотели двое молодых инженеров, супруги Панкратовы, Миша и Валя — они сочинили что-то, дырявящее на расстоянии металл, пластик и бетон, какое-то сочетание НПВ и сильных полей... из пересказа механиков Пец не уловил идею; собрали здесь установку. Это очень немало: ждать полдня на уровне 140 — спали по очереди в профилактории, по очереди ходили кушать, вылизывали свое устройство, демонстрировали его действие желающим... а Корнева все не было. К тому же Валя находилась в декретном отпуске и только ради этого дела явилась в башню. Наконец сегодня утром дождались: Миша изготовился с мелом у доски, чтобы рисовать и объяснить, Валя стала к установке, приятным голосом пригласила Александра Ивановича остановиться и заинтересоваться. А тот только скривился в их сторону:

— Слушайте, да отвяжитесь вы! Работаете — и работайте, что вам еще надо! — и с тем проследовал дальше.

— Ну...— сказал побледневший Миша,— зазнался наш Александр Македонский, дальше некуда! Лично я ему больше не сотрудник.— И так запустил в доску мелом, что тот разлетелся белыми брызгами.

— Ну, зачем так? — возразила его жена Валя, хотя губы у нее не слушались.— Это же Корнев... может, у него сейчас идея какая-то покрупней нашей, с планетами что-нибудь.

Установка стояла в углу, прикрытая пластиковым чехлом. Авторов не было, ушли домой. Валерьян Вениаминович только раз видел их обоих, когда принимал на работу, но помнил, с какой тихой гордостью посматривала черненькая и тогда еще стройная Валя на рослого синеглазого Мишу с уверенными манерами и голосом. Совершенно исключительным образом наплевал им в души великий человек Корнев.

В лаборатории главного инженера тоже не было; после подъема в МВ он заперся в своей комнате в профилактории, отдыхал. В просмотровом зале находились Любарский, Толюня, Буров и Люся Малюта.

— Есть кое-что, Валерьян Вениаминович! — встретил директора возгласом завлаб.

Оказывается, кибернетики построили модель-программу для хаотических столкновений тел — и сейчас по ней проверяли старые пленки «мест оживления» на планетах МВ. На экране показывали снятое в кабине ГиМ, эту картину тотчас оценивала моделирующая ЭВМ (количество движущихся тел, их скорости, массы, концентрация) — и выдавала на дисплее зелеными вспышками статистическую модель ситуации: как часто и с какой силой эти тела будут сталкиваться. Действительно, наблюдалась разница между моделями и реальностью.

Пец уселся в кресло, смотрел на экраны. На главном было «место оживления» с ломкими контурами и пятнами теней. Видно мелькание фиолетовых живчиков: крупных мало, средних изрядно, мелких, на пределе различения, как мошкары. Они снуют, бегут наперегонки и навстречу друг другу по повторяющимся путям. И верно, редки фиолетовые вспышки столкновений там, не более десятка за всю прокрутку; в динамике, в шуме, записанном со свето-звукового преобразователя, каждое выделяется легким щелчком. А на моделирующем экране вспышек ой-ой, все тела столкнулись не по одному разу.

Валерьян Вениаминович смотрел как-то отрешенно. Ему вспомнилось, как в старом координаторе, еще на уровне «7,5», он вживался в образ башни, глядел на экранную стену — и обнаруживал, что НПВ уже при ускорении времени в десять-пятнадцать раз стирает индивидуальный облик работающих наверху, превращает их в вибрирующие размытости; получалось, что облики работающих несущественны, существен и заметен только результат их труда. Здесь было что-то в том же духе. Транспортные ли машины эти фиолетовые размытые тела, самоперекатывающиеся ли шары, или, может, что-то в воздухе — на пневматике или магнитном поле... это несущественно; тем более несущественен вид и природа живых существ, кои там в этих (на этих?) телах спешат к своим целям и по своим делам. А существенно лишь, что эти тела движутся быстро, но не сталкиваются; в этом может проявлять себя разум. То есть— как и в верхних уровнях башни — пренебрежимым оказывается п о ч т и все, чему они там (как и мы здесь) придают в своей жизни важное значение.

Пецу от этой мысли стало грустно.

— Между прочим, Вэ-Вэ,— повернулась к нему Люся Малюта,— критерий может быть еще более простым: если движущиеся

тела в данном месте наблюдаются долго и в изрядной концентрации, то это уже признак механической гармонии и разума. Ведь хаотическое движение от столкновений быстро прекратится.

— Да, пожалуй,— кивнул директор.

— А если число, размеры и скорости тел растут,— поднял палец Любарский,— то там, безусловно, наличествует прогресс!

— Хорошо, любители прогресса,— сказал сидевший сзади них Буров,— что-то вы скажете сейчас? Толь, прокрути-ка ту самую...

На этой пленке, *на пленете в окрестности растущего и излучающего тепло с в и щ а, несомненно наличествовал прогресс: размытые тела (все теплее своей местности, с самосвечением) набирали скорости, размеры, множились, прокладывали новые пути — «трещины»; они внедрились на соседний водоем, вышли в атмосферу, образовали трассы усиливающейся яркости и там... но затем вдруг столкновений* на главном экране (и сопутствующих им хлопков в динамике) стало г о р а з д о б о л ь ш е, чем в хаотической модели ЭВМ. Так длилось несколько секунд, потом *столкновения и движения тел сошли на нет, вихревые контуры с в и щ а расплывались, исчезли в помутневшей атмосфере.*

Картина была настолько выразительной и понятной, что с минуту все молчали.

— Н-да, что-то они там крупно не поделили,— молвил астрофизик.

— Не нужно эмоций, товарищи,— весомо сказал Буров,— поскольку они, как известно, уводят. Давайте по науке. Валерьян Вениаминович, как вы считаете: подтверждает увиденное ваш критерий разума, проявляющегося в механических движениях тел?

Тот подумал:

— Если академически — конечно, подтверждает. Более того, обобщает. В первых случаях мы наблюдали отклонение статистики столкновений от естественной в одну сторону, в меньшую. В последнем случае увидели отклонение и в другую сторону — в большую. Но и в том, и в другом случае это — не стихия. То есть проявляется н а р о ч и т о с т ь, а раз так, что чья-то воля и разум.

За спиной Валерьяна Вениаминовича раскатился громкий, резкий до неприличия смех; затем знакомый голос с носовыми интонациями произнес:

— Браво, Вэ-Вэ! Ну, конечно, подтверждает и обобщает. Куда уж, действительно, разумней-то!.. Даже глупость великого человека содержит в себе отсвет его величия. Вот как надо ребята: поднялся снизу, уперся лбом и продвинул науку...

Пец обернулся, встал. Корнев сидел на краю стола возле проектора, ссутулившись и сложив руки между коленей. Мятый костюм, давно не стриженные взлохмаченные волосы с сильной сединой, осунувшееся до впалости щек лицо (из-за чего нос казался длиннее),

красные веки, воспаленно блестящие глаза — таким Валерьян Вениаминович его еще не видел. Все они здесь свели заботы о внешнем облике до минимума, но выглядеть так...

— Александр Иванович, здравствуйте, рад с вами наконец встретиться. Вы не находите, что нам пора... поговорить?

Их окружило внимательное, с оттенком ожидания скандала, молчание сотрудников.

— Объясниться, хотели вы сказать,— поправил Корнев.— Нахожу. Пора. И наедине. Тет-, так сказать, а-тет. Лучше прямо здесь. А вы, граждане, поищите-ка себе занятия в других местах. Здесь состоится встреча на высшем уровне. Папа Пец будет делать мне вливание.— И он пальцами показал как.

ГЛАВА 23

МОНОЛОГ КОРНЕВА

> Она думала, что она красивая, хорошая: в медной круглой шапочке, на тонкой ножке с пояском бахромы.
>
> А ей сказали, что она — бледная поганка.
>
> *Лесная драма.*

I

— Александр Иванович,— сказал директор, когда они остались одни,— что за тон?!

— И что за вид! — подхватил Корнев в той же тональности.— Что за манера поведения! И вообще!..

— Что с вами, Саша?

— Что со мной... ах, если бы только со мной! — Он передвинулся на столе, подтянул ноги, обнял колени руками — получилось неудобно — опустил одну; его будто корчило.— Что со мной! А что с вами, со всеми нами, с миром этим?.. Так что в самом деле со мной? — Он приложил сложенную трубкой ладонь к носу, к губам, опустил — смотрел мимо Валерьяна Вениаминовича; голос был угрюмый и задумчивый.— Жил-был мальчик не без способностей и с запасом энергии. Кончил школу, вырос, стал инженером. Ему очень нравилась всякая техника: приборы, стрелки там, блеск шкал, схемы, конструкции, индикаторы, электроны проскакивают, реле щелкают, музыка играет, штандарт скачет... все как у Гоголя Николай Васильевича, только на нынешний лад. Ему очень нравилось быть талантливым: изобретать, изыскивать, придумывать новое, до чего другие не доперли, делать это — чтоб восхищались, уважали, хвалили, завидовали, считали исключительным. Ему повезло, по-

палось занятие, в котором можно себя выразить, выплеснуть душу делами. Он был замечен, возвышен, достиг постов. И делал, творил — ого-го!.. Постойте, как это у Есенина? — Главный инженер крепко провел ладонью по лицу.— Ну, в той поэме, которую он написал перед тем, как удавиться? «Черный человек», во! «Жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами. И вот стал он взрослым, к тому же поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силою...» Э, то, да не то: и не из крестьян, не с голубыми и не поэт — хотя сил-то, может, и не меньше. То, да не то... А! — Он поднял глаза на Пеца.— Что об этом? Хотите, Вэ-Вэ, я вам лучше сказочку расскажу?

— Давайте сказочку,— согласился тот, усаживаясь.

— Даже не сказочку, а так... фантастику для среднего школьного возраста. С назидательным концом.

— Хорошо, давайте фантастику.

— Фантастика простая: пусть это наша Земля там, в глубинах Шара, в Меняющейся Вселенной. Но наблюдаем ее не мы, а какие-нибудь такие... жукоглазые. Не от мира сего. Общего с нами у них только механика, ну, еще зримое восприятие, можно и звуковое, раз есть преобразователь Бурова, а все прочее не совпадает. Дома, угодья, стада, заводы? Им это не нужно, они электричеством живы. Транспорт им тоже ни к чему, у них телекинез или такая, скажем, общая взаимосвязь, что перемещение информации равносильно перемещению существа и объектов... Сволочи, одним словом, ничего о нашей жизни, о насущном значении предметов и событий понимать не могут.

Александр Иванович немного успокоился, распрямил спину; сейчас он разрабатывал идею.

— И вот, значитца, наблюдают жукоглазые-электронные нашу родимую планету. Всеми способами своей системы ГиМ: и импульсные снования от «кадр-тысячелетие» через «кадр-год» до кадра в сутки, и ступенчатое сближение почти до упора. Даже добавим им то, что у нас нечасто получалось: четкое различение всех деталей в масштабе 1:1. Оно, если подумать, жукоглазым и не очень-то нужно: во-первых, в размытом видении легче выделить суть, общее — это мы уже оценили, а во-вторых, что им все эти тонкости-подробности — расцветки, линии, узоры, лепестки, закаты-восходы?.. Все одно, как запонки для бегемота: что он ими застегнет! Но — поскольку все это есть, наполняет и украшает нашу жизнь — пусть. Итак, что же они увидят в разных режимах и планах: общем, среднем, ближнем, сверхближнем?.. И так до упора?

Он помолчал, поднял палец:

— Но сначала, Вэ-Вэ, давайте суммируем, что мы-то узнали о жизни планет. Во-первых, что жизнь их — такое же событие, как и все в Меняющейся, то есть **в подлинной,** Вселенной: не было —

возникло — побыло — исчезло. В самом общем режиме наблюдений мы видим, что таким событием, собственно, является струя-пульсация материи-времени, а турбулентное кипение и пена его — вещество — лишь самое заметное в ней. Критерий Рейнольдса, теория Любарского... все просто: напор струи усиливается — турбулентное ядро стягивается в вихревой комок, в плотный шар с устойчивым вращением и выразительным видом — держится таким, покуда струя его несет; ослабевает она — и он расплывается-рыхлится-растекается-разваливается. Переход в ламинар. Но это не только страшно просто, но и просто страшно, да и очень быстролетно, событийно... Поэтому будем, как нас в школе учили: два пишем, сто в уме — и вместе с жукоглазыми давайте ориентироваться на более приемлемое — образ планеты в пустоте. Она — весомый большой мир, а в режимах наблюдений, подобранных так, что впечатления от изменений облика сравнимы с впечатлениями от самого облика, еще и живой...

— Квази-живой,— уточнил Пец.— Как бы.

— Ну, поскольку мы ни одну планету МВ не ущипнули за бочок и она не сказала «Ой!»,— пусть «квази»,— согласился Корнев.— Это нам все равно. Все — время, Вэ-Вэ, только оно и живет, порождает и поглощает свои творения, образы. Из этого сделали жуткую легенду о боге Хроносе, пожирающем своих детей; даже рисуют — Гойя, например — чудище трупного цвета, которое хватает и тянет ко рту младенцев... А на самом деле все предельно просто: поток и волнение на нем. Или в нем. Но это в сторону. Малость занесло, извините... Вернемся к планетам, комьям вещества в пустоте. К такому — уже непервичному — восприятию их жизни (или, по-вашему, квазижизни) можно применить понятия физики. Но, что замечательно, более всего к *начальному* этапу формирования ее. Правда, происхождение вращения космических тел — и даже систем их вплоть до галактик — физика и астрономия не сечет. Не объясняет. Но в остальном концы с концами более-менее сходятся.

Итак, поехали. Из выброшенного ли звездой шлейфа возник начальный сгусток вещества, или светило захватило его на стороне,— все равно дальнейший рост тела планеты идет за счет *аккреции*: гравитационного стягивания ближних комочков и пыли, опадания их, слипания. Важный процесс, для Земли он вроде бы еще не кончился. Поскольку слипшиеся комки отдают друг другу кинетическую энергию, из нее получается такое тепло, что первоначальный шар, все его будущие базальты, граниты, гнейсы — не только расплавлен, но местами даже кипит и пузырится. Косматая, дрожая, сплюснутая, быстро остывающая звезда. И уменьшающаяся, плотнеющая. Так возникает твердь, кора — сначала раскаленная и с островами-«льдинами», затем и сплошная. Она хладеет,

видна в отраженном свете; свое излучение сходит, как и положено для остывающих тел, ко все более низким электромагнитным частотам: к инфракрасным, субмиллиметровым, сантиметровым... затем и вовсе к радиочастотам. Это советую запомнить, Вэ-Вэ.

«Я закон Вина со школы помню»,— хотел откликнуться тот, но сдержался. Он сейчас не столько слушал Корнева (тот явно подводил к чему-то основательно, издалека, но пока говорил знакомое), сколько смотрел на него. Девять месяцев назад, когда они встретились, Корневу было тридцать пять, Пецу пятьдесят пять... а сейчас перед Валерьяном Вениаминовичем сидел пожилой человек. И в основном это произошло с ним за последнюю неделю, которую они не виделись. Похоже было, что Александр Иванович хватанул ускоренного времени, как хватают дозу радиации в сотни рентген. «Значит, обитал преимущественно здесь, часто поднимался в кабине ГиМ?»

...Девять календарных месяцев, немало трудно подсчитываемых реальных лет, а встречи вот так, с глазу на глаз для откровенного разговора, все были наперечет. Первая — в декабре, когда гуляли по заснеженному эпицентру среди разрытых канав; потом в кабинете Пеца в день штурма Корневым ядра, визита зампреда и «поросячьего бума»; третья в день идеи ГиМ... ну и еще все общение в создании этой системы. А остальное все — на бегу, на совещаниях, по телеинвертеру, а если и один на один, то для коротких деловых контактов — в заданном башней темпе. А так хотелось порой пообщаться, покалякать — не как с главным инженером, а как с симпатичным, чем-то даже родным человеком. «Сволочеем мы от гонки...»

— Согласно физике остывает планета, согласно ей уплотняется,— продолжал ровным голосом Корнев.— От закона тяготения идет на ней то, что вы некогда хорошо назвали р а з д е л е н и е м: самые плотные вещества уходят поглубже, сравнительно легкие образуют кору, а газы и испарения обволакивают шар атмосферой. Правда, все стороны разделения веществ — например, что они не сплошь перемешаны, а в изрядной части образуют довольно однородные з а л е ж и (к которым мы потом прибавим слова «полезных ископаемых») — так просто не объяснишь. А тем более и замену первичной «доменной» атмосферы, какая сейчас на Венере осталась, на кислородно-азотную. Здесь в дело впутывается о р г а н и ч е с к а я жизнь (природа коей нам, кстати, неизвестна): буйный расцвет растительности — а от него з а л е ж и угля, нефти, иных горючих материалов... животный мир — словом, смотри учебники. Это я, Вэ-Вэ, как вы догадываетесь, переношу на иные планеты то, что знаем о строении Земли. В Меняющейся Вселенной мы наблюдаем самые поверхностные процессы разделения: первичной грязи — на сушу и водоемы с реками, вымораживание избытка влаги из атмосферы в приполярные и горные ледники. Это тоже

стыкуется с наблюдаемым на Земле, а о ней ведь и речь... Еще раз отмечу, что все эти процессы горизонтального, не по вине тяготения, разделения веществ, а тем более образование — как, знаете, зарядов в обкладках конденсатора — с одной стороны, горючих материалов в коре планеты, а с другой, в атмосфере, того, благодаря чему они отменно горят, кислорода... все это жутко нефизично, антиэнтропийно. Нынче фонтан загоревшейся нефти или газа месяцами погасить не можем — а само по себе, невзирая на геологические потрясения, грозы с молниями, лесные и степные пожары, богатство это спокойно хранилось сотни миллионов лет. Потому что шло именно р а з д е л е н и е, набирание планетой зрелой выразительности в структуре и облике (как и у всех живых существ бывает). А нарочитое оно или стихийное, живое или не очень — это пока что, пожалуй, и не нам судить.

Но... но! — мы, великие скромники, рассматриваем этот процесс на своей планете как естественный — если и не по теоретической ясности, то, по крайней мере, в смысле «так и должно быть». Так и должно быть, потому что к завершению процесса: когда успокоилась твердь, очистились воды и атмосфера, образовались залежи, богато развилась органическая жизнь — появились р а з у м н ы е с у щ е с т в а Мы,— и нам все это оказалось кстати. Нет, правда, Вэ-Вэ, и в учебниках, и в монографиях всюду ведь явно или неявно проводится мысль, что вся миллиарднолетняя история Земли суть предисловие к нашей цивилизации, приготовление планеты к более высокой — ноосферной! — ступени развития мира. Мы-ста... Мы этой материи покажем, как надо! Ну, а если академически, то свою цивилизацию мы рассматриваем как дальнейшее развитие и прогресс, так? «Океан впадает в реку, речка в тазик, таз в меня...» Это у Феликса Кривина есть такая «Басня о Губке». Извините, Вэ-Вэ, опять малость занесло...

Корнев опустил левую ногу, поднял и обхватил в колене правую.

— А теперь посмотрим на то же глазами жукоглазых, пропускаемых через трансформатор. В режиме «кадр в год». Последние триста лет, когда самый прогресс пошел, проскочат за несколько секунд... но поскольку снимать-то много мест можно, днем и ночью, со спектральными сдвигами, размыто для общности и четко для любования — набрать материалу возможно. И каково же, по-вашему, их впечатление?

— Да, вероятно, такое, как и у нас,— пожал плечами Пец,— раз у них исчерпывающие наблюдательные возможности.

— В том и дело, что нет, дорогой Вэ-Вэ, в том-то все и дело! Возможности что — важно отношение к наблюдаемому. Мы как смотрели, что искали? Пока там движения гор и ледников, падения метеоров, вздутия вулканов, река извивается в ритме «кадр-год»,— это одно; а вот если нечто эдакое в дыру вползает в масштабе 1:1,

так это совсем другое: не транспортный ли состав в туннель въезжает? Размытые комки на размытой полосе движутся встречно и не сталкиваются — не дорога ли с двусторонним движением? Да что! Смешно сказать, но когда застукали через мегапарсеки и миллиарды лет в МВ тех хвостатых жуликов у изгороди, я смотрел и огорчался: и куды там охрана смотрит! А жукоглазым-то этим, холодно объективным,— им-то зачем выискивать наше, делать разницу между движением льдов и поездов, между дымами вулкана и мегаполиса? Не уловят они разницы, как ни вглядывайся,— потому что уловить ее можно только посредством наших «надо», а они их не знают.

Н а д о везти чай из Индии, шелка из Китая, бивни и рабов из Африки — и движутся корабли. Льды в океане плывут по направлению течений и ветров, корабли — по направлению потребностей. Надо кровлю, стены и удобства для разумных существ — не животные же! — все больше обширных помещений для возрастающего числа их, для жизни, для развлечений, для управления, для труда — и перемещаются массы строительных материалов и машин, пузырится земная кора зданиями и сооружениями. Надо энергию, вещества для производства — и рыхлится планета рудниками, шахтами, скважинами, опустошаются через них объемы в литосфере, заполненные тем, что нам н а д о: углем, нефтью, рудами, водой, дорогими камнями, металлами... Все извергается на поверхность, перемещается по ней, плавится, горит, вздымается. И вот на планете не только газо-пылевая атмосфера, но и роение тел, газ тел — тех самых, Вэ-Вэ, что не сталкиваются или сталкиваются с отклонениями от статистики. Разум, возникший из «надо», удовлетворяет «надо». Да с запасцем, да с разгоном...— Корнев опустил обе ноги, уперся руками в кромку стола, распрямился, взглянул на Пеца.— А если отвлечься от «надо», то увидишь глазами этих чудиков не прогресс и не развитие, а самый простой для Меняющейся Вселенной процесс.

— Какой? — настороженно спросил тот.

— А мы его наблюдали многократно: для планет, для звезд, для галактик... для любых образов-событий в МВ — потому что он всюду один, только в разных масштабах и с разными подробностями. Противоположный начальному, Валерьян Вениаминович,— голос у Александра Ивановича стал мягкий; он будто щадил сейчас собеседника, давал возможность, не называя вещи прямо, дозреть самому, управиться с чувствами.— И не только противоположный, но во многом зеркально-симметричный с ним. Бог с ними, с жукоглазыми, давайте смотреть сами — как исследователи, многократно наблюдавшие в МВ начала и концы. Первое,— Корнев загнул палец на левой руке,— на начальной стадии, набирая выразительную устойчивость, планета уплотняется — на стадии развития нашей

цивилизации начинает рыхлиться. Ведь что общее, Вэ-Вэ, во всех произведениях ума нашего и рук: от глиняной утвари до автомобилей, от гитар до небоскребов? Все это с пустотами, средние плотности куда меньше, чем у исходных материалов, когда они лежали в земле: то есть просто пузыри разной формы! Иначе и не сделаешь, иначе не используешь... И ведь что замечательно: великая наука сопромат, после сдачи которой студенту жениться позволено, год от года доказывает, что прежние коэффициенты прочности были перестраховочными, с большим запасом, что при надлежащих расчетах и ухищрениях можно делать все тоньше, длиннее, ажурнее. И утоньшаются стены высотных домов, балки перекрытий, листы обшивки воздушных лайнеров — все выше и тоньше пузырится цивилизация! Добавьте к этому пустоты в земле от исчерпанных «залежей полезных ископаемых», да горы хлама, мусора, отходов.

Второе,— он загнул еще палец.— На стадии разделения горючие вещества, уголь-нефть-газ-сланцы, оказались под землей, а атмосфера из «доменной» превратилась в азотно-кислородную. На стадии цивилизации интенсивно идет обратный процесс соединения-сжигания этих веществ, и атмосфера, набирая дымы, пыль и углекислоту, помаленьку сдвигается в сторону «доменной». Заодно — не буду на это отдельный палец тратить, а то не хватит — подобное происходит и с водами: на начальной стадии они максимально очистились — одни примеси выпали в осадок, другие адсорбировались твердью, третьи испарились — на нынешней идет помутнение-загрязнение, смешение воды и суши в первичную грязь. Прибавьте к этому оседание пыли на поверхность горных ледников, уменьшение их альбедо, из-за чего они начинают таять — для Альп в Европе, это уже серьезная проблема.

Третье. На начальной стадии твердь успокаивается, движение тел на ней уменьшается, рельеф стабилизируется. Происходит это неравномерно: в одних местах тишь да гладь, а в других еще вспучиваются лавовые пузыри (следы их на Луне хорошо видны), вздуваются и извергаются с в и щ и-вулканы, перемещаются моря, обрушиваются лавины, растрескиваются на ущелья и овраги плато... но таких мест все меньше, сыпь вспучиваний и паутинки трещин там все мельче — и все застывает. На стадии нашего п р о г р е с с а мы наблюдаем обратное. Нет, в усилении сейсмической активности человек пока еще не повинен — но города, их рост. Разве это не бурные — для режима «кадр-год» по крайней мере — изменения рельефа в сторону вспучивания? Разве это не возрастание движения тел — и по числу, по массам, по размерам — когда по «трещинам»-дорогам, по трассам в морях и в воздухе, а когда и мимо? А возникновение других — Аральского, например?..

— Температуры не те,— вставил Пец,— не те, при каких лава кипит и пузырится.

— Что температуры — важен конечный результат. Температура — это всего лишь физика, а о ней немного позже, Вэ-Вэ... Но, раз вы затронули этот вопрос, четвертое.— Корнев загнул еще палец.— Начальная стадия сопровождается остыванием планеты, при этом уменьшается как число источников электромагнитного излучения, их мощность и яркость, так и средняя частота: от белого и желтого света к красному, к тепловому. Не раз и вы, и я видели это из кабины на ночной части планет: что там за огни — факелы ли газовые, лесные пожары, или что-то еще, установить трудно, но что сникают они год от года и век от века, редеют, тускнеют — это достоверно. На стадии же цивилизации все опять наоборот: концентрация и яркость ночных огней год от года растет — и в каждом городе и поселке, вместе с числом городов и поселков, и дорогах, на стройках... всюду. Сначала это керосиновые и газовые фонари, затем лампочки накаливания, газосветные трубки — все для нашей безопасности и удобств, для ночной работы, для реклам, для праздничных иллюминаций... все надо. Добавим сюда тепловое излучение (кое при сдвиге спектра тоже сияет) от домен, конвертеров, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС... да и газовых факелов сейчас стало побольше, и нефтяных и лесных пожаров. Нагревается планетишка.

А радиоизлучение? Слушайте, Вэ-Вэ, здесь и умствовать не надо с жукоглазыми, данные из МВ привлекать — у всех на глазах это за неполный век от изобретения радио! Сначала передавали на сверхдлинных и длинных волнах, в первую мировую войну освоили средние, после нее диапазон за диапазоном прибрали к рукам короткие, во вторую мировую пошли в ход — для радаров — метровые УКВ, затем дециметровые, сантиметровые, миллиметровые... И не просто так, а потому что н а д о передавать все больше информации на все бóльшие расстояния. Ведь чем выше частота, тем больше в нее втиснется сигналов и двоичных чисел. А информация все обильнее: радиосводки, интервью, песенки, телепостановки, телемосты, глушилки, радиопривод и навигация, ретрансляторы, цветное телевидение, система ВНОС, космическая связь, правительственные ВЧ-каналы, шифровки, радиофантомы для обмана ракет, радиоселекторы... и все насыщенней, высокочастотней. Наша планетка в радиодиапазоне нынче сияет наравне с Солнцем и Юпитером. Сплетницы, которым недавно для общения хватало скамейки у калитки и каленых семечек, теперь перемывают косточки знакомым посредством междугородных телефонов и спутниковой связи. Миллиарды людей дряхлеют вечерами у телеэкранов, в уборную не сбегают до самого «хеппи энд», распро... их в...! — Александр Иванович утратил ровность тона, выругался длинно, сложно, грязно — и похоже, что неожиданно для себя. Виновато взглянул на Пеца.— Извините, Валерьян Вениаминович, при вас не следовало бы. Я к тому, что этот нарастающий частотный сдвиг и накал — это же испол-

нение закона смещения Вина для нагревающегося тела! Все равно как для болванки в печи, для электроплитки под током. Что же такое эта радио- и телеинформация, без которой всем зарез, все эти новости, развлекательные программы, официальные сообщения, популярные передачи и прочее, если суммируется она в я в л е н и е р а з о г р е в а н и я п л а н е т ы? Вот вам и физика!..

Корнев поглядел на левую кисть, на которой незагнутым остался один мизинец, загнул и его:

— Пятое. На начальной стадии миропроявления возникли атомные ядра и атомы. Не будем сейчас вдаваться, получились ли они по турбулентной гипотезе Бармалеича, то есть самыми последними, или в Первичном Взрыве официальной физики — самыми первыми. Важно, что было время, когда они возникли. Нынче они — не все, но многие — распадаются. Не будем опять-таки уточнять, извечный ли это процесс или, по Любарскому, связан с ослаблением напора в потоке времени... Но несомненно одно: *вклад цивилизации в это дело таков, что распадающихся и делящихся веществ на планете стало больше, чем было бы без усилий ученых, и средний темп распада и деления их возрос.*

Ну, и шестое,— загнул главный инженер палец на правой руке, оставив левую сжатой в кулак.— На стадии разделения на планете возникла и развилась — от мелких простейших форм до сложных, весьма крупных и выразительных — органическая жизнь. Цивилизация попятила ее — и преимущественно самые крупные и выразительные формы. Насекомым и крысам пока еще ничто не угрожает — а вот китам, мамонтам, слонам, зубрам, лошадям, вековым лесам, осетрам, львам... Из крупных животных сейчас размножается один человек. Но развивается ли? Ладно,— Александр Иванович распрямил все пальцы,— будет. Можно много перечислять, на руках пальцев не хватит, туфли снимать придется... но и так ясно, Вэ-Вэ: по своим глобальным результатам цивилизация никакой не разумный процесс. Это стихийный космический процесс смешения и распада, всеохватывающего разрушения планеты, стихийный процесс, и с п о л н я е м ы й ч е р е з н а с.

Он замолчал, слез со стола, прошелся по комнате.

II

Вывод был сильный. Валерьян Вениаминович подумал, что от такого можно поседеть и состариться даже без сверхдозы ускоренного времени. Но, судя по тому, как подготовлено — хоть и с заметным борением в душе, как бы сам себе не доверяя, Корнев все изложил, это действительно стоило ему долгого времени, длительных наблюдений, трудных размышлений.

Сам Пец сидел, зажав коленями стиснутые ладони, закусив почти до боли нижнюю губу; ему было изрядно не по себе.

— А теперь о вашей реплике, Вэ-Вэ, что-де температуры не те,— Корнев остановился напротив него, прислонился к стене.— Понимаете, когда мы видим эту стадию смешения на планетах МВ, то замечаем, что там многое не по физике делается, не только вспучивание-пузырение. Взять роения тел — все обширнее, выше, быстрее — оно ведь супротив Ньютоновых законов инерции и тяготения. А саморазогревание поверхности — почему, откуда, раз планета остыла и высветилась?.. Выходит, действуют какие-то д о ф и з и ч е с к и е законы и явления. И состоят они, например, в том, что в послеэкстремальной стадии на планетах одна из пород животных становится р а з у м н о й, удовлетворяет свои растущие потребности... а дальше на нее спокойно можно положиться. Не обязательно, чтобы гуманоиды, мы видели, что и ящеры по этой части не промах, могут о б р а з у м и т ь с я еще какие-то, даже вовсе неорганические. Ничего себе явление природы? Явление, в котором участвуют города, правительства, институты, теории добра и зла, наука, политика, искусства, технологии, чиновники, трудящиеся, семьи, кланы, нации, религиозные течения, техника, литература, изобретения, и еще, и еще... и все заботятся о благе, о безопасности, о пользе (о вреде почти никто!), об удовлетворении потребностей на душу населения. «Человек создан для счастья, как птица для полета»,— а другие твари, стало быть, лишь для того, чтобы обеспечить ему это счастье: мясную диету, пух-перо и дубленки.

Корнев снова прошелся вдоль стены, остановился, потер лоб.

— Я здесь много об этом размышлял, книги читал. Не по специальности это мне, не по складу ума — но коль скоро возникли сомнения в сути самого главного во мне, да не только во мне — надо остановиться и разобраться. «Закон возрастания потребностей»,— он даже в политэкономии записан. Но почему он такой?.. Такова природа человека. А почему она такова? Почему у зверей нет возрастания потребностей? Да и у нас, если говорить об основных-то, животных, этого нет... ну разве полакомиться чем-нибудь дефицитным. Но как только удовлетворены основные, каждый начинает косить ненасытным оком: а как другие живут, что едят и носят, какая мебель, квартира, автомобиль, дача, пост, жена, любовница, электроника, записи, стиральная машина.. Вот тут и подхватывает людей нечистая сила: хочу, чтоб не хуже, чтоб у меня больше и лучше было! И пределов этой жажде нет.

Он подергал нос, усмехнулся:

— Как все-таки подла наука! Вот произнесли слова: закон возрастания потребностей — и всем кажется, будто разобрались, закон открыли... Лепечем об объективном познании, а сами настолько субъективны, что боимся и подумать, что наши чувства,

стремления, потребности могут иметь иной объективный смысл в эволюции мира. Удовлетворяем их, переживаем удовольствие, порой счастье, возникают новые стимулы, утоляем и их... И кажется, что в этом и есть смысл бытия, что все блага Земли запасены именно для нас, что так и должно быть. Действительно, «должно» — да только не в том смысле. Дрожжевые микроорганизмы тоже радостно питаются, что-то выделяют, размножаются — и не думают, что утолением своих потребностей создают процесс брожения в тесте в интересах хлебопека.

— Даже так?! — поднял брови директор.

— Что? А... нет, Вэ-Вэ, не так: нет Вселенского Хлебопека, нет бога, кроме потоков материи-действия, потоков времени. Это-то самое и обидное, самое смешное и постыдное: что наша, «венцов творения», психическая жизнь — самая сложнота, самая вкуснятина в романах и фильмах — суть множественное проявление чего-то очень простого, проще всех слов. И главный смысл наших чувств, наших страстей и стремлений — тот, что они есть связи со средой, связи, делающие нас всех частями крупных и тоже очень простых процессов в мире. Поскольку вы изучали индийскую философию, для вас это не должно быть новым.

— Изучать-то я изучал...— задумчиво сказал Пец.— Только, боюсь, нынешнее взрывное развитие мира и для индийских мудрецов составляет немалую загадку.

— А, ну в этом-то как раз я в своих размышлениях преуспел, могу, если желаете, просветить и вас. Дело простое.

— Давайте.

— Начнем с турбин,— помолчав, заговорил Корнев.— Это самый удачный тип двигателей, поршневые — паровые ли, внутреннего ли сгорания — только путаются у него под ногами, мешают окончательно завоевать мир. Идею его знали античные греки, а в ход она пошла всего два века назад. Возьмем электричество и магнетизм: основные эффекты — зарядовые, химические, магнитные — знали тысячи лет. Технологические возможности для постановки опытов Гальвани, Петрова и Фарадея — проволочки, лягушки, угли, кислоты и прочее — существовали столько же; а реализовалось все два века назад. Я вам больше скажу: современная электроника — именно современная, полупроводниковая, на кристаллах — могла бы развернуться тысячу лет назад, в компании с электротехникой, разумеется. А химия? Огромное количество знаний, идей, технологий пылилось от времен ранних алхимиков до середины XVIII века. А книгопечатание, известное еще древним китайцам? А медицина, коя валяла дурака тысячи лет — опять-таки до времен, когда всерьез началась борьба против эпидемий, за сохранение здоровья и продление жизни бесценных «венцов творений»?.. То есть два века назад п р и ш л о в р е м я. Мы толкуем это в переносном смысле, дескать,

наступило время удовлетворения извечных потребностей людей посредством открываемых наукой и технологией возможностей... что, конечно, чушь собачья, потому что большинство потребностей современных людей п о р о ж д е н ы прогрессом, открывшимися возможностями, это круговой, вихревой процесс. А время пришло в самом прямом, простом смысле — и вы, Валерьян Вениаминович, знаете — в каком.

— Вы все-таки скажите сами. Не вербуйте меня в сторонники, рано.

— Я не вербую, но что вы это знаете, уверен. Оно пришло в смысле спада напора несущего нашу планету потока материи, отчего и расплывается, размахривается турбулентная сердцевина — сиречь сама планета. И вы, и я такое видели многожды, так что не увиливайте. А то, что осуществляется все через нашу мощную деятельность по утолению все новых и новых — откуда только берутся! — потребностей и замыслов, означает лишь, что наша психическая и интеллектуальная жизнь есть в р е м я, о в е щ е с т в л е н н о е в н а с. Или, точнее, в нас овеществлены градиенты растекания потока времени.

— Сильно! — крутнул головой Пец.

— Мысль, между прочим, не моя, я ее у Андрея Платонова нашел. Могучий был ум, не хуже древних риши. В «Котловане» у него сказано: «Дети — это время, созревающее в свежих телах». Кстати, это и к нынешним детям, и к молодым людям относится: они чувствуют в себе свое время и не могут — не не хотят, а не могут! — походить на нас.

Оба помолчали. Густо было сейчас в воздухе просмотрового зала от больших мыслей, можно было долго молчать. Но Корнев еще не выговорился:

— Вовсе не обязательно, что это конец для планеты — наша цивилизация. Вы не хуже меня знаете, что у многих миров в МВ набор выразительности идет не плавно, а с колебаниями, возвратами — и на спаде эти гармоники повторяются. Возможно, и для Земли так...

— Даже вероятно, поскольку слишком круто наш «прогресс» пошел,— кивнул Валерьян Вениаминович,— не для миллиардно-летней жизни мира эти перемены за века-секунды. Что-то должно притормозить.

— Что-то, да не кто-то. Не мы, дорогой Валерьян Вениаминович,— горько (так что у Пеца мурашки по спине прошли) рассмеялся Александр Иванович.— Через утоляющего свои раскаленные потребности человека может осуществляться только смешение. Развал планеты. А ежели он притормозится, время снова потянет планету на выразительность, то и человек — такой, как он есть,— не нужен.

— Ну, это вы слишком,— растерянно сказал Пец.

— Почему слишком? Вы не хуже меня знаете, что в будущем — то есть опять-таки во времени — на этот случай для нас кое-что припасено: не ядерная война, так экологический кризис... Да и в душе своей все мы, даже разглагольствуя о непрерывном росте потребностей и благосостояния, чувствуем: не может такая лафа продолжаться вечно — и тебе квартиры, и магазины, непыльная работа, поездки-полеты, полно развлекухи, шмотки, услуги... У других тварей ничего, а у этих — у нас— все. В глубине души мы себе цену знаем — поэтому и глотничаем.

III

— И объясните вы мне, Валерьян Вениаминович, ради бога,— продолжал Корнев с мучительными интонациями, повернув к Пецу худое лицо с лихорадочно блестящими глазами.— Ну, ладно: потребности в еде, тепле, продолжении рода, страх боли и гибели — против этого спорить нечего, основное качество нашей и всех животных плоти. Но вот не потребности — п р о б л е м ы, не пошлая суета ради чав-чав и самки — т в о р ч е с к а я д е я т е л ь н о с т ь... это-то что? Все эти мальчики с голубыми, синими, серыми, карими, черными... но непременно одухотворенными — глазами, со способностями и мечтой, с энергией и умением, когда поэты в душе, когда деляги, чаще серединка на половинку, вроде меня... мы-то с вами что такое? С нас ведь начинаются экспоненты необратимого изменения мира: с того, что кто-то один придумал прямохождение, другой рычаг, третий колесо, четвертый огонь... Без этого и человечества не было бы — осталось бы обезьянство. Но и мы, творческие мальчики, тоже далеко обычно не заглядываем: ну, замечаем проблемы, формулируем задачи, выдаем идеи, решения, изобретения. Тот — чтобы подзаработать, другой — остепениться, третий ради Госпремии и славы; иным и вовсе просто интересно возиться с приборами и реактивами: что выйдет? И каждый выдаст что-то новое, открывает дороги-возможности, по которым устремляются толпы жадных дураков. И получается, что их страсти подогревает, утоляя и дразня, наша с л е п а я а к т и в н о с т ь м ы с л и. У свинца свойство тяжесть, у щелочей — едкость, а у нас активность мысли!

Он снова заходил по комнате, то удаляясь от Пеца, то приближаясь.

— Активность мысли, творчество, смекалка, инициатива, поиск, изобретательность, горение... какие слова! И все это вместе именуем п о з н а н и е м. Мы, комочки протоплазмы, существуем благополучно только в оранжерейных условиях нашей планеты, в узень-

ком диапазоне температур, в стабильном тяготении, в атмосфере с кислородом и достаточной влажностью... Посредством ухищрений, комфорта, приспособлений мы умеряем, гасим, отфильтровываем огромность Мира, его просторы, энергии, скорости, температуры, силы, миллионнолетние длительности и взрывные скорости процессов — приноравливаем все к своей ничтожной сиюминутности, к слепоте и слабости и называем это познанием! Познание Мира, ха! Да оно уничтожит любой такой комочек, если напрямую-то, без щелочек и фильтров... Лопочем: великие открытия, великие изобретения. Но что есть их величие, как не размер дистанции между истиной и нашими представлениями? Не вернее ли говорить о громадности наших заблуждений?..

Остановился напротив Валерьяна Вениаминовича, посмотрел заинтересованно:

— Давайте-ка обсудим этот вопрос, он того стоит. До теории Пеца и турбулентной гипотезы Любарского был некий Поль Адриен Морис Дирак, англичанин гасконского происхождения. Он предложил теорию вакуума, из которой следовало, что каждый объемчик физического пространства размерами в нуклон... уже содержит в себе этот нуклон. То есть «пустота» имеет плотность ядерной материи. А частицы и образующиеся из них вещества, которые мы воспринимаем, есть возбужденные состояния вакуума, редкие флюктуации его. В подтверждение он предсказал антиэлектрон — позитрон, антипротон... И только это и прижилось в физике. А главная идея была воспринята всеми как математический формализм с примесью сумасшедшинки: как это может быть, чтобы п у с т о т а имела ядерную плотность в миллиард миллиардов раз плотнее нас, весомых тел? Чушь!.. Так, Вэ-Вэ, я ничего не переврал?

— Нет.— Тот смотрел на Корнева снизу вверх с любованием.— Вы, я вижу, здесь время не теряли.

— Эх, может, лучше бы я его потерял!.. Но дальше: вспомним — и это вы знаете лучше меня,— что в древнеиндийской философии главным является представление о Брахмо-Абсолюте, о чем-то таком, что наполняет все и вся снаружи и внутри, и абсолютно, совершенно категорически превосходит по всем параметрам различимый мир. У древних китайцев к этому близко понятие дао. Мы тем и другим по европейской спесивости своей пренебрегаем: азиаты, мол, да еще древние, ну их!..— но с теорией Дирака-то в масть. И с идеей праматерии Гейзенберга — тоже. И, главное, с тем, что наблюдаем в МВ в самых обширных масштабах, в масть. То есть действительно так! Следовательно, суждение древних индусов, что только Брахмо и стоит знать-понимать, чувствовать, правильное: понимая, представляя, чувствуя это, мы тем самым знаем 99,9999... словом, после запятой еще шестнадцать девяток — процентов существенного содержания мира — то есть практически все.

— Но, Валерьян Вениаминыч, но!.. Это главное знание о мире настолько просто, что для восприятия его не надо сложных теорий, разветвленных умствований и выкладок. Да что — мозга человеческого не надо. Может, лучше без него спинным воспринять, промежностью, той самой Кундалини, или просто плотью живой... Птица, поющая в небе, греющаяся на солнышке змея, возможно, лучше понимают мир, чем мы с вами, терзаемые тысячью проблем!

Он замолчал, зашагал. Молчал и директор. Здесь стоило помолчать.

— Так что же против этого простого знания все наши сложные, множественные знаньица: от кулинарии до техники физического эксперимента и до теорий? — как бы сам с собой заговорил Корнев; голос его то затихал с удалением, то нарастал.— Знание, как достичь мелких удовольствий, или, в лучшем случае, мелких результатов, которые суммируются в... извините, «прогресс». И бурлит слепая активность мысли, навевает иллюзию власти над миром. Энергия подвластна нам: хотим — это включим, хотим — другое... но что-то непременно включим! Вещества подвластны нам: хотим — то́ из них сделаем, хотим — другое... но что-то непременно сделаем! А натуре все равно: лишь бы с пустотами и лишь бы включенное нами выделяло тепло... И все напористее, активнее, больше, чаще, сильнее, выше, дальше, ярче, громаднее, лучше, чем у других! — Александр Иванович остановился, повернул к Пецу искаженное лицо.— А ведь что есть самоубийство, Вэ-Вэ? Активная смерть. И скажите вы мне, Валерьян Вениаминович, объясните, бога ради,— проговорил он, помолчав, с прежними мучительными интонациями.— Вот в Таращанске Шар рвал дома и почву. А здесь я, расположив надлежащим образом экраны, использовал это для образования котлована под башню и погружения труб. Так если отвлечься от «для» — ведь то же самое делалось-то!.. Вот и растолкуйте вы мне: что такое мой ум, вся разумная деятельность наша? Наша ли она? Свои ли мы? Что такое мы?

ГЛАВА 24

ОБСУЖДЕНИЕ

Мысли не деньги, лишними не бывают.

К. Прутков-инженер. Мысль № 1.

I

Пец стремился поговорить с Корневым — но если бы знал, какой выйдет разговор, то, пожалуй, повременил бы. А теперь приходи-

лось принимать бой не будучи готовым, когда у самого мысли в смятении. И нельзя, как в иных критических ситуациях, по-быстрому подняться вверх, чтобы обстоятельно обдумать все в ускоренном времени, подобрать доводы,— потому что и так на крыше; не в кабину же ГиМ удаляться от Корнева, который стоит напротив, смотрит с болью и надеждой. Невозможно отговориться и неотложными делами — все дела покорно замерли внизу.

...Ситуация напомнила Валерьяну Вениаминовичу, любителю индийского эпоса, сцену из «Махабхараты»: когда два враждующих родственных клана Пандавы и Кауравы сошлись для решительной битвы, а вождь Пандавов Арджуна, увидев в рядах противников родичей, близких, уважаемых людей, пришел в отчаяние и хотел отказаться от боя. Тогда его колесничий бог Кришна остановил время и в восемнадцати главах своей Божественной песни («Бхагаватгиты») обстоятельно объяснил ему неправильность, нефилософичность такого отношения к предстоящему сражению, к своему долгу воителя и властителя, а заодно и многие вопросы глубинной жизни мира. Поэму эту Пец знал на память. Сходство, впрочем, было лишь в том, что вопросы встали самые глубинные; да еще в том, что время замерло. Александр Иванович, хоть и в отчаянии, не походил на царевича Арджуну, а сам Пец, тем более, на бога Кришну. Куда!..

К тому же с надчеловеческих, вселенских позиций выступал сейчас Корнев, практик и прагматик, а не теоретик Пец. Немало из сказанного им сходилось и с мыслями Валерьяна Вениаминовича, с мыслями, возникшими не только от работы в НПВ, от исследования Меняющейся Вселенной, но и более ранними, знакомыми, вероятно, каждому много пережившему и много думавшему человеку: что под видом самоутверждения людей, коллективов, обществ, их борьбы за место под солнцем, за счастье, за свои интересы, за блага, за выживание — на Земле делается что-то совсем другое. И теперь становилось понятно — что.

И тем не менее Валерьян Вениаминович понимал, что поддаваться нельзя: обидно, противно... нельзя, да и все тут.

— Прежде всего я горжусь вами, Саша,— начал он.— Я знал, что вы умница и талант... более, как думалось, по инженерной части. Но таких смелых, обширных, общих мыслей, когда и мне, так сказать, старому прожженному умнику, приходилось глядеть на вас снизу вверх, я, признаюсь честно, не ждал. Сильно!

Корнев сделал нетерпеливый жест рукой, как бы отмахиваясь от этих слов: не надо, мол, давай по существу.

— Но... ведь вот что у вас выходит: города и поселения, все, с ними связанное,— свищи, болячки на теле планеты, горячечная сыпь. Сама цивилизация наша есть болезнь, от которой мир может исцелиться, но может и погибнуть... Хорошо, продолжим в том же

духе: сами планеты, а тем более звезды и звездно-планетные системы — вихревые язвы на теле галактик. Они ведь тоже выделяются признаками повышенной температуры, загрязняют окрестную чистоту пространства излучениями, испарениями веществ, ведь так? И сами галактики суть свищи, чирьи и прочие фурункулы на незримом теле Вселенной... Вы не находите, что здесь мы распространяем обычные понятия, пусть и в самом общем виде: смешения, упадка, разрушения — далеко за дозволенные для них пределы? Кстати, не ново это утверждение о жизни как болезни материи.

— Эх... эквилибристика это все, Вэ-Вэ, милая академическая эквилибристика! Ну, не болезнь — повышенная изменчивость, брожение материи, а разум — фермент в этом брожении. Как ни назови, все равно выходит, что наши чувства, мысли и вытекающие из них дела имеют не тот смысл, какой мы этому придаем. Не наши они!

— Ну вот, не из медицины, так из кулинарии — брожение. Надо мыслить более строго, философскими категориями...— Пец все-таки более защищался, чем нападал.— Да, наши наблюдения в МВ и даже, в известной мере, ваше рискованное обобщение их — показывают, что мы объединены со вселенскими процессами гораздо плотней, чем представляем. Тем не менее невозможно согласиться, что мы в них марионетки и кажимость. В конце концов, как вещественные, интенсивно чувствующие образования, мы есть, во-первых, выразительная и, во-вторых, познающая форма материи. Ведь мы немало узнали здесь: и вы, и я, и другие. Для чего-то же люди исследуют мир. Не ради только презренной пользы!

Это вышло неубедительно, слабо — Пец и сам это понял. Корнев грустно улыбнулся. Скинул туфли, забрался на стол с ногами, обхватил колени; правый носок был с дырой, оттуда высовывался палец.

— Не знаете...— сказал он устало и уверенно.— И вы не знаете. Что же, я не в претензии, в конце концов, мы с вами одним миром мазаны, узкие специалисты. Да и не хочется, чтобы мы оказались марионетками, ох как не хочется, Вэ-Вэ! И что жизнь наша — кажимость... Знаете, бывает, снится что-нибудь, ты целиком в этом сне, живешь наполненной жизнью. А потом... ну, приспичит по малой нужде — вскакиваешь, идешь в туалет, сделал дело, вернулся в постель — и не можешь вспомнить, что снилось. Даже смешно: только что переживал, потел, чего-то там добивался, оказался перед кем-то в чем-то виноват, влез в ситуацию всеми печенками... и как не было. С вами не случалось?

— Случалось,— усмехнулся директор.

— Неужели это модель нашей жизни и смерти, Вэ-Вэ? Ой, не хочу!.. Вот — заметили, наверно? — я ввертывал то есенинское, то из Платонова, даже из древних индусов. Это я здесь поднабрал-

ся,— Корнев мотнул головой в сторону профилактория.— Искал ответы, изучал литературу — покрепче, чем для какого-то проекта или диссертации. Немало книг из городских библиотек перебрал, всех заново для себя открыл: Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов, Успенский... В школе ведь мы их п р о х о д и л и. Когда преподаватели корявыми казенными фразами пытаются объяснить, что́ они, гиганты слова и мысли, хотели сказать,— это в сущности издевательство, признанное воспитать у детей стойкое отвращение к литературе, что обычно и удается. А теперь увидел: их мир не меньше нашей МВ, хоть и на иной манер...— Александр Иванович говорил задумчиво и просто.— Но, знаете, только Толстой сумел углядеть в войнах французов волновые перемещения, всплески и спады, подобные тем, что мы напрямую наблюдаем. Это век назад, без техники — гением своим проник. Андрей Платонов тоже проникал в первичное — но у него оно отдельными фразами просвечивает, а то и просто в глаголе, в эпитете обстоятельно не высказывался, хотя сказать-то мог, наверное, поболе графа. Опасался, вероятно: за мысли посадить могли, а то и расстрелять... А другие вникали более косвенными вопросами. Живешь, действительно, все кажется нормальным и ясным — а прочтешь, как Митя Карамазов, пристукнув пестиком взрастившего его старика, заказывает четыре дюжины шампанского, да балычку, да икорки, да конфет, едет кутить в Мокрое, ведет там себя собачкой... и начинает схватывать внутри: да что же мы такое — люди? И что есть чувства наши? Понимаете...— он в затруднении пошевелил рукой волосы,— там чувствуешь не как в обычной жизни — глубже, общее: не может быть, чтобы весь этот ужас и позор были только поступком, который можно сквитать казнью или сроком. Или — что движения войск и решения командующих, описанные Толстым, происходят лишь ради завоеваний, освобождения, победы или поражения. За всем этим иное, вне добра и зла. Просто — иное.

— Между прочим, и вы сейчас излагаете, что они хотели сказать, с в о и м и словами,— не без ехидства заметил Пец.

— Излагаю... но не навязываю. И оценок ставить не собираюсь. Я ведь к тому, что и в этом деле стремительный количественный прогресс при качественном регрессе... не знаю уж, по закону ли Вина, или как. Число книг-журналов нарастает по экспоненте, а мыслей, чувств, вопросов они не вызывают. А ведь до тех пор и жив человек, пока задается такими вопросами, чует первичное бытие. Перестанем, сведем все к удовлетворению потребностей — хана: нет людей, есть руконогие желудконосители, нет человечества — есть миллиардноголовая коллективная вошь, облепившая Землю.

Корнев вдруг снова скорчился, притянул туловище к ногам, положил подбородок на колени:

— Да что на других пенять — и со мной вчера было такое, в духе

Достоевского. Впрочем, не Достоевского: его Раскольникову понадобилось двух старух зарубить, чтобы себя понять, а мне... Нет, это даже не для Гоголя, не для Щедрина, великих сатириков. В самый раз для Зощенко, для его рассказа на страничку.

— Что было-то? — полюбопытствовал Валерьян Вениаминович.

— Да-а... и говорить не о чем. Ну, зашел там же на вокзале побриться, а за креслом Боря, вместе в школе учились. Я его и не видел с тех пор, едва признал. А он-то меня узнал сразу, еще бы! Выяснилось, что и все одноклассники меня помнят, гордятся — так сказать, большому кораблю... И он сам был рад и горд, брея меня, так разговаривать: на «ты», с «а помнишь?..» — сыпал забытыми именами, бросал довольные взгляды на коллег за соседними креслами. Я понимал, что произвел некоторое событие в его рутинной жизни, что после моего ухода он будет рассказывать, как мы с ним в школе и то, и се, курили за уборной... а теперь такой видный человек! И вернувшись домой, он скажет жене: а знаешь, кого я сегодня брил?.. И я вел себя, как подобает: демократично, но и сдержанно, с дистанцией, даже контролировал в зеркале выражение намыленного лица — чтоб и волевое, и одухотворенно-авторитетное. К а к п о д о б а е т, распро.....! — На этот раз Корнев выругался совершенно чудовищно; Пец и бровью не повел.— А когда вышел, так стало тошно! Ладно, был бы я просто главинжем крупного НИИ или там академиком, министром — но подниматься каждый день в Меняющуюся Вселенную, наблюдать рождение, жизнь и гибель миров... да еще так тонко понимать великих писателей, как я вам сейчас вкручивал,— и оказаться в простом деле чванливым пошляком!

Александр Иванович скорчился еще более, напрягся телом, ткнул лицо в колени; распрямился, продолжал, тоскливо глядя мимо Пеца.

— И ведь не только это во мне. Стремление к успеху, к власти, у утехам, к победам над соперниками не уменьшилось от познания МВ — временами распаляется еще больше, прикидываю, как и это сверхзнание употребить для того же. А ведь были и есть люди, куда меньше меня знающие, но с душой поглубже моей плоскодонки,— они живут, мыслят, соотносятся с другими куда лучше, светлее, опрятнее. Слова, ничто, Вэ-Вэ, образ жизни — все. Этим и древние риши покоряли умы, вы знаете да и недавний Махатма Ганди. И граф Толстой лет двадцать терзался несоответствием между своими идеями и образом жизни, наконец решился, дал дёру из усадьбы... да вишь, поздно. И мы все, вероятно, спохватимся с образом жизни слишком поздно, так и будем до конца сотрясать воздух словесами, производить впечатление, какие мы умные и интересные.

— А вот я, между прочим, электробритвой пользуюсь,— сказал Валерьян Вениаминович.— У меня хорошая, японская.

Корнев поглядел на него без улыбки:

— Не надо иронизировать, Вэ-Вэ: мол, мелкий факт и такие глубокие выводы. Это ведь как в том кризисе физики: все факты соответствуют классической механике, а один, постоянство скорости света, нет — и теории летят к черту. Так и здесь: если не в трудах своих, кои все от н а д о, не в изобретениях и даже не в глубокомысленных речах сейчас, а там, в парикмахерском кресле, я обнаружил себя до самого донышка, то — чего же стоит остальное? Что весит мое огромное, но не прошедшее через сердце знание? Нуль.

— Но... ну-ну! Вы уж совсем...— Валерьян Вениаминович встал, прошелся, сунув руки в карманы, наклонив голову; собирался с мыслями. Больше всего ему было жаль корчившегося от душевных мук Корнева, хотелось как-то выручить.— Не надо так болезненно все воспринимать, Саша. Я понимаю, эти наблюдения навалились на нас сразу, в них много такого... не каждому по плечу. Но, понимаете, их исключительность не делает нас с вами автоматически интеллектуальными гигантами. В принципе, на нашем месте могли оказаться другие люди — и на вашем, и на моем. Давайте не считать себя самыми умными людьми в мире: если мы сейчас не поймем всего, то, как вы говорите, хана. Не хана. И кстати, давайте не забывать, что у нас здесь было-перебыло столько ошарашивающих, сногсшибательных открытий и идей... Это банально, но я призываю вас к скромности и смирению.

— Да не могу я так, Вэ-Вэ, не умею! — сказал Корнев глухим голосом.— Если я вникаю в дело — да еще в такое! — я не могу не считать себя самым умным в нем. Или так — или я действительно бродильный фермент в процессах, которое мы ошибочно считаем «созиданием» и «познанием». Марионетка.

— Ну, вот вы опять! Саша, все это не впервой: не раз и не два познание мира пребольно щелкало человека по носу, теснило его самоуважение, спесивый антропоцентризм. Считали Землю всей Вселенной, а себя созданным по образу и подобию божию, никак не меньше. Выяснилось, что Земля — шар, люди, подобия божьи, в противоположных местах ориентированы друг относительно друга самым несолидным образом. Шум, шок, скандал... «Но зато уж наша планета — самое большое тело. И солнце светит только для нас, и луна, и другие тела вокруг нас вращаются. А звезды и вовсе украшения небесной сферы — чтоб было приятно для глаз». Новый шок: не солнце всходит и заходит, а Земля вращается вокруг огромного светила в ряду всех планет, среди которых она — одна из малых. Снова шок, скандал, костры. А вскоре выясняется, что не божьи мы подобия, а мерзких обезьян... опять негодования, обиды «обезьяньи процессы». Смирились с трудом. «Но зато уж Солнце — самое. Единственное. Средоточие!» Оказалось, что и оно — рядовая

звезда на окраине Галактики. «Но зато уж наша Галактика!..» Выяснилось, что и галактик во Вселенной навалом.— Валерьян Вениаминович перевел дух; давно ему не приходилось говорить так горячо и убедительно.— И всякий раз крушение иллюзий было болезненным — но в конечном счете полезной, здоровой встряской развивающейся человеческой мысли. Думаю, так будет и сейчас.

Корнев, сидя в той же позе на столе возле проектора, следил за директором исподлобья с легкой усмешкой; в глазах возникли и исчезли искорки.

— Положительный вы какой-то, Вэ-Вэ. Просто образцовый.

— А необязательно всем быть с декадансом, с червоточиной! — задорно парировал Пец.

— Да, конечно. Так мысль человеческая развивается? Прогресс наличествует? Музыка играет, штандарт скачет?

— Ну... это, на мой взгляд, даже не тема для спора. Подумайте сами; неужто природа с ее вселенским могуществом и размахом не нашла более простых способов разрушать, распылять планеты, чем через наши дела, изобретения, труды! Да у нее полно таких возможностей, и мы их видели в МВ. Все они взрывные преимущественно...

— В темпе «кадр-век» развал через цивилизацию как раз и будет выглядеть взрывом.

— Да бросьте, Саша! Уж не говоря о всем наземном, как вы объясните в своей гипотезе развала космоплавание? Вы его почему-то обошли. Ведь там такое скопление идей, изобретений, достижений — сгустки мысли людской вылетают в космос, не просто тела!

— Я не обошел... просто я подумал, что вы и так поняли. Но раз нет — я вам это все покажу.

Александр Иванович слез со стола, выбрал из стопки кассет одну, вставил в проектор, протянул и заправил ленту, выключил свет в зале.

II

На экране пошли — с надлежащей переменой планов и ритмов, с переходом съемок с дневной части на ночную и обратно — импульсные кадры жизни одной из землеподобных планет МВ. Сначала крупные: *материки, моря, извивающиеся ветвистыми змеями долины рек; переползают цветными амебами водоемы и растительные покровы по суше, пульсируют год от года ледники у полюсов и на вершинах горных хребтов.* Сначала только по легкому помутнению атмосферы да по новым очагам света в ночной части Пец мог угадать, что на планете шло послеэкстремальное смешение. Но вот в ближних и сверхближних планах показались *первые, заметные*

более размытостью, тепловым свечением и точечными пузырьками «сыпи», с в и щ и.

— Вот они на верхнем берегу моря... на северном, если для Земли, ну, а там-то кто знает,— вон у отрогов хребта,— указывал и комментировал главный инженер, стоя по другую сторону проектора.— Вон на нижнем берегу, при впадении реки. Можете толковать, как хотите, Вэ-Вэ, но, по-моему, вы слишком легко отметаете: неужели, мол, природа ничего другого не нашла!.. Для газового или расплавленного состояния веществ найти способы изменений не штука.— А вот для т в е р д о г о состояния: как ему пузыриться, рыхлиться и течь потоками? Вполне возможно, что, окромя «созидательной деятельности разумных существ», здесь ничего более и не изобретешь... Разрастается сыпь-то, тепловые «трещинки» соединяют ее скопления, лучатся от «свищей» — видите? Это, полагаю, там массовое производство пошло и «покорение природы». В соревновательном темпе: кто лучше, кто быстрее, кто больше. Давай-давай! Надо-надо!..— Голос Корнева зловеще, саркастически как-то похрипывал.— Похоже, мы проскочили уже шесть секунд развития, соответствующие трем векам нашей НТР, теперь на той пленке прокручивается наше будущее. Видите: ледниковые шапки около полюсов уменьшаются, горные ледники тают, атмосфера мутнее, ночная сторона все ярче излучает... Думайте, как хотите, но, боюсь, это выгорают добытые в недрах там угли, нефть, сланцы, газы, переплавляются в нужные им металлы руды, выдавая в среду ненужный дым, золу, пыль, шлак. А «свищей»-то все больше, Вэ-Вэ, а тепловых растрескиваний от них сколько ветвится — не дороги ли это с интенсивным движением? А то и воздушные трассы, и морские...

Пец стискивал зубы, сдерживал желание крикнуть «Не надо!» Он было воспрял, высказывая возражения и доводы, стремясь направить все по накатанному пути научного обсуждения — и тем успокоить не только Корнева, но и себя. А сейчас зримые факты, которые не Александр Иванович, нет, сама Меняющаяся Вселенная пригоршнями швыряла в лицо,— испарили, превратили в ничто его ученую логику, профессиональную искусность. И чувствовал себя Валерьян Вениаминович просто щенком, которого взяли за шкирку, подняли высоко: гляди, кутенок, на большой мир! Щенок скулит и дергает лапками; ему не нужен, страшен этот мир, хочется на пол в прихожую, где пахнет ботинками, пылью и написанным в углу.

— Обратите внимание на волнение в зоне этого большого «свища», Вэ-Вэ,— указал Корнев,— оно почти концентрическое, как от капли на воде. Между прочим, Москву в таком ритме снять, аналогичное увидим: сначала центр вырастает, потом откат жилищной индустрии на окраины, в Черемушки, или там в Теплый Стан — пятиэтажки, девятиэтажки, затем по шестнадцать... а потом опять накат к центру: снос малых домов, сооружение тридцатиэтажных,

на проспекте Калинина, например. Ходи, изба, ходи, печь... По генеральным планам волнуются «свищи», по проектам. А вот — ага, наконец! — и первые огненные смерчики выскакивают из мутной атмосферы. Стоп, это надо глядеть подробно.

Александр Иванович остановил катушку проектора на кадре, где — в ближнем плане на ночном участке планеты неподалеку от линии терминатора — вырисовалась длинная огненная загогулина. Нижний конец ее был ярок и толст, почти вертикально шел от тверди, а чем выше, тем он изгибался все более полого, утоньшался и тускнел.

— Первый «сгусток мысли» пошел в космос,— комментировал главный инженер.— Или это еще испытание страгической ракеты, как вы считаете?.. Между прочим, если бы не военное противостояние систем, мы на Земле еще лет сто не имели бы космонавтики. Нынче слюни роняем от восторга: ах-ах, высшее достижение цивилизации... а с чего началось-то? С самых простых чувств, как и у всех животных: страх, жажда выжить. Только у животных это выражается оскаленными зубами, выставленными когтями... самое большее, испусканием неблагоуханной струи, как у хорька и скунса,— а у нас ядерными бомбами и ракетами.

Снова застрекотал пущенный им проектор. Теперь в затянутых кадрах на ночной части огненные линии и полосы с яркими нижними концами попадались все чаще: изгибающиеся в разных направлениях, круто или полого, а затем и почти прямые.

— Ага, это у них уже завоевание космоса пошло,— приговаривал Александр Иванович.— Нет, как угодно, недооцениваете вы это дело с точки зрения развала мира. Мысли в этих «сгустках» все меньше, как и в любой освоенной технике, а вещества, плоти планеты улетает все больше: носители, топливо. Обратно вернется спускаемый аппарат, да и то не всегда. Разве сравнишь с вулканическими извержениями: пальбы и грохоту куда больше, чем при запуске ракет, сотрясений почвы, выбросов лавы тем более... а в космос ничего не улетает. Не так это просто — раскрутить планету на разнос! И чего нас тянет в космос, вы не скажете? Знаем свою Землю в слое не толще кожуры яблока, а туда же...

— Хватит! — резко сказал Пец и сел, прикрыв глаза. У него ослабели ноги, тупо давило в голове. Все стало безразлично.

Корнев выключил проектор; переждал с минуту, затормошил Пеца:

— Эй, Вэ-Вэ, вы что? Не надо отключаться... Ладно, то вы меня старались привести в чувство, теперь я вас буду.— Он включил перемотку, повернулся к директору.— Только уговор: не кидаться на меня с кулаками, не швырять предметы. Вот я ленточку отмотал, теперь демонстрирую снова, только со звуковым сопровождением. Хотите — смотрите, хотите — слушайте.

Звуковое сопровождение! В первый раз Валерьян Вениаминович, отвлеченный комментариями Корнева, не обратил внимания, что его нет. А теперь, когда тот запустил проектор, Пец не столько смотрел на экран, сколько вслушивался в бормотание автомата-синхронизатора, призванное напоминать зрителям масштаб времени. Оно было невразумительным:

«Вон что! Так, значит?..» — Директор перевел гневно-вопросительный взгляд на Корнева. Тот усмехнулся, остановил проектор:

— Да, Валерьян Вениаминович, мы смотрели не послеэкстремальную, а начальную стадию жизни планеты, ее формирование — только в обратном порядке. Я сам на таком не раз обжигался: забывают ребята после сеанса перемотать... Но эту я с умыслом так запустил. Чтобы показать, что наш научно-технический прогресс действительно зеркально симметричен с картиной формирования планет. Как конец с началом. И вершина его, выход в космос, так сказать, космический апофеоз разума — симметричен с явлением аккреции, метеорным дождем, в котором планеты набирают, нагуливают в околозвездном рое пыли и тел свой вес. Иначе сказать, космонавтика как вселенское явление природы — при всей своей научно-технической начинке, корифеях, героях, достижениях и мечтах о контакте — столь же проста, как и явление тяготения. Только с обратным знаком, в другую сторону... А отчетливых съемок, которые можно было бы недвусмысленно толковать как запуск космических ракет на планетах МВ, на ихних Байконурах или мысах Канаверал, мы пока не имеем. Чего нет, того нет. Здесь можно ориентироваться только на то, что с Земли произведены уже многие тысячи запусков.

За время его речи Пец — он поднялся с кресла и стоял с приоткрытым ртом и таким видом, будто ему не кадры показали, а двинули в солнечное сплетение — пережил много получувств-полумыслей. Самое первое и ужасное: симметрия начала и конца! Затем: ведь в самом деле полет крупного метеора, снятый от конца к началу, трудно отличить от запуска ракеты — как он не догадался! И наконец, выходит: Корнев его разыграл?! Нанес не просто удар, а ниже пояса.

— Таким образом, Александр Иванович, окончательным фактом есть то...— только в подчеркнутой вежливости и чрезмерно внятном произнесении слов дал Валерьян Вениаминович проявиться своей ярости,— что показанное вами никакого отношения ни к цивилизации, ни тем более к запуску космических аппаратов не имеет?!

— К запускам — безусловно,— невозмутимо кивнул тот.— А насчет остального я бы с выводами не спешил. Как вы знаете, и посадка спускаемых аппаратов, когда у них плавится и горит теп-

лозащита, не слишком отличается от падения метеоров. Может, мы и наблюдали что-то такое: космическое переселение или, скажем, нашествие? Мало ли романов на эти темы!.. И все прочее в том же духе.

— В к а к о м духе?!

— Прогресс с точностью до наоборот, вот в каком,— сказал со вкусом Корнев.— Почему бы не считать эту сыпь и «свищи» не естественными лавовыми вспучиваниями, не вулканическими вздутиями, а все-таки поселениями каких-то там н а ч а л ь н ы х жителей? Социальные процессы у них идут наоборот: от демократического общества к тоталитарному, от него — к феодально-крепостническому... прогрессивным считается закрепощать работников, чтоб не баловали, не бегали с места на место — чтоб был порядок! — затем к рабовладению, к племенному, к стаду. В технике прогресс идет от высотных зданий к домам пониже, более прочным, с толстыми стенами: лучше помельче, да больше, неладно скроен, да крепко сшит... а еще лучше и вовсе откопать пещеру в обрыве — безопасно и не дует. Прогрессивно и модно там обрастать шерстью — вместо заботы об одежде...

— А спиной вперед они не будут у вас ходить? И из гроба вставать?

— Ну-у, Вэ-Вэ, реплика низкопробная, не по уровню вашего мышления! Вам ли, который ввел понятие «объем события», не понимать, что мелким-то событиям наплевать, в какую сторону текут мировые процессы. Будут тамошние существа обыкновенно спариваться и рождаться, дело нехитрое. А вот чуть не так накренился растянутый на тысячи и миллионы лет градиент потока времени — и прогресс превращается в регресс, а регрессивное признается передовым, полезным для общества. В науках, например, будет считаться передовым и полезным больше забыть, чем узнать. Сначала забыть о существовании иных галактик, затем об иных солнцах, потом — что их планета есть шар... и так до утраты членораздельной речи и переходе от «реакционного» прямохождения на «прогрессивные» четвереньки...

— Слушайте, Саша, вы же до ерунды договорились! — не выдержал директор.— Сами себя опровергаете. Ведь чтобы было, что забыть и утратить, сначала надо же это з н а т ь и у м е т ь. Стало быть, необходимо допустить, что у ваших гипотетических изначальных сразу была высокая культура, огромные знания обо всем... а откуда это возьмется?

— Куль-ту-ра... зна-ни-е?..— Корнев произнес эти слова с усилием, смотрел на Пеца — и в глазах за воспаленными веками все больше прибавлялось веселого и злого изумления.— О господи, Вэ-Вэ, так вы... так вы ничего не поняли?! А я-то верил в вас больше, чем в себя. Куль-тура, зна-ние — надо же! Ха-ха!..— Он лег на стол

и даже ногами задрыгал от похожего на рыдание хохота.— Ха-ха-ха-аа! Какая культура, какое к чертям знание?! Ха-а-хаа-а-ха-ха!..

Это выглядело возмутительно. Пец осатанел:

— Встаньте! — рявкнул он, и Корнев сразу оказался на ногах.— Вот верить в меня не надо, я не бог и не претендую... а обязанности свои, равно как и мои распоряжения, извольте выполнять. Во-первых, займитесь делами, как подобает главному инженеру, у вас их накопилось более чем достаточно. Второе: приведите себя в божеский вид, общайтесь с сотрудниками корректно и по-деловому. Третье: рекомендую вам не подниматься сюда и не участвовать в исследовании МВ, покуда не выправите крен в мозгах. Вот так!

— Слушаюсь, Валерьян Вениаминович! — Корнев стал по стойке «смирно», свел вместе пятки в драных носках.— Бу сде. Иполню. Особенно насчет крена в мозгах.

Но в глазах его блестел упрек и насмешливое превосходство — превосходство человека, который понял то, что ему, Пецу, недоступно и о чем не имеет смысла с ним толковать.

Эта шутовская поза, этот блеск глаз и вообще весь разговор... Валерьян Вениаминович почувствовал, что с него хватит, и вышел, не сказав ни слова.

Бой — с Корневым за Корнева — был проигран.

ГЛАВА 25

МЕРТВЕЦ И ПРОТОПЛАЗМА

Для людей важней всего активность: сначала они активно портят природу — потом начинают активно исправлять содеянное. Так и обеспечивается всеобщая занятость.

К. Прутков-инженер. Мысль № 10.

I

Мертвец неспешно шагал вниз, пролет за пролетом оставляя за собой лестницу осевой башни. Вокруг колыхались, искривлялись призрачно, растекались в стороны радужно размытые контуры и пятна, выделявшие из плотного пространства пенистое нечто, имевшее при его жизни значение и названия. Теперь названий не было, мир стал простым и единообразным — первичным. Только изредка он вспоминал: это «коридоры» (для перемещений комочков живого желе), а по бокам «лаборатории», «мастерские», «отделы» (п у с т о т ы, в которых *они* колышутся и вихрятся в том, что считают «своей деятельностью»). Ко всему этому он еще недавно имел

отношение, взаимодействовал, колыхался-барахтался вместе со всеми. Он и сейчас делал вид, что имеет отношение, так было проще: когда кто-либо из живых подходил и заговаривал о том, что они считают «проблемами», «делами», он останавливался, выслушивал вежливо и, не вникая — ему не во что более было вникать, соглашался, когда ждали согласия, возражал, когда ждали возражения. Даже отдавал приказы — именно те, какие уже маячили (он видел!) на другом конце веревки-желания относящегося, веревки, которой опутала всех так называемая «жизнь», многомерная паутина связей. И тем ослаблял веревку, выскользал, отделывался — освобождался. Главным для этого было не нарушать окрестное колыхание-вихрение, внося в него с в о е.

Он так и делал. На восьмом уровне кто-то (неважно кто) протянул ему бумаги, втолковывая что-то (неважно что), и, разумеется: «Александр Иваныч, подпишите!» Он подписал к исполнению, хотя в их жизни это противоречило распоряжению, которое он таким же манером «отдал» двадцатью этажами выше. Но это в их жизни, в сложно дифференцировавшейся посредством собственных заблуждений протоплазме. Никаких противоречий не бывает в Едином. Как нет в нем и названий. Как нет и связей.

Протоплазма... Она возникла в теплых мутных морях, чувствуя немо и слепо все воздействия среды либо как «приятные» (способствуют целости, росту, размножению), либо «неприятные», препятствующие тому же. Приятное было хорошо, к нему следовало стремиться; неприятное плохо, его следовало избегать. Первичное, доклеточное д о б р о и з л о, из которого потом комочки усложнившейся протоплазмы, проповедники и философы, сочинили нравственные принципы. Первичное желе усложнилось от разнообразия сред и обстоятельств на планете, обзавелось органами, распределило по ним общее чувство, тем породило обилие к а ч е с т в, а по ним на в ы с ш е й стадии развития — и слов. Но природа ощущений, их крайний субъективизм и турбулентная вздорность — от этого не изменились и не могли измениться. И па-ашел расти, усложняться, ветвиться мир существ, их видов, свойств, качеств, действий, понятий, мир, проявляющий в множественном запутанном разнообразии одно и то же: усложнившиеся реакции протоплазмы на «±приятно».

Это протоплазма колыхалась и дрожала сейчас вокруг от забот и стремлений — не только в башне, всюду! — вспучивалась намерениями, замыслами, хлюпала и плескалась действиями, желеобразно вибрировала сигналами, которые расходились кругами от мест возбуждения, текла по «трещинам»-коммуникациям, завивалась круговертями обмена веществ, удовлетворенно чавкала-переваривала, заполняла пустоты. Она прикидывалась растениями, организмами, животными, людьми, семьями, коллективами, народами, челове-

чеством, биосферой и неосферой. Только его теперь не обманешь.

— Ничто не сотворено,— шептали бледные губы.— Деление бактерии неотличимо от родов ребёнка. Ничто не сотворено!..

На шестом уровне мертвец вышел на перевалочную площадку внешнего слоя, стоял на краю, покачиваясь с носков на пятки, смотрел. Внизу, в красно-оранжевом сумраке зоны вяло шевелились механизмы, ползали машины. Слева, на загибающейся вниз, к горизонту, площадке собирали ангар (при жизни он помнил, какой и для чего); дуговая бетонная форма и стрела автокрана образовали фигуру, похожую на скелет звероящера. Стрела поворачивалась, смещала конец фермы — звероящер жил, поводил шеей и боками. Звуки зоны: басовистые рыки моторов, замедленные лязги и удары, тягучие возгласы — тоже вписывались в картину мезозойского болота.

— Ничто не сотворено,— шептали губы,— ничего не было и нет. Восприятие фермы и крана как звероящера не более ложно, чем восприятие их как фермы и крана. Ничто не сотворено!

Когда человек вдруг поймет гораздо больше, чем понимал до этого, ему обычно кажется, что он понял в с е. Это опасный момент в процессе познания, с него может начаться заблуждение еще более глубокое, чем было до этого. Александр Иванович Корнев открыл и понял немало в изысканиях в Шаре — как вместе с другими, так и сам. Это новое впиталось в него, впиталось в натуру человека, который никогда не отделял рассудок от чувств,— у которого, вернее сказать, рассудок и талант всегда служили достижению намечаемого чувствами. И новое это само становилось чувством — общим, преобладающим, подавляющим остальные; потому что касалось в с е г о в жизни. И еще потому, что, начав исследовать что-либо мыслью, Корнев — на счастье свое и на беду свою — не мог, не умел остановиться, не додумав до конца.

И как безудержен, пристрастен был Александр Иванович в работе, в поиске, в увлечениях своих, так же безудержно страстен был он сейчас в гневном, горестном отрицании всего. Ну, ладно — пусть бы другие так вляпались со своей «разумной деятельностью», пусть их усилия и результаты стихия складывает в простые до тупости мировые процессы рыхления, нагрева, спада выразительности... Но он сам-то, он — Александр Корнев, чей жизненный принцип был: никогда не оказываться марионеткой ни в чьих руках, использовать обстоятельства и людей для достижения своих целей! И выходит, что это его самоутверждение — как раз не «само-», а именно те ниточки, посредством которых природа (поток времени? Вселенная?) ненавязчиво и мягко управляла им — наравне со всеми! — в процессе финального оживления-смешения, раскручивания планеты на разнос. Стремясь к творческому самоутверждению, выполнять чужую — и бессмысленно-стихийную — волю!

Противостоя созиданием власти м е л к и х природных явлений — тем только усиливать и ускорять к р у п н ы е!

«Хо-хо-хо! Хаа-ха-а-хаа! Дзынь-ля-ля! Смотрите на меня, идиота! Смотрите на всех нас, смейтесь и показывайте пальцами. Никакой нарочитый манихейский дьявол не смог бы так изощренно и всесторонне одурачить умников, как это сделали они сами, приняв свое стремление к самоутверждению, к оригинальности за нечто высокое. О, дурни хвостатые и бесхвостые!.. Почему мы считаем, что мы вне мировых процессов, что планета — да что, вся Вселенная! — лишь подмостки для вечной человеческой «драмы», в которой отрицательных поймают, а положительные поженятся, сделают карьеру и наплодят детей? Смотрите: фейерверками метеоров рассыпаются миры, где уж всего наделали, всех поймали и наплодили, где одни доказывали другим, что они лучше, а те доказывали этим, что нет, они еще лучше, а те — еще-еще, а на еще-то еще да еще еще!.. Смотрите: не просто так вспыхивают сверхновыми звезды — от неудовлетворенности подобных нам разбухают и вспыхивают они. Потому что неудовлетворенность, порождающая стремления и замыслы, обнаруживающая все новые проблемы, чтобы их решить,— лишь темное наше название для простой глубинной энергии, высвобождающейся нынче в мире — высвобождающейся через нас! И все больше всем всего надо, все новое, современнее... Все быстрее стареет — и чаще м о р а л ь н о, нежели реально — созданное: на свалку его, в кучи, под снос. Ходи, изба, ходи, печь! И все напряженней надо смекать, вникать, шевелить извилинами: разрушение планеты — дело непростое, требующее куда большего ума, чем создание ее. Пылай, бурли, клокочи в своей погоне за счастьем, протоплазма!.. Ха-а, ха-а, ха-а!.. О боже, зачем только я это видел?»

И не замечал Александр Иванович, что, разоблачая ложность движущих людьми чувств, он сам охвачен досадой, яростным злорадством, горечью, гневом — чувствами из того же набора, которой разоблачал; отрицая слова — мыслил словами и даже далеко преступал доступный словам предел, предел, за который может вторгаться только искусство в самых высоких своих проявлениях. (Потому что в области этой действительно грубы и неточны слова, неуместны формулы и числа; здесь владычествуют мыслечувства и мыслеритмы — то, что еще предстоит осознать.)

Странен человек в заблуждении.

Он спустился, через проходную вышел из зоны. Тотчас подкатила ожидавшая его черная «Волга». Главный инженер покачал головой, пошел в другую сторону, прочь от ревущего шоссе: захотелось вдруг отыскать тропинку — ту, протоптанную через чистое поле к Шару минувшей зимой, тысячу лет назад. Но где там, исчезла она под кучами строительного мусора, обломков, под штабелями

кирпича и плит, разломанными контейнерами, какими-то трубами, перепахана канавами и ямами. Башня, вырастая в Шар бетонным деревом, взбулгачила землю у корней своих.

«Нас перло вверх, в обширное пространство и ускоренное время, а мы катились на нарастающей волне возможностей, принимали стремление стихий за свои замыслы, объясняли непонятное себе и другим, решали, действовали, планировали... самообольщались во всю!»

Наконец, он выбрался из кольца мусорных и строительных завалов, поднялся на бугор слежавшейся земли рядом с глубокой ямой — следом какого-то брошенного начинания. Позади был Шар, впереди домики Ширмы, сады со старыми ветвистыми яблонями за дощатыми заборами. А вдали, правее поселка,— нарастал серо-желтой волной ячеистых пузырей-зданий, выпирал в блеклое небо трубами и вышками, дышал дымами и промышленным теплом размытой от своей суеты город. С в и щ, вихрь активности. Корнев остановился, глядел перед собою — как на чужое, инопланетное, из МВ.

...и мир опрокинулся — все дома, деревья, шоссе с бегущими машинами, белые цилиндры нефтехранилища, трубы химзавода вдали свисали с покатого бока планеты, готовые сорваться с тонкой привязи тяготения, ухнуть в черное пространство за пеленой атмосферы. И сам он не стоял на земле, висел вниз головой.

Ослабели ноги, он опустился на колени. Снова накатило:

...планета была больна: металась в горячечной суете транспорта, пашила жаром домен, мартенов, реакторов, ТЭЦ. Земля бредила, извергала в эфир множеством ртов, телетайпов, динамиков, экранов лживые, противоречивые, пустые образы и сообщения. Стригущий лишай вырубок и пожаров сводил волосы-леса с ее кожи. В других местах эта кожа гноилась свалками, нефтяными скважинами, мертвела пустынями, солончаками, испорченной неродящей почвой, вспухала волдырями цехов и ангаров. Самолеты роями мух слетались к болячкам-городам. Планета недужила, она была сплошная рана, истекавшая в космос деревьями.

ЗЕМЛЯ ИСТЕКАЕТ В ПРОСТРАНСТВО ДЕРЕВЬЯМИ!

Это было настолько ошеломляюще очевидно, что Александр Иванович вдруг припал лицом к коленям и затрясся от рыданий. Как он раньше не понял смысл этих объемных ручьев, замедленных фонтанов? Значит, все в одну сторону, от деревьев до ракет? Значит, такова природа жизни во всех проявлениях — растекаться?.. «Оо! О-оо!..» Много непереводимых в слова чувств было в этом плаче сильного человека.

Через минуту он справился с собой, встал, вытер лицо, очистил брюки от земли. Что это он? Куда это он хотел идти? Куда убежать от себя, где спрятаться? Дома, отогреться в уюте? Не отогреется.

Жена постыла, было что-то у них, да все вышло. Дочка? На миг его охватила теплая жалость к упрямой и умной, понимающей разлад в семье девочке. Нет, нельзя. Он и о ней подумает что-то такое, как о прочих. Это еще жило в нем.

«Некуда убегать. И незачем прятаться».

II

Шла вторая половина дня, время, когда на верхних уровнях башни начинался отлив. Отработав десятки, а кое-кто и сотни часов, истощив запасы материалов и сил, сотрудники скатывались вниз.

Покойник поднялся к себе на 20-й уровень, никого не встретив. В приемной скучала Нюся; она всегда старалась дежурить после обеда, ко времени, когда главный инженер чаще оказывался в кабинете. Он приветственно взмахнул рукой, послал ей ослепительную американскую улыбку, прошел к себе. В персональной туалетной комнате умылся, прошелся электробритвой по впалым щекам, избегая встретиться в зеркале со своим взглядом. Вернулся в кабинет, сел не к столу, а в кресло для посетителей, огляделся. Его кабинет... Стены, до половины обшитые пластиком под красное дерево, темно-вишневого лака столы буквой «Т», кожаные коричневые кресла, дорогой ковер на полу, информ-установка с экранами и пультом — все внушает вес, значимость, державность даже. А ванная комната личного пользования! Как Гутенмахер-то хорошо сказал насчет спущенных ниже колен штанов. Как маскируем мы свое животное, что мочиться и испражняться надо! В среднеазиатских кишлаках, ему довелось видеть, эту проблему решают куда проще: заворачивает человек полы халата на голову и садится посреди улицы — главное, чтобы в лицо не узнали... Черт побери! Как мы все себя дурачим!

И ведь как он стремился к такому... нет, не к персональному туалету, кабинету, «Волге» самим по себе, а к ним как к атрибутам высокого положения, признания, власти. Был заряжен, нацелен — кем?

...А по-настоящему только и был счастлив тогда, в Овечьем ущелье, кружа на чужом мотоцикле с лихой песенкой под Шаром, счастлив, что не сробел, вник и понял. Все дальнейшее было изгажено азартом гонки, боязнью оплошать, не успеть, оказаться обойденным, не получить намеченного сполна.

Его кабинет, место, где он «ворочал делами», «творил», «властвовал»... Он? Нет, НПВ. Шар. Корнев прикрыл глаза, вспомнил вчерашнюю встречу в городе с одним из тех, над кем «властвовал». Бригадир Никонов, строитель, который радовался крупным заработкам

и что может ублаготворить молодую жену. Ныне худощавый старичок со слезящимися глазами на красном лице; сидел с удочкой у реки Катагани, где и рыбы-то нет, и набережная рядом гремит от машин. Сидел, чтобы убить время, не идти домой. Разговорились, зашли в вокзальный ресторан поблизости — плакался за рюмкой. Жена-то теперь действительно изменяет, стыд потеряла, скандалит, когда пытается унять, развода требует. Вот тебе и «молодожен»!

И Ястребов Герман Иванович, знаменитый Ястреб, паривший на монтажных высотах, ныне персональный пенсионер. Подавил обиду, позвонил — просил порадеть за него перед ГАИ. Машину-то он купил и освоил, права знает назубок, техосмотр миновал чин чинарем... а медкомиссию не прошел. Обнаружили врачи дрожание рук, слабость в ногах, какие-то парадоксальные реакции. Прав не дают. И гоняет пока в его малиновой «Волге» сын-лоботряс, катает девиц. «Выручите, Александр Ива!..» А как выручишь — молодость со склада не выпишешь. Время не обдуришь.

«И я так — объедался-обпивался интереснятиной, ах-ах, ускоренное время, «мерцания», Меняющаяся Вселенная, полевое управление, гора идет к Магомету!.. Сколько мне сейчас лет при моих календарных тридцати шести? Биологических наверняка за пятьдесят — точно не учитывал, швырялся месяцами, как мелкой монетой. А н а с т о я щ и х, по пережитому и понятому,— тысяча, миллион, миллиард?.. Какой возраст у человека, многократно наблюдавшего рождения, жизнь и кончины миров, галактик, вселенных, видевшего начала и концы? Я старее этой волынки, Мерцающей Вселенной, старше и умнее ее, потому что не стал бы так светиться с закручиваним галактик, выпеканием звезд и планет. А с биологией у меня все в порядке, здоров и ко всему годен. Вот только — можно ли быть здоровым, не будучи живым?»

Нюся неслышно вошла с папкой:

— Это на подпись, Александр Иванович,— положила на стол.— И еще: Никандров из отдела надежности звонил раз пять. Установку собрали, но без вас не запускают — ждут.

«Чего им меня ждать! — Корнев рассеянно переводил взгляд с лица секретарши на ее фигуру, снова на лицо, слушал не столько слова, сколько интонации. Та начала розоветь.— Ах, да... что-то они там сочинили, чтобы годовой цикл испытаний укладывать в минуты. Посредством полей. Все давай-давай!..»

— Хорошо, Нюсенька, включите. Посмотрим...

Секретарша подошла к информатору, потыкала пальцем в клавиши. Экраны не осветились.

— Наверное, у них еще телекамеру не поставили?..

— Вот видите,— главный инженер развел руками.— Не могу же я бегать на каждый объект. Не разорваться же мне. Пусть поставят и подключатся — тогда.

— Хорошо, Александр Иванович, я передам.

Как много было в ее интонациях сверх положенного по службе! И, направляясь к приемной, Нюся прошла близ Корнева очень медленно. Ей не хотелось от него уходить. Он понял, взял ее за руку. Она остановилась:

— Что, Александр Иванович? — хотя по голосу и тревожно-радостному взгляду ясно было: поняла что.

Ах, как жива была ее теплая кисть — с пульсирующей жилкой под тонкой кожей! И как отозвалась на движение руки Корнева ее талия, когда он привлек ее, поставил между коленей, а потом и посадил на колени. Нюся положила руки на его плечи — с честным намерением оттолкнуться или хоть упереться. Но разве могла она оттолкнуть его, дорогого каждой чертой лица, каждой морщинкой, каждой складкой одежды? И руки сами оказались за шеей Александра Ивановича.

«Любовь...— размышлял тот, чувствуя щекой, как бьется ее сердце пониже маленькой тугой груди.— Любовь, название для чего-то тоже крайне простого. Проще всех слов. Потому что одинаково свойственна она всему живому. Наверно, и самка кузнечика, которую самец на время спаривания угощает приманкой, мнит, что этот — единственный, парень что надо... а он потом забирает недоеденное для другой. Вот — сердчишко бойчее стучит.— Он отстранил Нюсю, аналитически взглянул на лицо — порозовели щеки, блестят глаза, дыхание углубилось. И где надо набухает кровь, выделяются из желез секреты и слизь. Любовь!..»

— Ты бы не крутилась около меня, девушка,— рассудительно молвил мертвец, опуская руки.— Человек я семейный и на виду. Вы...у — и никаких перспектив.

Короткий гневный не то всхлип, не то стон. Оскорбленно простучали каблучки по паркету. Хлопнула дверь. Корнев опустил голову в ладони. Вот и еще комочек жизни оторвался от него. «И пусть. Скорей бы уж».

Александр Иванович знал, что после понятого-прочувствованного в Меняющейся Вселенной он — не жилец. Душа была отравлена, разъедена и мертва. Тугая струя, что несла от грандиозного замысла к еще более грандиозным, от идеи к идее, от дела к делу,— выбросила теперь его на кренистый берег убийственного сверхчеловеческого знания. Зевай жабрами, бей хвостом, трепещи плавниками, вскидывайся — изранишься, но конец не отдалишь. И он понимал, что реальный конец теперь только вопрос времени и обстоятельств. «Скорей бы...»

Он пересел к столу, взял принесенную папку (а Нюся в это время, закрыв лицо ладонями и поскуливая от нестерпимой обиды, мчала по коридору к лифту: прочь отсюда, прочь скорей и навсегда! Она была готова для него на все, отдать себя... а он... а он!..), раскрыл

авторучку и принялся, не глядя, не читая, выводить в левом верхнем углу каждой бумаги одну и ту же резолюцию: «ДС. Корнев», «ДС. Корнев» — и дату с указанием, как положено, часа по двадцатому уровню.

Смерть открыла дверь в кабинет, вошла без стука и Корнев ее не узнал. Да и мудрено было узнать: она явилась в облике пожилого кавказца с румяно-сизыми щеками, с крупным и также сизым носом, английскими усиками квадратом под ним и веселыми, все понимающими глазами.

— Дэ-эс! — кинул посетителю Корнев, подняв голову. И, поскольку тот приближался, повторил раздраженно и четко: — Я же сказал: дэ-эс!

— Дэсс?..— не понял или прикинулся, что не понял, вошедший, остановился у стола.— Дэсс... нет, дэссертные не дэлаем. Коньяки дэлаем. Разрешите представиться: Нахапет Логосович Мальва, представитель коньячных заводов Закавказья.

Это становилось интересно. Корнев отодвинул бумаги, уставился на представителя.

— Важное дело привело меня к вам, очень важное, просто необыкновенно,— говорил тот, извлекая из пузатого коричневого портфеля бутылки.— Вот, изволите видеть, ординарный грузинский коньяк — и тот надо выдерживать три года. Но что для коньяка три года, младенческий возраст! Не только в смысле крепости — букет, аромат, вкусовая гамма... все не установилось еще, понимаете. Вот, не угодно ли сравнить,— и на столе появились дегустационные стаканчики с делениями,— хотя бы с двенадцатилетним?

Корнев сравнил. Верно, двенадцатилетний коньяк «Мцыри» был куда лучше — и по букету, и по аромату, и по вкусовой гамме.

— Но ведь и это, можно сказать, коньяк-подросток,— продолжал Нахапет Мальва, вытаскивая темную бутылку без этикетки.— Настоящий коньяк — который нам, увы, недоступен, разве только министрам и миллионерам! — должен иметь возраст зрелого мужчины. Не угодно ли сравнить с этим?

— Только давайте вместе, а то и вкус не тот,— сказал Александр Иванович, принимая мензурку с ароматной солнечной влагой.

— С великим удовольствием! За процветание вашего замечательного, владеющего неограниченными запасами времени учреждения!

Этот напиток вообще был вне всякого сравнения.

Через четверть часа дело было на мази. Главный инженер с сочувствием отнесся к идее организовать на высоких уровнях погреб для ускоренной выдержки многолетних коньячных спиртов — объемом тысяч на пятнадцать декалитров — в бочках поставщика.

— ...потому что это же золото — выдержанные коньяки, валюта! — толковал Мальва, откинувшись в кресле с мензуркой в руке.

— Пр-равильно...— разнеженно глядел на него Корнев.— Верно излагаешь, Логопед... м-м, нет, Мотопед? Все сделаем, Мотя.

— Паачэму мотопед?! — выразительно оскорбился тот.— Папа твой мотопед, да? Зачем обижаешь!

— Извини, дарагой, что ты! — от сочувствия Александр Иванович сам заговорил с кавказским акцентом.— Ни в коем случае. Давай бумагу, я все подпишу. За милую душу.

— Какая бумага, я не заготовил бумагу!

— Что ж ты, Мотя, такой умный и красивый, а не предусмотрел? К начальству приходят с готовой заявкой. Ну, хорошо...— Он придвинул чистый лист, размашисто начертал слева вверху: «В отдел освоения. Исполнить. Корнев».— И протянул представителю.— Вот, дорогой, что напишешь, все сделают.

— О ввах! — умилился тот.— Вот это по-нашему, это по-кавказски!..

Смерть сделала свое дело — и ушла.

III

Корнев поднимался наверх. Сначала лифтом, а последние этажи — для бодрого разгона — пешком. Он более не чувствовал себя мертвым. Нет, это другие, за которых материя-время шевелит их мозгами и конечностями, а они принимают болтанку за с в о ю р а з у м н у ю деятельность,— это они покойники. Они и не жили никогда. А он — живее не бывает. Как, бишь, в той песенке? «А мы разбойнички, разбойнички, разбойнички, разбойнички. Пиф-паф — и вы покойнички, покойнички, покойнички!»

— А они... эти все, что юлят во все стороны, и лезут ко двору, и говорят, что они патриоты, и то и се,— шептали губы, перебивая учащенное дыхание — аренды, аренды хотят эти патриоты! Пользы, связей, выгод. И неважно, как мой — мой, черт побери! — рассудок и талант выглядят объективно: бродильный фермент или еще как-то. Пусть бродильный — зато бродить-то я могу лучше других... Куда другим до меня, ого! Ого-го! Дзынь-ля-ля!.. Мама, ваш сын прекрасно болен, у него пожар сердца...

Ноги вынесли его на крышу. Белели во тьме аэростаты, покоилась на телескопических распорках кабина, окруженная сложенными в гармошки секторами, лепестками и полосами электродов. Пульт системы ГиМ на краю площадки затянуло паутиной. «Вот это только ты и умеешь, стихия: паутины, ржавчины, плесень... и разум с творчеством норовишь свести к тому же. Но нет, дудки!» Он смел паутину, включил подзарядку баллонов, прогрев и коррекцию. Александр Иванович не знал, что сделает, но чуял, как внутри вызревает самоутверждающее намерение — какое-то очень простое.

Пока надувались аэростаты, он стоял, опершись об ограду, смотрел вверх. Лицо и предметы вокруг периодами озарял слабый свет накалявшихся и гаснущих в ядре «мерцаний», точек и пятнышек электросварочной сыпи: накал — пауза тьмы, накал — пауза... День — Ночь, День — Ночь. Теперь, когда он знал воочию, множественно и подробно, что внутри этого непродолжительного тусклого накала Вселенского Дня оказывается все, что только е с т ь в мире во всех качествах, количествах и масштабах... то есть просто Все,— этот мелко пульсирующий процесс показался ему издевательским, нестерпимо оскорбительным. Александр Иванович сначала принял его сторону и расхохотался саркастически — своим протяжным «Ха-а! Ха-аа! Ха-а!..» — над всеми прочими, дешево одураченными: ведь только и есть б о ж е с т в е н н о г о в этом деле, что огромность масштабов, плотность среды и непоборимо мощный напор потоков материи-времени. Сила есть, ума не надо. «А ведь многие в м у д р о с т ь веруют, о расположении молят в с е м о г у щ е г о! А он неспособен даже слепить планету в форме чемодана». Но потом почувствовал задетым и себя.

— Но если ты только и можешь, что суммировать все умное и тонкое в ерунду, в развал, в ничто... то ты и само Ничто. Ничто с большой буквы. Громадное, мощное, вечное ничто! Дура толстая, распро...— на вот тебе! — и постучал ладонью у локтя выразительно согнутой правой рукой.

Не Александр Корнев, работник, творец, искатель — пьяненький жлоб в растерзанной одежде сквернословил и куражился перед ликом Вечности.

Блестя в прожекторных лучах, разворачивались электроды, поднимались аэростаты, кабина несла Корнева в раздающуюся во все стороны черноту — туда, где океан материи-действия плескал волнами-струями, а в них кружили водовороты галактик, вспенивались мерцающим веществом звезды и планеты. Несла в убийственную огромность масштабов, скоростей, сил, в простое бесстыдство изменчивости, в наготу первичности, несла в самую боль, любовь, в отчаяние и проклятие на веки вековоов. «Возлюбленных все убивают, так повелось в веках... успокойся, смертный, и не требуй правды той, что не нужна тебе... не образумлюсь, виноват! — шептали губы все, что приходило в голову,— ...ваш сын прекрасно болен... и достойные отцы их... аренды, аренды хотят эти патриоты!.. Ничего, ничего, молчание!..»

Кабина вышла на предельную высоту к началу очередного Вселенского Шторма. Александр Иванович переключил систему на автоматический поиск... чего-нибудь. Образ цели — размытая планетка землеподобного типа — хранился в памяти персептрон-автомата и сейчас возник на экране дисплея. Сами собой наращивались

напряженности верхнего и нижнего полей, убирая пространство и замедляя время; боковое смещение влекло кабину за ближайшей галактикой. *Стремительно брошенным сюда из тьмы диском приблизилась заломленная набекрень сияющая спираль с рыхлым ядром и по-мельничному машущими рукавами; заслонила собой все великолепие Шторма — и заискрилась мириадами бело-голубых мерцающих черточек.* Переход на импульсные снования — черточки потускнели, пожелтели, стянулись в точки. Приближение к одной звезде... к другой... к третьей... автомат бегло просматривал-отбраковывал планеты около них. Наконец восьмая попытка удалась.

И повисла над куполом кабины планета — чем-то похожа на Марс, чем-то на Луну, но поскольку в кратерно-округлых морях темнела влага, то, пожалуй, и на Землю. Зашумели в динамиках светозвуки ее жизни-формирования, сопровождаемые метками «кадр-год»... потом «кадр-десятилетие» и «кадр-век». Автомат сам знал, как и что показывать: ближний план — перемена частоты на «кадр-год», отход на крупный — снова «кадр-век». Перевал за максимум выразительности — изменения ускорились, делали облик планеты расплывчатым — автомат участил полевые снования.

Корнев сидел в кресле, смотрел почти равнодушно. Изменения объектов важнее объектов — а когда понимаешь, что к чему, то неважно и это. Не шибко интересно, какие там возникли смышленые жители — комочки активной плесени, деятельного тлена и праха. Ясно одно: все они страстно ж а ж д у т с ч а с т ь я. Чтоб им, именно им... ну, пусть еще и близким — было хорошо. Если человек рожден для счастья, то и завросапиэнс тем более. А кремниеорганические электросапиэнсы пластинчатые и вовсе не глупее.

...И все стремятся, и чудится им во всех влечения глубокий смысл, и кажется, если их удовлетворить, то он откроется. А когда утолят, то открывается лишь, что никакого особого смысла не было, надо стремиться и действовать дальше.

...И еще: натура, предельно ограничив их, разумников, возможности действовать и познавать своими законами и плотной связью со средой, не поскупилась, предоставила широчайшие возможности вольно толковать ощущения и действия, домысливать, воображать — заблуждаться.

...И то, что в повседневной н о р м а л ь н о й жизни невозможно держать в уме вселенский набор образом, вселенский масштаб событий и причин, показывает, насколько глубоким заблуждением является нормальная жизнь. Мир сумасшедших, которые объявляют сумасшедшими всех, кто с ними не заодно.

...И больше всего жаль тех, для кого жажда счастья первична, априорна: баб, детишек, людей ущербных. И у них там тоже так? И возникают там чувственные вихрики семей, супругов или любовников?

...И, наверно, там тоже есть таланты, даже гении. И живется им, особенно тем, кто кладет свой дар на алтарь служения обществу, хреново. Век укорочен. Потому что бог гонки, бог раскручивания мира на разнос в иррациональном безумии своем не делает различий: талантлив ли ты, прост ли умом и духом — отдай свой импульс в космический процесс. Вынь да положь, а что будет с тобой — неважно. Потому что никакого бога нет, а стихии не знают оптимальности. Талантливость суммируется в космический идиотизм. Психики и интеллекты, вся психическая и интеллектуальная жизнь — хоть тех существ, хоть здешних — просто колебания напора в потоке времени. Гидродинамика с точки зрения клочка пены.

Не был сейчас Александр Иванович заодно ни с теми, кто внизу, ни с теми, что наверху мутят и рыхлят свою планету. А был он над теми и другими, над всем. И понял он наконец, почему его так часто последнее время влекло сюда: не ради общения с Меняющейся Вселенной и дальнейшего понимания ее, нет. Здесь он — как и другие, но, пожалуй, что поболе их! — был н а в ы с о т е. На высоте своих знаний и возможностей. Здесь он мог куда больше, чем эта раздувающаяся турбулентными штормами стихия: мог поворотом ручек вычеркивать из МВ громадные участки пространства, просматривать выборочно или подробно миллиарднолетние события. Разве то, что он обозревает галактику, не означает, что он б о л ь ш е ее? Точно так же он и в е ч н е е планет, звезд, галактик, даже Вселенских циклов миропроявления. Черт побери, когда-то он, Корнев, призывал других не забывать, что все это в Шаре поперечником в полкилометра... а сам, оказывается, забыл! За весь мир расписываться не будем, но у э т о й Вселенной, в НПВ, есть бог. Есть!

А раз так, то надо утвердить себя разумным божественным насилием. Нарочитостью, как выражается папа Пец. Как?.. Что, если поднапрячь верхние поля... в «пространственных линзах» и под ними — чтобы крутой градиент НПВ вытянулся в МВ этаким ножом... или шилом? — и вошел в объект? В какой? В планету?.. Разрезать или разорвать этот комочек... а? Поглядеть, что там внутри, хо! Это будет следующий шаг.

...Да нет, чепуха. То есть — вполне возможно, но зачем? Те жители и сами справятся со своей планеткой, вон как распухает, им немного осталось. А вот... разорвать их звезду-светило круто деформированным пространство! Как дома в Таращанске, а? Как он... он сам! — рвал почву для котлована башни здесь. Ведь эти звезды рвутся на искры, когда входят в барьер, он видел. Вот тогда он докажет — и себе, и Вселенной!

Он отключил автомат, заработал рукоятками на пульте. Планета

ушла в сторону, на ее месте над куполом возникла звезда — диск ее был почти как у Солнца, жар почти такой же. «Давай, жарь! Поглядим сейчас, кто кого будет жарить. Возлюбленных все убивают... но я буду любить тебя обыкновенно. Без причитаний в стихах и прозе. Что ты можешь, Вселенная, почва, толстая баба, если не оплодотворять тебя мыслью! Сама ты никогда не забеременеешь новым, не родишь. Если не по Уайльду, а по жизни, то возлюбленных — оплодотворяют!»

Все реостаты были введены до упора, но звезда не приблизилась. Жар ее грел голову и руки Корнева. «Ах, да, там ограничители! Реле безопасности... Как бы чего не вышло. А надо, чтобы именно вышло! Если желаешь оплодотворить, не заботиться о дозволенных пределах...» Он отщелкнул затворы на задней панели пульта ГиМ, заглянул внутрь схемы. «Ага, это долой! И это!» — Пальцы умело выдергивали из гнезд коробочки электронных реле, прямоугольнички лишних микросхем. Сунул ноготь в прорезь в стержне дополнительного потенциометра, повернул, глядя вверх.

Вот теперь звезда приблизилась! Над куполом поместился только край ее с опадающим протуберанцем — но край этот жег лицо, глаза, шею, нагревал все предметы в кабине. «Давай-давай, грей, что ты еще умеешь!.. Так, теперь внедрим в тебя пространственные линзы... кои никакие не линзы, а выросты напряженного пространства-времени. Оно, знаешь, куда плотнее и первичнее тебя, теплая малютка-пышка. И крупнее. А я еще первичней и крупнее...» Пальцы, между тем, сами находили нужное в знакомых узлах схемы, вынимали, выламывали, скручивали оборванные концы, переставляли штекеры. Сделав, он вернулся к пульту, взялся за рукояти пульта «пространственных линз». Поднял лицо с прищуренными от зноя глазами:

— Ну?..— и начал скачками добавлять избыточное поле.— Наддай... еще, еще! Раздвигай-ка ножки Вселенная!..

Нарастал жар, свет, звон. Все смешалось, все было едино: темь ли это вселенских просторов рядом с ядерным пламенем — осенняя ли ночью на морском берегу, штурмуемом волнами? Грохот ли миров в динамиках — шум ли прибоя и свист ветра?.. Мечется и рыдает, схватившись за голову, буря во вселенской ночи, в горячей огненной тьме. Земля дрожит от ударов сердца, белые от ярости волны поднимаются в атаку — и откатываются скрежеща галькой:

— Вода еси — и в воду отыдеши!

Смешение — разделение. Разделение — смешение... Накаляются звездным сиянием Метапульсации, нарастают галактиками-всплесками, звездами-всплесками, планетами-всплесками — мчат во времени — и сникают сверкающей пеной, тщетой усилий:

— Среда еси — и в среду отыдеши!

— Не среда!.. НЕЕЕЕ СРЕЕЕЕДАААААА!!!

Это был момент, когда все работавшие в зоне и на внешних площадках башни увидели, как в черном сгустке ядра накаляется ослепительная голубая точка, как она превращается в пляшущее пятнышко, чей сине-белый беспощадный свет заливает окрестность, затмевает прожекторы, лампы верхних этажей и склоняющееся к закату солнце. Поднялась паника, люди хлынули вниз и прочь из зоны, прыгали через заборы, убегали в поле, прятались в ямы, за отвалы земли и мусора или, не успев, кидались ничком — ногами в сторону вспышки. Завыла сирена общей тревоги.

Но вспышка тотчас и погасла. Ласковое тепло ядерного пожара звезды, приближенное «пространственными линзами», нагрело и вздуло до предела аэростаты системы ГиМ. Они потянули кабину, в которой находился Корнев, вверх, еще ближе к этой ласке и нежности Вселенной, лопнули все разом — и система, ее электроды, кабели, канаты, кабина — все рухнуло с двухкилометровой высоты.

ГЛАВА 26

«УМЕР НАШ ДЯДЯ...»

> Профессионалы — вовсе не обязательно люди, которые умеют что-то делать лучше других. Часто обнаруживается, что все остальное они просто вовсе не умеют делать.
>
> *К. Прутков-инженер. Мысль № 57.*

I

Хоронили Корнева. Все работники Шара, все, кто знал его по Институту Электростатики, просто так,— сошлись проводить в последний путь Александра Ивановича, Главного, Сашу Корнева, Корня, Кореша, Корешка (и так называли его между собой), геройского и свойского парня, замечательного знаменитого человека. Именно его многие считали душой и фактическим воротилой всех дел в Шаре, а Пец — так, для красы, потому что у Саши тех званий не было.

Все работы были остановлены на часы, когда многотысячная процессия темной лентой змеилась по грунтовой дороге в сторону реки, все дальше от бетонного кольца зоны, от громады Шара, приплюснувшего ступенчатый холм-башню. Корнева решили похоронить не на городском кладбище, а на высоком берегу Катагани, откуда будет виден покоренный им Шар, город, далекие синие горы за степью, и поставить здесь обелиск.

Был теплый, по-осеннему ясный сентябрьский день, похожий на тот, в который год назад опустилась в этой местности и приня-

лась чудить непонятная напасть, Шайтан-шар. От реки веял легкий ветерок. Ноги шагавших поднимали желтую глинистую пыль. Лица всех были красны от духоты.

Хоронили Корнева. Никто ничего толком не знал. Утром у проходных появился траурный плакат, который извещал в надлежащей форме о трагической гибели главного инженера НИИ НПВ «при проведении эксперимента». Многие вчера видели, как метнулась, разворачиваясь и уменьшаясь с высотой, к ядру Шара аэростатная система, как засияла там синяя вспышка — и съежившиеся баллоны с кабиной сначала пулей, потом все замедляясь, упали на крышу; для смотревших снизу все произошло за считанные секунды. Говорили всякое: взорвался, сгорел, разбился... В кузове медленно двигавшегося впереди грузовика среди венков стоял намертво запаянный гроб, убранный красным. На нем установили снятый с Доски почета портрет Александра Ивановича. Некоторые высказывали сомнения, есть ли вообще в гробу останки.

Немалые толки вызвало и то, что среди провожающих не видели ни ближайших сподвижников Корнева — Васюка, Любарского, Бурова, ни самого Пеца. Шли за оркестром, неся на лицах подобающее случаю выражение, Мендельзон, Приятель, Бугаев, Документгура, Петренко, референт Валя; спотыкалась, ничего не видя зареванными глазами, Нюсенька (ему было худо вчера, Александру Ивановичу, как она не поняла — девчонка, дура! Ему было плохо, трудно, больно, поэтому так и сказал... а она... а она!..); шла рядом с ней постаревшая Люся Малюта. А этих, самых главных и близких, не было. Не случилось ли и с ними что?

Хоронили Корнева. Выводили печальные мелодии блестевшие под солнцем трубы оркестра. Поддерживаемая с двух сторон, шла за машиной безутешная вдова в эффектном трауре, с вуалью над заплаканными глазами. Немного позади важно и тяжело шагала беременная женщина, первая жена Александра Ивановича; ее поддерживал муж. Две девочки — одна постарше, другая меньше — шли сначала возле своих мам, обе напуганные, с одинаковым вопросом в глазах, не знающие, как себя вести; потом сблизились, взялись за руки.

Несли на подушечках ордена: Красного Знамени и Ленина. Второй Корневу еще не дали — представили месяц назад; не ясно было еще — дадут ли (впрочем, теперь посмертно — дадут). Но Страшнов — он тоже шагал в процессии усталой походкой мало двигающегося человека — отцепил свой, полученный за успехи катаганской промышленности: он был герой, Александр Корнев, и хоронить его подобало как героя.

Разные шли люди в толпе, разные были настроения. У большинства — искреннее огорчение гибелью человека, который мог бы еще жить да жить. У многих к этому примешивалась озабоченность

и тревога: не усмирили, выходит, Шар, снова он потребовал жертву, неладно это. Но шагали и такие, у которых факт, что Корнев, с быстротой ракеты взлетевший вверх в своей карьере, так же быстро пал и гробанулся, вызывал затаенное похихикивающее удовлетворение,— те именно мелкие души, каким никогда не пережить штормовой накал чувств, не взлететь и не пасть мыслями и духом, но которые зато — ага, ага! — живы и здоровы.

Хоронили Корнева. Людмила Сергеевна внешне выглядела спокойной, подтянутой и сухой, как всегда, а сама пребывала в состоянии бессмысленного нежного отчаяния; то думала, что более в ее жизни ничего не будет, да и не надо, то мысленно называла Александра Ивановича, Сашу, Сашеньку всеми теми ласковыми словами, которые хотела сказать ему тогда, но так и не решилась — стеснялась.

Да, многими умами и душами, мыслями и чувствами владел, многих взбаламутил человек, чьи останки — если они были — везли сейчас в запаянном гробу к берегу Катагани!

Валерьян Вениаминович, хоть и был назначен председателем комиссии по похоронам, от комиссии этой начисто отстранился. И на похороны не хотел идти, не приехал на гражданскую панихиду у проходной. Ни слушать ему эти речи, ни говорить... И только когда процессия одолела половину пути, догнал на машине, вышел, плелся позади — не по дороге, в стороне, в тени дубков и акаций лесополосы — сам не зная зачем. Вроде как не участник, а сторонний наблюдатель.

«А как выглядела бы такая процессия при наблюдении ее на планете МВ? При ускорении раз в пять, смазанности и охвате одним взглядом степи, реки и города-«свища»?.. Быстро вьющаяся темная змейка мчит к реке, поднимая за собой пыль. Впрочем, из-за сдвига спектра не темная — самосветящаяся даже. Можно принять за транспорт или за живое существо. И вся ее медленная заупокойная торжественность — псу под хвост».

Не сама пришла в голову эта мысль, притянул силком, натужно развивал. Валерьяну Вениаминовичу очень хотелось быть сейчас сторонним наблюдателем, ему позарез надо было чувствовать себя таким наблюдателем!

...Он-то думал, что судьба уже истощилась в наносимых ему ударах. А она приберегла самый сильный напоследок, на край жизни его. Эх, да дело не в том, что для него, В. В. Пеца, это сильный удар, не его этот удар свалил. Хотя должен бы и его... или еще свалит? Да и не в кончине Корнева самый удар-то... или в этом?.. Путаница, смятение царили в голове.

Валерьян Вениаминович тоже не знал, что и как случилось с Корневым и системой ГиМ вчера в 46-м часу эпицентра, несколько

часов спустя после их разговора. Одно он знал определенно: это было самоубийство. Та самая активная смерть. Сведение — пусть в виде катастрофы, аварии после роковой оплошности — счетов с жизнью отчаявшегося, разуверившегося в жизни человека. И первой реакцией Пеца на узнанное (ему сообщили тотчас на квартиру, он приехал в НИИ) было чувство досады на слишком уж скорого на слова и действия Александра Ивановича. Потом пришла горечь и чувство вины, что не смог ни убедить его, ни успокоить, ни хотя бы понять его состояние: отправил бы вниз без всяких разговоров.

Теперь, задним числом, Валерьян Вениаминович догадывался, что в той лавине беспорядочных идей и горьких фраз, в самом вызове и сарказме, с которыми Корнев преподносил свои выводы, таилась надежда, что он, Пец, разрушит их,— и он обретет покой. «...великие открытия, великие изобретения! А что есть их величие, как не размер дистанции между истиной и нашими представлениями!» — сколько звонкой мальчишеской обиды было в этом восклицании Александра Ивановича. Да и в других... смех этот врастяжечку и упрек: «А я-то верил в вас больше, чем в себя!» Пец зажмурился и некоторое время шагал, ничего не видя.

И он не смог, не сумел! Сам растерялся. Блокировался академическими сентенциями, сводил все к логической игре суждений. Поэтому и вышло, что они — всегда с полуслова, даже с обмена взглядами понимавшие друг друга — говорили будто на разных языках. Поэтому и выручил себя начальственным гневом в ответ на оскорбительный, с дрыганьем ног хохот, дисциплинарным распоряжением и уходом... бегством, собственно. Ведь действительно же глуповато он ляпнул — хоть и казался ему тогда этот довод убедительным — насчет культуры и знания, не по уровню корневских суждений, тому было над чем горько смеяться. Все имеет иной смысл, в том и штука-то, в с е! И сама жизнь, и разум — целиком и полностью.

«Постой... это я так себя сужу, потому что он умер. Погиб. А если бы нет — все представилось бы в ином свете? Что — все? В каком свете?.. Вот в этом и надо разобраться. Здесь не смерть сама по себе, а д о в о д в виде смерти. Довод крайней силы, и если Корнев прав, то ошибочно все остальное».

«Что весит мое огромное, но не прошедшее через сердце знание? Нуль!» — снова звучал в уме голос Корнева.

А прошло — и убило.

«У свинца свойство — тяжесть, у щелочей — едкость, а у нас — активность мысли. Слепая активность мысли...»

Активность, турбулентный избыток материи-действия в напористых потоках времени — он создает вихри, волны, взбивает пену вещества в кипенье струй. Валерьян Вениаминович вспомнил цитату из Бхагаватгиты, которую он привел Любарскому и Корневу в том

памятном подъеме в МВ: «Вначале существа не проявляются, они появляются в середине. И растворяются они на исходе...» Тогда он оборвал на этом, ибо дальше следовал не слишком уместный риторический вопрос: «Какая в этом печаль!» А почему, собственно, неуместный: в этом вопросе, в сущности, выражено соотношение между ничтожностью заметной нам турбулентной болтанки бытия и мощью несущего ее потока времени (по терминологии индусов — непроявленного). Хорошо вжился древний автор Гиты в образ Вселенского бога Шри-Бхагавана, просто замечательно: какая в этом печаль — что вы есть, людишки, что вас нет! Слышите, миллиарды верующих на все лады, исполняющих заповеди и обряды, приносящих жертвы — с целью снискать божью милость, урвать клок благодати: какая в этом печаль!.. В божественной Гите есть и другие высказывания в том же духе: «Тщетны надежды, тщетны дела неразумных, их знания тщетны!»

Но все-таки: надежды? дела? знания? Или под видом одного — другое?

А разве мало вести то чувство сопротивления, которое только крепло в нем от высказываний Корнева: не поддаваться! Пусть нет доводов и слов, но не поддаваться!.. Чувство это он теперь может выразить и словами: ты меня не обвела, природа. Я понял, я знаю — и это главнее того, что я понял и что знаю. Неужели и это чувство иллюзорно?

Но если так, то и тот ужас, что он ощутил, когда обнаружилось, что пленка показывает с и м м е т р и ч н о е цивилизации... миг крушения реальности, который он не хотел бы снова пережить,— тоже иллюзия, эмоциональный пшик?

Валерьян Вениаминович шагал, углубившись в мысленный спор с Корневым — потому что не мог быть окончен этот спор его смертью! — приводил новые доводы. «Под видом одного другое... чтобы «открыть» это, не обязательно исследовать Меняющуюся Вселенную, такого добра хватает в обычной жизни. Похоть под видом любви, карьеризм под видом служения обществу, тирания под видом демократии... мало ли! Вполне возможен и фальшивый прогресс, выражаемый в числах и графиках, при реальном осволочении, одичании людей, и «целесообразная» цивилизационная суета, в реальности исполняющая непонятный нам космический закон. Но... есть же за этим что-то? За этим, над, вне — но есть, не может не быть, коль скоро мы осознаем. Бактерии не осознают, пчелы и муравьи, сотворяя свое, не сознают, а люди — осознают. Хоть и далеко не каждый. Но все-таки продвигаемся во Вселенную. Иначе — и в этой догадке ты прав — никто не знал бы, куда летит Земля в Солнечной системе, что в ней вокруг чего вращается. В том и отличие городов от роев и муравейников, что попадаются в них существа, которые знают... Школа жизни, закалка — в сущности, они у тебя

были слабые. Не клевал тебя, Саша, жареный петух, не стреляло незаряженное ружье, не мытарила война, не обвиняли черт знает в чем, не предавали...»

«Ну-у, папа Пец, нуу-у...— будто услышал он голос Корнева, носовой и иронический,— это уж совсем по-стариковски: мы пахали, мы мешками кровь проливали!»

«По-стариковски — не значит неверно, Саша. Пройти смерть, плен и предательства, но не разувериться в людях — это немало. Ты — правда, от сверхсильной передряги — разуверился и ослаб».

«Сопли это все, Вэ-Вэ. Я — понял».

«А то, что ты мучился, постигая,— тоже сопли, самообман?»

«Конечно, Вэ-Вэ. Протоплазма не может не мучиться, не страдать, как не может и не наслаждаться, не смаковать «блага». Так она устроена... Но, кстати, о вашем, стариков, опыте и вашей закалке: это ведь первые, еще, можно сказать, дотехногенные, проявления космического процесса смешения...»

«Что именно?»

«Мировые войны с участием десятков, если не сотен миллионов «разумных» существ. Особенно вторая. И то, что предшествовало и сопутствовало ей — лагеря уничтожения с обеих сторон. Один в них истребляли «врагов рейха», решали «еврейский вопрос», другие вразумляли таким же способом «врагов народа», «изменников Родины» — слова разные, сущность одинаковая. И политики-лидеры, посылая людей на смерть, произносили разные слова, будучи уверены, что они руководят и действуют, а не с ними все делается. А на самом деле реализовался затравочный процесс нагнетания взаимного страха: людей перед людьми, людей перед государством, государств перед государствами... Чувство деятельного страха. А после возникновения ядерного оружия можно говорить и о деятельном ужасе: перед ядерной войной, которой не будет».

«Не будет?»

«Ну конечно, Вэ-Вэ! Раз у рода человеческого такое солидное назначение, главенство в процессе смешения и развала планеты, кто же допустит его самоистребление в ядерной схватке? Попробуй потом выведи снова такую прелесть, чтобы в самый раз ума и ограниченности, трусости и отваги, похоти и заботы о потомстве, жажды приобретать, соперничества, страха потерять... Вселенная — фирма серьезная, веников не вяжет. Воспитание деятельного ужаса — именно для активации «газа тел», то есть первично средств наступления и доставки, повышения электромагнитного излучения от средств связи и наблюдения, ускорения распада и деления атомных ядер в реакторах и так далее. Без боязни ядерной гибели «прогресс» нынче совсем был бы не тот. Так что не слишком прав автор Гиты, не целиком «...тщетны дела неразумных, их знания тщетны».

Пец опомнился. Не было с пора с Корневым, не с кем было теперь

спорить. Это он сам, споря с с о б о й, додумал и развил мысль, которая могла бы принадлежать Александру Ивановичу. «Плохо,— осудил себя директор.— Поддаюсь?..»

II

А процессия приближалась к широкому извиву реки, в который выдавался мысом обрыв, к месту, где отвал глины у свежевырытой могилы и возле дощатый помост, обитый красным с черным. Валерьян Вениаминович брел в сторонке, смотрел на все с сомнением и растерянностью. «Человек живет для знания» — этот тезис он исповедовал всю жизнь. Но... если даже Корнев, интеллектуально мощный, деятельный человек, не выдержал напора знаний, хлынувшего из Шара, из МВ — и ведь объективных научных знаний! — каково же придется другим, послабее, когда и до них дойдет?

«Вот они идут — встревоженные, озадаченные фактом смерти: был человек — и нет. Действиями и чувствами участвуют в ритуале, который, если взглянуть строго, лжив и фальшив от начала до конца. Санитарная, собственно, операция. «Зарыть, чтобы не воняло»,— как написал о своем теле Лев Толстой в первом варианте завещания. «Отдадим последний долг», «от нас безвременно ушел...», «придите, и отдадим последнее целование», прощание с А. И. Корневым — а что общего с н а с т о я щ и м Корневым у той запаянной в ящик червивой падали?!»

(В отличие от других, Валерьян Вениаминович знал, что находится в гробу, видел. Пока улеглась паника после вспышки, пока бойцы охраны вернулись к зоне, пока связывались с верхними уровнями, пытаясь узнать, что случилось,— а там никого не было по позднему времени; пока с многими предосторожностями и задержками поднялись на крышу, минул земной час. Шесть суток по времени крыши — где к тому же от накалившихся обломков и электропожаров аппаратуры было весьма тепло. Труп Корнева, исковерканный падением, с раздробленным черепом и костями, разорванными внутренностями — успел основательно разложиться. «Лопатами сгребали»,— с некоторой виноватостью доложил Пецу комендант Петренко, указывая на содержимое гроба.)

«Идут — и всяк гонит от себя мысль, что и с ним может случиться такое. «Умирают другие, не я»,— тешит каждый себя иллюзией. «Тайна смерти» — обратная сторона «тайны жизни». Не понимаем ни то, ни другое (или боимся признать, что нет здесь ни тайны, ни смысла?), так хоть подменим «таинством погребения», хороводом вокруг праха. И я к этой фальши руку приложил: «погиб при исполнении эксперимента». Как же, все должно быть благопристойно...»

А процессия — юркая пыльная змейка при взгляде через НПВ — теперь сворачивалась в кольцо в нужном месте, втягивая волочащийся по дороге хвост. Снимали с машины гроб, возносили на помост. Оркестр после паузы заиграл марш из си-минорной сонаты Шопена — марш, который второе столетие играют на всех похоронах. Сдержанно-угрюмое начало его далеко разнеслось над притихшей степью. Валерьян Вениаминович (он стоял в тени дубков, смотрел издали, сняв очки), который не хотел и не мог позволить себе раскиснуть, добыл из памяти песенку; ее распевали на этот мотив в детстве, ни во что и ни в смерть не верящими мальчишками:

Умер наш дядя —
как жаль, что нет его!
Он нам в наследство
не отавил ничего...

«Именно: он нам в наследство не оставил ничего. Даже хуже, чем ничего — отрицание всего. Слышите, вы: нет ничего, ничто не сотворено, все только кажется нам. Вы скорбите — но нет скорби! Нет ни радости, ни отваги, ни страха, ни отчаяния, ни желаний, ни жизни, ни смерти — все это только ложное отношение живой плоти к себе самой, чувственные фантомы, с помощью которых натура делает с нами что захочет. Для усиления скорби оркестр наигрывает похоронный марш — но ускорение времени легко превратит его в твист!»

А тетя хохотала,
когда она узнала,
что дядя нам
в наследство
не оставил
ничего,—

драматически наяривали под Шопена трубы на холме.

«Хохочи, тетя! Он и сам посмеялся бы над этой церемонией, Александр Иваныч-то, над показушным самообманом. После покорения Меняющейся Вселенной, после наблюдения жизней многих миров, понимания их глубинных законов — удостоиться высокой чести погребения по первому разряду с музыкой и речами! Хохочи, тетя! Там, наверху, в эти минуты возникают и уничтожаются галактики, звезды, планеты с мириадами внешне разных, но одинаковых в своем заблуждении р а з у м н ы х существ, которым кажется, что микроскопические, микробные драмы их жизни, их горе и радости, их дела, победы и поражения — единственно важны, а прочий мир лишь фон...»

А тетя ха-хххаа-та-ала...

«А тетя хах-хата-аала!..» — издевательски отдавалось в мозгу. Струилась по степи и над рекой скорбь — и не было скорби:

нечто простое, от стихий. Соединяло толпу уважительное любопытство к тайне смерти — и не было ни уважения, ни любопытства, ни тайны. Высокими голосами пели трубы, глухо и грустно рычали басы, подвывали валторны, пробуждая печаль жизни,— и не было ни печали, ни жизни: пустое шевеление субстанции.

...И только когда музыка шопеновского марша, оторвавшись от пошлого напевчика, взметнулась в синее жаркое небо воплем неизбывной тоски и страдания — у Валерьяна Вениаминовича сдавило горло, сам по себе затрясся подбородок. Он, ничего не видя, отвернулся, шагнул, уткнулся лбом во что-то с шершавой корой; плечи его и спина заходили ходуном от долго сдерживаемых рыданий.

Была скорбь, была. Была боль: жизнь расставалась с жизнью. И было горе — чернее черного. Плакал старик, нашедший сына — и потерявший его.

«Гордый мальчик! Он не мог смириться, не мог простить себе, что так запутался, что не был хозяином жизни, а только казался. Он думал, что ум и труд делают его всесильным,— и не пожелал смириться с унижением... мой гордый страстный мальчик!..»

Кто-то тронул его за плечо. Валерьян Вениаминович вытер ладонью лицо, обернулся: Ястребов.

— Валерьян Вениами...— сказал тот.— А я гляжу с дороги: вы или не вы?

На проселке стояла малиновая «Волга». За рулем ее сидел парень, похожий на Германа Ивановича, рыжий, с маленькими глазами, скуластый. Сам же механик опирался на палку, был сед, брюзгл и толст.

— Смотрите, какая история получилась с Александром-то Иванычем, а? — продолжал он.— Выходит, это он вчера под вечер так красиво там вспыхнул, ай-ай... Мог оказаться и не один. Не пережил нас, стариков, надо же!.. А я вот,— он показал палку,— правая нога совсем забарахлила, отниматься вроде надумала, зараза. Сын в машине катает, все равно как вас шофер, а?.. Догоняли энтих,— он указал в сторону толпы,— глянул сюда: вроде вы...

Он говорил и говорил, понимая состояние Пеца и давая ему время прийти в себя.

— Батя, так мы едем? — баском спросил из машины сын.

— Ты катись, куда хошь, а мы с Валерьяном Вениаминовичем здесь в тенечке перебудем — верно, Валерьян Вениами? Чего мы туда потащимся, Александра Иваныча все равно не поднимем. Речи говорить? Так говори — помрешь, и не говори — помрешь, верно, Валерьян Вениами? — Сын тем временем завел машину, стал разворачивать.— Ты погоди, погребец нам оставь!

Тот вышел, открыл багажник, принес деревянный не то сундучок, не то чемоданчик на блестящих винтах, произнес ворчливо:

— Все бы тебе погребец — а потом хвораешь.

— Иди, иди! Невежа, не поздоровался даже. Не ты меня поишь, не ты лечишь, не в своей машине возишь. Давай отсюдова! — И механик замахнулся на отпрыска палкой — не всерьез, а так, побахвалиться, что отец и хозяин.

Сын укатил в сторону города.

— Мы сейчас с вами здесь преотлично устроимся, Валерьян Вениами, помянем Сашу,— приговаривал Ястребов, раскладывая «погребец». Из того получились два легких прочных стульчика, столик, на который выставились пластмассовые стаканчики, начатая бутылка коньяку, хлеб, помидоры, сыр, сухая колбаса... Даже удивительно стало: как много вмещалось в столь малом объеме!

«Сам, наверно, сделал?» — подумал, но не спросил Пец: он не был уверен в своем голосе.

— Видите, какое устройство сочинил. Руки скучают...— Механик разлил коньяк, придвинул Пецу стопку и закуску.— Барином живу, фу-ты, ну-ты!.. Ну, вечная ему память от всех, а я так Александра Иваныча и в малом не забуду!

Выпили. Пец смотрел: щетина на щеках механика проступала не рыжая, а совсем седая; толстое лицо в склеротических жилках и складках дрябло обвисало. Тот перехватил взгляд:

— Смотрите, какой я стал? Так ведь и вы, Валерьян Вениами, не обижайтесь, не краше. Я лично не в претензии. Правда, со знакомыми как-то неохота встречаться: удивляются, охают, расспрашивают, даже жалеют — будто я инвалид какой! Разве им объяснишь, что жалеть-то меня стоило бы без этого десятка лет, прожитого за год. Пустая без этого получилась бы у меня жизнь. Я и сам это только теперь понял, Валерьян Вениами, честно. Раньше я как считал? Хорошая жизнь — это достаток, дом, здоровье свое и семейных, садик, одеться получше, вещи всякие... Ну не без того, чтобы и погулять в компании, и бабу на стороне поиметь — не шлюху, конечно, но лучше, если без хлопот, без осложнений, не слишком всерьез. А работа — только средство, чтобы укрепиться в этой хорошей жизни. Даже не она сама по себе — заработок...— Под разговор Герман Иванович снова наполнил стопку.— Так и наверху вкалывал, учитывал, какой наряд выгодней, где премия светит. И вот только лишившись,— он грустно взглянул в сторону Шара,— понял, дурень старый, что самый-то красивый, интересный кусок жизни прошел у меня там, наверху. Ведь какие мы дела творили с вами и Александром Ивановичем, угораздило его, земля ему пухом, берите, Валерьян Вениаминович!

«Слышишь, Саша, слышишь? — подумал Пец, опрокидывая в рот вторую стопку.— Это ведь уже какой-то ответ...»

А Ястребов смотрел на него просительно, в хрипловатом голосе чувствовалась слеза:

— Вы взьмите меня снова наверх, Валерьян Вениами, а? Я еще сгожусь, сумею. Там у вас сейчас большая работа будет.

ГЛАВА 27

«И ТЫ — ОДНО С ТЕМ!»

«Родился — нажми кнопку».
Надпись в роддоме самообслуживания.

I

И надо было жить и работать дальше. Не ради счастья-успеха-признания, а — к тому приставлен.

На проходной комендант Петренко вручил ему акт осмотра сетей (с очень красноречивыми снимками), получил от директора визы на всех заявках и приказ развертывать работу, не теряя ни минуты. Упрочение экранных сетей требовалось неотложно: надвигалась осень, пора ненастья.

Да и все другие дела были неотложны. Вчерашняя авария и сегодняшние похороны многое нарушили в башне; начальники отделов, лабораторий, служб сопровождали директора, пока он поднимался к себе, а затем приходили, звонили, связывались по телеинвертеру — каждый со своими вопросами. Все сетовали на постигшую утрату, многие попутно с большей или меньшей осторожностью выясняли кандидатуру нового главного инженера, а поняв, что ее нет, склоняли к определенному лицу, подчеркивали его нужные качества. Были названы Мендельзон и Любарский, Люся Малюта, Васюк-Басистов, Буров, Бугаев и даже референт (впрочем, ныне зам по оргвопросам) Синица. Валерьян Вениаминович выслушивал, вникал, отмалчивался, разрешал, запрещал, откладывал... а в горле еще давил нерассосавшийся комок, в голове пошумливало от выпитого с Ястребовым.

Мысли все соскакивали с проторенной колеи. Вспоминался разговор с Корневым и особенно, как он вставил ему фитиль, показав «космонавтику навыворот» — аккрецию, падение метеоров.

...Век назад автомобили были не меньшим чудом, чем сейчас космические ракеты. И легко можно представить сотни миллионов ракет: грузовых, пассажирских, такси, личных и даже номенклатурных (в черном лаке и со спецсигналами),— наполнивших околоземное пространство. Главное — всем будет позарез надо: потому что у соседа аж две, потому что детям космос полезен для здоровья, чтобы провести отпуск на Марсе... да о чем говорить! Разве мыслима нормальная жизнь без своей ракеты — или хотя бы папиной? Таким и девушки не станут отдаваться.

...Давно ли люди — такие же, как нынешние,— жили без кино, телевидения, дисков, видеолент — и не чухались. А отними у них все это сейчас, прерви поток искусственной занимательности, отвлекающей их чувства,— ведь страшный суд начнется, массовая психопатия, содом, пьянство, преступность! Человеческие чувства как фактор ноосферы. Психика, которая главнее физики. Или — психика как ч а с т ь Вселенской Физики?..

И сидел напротив нестроевого возраста полковник-инженер Волков, главвоенпред божьей милостию, доказывал немногословно, но весомо, что происшедшее вчера со всей очевидностью обнажило чрезвычайно серьезный характер развития исследований наверху, а посему надо, во-первых, зарежимить их по крайней мере под гриф «Совсекретно», а во-вторых, подключить специалистов представляемого им ведомства. Ведь не говоря о вышеупомянутом — сам способ полевого управления неоднородностью пространства, поскольку увеличение ее ведет к разрушению любых материалов, представляет собой оружие. Было бы легкомыслием закрывать на это глаза.

— Мы прикинули: страшное оружие может получиться, Валерьян Вениаминович. Пространственные бомбы. Выделенные из Шара объемы с микроквантами. Электрическими полями, чего проще. То, что случилось с Таращанском, возможно для любого города Земли.

Пец хмуро рассматривал кряжистого полковника, ершик седых волос на красивой голове, следил за четкой командирской жестикуляцией. «Вот только вас там еще не хватало».

— Минутку,— поднял он ладонь.— Вы сказали: выделить объемы с микроквантами. И вы знаете — как?

— Н-ну...— Военпред поднял и опустил широкие брови.— Это вопрос технический.

— Иными словами, ваше «чего проще» и преувеличенные опасения — с потолка,— жестко заключил директор.— Технические трудности, знаете, похоронили не одну тысячу эффектных идей. В том числе и о сверхоружии. Впрочем, хорошо, что сказали, изучим и эту возможность. Благодарю за предложение сотрудничества. Когда потребуется, пригласим ваших коллег для обсуждения. Все.

Волков побагровел по самую шею в тугом темно-зеленом воротнике. Он не привык, чтобы с ним так разговаривали. Он больше привык сам так разговаривать с другими.

— Извините, товарищ Пец,— сказал он,— но я и до ваших слов понимал, что суюсь не в свое дело. Понимаю и то, что этот способ может стать оружием не завтра и не послезавтра. Но он может им стать! И очень скверным, массового уничтожения. Все мы за мир, я не меньше вашего — но ситуация требует принятия

ответственных мер. Изучение изучением, но в качестве первой меры настаиваю на засекречивании.— Полковник поднял на Пеца светлые глаза в морщинистых веках; взгляд их был тверд.— Если не поддерживаете, направлю докладную сам.

«Ох, черт, как со мной разговаривают!» Пец четверть минуты боролся с желанием выставить военпреда за дверь. Но миролюбие превозмогло.

— Как вам известно, способ полевого управления НПВ разработан покойным Корневым и мною. Право решать, засекречивать свою работу или нет и в каком направлении ее развивать, принадлежит в первую очередь авторам, а не...

Но разгорячившийся полковник перебил его:

— Извините, но в делах такого масштаба вопросы научной этики отступают на второй план. Когда речь о жизнях миллионов — не до миндальничанья!

— Вопросы этики никогда не отступают на второй план! — гаркнул Пец, хлопнул по столу ладонью; он тоже раскраснелся.— Не должны отступать! Их о т т е с н я ю т, это совсем другое. Поэтому и живем в страхе и неуверенности, что различные... гм! — политические дубы и недоумки исключают этику из отношений между людьми и народами, заменяют ее силой, деньгами, властью, подлостью. Не выберемся так из дерьма. Миндальничанье!.. Словом, так: вы мне доложили — я вас выслушал. Вы знаете далеко не все, гораздо меньше, чем нужно, чтобы добиваться правильных решений. Будем изучать вопрос. А ежели вздумаете действовать наобум и в обход, то — поскольку у нас с вами простой взгляд на этику — обещаю, что ваша карьера на этом закончится. Располагаю соответствующими возможностями. Все, идите.— Военпред продолжал сидеть, шевельнул губами с намерением возразить, но директор повторил с нажимом: — Идите!

Тот поднялся и, повернувшись не по-военному, вышел.

«Оружие. Засекречивание. Страх, доводящий народы и государства до нервных судорог. Подозрительность... Нет, именно в делах такого масштаба нельзя допустить, чтобы животные чувства возобладали — на уровне народов! — над человеческими.— В отличие от военпреда, Пец представлял как. В принципе.— А может, и не в принципе? — Он вспомнил увиденное вчера в экспериментальной мастерской: листы стекла и пластмасс, бетонные плиты с дырами — крупными и малыми, ровными и рваными.— Может, это оно и есть?..»

II

Четыре листка бумаги с числами, символами и разлинованными в мелкую клетку графиками выскользнули из плоского зева пневмо-

почты по левую руку от кресла, веером легли на полированную поверхность стола. Пец взял крайний, прочел: «Экстраполяционный прогноз блужданий Метапульсаций на 16—20 сентября». Это было решение задачи, которую он дал позавчера Иерихонскому; выполнено с задержкой на несколько часов — по понятной, впрочем, причине. Ну-ка?.. Валерьян Вениаминович, минуя расчеты, взял листы с графиками. Проекция блужданий на плоскость «север — вертикаль — юг»... проекция на плоскость «запад — вертикаль — восток»... на горизонтальную — при крайних точках указаны даты и время. Так-так... ага, вот самое крайнее смещение, самое-самое, отмеченное на всех проекциях. Когда его ждать?

Пец всмотрелся в цифры против голубого кружка на ломаной кривой — и сбилось с ритма сердце, кровь снова прилила к голове: «16.IX в 17.10—17.15». Сегодня. Подавив паническое желание поглядеть на часы, он с минуту изучал графики и расчеты, надеясь, что ошибся, увидел не то. Нет, все было то. С расчетной погрешностью ± 4 минуты.

Валерьян Вениаминович взглянул на табло времен над дверью кабинета: эпицентровых 28.20, земных 14.10. Мысли залихорадило, рефлексы администратора толкали к немедленному принятию мер, рука сама потянулась к пульту телеинвертера. «Спокойно, спокойно,— смирил себя директор.— Что будет-то? Может, ничего? Или, напротив, все?.. Дать команду Петренко ускорить... так ведь только что дал. Спокойно. Не надо свистать всех наверх — лучше самому подняться наверх. Прикинуть, обдумать не спеша».

Он взял листки, отчет о повреждениях сети и, пройдя пустую приемную, направился к лифту. «Эк заштормило: то одно, то другое, то третье! Растерялся, папа Пец? Тут растеряешься...» Выйдя из лифта на предпоследнем уровне, он успокоился: теперь от необходимости решать и действовать его отделяли не часы, а — если пожелает — многие дни. Думать, прикидывать так и эдак можно обстоятельно, без натуги. А думать есть о чем. Надвигалось — Валерьян Вениаминович это чувствовал — такое, что потребует напряжения всех душевных и умственных сил. Именно надвигалось, а не было позади. «Теперь мне не отвертеться»,— подумал он, отпирая дверь своей комнаты в профилактории, и, осознав эту мысль-чувство, замер на пороге.

— От чего? — спросил сам себя. И сам ответил: — От ясности. От ясного, однозначного отношения к НПВ, Шару, Меняющейся Вселенной, новому знанию. Ко всему, что было, есть и еще может быть здесь... Выходит, я уворачивался?

Похоже, что так. Проблемы возникли не сейчас, они накапливались, и он думал над ними, вернее, помнил, что надо думать. Пытался не раз и не два собраться как следует с мыслями, все сопоставить, оценить... огорчался, когда отвлекали текущие дела (а они

постоянно отвлекали), обещал себе: вот разделаюсь с этими, тогда все побоку и возьмусь!.. Ну, вот еще отодвину в сторону эту проблему, которая загораживает обзор, и тогда...

А сейчас, стоя в дверях, Пец понял, что это он во внешних слоях психики огорчался, что текучка заедает,— ваньку перед собой валял. В глубине души он был благодарен текучке, что она заедает, с облегчением погружался во все новые дела, отвлекающие от трудных мыслей и долженствующих последовать за ними решений. Видно, чуял, что логикой, знаниями, даже талантом физика — всем, чем он был горазд,— эту проблему ему не взять; думай, не думай... Вот и доотвлекался до того, что проблема стала настолько неотвлеченной, жизненной, злой, что просто бьет наотмашь. Одного уже свалила. И он не готов.

Поэтому, когда Корнев выкладывал все и возникало беспомощное детское желание: забиться в угол, прикрыться ладошками от истин — не надо! А затем и хуже: щенком себе показался. «Прикрывался текучкой, как ладошкой. Да только хватит, не ребенок и не щенок».

Воздух в комнате был сырой и затхлый. Включив свет, Валерьян Вениаминович увидел, что на потолке, захватывая и стену, распространилось ржавое пятно, штукатурка там осыпалась. Люстру покрывала серая от пыли паутина, линолеум на полу покоробился, завернулся по краям полос. «Напрасно крыл меня этот из стройминистерства,— подумал директор.— Все-таки ускоренное время свое действие оказывает. Но обитать здесь нельзя. Надо прислать ремонтников».

Он запер комнату, двинулся на следующий этаж, в лабораторию МВ. «Кстати, обсужу новость с ними».

В лаборатории в это время трудились четверо: Любарский, Толюня, Буров и Миша Панкратов. Гибель Корнева для всех их была большим ударом. Но — если без соплей — разрушение системы ГиМ, сопутствовавшее этому, ударом еще большим. Чувства их можно сравнить — приблизительно, на популярном уровне — с переживаниями водителя, у которого в пустынной местности сломалась автомашина: вот только что он, разумный и могучий гомосамец, мчал со стокилометровой скоростью, ему было рукой подать до нескольких областных центров, множества районных городков и окрестных деревень, было наплевать с высоты своего сиденья на ночь и дождь. И вдруг выясняется, что это не он мчался, а машина, что это ей досягаемы областные и прочие города с гостиницами,— а ему, комочку плоти, дай бог добрести до ближайшего хуторка, чьи огни на горизонте, и при этом не заблудиться и не простыть.

Чувства обобранности и обездоленности у сотрудников лабора-

тории, пожалуй, были еще сильнее. Они привыкли, поднявшись на аэростатах, поворотами ручек устранять мегапарсеки, отделяющие их от галактик и звезд; привыкли в комфортных режимах просматривать жизни почти вечных миров, «листать» планеты, звездопланетные системы, вселенные в поисках интересных объектов и событий... настолько привыкли, что поручили это автомату. Все это стало для них нормальным видением мира, нормальной жизнью во Вселенной. И сейчас они почувствовали себя глухими и слепыми ничтожествами. Любарский, чтобы хоть как-то скомпенсировать эти чувства, при помощи Панкратова в кинозале просматривал и сортировал видеозаписи объектов МВ, отделяя то, над чем еще следовало помудрить. Васюк и Виктор Федорович, забыв прежнюю взаимную неприязнь, в соседней комнате обсуждали, как восстановить систему ГиМ.

Все они, кроме Миши, составляли комиссию по расследованию причин вчерашней катастрофы, формальным председателем которой был Пец. Стало быть, работали здесь с утра, восьмые сутки по здешнему времени; срок достаточный, чтобы разобраться, составить заключение и перейти к иным делам. Разумеется, в такой ситуации они и думать не могли: потратить несколько земных часов на участие в похоронах главного инженера.

Появление Пеца в комнате Васюка не вызвало у инженеров заметных чувств. Анатолий Андреевич только кивнул ему издали — может быть, несколько глубже и замедленнее, чем обычно — и снова уперся руками в края кульмана, нахмурил лоб, устремил глаза на эскизы. Буров подошел, поздоровался и после немногословного мужского выражения чувства скорби сообщил, что заключение они как раз отправили вниз, на перепечатку. В основном, ничего нового сверх выводов, к которым они вместе с Валерьяном Вениаминовичем пришли еще утром, в нем не содержится. Но... но! — некоторые повреждения в системе никак нельзя объяснить ни аварийным пробоем, ни падением кабины на крышу: — во-первых, оплавленное оргстекло купола, во-вторых, снятые — обычным способом, путем отвинчивания винтов и отщелкиванием затворов — задние панели корпуса автомат-персептрона, и в-третьих, самое серьезное: из схемы автомата удалены предохранительные реле и блокирующие микросхемы — одни выломаны, другие вынуты из гнезд. Чего-то такое там Александр Иванович делал... В заключение они эти факты не внесли, будучи уверены, что Валерьян Вениаминович так решил бы и сам: Корнева это из гроба не поднимет, а малокомпетентным официальным лицам даст повод для придирок, кои ничем не помогут — и даже напротив. Пец задумчиво кивнул. Что же до восстановления системы ГиМ, сразу перешел на другую тему Буров, то — с учетом опыта эксплуатации, всех последних усовершенствований — легче и дешевле сделать ее заново, чем ремонтировать.

Там ведь нагромождали идею на идею, а теперь пойдет в дело только самое проверенное; так гораздо проще и быстрее. У Виктора Федоровича едва ли не вышло, что оно и к лучшему — выход из строя старой несовершенной системы. Прямо он это не сказал, но в интонациях что-то проскользнуло.

Ничего не ответив на его вопросительный взгляд, Пец вошел в просмотровый зал. Увидев его, Варфоломей Дормидонтович остановил проектор (на экране замер кадр с оранжевой звездой, окутанной плоским, слабо светящимся шлейфом), подошел, душевно пожал руку:

— Его всем нам будет не хватать, Валерьян Вениаминович. И другого такого мы не сыщем...— Вздохнул, помолчал и заговорил деловым голосом: — Что же до состояния работ, то... мне лично оно напоминает состояние Европы после второй мировой войны: масса разрушений — но тем самым и масса возможностей для реализации новых идей, новых архитектурных проектов, которые иначе бы остались на бумаге. Витя вам говорил о своих замыслах?

— Нет,— буркнул Пец.

— Ничего, еще расскажет... А вот, Валерьян Вениаминович, не угодно ли полюбоваться,— Любарский указал на экран.— Думаете, это планетообразующая звезда? Как не так, это п л а н е т а, выбрасывающая из себя вещество! Только снята при сильно ускоренном времени, поэтому ее тепловое излучение выглядит светом. Понимаете, выходит, что между планетами и звездами в этом отношении нет принципиальной разницы! Не хотите ли посмотреть дальше?

— Не сейчас,— качнул головой директор. (И этот отрешен, наполнен Меняющейся Вселенной; и ему не поворачивается язык сообщить о надвигающейся оттуда космической буре. Да и время еще терпит). «Энтузиасты науки, куда к черту, приносящие себя в жертву Познанию Вселенной! Чем вы лучше военпреда Волкова, готового распяться в интересах обороны? Ограниченность, ограниченность — даже когда она прикидывается широтой и жертвенностью... Не лучше ли ничего не приносить в жертву: ни вселенскую отрешенность земной суете — ни ее вселенскому образу мыслей? Уметь охватить рассудком и чувствами все — от Вечной Бесконечности, в которой обитаем, до мелких забот о телесной жизни... И без натуги, главное, охватывать все в действиях и переживаниях. Это — легко сказать! Кто сумеет? Корнев не смог. Эти? Они, похоже, уже по ту сторону, что и Корнев, хоть и на иной лад. Я? Только в мыслях, а в делах, в жизни не лучше других. Выходит, не по силам это людям? Наш удел быть игрушками стихий и ни черта ни понимать? Или, что не лучше, драматизировать развенчание иллюзий, открытие истин — вплоть до самоубийства?..»

Взгляд Пеца упал на взъерошенного Мишу, который выходил

и вернулся сейчас с кипой кассет. «У этого хоть была своя причина не участвовать в похоронах...» Директор подозвал его, извинился, что не помнит имени-отчества.

— Михаил Аркадьевич Панкратов,— сухо представился тот.

— Не родственник академика Панкратова?

— Нет. И самоубийцы Шиммеля тоже.

Малый дерзил, чтобы не потерять лицо: обжегся на Корневе. Самоубийца Шиммель — это из Ремарка? К таким выпадам Пец привык — наравне с подобострастием. «Все-таки книги читает, молодец». Не познакомит ли его Михаил Аркадьевич со своей установкой? Познакомить с действием установки, ответил тот, сейчас невозможно, поскольку она паразитировала на системе ГиМ, которая разрушена. Можно только рассказать идею, показать, что получается.

— Пожалуйста.

Они перешли в комнату мастерской, где стояла установка. Основное — это конденсаторы НПВ, объяснил инженер, достав из стола металлические цилиндрики с округлым керамическим дном и игольчатым электродом внутри. Их помещали вблизи нижней границы «полевой трубы» системы ГиМ; когда ее поле концентрировало крутую неоднородность, то и между электродами в цилиндре получалась такая же: по краям кванты в тысячи раз крупнее, чем вблизи иглы. Для сохранения этого после снятия поля ГиМ достаточно было удержать такую же напряженность внутри цилиндрика, для чего хватает батарейки. Далее конденсатор, в котором оказывается физический объем порядка многих кубометров, можно вместе с батарейкой перенести куда угодно. Если потом убавлять напряжение, то микропространство как бы выходит вовне, в обычное, выпирает крутым градиентом неоднородности. А тот может разрушать любые непроводники. Направление и угол градиента регулируются вот этими и этими электродами установки... Затем Миша показал образцы с дырами, которые Пец видел вчера.

Валерьян Вениаминович слушал, смотрел, кивал, все давно поняв. Он снова был — который раз за последние дни — потрясен до панического смешения мыслей.

— А что произошло бы, если б от вашего заряженного неоднородностью «конденсатора» отсоединился провод батарейки?

— А с чего бы ему отсоединиться? — опасливо покосился на него инженер.— Клеммы под винты, схема без соплей.

— А все-таки? Выскользнула клемма, оборвался провод при переноске — мало ли что.

— Ну... разрушение предметов вокруг. Только это маловероятно.

Он и сейчас не понимал, что изобрел ту самую «пространственную бомбу», этот молодой, да ранний Миша, не состоящий в родстве с академиком и самоубийцами. Лишь почуял возможный нагоняй

за рискованные опыты. Он и не думал ни о какой бомбе: способ конденсации НПВ, накопление больших физических пространств в малых геометрических объемах — интереснятина! Да и сам Пец, не наведи его сегодня бдительный военпред на эту тему, не в первую и не во вторую, а разве что в десятую какую-нибудь очередь задумался бы о разрушительных свойствах таких НПВ-конденсаторов. Ведь здесь столько применений: не только стены дырявить, но и туннели сквозь горы... автобус в карман поместить можно... да что говорить! И в то же время: НПВ-бомба. При надлежащем заряде любой город в пыль обратит. Все верно.

Он поставил инженеру «недурственно», посоветовал провести теоретические расчеты, не тянуть с заявкой и статьей — и отпустил с миром. А сам поднялся на крышу.

Здесь было прибрано, почти ничего не осталось от хаоса обломков, который он видел утром. Кабина и электроды, падая, снесли ограду, лебедку и западную часть генераторной галереи. На краю площадки в той стороне теперь торчала только лампочка на шесте, тускло освещала ближнюю часть крыши. Непривычной была пустота и первозданная темнота вокруг и вверху: не тянутся к ядру освещенные прожекторами канаты и кабели, не белеют в выси электроды и колбаски аэростатов... От кабины осталось лишь пилотское кресло, с которого так удобно было наблюдать делающееся в МВ; его вырезали автогеном вместе с частью шасси, поставили в середине крыши.

Первые минуты Валерьян Вениаминович ходил по площадке, как по кабинету, ничего не замечая: приводил мысли в порядок. Вся история с изобретением Панкратова настолько быстро и слитно прошла перед его глазами, что он в самом деле почувствовал себя наблюдающим — наверху, в кабине ГиМ — слитный интеллектуально-эмоционально-вещественный процесс на какой-то планете. В этом процессе несущественно было наличие определенного специалиста — с фамилией, внешностью, беременной женой, обидой на главного инженера, как несущественно было конкретное воплощение оборонных опасений в полковнике-инженере Волкове, а административного начала в директоре по фамилии Пец. Все могло быть не так — и не только в деталях, а вообще у завросапиенсов или мыслящих крабов. Главным было утверждение себя — новой мыслью, ревностным исполнением служебного долга, т. п.; а еще более главным — что не м о г л а не реализоваться созревшая идея-возможность: сначала в изобретение, а затем, влекомая жаждой выгод и опасениями утрат, и в различные преобразующие мир действия. «И ведь в сторону р ы х л е н и я опять-таки преобразующие, рыхления и образования пустот — мирные или военные применения, все равно. Действительно заложено это в нас, выходит?»

Ладно. Валерьян Вениаминович вспомнил, что поднялся сюда не для отвлеченных размышлений. Сел в пилотское кресло, разложил на коленях графики Иерихонского, приготовился работать. В ядре Шара тускнело фиолетовое зарево «мерцаний».

«Итак, эта заблудившаяся Метапульсация в 17.10—17.15 выпятится в барьер на северо-западе. Вон там. Может сместить и нижние слои Шара — а этого допустить нельзя, в них башня. Хрупнет она, как сухая палка, несмотря на стометровую толщину и три слоя — для НПВ все равно: что бетон, что картон. Стало быть, в момент этих родовых схваток материи надо бы перетянуть сеть в противоположную сторону, на юго-восток. Или заранее?.. Нет, это нельзя, сами башню сломаем. А в каком состоянии сеть в месте выпячивания?» Справился по снимкам: с дырами. «Значит, первую заплату туда. А выдержат ли канаты, они и так натянуты струнами?.. Нет, держать и не пущать — это не то. Не лучше ли другой вариант, гибкий — сыграть с Метапульсацией в поддавки? Перед ее выпячиванием осторожно поднять сети и Шар над башней аэростатами. Метров на пятьсот... на высоту башни то есть. Пусть Шар побесится в высоте. А потом опустить. Ох, нет, это сложно: надо дополнительные аэростаты, чтобы поднимать ровно, не свалить башню, надо одну сеть перевести под него... а то ведь выскочит заволновавшийся Шарик и тю-тю. Не управимся в три нулевых часа».

«Постой...— Он всмотрелся в графики: ломаные кривые в опасном месте подходили к краю не одним выбросом, целой серией.— Плохо дело. Тут с одной Метапульсацией не придумаешь, как управиться, а с каскадом их... Ведь это космические вздохи-всплески: чуть слабее дунет — ничего не произойдет, чуть сильнее — гнилыми нитками лопнут канаты, рассыплется башня. И Шар тю-тю... А расчет Иерихонского весьма приблизителен».

...И снова лик Вечной Бесконечности посветил на крышу, на сидевшего там человека сизо-голубым овалом Вселенского шторма с яркими бело-синими вкраплениями. Валерьян Вениаминович откинул голову к спинке кресла, поглядел, смежил глаза, улыбнулся устало и грустно. Ему не надо было смотреть — помнил:

— Первоначальный туман разделяется на рябь вытянутых всплесков-струй; в них завиваются вихревыми светящимися кляксами с рваными краями протогалактические воронки:

— от усиливающегося незримого напора времени-действия ядро вихря бурлит протозвездами; затем и они разделяются на ядро-звезду и рукава протопланетного газа;

— кадр-год, кадр-год — и рукава стягиваются, сгущаются в пульсирующие лохматые горячие тела; они стынут-тускнеют-уплотняются, высасывают из окрестного пространства первичный туман и рои метеоров; на немногих планетах отделяется твердь от вод, воды от атмосферы, формируются материки и острова...

...и все это Процесс Разделения.

Затем перевал через максимум напора струй и — под горку — Процесс Смешения. Красивое и яркое возвращение в Ничто.

«Боже мой,— думал Пец,— сейчас там возникают мириады существ, любящих более всего свою жизнь и оценивающих все с этой позиции. В миллионах точек пустоты теплится и разгорается разум — охватывает мыслью больше пространства, чем можно увидеть, больше времен и событий, чем можно прожить, больше возможностей, чем удастся реализовать. Что это, зачем? Возникают и рушатся цивилизации, миры, созвездия меняют свой вид... А я, туземный вождь мелкой шараги на третьеразрядной планетке, сижу и рассматриваю все с ничтожнейшей точки зрения: как бы от этих процессов не лопнула сеть и канаты».

Валерьян Вениаминович вдруг понял, что ему стыдно; даже погорячели щеки. Свечение Метапульсации накалилось и стало никать.

«Почему стыдно-то? От двойственности? Раздираюсь между великим и смешным, как корова на льду... Да нет же, все не так! От одного только представления обилия миров — мерцающих точек в МВ, эпох, цивилизаций существ, которые снуют-живут-плодятся-радуются-ужасаются-находят-теряют-познают-забывают и так далее... уже ясно, что не может быть это ничем иным, кроме как заблуждением. Мы — разумные подробности неразумных процессов, Корнев прав. Под видом одного — другое. Но тогда — мои заботы и действия тоже заблуждение? Какое же я вынашиваю «другое» под видом «одного»? А простое, почтенный Вэ-Вэ: сохранить от разрушений вверенную тебе шарагу — откуда может хлынуть поток новых знаний, который взрыхлит, завьюжит и, в конечном счете, разрушит мир. Поняв первичную суть стремлений, ты все равно следуешь иллюзорнейшему из них: чтоб было хорошо. Счастье, порядочек и лафа. Заблудшим простительно, знающему стыдно».

Он сложил бумаги, поднялся, спустился в коридор — и направился прямо к лифту, не зайдя в лабораторию МВ, не сообщив ее деятелям ничего. «Успею».

III

В приемной по-прежнему было пусто, только дверь корневского кабинета приоткрыта; оттуда доносились голоса. Директор узнал тенорок референта (он все так именовал по старой привычке своего зама Валю, хотел проследовать дальше, но услышал слова: «Пец будет против» — и задержался у тамбура. Интересно стало, против чего это он будет против.

— Да почему против? — басовито возразил другой голос.

(Иерихонский, узнал директор).— Ты в курсе всех дел и будешь вполне на месте, какого рожна ему надо!

«Действительно»,— подумал Пец.

— А вот будет — и все, я точно чую,— снова мелодично отозвался референт.— Вроде и конфликтовали с ним, и все делаю... а не по душе я ему, и все.

«Разве? — мысленно усомнился директор.— А вообще говоря...»

— Ну, Валя, по душе, не по душе — это, знаешь, из области тонкой химической психологии. Так кадровая политика не делается. Я считаю, что у тебя все шансы. Ты Корнева чаще других — особенно последнее время — заменял? Заменял. Справлялся? Вполне. Без тебя и Хрыч зашился бы, как миленький... Имеешь ученую степень, стаж, труды, партийность. Нет, я уверен, что место главного за тобой, только не теряйся. А на Хрыча, если станет ерепениться, и нажать можно. Слишком уж мы на него и Сашеньку молились. Да и не станет он... ну, поершится немного, а потом махнет рукой. Он же не от мира сего.

«Хрыч — это я,— понял Валерьян Вениаминыч.— Вэ-Вэ, папа Пец, Хрыч... У меня кличек не меньше, чем у коммунальной дворняжки!»

— Ты потише,— приглушил голос референт,— его кабинет напротив.

— Нет его там, я заглядывал. И смотри, что получается,— увлеченно басил Иерихонский.— Ты — на вакансию главного. На твое место нашу зверь-бабу Малюту Скуратовну. Уж кто-то, а она в оргвопросах и координации собаку съела — так?

— Ага, а на ее место — тебя? Понял. А я думаю, чего это Шурик заботится о продвижении начальства!

— Нет, а что же!

Оба рассмеялись.

Валерьян Вениаминович тихо прикрыл двери, направился к себе. На душе стало тускло. Не было космического отчаяния Корнева — освободившаяся вакансия. Люди-волны: родиться, выдвинуться и умереть. Мчат по времени мириады таких волн-жизней — из века в век, из мира в мир. Ничего впереди, ничего позади. Не время пожирает своих детей, они сами — друг друга.

Он сел к столу, глянул на табло времен: 28.40 эпицентра, 14.20 Земли. Прогулял он всего ничего. Однако пора решать, принимать меры, давать команды — начинать аврал. Спасать башню. А потом восстанавливать повреждения. А потом... потом будет еще один бесконечный год. И... и Пец почувствовал вдруг такую свинцовую усталость, будто все недоспанное, все сделанное через силу, все нерешенное и недодуманное — как в минувший год, так и в предстоящие — навалилось на него.

Решение пришло — как озарило. В нем сложились усталость

и гибель Корнева, их последний разговор и растерянность в мыслях, наблюдение «наркоманов МВ» наверху, оружие полковника Волкова и даже подслушанный сейчас диалог. Оно было настолько простым, что не могло не быть гениальным.

Ничего не надо делать.

«Пусть Шар отрывается. Пусть тю-тю. Туда и дорога. Не нужно это сверхзнание о мире и самих себе. Если оно растоптало Корнева, сильного и умного парня, если оно меняет психику тем наверху — тоже не слабакам! — то что оно натворит в мире обычных людей, таких вот Валей Синиц и Шуриков Иерихонских? Не нужны эти откровения МВ, настолько не нужны, что впору самому рубить канаты, а не хлопотать, чтобы они не оборвались. Пусть даже разрушится что-то и кто-то погибнет — это ничто в сравнении с крушением мира представлений людей. Ничего, что он иллюзорен. Общая суть этих иллюзий та, что, добиваясь «своего», мы исполняем закон природы — величественный, космического масштаба. А раскрыть людям глаза... да это все равно что показать ребенку, каким он будет стариком и как помрет. Так калечат психику. В том-то и дело, что нормальное протекание общепланетного процесса смешения — сиречь «цивилизации» — необходимо включает наши заблуждения, наше непонимание его. Вот и пусть все развивается нормально.

Главное, как хорошо совпало: знаю о возможной беде от Метапульсаций только я. Мог и не знать. Иерихонский? Он решил задачу — и все, далее озабочен карьерой... Ах-ах, как это вы допустили, товарищ Страшнов. В следующий раз учтем. В следующий раз, ха! Ищи-свищи... Можно даже соврать, что это Корнев своим шальным рывком нарушил шаткое равновесие в ядре Шара, вот и... Или напротив, что он героическими действиями пытался предотвратить и погиб? Поди проверь... Э, да не буду я врать! Или буду — для успокоения умов. Раз уж все иллюзорно. Восприятие веревки как змеи столь же ложно, как и восприятие веревки как веревки».

Так. Но это потом. А сейчас надо очищать башню и зону. Понапрасну губить людей нельзя».

Валерьян Вениаминович почувствовал такую жажду деятельности, что даже потер руки. Набрал код лаборатории МВ:

— Вызываю Бурова. Любарскому присутствовать.

На экране тотчас возникли оба.

— Виктор Федорович,— объявил директор,— назначаю вас исполняющим обязанности главного инженера Института. Пока временно. А там посмотрим.

Лицо Бурова не дрогнуло, только сразу как-то подтянулось и отвердело. Любарский глянул на него доброжелательно, всеми морщинами выражая, что одобряет выбор и поздравляет.

— Приказ издадим завтра,— продолжал Пец,— но к исполне-

нию обязанностей вам лучше приступить немедленно. После вчерашей катастрофы нас справедливо упрекают в плохой организации техники безопасности. С этим, и верно, запустили, давайте подтягивать. Тем более что день все равно кувырком.

— Согласен, Валерьян Вениаминович, слушаю.

И голос у Вити стал гуще, тверже.

— Я сейчас объявлю учебную тревогу с эвакуацией всех помещений. Вы отвечаете за верхнюю часть башни — от крыши по десятый уровень. Ваша задача: проверить, все ли покинули помещения, в каком состоянии оставили — вырублен ли ток, перекрыли ли краны, газ... ну, не мне вам объяснять. Неполадки и виновных записывайте. В помощники можете взять Панкратова или Анатолия Андреевича — на ваше усмотрение. До 37.00 эпицентра наверху должно быть чисто.

— Ясно. А низ?

— Низ я беру на себя. Там и встретимся.

— Но... поскольку мероприятие учебное,— вмешался Любарский,— я хотел бы остаться, не прерывать...

— Смешной разговор, Варфоломей Дормидонтович,— отчеканил Буров, повернув к нему лицо,— это же приказ.

Пец отключился. Наверху дело было на мази. Секунду он колебался: зайти в кабинет напротив или связаться? По телесвязи врать было сподручней. Набрал код. В кабинете Корнева сидели те же двое.

— Валентин Осипович, вы назначаетесь исполняющим обязанности главного инженера Института. (Валя встал, лицо его на миг стало растерянно-глуповатым, но тут же подтянулось и отвердело. Иерихонский выпрямился в кресле, выразил на физиономии удовлетворение происшедшим.) Пока временно. А там посмотрим...— И далее Валерьян Вениаминович, не утомляя себя разнообразием, повторил Синице слово в слово то же, что и Бурову, только ответственность на него возложил за низ баши и зону.— До 33.00 эпицентра ниже десятого уровня не должно остаться ни одного человека.

— Ясно, Валерьян Вениаминович, принято. А верх?

— Верх я беру на себя,— и Пец отключился.

«Кого бы еще назначить главным инженером? Впрочем, хватит и этих двоих. В том состоянии, в кое я их ввел (как это я удачно сказал: временно, а там посмотрим), люди проявляют чудеса усердия. Так, теперь общий аврал».

Он нажал зеленую кнопку общей связи. Сейчас его лицо под звуки сигнала внимания (удары гонга) повторилось на экранах в сотнях комнат, залов и вестибюлей башни.

— Внимание всем! — сказал директор.— Объявляю учебную тревогу, проверочную эвакуацию помещений Института. Приказы-

ваю прекратить все работы, кроме обеспечения внутреннего транспорта и связи. Контрольно-пропускной группе прекратить впуск людей и машин в зону. Диспетчерам — свернуть погрузо-разгрузочные работы, перекрыть впуск машин на спирали, очистить зону. Всем сотрудникам, за исключением служб низа, не позже 33.00 эпицентра или 16.00 Земли приказываю покинуть башню и зону. Ночная смена отменяется. Начало работы завтра в 8.00 Земли. Ответственность за эвакуацию сотрудников и соблюдение порядка возлагаю на моих заместителей Бурова и Синицу, а также на всех начальников отделов, лабораторий, мастерских и на старших групп. Связь с дирекцией с этого момента прекращается.

Но он не успел прекратить связь: вспыхнула лампочка экстренного вызова, на экране показался Петренко:

— А нам как быть, Валерьян Вениаминович?

«Да, в самом деле...»

— Где вы расположились со сборкой сети?

— Заняли вертолетное поле и площадку автостоянки.

— Так... («Это вне зоны, их не тронет? Все-таки оттесним еще подальше».) Ближнюю часть вертодрома не занимайте, аппаратам тоже надо где-то стоять. Расчистьте себе участок за ним — и действуйте. На вас приказ не распространяется. Как дела?

— Дотемна управимся с тремя самыми крупными заплатами.

— Дотемна? Нет, медленно. Хорошо бы их засветло накинуть на сеть. Отберите среди покидающих сейчас Шар десятка два мастеров, подключите их. Оплата аккордно.

— Слушаюсь.

Экран погас.

«Вот теперь никакой суд меня не тронет — полное алиби. Даже скажут: как чувствовал папа Пец (он же Вэ-Вэ и Хрыч), обо всем распорядился, форсировал. Но... не успели. Кто ж знал! Еще и поблагодарят за учебную эвакуацию».

Валерьян Вениаминович выдернул кабель телеинвертера, сложил по привычке бумаги в стол, вышел, запер дверь. Заглянул в кабинет Корнева (поймав себя на том, что все именует его так) — там было пусто. Запер и приемную, направился в координатор. Там находился Иерихонский и два оператора. Выдворил их: «Исполняйте приказ, я сам все выключу». Поставил стул в экранном зале — как всегда, спинкой вперед — сел, упершись подбородком в кулаки, и смотрел, как на экранной стене, в пирамиде осевой башни, развертках среднего и внешнего слоев и подвижного кольца расширялись и стекали вниз пятна темноты: гасли экраны. У Бурова из-за ускоренности времени дело шло спорее, чем у Синицы.

Гасли экраны — пятна интенсивности.

«Сейчас на меня работает весь отлаженный механизм иллюзорных чувств: исполнительности, ответственности, опаски, честолю-

бия... а у многих и просто стремление посачковать, школярское «Ура, учитель болен!». Давай, выручай себя, реальность пены, реальность поверхностного кипения и мелких связей — та, которую писатели-реалисты именуют «жизнь как она есть». Что они знают о Жизни и Какая Она Есть! И не будут знать И не надо.

...Ведь сказано: не вкушай от древа познания добра и зла, человече. Не лезь на него. Живи, радуясь приятному, избегая неприятного, делай добро, если можешь, борись со злом, если в силах,— но не вникай в эти категории. Не исследуй природу своих чувств. Ведь это все равно как разобрать себя на части. Разобрать разберешь — а кто соберет?

Так нет, вникает: почему то, почему се? Бескорыстно, из любопытства. Кое-что узнает. А потом человеческая натура, замешанная на добре и зле, вреде и пользе, выгодах и убытках, радости и горе, приятном и неприятном, берет свое. И из бескорыстных знаний дискретных основ материи возникает атомная бомба, Хиросима, Чернобыль. Из знания, почему светят звезды,— термоядерное оружие. Из законов тяготения и небесной механики — ракеты с начинкой... Все возвращается на круги своя, к пещерной морали; не приближается к запретному древу изгнанный из рая человек, только мотается вокруг все быстрее, энергичней: на автомашинах, поездах, самолетах, ракетах... И кажется ему, будто так и надо.

...Получается так: от каждого малого, ничтожного семечка истинного знания, которое попадает на нашу почву (активность стремящейся к благоденствию протоплазмы), вырастает не то что дерево, а целый сыр-бор псевдознаний о том, как его употребить в своих целях. Это псевдознание — Книга о Вкусной и Здоровой Пище, помноженная на все отрасли деятельности,— для людей наиболее ценно.

И у нас здесь начиналось так. Выросло древо — сто метров в обхвате, полкилометра высоты — да еще «ветви» в виде аэростатов, кабины, электродов. Но в сочетании с Шаром оно оказалось (не по нашему хотению), так сказать, бетонным баобабом познания — мощным и изобильным, какой и не мнился тому еврейскому богу. Сколько ни приноравливай узнанное здесь под выгоды, сколько ни извлекай их, все равно беспощадных истин о мире оказывается несравнимо больше. Настолько больше, что человеческая натура этого вынести не может. (Корнев тогда толковал: человек существует в узком диапазоне температур, умеренных давлений, ускорений, излучений... теперь могу добавить: и при очень малой концентрации подлинного Знания.)

А раз так, то мы это дерево тюк под корень — и свалим. И все будет по-прежнему: плодитесь, размножайтесь и заселяйте Землю... а там уж что Бог-вселенная даст».

Странно: приняв час назад решение, Валерьян Вениаминович

почувствовал себя легко, уверенно, освобожденно. А сейчас поймал себя на том, что вроде как оправдывается.

А тут еще в динамике общей связи прервался метрономный стук — и на притихший зал полились шипения и рокот возникающих галактик, комариный звон танцующих созвездий, чистые звуки ввинчивающихся в пространство по спиралям планет... Не иначе как Буров проявил самостоятельность на новом посту, дал команду транслировать «музыку сфер». Она напомнила Пецу о том, о чем сейчас вспоминать не стоило.

«А ведь если всерьез, то именно Бурова и надо бы ставить главным,— рассеянно подумал он о том, о чем думать теперь не имело смысла.— Любарский стар и узок, Васюк слабохарактерен, Мендельзон силен только в критике. А этот молод, талантлив и развился — здесь, в НПВ, в институте — как личность. Какие у него гордые планы сейчас в голове роятся, какие устремления... бог мой! Как это в Гите: «Тщетны надежды, тщетны дела неразумных, их знания тщетны!..» Никто не знает будущего, никто».

Гасли на стене экраны. Величественный шум Меняющейся Вселенной звучал как реквием башне, реквием порывам дел и мыслей людей, их взлетам и низвержениям.

Валерьян Вениаминович поднялся, решив не ждать, пока погаснет стена. «Правило: капитан покидает корабль последним — вряд ли относится к капитанам, которые губят свой корабль». Он вышел из зала, направился вниз.

ГЛАВА 28

«И ТЫ — НАД ТЕМ!»

особенность человека

> Впереди стада идет круторогий баран с колокольчиком. Овцы уверены, что он знает, куда их ведет. А баран всего лишь желает быть впереди: непыльно и хороший выбор травы.
> *К. Прутков-инженер. Мысль № 211*

I

«Главное, делать ничего не надо,— с тайным удовлетворением думал Пец, опускаясь лифтами к основанию башни.— Красться под покровом тьмы к причальным лебедкам, перепиливать канаты или закладывать взрывчатку — это я не смог бы, устарел. Было время, рвал мосты, пускал немецкие эшелоны под откос... но силы

не те, умонастроение не то. А так — пусть делается само. Я погублю свое учреждение по высшему бюрократическому классу, посредством попустительства и ничегонеделания...»

Внизу народ валил к проходным сплошным потоком. Тех, кто обращался с вопросами и заботами, Валерьян Вениаминович отшивал стереотипно: «Завтра, на сегодня все, эвакуация есть эвакуация». Но желающих уточнить обстановку было немного: у всех в памяти хранились вчерашняя вспышка и сегодняшние похороны.

Напоследок директор обошел владенья свои. Кольцевая площадка эпицентра была, как обычно, заполнена механизмами, автомобилями, приборными контейнерами, саженными катушками кабелей. Но на спиральную дорогу уже не въезжали. Одна за другой застывали стрелы кранов. В зоне еще работали человек двадцать. Да в башне, в нижних этажах, прикинул Пец, человек десять энергетиков и обслуги, да охрана — всего с полсотни наберется. Ну, эти эвакуируются легко, когда начнется, ноги сами унесут. «Ч т о начнется? — спросил он себя.— Как это будет выглядеть? Волны неоднородности, идущие сверху, сильные колебания засосанного в Шар воздуха... словом, весело будет. Самум, тайфун и землетрясение».

Лавируя между машинами и ящиками, Валерьян Вениаминович выбрался к краю зоны. У ограды на бетонном фундаменте стояла лебедка. От ее барабана уходили вверх сплетенные вместе канаты: металлический, для заземления сети, и капроновый — из тех, что удержат работающий всеми движителями океанский лайнер. Рядом прохаживался охранник в черной форме и с карабином. Увидев директора, он встал смирно, назвался, доложил, что на вверенном ему посту все в порядке. Пец осмотрел канат: пожалуй, выдержит. Тогда, вероятно, вырвет лебедку вместе с фундаментом?.. Скорее всего, еще до этого порвутся сети.

Молодцеватый блондин-охранник с таким уважением смотрел на Пеца, что тому захотелось сделать что-то приятное и ему. «Не назначить ли его с завтрашнего числа начальником охранотряда?» Но Валерьян Вениаминович вовремя понял, что это провор-резвунчик толкает его на выходку, удалился молча.

У проходной «П, Р, С» его ждал озабоченный Буров. Он сообщил об осечке: в хозяйство Волкова его не пустили, поскольку право входа туда имели только директор и главный инженер по спецпропускам, а у него такого еще нет. Он связался с Волковым по телесвязи, потребовал выполнить распоряжения дирекции...

— ...а он, понимаете ли, ни в какую: они не могут прервать испытания, да и с техникой безопасности, говорит, у нас порядок.

— Ага...— Пец заколебался. «Они в середине башни, от десятого до двадцатого уровня. Успеют удрать?.. Ой, вряд ли! Эй, если ведешь крупную игру, не думай о пешках. На войне как на войне. Предупредили их, что еще? Нет, нельзя».

Вместе с Буровым он вошел в комнату табельщиков, вызвал по инвертеру Волкова. Тот возник на экране, заговорил первым:

— Товарищ Пец, о таких вещах нас следует предупреждать заранее. Мы не можем прервать испытания, это ведь испытания на время непрерывной работы — именно! Если остановить, весь комплект устройств надо выбрасывать, ставить новые. А это миллионы и миллионы. И потом, вы ведь знаете: у нас за все время ни одного случая, ни одного ЧП.

— Дело не только в технике безопасности...— Пец, желая поладить миром, попытался даже вспомнить имя-отчество полковника, но не вспомнил,— товарищ Волков. Вы лучше меня знаете, что в армии о подъемах по тревоге заранее не предупреждают. Так и здесь. Не ставьте себя государством в государстве, выполняйте приказ!

— Я никем себя на ставлю, но ваш приказ выполнить не могу, поскольку он противоречит приказу моего начальства: срочно провести испытания. Снеситесь... вы знаете с кем, добейтесь отмены.

В упорстве, с каким это было сказано, Валерьян Вениаминович легко уловил подтекст: не заставишь, и про то оружие докладную напишу!

— Хорошо. А какие вам даны приказы на случай опасности?

— Какой еще опасности?

— Такой, когда можно и машины, и головы потерять. Скажем, землетрясение в семь баллов? — Пецу все-таки не хотелось говорить прямо.

— Что-то я не слышал о присоединении Катагани к сейсмической зоне,— быстро отпарировал Волков.— Во всяком случае, будем вести себя, как там: нет землетрясений — работают, есть — спасаются. Вот так!

— Так вот,— симметрично отозвался Пец; он сознавал, что отправляет себя на скамью подсудимых, и тем не менее сказал все весомо и четко: — Мы ожидаем сегодня, в 17 часов с минутами, нечто вроде землетрясения, только придет оно сверху, из ядра Шара. Какие формы оно примет, неясно, но возможны и самые катастрофические. Поэтому... и учтите, наш разговор записывается на пленку! — к пяти часам будьте настороже — и при первых признаках опасности... она проявит себя изменениями неоднородности, почувствуете — все вниз. И не рассчитывайте заработать медаль «За отвагу», полковник. И медали не будет, и головы.

Он отключил инвертер, вышел с Буровым наружу.

— Что-то вы его слишком натурально стращали, Валерьян Вениаминович,— заметил тот,— не понарошке.

— Так ведь геройские люди, их иначе не урезонишь,— ответил Пец, направляясь за проходные, в сторону вертодрома. Он был взбудоражен разговорами и очень хотел остаться один, успокоиться;

и вообще — чтобы все поскорее кончилось.— Ну, Витя, на сегодня все, отправляйтесь домой, отдыхайте, набирайтесь сил, завтра будет трудный день. («Завтра не будет трудного дня, вообще больше не будет трудных дней».)

— Нет, я хотел бы остаться,— заявил Буров.— Надо же кому-то из... из руководителей находиться здесь, присматривать.

«А оставь его, он тотчас утянется наверх. Вот еще морока!..»

— Не согласен, эвакуация есть эвакуация,— сказал директор.— Для поддержания порядка здесь достаточно комендантской команды. Но раз вы настроены работать, поедем вместе в город, обсудим по дороге проблемы дальнейших исследований.— Он не глядя почувствовал, как приободрился, даже просиял Буров, и вознегодовал, что снова и снова приходится врать. «Мир заблуждений, спасаемый ложью,— что ж, это естественно. Я за эти часы навру больше, чем за все время работы в Шаре».— Только сейчас помолчим, хорошо?

И зашагал по тротуару вдоль ограды, будто спешил. Врал и этим, озабоченной спешащей походкой. Куда теперь было спешить!

Поток машин на кольце иссякал. Люди разъезжались, расходились. Бетонный склон башенного холма за оградой светил внешними огнями, с высотой меняющими цвет от желтого до белого и голубого. Шар нахлобучивался на башню-гору грозовым облаком. «Красивую махину сгрохали,— прощально думал Валерьян Вениаминович.— Доказали, что можно жить и работать в НПВ — и еще как! Могли и больше развернуться, да только черт догадал там оказаться этой МВ? Зачем человеку Вселенная, да еще Меняющаяся!.. И, конечно, исключительной сволочью выглядит директор, который отдает на уничтожение такой уникальный Институт. Просто вредитель... Ну, суд так суд. Не боюсь. Что могут мне сделать в сравнении с тем, что уже сделалось?»

Виктор Федорович посматривал на директора — растерянно спешащего, о чем-то напряженно думающего (с подергиванием плечами, с жестами, с гримасами наклоненного вниз лица),— с недоумением. Таким он его еще не видел.

— Валерьян Вениаминович,— сказал он,— а ведь это и в самом деле может быть. То, чем вы Волкова пугали. От метания Метапульсаций, очень просто. А?

— Что? А!.. Ну, почему же... но почему бы и нет! Витя, я же вас просил!

«Ох, что-то темнит Хрыч!»

А Пец сейчас ненавидел не только себя, но и настырного Бурова. «Вот навязался!» Он глянул на часы: 16.15. Оставался час.

Впереди стояли вертолеты с устало обвисшими лопастями. На дальней части вертодрома трудились люди: наклонялись, перебирали руками. Коротко вспыхивали огоньки электросварок. Сеть собирают, понял Пец. Или заплаты?

Оттуда к директору двигался широким шагом Петренко, на лице его выражалась готовность доложить. Но Валерьян Вениаминович взмахами рук остановил его, направил обратно на поле, сам поворотил назад. Он уже боялся новых встреч.

II

Однако у проходной, когда они вернулись, его ждала еще одна встреча: возле директорской «Волги» маячила знакомая долговязая фигура — Юрий Зискинд, загорелый и худой.

— Я к вам, Валерьян Вениаминович,— сказал он грустно.— Только час, как вернулся в Катагань...

— Рад вас видеть, Юра! — возбужденно (сам не понимая, почему его так будоражит встреча с уволившимся полгода назад — страшно давно! — архитектором) сказал Пец, пожал ему руку.

— ...и узнал об Александре Ивановиче, о Саше...— Голос архитектора дрогнул.

— Ну-ну...— Валерьян Вениаминович похлопал его по плечу.— Не надо слов, Юра, не надо лишних эмоций. Он жил красиво и умер красиво. Садитесь с нами, едем в город.

В его словах и жестах была избыточная суетливость.

Они сели в «Волгу»: Буров впереди, Пец и Зискинд сзади.

— В моем Киеве говорят: умрите вы сегодня, а я завтра,— так же невесело молвил Юрий Акимович.— Полагаю, это относится и к умирающим красиво. Я ему говорил, что это занятие не для него.

Валерьян Вениаминович скосил на архитектора глаза: оказывается, понимает. Ну да, он еще тогда понял, поэтому и дал ходу. Оно было не для него, это Большое Знание о мире. И не для Александра Ивановича, он прав. И не для него, Пеца. Они вообще не для людей, эти беспощадные истины Вечной Бесконечности о подлинных причинах нашего бытия, о напоре порождающего и сжигающего нас времени. Надо подняться над всем человеческим, чтобы согласиться с первичным смыслом наших чувств и возникающих от них дел: простые преобразования пены веществ в растекании потока времени. Мы не н а д этим, мы одно с этим: с планетой своей, с деревьями и животными, с воздухом и водой... И наши полуживотные (или на три четверти животные, или на 99% — а то и на все сто) представления нам дороги. Отнять их — отнять все, что у нас есть. «А посему,— Пец оглянулся: темная громада Шара с серой копной башни удалялась в рамке заднего стекла,— захлопнись, Книга Бытия! Может, ты и не вся там — но все равно в гораздо большем объеме, чем человеку надо прочесть для счастья. Ныне отпущаеши...»

— Да. Это занятие теперь для другого,— сказал он, чтобы поддержать разговор,— вот для Виктора Федоровича, которого проектируем на должность главного. Прошу любить и жаловать.

— Что ж, дай бог...— отозвался Зискинд.

— ...нашему теляти волка съесть,— задорно повернулся к нему Буров,— как говорят в вашем славном Киеве. Это у вас было на уме, Юрий Акимович?

Нет, почему же? Поздравляю.

Зискинда отделяют от факта смерти Корнева часы, подумал директор, Бурова — многие дни; вот и разница настроений.

— Знаете, Юрий Акимович,— продолжал Буров,— я не раз поминал вас вот в каком плане: если не считать кольца-лифта, то слишком уж вы стационарно спроектировали башню. На века. А зачем ей на века? Стены держат, перекрытия держат, а морально устарела. Настолько устарела, что хоть под снос... да строить на ее месте тот же ваш Шаргород. Он гибче, перспективнее. Не запроектировали вы какой-нибудь слабины в фундаменте, а?

— Не-ет! — архитектор с живым вниманием глядел на Бурова.

— Жаль. Иной раз думаешь даже,— Виктор Федорович смотрел на Пеца с каким-то ожиданием,— а хорошо бы с ней что-то случилось?..

Валерьян Вениаминович не поднял на него глаза, напрягся: «Понял — или так спросил?..»

Машина ехала окраинными кварталами города.

— Одобряю ваш выбор, Валерьян Вениаминович,— сказал Зискинд.— Из Вити будет главный: свежий взгляд, прогрессивные идеи.

— Да-да,— рассеянно сказал Пец,— да-да...

Он наконец понял, почему его неприятно взбудоражила встреча с Зискиндом. Зискинд — это было напоминание об ошибке. Даже не так, нет... отклонение проекта Шаргорода не было ошибкой т о г д а. Но теперь, когда больше прожито, узнано и произошло, Валерьян Вениаминович вдруг увидел, что мог быть иной, куда более благополучный путь познания МВ, и путь этот начинался — и сейчас мог начаться! — с Шаргорода.

...Тогда их ошарашила сама идея о возможном выращивании в Шаре «НПВ-людей» — внедряющихся все выше и глубже в быстрой смене поколений, накоплении специфичного, не как в однородном земном мире, опыта жизни и исследований, обгоняющих нас по интеллектуальному и духовному развитию. Хоть идею эту на основе проекта развил Корнев, а Зискинд только согласился с ней, но инстинктивно все — и он, Пец — отнеслись к ней с отвращением, как к предложению плодить в Шаре ублюдков. Конечно же, ублюдки, раз будут отличаться от замечательных нас!

«Не поняли, объявили проект преждевременным. А может, все

не так: преждевременен наш рывок в МВ, к меняющимся мирам? Надеялись разрешить все проблемы познания инженерной смекалкой, лабораторными способами. А самая-то проблема оказалась по эту сторону окуляров, кнопок и клавиш автомата ГиМ — в нас самих, людях из однородного мира... да если уж совсем прямо, только-только из пещеры. Десяток тысячелетий нашей эволюции (штаны — и те носим лишь вторую тысячу лет) для Меняющейся Вселенной — тьфу, полторы минуты в режиме «кадр-год». И — резкий мучительный скачок знаний. В таком как не сломить себе шею!.. А вот если бы к Меняющейся Вселенной в Шаре приблизились люди третьего или четвертого поколения Шаргорода, для которых мир НПВ был родным, а люди седьмого-восьмого поколения создали систему ГиМ, которую только к десятому-двенадцатому поколению довели до совершенства в наблюдениях — то, во-первых, они провели бы эти исследования куда более толково и полно, а во-вторых, куда спокойнее восприняли бы и быстро меняющееся небо над их меняющимся миром, и зримую конечность миров. Потому что по-настоящему добротен не технический и не теоретический процесс познания мира, а — и н т е л л е к т у а л ь н о-с о ц и а л ь н ы й. Когда множество людей понимает что к чему. И лучше, ежели во многих поколениях.

...Вот эти многие поколения, быстрота их смены нас более всего и испугала: как с ними быть?.. А почему бы не доверить им самим их будущее? Что мы за умники такие — за всех наперед решать?

...И я тогда высказался: мол, вот если бы было у нас два Шара, то один можно отдать под проект Зискинда,— в полной уверенности, что второго не будет. А что ты споешь теперь, папа Пец, после изобретения Миши Пакратова, которое позволит выделить из нашего Шара и второй, и третий, и десятый — в объемах, может, и не вселенских, но вполне громадных?.. То есть, выходит, э т о т путь не упущен?!»

От последней мысли Пеца заколыхало, начало кидать, как щепку в прибое, волнение мысли; неоднородное пространство-время, которое частенько перечеркивало их новые удачные решения еще более новыми и более удачными, настигло его и вне Шара.

«...да нет, все равно, опять надежда на техническое решение!»

«...да нет же, не техническое оно: воспитание людей, соответствующих Большому Знанию!»

«...да все равно, что гадать, сам в заблуждении: решаю проблемы Института, которого через полчаса не станет!»

«...а какой стихийный процесс исполняю я сам своими действиями, решениями, сомнениями? А? Уф-ф...»

— Так что, Юра,— насильно заставляя себя отвлечься, обратился директор к Зискинду благодушным тоном, положил руку ему на колено,— как живете-можете? Где обретаетесь?

— Как могу, так и живу,— ответил тот.— Обретаюсь в крайисполкоме заместителем главного архитектора. Учитывая, что ему остались месяцы до ухода на пенсию, фактически уже главный.

— Да-да,— сказал Пец,— вы будете великолепным главным архитектором.

Шофер замедлил машину перед развилком, обернулся:

— Вас домой, Валерьян Вениаминович?

— Нет... нет-нет. Отвезите нас к парку, на набережную. Мы так погуляем, поговорим.

Они вышли из машины на высоком берегу Катагани, одетом в противооползневые террасы и нарядные лестницы. Неподалеку шла аллея, по которой шагали они победителями: Пец, Корнев, Буров, Дормидонтыч, Васюк, Ястребов — смеялись, горланили песни. С тех пор минуло три месяца Земли, годы усредненного времени башни — жизнь.

Выходя, Валерьян Вениаминович взглянул на часы: 16.40 — и подосадовал медленному течению времени.

— Мне в гараж, Валерьян Вениаминович? — спросил шофер.

— М-м... (Отпустить машину значило оборвать последнюю ниточку. Любоваться Шаром отсюда, чтобы там ни случилось. «Но... может, кого-то придется спасать? Потружусь последний денек. А там само НПВ меня уволит. И буду чувствовать себя легко и свободно... даже в тюрьме. Ныне отпущаеши...») Нет, вы подождите нас, пожалуйста, здесь. Мы погуляем, побеседуем, потом вы развезете нас по домам.

Сказав это, Пец почувствовал на себе удивленные взгляды всех троих — и сам понял, насколько измельчал, сничтожился за этот час вранья. «Нет, ждите»,— говорил обычно он, уверенный в своей правоте и власти руководитель.

Они не спеша двинулись по аллее. Отсюда открывался вид на три стороны: на жилмассив Заречный — нагромождение одинаково освещаемых солнцем, но по-разному поставленных параллепипедов с матричной сыпью окон, на поселок Ширму с белыми домиками среди садов и на волнистую степь за ними; и на Шар с башней на ровном поле, вольно ограниченном излучиной реки. Солнце склонялось к закату — и странен, противоестественен был среди всех освещенных им предметов и пейзажей этот висящий в ясном небе сгусток голубоватой тьмы, не отражающий света. Лишь ограду зоны и низ башни золотили солнечные лучи.

В парке было людно. С набережной любовались видами гуляющие. Служилый люд и командировочные шагали к административным зданиям от остановок троллейбусов и обратно. Домохозяйки перли сумки с продуктами от рынка и магазинов; некоторые катили их на роликах. Мамаши прогуливали деток на свежем речном воздухе.

«Живите, плодитесь и размножайтесь,— смирял себя мыслями Пец.— Вон голуби клюют рассыпанные старухой перед скамейкой зерна и крошки — напористо, жадно, стремясь каждый склевать больше других, даже если и сыт. И мы одно с ними, ничего из себя строить...

...Вот у куста воробей и воробьиха распустили крылья, распушили перья, наскакивают друг на друга, отчаянно чирикая,— выясняют сложные воробьиные отношения. И мы — одно с тем, и для нас отношения к жене, к близким, к начальству куда важнее отношения ко Вселенной. Надо любить, заботиться, враждовать, зарабатывать на жизнь, покупать вещи, соперничать... Пусть гонит нас по жизни постоянная неудовлетворенность нынешним положением — и незачем знать ее первичный смысл.

...Конкурентов по разумности у нас нет: что решим считать истиной, то так и будет. Плодитесь, и размножайтесь, и населяйте Землю. Вначале существа не проявляются, они проявляются в середине... Какая в этом печаль!»

Зискинд что-то говорил. Валерьян Вениаминович вслушался.

— ...плакался мне, что не нашел себя в НПВ, думает уходить. («А, Гутенмахер!» — догадался Пец). Если есть нужда и ваше желание, я готов вернуться к делам в Шаре. Могу по совместительству, могу в полном объеме.

— Намек понят! — воскликнул Буров.— Лично я за!

— Это благородно с вашей стороны, Юра. Или...— Пец испытующе взглянул на архитектора.— Это не только благородство?

— Не только, Валерьян Вениаминович.— Тот выдержал взгляд.

«Вот ведь. Оказывается, и он отравлен неоднородным миром — как Ястребов, как Васюк, как многие. Ему пресно, скучно в обычном, несмотря на комфорт и преуспевание. Но — удрал ведь тогда, почуяв неладное, не только от обиды; хотя не видел и сотой доли того, что Корнев. Снова дрогнет?.. Человек и сам не знает, чего он хочет, страсти и любопытство швыряют его от обыденного к диковинному, от рутины к новизне; а когда пресытится или обожжется жаром первичного — обратно к рутине, к уютным заблуждениям. Людям не нужна вся истина, лишь малость — поиграться, потешиться. Психически вздрогнуть. Ну и играйтесь. А я пас.

...Но ведь шатания — все-таки к и с т и н е, а не от одного заблуждения к другому?

...И чего я напряжен так? Дрейфлю? Что будет-то?.. Может, ничего, вся паника зря? Я буду разочарован. Вот! Выходит, и ты такой, не лучше: важно потешить любопытство, психически вздрогнуть. Ядерная война — это, конечно, ужасно... но ведь и интересно. А экологическая катастрофа тем более, сколько всего произойдет, сколько будет сенсаций, леденящих кровь телерепортажей... вкуснятина. А полный разнос планеты — объядение! Так какого черта

ты строишь из себя радетеля за человечество, сволочь старая, благостно причитаешь в душе? Чего ты хочешь-то — по-настоящему?..

...Эти двое ждут, когда же я начну обсуждать с ними новые задачи и перспективы. Главный инженер и главный архитектор. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Для них Шар еще долго е с т ь.

...16.55. Там, в ядре, то и дело вспухают Метапульсации, беременные галактиками. Те рождаются, разрешаются в свою очередь звездами и планетами... Все сникает, возникает снова и на новом месте... И место это неотвратимо приближается к краю Шара. К тому, что хорошо виден отсюда. Еще шажок, еще, еще... И — ныне отпускаеши».

Не отпускало. Голова горела от клокотавших в ней противоречивых мыслей. В душе вызрело что-то, подобное тем переживаниям в последнем разговоре с Корневым и потом еще на его похоронах; подобное по силе, не по смыслу.

«Не про Шар надо... а про что? Что-то упускаю; Принял — от усталости и страха — простое решение за истинное. А если пойму это истинное п о т о м?

...А хорошо бы сейчас умереть. Тем йоговским способом: волевое кровоизлияние в область мозжечка. В плену один таджик-лейтенант объяснил мне этот способ; он так и покончил с собой, когда отобрали в группу подлежащих ликвидации: стоял и вдруг упал, глаза закатились — готов. Я тоже мысленно репетировал, очень вдумчиво ощупывал сосредоточением, что у меня где в мозгу,— и на случай, если будут измываться, пытать. После побега поймали, били, издевались в свое удовольствие — не воспользовался; была злость, хотелось жить и додраться... А сейчас не хочу, нету сил. Ну вас всех. И состояние подходящее, кровь прилила к голове. Как там в шастрах? «В межбровье направить всю силу жизни...» И сразу никаких проблем.

...А эти двое все ждут разговора о делах. Не исключено, что через четверть часа они будут хлестать меня по физиономии».

Последняя мысль — точнее, сам переход от вселенских категорий к трусовато-мелкому — поразил Валерьяна Вениаминовича до головокружения. Начать с великолепно задуманного злодейства — и так сникнуть: морду набьют. И похоже есть за что! И это мышиное нетерпение, чтобы все поскорее осталось позади... Значит, неправ?

— А скажите мне, Юра,— как-то горячо обратился он к Зискинду, не замечая, что тот и Буров с удивлением смотрят на его красное лицо, лихорадочно блестящие глаза, резкие жесты,— не было ли вам досадно, что ни вы и никто не видел по-настоящему вашего произведения? — Пец всей рукой указал на башню.— Ведь действительно видим бог знает что: не то муравьиною кучу, не то ту самую клизму с наконечником... Неужели не хотелось вам, чтобы

исчез приплюснувший ее Шар, она выпрямилась в полный рост, до облаков, заблистала бы огнями этажей, а?

«Сейчас так и случится. И пусть все будет открыто, не боюсь!»

— Досадовал и хотелось,— вдумчиво ответил архитектор.— Только мне странно слышать это от вас, всегда утверждавшего, что именно НПВ есть общий и естественный случай существования материи. А раз так, то башня сейчас и выглядит нормально, разве нет?

— Да-да...— Пец снова не слушал, ушел в себя.— Да-да...

«Был мальчик... желтоволосый, с голубыми глазами. Был он изящен, к тому же поэт — хоть с небольшой, но ухватистой силою... Вот и я прохожу через это, Саша. Надо докопаться до сути в себе. А там пусть я окажусь по ту сторону, что и ты, или останусь по эту — неважно.

...Был такой ученый — я. Цвет волос и глаз несуществен. Немало он превзошел ступеней познания — но на каждую взбирался кряхтя, с натугой, каждая казалась последней. Не ступенькой, а вершиной — с нее можно обозреть все и не надо стремиться к более высокому знанию. Теория мира с переменным квантом действия казалась вершиной: ну, еще бы, в ней все законы физики обобщаются! — пока не попал в Шар. Практика работ в НПВ казалась вершиной познания и человеческой деятельности; но оказалось, что и это лишь ступенька, поднимающаяся к галактикам и звездам МВ. Вскарабкался — вслед за другими! — и к ним, преодолев робость души и косность мысли. Картины бурлящих потоков материи-действия, в которых на мгновения просматриваются призрачные миры, цивилизации, существа... а их снова смазывают поток, порождающий новые миры и цивилизации,— казались безусловной вершиной, ибо никогда ум человеческий не постигал ничего более обширного и вечного. Но и они оказались ступенькой, ведущей к пониманию первопричин и сутей: сути нашего мира, сути жизни и разума. Это знание и вовсе выглядит сверкающий ледяной скалой; с нее сверзился Корнев, не следовало бы карабкаться другим... Но похоже, что и оно — ступень к еще более г л а в н о м у знанию. Я не знаю, какое оно, только чувствую, что есть.

Но хватит ли сил?..»

III

— Да что с вами, Валерьян Вениаминович? Вам худо? — наперебой спрашивали встревоженные спутники.— Может, в машину, отвезти вас домой?

— А, да будь я проклят! — Пец повернул обратно, пошел быстро.— Конечно, в машину. Быстрей!

Было семнадцать часов пять минут. Но ничто внешнее не имело значения в сравнении с тем, что делалось в душе Пеца. В нем будто рождался новый человек.

— К Шару! — приказал он водителю.— И гоните вовсю, сигнальте!

— Что все это значит, Валерьян Вениаминович, можете вы объяснить?! — кажется, это спросил Буров.

«...Когда мы прикидывали столкновения тел на планетах МВ, ты, Саша, меня сразил. Уел. Но понимаешь ли: раз человеку дано понять, что он физическое тело с массой, значит, он не просто тело;

и раз ему дано понять, что он животный организм, значит, он не только организм;

раз дано понять свое место в мировых процессах — значит, он не слепой ингредиент этих процессов. Покуда не понял, то слепой: бактерия, червь, бродильный фермент... Но когда понял, он над ними, над стихией. И может исхитриться, овладеть ею.

Ведь как просто!

И для каждого понявшего обратно пути нет. Не знаю, горят ли рукописи, но знания — точно не горят».

И родился в муках души и ума новый человек, родился пониманием! Ничего не изменилось — и изменилось все. Пока Валерьяна Вениаминовича заботило — не в рассудке, а в самой глубине самоутверждающего инстинкта — свое л и ч н о е положение в сложившихся обстоятельствах, личное счастье (не серенькое, понятно, выражающееся в удовольствиях и успехе, а по масштабу натуры, которой важно не поработиться и вести — пусть даже к гибели дела и себя)... пока им интуитивно руководило это с в о е, все было скверно; он был угнетен, подавлен бедами случившимися и возможными, не видел выхода. Огромный враждебный мир противостоял ему, мир иллюзий и непоправимых ошибок, страха жить и боязни умереть, бессилия перед временем и незнания будущего. Мир этот нависал над ним, малым существом, опасностями, ловушками, тайнами и злым роком. Но как только он, шагнув в последнем отчаянном усилии за предел привычного круга мыслей и чувств, за предел своего, осознал извечное простое единство бытия, спокойно включающего в себя и его, каким бы он ни был,— все изменилось: он сам стал — весь мир!

Отчаянно сигналя, неслась машина, выбиралась из опутанного «трещинами»-улицами с в и щ а; мелькали дома, деревья, изгороди, люди; трясло и кидало на выбоинах. А Валерьян Вениаминович равно чувствовал себя сопричастным к этому мелкому движению — и к возникновению галактик, пробуждению жизни на планетах. Это он — не Пец, не ученый, не директор, а он, к о т о р ы й о д н о с Тем,— силой своего понимания-проникновения собирал в великом антиэнтропийном порыве к выразительности сгустки материи-дей-

ствия в огромных просторах. Он был этими сгустками — и сам нес их в потоках времени, завивал вихрями галактик, вскипал в них пеной веществ, загорался звездами, выделял планеты... жил и наслаждался всеми проявлениями жизни, от вспышек сверхновых до пищеварительных спазм протоплазмы! Всеми!

И странным, смешным казалось теперь ему недавнее решение уберечь людей от Большого Знания Меняющегося Мира — ради того, чтобы они остались такими, как есть и каким он был еще недавно. Будто кто другой принял это решение! Очевидным стало: п о з н а н и е м и р а п л о х и м н е б ы в а е т. И пусть людям кажется, что для выгод, для достижения близких целей проникают они во Вселенную, в суть мировых процессов; утратятся выгоды, окажутся позади достигнутые цели,— а Понимание останется.

«...мечтами и горем, радостью, крушением надежд и исполнением их, усилием, трудами, любовью и усталостью — всем познает человек мир, всеми переживаниями. Только боязнью он не познает ничего — и поэтому не вправе уклоняться от знания!»

— Скажите мне вот что, Юра,— игнорируя вопрос Бурова, обратился Пец к Зискинду,— вы не прикидывали, что будет, если Шар начнет смещаться относительно башни, ерзать?

— Таращанск будет,— без раздумий ответил тот.— Чем выше, тем страшнее. Смещения будут изгибать башню. А бетон, знаете, на изгиб не работает.

— Да что все это значит, Валерьян Вениаминович, можете вы объяснить? — отчаянно вскричал Буров.— Эвакуация и все?.. Значит, вы Волкова не на пушку брали? Метапульсации выпятятся, да?

— Да. И будет... шаротрясение,— Пец коротко усмехнулся: нашлось слово.— Сейчас, с минуты на минуту. Думайте, что делать.

— Сейчас?! А что же вы раньше-то!..— так и взвился Буров.

— Спокойно, Витя, не надо о том, что раньше,— остановил его Зискинд, который чутьем художника немного проник в состояние Пеца.— В конце концов, вы и сами этого хотели.

— Что я хотел? Разве я т а к хотел! — не унимался тот. Повернул искаженное лицо к директору: — Валерьян Вениаминович, так это мое назначение — скоропалительное, с бухты-барахты... тоже туфта? Чтобы энергичней выгонял, да?

И что-то умоляющее скользнуло в лице его и в интонациях. Чувствовалось, что он очень хочет, чтобы ответили «нет», примет любое объяснение.

Но не чувствовал новый Пец ни вины, ни неловкости — потому что не он решил тогда, а т о т не мог иначе. Так очевидна была для него микронная незначительность всех повышений и понижений в социальной иерархии — от арестанта до президента — в сравнении с о с н о в н о й должностью всех людей, что он и не ответил Бурову, только взглянул на него с жалостливым укором.

— Да, Витя,— сердито ответил за него архитектор.— Вы же поняли, что да. И хватит, не ведите себя, как в пьесе или в фильме. Думайте лучше, что делать дальше.

— Хорошо! — тот откинул голову к спине сиденья; кровь отливала от его щек.— Я не буду, как в пьесе. И как в фильме, не буду. Хор-рошо... Что делать, что?

— Вот! — Пец тронул за плечо шофера.— Сейчас. Остановите!

Машина находилась в километре от Шара. Он, башня, зона — были видны громадиной на половину неба. Они выскочили из кабины в момент, когда в ядре Шара возникла ослепительная голубая точка. Она озарила все на доли секунды, но настолько ярко, что, когда погасла, то и солнце, и освещенные им здания выглядели блеклыми тенями. Люди во всем городе остановились, тревожно глядели на Шар.

Метапульсация вынесла в переходный слой одну из звезд, понял Пец. Как и вчера, когда Корнев метнулся к ядру — и обжегся.

— Как и вчера, слышите, Юра, как вчера! — Он схватил за руку архитектора, говорил не заботясь, поймет ли тот.— Таращанск — и котлован под башню, вспышка-звезда вчера, от Корнева, и сейчас... Ведь то же самое делается-то! Да и как иначе.

А в Шаре уже все изменилось — с быстротой, обеспечиваемой ускоренным временем. Ядро и верх башни окутались мутью; там будто что-то взорвалось. Серая муть ринулась вниз, замедляясь в падении. Затем от земли плавно поднялось облако пыли.

— Что же вы наделали, папа Пец! — горевал рядом Буров.— Ведь если Шар оторвется, то конец всему, не только башне — изменению судеб человечества!

— О Витя! Чего стоит человечество, если судьба его зависит от прочности четырех канатов!

Конец слов Пеца заглушил налетевший со стороны Шара грохот, гром, рев.

— В машину!

Шар уцелел, удержался над башней. Только что-то вибрировало в нем, распространяя пыль, шум и сотрясения воздуха. Все это нарастало навстречу несшейся по бетонным плитам «Волге».

— Что делается, сколько добра пропадет! — приговаривал шофер, наклоняясь к рулю, будто под обстрелом.

— Надо канаты ослабить, вот что! Тогда сеть выдержит.

— А башня?

— Считайте, что ее нет. Есть стройплощадка для Шаргорода.

— Как канаты-то?

— Автоматический регулятор натяжения отключить. Он в координаторе, я знаю где!

— Ох, что там делается! Сколько еще будет ударов Метапульсаций, Вэ-Вэ? Вот опять...

— С десяток, сейчас должны кончиться. Но там, похоже, не только это...

Они говорили все разом, кричали, пересиливая нарастающий шум, и смотрели, думали, примеривались к катастрофе.

И тень Корнева незримо неслась над машиной, именно ему адресовал Пец свои мысли-чувства сейчас: «...потому что все двояко, Саша. Один по внешним наблюдениям процесс розноса, разрушения, даже вспышки — различен по сути. Он — бедствие, катастрофа, горе, если разумные существа там не поняли жизнь, не поднялись над ее явлениями, не овладели ими. И он же — победа, освобождение, переход к освоению более обширного мира, если поняли и овладели. Делаться все равно что-то будет — так лучше пусть по-нашему. Не выделяться энергия — и психическая, интеллектуальная, от растекания времени — не может, как не могут не светить звезды.

...У цивилизаций все, как и у людей, Саша. Человеку — настоящему — если и докажут, что поглотившая его ум большая цель недостижима, многие пробовали, не добились, только сложили головы, то он, вникнув, все равно решит: «Да, их попытки неудачны. А попробую-ка я вот так...» И пойдет, и станет делать. Возможно, добьется своего; скорее — нет, может и погибнуть. Но — найдутся другие, новые, которые скажут: а попробуем-ка мы,— и тоже пойдут.

Миллионы трусов останутся при здоровье, миллионы благоразумных скажут: «Мы же говорили ему (им), что он (они) напрасно прет(-ут) на рожон!» Но не ими жив народ, не ими живо человечество. Народы и человечество живы, пока являются в них люди, стремящиеся за предел достижимого!

...Любарский давеча показал мне, что шлейф космических аппаратов, выводимых с планеты МВ, неотличим от протопланетного шлейфа, выбрасываемого звездой,— как и сама планета при определенном ускорении времени неотличима от звезды. Так ведь естественно, что все это одной природы: какой же еще может быть природы т р у д и т в о р ч е с т в о в любом месте Вселенной, как не той же самой — звездной!

...И может быть, самой большой твоей ошибкой, сынок, было, что принял ты за конец начало неизведанного, за смертную муку — муку нового рождения, рождения в понимании».

Виктор Федорович прислушивался к этому полубезумному бормотанию, выхватывал отдельные фразы — сопоставлял, додумывал, постигал. И снова шептали, шелестели, шипели в ушах его пенные потоки Вселенского моря, рокотали и пели, переплетаясь голосами, созвездия, светила, планеты, симфоническими аккордами завершали их бытие вспышки сверхновых. И отходило прочь так перекореживавшее его мечтание: закрепиться на посту главного — это да, а прочее все чепуха. Он снова был на высоте — на той самой, звездной.

IV

Когда Шар выдал вспышку, Герман Иванович Ястребов находился в гараже и ничего не заметил. Сын, вернувшись, сказал, что затвор багажника опять не держит, на ухабах открывается: «ехал обратно, как Анна Каренина в карете — с поднятым задом»,— и после обеда механик решил починить. Был он сейчас сердит: на горьковчан (такие деньги дерете за «Волгу», так сделайте все путем!..), на сына, у которого он теперь, получается, за обслугу (мог бы сам поглядеть, раз катаешься, за бензин не платишь! Но зачем, если отец все умеет?..), и вообще на жизнь.

Он не обратил внимания и на последовавший гром; но в гараж влетел сын:

— Батя! Гляди, что это там у вас?

Герман Иванович вышел из гаража, взглянул на Шар — пыльно трепещущий, грохочущий — сказал растерянно:

— Ё-ма... что ж там такое случилось?

— Таращанск сейчас будет, вот что случилось! — вскрикнул сын.— Сматываться надо отсюда, батя! Брать, что поценнее — и драпать!

Они жили вдвоем, жену Ястребов схоронил два года назад. Хороших вещей у механика было немало. Сын завел и выкатил из гаража поближе к крыльцу «Волгу», потом они вдвоем — сын бегом, отец прихрамывая — выносили и укладывали в багажник и на заднее сиденье дубленки, и шапки, кожаные куртки, японскую магнитолу, цветной телевизор, столовое серебро. Герман Иванович не забыл и припрятанные сберкнижки, деньги, ювелирные вещицы. Набили все полностью; свою дубленку и норковую шапку сын, невзирая на жару, надел на себя.

Оглядываться было некогда, но краем глаз Ястребов заметил суматоху и в соседних дворах: справа тоже вывели из гаража и набивали добром «Жигули», слева — мотоцикл с коляской; там и в доме напротив уже голосили женщины.

— Давай скорей, батя! — подгонял сын, выруливая машину за ворота.— Медлить себе дороже, драпать надо!

Запыхавшийся Герман Иванович все-таки запер дом, ворота и калитку, плюхнулся на сиденье. Сын дал газ.

Директорская «Волга» подлетела к проходной, когда в ядре Шара как раз выпятилась последняя Метапульсация. Ее сине-лиловое зарево на миг просветило висевшую в зоне пыль. Верх башни вблизи выглядел уступчатыми крепостными развалинами: не было более лаборатории МВ, профилактория, экспериментальных мастерских вверху; рваными проемами, разлинованными арматурой, зияли бока кольца-лифта. На этот раз не выскочила к барьеру НПВ голубая

точечная молния-звезда; только воздушный удар перекачки, грохот рвущегося бетона, треск падающих обломков.

Пец, Буров и Зискинд выскочили, стояли, задрав головы, ждали, что после удара все успокоится. Но нет, колыхания неоднородного пространства продолжались; волнисто изгибались контуры башни, расстояния между рядами окон (и размеры их) то уменьшались, то росли. Частично это были оптические искажения пространства — но новые трещины в стенах башни, выпадающие оттуда квадраты облицовки, стекла и целые рамы свидетельствовали, что НПВ по-прежнему корежит ее. Ревел тот же, что они слышали, подъезжая, орган перекачки, к нему добавлялся оглушительный басовый звук вибрирующих от предельного натяжения канатов сети: они то удлинялись, то сокращались. Ураганы и смерчи метались по зоне и около, раздували пыль и мусор, шатали и валили автокраны. А с высот покрывал все это вьюжный множественный вой сетей.

Шар бился в сетях огромной рыбиной, сотрясениями и ревом напоминал о своем умении крушить города и горы.

Шар снова давал концерт!

А получилось так. Автоматический регулятор, датчики которого управляли лебедками, как и всякая система с обратными связями, был хорош в определенных границах — не сильнее шквальных порывов смещающего сеть ветра. С ними он легко справлялся, вовремя перетягивая канаты, удерживал Шар строго над башней. Но когда возмущение — да еще страшной силы — пришло не извне, а изнутри, регулятор з а г е н е р и р о в а л; иначе сказать, с ним сделалось нечто близкое к паническим метаниям животного от боли и испуга. Он рывком дал обороты нужным лебедкам, чтобы выпустить одни канаты, подтянуть другие, тем компенсировать смещение сети,— по инерции барабаны прокрутились дальше, чем следует — для выравнивания регулятор послал сильные противоположные импульсы — лебедки сработали с перетягом в другую сторону — снова исправляющий сигнал — снова перебор — и пошло! Две стихии, обычно противостоящие друг другу,— естественная и техническая,— сейчас работали вместе, работали на разрушение.

...Они перешагнули защелкнутые турникеты на проходной — на этот раз некому было их открыть. Комендант Петренко что-то сбивчиво объяснял в телефон; увидев Пеца, протянул трубку ему:

— Это из крайкома, Страшнов. Ух... ну, дела!

У него ходуном ходили усы на посеревшем лице.

— Ну... ну-ну! — Директор положил трубку на столик, тряхнул коменданта за плечи.— Вы же были на фронте.

— Так... так то ж на фронте! — Но подтянулся, доложил.— Заплаты готовы, на площадке все в сборе. Три вертолета можем задействовать, а с четвертого... вертолетчик сбежал. Умчал на мотоцикле.

— Ясно. Поднимайте тремя, навешивайте по известной вам схеме. Работайте осторожно, но без паники: вверху, над сетью, спокойнее, чем здесь. Действуйте.

Петренко скорым шагом удалился в муть и грохот, к вертодрому.

Пец взял трубку:

— Виктор Пантелеймонович? Пец... Здесь шаротрясение. Шаро-тря-се-ние!.. Городу не угрожает, но все очень серьезно. Прошу употребить всю вашу власть и поднять с аэродромов два самолета легкой авиации и один средний, типа Ан-28, например. С полной заправкой. Что?.. Сюда, к нам! Задача: слежение за Шаром, если сорвется и уйдет. Что?. Извините, остальное не сейчас.

«Возможности... да вокруг нас океан возможностей!»

Все трое вышли в зону, смотрели из-под бетонного козырька над выходом. Башню трясло, как дерево; спелыми плодами осыпались с нее, появляясь вверху из сумрака и пыли, обломки, целые плиты, балки. На внешней стене, примерно на третьем уровне, искрил, трещал, сыпал сварочными огнями перебитый кабель. Слева из зоны несло маслянистым дымом, там что-то горело.

Даже под густым крымским загаром было заметно, как у Зискинда побледнело лицо.

— Что, Юра, каково вам после отпуска у нас здесь? — приблизясь к его уху и напрягая голос, спросил Пец.

— И не говорите! — прокричал тот.— Но внутренние слои будут держаться. И каркас, он же металлический.

— Энергетик, поди, удрал! — проорал им Буров.— Надо вырубить ток!

— Не выйдет, главный щит на кодовом замке! Код только Оглоблин знает!

— Значит, надо добраться в координатор, к регулятору! А может, просто разобьем датчики на лебедках, а, Вэ-Вэ?! И застопорится!

— Нельзя, это надо на всех четырех одновременно, иначе хуже выйдет!

Несколько человек — смутные фигурки в пылевом облаке — выбежали из арочного проема внешнего слоя башни, метнулись, петляя среди машин и обломков, к ограде, перескочили ее и исчезли. Последний из них, прикрываясь перевернутым стулом, выбежал к проходной, прямо на них.

— Ба, полковник! — узнал Пец.— Вы очень кстати!

Волков был без кителя, в разорванной рубашке, весь усыпан серой дрянью. Он остановился, тяжело дыша.

— Вы?! — яростно выдохнул. Один момент казалось, что он трахнет директора поднятым стулом.— Вы знали — и... да вас за это!

— Сейчас не об этом, Петр Максимович,— Пец вспомнил, на-

конец, имя этого человека.— Прежде всего: как в башне, можно ли проникнуть наверх? Есть там еще кто-то?

— Из моих никого,— полковник опустился на свой стул.— Установки только... такие машины! Да за одно это вас расстрелять!..— перевел дух, добавил понуро: — В башню сейчас только за смертью идти. В осевой еще ничего, хоть и штормит, а во внешних слоях все трещит и сыплется, не пройти.

— Но вот вы и ваши герои — проскользнули,— не без яда заметил Буров.

— Так! — Валерьян Вениаминович хлопнул в ладони.— Две минуты на выработку плана — и действовать!

Это был прежний Пец, даже помолодевший — с блеском расширившихся глаз, подтянутым одухотворенным лицом, уверенной речью и жестами. Зискинд подумал, что таким не видел его. Никто не видел его таким (разве что Корнев один раз, когда он ворвался к нему с идеей ГиМ) — потому что это был человек, достигший высшей ступени понимания. Валерьяна Вениаминовича не пугали сейчас ни грохот катастрофы, ни опасность, ни ответственность.

План выработали быстро: Бурову, который знал, где находится регулятор и как с ним управиться, подняться туда, отключить или усмирить; Волкову — собрать своих разбежавшихся помощников, сформировать четыре группы, которые одновременно, по сигналу — выстрелом из пистолета, разобьют датчики на лебедках.

Две возможности удержать Шар.

— А мы с Юрием Акимовичем здесь, в резерве.

Все было решено под грохот и водянистые колыхания пространства. Волков убежал собирать своих.

— Теперь вы, Витя. Возьмите вот стул, прикройтесь.

Секунду Буров и Пец смотрели в глаза друг другу. Виктору Федоровичу было что крепко сказать директору напоследок («Тоже мне король Лир — папа Пец, Хрыч, куда к черту!» — мелькнуло в уме). Но вместо этого он вдруг шагнул к Валерьяну Вениаминовичу, обнял его — и они расцеловались, как друзья, которым больше не увидеться. Потом Буров через бомбардируемое обломками пространство пошел к арке.

Возможно, ему лучше было бежать — только он не мог бежать. Душа была охвачена восторгом и ужасом; но ужас этот не имел ничего общего с животным страхом боли и смерти, от него не смешивались мысли и не дрожали колени. Осколки бетона барабанили по днищу стула над головой, задевали бока, падали около ног. Вокруг творилось такое, что юлить не имело смысла: разбушевавшееся НПВ каждым своим шевелением могло скомкать его, порвать, стереть в пыль. И сознание того, что не имеет смысла предугадывать опасности, а надо просто идти и делать, что намерился,— придавало Виктору Федоровичу спокойствие и силу.

И он дошел — сначала до арки, а там и до входа в средний слой. Скрылся в нем.

— Может, и я пойду, подстрахую? — неуверенно предложил Зискинд.— Мало ли что...

— Не следует проявлять отвагу через силу,— спокойно и без желания обидеть сказал Пец.— Ничто не следует делать через силу. Вам ведь не хочется идти. И не нужно, он дойдет.

«А вы?» — вопросительно взглянул на директора Зискинд — но не сказал, поняв, что Валерьян Вениаминович снова отключился, думает о своем, глядит туда, куда ушел Буров.

«Когда люди многое делают через силу, стихии воздают им тем же. Мы живем в прекрасном и яростном мире, Платонов прав. Но, пожалуй, все-таки в куда более яростном, чем прекрасном. Не людям увеличивать его ярость — в этом они ничто перед вселенской мощью. Мир, природа ждут от них вклада другим — прекрасным. Тонким, возвышенным, продуманным, умным. Энергия и вещества коими, как нам кажется, мы владеем, у нас не свои, а это — свое. Этого, красоты-тонкости, без нас не будет — ни в местных процессах, ни в мировых. А объекты, даже и планеты — лишь мгновенные состояния процессов. Образы событий.

Я немало ошибался, да ошибались и мы все, сомневались, искали, меняли мнения и решения, разочаровывались, переделывали. Вероятно, я нахомутал, и сейчас, Витя. Прости... Мог бы ошибиться, поступив по-иному. Что поделаешь, нельзя нам ждать, пока в Совершенное Знание проникает Совершенный Человек. Не дождемся. Надо самим, какие ни есть. Пытаться, искать, стре... ох! Что это?!»

Вспышка света в глазах, но вместо грохота — боль в черепе. Это было не внешнее: удар, как и в Шаре, пришел изнутри. Все сверхчеловеческое напряжение последних часов, все прожитое и пережитое вложилось в этот удар в мозгу, в кровоизлияние. Пец слепо нашаривал, за что бы ухватиться, но руки не слушались. Тело само отшатнулось к стене проходной, оползало на подгибающихся ногах. Зискинд едва успел его подхватить:

— Валерьян Вениаминович, что с вами?

«Ох... а!.. вот оно что... вот что — чего сам хотел. Все как у Корнева, с точностью до плюс-минус желаний. Ооо! Ну и боль!.. Ничего, теперь можно... отпущаеши... ничего. Оох!»

Малиновая «Волга» Ястребовых катила по проселку, поднимая глинистую пыль. Сын выбрал направление, которое прямо уводило от Шара, и гнал, не жалея рессор. Герман Иванович все оглядывался. В башне народу... ой-ой! «Драпать надо, драпать!» — бился в уме энергически произнесенный сыном глагол.

...Герман Иванович отведал войны только в последний ее год, девятнадцатилетним младшим сержантом, технарем на аэродроме.

Тогда драпали немцы. Впрочем, и в предыдущие годы этот глагол применяли исключительно к ним; наши — отступали.

— Да не гони ты так! — не выдержал он последнего толчка на ухабе.— Гляди, багажник опять распахнулся, зараза!

Сын оглянулся, затормозил, выругался. Он впервые при отце ругнулся по-черному; тот удивился: гляди-ка осмелел.

— Говорил же тебе сколько раз!..— выскочил закрыть багажник.

Дальнейшее произошло как-то неожиданно для самого механика: он переместился на сиденье сына, для пробы давнул правой, плохо слушающейся ногой педаль тормоза: будет работать! — включая сцепление, дал газ. «Волга» рванула с места. Отъехав метров сто, Герман Иванович свернул на сжатое поле, двинул по стерне обратно. Сын бежал наперерез, махал сорванной с головы норковой шапкой, что-то кричал. Но не успел, стал. Механик, проезжая, только покосился на рыжего, родного, похожего: вид у того — в дубленке посреди пыльного жаркого поля — был довольно дурацкий; пробормотал: «Ничего!..» — прибавил еще газу, вывел машину на проселок, обратно к Шару.

Удар. Боль. Вспышка в мозгу. Болевой шквал будто дробил тело Валерьяна Вениаминовича, он не слышал ничего, не видел клубов пыли и дыма, сверкания искр наверху. Но какие-то участки его мозга еще сохраняли ясность — и нельзя было поддаваться, надо что-то еще успеть додумать и понять.

«...о чем я перед этим?.. Ага, пытаться и стремиться. Ну, конечно, в этом общий смысл:

— из всех движений материи лишь немногие, самые мощные, порождают галактики, а из них лишь редкие в напоре своем разделяются на звезды — но без прочих действий не было бы и их...

— и среди обилия живых существ лишь немногие выйдут за круг обменного существования, начнут мыслить — но не было бы всех, не появились бы и эти...

— и так во всем... ооо!»

Удар, боль, вспышка. Юрий Акимович суетился, не зная, что делать: положил Пеца вдоль стены на спину, решил было перетащить его в комендантскую, кинулся туда — там явно не было места; принялся звонить в «Скорую». Умом он понимал, что директор кончается, ничем ему не поможешь (даже с Буровым так простился, ему сказал, что необходимо кому-то остаться здесь...), но в таких случаях предполагается что-то предпринимать, бороться за жизнь.

На лебедке слева туго натянулся канат, распространяя контрабасовый гул; там лопнул кабель-заземлитель. В высоте с новой силой завыл ураган перекачки. Колыхался сумрак, извивались контуры башни: НПВ воочию доказывало, что именно оно, а не суетящиеся комочки, завитки материи — первичная реальность!

«Оох, боль! Бей, не жалей... Только врешь: я еще существую. Я существую! И так во всем, говорю я, во всех проявлениях бытия:

...из тысяч рассеянных ветром семян только одно достигнет плодородной почвы — но не будь тысяч, не продолжилась бы жизнь растения. Так и идеи, попытки разума продлить себя...

...и неправ был Любарский, что пена веществ суть нашей телесности. Пена эта, турбулентное кипение жизни, возникает только в самых мощных струях времени — вот они-то и есть суть наша.

...потому что все едино в Книге Бытия, волнующейся материи: вся она состоит из волн-попыток, струй-попыток, миров-попыток. Из них большая часть ниспадает втуне — но без всех не было бы и крайне выразительных, выплескивающих избыток действия-жизни к новому развитию. Пытаться и стремиться!..»

Удар-боль-вспышка. И вверху мгновенным сиянием выплеснулся из Шара метагалактический свет — знак того, что там состоялась еще одна вселенная-попытка, а в ней галактики-попытки, звезды и планеты-попытки. Свет озарил лицо Валерьяна Вениаминовича.

«Удар — свет... какой свет! Куда ты течешь, Вселенная? Что поют твои звезды, какую мелодию выводят: Реквием или Гимн?.. Ты сама не знаешь этого, Вселенная, только желаешь узнать. Для того и порождаешь мириады существ, которые воспринимают, изучают, постигают другое и других, а все вместе — себя. Тебя. Принимай же среди них и меня, мою жизнь-попытку. Стремиться...»

И смерть была как русло: ручеек жизни человека впал в спокойно-мощный, неразличимо-ясный и стремительный поток Времени, растворился в нем и помчал далее в Едином — в вечность.

Гремел гневался, грозил апокалиптическими бедами Шар. За оградой зоны Волков расставлял офицеров — ждать сигнала, выстрела. Мелово-бледный от боли в перебитой ключице, брел вверх с этажа на этаж Буров. Взлетели над пылью, сумраком и грохотом вертолеты со сваренными многометровыми лоскутами сети. Спешно поднятые по приказу Страшнова в воздух две «Пчелки» и Ан-28 разворачивались и ложились на курс к Шару. Механик Ястребов, то выжимая газ, то притормаживая немеющей правой ногой, мчал по бетонке на своей «Волге» к башне. Анатолий Андреевич Васюк-Басистов, помогая ногами дохлому моторчику мопеда, давил на педали, подскакивал на ухабах. Катил в такси, ободряя перетрусившего водителя, Любарский.

По дорогам и прямиком через степи шли, бежали, ехали, летели к Шару — люди.

1970—90, Киев — Полтава — Подмосковье — Причерноморье — Прибалтика.

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

ГЛАВА I

Я НЕ Я...

Даже падая с большой высоты, можно или огорчаться, что сейчас разобьешься, или любоваться видами и наслаждаться ощущением свободного полета.

К. Прутков-инженер. Мысль № 55.

1

В этом мире все любят летать. Правда, над оживленными улицами и вблизи промышленных сооружений это возбраняется — мешает и опасно; но порхают, случается, и там. Особенно много летающих на просторах жилмассивов. Смотришь: вон с балкона кто-то ринулся, развернул блестящие полупрозрачные биокрылья, там с верхней клетки пожарной лестницы, там с крыши шестнадцатиэтажки. Чаще молодые, но иной раз и граждане вполне почтенные: супружеская чета — в сторону кинотеатра, где демонстрируется интересный фильм, домохозяйки с сумками — в магазин или на рынок.

На окраинах всюду стартовые вышки с лифтами, гиперболоиды вращения — для полетов на природу, в соответствующий сектор. Летают не только на биокрыльях, но и на педальных микровертолетах, помогая моторчику велосипедными движениями ног, на дельтапланах парят, используя восходящие токи воздуха, на аэробаллонах. Кто во что горазд. Нет у людей здесь привязанности к опоре-тверди — лишь для перемещения громоздких грузов.

И в лицах всех, даже детей — отсвет больших пространств. Такой обычно заметен у летчиков, моряков, путешественников — у всех, кто преодолевает просторы мира не по-пассажирски.

(«Обычно»... я со своими мерками. Что обычно здесь, что диковинно?)

Выше трехсот метров разрешен пролет над всем городом. Я и лечу, возвращаясь домой. Гостил у отца. Он пребывает за рекой, в по-

селке завода ЭОУ (электронно-оптических устройств), в своем коттедже. Батя давно на пенсии, но он ветеран завода (а кроме того, ветеран легендарной 25-й Краснознаменной стрелковой дивизии еще с гражданской!) и с нами жить не желает. «Я с твоей не сойдусь». К тому же он слесарь-лекальщик высшей квалификации, у него здесь ученики. Сегодня я имел возможность наблюдать его триумф. Пришли двое — с чертежиком, детальками-заготовками: «Дядь Женя, подскажи!» Батя торжествующе покосился на меня, а когда обмерял детали, то у него маленько тряслись руки.

Это, оказывается, наша фамильная черта: у меня тоже дрожат руки перед началом опыта. Потом каждое движение будет точным, но сначала есть немного — от возбуждения, азарта.

Отцу далеко за семьдесят, но он еще крепок — сутуловат, кряжист. Только зрение никуда, плюс восемь диоптрий. Я помог ему по дому и в садике, потом мы сочинили холостяцкий обед с выпивкой и разговором... А теперь я лечу назад, подо мной проплывают кварталы города в плане, бурые, черные, серые крыши зданий — одна сторона их освещена низким солнцем, другие в тени; сизые ущелья улиц, зеленые прямоугольники скверов с яркими кругами клумб и одуванчиками фонтанов; овалы площадей, золоченые луковицы старых храмов, игрушечные фигурки людей и машин. Мне отрешенно и грустно.

Никогда я его, наверное, больше не увижу, своего отца.

...А город увижу — меняющийся в очертаниях мегаполис. И широкую реку посреди него, которую вот сейчас пересек. Только мостов через нее будет на восемь, поменьше. И бугор Ширмы, за который садится солнце, никуда не денется, и лощина перед ним, заполненная деревьями, памятниками Байкового кладбища и сизой тенью. Впрочем, и там кое-что окажется иным.

Да и сейчас многое внизу выглядит призрачно, размыто в вечерней дымке: такое ли оно, иное ли, то ли есть, то ли нет... Немного прибавить отрешенную собранность, сосредоточиться — и внизу замельтешат образы иной реальности.

Но я не хочу отрешаться от этой. Мне в ней хорошо, хоть и чувствую себя так, будто с галерочным билетом занял кресло в партере (случалось в студенческие годы): удобно, благоуханно, отлично видно и слышно, но... в антракте, того и гляди явится кресловладелец и сгонит.

Наш город расположен на местности, которая была бы хороша и без него: высокий правый берег с буераками и рощами в плоской степи, вольно петляющая река с песчаными лесистыми островами, луга и старицы на низменной стороне. Она могла быть и без города, эта местность,— и так же плыли бы над степью, буераками и рекой плоские, темные с золотыми обводами облака.

2

Я плыву в теплом воздухе, делаю руками и ногами спокойные брассовые движения. Биокрылья заряжены концентратом мышечной энергии, от меня им требуются только управляющие усилия. Скольжу в пологих лучах солнца — плавно, свободно, беззвучно.

...Почему мы летаем во снах? Здесь явный прокол в теории, что сны суть комбинаторное отражение действительности,— как может отразиться то, чего не бывает?

Удастся ли мне проникнуть в мир, где люди, преодолев тяготение, летают без крыльев?

Подо мной широкая магистраль. Поперек пошла вниз и вверх, с холма на холм, улица поуже — Чапаевская. На подъеме, за магистралью, ее пересекает вовсе узенькая — Предславинская. На углу Чапаевской и Предславинской — пятиэтажное здание простой архитектуры, расположенное глаголем; крыша из оцинкованного железа, двор заполнен ящиками с приборами, штабелями досок, обоймами баллонов. Это институт, где я работаю... и, о боже, чем я только там не занимаюсь. Завтра, в понедельник, я туда пришлепаю пешком.

...А последние дни и недели здесь-сейчас я в своей лаборатории решаю необычный (даже для нас, молектроников) ребус: исследую «думающее вещество». Его доставили астронавты с Меркурия.

У тамошних жителей — кремнийметаллических разумных черепах, создателей радиолучевой цивилизации,— оно служит мозгом. Но, в отличие от нашего мозга (да и вообще в отличие от любой био-, электронной или кристаллической системы), не имеет структуры. Стекловидный комок весом в пару килограммов.

Контакт с меркурианами только устанавливается. Вышло взаимонепонимание. Лазерная атака с их стороны. Наши отбились и даже захватили труп одной черепахи. Исследовали: во всем была структура — в кремниевых, приобретающих упругую мощь при нагреве за 400 градусов мышцах, в кровеносной системе, перегоняющей во все органы сложный расплав металла, в фотоэлементном панцире... А у «мозга» и его отростков, подобных нашим нервам, никакого строения не было. Загадка века!

Расшифровать ее поручили мне, «светилу, которое еще не светило», как завистливо выразился Гера Кепкин, помощник и друг-соперник. Это он, положим, перехватил: светил уже — изобретениями, серьезными разработками. Иначе и не доверили бы. Но к этому-то делу как подступиться?

По химическому составу и по свойствам вещество это — довольно заурядный аморфный полупроводник. Приборчики, кои мы из него изготовили для пробы, могли усиливать и выпрямлять ток,

чувствовали тепло и свет — как и наши диоды, триоды, фоторезисторы, только при температурах за четыре сотни градусов Цельсия. То есть как материал это вещество годится для электроники. Но ведь мозг — не материал, а структура, и очень сложная. Мозг обязан быть структурой.

...Словом, хорошо бы не исчезать отсюда, пока не разберусь. Однако исчезну. Разберутся без меня. Я и не узнаю.

3

Уплывает подо мной назад здание на углу Чапаевской и Предславинской. В вечер, в ночь, в небытие? Улицы-то эти здесь-сейчас так ли называются? Уж не говоря о Предславинской, несущей в названии своем что-то церковное, старорежимное, но другая-то Чапаевская ли? Может, Азинская или Кутяковская?

...Интересный разговор состоялся сегодня у меня с отцом, после того как я рассмотрел большую фотографию на стене в комнате — комсостава его двадцать пятой; фотография старая, довоенная, я ее знаю с детства, всегда мгновенно нахожу на ней батю — молодцеватого лейтенанта с тремя кубиками в петлицах и усиками на английский манер — с самого края во втором ряду. Но сейчас прочел надпись — и озадачился:

— Бать, а почему это двадцать пятая дивизия не Чапаевская, а Кутяковская? С какой стати!

— Как «почему», как «с какой»? — Он смотрит на меня из-под седых бровей недоуменно.— Названа в честь ее славного комдива Ивана Семеновича Кутякова, героя гражданской войны, погибшего в 20-м году на польском фронте, под Олевском.

— А Чапаев Василий Иванович? Он же первый ее командир, самый знаменитый. Он же ее создал?

— Чепаев...— Отец поводит бровями.— Был такой. Только не первый, Алешка. Он принял дивизию у товарища Захарова, она тогда называлась первой Самарской. И он ее не создавал. Красная Армия в Заволжье возникла из партизанских отрядов, их много было. У Чапая большой был отряд, верно... на основе его и образовалась Николаевская бригада. Потом, после академии, дивизию нашу ему дали. Нет, хороший был командир, спору нет, боевой, энергичный. Уфу мы под его началом взяли, Самару...— Отец в раздумье жует губами; над верхней у него и сейчас английские усики квадратиком, только совсем белые.— Профукал он там свою дивизию. Дал казакам возможность штаб, обезглавить. Сам еле спасся вплавь через реку Урал, скрывался в камышах раненый, пока мы Лбищенск не отбили. Это хорошо, что Иван Семенович — он 73-й бригадой командовал — принял начальствование на себя, объ-

единил раскиданные по степи полки. А то расщелкали бы нас каждого по отдельности. Ведь пять тысяч наших в одном Лбищенске казаки положили, казара чертова... пять тысяч!

Батя расстроился, даже потемнел лицом. Для него будто вчера это было, не полвека назад.

А я молчу, не зная, как отнестись к новой для меня интерпретации событий. История двадцать пятой Чапаевской дивизии в некотором роде мое хобби: с нею связана жизнь отца, а тем самым и нашей семьи, которая, как и все командирские семьи, кочевала со своей частью. Правда, это было до моего рождения, на мою долю остались фотографии да ветхие письма, но все равно причастность к истории-легенде всегда как-то воодушевляла меня. Сознание того, что я — сын чапаевца, давало мне дополнительное упорство в житейских схватках.

Мне известно немало из истории дивизии, выходящее за пределы книги Фурманова «Чапаев» и одноименного фильма. Поэтому меня не смутило, как батя произнес знаменитую фамилию: так же ее произносил и писал сам владелец, так именовали его соратники и земляки, жители Заволжья (есть их письма в батином архиве), такова она и в прижизненных документах.

Как из Чепаева получился Чапаев, установить теперь невозможно. Вероятно, так же, как из Маресьева — Мересьев, как из Кочубеевой Матрены, которая путалась с Мазепой, Пушкин сделал Марию. Писатели это могут — чтоб отвлечься от конкретного человека. Либо для благозвучия: ведь через «а» явно возвышенней... или это мы привыкли?

Не ново для меня и имя Кутякова — сначала командира полка имени Стеньки Разина, затем комбрига-73, правой руки Василия Ивановича (у Фурманова он выведен под фамилией Сизов... вот тоже) — двадцатилетнего тогда парня отчаянной смелости, большого военного дарования и необузданного волжского характера; с любимым комдивом они цапались, бывало, вплоть до взаимных угроз оружием. Верно, после Лбищенской трагедии он принял командование, спас дивизию от разгрома и нанес изрядный урон белым.

Верно и то, что дальнейший боевой путь двадцать пятой под его началом был не менее славен, чем при Чапаеве: разгром Уральской белоказачьей армии, взятие Гурьева, ликвидация Уральского фронта, затем славные дела на Польском... Правда, погиб он не под Олевском, городком на севере Украины, там он был только тяжело ранен (в двадцатый, по дивизионной легенде, раз) и отправлен в тыл; заместитель командующего Приволжским военным округом комкор И. С. Кутяков, кавалер четырех орденов Красного Знамени, сложил голову в 1938 году.

Но все-таки батина версия слишком своеобразна.

— А Фурманов о вас писал? — спрашиваю я.

— С чего бы это он о нас писал! — Отец пожимает плечами.— Хотели его с рабочим отрядом направить к нам, верно, помню. Но переиграли, решили усилить двадцать восьмую дивизию, она северней нас действовала. Там он и комиссарил, о легендарном комдиве Азине Владимире Михайловиче такую книгу написал... читал, небось, «Азина»?

Вот героический человек был, жаль, не довелось хоть глазком на него поглядеть! А дела какие: освобождение Казани, Ижевска, Кунгура, Екатеринбурга... и потом еще под Царицыным. И погиб Владимир Михайлович как герой, в бою. А какой фильм хороший по этой книге сняли братья Васильевы, с Бабочкиным в роли Азина. Я глядел — прослезился.

— А с Василием-то Ивановичем как было дальше?

Отец спросил:

— С Чапаевым?..— вздохнул и продолжил: — Ну, отыскали его в камышах — раненого, еле живого. В госпиталь, конечно. С дивизии, само собой, долой. Хотели под трибунал: такое на войне не спускают, чтоб дал свой штаб, голову дивизии, уничтожить. Но... замяли с учетом былых заслуг. После выздоровления, слыхал, поставили на полк. Не в двадцать пятой, конечно. А дальше я его, по правде сказать, потерял из виду. Говорили, воевал на Дону, потом в Средней Азии — и неплохо. Потом, году в тридцатом, я книжку его видел «С Кутяковым по уральским степям» — про нашу двадцать пятую. Хорошо написал: и Иван Семеновича хвалит, прославленного героя, и себя не забывает.

Я молчу, соображаю. Вот, пожалуйста, и Фурманов не о них писал. Азин... Как-то плыл по Волге, попался навстречу пароходик «Герой Азин» — старенький, колесный. А «В. И. Чапаев», на котором я плыл, был четырехпалубным белым красавцем, дизель-электроход, каюты-люкс, два ресторана. И улицы в каждом городе его имени, колхозы-совхозы-фабрики, шоколадные конфеты «Чапаев» по шесть с полтиной коробка, ателье, туалетное мыло... и так вплоть до дурацких анекдотов и женской прически «Гибель Чапаева»: как увидел, так и погиб. А здесь-сейчас, выходит, все это имущество принадлежит Владимиру Михайловичу Азину, комдиву-28.

Есть ли анекдоты о нем? Раз наличествует фильм братьев Васильевых (как бишь в нем: «Василий Иванович, а ты смог бы командовать всеми армиями в мировом масштабе?» — «Нет, Петька, я языками не владею!»), должны быть и они. Варианты вообще отличаются один от другого на самое необходимое, на дифференциалы теории Тюрина.

Зря я, значит, пыжился, что сын чапаевца? Во-первых, не чапаевца и даже не ч е п а е в ц а (уже не так звучит), а кутяковца,

во-вторых, все это тушуется перед понятием «азинец». Эверест славы вздыбился не там. Что же тогда прочно в этом мире?

...Наверное, главное: массивы социальных действий людей. Была гражданская война. Двадцать пятая дивизия сделала то, что сделала, и двадцать восьмая Азинская, и многие еще части разных номеров и наименований сделали свое — выиграли эту войну. А то, что впоследствии кто-то оказался сверх меры вознесенным, кто-то забыт, чье-то имя переврано,— все это суть дисперсии, размытости действий, мелкие отклонения от линий развития, «линий н. в. и н. д.— наибольшего вероятия и наименьшего действия» согласно той же тюринской теории.

4

В древнеиндийской философии есть тезис «Ты не искал бы Меня, если бы не нашел». Диалектично сказано. Смысл его в том, что человек — уже в силу того, что он человек, разумное существо,— интуитивно знает главные истины мира, чувствует их; а исследуя, действуя, созидая, он лишь стремится дать этому знанию словесное, вещественное, математическое, музыкальное, художественное, драматическое и бог знает какое еще выражение. Мир громаден, он выражает себя просто и прямо: горами и морями, бурями и протуберанцами, звездами и галактиками, пустотой космоса и вспышками сверхновых.

Мир громаден — мы в нем малы и слабы. И что есть слово, сказанное или написанное? Оно не громче шелеста листьев, не заметнее прожилок в них.

Мир громаден, а мы малы, слабы и жаждем счастья. Как дети — быть хорошими и чтоб было хорошо. И поэтому норовим отрешиться от ненужной, практически бесполезной для нас громадности Вселенной, выделить в ней свой уголок — не только в смысле пространственном, но и информационном, эмоциональном даже — где все достаточно ясно, взаимосвязано, разделено на «мое» и «чужое», на «можно» и «нельзя»... И уж бог с ним, что действия в уголке выразят не знание, а заблуждения всевозрастающие, удалят от истин мира.

Счастье, главное дело, светит. Счастьишко — под размер уголка, но зато свое. Вот-вот... ам!

Морковка счастья, морковка достижимых целей, которую держит впереди на конце шеста мудрец Судьба, сидя верхом на нас.

Но как бы там ни было, главную истину о своем существовании в мире более обширном, чем три пространственных измерения плюс время, люди интуитивно чуют. Ноздрей. Трепетом души. Кто чем... Все мы живем в многовариантном мире, барахтаемся в океане воз-

можностей, перемещаемся по ортогональным направлениям h-мерного координатного ежа каждый своим выбором, колебанием даже.

Прошлое однозначно — будущее всегда неопределенно, размыто, размазано по категориям возможностей; каждая по-своему интересна (привлекательна, страшна, неприятна), и у каждой своя вероятность.

То ли дождик, то ли свет, то ли будет, то ли нет...

Другое дело, что мы используем эти выборы, ортогональные перемещения для погони за морковкой счастья — чтоб выгадать и не упустить. Но проклятие такого выбора, что, вцепившись в одну возможность, мы упускаем все альтернативные, ибо по принципу ортогональности они неизбежно проецируются в нуль на направление выбранной реальности. Шоры жизненных целей отграничивают нас от иных измерений.

...И кажется нам, что вот только то, что наметил, выбрал и решил (или навязали своими решениями и выборами другие люди, обстоятельства, стихия случая), и существует, вошло в жизнь — а альтернативы все сгинули, не родившись. Но они тоже есть, живут в памяти, к ним привязываешься чувствами сожаления об упущенном, досады на свою нерасторопность, ненастойчивость или что не смекнул вовремя (реже — чувствами облегчения, что избежал беды, осознанной напасти); они даже развиваются в подсознании по своей логике, которая, бывает, проявляет себя в снах.

...И рыдает обобранная мужем-алкашом женщина в пустой квартире: «Ах, почему я не вышла за Васю! Он так за мной ухаживал...» И смекает при виде достигшего высот сокурсника замшевший в главке на рядовой должности инженерик, министерская крыса: «И я бы тоже мог так вырасти, если бы не отвертелся тогда от направления в Сибирь!»

Мы живем во всех вариантах — и реализованных, и упущенных, но помнимых.

Строго говоря (поскольку сумма вероятностей всех вариантов всегда равна единице, то есть только эта сумма и достоверна, задана наперед) это и есть подлинная реальность разумных существ, реальность ноосферы.

А раз так, то важно быть не в вариантах этих, а н а д ними.

Уплывай назад, знакомая улица, не имеет значения, как ты называешься: Чапаевская, Азинская, Кутяковская... Такие ли флюктуации мира я знаю! Как она прежде-то именовалась: 2-я Дворянская? И так же шла с холма на холм.

Впереди, на бугре, черный прямоугольник на фоне заката — десятиэтажный дом, в котором я живу.

ГЛАВА II

...И ЖЕНА НЕ МОЯ

Выяснение проблемы — путь к решению ее.
Выяснение отношений — способ их испортить.

К. Прутков-инженер. Мысль № 50

1

«Ich habe einen Kameraden». Е с т ь у меня товарищ. Александр Иванович Стрижевич, он же Сашка Стриж. С самого детства. И настолько мы с ним душа в душу, что даже девчонки нам нравились одни и те же. Только он пошустрее, Сашка: пока я млел да заносился в мечтах, он действовал. И опережал, гулял с девушками, которые нравились мне. Целовал их, а потом рассказывал мне — как.

Однако с Люсей он меня не опередил. То ли не разглядел, то ли не успел, а может, выбирала и решала она?

Моя жена Люся, Людмила Федоровна,— красивая, уверенная в себе женщина. Темноволосая, с блестящими серыми глазами, стройная, но несколько дородная (все-таки четвертый десяток). Любительница посмеяться и поддразнить, как и прежде, когда была студенткой-медичкой, а мы с Сашкой заканчивали физтех. Теперь она детский врач. «Просто она угадала в тебе человека с серьезными намерениями»,— сказал в свое время Стриж, подавляя досаду.

Сейчас Люся помогает мне снять биокрылья, сворачивает их в рулон, надевает и застегивает матерчатый чехол, ставит в прихожей в угол — торчком, как лыжи.

...С той поры и по сей день она так хороша для меня, так желанна, что я ни разу не потянулся к другой. И мысли не было — даже в долгих отлучках. А тянуло ли ее на сторону? Не знаю. Не хочу знать.

(Не опередил я тогда Сашку, хоть и влюблен был до потери достоинства. Может, именно поэтому?.. Люся откликнулась на его серьезные намерения.

Только не сладилось у них. Через два года она ушла. Сначала просто от него. А затем ко мне. Были самолюбивые объяснения Стрижа со мной с хватанием за грудки.

А может, не просто ушла — я способствовал?)

Варианты ветвятся — варианты сходятся. Все они позади, зачем оглядываться?

Разве лишь из боязни снова потерять ее.

Огненная краюха солнца — за синим лесом. Последние желто-

розовые лучи освещают балкон, Люсю, просвечивают комнату, гаснут. И все сразу меняется.

Я теперь боюсь подойти к тому рулону в прихожей: может, в самом деле там зачехленные лыжи с палками? Миг серой размытости, множественной неопределенности.

Люся колеблется, что-то хочет, но не решается сказать мне. Ну? Говори, укрепи меня в этой реальности. У нас будет маленький, да? Если родится сын, назовем Валеркой. Ну же!

Нет, передумала. Отложила на завтра.

Завтра она это скажет не мне.

Бывает, снится, что имеешь много денег... а просыпаешься без гроша. В следующем подобном сне, помня о финалах предыдущих, стараешься перед пробуждением покрепче зажать в руке пачку ассигнаций: теперь не исчезнут! Проснулся — и все равно ничего. У снов своя память, свой опыт.

...В одном из снов мы поссорились — еще не муж и жена, не возлюбленные, только сближающиеся. В следующем сне она не пришла на свидание. А еще в третьем, через месяцы, я искал ее всюду, чтобы объясниться, помириться... Как же так, неужто все?

И далее не было ничего.

В таких многосерийных снах мысль прорабатывает несвершившиеся варианты жизни. И незачем гадать: к добру ли, к худу ли? — это знание не от древа добра и зла.

«Ich habe einen Kameraden». Был у меня товарищ...

Наши с Сашкой пути разошлись сразу после окончания физтеха. Я двинулся по электронным схемам, он — по полупроводникам, попал в закрытый институт, такие называют по почтовому адресу «п/я N...»; «сыграл в ящик» — шутили мы при распределении. Никто не знал, чем для него обернется эта шутка.

Там Стрижевич начал хорошо: сделал изобретение, а на нем — диссертацию, получил лабораторию и квартиру. Он везде начинал хорошо. Первые годы мы виделись часто: то он с Люсей к нам, то мы с Лидой к ним, и на свадьбах друг у друга гуляли. Потом все реже: дружба не может питаться одними воспоминаниями, а общие интересы не возникали. К тому же Лида ревновала меня к Людмиле Федоровне, а когда родила Валерку,— расплылась, подурнела — так и вовсе: сцены, слезы, ссоры. Хотя оснований не было никаких — лишь одни мои сдерживаемые чувства.

...Как-то, вернувшись из командировки, услышал от ребят:

— Слушай, разузнай, что произошло в этом п/я N...— взрыв какой-то, авария. Они, как всегда, таятся, сообщили только с прискорбием в городской газете о гибели при исполнении служебных обязанностей к. т. н. Стрижевича.

У меня потемнело в глазах. Помчал на квартиру к Стрижу, уверяя себя, что это ошибка, сейчас все выяснится, увижу живого. Что за чепуха, он ведь занимался технологией полупроводниковых приборов... какие могут быть взрывы и аварии!

Примчался — и застал Люсю в трауре.

Вариант, отличающийся сильными переживаниями, драматизом. Вариант-доминанта. От таких много вероятностных ветвлений, как брызг после удара волны о берег.

...Лида моя восприняла все очень своеобразно: и Сашкину гибель, и то, что я посетил вдову, да и потом уделял ей внимание; так только женщины могут. Упреки, сцены — при Валерке, да еще с участием тещи, неплохой в общем-то женщины, но уверенной, разумеется, что права ее дочь. К тому же я жил у них «в приймах», это меня тяготило.

Словом, через год мы развелись. Перебрался на Ширму, к знакомым частникам Левчунам, в их времянку (все удобства во дворе, дрова свои, за электричество платить отдельно). Люся приходила ко мне туда, в комнату, стены которой оклеены оранжевыми обоями с серебристыми аистами на фоне пальм и заходящих солнц. А еще через полгода я переехал к ней.

Так ли, иначе ли, но мы вместе. Когда сходятся в одно многие варианты, это прочно. И у меня покой на душе.

...Покой — и грусть. Потому что дело к ночи, пора укладываться, отходить ко сну. Сон — отдых тела, расслабление психики — тот самый антракт, когда может явиться «кресловладелец», а мне придется убраться на галерку. (Явится не кто-нибудь, а я, з д е ш н и й я — во всем прочем такой же, кроме обстоятельств с Люсей. В этом мы с ним ортогональны.)

Понять это трудно, согласиться еще трудней. Ах, если бы я мог не спать!

Я ласкаю Люсю в эту ночь горячо и долго, как перед разлукой. Засыпаю, не выпуская ее руки. И во сне долго еще какой-то доминантный пунктик в мозгу не спит, сторожит, тревожится: держи, сжимай крепче эту теплую руку, как ту пачку ассигнаций, чтобы и проснуться богатым!

2

Просыпаюсь ночью. Женская рука в моей руке. Только вроде шире запястье. Сиплый со сна голос (он-то меня и пробудил):

— Шевелится, Алеш...

— А?.. Что? Где?

— Шевелится, говорю.— Рука берет мою ладонь, кладет к себе на живот — большой, округлый.— Вот... чувствуешь? Наверное, мальчик, беспокойный такой.

— Ага...

Голос Лиды. Рука ее же. И все остальное. Вплоть до квартиры. Рассеянный свет уличных фонарей падает на потолок и стены. Из смежной комнаты доносится храп тещи, достойной в общем-то женщины... только спит она больно громко.

Значит, перешел. Вернулся. Если и не на галерку, то на третий ярус. Лидия Вячеславовна и ейный муж — я. В девичестве была Стадник, могла стать Музы́ка: ухаживал за ней такой техник Толя из соседней лаборатории. Соперничество с ним меня излишне раззадорило — и теперь она Самойленко. Которого она собирается рожать: Валерку? Или уже второго? Утром разберемся.

Содержательная у меня жизнь, а?

Не люба Лида мне сейчас — до тоски.

— Слушай, я спать хочу. Тебе хорошо, ты в декрете, а мне утром на работу!

— Мне хорошо... вот сказал! Тебе бы так...— Она обиженно шепчет что-то еще, на что я бормочу: «Угу... ага!» — и засыпаю.

...и снится мне дверь на балкон без перил. Она бесшумно раздвигается. Я выхожу, становлюсь на самую кромку белой плиты. Подо мной восходящее солнце, сизо-зеленый массив лесопарка. Из зелени и тумана искрящимися пластмассово-алюминиевыми утесами вздымаются здания; в них, я знаю, живут и исследуют жизнь. По серым, из крупных ромбов дорожкам шагают первые прохожие в легких светлых одеждах. Маленькие электрогрузовики без водителей уступают им дорогу.

Я без крыльев. Но — вытягиваю вверх руки, наклоняюсь вперед, чуть отталкиваюсь ступнями от плиты — и лечу.

Почему мы летаем во снах?

3

Оглушительный трезвон возле уха. Меня подбрасывает. Сажусь на скомканной постели, оглядываюсь. Времянка. Дощатые стены в обоях с аистами, кои, как известно, приносят счастье. Аист на одной ноге под пальмой на фоне восходящего солнца. Аист, солнце, пальма. Аист-солнце-пальма, аист-солнце-пальма... алюминиевой краской на охряном фоне. Обои местами отклеились, пузырятся. Не будет от них счастья.

Я один.

Будильник сдвинулся на край тумбочки от старательного трезвона и показывает шесть часов тридцать минут. Но самое интересное: он то внутри стеклянной банки, то без нее — м е р ц а е т банка. Перед отходом ко сну я колебался: накрыть будильник банкой или

нет. Сплю я крепко, если приглушить трезвон банкой, бывает, что и просыпаю; а не приглушить, так впечатление оказывается слишком сильным.

...Итак, я в усадьбе Левчуков, благосклонных ко мне домохозяев, в арендуемой у них времянке (40 в месяц плюс 5 за прописку, все удобства во дворе... и так далее). Весьма вероятно, что я здесь не один, а со Стрижом: он поругался с Люсей, будет разводиться, спит у меня на раскладушке.

Тот факт, что восприятием я охватываю оба близких варианта, чего обычные люди не могут, говорит, что я шире их по соответствующим измерениям; не так, чтобы слишком, но пошире, надвариантник я. Вариаисследователь.

...Но кто я? Проживание во времянке означает, что я не муж Людмилы Федоровны (ныне Стрижевич) и не муж Лиды. Даже не обязательно, что от одной ушел, а на другой еще не женился. Просто я «не то», множественная альтернатива. А что же «то»? Кто я есть?

...Много вариантов моих связано с этой времянкой. Самый главный среди них — тот, в котором мы (в наибольшей степени Тюрин, в наименьшей я) протоптали отсюда первую умозрительную тропинку в Нуль.

Был здесь разговор за двумя бутылками вина — в нашем бесхитростном однозначном Настоящем-О. В Нуле.

— Вот слушайте: наша оценка себя и других на 99 процентов исходит из того, чем мы отличаемся от других, чем выделяемся — а не в чем схожи со всеми. Нас с самого детства волнует, кто сильнее, умнее, ловчее, богаче, удачливей, красивее, кто лучше одет... и так далее вплоть до наград, движения по чинам и благополучия в семье. Вот по этим различиям...

— Дифференциалам,— вставляет Радий Тюрин, он же Кадмий Кадмич.— Все различия суть дифференциалы многомерной функции жизни.

Бутылки почти пусты. Поздний вечер. Стриж, любитель свежего воздуха, около окна на стуле, повернутом спинкой вперед. Я в глубине комнаты в кресле (которое сейчас развернуто в кровать). Кадмич сидит, облокотясь о пиршественный стол с опустошенными консервными банками; он тихоня, обычно не пьет — но сейчас захорошел и склонен выступать.

— Ну, ты сразу со своей математикой!..— с неудовольствием взглядывает на него Сашка.— А впрочем, верно, Кадмич, в масть: это действительно дифференциальное исчисление жизни. Даже с количественной мерой: н а с к о л ь к о я всех других сильнее-здоровей-богаче-и-так-далее?.. По этим дифференциалам-различиям люди судят, насколько удалась их жизнь, так?

— Так,— легко соглашаюсь я.

— Исследуем, как образуются различия. Отвлечемся от хомо сапиенс, взглянем, как они получаются в животном мире.— Вино было крепкое, бутылки большие, но Сашка — ни в одном глазу, излагает мысли гладко.— Среда выдает новую ситуацию, для которой у тварей нет установившихся рефлексов. Потоп, например, Тем она побуждает организмы на новые действия-изменения, *не предписывая их*! — Он поднимает палец.— Одни организмы изменяются так, другие иначе, третьи еще на свой манер... и те, которым удалось угадать в самую точку, оптимально восстановить равновесие со средой...

— Гомеостаз,— вставляет снова Тюрин.

— Да-да... те выживают, набирают силу, размножаются. А все иные хиреют, гибнут. Это и есть эволюционный процесс, выделивший из первоначальной протоплазмы овец и волков, коз и стрекоз, словнов, муравьев — все существа. Способ приобретения различий людьми в принципе такой же: есть критические ситуации, в которых надо действовать нешаблонно, но как? — неясно. Возможны варанты. Выбрав один вариант поведения, ты закрепляешь в своем жизненном пути, в биографии, некое отличие — и оно было бы иным, выбери ты другой вариант. Но превосходство человеческого поведения над животным в том, что мы *сознаем* обилие вариантов — и колеблемся, терзаемся: какой выбрать, чтобы не прогадать...

— А может, и они терзаются,— говорю я.

— Кто?

— Ну, козы, слоны, муравьи... Узнать-то это у них невозможно, общего языка нет.

— Ха! Как говорит наш шеф: вы за других не думайте, вы за себя думайте. Не будем отвлекаться на коз, своих проблем хватает. Проголосовать «за» или «против»? Сказать правду, соврать или умолчать? Жениться или уклониться? Попробовать новую идею или взяться за чужой верняк?.. Самое сакраментальное, что поступить и так, и иначе нельзя — несовместимые события, орлы-решки. Если выпало одно, нет другого. Вероятность одна вторая. И смотрите: после первого выбора, например, варианта А,— остается непроработанным вариант Б. Жизнь подкинула новую колебательную ситуацию. По принципу независимости событий ее надо примерить как к реализованному уже, так и к несвершившимся вариантам — и к А, и к Б... Скажем, первый выбор касался места работы, второй — женитьбы. Умозрительных получается четыре: я работаю здесь и женат, работаю здесь, но холост, работаю не здесь и женат, работаю не здесь и холост — а реализуется-то только один! Потом третий соблазн и третий выбор...

— Ну ясно,— говорит Тюрин.— После n колебательных

ситуаций у тебя получается 2 в n-ой степени биографий. Например, после десяти колебаний и выборов человек есть лишь один из 2 в десятой степени... один из 1024 вариантов себя.

Кадмич — светлая голова. И снаружи тоже: в тридцать лет он лыс, остался лишь желтый цыплячий пушок по краям черепа. Глаза у него водянисто-голубые, детские.

Меня разбирает смех:

— Закон «2 в n-ой степени», закон нарастания сложности, с которого начинается теория информации! Саш, поздравляю с изобретением... нет, с открытием велосипеда!

— Да идите вы все! Дело не в законе и не в том, что варианты множатся, как микробы в пробирке, а — одни лучше, другие хуже, третьи вовсе скверны, четвертые, напротив, великолепны... Как найти о п т и м а л ь н ы й вариант себя? Верней, как прийти к наилучшему себе? Это, брат, не велосипед.

— Чепуха,— говорю я, подумав.— Что есть колебательная ситуация? Вот я поколебался: какое слово сказать? — и от этого зависит житейский успех?

— Бывает, что и зависит.

— Все равно задача не математическая, никакие вычислительные машины оптимум не найдут.

— О боги! — Сашка воздевает руки.— При чем здесь машины! Ну при чем здесь вычислительные машины?! Нет, темный ты все-таки, Кузя, как валенок изнутри.

(Будущее показало, что не такой я и темный: без машин не обошлись).

— Закон «2 в n-ой степени», конечно, дешевка...— бормочет Кадмий Кадмич, адресуясь не столько к нам, сколько во влажную тьму за окном.— Реальные варианты сплошь и рядом взаимно компенсируются, а то и просто смыкаются. Скажем... вот бежит собака! — Он поворачивает к нам лицо, в руке стакан с остатками вина, в водянистых глазах — прозрачный блеск.— По шоссе. С белыми столбиками. Собака колеблется: у того столбика ей поднять ногу или потерпеть до следующего? Что означает эта ситуация математически? Собака раздваивается на альтернативные составляющие, сумма вероятностей которых равна единице. Одна поднимает ногу у этого столбика, другая — у соседнего. Вариантное ветвление! Дело сделано, первая полусобака догоняет вторую, обе сливаются в одну, которая и бежит дальше.

Мы слушаем внимательно.

Мы и не подозреваем, что сейчас закладываются основы Теории.

Почему Тюрин начал с собак, осталось невыясненным, но его построения сходимости вариантов, главные в вариаисследовании, и сейчас всюду именуют теорией собаки у столбика.

— А если один столбик на этой стороне шоссе, а другой на той? — прищуривается Стриж.

— Ну и что?

— А то, что одна из альтернативных полусобак, перебегая шоссе, попала под самосвал. Тогда как?

— Так ведь и уцелевшая полусобака когда-то сдохнет,— безмятежно улыбается Кадмич.— Тогда варианты и сомкнутся. Секунды или годы — для математики безразлично... Или вот, скажем, компенсация вариантов, взаимное погашение. Ты колеблешься, какие брюки надеть, подкинул монету, выпали брюки «решка». Походил — измялись. Снимаешь, надеваешь брюки «орел». Если бы сначала выпал «орел», итог был бы прежний: обе пары надо гладить. Мы множим варианты — время сводит их вместе.

— Да ты не о том все, Радий! — закричал Сашка.— Брюки, собачьи потребности... Я ведь о существенном толковал, о вариантах судеб человеческих.

— Математика не делит события на существенные и несущественные,— произношу я, пародируя мягкий тенорок Тюрина.

— Совершенно точно,— без юмора подтверждает тот.— Существенное может складываться из множества мелких событий, решений, выборов. Может разрушиться ими. Важны количества, м а с с и в ы колебаний-выборов-решений. Тенденции, направленности выборов. Черт, интересно!..— Радий даже причмокнул.— Понимаете, получается, что в ситуации колебание-выбор человек как бы расплывается, разветвляется по нескольким альтернативным направлениям n-континуума. Не весь, конечно, а в существенной для выбора части — когда большой, когда маленькой. Впрочем, может, наверное, и весь... Потом решил — совершил квантовый перескок по этому... ну, по Пятому измерению. Каждый поступок дискретен, нельзя совершить полпоступка — то есть здесь можно применить аппарат квантовой механики, включая принцип неопределенности.— Тюрин впал в мыслительный транс, говорил не нам — Вечности. Мы как-то притихли, слушали.— Расплылся — собрался, расплылся — собрался... тик-так, тик-так. И это вполне материально, ведь колебания ослабляют, на них распыляется энергия мышления. А решил — и воспрял, стоишь на одном без никаких. Нет, ты, конечно, прав,— обратился он к Сашке,— будут и существенные сдвиги судеб, может, даже не одного человека, а коллективов, народов, возможно, и человечества в целом... по Пятому измерению.

— Да что это за Пятое такое, о чем ты камлаешь?! — не выдержал я.

— Что?..— Кадмич посмотрел сквозь меня.— Понимаешь, оно может быть даже не одно. Но ты не прав,— он снова глядел на Стрижевича,— упущенная возможность не пропадает. Если она осо-

знана, то существует в нашей памяти как метка... как точка на оси времени, на направлении существования. А что есть точка? Это проекция на ось перпендикулярной прямой. А что есть прямая? Проекция на данную плоскость перпендикулярной к ней. А что есть плоскость? Такая же проекция гиперплоскости, сиречь пространственного объема... а объем этот может заключать в себе целый мир.

— Ух, черт! — Сашка закрутил головой, затопал от удовольствия ногами, бросился обнимать Тюрина.— Вот это да, вот это точка-запятая! Ну, Кадмич, молодец! А говорят, пить вредно. Пей еще!

И он долил ему стакан.

4

Осматриваю комнату, ожидая и боясь наткнуться взглядом на засаленную серую стеганку на гвозде возле двери, на брошенные в угол замызганные брезентовые штаны, расшлепанные ботинки со сбитыми каблуками — на свой «мундир» грузчика-выпивохи с криминальным прошлым.

...Много моих вариантов связано с этой времянкой:

— здесь я инженер, живу в ожидании комнаты в общежитии, ибо с жильем в институте туго; вокруг этой линии н. в. и н. д. мерцает в дисперсиях живой и неладящий с Люсей Стрижевич — то ночует у меня, то мирится, возвращается к ней; именно от этого варианта пошла вервь к Нулю, к Теории;

— но здесь же я обитаю и в иной н. в. линии: освобожден из лагеря после четырех лет отсидки — статья 140 УК «Кража с применением технических средств»; не инженер вовсе, необразованный урка, решивший завязать. Только и прорезались изобретательские способности в «технических средствах», будь они неладны. Сашка в этом варианте мерцает где-то вдали: он «вор в законе», ему еще три года осталось — или в бегах, а я жду от него весточки. Вот и работаю пока грузчиком в соседнем продмаге, не было ни физтеха, ни Люси;

— здесь же я и сам скрываюсь после побега, вру, как могу, хозяйке Александре Владимировне, что-де вернулся с Севера раньше конца договора, паспорт и трудовую книжку скоро пришлют; пробавляюсь случайными заработками, мелкими кражами — мне не фартит.

Правда, две последние линии — не совсем н. в., не основные: такие крайности, как и вчерашняя, только другого знака. Через сны я возвращаюсь и из них, как из кошмара, с невыразимым облегчением.

Но сейчас по закону маятника могло занести и в них. Неужели?.. Ой, не хочу!

Но нет на стене у двери гвоздя со стеганкой — культурная вешалка на три крюка, на ней на плечиках — два плаща: синий мой, кремовый Сашкин. На столе возле окна стопка книг, логарифмическая линейка лежит... уф! Подхожу, смотрю книги: «Полупроводниковые материалы и приборы», сборник «Микроэлектроника за рубежом», курс теории вероятностей. Значит, инженер, работаю в институте.

...Перемещения по вариантам во снах отличаются от таких же наяву пространственными скачками. Квартира, где я засыпал с Люсей, несостоявшейся моей женой. На Ширминском бугре, в пяти кварталах отсюда,— сейчас там этого дома нет. Квартира Лиды, Лидии Вячеславовны, другой несостоявшейся моей супруги,— в центре города. А я вот где. При переходах наяву должна сохраняться пространственно-временная непрерывность — сны от нее освобождают: в пространстве многие километры, а по Пятому измерению рядом.

Одеваюсь медленно и небрежно, будто и впрямь непроспавшийся грузчик.

Состояние психического похмелья: был вчера на пиру, на славном пиру возвышенной жизни, прогулялся вдрызг — и вот... аист-солнце-пальма.

Я плохой вариаисследователь. Просто никудышный, дисквалифицировать такого. (Не дисквалифицируют, нас всего-то два с половиной: я, Кепкин да «мерцающий» Стриж).

Теоретически все понимаю, могу объяснить другим — даже с перлами из индийской философии — про «морковку счастья», все такое. А на деле... как я вчера страстно цеплялся за ту жизнь, где Люся, отец, биокрылья, моя лаборатория с «мыслящим веществом» с Меркурия! Как боялся сейчас стеганку свою на гвозде увидеть. И это чувство тяжелой похмельной досады — об упущенной «морковке счастья».

Прекрасно понимаю, что все варианты — просто слагаемые, составные части Пятимерного Меня, как, скажем, детство, юность, зрелость — части моей жизни, или, еще проще, пальцы, нос, волосы — слагаемые моего облика... а все равно.

Нет, слаб, только и хватает отрешенности на сам переброс, да и то не всегда.

Постой, но где же Сашка? Раскладушка собрана и задвинута за печку, у окна нет его красно-желтой «Явы». Только плащ. Помирился, что ли? Или?.. Размыто все, неопределенно, пока не сориентируешься как следует.

Выхожу на затуманенный двор, умываюсь по пояс под водопроводным краном. Вытираюсь, осматриваюсь.

Клубничные грядки уходят в перспективу. Вдали, у забора, над ними склонились хозяева: Александра Левчун, дородная матрона, величавой осанкой напоминающая памятник Екатерине II у Ленинградского оперного, и ейный муж Иван Арефьевич, язвенник и пьяница, афишных дел мастер. Собирают ягоду в корзину. Они сейчас в самой цене.

Вечером Иван Арефьевич с выручки крепко поддаст (а в варианте, где я грузчик, так и в компании со мной), начнет дерзить своей супруге, скандалить, за что будет вышвырнут ею на крыльцо; а там станет барабанить кулачками в дверь и кричать: «Жизнь ты мою заела, зараза!»

...Вот представил эту сцену — и сразу ностальгия по вчерашнему.

Приглядываюсь: калоши темных брюк Ивана Арефьича будто пляшут — то завернуты, то опущены. Видно, колебался человек, не завернуть ли, чтоб не замочить о росу. Кофта на Александре Владимировне тоже мерцает, меняет фасон и цвет с синего на желтый.

Это означает, что я все-таки надвариантник. Уж коли стал им, приобщился к Пятому, от эффекта мерцающего восприятия близких вариантов не избавишься. Да и не надо.

Не спросить ли у них о Сашке? Нет, могу попасть в неловкое положение.

Может статься, что им это имя ничего не говорит.

Возвращаюсь во времянку, бреюсь, жарю на электроплитке непременную яичницу. Завтракаю. Несколько минут сижу за столиком, собираюсь с мыслями.

...В сущности, никаких сверхъестественных качеств это сверхзнание не дает. И пить-есть надо, и на жизнь зарабатывать.

Правда, при перебросе в камере эмоциотрона наблюдаются шикарные эффекты: исчезновение из поля зрения наблюдающих или даже прохождение сквозь стену.

Только все это кажимость. Накладываются друг на друга многие сходные варианты, вот и кажется, что человек расплывается в пустоту, но если ткнуть в ту пустоту палкой (Кепкин, зараза, такое разок проделал со мной), будет ой как больно. А со стеной и вовсе — в варианте, в который ты перешел, нет в этом месте стены, только и всего.

И сегодня для того, чтобы перейти в Нуль (откуда начинаются все перебросы), мне надо просто идти на работу — жить и действовать обыкновенно. Только с большим пониманием всего.

ГЛАВА III

ВАРИАНТ С ТОЛСТОБРОВОМ

(Первое приближение к Нулю)

Опыт: перевернем включенные приемник и телевизор.

Результат: а) звучание приемника не изменилось; б) изображение в телевизоре перевернулось.

Обсуждение: опыт обнаруживает разную природу передаваемой этими приборами информации о мире. В приемнике она не зависит от системы координат, в телеке же — зависит. Становится спорной, сомнительной объективность существования т. н. «телестудий» — ведь если, к примеру, перевернуть на 180 градусов трубу телескопа, то показываемые им звезды и созвездия не перекувыркнутся же!

...С этого может начаться новая теория относительности и очередной «кризис физики».

К. Прутков-инженер. Исследователь, т. 5.

1

Я шагаю по булыжной улице, узкой и грязноватой, мимо заборов, из-за которых свешиваются ветви яблонь с капельками осевшего на листьях тумана, мимо одноэтажных особняков и клубничных гряд. Начинаю путь в институт и к Нулю. В институт-то просто, час ходу пешком или 20 минут в переполненном автобусе. А в Нуль-вариант попаду ли сегодня?..

Вот дом, в котором живет Ник-Ник,— единственный многоэтажный на всю Ширму. Живет ли? Сейчас определимся.

Поднимаюсь на второй этаж, прохожу по коридору, стучу — с замиранием сердца — в дверь: кто откроет? Если незнакомый, извиняюсь: ошибся, мол, этажом. Открывает Толстобров, бормочет:

— Ах, ты... входи!

В комнатке (не больше моей во времянке) мало мебели: диван, стол, стул, но глухая стена до потолка закрыта стеллажами с книгами. На столе среди бумаг и журналов — электроплитка, на ней в кастрюльке варится кофе.

— Ник-Ник, а почему не на кухне?

— А, ну их!

Понятно: соседи. Ох, эти соседи!

Ник-Ник — это Николай Никитич Толстобров, ведущий инженер. Если быть точным, он не толстобров, а толстонос, бровей у него

нет совсем. Он стар, разменял шестой десяток. Сейчас у него утренняя неврастения: движения замедленны, как у игуанодона, сопит, сосет сигарету.

Кофе взбадривает его. Он облачается в костюм из коричневой эланы, выпускает поверх воротник не очень свежей клетчатой рубахи. Нерешительно проводит ладонью по серебряной щетине на щеках: «А!..» — и берется за сапоги. Для меня его щетина сразу начинает мерцать.

...Значит, вот я где, в вариантах, близко примыкающих к Нулю, в джунглях наиболее вероятного. Их много таких, отличающихся не только на бритость-небритость щек или кто во что одет (это вообще мне не надо замечать), но и малыми событиями, ведущими к Нулю или уводящими от него, а также тем, кто из близко знакомых в них есть, а кого нет.

В Нуль-варианте Николая Никитича нет. После провала последней разработки он, человек самолюбивый и знающий себе цену, положил на стол Уралову заявление об уходе: «Тошно глядеть на ваш бардак!» Ах, если бы он знал, ч т о получится из того провала! И очень бы пригодился в Нуле — с его головой, опытом.

Вообще Нуль-вариант образовался как-то странно, не из лучших работников. Стриж и тот мерцает: то погиб, то появляется. Принцип отбора — скорее естественного, чем разумного — видимо, таков: попадают те, кто наиболее долго живет и работает в этом месте, тем обеспечивая наибольшую свою повторяемость.

Ник-Ник... Он во многих вариантах не здесь. В одних — он в Москве и не ведущий инженер, а член-корреспондент Академии наук, видный физик-экспериментатор, автор известного «эффекта Толстоброва» в полупроводниках, монографий, учебников; у него своя школа физиков. В других — его давно нигде нет.

Вот и сейчас он присутствует предо мной не совсем целым: левая кисть мерцает — то она есть, то ее нет, отчекрыжена выше запястья, а лучевые кости предплечья разделены хирургическим способом на два громадных багровых пальца, на клешню.

...В войну капитан-лейтенант Толстобров командовал подразделением торпедных катеров на Баренцевом море. Однажды все вышло наоборот: немецкая подлодка торпедировала его катер. Командир покидает корабль последним — и Ник-Нику ничего не осталось, как плыть в ледяной воде, держась за борт переполненной ранеными моряками шлюпки. Как ни странно, это его и спасло: все сидевшие в шлюпке замерзли на студеном ветру (не по-бытейски замерзли, когда достаточно попрыгать или выпить, чтобы согреться, а насмерть). Ник-Ник тоже потерял сознание, у с н у л в воде — но руки накрепко примерзли к борту. Шлюпку нашли, его оттерли, оживили, и он еще потом воевал.

А мерцающая для меня кисть-клешня — признак колебания

врачей: не оттяпать ли ее, отмороженную? В прифронтовых госпиталях с их перегрузкой ранеными ампутации вместо долгого лечения часто были неизбежны.

И снова шагаем по улице мимо особняков и заборов, мимо автобусной остановки с толпящимися на ней людьми. Они ждут автобус, как судьбу. Но переполненные коробочки маршрута 12 проносятся не останавливаясь, и треск их скатов замирает вдали. Люди волнуются, смотрят на часы.... А мы себе идем: я справа, Ник-Ник слева — чуть вперевалку и твердо ступая ногами. На работу надо ходить пешком — в этом мы с ним солидарны.

...Самое время определиться.

— Ник-Ник, когда вернется Стрижевич? — и с замиранием сердца жду удивленного взгляда, возгласа: «Так он же погиб!» — или ответа типа: «Годика через три, если будет себя хорошо вести...» (есть такой вариант и без блатной подоплеки, есть: вернулся мириться к Люське, а та с другим любезничает; и схлопотал пятерку за серьезные телесные повреждения у двух потерпевших... ох, Сашка!), а то и вовсе: «Стрижевич?.. Не знаю такого». Мир зыбок.

— Конференция окончилась вчера,— подумав, говорит Ник-Ник.— Значит, завтра должен быть.

Ясно! Предполагаемое стало реальностью. Стриж укатил на своей «Яве» в Таганрог на научную конференцию по микроэлектронике. Значит, и занимаемся мы именно этим. А следы его мотоцикла у времянки затоптали или смыл дождь. Я чувствую себя бодрее: я действительно близок к Нулю, возможно, сегодня и вернусь.

...Из Нуль-варианта мы переходим в иные через камеру эмоцитрона. Правда, и там психика определяет многое, без стремления не перейдешь, но все же есть техника, метод, показания приборов. А вернуться обратно — целая проблема.

Есть детская игра типа рулетки: отбитый пластинкой вверх шарик скатывается по наклонной плоскости, отражается от штырьков, попадает в лунки или проскакивает мимо. Вот и я сейчас вроде такого шарика. Правда, в отличие от него я обладаю достаточной сноровкой и волей, чтобы самому выскочить из «лунки»-варианта. Но куда дальше занесет, неясно.

Улица выводит нас на бугор, сворачивает влево — вить петли спуска. Мы идем прямо через свекольное поле с зеленой ботвой, по протоптанной нами вдоль межи тропинке; так если и не быстрей, то короче. Тропинку окаймляют рыжие кустики сорняков. Справа, за оврагом, аккуратные домики поселка Монтажников, слева — роща молодых лип.

А дальше, внизу, город, та сторона, откуда я вчера летел сюда, в дом на бугре. Он залит утренним туманом, только самые высокие здания да заводские трубы выступают из него по пояс. Он тот, да не тот. Видна вдали и серая лента реки, но мостов через нее всего че-

тыре. Больше труб и дыма из них, меньше высоких белых зданий на окраинах, вместо не построенных еще жилмассивов — сыпь частных домиков и дач среди огородов и садов. И, конечно же, нет ажурных стартовых вышек; торчит, правда, в центре одна — телевизионная.

Впрочем, согласно Тюрину, все, помнимое мной, наличествует здесь и сейчас, только гиперплоскости, в которых находятся недостающие вышки, мосты и дома, повернуты к нашей реальности ребром.

А еще дальше — за рекой, за городом, за сизым лесом на горизонте одинаковое во всех гиперплоскостях реализаций восходит солнце. Алые с сизым облака в этом месте встали торчком, будто их разбросал взрыв. Правее и выше облаков, сопротивляясь рассвету, блистает Венера.

Природа — и в той части, где ее не затронули дела человеческие,— однозначна и надвариантна. Вариантность — признак ноосферы.

2

Так! Место и настроение подходит для попытки выскочить из «Лунки». Нужна еще отрешающая мысль, чтобы подготовить м о м е н т а б с т р а ц и и. Ну, скажем... в ритм шага под горку и с некоторой натугой — вот такая:

— если взирать на нашу планету со стороны и еще быть, для общности, существом иной природы (я-надвариантный и есть иной природы, ниточка сознания, петляющая в многомерном континууме возможностей), то увидится совсем не то, что видим мы с Ник-Ником, два спешащих на работу инженера: не облака, не здания, не машины, не люди... иное;

— как вслед за перемещением по крутому боку планеты размытой линии терминатора, оттесняющей тьму, оживляется материя. Все замершее на ночь начинает шевелиться, колыхаться, сливаться в потоки и растекаться ручьями действия, пульсировать, закручиваться круговертями динамических связей, пузыриться. Так-то оно понятно, что пузырение материи суть возводимые здания, промышленные конструкции, емкости всякие, что потоки состоят из грузов и стремящихся на работы людей, а пульсируют, к примеру, скопления пассажиров на платформах и остановках. Но со стороны это имеет иной, какой-то простой первичный смысл: взошедшее над материками светило разжигает мощный ноосферный пожар дел и действий. И так ли уж существенны конкретности: не только в виде машин, людей, зданий — но и языки пламени действий, «разумного пожара»? Разве что самые крупные очаги его — города, вихри космической жизни на поверхности Земли.

Вот он, момент абстракции. Какой простор! Все множественно, неопределенно, размыто... и я будто не иду, а лечу.

Опомнился. Свекольное поле позади, тропинка ведет мимо ограды Байкового кладбища. Я на ней один, Ник-Ника нет. Почему? Я не зашел за ним? Он уволился? Не нашли ту шлюпку в Баренцевом море?..

И это тоже будто все равно.

Тропинка пересекает овраг, ведет в гору и постепенно расширяется в улицу. Слева на кладбищенской стене из красного кирпича сейчас будет табличка с названием — белые литеры по синей эмали, снизу эмаль отбита, выступила ржавчина. Ржавчина-то неколебима, а название?.. Приближаюсь, смотрю: все в порядке — «Чапаевская».

...Мне даже смешно: что в порядке? Что я оказался в «лунке» более своей, более родной, чем другие? Этого-то как раз мне и не нужно.

Поднимаюсь по тропинке, вспоминаю завершение вчерашнего разговора с батей — уже за обеденным столом.

— Бать, а Кутяков носил усы?

— Не... они у него не росли, молодой слишком был.

— А почему его убили?

— Почему, почему... война, стреляют, вот и убили. Почему польскую кампанию профукали, вот ты что спроси!

— Ну, почему?

— Бестолковщины было много, разнобою между фронтами! — Отец снова начинает горячиться.— Наш командующий Егоров Александр Ильич одно, а Тухачевский — другое. А ведь до Львова дошли, до Варшавы!

— Егоров, Тухачевский — это которых расстреляли? — брякаю я, не подумав.

У бати отваливается челюсть. Он смотрит так, что я помимо воли втягиваю голову в плечи: сейчас стукнет.

— Ты... в своем уме?! Кто же бы это их расстрелял, Маршалов Советского Союза! Кто бы такое допустил?! Ты думаешь, что говоришь?

— Ой, бать, извини! — спохватываюсь я.— Это я о процессе одном вспомнил, нашумевшем... там валютчики, налетчики. Фамилии у них похожие. Что-то в голове не так щелкнуло.

— Э, Алешка, тебе пить больше нельзя! — Отец отодвигает недопитую бутылку.

В его варианте 1937 год ничем не отличается от других. Да и про остальное подумать: ведь слава полководца помимо дел и подвигов его всегда содержит еще два ингредиента: а) геройскую смерть и б) талант описавшего все литератора (если он вообще наличествовал). Название «Чапаевская» присвоено двадцать пятой

дивизии после гибели Василия Ивановича; а ежели погиб не он, а Кутяков, ежели Фурманов и вовсе прославил Владимира Михайловича Азина?.. В сущности, здорово, что людей и дел для легенд всегда гораздо больше, чем самих легенд. Разве менее легендарной фигурой, чем В. И. Чапаев и И. С. Кутяков, был их преемник на посту комдива-25 Иван Ефимович Петров — герой обороны Одессы и Севастополя, затем командующий 4-м Украинским и 2-м Белорусским фронтами? А вот не повезло человеку в литературе, в эпосе — да и войну пережил...

3

Солнце поднялось, Венера стушевалась в его блеске. Улица ведет меня под гору, в нашем городе они все — с холма на холм. В редеющем тумане внизу, как киты, плавают троллейбусы. Отсюда до института два квартала вниз да один вверх.

Подхожу к двойным дверям без трех минут восемь. Сотрудник валит валом. Малиновая вывеска с золотыми буквами «Институт электроники» и республиканским гербом над ними. Ничего не имею против. В уме сразу определяется.

— работаю в лаборатории ЭПУ (электронных полупроводниковых устройств) четвертый год, но все еще рядовой инженер — не лажу с начальством и разработки были неудачные; сейчас занимаюсь микроэлектроникой, диодными матрицами; здание это моложе института, строительство задержалось из-за того, что в выемке под фундамент обнаружили остатки древних хижин да пещеры времен палеолита,— археологи свою науку двигали, неандертальца искали, а мы первый год работали по чужим углам, преимущественно в городских библиотеках.

У электрочасов, на которых мы отбиваем время прихода, толчея и обмены приветствиями.

— Привет, Алеша! Ты не в отпуске?

— Привет, нет — и нескоро буду... Здравствуйте, Танечка! С хорошей погодой.

— Здрасьте. Спасибо. И вас...

— Здоров, Алеш! — Тянет руку Стасик, мой и Сашкин школьный приятель, ныне сотрудник отдела электронных систем — самого важного, на него весь институт работает.— Ну, как там твои матрицы — идут?

— Здоров...— пожимаю руку.— Как тебе сказать... чтоб нет, так да, а чтоб да, так нет.

— Давай-давай, ждем их!

Ну вот, пожалуйста: уже «давай-давай»! С порога обдает меня

терпкий аромат институтских дел, проблем, взаимоотношений. Здесь выскочить из «лунки» потрудней, чем на бугре. Там я хожу — здесь работаю. И не просто, а вкладывая в свои дела и относящиеся к ним проблемы ум и душу.

...При всем том институт — зона наибольшей повторяемости меня (как и Кепкина, Стрижа, Уралова, Тюрина), а тем и зона наиболее вероятных переходов. Здесь мы бываем чаще всего и взаимодействуем — во всех вариантах. В эту зону входит — с радиально убывающей вероятностью — окрестность института и весь город. Но главное место ее, самый центр,— три комнаты в конце левого крыла на четвертом этаже: две исконно лабораторные и третья — бывшая «М-ОО».

(Лаборатория переполнялась людьми и оборудованием, в двух комнатах стало не повернуться. Стрижевич, предприимчивый человек, обмерял «М» складным метром, вышел задумчивый. «Тридцать квадратных метров под естественные надобности, мыслимое ли дело! Можно бегать и на другой этаж...» Мы надавили на Пал Федоровича, он — на директора, и из «М» получилась (в варианте ЭПУ) технологическая комната. Пригодилось обильное снабжение этого места водой, сливы. Соорудили вытяжной шкаф, кафельный химстол; оснастились — работаем.

Но я сильно подозреваю, что «М» присуседилась не к электронным и не к полупроводниковым нашим делам, а — к Нулю. К лаборатории вариаисследования. Именно как место наибольшей повторяемости. Всем местам место.

...Ведь неспроста мой первый — постыдный, прямо сказать,— переброс произошел так: когда накатила ПСВ (полоса сходных вариантов), и мне надо было совершать переходные, приспосабливающиеся к иной ситуации действия,— то они выразились в том, что я подошел к левому, выступающему в бывшую «М», краю помоста и принялся расстегивать штаны. Злоехидный Кепкин уверял потом, что я не полностью расплылся в камере, когда присаживался на унитаз... и все видели, и Алла видела; это он, пожалуй, врет, ведь должна восстанавливаться и стена между «М» и комнатой с эмоциотроном.

— Конечно же, директор колебался: отдать нам «М» под науку или нет,— объяснил великий теоретик Кадмич.— Где-то она и сейчас исполняет свое первоначальное назначение.

Поднимаюсь на свой этаж широкими лестничными маршами, шагаю через ступеньку; лифт у нас хлипкий и всегда забит. Коридор сходится в перспективу паркетным лоском и вереницами дверей к высокому окну с арочным верхом и урной около — месту наших перекуров. Последняя дверь направо — моя.

Вхожу в комнату в момент, когда Ник-Ник, целый и невредимый, переобувается возле двери в мягкие туфли. Хо! Значит, я всего лишь

не зашел за ним — или, зайдя, не застал? (Чему я, собственно, обрадовался? Ближе к Нулю не он, а Мишуня Полугоршков, ведущий конструктор... но тот мне не симпатичен. Вот она, раздвоенность!) Толстобров распрямляется с багровым лицом, ставит сапоги в угол, подходит к щиту, поворачивает пакетные выключатели. Вспыхивают сигнальные лампочки на осциллографах и термостатах.

Наш техперсонал: моя лаборантка Маша и техник Убыйбатько, подручный Стрижа,— тоже здесь, о чем-то калякают у вытяжного шкафа; при виде старших замолкают, расходятся по рабочим местам. Маша запускает вентилятор, включает в вытяжном шкафу электроплитки и дистиллятор над раковиной. Убыйбатько сел за монтажный стол, включил лампу и паяльник.

Наши с Ник-Ником столы у окна. У нас здесь микроскопы, точные манипуляторы, чашки Петри с образцами и заготовками — пластинками германия; на моем еще осциллограф ЭО-7 и тестер АВО-2. Сашкин, сейчас пустующий, стол — в правом углу.

Сажусь, достаю из ящика лабораторный журнал, ставлю дату, просматриваю прежние записи — ориентируюсь.

...Стало быть, разрабатываем мы с Толстобровом здесь и сейчас микроэлектронные матрицы для вычислительных машин. Я, как уже сказано, диодные, для перекодирования информации; он — фотоматрицы для устройств ввода. Мы изготавливаем их способом Микеланджело, так мы его называем — в память о его девизе: «В каждой глыбе мрамора содержится прекрасная скульптура, надо только убрать все лишнее». Мы так и делаем: на пластины трехслойного (n-p-n) германия осаждаем через маски ряды металлических шин с двух сторон, а затем травителями убираем все лишнее, так что на перекрестиях остаются соединяющие шины столбики полупроводника с n-p или n-p-n структурой. Они составляют схему сразу на сотни диодов или фоточувствительных точек. Только наши «глыбы» германия имеют толщину в доли миллиметра, а размер — в сантиметры. Если же такие матрицы собирать из обычных диодов и фототриодов, то они имели бы размеры книги. Выигрыш!

Еще недавно все это целиком заполняло мою душу. Сколько идей вложили мы в эти матрицы — и своих и чужих! Сколько отвергли! А некоторые еще ждут своего часа, ждут не дождутся... Вот — последняя в моем журнале — просится, аж пищит: образовывать диоды не искусными сложными травлениями пластинки, а в готовой микроматрице — пробивать электрическим импульсом один из встречных барьеров в столбике полупроводника. Заманчиво, как и все, сводимое к электричеству. Нешто попробовать?

...Нет, стоп, не надо. Такие опыты не делаются одной квалификацией — необходимо влезть всей душой, печенками. И готов, застряну в этой «лунке» надолго. Я надвариантный, мне нельзя. Я только ориентируюсь.

Значит, напрасно я тужился на бугре с великими мыслями: почти не сдвинулся, перешел в вариант почти такой же — только что за Ник-Ником не зашел. Все по-прежнему. Стрижевич на конференции в Таганроге... то есть в целом ситуация после провала «мигалки», но еще до катастрофы, в которой он погиб. И погибнет?!.. Ой, не хочу. Да-да, я понимаю: у надвариантника много жизней и много смертей, каждая имеет свою вероятность и свою логику — я не хочу, и все. От одной мысли об этом боль и злость. Надо дождаться, предупредить.

...Мы называем переходы из варианта в вариант «вневременными». Строго говоря, это не так, на них расходуется время, как и на другие дела. Но изменения обстановки и предыстории часто несравнимы с временем переброса; они куда больше — как для месяцев, лет, десятилетий. При этом многие варианты выглядят будто сдвинутыми во времени — одни в прошлое, другие в будущее — относительно исходных. Мы еще не понимаем, почему так получается: вольная, казалось бы, комбинаторика событий, решений-выборов... и на тебе! — но благодаря этому можно по известным вариантам предвидеть логику развития сходных с ними.

А по логике этого — Сашка доживает свой последний год. И это будет самая глупая из его смертей — глупей даже, чем разбиться на мотоцикле.

4

Комната между тем наполнилась привычными звуками: шипит вытяжка, сдержанно щелкают реле в термостатах, журчит в раковину струйка теплой воды из дистиллятора, мягко, как шмель, гудит стабилизатор напряжения. Травитель, раствор перекиси водорода, закипая в высоком стакане на электроплите, пенится, как шампанское; раскаленная спираль окрашивает жидкость в рубиновый цвет. Маша склоняется над стаканом и, наморщив лоб, опускает в раствор пинцетом серебристо-серые пластинки германия.

Хорошо мне сейчас здесь, уютно. Дома я.

...Между прочим, Маша мне не нужна, в Нуле ее нет.

...А техник Андруша Убыйбатько ничего, нужен. Во всех вариантах он паяет схемы, во всех сачкует. Вот и сейчас — сидит в картинной позе, чистит нос. Темный кок навис над лбом. Паяльник, поди, давно нагрелся.

— Между прочим,— не выдерживаю я,— Александр Иванович завтра возвращается.

Техник косит глаз в мою сторону, очищает палец о край стула, бурчит:

— Двухваттные сопротивления кончились.

— Вот так материально-ответственный, дожился! Выпиши.

— Так и на складе же нет! — кричит Андруша.

Хочу посоветовать поискать в ящиках, одолжить в других лабораториях, но спохватываюсь. До всего-то мне дело!

...Ник-Ник, который мне-надвариантному тоже ни к чему, трудится вовсю. Набычился над микроманипулятором, смотрит на приборы, слегка касается острием контакта края шин — измеряет характеристики своей матрицы. Солнце, мимоходом заглянув в комнату, просвечивает его редкую шевелюру, обрисовывает выпуклости черепа, пускает зайчики от никелированных деталей ему в глаза. Толстобров морщится, подносит пинцет с образцом к лицу, вставляет в правый глаз цилиндрик с лупой. Он сейчас похож на Левшу, который блоху подковал. Да и предмет у него не проще.

Откинул голову, надул щеки, выпустил воздух: не то! Кинул эту матрицу в коробку с браком, добыл пинцетом из чашки Петри другую, укладывает ее на столик манипулятора под зажимы.

Я люблю смотреть, как работает Ник-Ник. Его руки — не сильные, не очень красивые, с желтыми от табака подушечками пальцев и ревматически красными суставами — в работе становятся очень изящными, умными какими-то, точными в каждом движении. Это руки экспериментатора.

Можно выучить формулы, запомнить числа, описывающие свойства веществ,— но в прикладной работе от них будет мало толку, если ваши руки н е ч у в с т в у ю т эти свойства: хрупкость стекла и германия, гибкость медной проволоки, чистоту протравленной поверхности кристалла, неподатливость дюралюминия, вязкость нагретой пластмассы — и согласованность их в опытной конструкции... Вот, пожалуйста: Толстобров взял полоску отожженного никеля, приложил плоскогубцы, примерился — раз, раз, раз! — три изгиба. И готов никелевый держатель для матриц, который нечувствителен к травителю и захватывает образец нежно и плотно.

— Покажите, Ник-Ник!

Я неделю придумывал конструкцию держателя с винтами и пружинами, собирал их — и все было не то. А это — и для моих матриц годится.

Мелочь? Без таких «мелочей» не было бы ничего: ни колеса, ни ракет.

Руки экспериментатора... Мы почитаем мозоли на ладонях рабочих и хлеборобов, воспеваем нежные руки женщин, удивляемся изощренной точности пальцев хирургов и скрипачей-виртуозов. Но вот — руки экспериментатора. Из загрубил тысячеградусный жар муфельных печей, закалил космический холод жидкого азота; их обжигали перекиси и щелочи, разъедали кислоты, били электрические токи при всяких напряжениях. Загоревшие под ртутными лампами, исцарапанные (всегда поцарапаешься, а то и порежешься,

пока наладишь установку) — они все умеют, эти руки: варить стекло и скручивать провода, передвигать многопудовые устройства и делать скальпелем тончайшие срезы под микроскопом, орудовать молотком и глазным пинцетом, снимать фильм и паять почти незримые золотые волоски, клеить металлы и поворачивать на малую долю делений кониусы манипуляторов. В них соединилась сила рабочих рук и чуткость музыкальных, методичная искусность пальцев кружевницы и точная хватка рук гимнаста. Все, чем пользуются люди, что есть и что будет в цивилизации, проходит — еще несовершенное, хлипкое — через эти руки. Проходит в первый раз.

Потому что повторяться — не по нашей части. Наше дело: новое, только новое.

А ведь предо мной сейчас, можно сказать, ущербный Николай Никитич Толстобров — упустивший из-за войны свое время, растерявший здоровье и силу. Каков же он в полном блеске своих способностей?

...Обобщающая мысль — и сразу побочный эффект надвариантности: замерцала вперемежку с левой кистью у Ник-Ника та культяклешня, расщепленная на два громадных сизо-багровых «пальца». Но главное, и ею он работает: вставил в щель между «пальцами» хитроумный зажим, держит в нем на весу свою фотоматрицу — а в правой, здоровой, поправляет в ней что-то пинцетом. При хорошей голове и одна рука не плоха.

...Но я знаю и крайний вариант Толстоброва (смыкающийся и с моим таким же, где я «по фене ботаю, по хавирам работаю»): седой побирушка с одутловатым, красным от пьянства — а может, и от стыда? — лицом. Промышляет в пригородных поездах. Завернутые рукава гимнастерки обнажают д в е культи. К ремню пришпилена консервная банка для мелочи. Я тоже ему кидал — когда медяки, когда серебро.

Огрызок, который, не дожевав, выплюнула война. Без рук и голова не голова.

Э, к черту, прочь от этих вариантов! Мне надо в другую сторону. Волевое сосредоточение. Восстановились нормальные кисти Толстоброва — с желтоватыми пальцами, ревматическими суставами, четким рисунком синих вен.

...И повело в другую сторону: руки эти напомнили мне руки моего отца — тоже неплохого вояки и мастера. Только у бати кисти пошире да ногти плоские, а не скругленные.

Как он вчера горделиво посматривал, когда те двое пришли за советом!

Никогда я не видел ни отца, ни рук его. Судить о них могу только по своим — родичи говорят, что мы похожи. Командир разведроты двадцать пятой Чапаевской дивизии Е. П. Самойленко погиб при

обороне Севастополя в том самом 42-м году, в котором родился я. Неизвестно даже, где похоронен, в какой братской могиле. Только и знаю его по той фотографии комсостава дивизии, где он с краешку, молодой лейтенант.

А в варианте, где он жив, до обороны Севастополя дело не дошло. И близко там немцев не было.

5

Маша приближается ко мне походкой девушки, которая уверена в красоте своих ног; несет образцы.

— Алексей Евгеньевич, поглядите — хватит?

Рассматриваю образцы, сам думаю о другом. Поверхность пластинок германия серебристо блестит, нигде ни пятнышка, контактные графитовые кубики притерты проводящей пастой точно посредине — и паста не выступает из-под них. У меня даже улучшается настроение: что значит — школа!

Маша пришла к нам после десятилетки, сразу попала ко мне. Она смешлива, целомудренна, очень усердна — но умения, конечно, не было. И немало пережила огорчений, даже пролила слез от придирок этого зануды (моих то есть), порывалась уйти в другую лабораторию, пока научилась работать. Зато теперь в ней можно быть уверенным, не гадать всякий раз при неудаче опыта: кто подгадил — природа или лаборантка?

...Но дело же не в том, соображаю я сейчас, при такой ее дрессировке и аккуратности здесь и за Сашку можно быть спокойным: не перепутает Машенька наклейки на ампулах. А раз так, то зачем мне она и зачем мне быть здесь! Эта возня с образцами и матрицами для меня — бездействие в форме действия. Действие же мое совсем в ином...

Колеблюсь (как не заколебаться, когда решаешься на заведомое свинство!) — и разделяю реальность альтернативными ответами:

— Ну, блеск!

— Никуда не годится, грязно. Переделай все.

В «варианте числителя» Маша со скрытым достоинством откликается:

— Нет, а что же! — И щеки ее с двумя тщательно замаскированными прыщиками краснеют: приятно.

В варианте знаменателя она говорит растерянно:

— Алексей Евгеньевич... ну, я уже просто не знаю как! — И щеки ее краснеют от досады и обиды.

Она поворачивается, отходит... все, ее нет. Точнее, меня-надва-

риантного нет более там, где похваливший Самойленко-ординарный начинает работать с этими образцами, ни там, где обиженная вконец Маша исполняет тягомотную последовательность причин и следствий: подает Уралову заявление об уходе, объясняется с ним, он вызывает для объяснений меня-не-меня («Что это на вас, Алексей... э-э... Евгеньевич, никто угодить не может?!»), затем отдел кадров — и т. д., и т. п.

Эти грани реальности повернулись ко мне ребрами. И перешел я, похоже, весьма удачно.

...На высоком табурете за химстолом восседает, не доставая ногами до пола, миниатюрная брюнетка двадцати пяти лет. Белый халат эффектно облегает ее фигуру. Карие глаза, аккуратный прямой носик, четкий подбородок, округлые щеки — это однозначно, ибо от природы. А все остальное мерцает... боже, как мерцает: волосы то собраны в тюльпан, то распущены по плечам, то завиты на концах, то с пегими прядями над выпуклым лбом, то стянуты в жгут, то уложены на затылке кренделем; брови то широкие, то тонкие, то выщипаны и вовсе и наведены тушью; веки то с росчерком, то с изгибом, то подсинены, то в прозелень. А цвета и фасоны кофт, которые выглядывают из-за отворотов халата! А формы сережек и клипс в маленьких розовых ушках! А декоративные гребни и фигурные шпильки в волосах! А... Сколько же она времени проводит утром перед зеркалом в поисках варианта, который окончательно погубит мужчин? Сейчас она ощетинилась всеми ортогональными прическами, фасонами клипс и кофт, веками и бровями в n-мерном пространстве, как ежиха.

Во всех ты, душенька, нарядах хороша, золотце наше Аллочка. Крест наш, выдра чертова — Сашка из-за нее погиб!

...Не из-за нее, не держи сердца (да и не погиб еще здесь-то) — просто глупость случая. Она за свою оплошность наказана сполна.

Итак, Алла Смирнова, окончила исторический факультет пединститута, уклонилась от направления в село, предпочла электронику на лаборантском уровне. Меня она не празднует: во-первых, из-за равенства в образовании, во-вторых, чувствует мое неравнодушие. У нас многие на нее глаз положили — хороша. Управиться с ней в работе может только Ник-Ник, да и то не всегда.

Вот сейчас она шлифует пластинки германия корундовой пастой с водой — и брови ее (во всех модификациях) страдальчески выгнуты: грязная работа! Толстобров топчется около:

— Алла, пять микрон сошлифовывайте, ровно пять! Прошлый раз вы сняли больше. Да еще с перекосом.

— Ну, Николай Никитич,— отвечает та чистым, чуть вибрирующим контральто,— я ведь не электронный микроскоп! Если не получается. Придумали бы что-нибудь вместо шлифовки!

Пустая все-таки девка. Только и достоинств, что за словом в карман не лезет. Уж не приспособиться как следует шлифовать! Я знаю, чем это кончится: придется пластины перешлифовывать самим. «Алла, опять вы забыли обезжирить образцы в толуоле!» — «Ну, Алексей Евгеньевич, я же не запоминающее устройство!» — «Алла, опять вы...» — «Ну, Николай Никитич, я ведь не кибернетическая машина!» Нахваталась.

Прощай, Машенька! Здесь ты в лаборатории оптроники — и при встрече будешь проходить, опустив голову. Для микроэлектроники лучше тебя нет. Но в Нуль-варианте нужна вот такая. И ведь действительно нужна.

Ничего более не изменилось в лаборатории. Те же матрицы на моем столе и столе Ник-Ника, так же журчит вода из дистиллятора, шипит вытяжка, светит за окном солнце. Правда, Андруша Убыйбатько принялся за работу, тычет в схему дымящимся от канифоля паяльником.

Вариант, как все «околонулевые». Тем не менее у меня в душе сейчас чувство достижения, победы: я не перескочил наобум из «лунки» в «лунку», а передвинулся по Пятому измерению — хоть и на небольшую дистанцию — в намеченную сторону.

ГЛАВА IV

ИСКУШЕНИЕ ГЕРЫ КЕПКИНА

Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.

К. Прутков-инженер.
Советы начинающему гению.

1

И мне надо бы заняться делом: здесь от меня ждут продукции, матриц. Давай-давай. Сижу, как король на именинах. Но... образцы-заготовки, которые я несправедливо охаял, исчезли вместе с Машей. А те, что подготовит Алла — да когда еще подготовит-то! — воодушевления не вызывают.

Так, может, попробовать все-таки эту новую идейку, которая ну прямо просится, собака, манит своей простотой. Что, действительно, будет, если на перекрестке матрицы подать мощный разряд — пробойный? Кто знает, темное это дело — электрический пробой в полупроводнике; сроду не бывало ничего хорошего от пробоя... Мне ведь надо не просто сжечь барьерный переход в крохотном столбике германия, а так, чтобы соседний, находящийся в ста микронах, сохранился. А эффектно было бы: раз — и диод...

...Замечательно, что я — вариантоисследователь, умудренный бываньем во многих вариантах,— не знаю, что здесь и как. Ведь вроде и по специальности. В любом новом здании есть что-то абсолютное.

Постой, одергиваю я себя, стоит ли эта проблемка, чтобы влазить в нее всей душой? Ну, решишь, достигнешь, запатентуешь, получишь авторское свидетельство под шестизначным номером — и что? Еще Ильф писал: «Раньше в фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Но вот радио есть, а счастья нет». С тех пор чего только не прибавилось: телевидение, кибернетика, ядерная энергия, космоплавание, лазеры... а вопрос о счастье человечества остается открытым. Если на то пошло, то исследование Пятого измерения куда больше может дать для понимания природы «счастья», чем вся микроэлектроника — не то что одна эта идейка.

Толстобров, распаренный от общения с Аллой, идет к своему столу.

— Ник-Ник, что вы скажете о такой идее?

Излагаю. Выслушивает. Опирается о стол, скребет щетину на подбородке, морщит лоб:

— Видишь ли-и... идея, конечно, заманчивая. И простая. Она годится не только для матриц, но и для изготовления отдельных диодов. Вот это как раз и настораживает...

— Почему?

— Видишь ли-и... диоды на кристаллах со встречными барьерами делают десятки лет. И во всех технологиях один из переходов либо сошлифовывают, либо проплавляют, либо стравливают... уничтожают как угодно, только не электрическим пробоем. А это было бы проще, даже дало бы новые возможности: например, формировать диоды в готовых схемах, в электронной машине, тем перестраивая ее. Однако так не делают. Не знаю, не знаю!..

Ясненько. Если это действительно так просто, почему этого никто не сделал до меня? Это была бы сенсация в полупроводниках, мимо не прошло бы. Видимо, пробовали, да не вышло. Значит, не стоит рыпаться и мне... Чепуха! Раз этого нет, значит, и быть не может,— такой довод применяют к новым идеям тысячи лет. Надо попробовать, руки просят дела.

На чем бы? Что даст мне мощные импульсы тока?.. Обвожу комнату глазами: аналитические весы, осциллографы, гальванометр с зеркальной шкалой, микроскопы, настольный пресс... все не то. Ба! Станок точечно-контактной сварки приткнулся в углу возле двери — белый, в электронном исполнении, тип ИО. 004. Мы его так давно не используем, что уже и не замечаем. Ах ты мой хороший,— ждешь?..

— Ник-Ник, дайте матрицу из ваших бракованных.

— Хочешь все-таки пробовать?

— Ага.

Протягивает коробку с браком. О, у него его тоже хватает. Известное дело, микроэлектроника: одна деталь не удалась — изделие насмарку.

Для первой пробы мне достаточно не матрицы, а полоски из нее с десятком столбиков германия. Вырезаю себе такую, несу на листке фильтровальной бумаги к станку. Устраиваю полоску на нижнем контакте, медном выступе. Пальцы мои, индикаторы азарта, немного подрагивают, играют. А что... вот попробую — и получится. Утру нос несостоявшемуся академику.

Да, но работать без нужной оснастки!.. Станок, он для сварки, не для тонких экспериментов с полупроводниками. Положить на нижний электрод два куска жести, основательно — ногой через систему рычагов — придавить их верхним штырем, дожать до включения тока — проходит сварочный импульс. Это пожалуйста. Но у меня не куски жести.

Некоторое время сижу перед станком, успокаиваю дрожь рук. Мне хотя бы намек сейчас добыть: есть шанс или нет?.. (Лукавлю перед собой, лукавлю: мне нужно убедиться, что шанс е с т ь,— ради «нет» стоит ли стараться!) Пинцетом устраиваю полоску, тридцатимикронную шинку со стомикронными столбиками полупроводника и никелевыми нашлепками на них, под острие верхнего контакта.

Мне сейчас надо сделать фокус, подобный тому, который в старину исполняли виртуозы парового молота: чтобы со всего разгона коснуться многопудовым молотом положенных на наковальню часов, не повредив даже стекла. Надо, с одной стороны, прижать электрод так, чтобы включился ток, а с другой — не пережать, не раздавить германия. И все ногой.

Подвел электрод, дожал... хруп! — первого столбика нет. Перемещаю полоску на миллиметр, подвожу снова... хруп! — и второго нет. Хорошо, что это не часы.

2

— Привет химикам-алмихикам! Далеко прлостирлаешь ты рлуки свои в дела человеческие, химия! — раздается от двери; мысли мои сразу принимают иное направление.

Это с великими словами и пошлыми интонациями появился из соседней комнаты Кепкин, которого жена бьет. Кепкин-здешний, Кепкин-ординарный, не подозревающий о своей великой роли в вариаисследовании, особенно в создании Нуля. (Но, может быть, подозревает... да что там — знает?! Может, он не больше здешний,

чем я? Вероятность совпадения двух надвариантных состояний в одном здесь-сейчас практически равна нулю, но все-таки...)

На такое приветствие, конечно, никто не отзывается, но Геру это мало трогает. Он подходит ко мне, с размаху бьет по плечу:

— Слышь, ты! Выключи свою игрушку и слушай.

Хруп! — третьего столбика тоже нет. Я в ярости поворачиваюсь:

— Слушай, хоть я и не твоя жена!..

Но Кепкин пренебрегает репликой. Его продолговатое, как огурец, лицо выражает таинственность.

...Поскольку Герка любит пораспространяться о моем первом переходе по Пятому измерению... на унитаз, не вижу причин замалчивать историю его переброса. Тоже было на что посмотреть. Но, чтобы стало понятней, начать надо со статей об «южноамериканском эмоциотроне».

Статьи эти нашел он; их перепечатывал в переводе с испанского (которого, понятно, никто из нас не знал) один наш академический журнал, далеко не самый солидный, такой, что грешил и популяризацией, иногда даже фантастикой. Да и первоисточник был ему под стать: какой-то объединенный инженерный вестник латиноамериканских республик «Ла вок де текнико» — «Голос техники». Статьи трактовали как об упомянутой машине, так и о результатах исследования на ней нейропсихических рефлекторных сетей и сложного поведения многострадальных жертв науки — собак.

Сам эмоциотрон находился в институте нейропсихологии в эквадорском городе с прелестным названием Эсмеральдес, на берегу Тихого океана. Собак для него, похоже, ловили по всему побережью, для них эта машина была страшнее атомной бомбы. Идея опытов, впрочем, была передовой и актуальной: перейти от изучения искусственно изолированных воздействий на организм (ну, те же павловские опыты, когда у собаки выделяется слюна и желудочный сок сначала от вида пищи и звонка, затем только от звонка... опыты с двумя-тремя факторами, которые все переживают и поныне) к комплексам. Чтобы были воздействия по многим входам сразу: и вид пищи, и свет, и звуки, предвещающие опасность, соблазнительные запахи самки, жара-холод, дождь, вибрации — словом, как оно и в жизни бывает. Потому что не сводятся комплексные впечатления к сумме элементарных, это же ясно.

Для подобных опытов требовалась вычислительная машина — да не обычная, быстродействующий электронный идиот, а самообучающаяся, с гибкими связями, обобщающей памятью, внутренней перестройкой; такие относят к классу персептрон-гомеостатов. И она у них, похоже, была. Была и камера комплексных воздействий; в нее помещали исследуемых псов, фиксируя их там ЭСС (электродной считывающей системой).

Об этой системе стоит подробнее. Тюрин, когда прочитал о ней, зябко повел плечами:

— Ну... до такого только в Южной Америке могли додуматься!

— А по-моему, нет,— возразил я.— Видишь, среди авторов указан некий Ф. Мюллер? Не иначе как эсэсовский врач, убежавший от виселицы,— его работа. Или его отпрыск и достойный воспитанник. Неспроста же система зашифрована довольно прозрачно: «эс-эс».

— Возможно,— согласился Кадмич.— Бр-р!..

Исследователи не применяли ни вживленных электродов, ни укрепленных на шкуре клемм. По науке это правильно: такие электроды — сами по себе изрядные воздействия. Было почти некасаемое считывание биотоков: каждый электрод — заостренный на иглу электрический контур — подводился микрометрическим винтом к нужному месту (вблизи позвоночника, у головного мозга, около хвоста, носа, пасти, на животе и т. п.) так, что возникал некий «саркофаг» из острий. Собака не могла пошевелиться, ее сразу кололо; даже взлаять или взвыть она не могла — для этого же надо раскрыть пасть. «Издаваемые животными звуки, как и его выделения и движения, не могут быть однозначно истолкованы электронной машиной,— педантично писали авторы: С.-М. Квадригес, тот же Мюллер и Б. Кац.— Картину распределения нервных потенциалов могут поставить только сами эти потенциалы». Словом, три четверти собак гибли еще до опытов, на стадии отбора и привыкания к ЭСС,— бесились. Уколовшись об один заостренный контур, псина, естественно, пыталась отдалиться от него, натыкалась на другие, шарахалась и от них — и так со все возрастающей амплитудой, с нарастанием страха и боли. Таких приканчивали. Остальных, зафиксировав в камере тысячами игл, экспериментаторы нагружали различными комплексами впечатлений и воздействий: приятными, неприятными, смешанными с нарастающей силой звуков, запахов, вибраций... вплоть до мчащей на собаку машины на стереоэкране. Эти собаки, как правило, тоже не переживали опыт. «Нейрофизиология предстрессовых состояний, а также стресса, коллапса и бешенства собак изучена нами с наибольшей полнотой»,— не без самодовольства отмечали авторы.

Но наиболее всего нас, инженеров-электронщиков, заинтересовали не эти результаты, а так называемый «феномен четырех собак» — собак под номерами 98, 412, 2750 и 3607 (числа говорят о размахе опытов), которые при некоторой предельной нагрузке отрицательными воздействиями... исчезли из камеры. Были — и нет. Электронная машина некоторое время, до минуты, регистрировала их «присутствие» в виде потенциалов и импульсов, затем и она отмечала нуль. Исчезновение собаки № 3607 удалось заснять на кинопленку.

«В наш век кинотрюков доказательная сила этой съемки, разумеется, равна нулю,— писали добросовестные авторы.— Мы отдаем себе отчет и в том, что само сообщение об этом феномене бросает тень на наше исследование, заставит кое-кого усомниться в истинности его результатов. Тем не менее мы сообщаем о нем, потому что это — было».

Настырный Кепкин настолько заинтересовался, что добыл в республиканской библиотеке две подшивки «Ла вок де текнико», обложился ими и словарями испанского языка, искал: нет ли еще чего-нибудь на эту тему? И нашел. Заметка в форме письма в редакцию (так научные журналы публикуют непроверенные сообщения) извещала, что одну из исчезнувших собак, сеттера темной масти с приметным желтым пятном (№ 2750), обнаружили на окраине Эсмеральдеса — изможденную, грязную, в репьях; на хвосте была привязана консервная банка. Пес побывал в переделке. Авторы (на сей раз только Мюллер и Кац; Санчес-Мария Квадригес, видный физиолог, вероятно, испугался за свое реноме) изучили жестянку, надеясь установить, куда ж попал пес из камеры.

Банка была из-под говяжьей тушенки известной бразильской фирмы «Торо». Но в магазинах города консервов с такой этикеткой (бычья голова на фоне пальм и моря) не было; продавцы сомневались даже, поступали или они когда-нибудь в продажу. Запросили фирму «Торо» в Рио: когда выпускали тушенку в таких банках, где продавали? — и получили обескураживающий ответ: никогда не выпускали. Этикетка была признана малопривлекательной и забракована, ее не наклеили ни на одну банку тушенки. «Научный факт, каким бы странным он ни казался,— пытались свести концы с концами авторы письма,— подлежит обсуждению. Наше резюме таково: поскольку банок с такими этикетками не было в прошлом и нет сейчас, то их время, видимо, еще не пришло. Следовательно, собака № 2750 перешла из камеры эмоциотрона в будущее (три других, вероятно, тоже), а затем наш мир настиг ее».

Кепкин — личность несерьезная, любитель розыгрышей. Он приволок как-то в лабораторию автомобильное магнето, подвел провода от него к двум ввинченным снизу в стул шурупам — и, когда кто-то садился на стул, крутил ручку; севшего подбрасывало на полметра. Мы ему платим той же монетой. И когда он рассказал о письме в редакцию, даже совал журнал: «Ну, прлочитайтё сами!» — мы его подняли на «бу-га-га». Этот шельмец желает, чтобы мы убили несколько дней на перевод с испанского, а потом будет ржать (рлжать), указывать пальцем: чему поверили! И мы — Стриж, Радий и я — послали его подальше.

...Так было во всех вариантах — кроме одного. Того, в котором теории «2^n» и «собака у столбика» не остались пустым трепом за бутылкой вина. Здесь Кадмич очень логично доказал, что южно-

американские собаки удалялись вовсе не в светлое будущее, чтобы вернуться оттуда с банкой на хвосте, а — по принципу наименьшего действия — в иные измерения.

Но об этом речь пойдет в своем месте. А прежде — как сам Герочка-то наш, знаток испанского, флибустьер и неустрашимый гидальго, переходил по Пятому.

...Кепкин в стартовом кресле, пульс нормальный, костюм обычный (это входит в программу, чтобы обычный — максимум вероятия). Электроды ювелирно подведены к «акупунктурным точкам» его тела не только через кресло, но и — к голове, лицу, шее, рукам — посредством электродных тележек (наш вид южноамериканской ЭСС применительно к человеку: не такой жестокий, упор больше на сознательность). Я за пультом «мигалки», Алла Смирнова на медицинском контроле, Стриж (в том варианте, где он есть) ассистирует. Тюрин переживает.

Седьмая попытка «божественного» переброса с упором на сверхсознание. Первые шесть не дали ничего. Кепкину задано внушать себе отрешенность, покой, ясность — воспарить над миром. «Все до лампочки...» — доносится к нам с помоста.— «Все до срл...» Алка негодующе хмыкает в углу.

Индикаторы на пульте показывают приближение резонанса с Пятым, полосы сходных вариантов.

— Герка, ...товсь! — И я включаю музыкальный сигнал, способствующий отрешенности и переходу: в нем музыкальные фрагменты из Вагнера, моцартовского «Реквиема», Шестой и «Фатума» Чайковского — все вселенское, горнее, потустороннее — в ревербирующем электронном звучании.

Нажатием других клавиш откатываю электронные тележки — чтобы Кепкину было свободно двигаться, совершать приспосабливающиеся к переходным вариантам действия. Все затаили дыхание.

И ничего. Резонанс кончился, сигнал затих, стрелки индикатора ушли вправо,— а Гера по-прежнему в кресле на помосте излагает свое «кредо»:

— Все до лампочки... Все до срл...

— Хватит, слазь,— говорит ему Саша, потом напускается на Аллу: — А ты не хмыкай под руку. Подумаешь, слово сказал!

Кепкин сконфуженно выбирается из кресла, спускается к нам.

— Слушай, у тебя что — нет уверенности? — сочувственно спрашивает его Тюрин.— Не веришь в возможность переброса?

— Он в себя не верит! — Я вырубаю питание.

— Да нет, я верлю...— Гера сам расстроен.— Только что-то останавливает... Предчувствие какое-то.

— Да он просто боится,— мелодично произносит Алла.— Я же

по приборам вижу. Пульс начинает частить, давление падает, выделение пота, дрожь в животе, в промежности... словом, сердце в пятках.

Кепкин беспомощно смотрит на нее, пытается шутить:

— А какими прлиборами ты обнарлуживаешь, что серлдце уже в пятках?

Смирнова ясно смотрит на него — и не отвечает. Это тоже ужасно.

— Что ж, раз боишься, будем перебрасывать «собачьим» способом,— решает Стриж.— По-южноамерикански. Чтобы сердце ушло дальше пяток — и тебя утянуло.

Итак, попытка следующая. Когда Герку усадили и зафиксировали электродами, Сашка показал ему его магнето:

— Узнаешь? Сейчас подсоединяю к электродам, кои вблизи самых деликатных мест,— и если задержишься в кресле, крутну, не я буду! Начали.

«Музыка» при приближении ПСВ была теперь не та: рев пикирующих бомбардировщиков, взрывы, раскаты грома, грохот обвала. И нарастающий жар и свет в лицо от надвигаемых прожекторов. И замахивание предметами перед расширившимися глазами. И высказывание Герочке всего, что мы о нем думаем...

Стрелки индикаторов вправо — полоса резонанса кончилась. С нас катил пот. Дрожали руки. А Гера, закаленный трехлетним общением с нами, остался в кресле, не перешел. Правда, магнето в ход мы, конечно, не пустили. Доказал Алле, что ничего не боится, голыми руками не возьмешь.

— Вот Уралов,— ехидно сощурился Кепкин, высвобождаясь,— тот бы давно прлидумал, как перлебрлосить. Наш Пал Федорлыч. А вы!..

Шли первые опыты. Уралов, наш могутный шеф, умотал от них в отпуск. От греха подальше. Чтоб в случае чего ответственность на нас. И унизить нас сильнее, чем сопоставив с ним, было невозможно.

— Я хоть и не Уралов, но придумал! — объявил на следующий день Стриж. Он позвал Кадмича и Алку — мы принялись разрабатывать сценарий.

— Попробуем на тебе еще один способ,— сказал я Кепкину.— Способ неземного блаженства. С участием Аллочки. Если не перейдешь — все, отбракуем.

— Давай! — Герка глядел на Смирнову с большим интересом.

...Электроды мы расположили иначе: чтобы Алла могла стоять почти вплотную к Кепкину, зафиксированному в кресле, гладить его по щекам, голове, касаться рук (которыми тот, увы, не мог ее обнять), обдавать запахами парфюмерии и своего тела, и говорить чарующим голоском — говорить, говорить:

— Ну, Герочка, неужели вы не сумеете сделать то, что удается и Александру Ивановичу, и даже этому... Самойленко? Я всегда была уверена, что вы интереснее, содержательнее их, только недостаточно настойчивы. Соберите свою волю — и!..

— Зачем же мне перлебрасываться, Аллочка, в иные варианты,— возражал разомлевший Кепкин,— когда мне здесь с вами так хорлошо!

— А может, в иных нам будет еще лучше? — Смирнова искусительно приблизилась грудью к лицу Геры.— Ведь способ называется неземное блаженство. Вот и надо стремиться к нему, милый Герочка.

Я за пультом слушал да облизывался.

Тюрин стоял на стреме, выглядывал в приоткрытую дверь. Наконец шепнул мне: «Есть! Они в коридоре».

Теперь оставалось дождаться ПСВ. Она не замедлилась — и все совпало отлично:

— индикаторы показали приближение резонанса: я включил музыкальный сигнал, кивнул Радию; он зажег над дверью в коридоре табло «Не входить! Идет эксперимент» — только на сей раз оно означало приглашение войти;

— и Стрижевич ввел в комнату Лену Кепкину, плотно сложенную женщину с широким чистым лицом, темными бровями и усиками над верхней губой; не знаю, что он говорил ей, выдерживая в коридоре, только вид у нее был решительный, губы плотно сжаты.

— Все назад! — Я нажатием клавиш откатил от Геры электродные тележки.

Смирнова с возгласом: «Ах, боже!..» — отскочила, одернула халатик.

Гера увидел восходящую на помост супругу. Лицо его выразило смятение. Он беспомощно шевельнул руками, жалко улыбнулся, ерзнул в кресле — и исчез. Был и нет.

Конечно, это было жестоко по отношению к Лене. Она едва не грохнулась в обморок. Дали воды, успокоили, заверили, что вечером Гера вернется домой, как обычно, ничего страшного не случилось, обычное внепространственное перемещение и т. п. Так оно, кстати, и было, мы не врали Лене: вернулся домой после работы во всех вариантах Кепкин-ординарный.

Но главное — опыт удался.

Определенно могу сказать, что Лена Кепкина своего Геру не бьет — жалеет и любит. Просто была как-то в коридорном перекуре высказана такая гипотеза. Кепкин на свою беду завелся: «Что-что?! Меня-а?!.» И пошло. У нас это просто.

Но после такого перехода ему теперь трудно доказать обратное.

...В варианте, где Сашка до Нуля не дожил, все придумал я сам.

А за Леной послали с надлежащей инструкцией техника Убыйбатько.

У Нуль-варианта тоже есть варианты. Тот, который со Стрижевичем,— дельнее, выразительней.

3

— Прлисутствовал сегодня прли интерлесном рлазговоре,— сообщает Герка, беря стул и усаживаясь возле сварочного станка.— Ехал в служебном автобусе вместе с дирлектором и Выносовым. Наверлно, их машина испорлтилась. Выносов меня, конечно, узнал, спрлашивает: «Ну, как там у вас обстановка?» — «Ждем ученого совета»,— отвечаю. «Скорло будем обсуждать,— говорит,— только не поступите прлежде с Павлом Федорловичем, как прлидворные с Екатерлиной...» Алка,— Кепкин поворачивается к лаборантке,— что он имел в виду?

Той льстит, когда у нее консультируются по истории. Но сейчас она отвечает кратко и с превосходством:

— При мужчинах нельзя.

— Ну и ладно,— Гера снова поворачивается ко мне.— Потом Выносов говорлит дирлектору: «Непрлиятная, говорлит, ситуация». А тот ему: «Все из-за скорлопалительности. Торлопимся заполнять штатное рласписание, берлем кого ни попадя». А Выносов «Но, Иван Иванович, все-таки Урлалов создал лаборлаторию!» А дирлектор: «Да, но что создала его лаборлатория?» Вот.

...Нет, конечно, передо мной сейчас Кепкин-здешний, по уши погрязший в делах и отношениях этой н. в. линии. А где тот, мой коллега, куда его занесло?

Когда я позавчера переходил из Нуля, его не было уже дней пять. Вернулся ли?

Я спрашиваю:

— Ну — а вывод какой?

— Вывод? Шатается Пал Федорыч-то. Дирлектор — он ведь, так сказать...— Гера смотрит на меня со значением.

— Чепуха. Подумаешь, директор сказал... Выкрутится Уралов и на этот раз, ему все как с гуся вода.

— Знаешь,— Кепкин оскорбленно встает,— когда ты прликидываешься идиотом, у тебя получается очень похоже. Прлосто один к одному!

Смирнова фыркает за моей спиной.

Я тоже поднимаюсь:

— И из-за подслушанной сплетни ты отвлекаешь меня от дела?! Постой... что это у тебя под глазом? Граждане, у него под глазом синяк.

— Опять?! — с хорошо сделанным сочувствием произносит Толстобров.

— Где? Где?! — Гера смотрится в зеркальную шкалу гальванометра.— Это чернила...— Он слюнит палец, пытается стереть, но поскольку пальцы в тех же чернилах, синяк становится еще заметнее.

Тем временем его окружают все.

— Похоже на отпечаток утюга,— определяю я.— Тыльная сторона. Хотя бы в полотенце заворачивала.

— Кино-о! — стонет Алла.

— Герман Игоревич,— скалится Убыйбатько,— вы бы сбегали в медэкспертизу, взяли справку о побоях — и в суд!

Кепкин теперь предельно лаконичен. Он берется за ручку двери, обводит всех взглядом исподлобья:

— Пар-ла-зи-ты! — и выходит.

Минуту в лаборатории длится веселье, потом все утихомириваются. Только Андруша еще долго хмыкает и крутит головой над схемой.

Все-таки Кепкин перебил настроение, отвратил от идеи. Слишком многое напомнил. «Да, но что создала его лаборатория?» Вот именно: одни попытки и провалы. Под водительством Павла Федоровича Уралова.

Неужели он и здесь выкрутится на ученом совете? Вероятней всего, да.

Ведь вышел он цел и невредим из всех вариантов провала «мигалки», даже катастрофических, в которых сотрудник погиб. В таких случаях снять начальника следует хотя бы из соображений приличия, а вот нет, обошлось. Доктор Выносов за него горой, пестует в ученые.

Но сейчас Паша шатается, Герка прав. И если поднапереть всем, то?.. Ведь он еще «и. о.», диссертации не сделал.

...Ну, вот — отвратив от эксперимента, втянул меня другим концом в водоворот лабораторных страстей этот черт картавый. Так я завязну надолго.

Закончу-ка я лучше опыт на сварочном станке, закруглюсь хоть с этим для душевной свободы.

Прилаживаю снова на нижнем электроде наполовину изуродованную матричную полоску. Осторожно подвожу верхний штырь к искорке германия с никелевой, с мушиный след, нашлепкой. Дожимаю педаль — и... хруп!

Мысленно произношу ряд слов, заменяемых в нашей печати многоточиями.

Нет, я что-то не так делаю. Надо иначе. Как?..

ГЛАВА V

ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ ДЕЛАЕТ ПАССЫ

Карась любит, чтобы его жарили в сметане. Это знают все — кроме карася. Его даже и не спрашивали — не только насчет сметаны, но и любит ли он поджариться вообще.

Такова сила общего мнения.

К. Прутков — инженер. Мысль № 95.

1

На подоконнике зазвенел телефон. Встаю, подхожу, беру трубку:

— Да?

— Лаборатория ЭПУ? Попрошу Самойленко.

— Я слушаю, Альтер Абрамович. Здравствуйте.

— Алеша, здравствуйте. Алеша, ви мне нужен. Надо якомога бистро списать «мигалку». Она же ж у вас на балансе! Зачем вам иметь на балансе неприятности? Надо списывать, пока есть что списывать.

— Ясно, Альтер Абрамович, вас понял. Иду.

Делаю мысленный реверанс станку и идее: ничего не попишешь, надо идти. Хотел попробовать, честно хотел, но... то Кепкин, то вот Альтер — не дают развернуться.

— Техник Убыйбатько, подъем! Пошли в отдел обеспечения, «мигалку» будем списывать.

— Ну-у, я только распаялся! — недовольно вздыхает Андруша. Встает, снимает со спинки стула пиджак в мелкую клетку, счищает с него незримые пылинки, надевает. Придирчиво осматривает себя: туфли остроносо блестят, на брюках стрелочки — все в ажуре, от и до. Андруша у нас жених.

Мы идем.

...Тот разговор во времянке, статья из «Ла вок де текнико» и «мигалка» — три источника и три составные части Нуль-варианта. Из разговора родилась теория, статьи дали первый намек на ее практичность, открыли путь к методу. А из «мигалки» возник наш советский эмоциотрон.

(Собственно, название «эмоциотрон» нам было ни к чему — куда вернее бы «вариатрон» или «вариаскоп». Но на начальство, в частности, на доктора Выносова, неотразимо действуют доводы типа «Так делают в Америке», особенно если не уточнять, что в Южной. А что там делают, эмоциотроны? Значит, и быть по сему.)

Сейчас можно смотреть на все происшедшее философски: нет

худа без добра. Ведь именно потому, что не получился нормальный вычислительный агрегат, мы и смогли, добавив по Сашкиной идее необходимые блоки, преобразовать его в персептрон-гомеостат, чувствительный к смежным измерениям. Благодаря этому получились наши интересные исследования, мир расширился.

Только нет у меня в душе философичности, эпического спокойствия.

...На кой ляд Паша поставил «мигалку» на баланс? Ах да, это же было готовое изделие: Электронно-Вычислительный Автомат ЭВА-1. Все мы свято верили, что сделали вещь.

Тогда лаборатория наша (как и все в этом новом институте) только начиналась. Начиналась она с молодых специалистов Радия Тюрина, Германа Кепкина, Лиды Стадник, которая сейчас в декрете, Стрижевича и меня; Толстобров появился через год. Молодые, полные сил и розовых надежд специалисты — ни студенты, ни инженеры. Экзамены сдавать не надо, стипендия... то бишь зарплата — неплохая, занимаешься только самым интересным, своей специальностью... хорошо! Первый год мы часто резвились с розыгрышами и подначками, по-студенчески спорили на любые темы. При Уралове, конечно, стихали, двигали науку.

Уралов... О, Пал Федорыч тогда в наших глазах находился на той самой сверкающей вершине, к которой, как известно, нет столбовых дорог, а надо карабкаться по крутым скалистым тропкам. «Мы, республиканская школа электроников»,— произносил он. «Меня в Союзе по полупроводникам знают»,— произносил он, потрясая оттиском единственной своей (и еще трех соавторов) статьи. И мы, как птенчики, разевали желтые рты.

Нас покоряло в Паше все: способность глубокомысленно сомневаться в общеизвестных истинах (тогда мы не догадывались, что он просто с ними не накоротке), весомая речь и особенно его «стиль-блеск» — лихо, не отрывая пера от бумаги, начертать схему или конструкцию, швырнуть сотруднику: «Делайте!» и неважно, что схема не работала, конструкции не собиралась, потом приходилось переиначивать по-своему,— главное, Паша не отрывал перо от бумаги. Это впечатляло. В этом смысле у него все было на высоте, как у талантливого: вдохновенный профиль с мужественным, чуть волнистым носом, зачесанные назад светлые кудри, блеск выкаченных голубых глаз — и даже рассеянность, с которой он путал данные и выдавал чужие идеи за свои.

Впрочем, должен сказать, что к концу первого года работы над «Эвой» я ясно видел, что Павел Федорович в полупроводниках разбирается слабовато; впоследствии выяснилось, что Кепкин и Стриж были также невысокого мнения о Пашиных познаниях в электронике, а Толстобров и Тюрин — о его научном багаже

в проектировании и технологии. Но каждый рассуждал так: «Что ж, никто не обнимет необъятное. В моем деле он не тумкает, но, наверное, в остальных разбирается. Ведь советует, указует».

Автомат создавали в комнате рядом с нашей (в Нуль-варианте он, модернизированный, и сейчас там); затем распространились и сюда, в «М-00». Тюрин и Стрижевич выпекали в вакуумной печи у глухой стены твердые схемы на кремниевой основе: промышленность таких еще не выпускала. Возле окна мы с Лидой Стадник собирали из них узлы, блоки — ощетиненные проводами параллелепипеды, заливали их пахучей эпоксидкой, укладывали в термостат на полимеризацию. У соседнего окна Толстобров с лаборантом в два паяльника мастерили схемы логики. В дальнем полутемном углу Кепкин, уткнув лицо в раструб импульсного осциллографа ИО-4, проверял рабочие характеристики полуготовых блоков. Посреди комнаты техник Убыйбатько клепал из гулких листов дюралюминия панели и корпус «Эвы».

А Павел Федорович величественно прохаживался по диагонали, останавливался то возле одной группы, то возле другой:

— Гера, теперь проверьте на частоте сто килогерц.

— Алексей... э-э... Евгеньевич, Лида! Плотней заливайте модули, не жалейте эпоксидки.

— Радий... э-э... Кадмиевич, ну как тут у вас? Темпы, темпы и темпы, не забывайте!

— Э-э... Андруша! А ну, не перекореживайте лист! Покладите его по-другому.

Кепкин высвобождал голову из раструба, глядел на Пашу, утирая запотевшее лицо, восхищенно бормотал: «Стрлатег!..»

Как мы вкалывали! До синей ночи просиживали в лаборатории — и так два с половиной года. А сколько было переделок, подгонок, наладок. Но — собрали.

Мы с техником спускаемся вниз, выходим в институтский двор. Солнышко припекает. Перепрыгиваем через штабеля досок и стальных полос, обходим ящики с надписями «Не кантовать!», стойки с баллонами сжатого газа, кучи плиток, тележки, контейнеры, пробираемся к флигелю отдела обеспечения. Вокруг пахнет железом, смазкой, лаками.

...Когда красили готовую «Эву», вся комната благоухала ацетоновым лаком. Мы тоже.

Вот она стоит — приземистая тумба цвета кофе с молоком, вся в черненьких ручках, разноцветных кнопках, клавишах, индикаторных лампах, металлических табличках с надписями и символами. Казалось, автомат довольно скалится перламутровыми клавишами устройства ввода.

Как было хорошо, как славно! В разные организации полетели

красиво оформленные проспекты: «В институте электроники создан... разрабо... эксплуати... быстродействующий малогабаритный электронно-вычислительный автомат ЭВА-1!» Из других отделов приходили поглазеть, завидовали. А мы все были между собой как родные.

Правда, многоопытный Ник-Ник не раз заводил с Пашей разговор, что надо бы погонять «Эву» при повышенной температуре, испытать на время непрерывной работы, потрясти хоть слегка на вибростенде — чтобы быть уверенным в машине. А если обнаружится слабина, то не поздно подправить, улучшить конструкцию.

Но какие могли быть поиски слабин, если в лабораторию косяком повалил экскурсант! Кого только к нам не приводили: работников Госплана республики, участников конференции по сейсмологии, учителей, отбывающих срок на курсах повышения квалификации, делегатов республиканского слета оперуполномоченных... Только и оставалось, что поддерживать автомат в готовности.

В роли экскурсовода Уралов был неподражаем. Он не пускался в нудные объяснения теории, принципа действия — зачем! — а бил на прямой эффект.

— Вот наш автомат ЭВА,— Павел Федорович движениями, напоминающими пассы гипнотизера, издали как бы обводит контуры машины.— Производит программные вычисления по всем разделам высшей математики. Включите, Алексей... э-э... Евгеньевич!

Я (или Александр... э-э... Иванович, или Радий... э-э... Петрович, или Герман... э-э... Игоревич) включал. Лязгал контактор. Вспыхивали сигнальные лампочки. Прыгали стрелки. Видавшие виды оперуполномоченные замирали.

— Набираем условия задачи! (Пассы. Я ввожу клавишами что-нибудь немудреное, вроде квадратного уравнения по курсу средней школы.) Вводим нужные числа... (Пассы. Я нажимаю еще клавиши.) Считываем решение!

— Где? Где? — волновались делегаты. Потом замечали светящиеся числа в шеренге цифровых индикаторов.— А! Да-а!.. Тц-тц-тц!

Входим во флигель. В большой комнате снабженцев галдеж, перемешанный с сизым дымом. Грузный мужчина со скульптурным профилем римлянина и скептическими еврейскими глазами сразу замечает нас:

— Ага, вот ви-то мне и нужен! — Он вылезает из-за стола, берет бумаги, направляется к нам.— Пойдемся. Ах, опрометчивый человек Павел Федорович! И зачем он поставил «мигалку» на баланс? Так бы списали по мелочам туда-сюда. А теперь... ведь сорок две тысячи новенькими, чтобы вы мне все так были здоровы! Еще утвердит ли акт главк, этот вопрос.

Альтер, как и все, не помнит уже официального имени автомата — «мигалка» и «мигалка».

...Все было хорошо, все было прекрасно. Потом приехала государственная приемочная комиссия, пять дядей из головных организаций. Дяди быстро согласовали набор испытательных заданий для «Эвы» — посложнее квадратного уравнения, опечатали дверцы и панели автомата, включили его на длительную работу; составили два стола глаголем — и принялись задавать вопросы, выслушивать ответы, знакомиться с чертежами, вести протокол.

На третий день работы автомат начал сбиваться, в числовых индикаторах вместо правильных цифр вспыхивали ненужные нули. Дальше — хуже. На пятый день, в разгар заседания комиссии, когда Павел Федорович со слегка перекошенным от неприятных предчувствий лицом обосновывал выбор именно такой схемы и такой конструкции, ЭВА совсем перестала отзываться на команды с пульта. Числовые индикаторы то с бешеной скоростью меняли цифры, то гасли; потом стали зажигаться все цифры сразу: сначала правая сторона (положительные числа), потом левая — отрицательные. Казалось, что на плоской бежевой морде автомата растерянно моргают красные узкие глаза.

Председатель комиссии, подполковник и кандидат наук Вдовенков, лысеющий брюнет, огляделся на предмет отсутствия женщин, почесал подбородок и спросил у Паши:

— А чего это он у вас подмигивает, как б...?

2

Мы втроем опять выходим во двор, направляемся в дальний его угол. Там, среди разломанных ящиков, погнутых каркасов и битых раковин стоит «мигалка». Точнее, то, что от нее осталось.

— Да-а...— тянет Альтер, останавливаясь перед ржавой коробкой с дырами приборных гнезд.— Даже крепеж поснимали, скажите пожалуйста! — Он пнул коробку, листы с облупившимся лаком жалко задребезжали.— Как после пожара.

Я стою в оцепенении: последними словами начснаб как бы свел вместе обширный пучок вариантов (в том числе и с пожаром в лаборатории); в них осталось ровно столько от нашей «Эвы», электронной собаки, угодившей под самосвал судьбы: одно шасси. Все по теории, по Тюрину.

...Подобно тому, как морской вал — мощный, крутой, зеленовато просвечивающий на солнце — разбивается, налетев на берег, на гейзеры брызг и изукрашенные пеной водовороты, так и «вал» наших трудов, мечтаний, замыслов, эмоций, творческой энергии раздробился после провала, разделился на множество ручейков-вариантов.

Среди них есть и сильно отличающиеся, и пустячные — да я все, честно говоря, и не знаю. Но грубо их можно разделить, как пустыню со львом, на две части: а) варианты, в которых у нас опустились руки (льва нет), и б) варианты, в которых они у нас не опустились (лев есть). Последние, разумеется, интересней.

После отъезда госкомиссии была создана внутриинститутская, которая выясняла, что подвело в «ЭВЕ» и почему. Подвело многое: густо залитые смолой модули плохо отводили тепло, от этого менялись характеристики микросхем; сработались кустарные переключатели; местами даже отстали наспех подпаянные проводники. Общий диагноз был: надежность.

Паша тогда выкрутился ловко. Модульные блоки собирал кто? Самойленко и Стадник. Микросхемы изготовлял кто? Стрижевич и Тюрин. Блоки проверял кто? Кепкин... Не умеют работать! Над нами нависло разгневанное начальство. Но Уралов все замял: ничего, они молодые, на ошибках учатся и т. п.— и потом еще ходил в благодетелях.

Отсюда ответвляются варианты, в которых Толстобров не вынес Пашиного бесстыдства и ушел (а здесь-сейчас он все-таки вынес и не ушел — колебался, значит), а также и те, в которых мы, предварительно сняв с «мигалки» все ценное, выставили ее в коридор, а затем и вовсе, чтобы не возбуждать насмешки соседей, сволокли на задний двор. Но ответвились и те, в которых мы в самом деле решили научиться на ошибках, попробовать еще раз, уже не полагаясь на «гений» Уралова. Новаторы Стрижевич и Тюрин предложили не повторять зады, а использовать самые новые технологические идеи — с пылу, с жару, из журналов и свежих патентов. «Если и будем делать ошибки, то хоть такие, на которых вправду можно научиться»,— высказался Сашка. Деморализованный Уралов согласился: авось кривая вывезет!

Поэты сочиняют произведения не только из слов. Стрижевич был поэтом-инженером, мастерством своим и идеями воспевавшим Технологию, Науку Как сделать — пообширней математики: без нее все остальные и посейчас находились бы на уровне Древнего Египта. Тюрин его хорошо дополнял. Прочие были на подхвате.

И получилось неплохо: универсальные микросхемы для вычислительной техники в многослойных пластинах кремния, напыления на них в вакууме через маски связующих контактов, увеличенные быстродействия... словом, см. авторские заявки и научные статьи. Из всего этого можно было собирать не только автоматы типа ЭВА-1, но и многое другое.

...И наверное (даже наверняка), были созданы «Эвы» и другие электронные устройства, приносят они и сейчас пользу науке и народному хозяйству; нам там хвала, премии и повышения в чинах.

Но я знаю не эти варианты, а лишь те, которые, переплетаясь и сходясь, вели к Нулю. А путь к Нулю шел через Сашкину гибель.

...И исходные настроения после провала «мигалки» здесь были иные: ну, теперь нас разгонят! Закроют лабораторию... Большого страха нет, без работы не останемся, терять нам здесь, кроме мудрого Пашиного руководства, нечего. В городе немало интересных институтов и КБ. Куда податься: в бионику, в кибернетку, в физику, в химию?.. Начали примеряться к тем проблемам, читать, спорить — помешали себе зонтиком в мозгах. Ассоциативно вспомнились и разговоры в моей времянке, статьи об «южноамериканском эмоциотроне» — тоже ведь лихой бред, не лучше теории информации или релятивистской электродинамики. Дальше — больше: а чего мы будем прислоняться к чужим идеям, почему бы нам не создать и не возглавить новое направление в науке! Разве Альберт Эйнштейн, когда придумывал свою теорию относительности, не был таким же сопляком и житейским неудачником, как мы?

Словом, это настроение создало в нас душевную раскованность, освобожденность — необходримую предпосылку далеко идущих умствований. И начали — сначала для веселья души, а чем далее, тем серьезней.

Пал Федорыч, могутный зав, здесь уже не пытался строить из себя гения и наставника. Он выслушивал наши суждения, не смея слова вставить, а затем отходил со смятением во взоре. По-моему, он опасался, что его могут арестовать вместе с нами,— а с другой стороны, если донести, так вполне могут самого упрятать в сумасшедший дом.

Так мы дошли, как до ручки, до вывода, что недостаток опростоволосившейся «Эвы», ее хлипкость, ненадежность — на самом деле достоинство, которое позволяет преобразовать ее в персептрон-гомеостат, сиречь эмоциотрон. Ведь все кибернетические устройства такого типа, обосновывал Стрижевич, обобщенно чутки к внешним изменениям, к веяниям среды именно в силу внутренней шаткости, переменчивости. Такую «ненадежность в заданных пределах» обычно организуют искусственно, хитроумными схемами обратной связи из надежных промышленных элементов.

— А нам и организовывать ничего не придется! Все есть. Надо только еще это достоинство «мигалки» усилить.

— Это просто,— поддержал я.— Будем поливать ее горячей водой, а потом сбрасывать со шкафа.

Здесь нервы Павла Федоровича не выдержали, и он, предоставив нам свободу действий (выбора-то не было: либо тащить «Эву» на задний двор, либо попытаться что-то сделать из нее), отбыл в длительный отпуск: для поправки здоровья и написания диссертации.

И начались у нас дела... Конечно, насчет поливания водой и

сбрасывания со шкафа я сказал так, для куражу; это не метод. Да и по уровню сложности «мигалке» было далеко до эмоциотрона. В ход пошли технологические импровизации Стрижа и Тюрина — те, да не те, что в смежных вариантах, ибо предназначались для иной цели. Для поимки «льва».

Варианты расходятся — варианты смыкаются. И сомкнулись все варианты с попытками довести «мигалку» до толку в одном простом решении: надо не тужиться самим с изготовлением множества разнообразных микросхем, а отдать кремниевые пластины-заготовки и все сопутствующие материалы на полупроводниковый завод, в экспериментальный цех. Там по нашему заказу исполнят всю черную работу, подготовительные операции, а мы затем сделаем с ними то, что чужим рукам доверить нельзя.

...И вот здесь на сцену выходит Алка Смирнова, дипломированный историк и лядащая лаборантка; и ампулы с тетрабромидом бора — сизо-коричневым мелкокристаллическим порошком, применяемым для вакуумной термообработки кремния, для образования в пластинах многослойных структур.

Утром отправлять материалы и документацию на завод, уже заказали машину, а вечером накануне, после конца работы, когда все разошлись, Стрижевич и Тюрин, проверяя напоследок, обнаружили, что Алла, дева высокого полета мыслей, наклеила на ампулы с бромидом бора совсем не те, от других реактивов этикетки! Когда они представили, какая от этого может произойти на заводе путаница, думаю, что даже у Кадмича волосы вокруг лысины встали венчиком. «Иди пиши новые этикетки, у тебя почерк красивый»,— распорядился Сашка, сам вывалил всю сотню ампул в раковину, под струю с теплой водой — смывать Алкину работу. Тюрин ушел в другую комнату, сюда, к нам,— и это спасло ему жизнь.

Что произошло со Стрижом, можно восстановить только предположительно. Наверное, когда он соскабливал размякшие этикетки, какая-то ампула выскользнула из пальцев, цокнулась о край раковины, разбилась... и здесь — после десятка лет применения этого порошка в полупроводниковых технологиях — обнаружилось, что при соединении с водой он образует детонирующую смесь. От взрыва в комнате повылетали стекла. Начался пожар. Кадмич вбежал с огнетушителем — и в одном варианте утихомирил пламя, в другом — нет. В том, где он не совладал с пожаром, от «мигалки» остался обгорелый каркас.

Потом и мы, и специальные эксперты проверяли этот эффект соединения бромида бора с водой: действительно, получаются внушительные взрывы. Было разослано специальное инструктивное письмо, которое все работающие с порошком должны были прочесть и в том расписаться. А тогда... неповрежденными у Сашки остались только одни ботинки.

...В фатальных происшествиях часто можно заметить отблеск какого-то вселенского, космического идиотизма. Почему именно в этом, во взрыве ампул, должны сомкнуться многие — и совершенно же разные, даже связанные не с нашим институтом, а с тем «п/я п...» — н. в. линии Стрижевича, человека и исследователя? Почему «мигалка» разбарахленная и «мигалка» после пожара — машины опять-таки р а з л и ч н о г о содержания, назначения и даже уровня — оставили после себя одинаково выглядящие каркасы (так и скелеты людей куда более схожи, чем сами люди)?

Ведь есть и вариант (благодаря которому Сашка все-таки «мерцает» в Нуле), когда они с Тюриным успели захватить еще не ушедшую домой Смирнову, ткнули носом в ошибку и заставили ее смывать этикетки. Так что вы думаете? Она все аккуратно смыла, ни одна ампула не разбилась.

На кой черт вообще нужно было их смывать, наклеили бы новые прямо поверх тех!

Почему, почему, почему?! Ответ, наверное, такой: у Вселенной свой счет и своя мера. События, предметы, различия, которые для нас имеют большое значение, для нее не имеют никакого, вот и все.

Конечно, и от Сашкиной гибели ответвилось много вариантов, в которых мы опустили руки, отшатнулись от замысла, разбежались по другим организациям. А там, где не отшатнулись, продолжали, тоже получилось немало вариантов-неудач; дело-то сложное, новое.

То есть можно сказать, что Нуль-вариант достигнут нами на самой верхушке всплеска труда и дерзаний, на пределе нашей — не только научной, но и человеческой — выразительности. Поэтому в него так нелегко вернуться.

3

Сейчас на заднем дворе актом списания мы заключаем-смыкаем все варианты, в которых у нас опустились руки.

— Ну-с, приступим,— Альтер Абрамович протягивает листы бумаги Андруше.— Пишите, молодой человек, у вас должен быть красивый почерк.

Польщенный техник устраивает их на крышке «мигалки», раскрывает авторучку.

— Мы, нижеподписавшиеся: начальник отдела материально-технического обеспечения Приятель А. А., инженер лаборатории ЭПУ Самойленко А. Е. и материально-ответственное лицо той же лаборатории техник Убыйбатько... проставьте свои инициалы, написали? — составили настоящий о нижеследующем...

Я слушаю — и впадаю в транс. Сам не знаю, какой я сейчас:

надвариантный или здесь-сейчасный. Ведь вот как оно бывает: можно что-то задумать, интересно вкалывать, подгоняя себя предвкушением успеха: можно склепать что-то впечатляющее. Но не дай бог, если из-за «давай-давай», из-за неучтенных мелочей при изготовлении или мелких промахов в проекте ваша машина откажет при испытании. Новое устройство часто называют детищем. Это не так: первый шаг ребенка самый безответственный — первый шаг машины самый ответственный. Споткнулась — все: в нее утратят веру, вынесут приговор «не получилось». Почему, кто виноват — это уже тонкости. Не получилось. Оттащат ваше неродившееся детище куда-нибудь, где коллеги из смежных лабораторий смогут укромно потрошить его для своих надобностей, и будет стоять оно, ободранное и страшное, как угрызение совести. И вы будете избегать проходить мимо него.

— ...в результате испытания на длительную работу, из-за демонтажа, а также воздействия атмосферных условий при открытом хранении,— монотонно диктует Альтер,— необратимо вышли из строя все остальные узлы.

«Про пожар бы надо еще,— думаю я.— Реквием в форме акта списания...»

И наконец заключительная фраза:

— ...считать полностью списанной. Лом в количестве... ну, скажем, пятьдесят килограммов, так, Алеша? — сдать на склад металлоотходов.

ГЛАВА VI

ВСЕ ВАРИАНТЫ ТЮРИНА

Требовать от человека, провозглашающего великие истины, чтобы он и сам следовал им,— значит требовать слишком многого. Ведь, провозглашая истины, так устаешь!

К. Прутков — инженер. Мысль № 46.

1

Когда я возвращаюсь, то замечаю в комнате приглушенную сосредоточенность. Все заняты делом. За моим столом сидит в вольной позе коренастый мужчина в темно-синем костюме. Волнистые волосы тщатся замаскировать розовую плешь. Белый воротник обтягивает шею с тремя крепкими складками. Широкие пальцы в светлых волосиках барабанят по оргстеклу на столе. Павел Федорович Уралов, прошу любить и жаловать.

Во мне все как-то подбирается. Заслышав мои шаги, Уралов

поворачивается всем корпусом, доброжелательно смотрит из-под белесых бровей блестящими голубыми глазами:

— Так как ваши успехи, Алексей... э-э... Евгеньевич?

Что меня всегда умиляет в Паше, так это его «э-э» перед отчествами сотрудников. Отвечаю уклончиво:

— Ничего, благодарю.

— Первые матрицы сегодня выдадим?

— М-м... нет. На той неделе.

— Хм! — Уралов встает, оказывается одного роста со мной. Энергично поводит широкими плечами.— А в отделе электронных систем ждут. Стенд собрали под них.

Слышать это неприятно. Черт догадал меня наобещать матрицы этому отделу. А все Стасик-Славик, он подбил...

— Я уж упросил их не прижимать со сроками. Не успевает, мол, исполнитель. Но самое крайнее к концу месяца надо дать!

Я не могу сдержать изумленный взгляд: неужели мы с Ураловым будем в тех же отношениях и к концу месяца, после ученого совета? Рассчитывать все-таки уцелеть?!.

...Не имеет значения, какой я сейчас разговариваю с Пал Федорычем: надвариантный или обычный, которому надо матрицы к концу месяца выдать. Есть варианты, где он берет верх надо мной, есть и такие, где не берет, даже напротив,— но нет таких, где бы мы с ним были заодно, в мире и согласии. Наше противостояние имеет тот же первичный иррационально-глубинный смысл, как и моя дружба со Стрижем. Конкретные обстоятельства будто и ни при чем, на поверхности. Он тоже чувствует это, насторожен.

А вот с к а к и м Ураловым я сейчас общаюсь? Он ведь тоже был в Нуле, перебросился оттуда — довольно странным образом — и больше мы там его не видели.

Пал Федорыч, наш благородный кшатрий, вернулся из отпуска в благополучный, с живым Стрижом, вариант Нуля — свежий, загорелый, осанистый. На готовенькое. Начал знакомиться с тем, что мы здесь без него... это... соорудили. Ознакомили. Преобразованная и расширенная комната, из которой было удалено все ненужное для эмоциотрона, произвела впечатление на Уралова своей функциональной цельностью. Два дня вникал в схемы, магнитозаписи, снимки.

— Так вы ж это... продемонстрируйте в натуре — что и как?

В натуре «что и как» демонстрировал Сашка, первый из нас, кто освоил быстрое скольжение по ПСВ туда и обратно. Это требует высокой собранности — быть в пятимерном мире, как в обычном, перемещаться усилием воли, будто шагать.

Итак, Стриж в стартовом кресле, в окружении электродов. Я за пультом, Алла на медицинском контроле. Тюрин вводит Павла Федоровича во все технические детали — и в голосе его, не могу не

отметить, дрожь искательности, чуть ли не подобострастие... (перед кем, Кадмич!).

Приближается ПСВ — довольно широкая, по приборам вижу: секунд на сто. Музыкальный сигнал резонанса. Алла поднимает пальчик вверх: состояние перебрасываемого в норме. Откатываю тележки с электродами. Сашка делает движение, будто устраиваясь в кресле поудобнее... и исчезает.

— Ого,— произносит Пал Федорыч.— А теперь там что?

Двадцать, тридцать, сорок секунд... На помосте возникает расплывчатое мелькание. Шестьдесят секунд, семьдесят — мелькание оформляется в Стрижевиче. Он стоит, опершись о кресло, в зубах дымящаяся сигарета — любитель эффектов!

— Между прочим, Павел Федорович,— говорит Сашка, сходя с помоста,— я сейчас был в варианте, в котором вы уже кандидат наук. И не «и. о.», а полноправный завлаб.

Я беру его сигарету, смотрю: «Кэмел»!

Уралов смотрит на Стрижа осторожно, но доброжелательно.

— Очень может быть,— произносит солидно.— Почему бы и нет!

— Пал Федорыч,— вступаю я,— так, может быть, и вы, а?..

Он смотрит на меня: в голубых глазках доброжелательности меньше, настороженности больше. Сомневается, шельмец, в моих добрых чувствах к нему, во всех вариантах сомневается.

— А вы тоже это... перебрасывались?

Я чувствую, как ему хочется закончить вопрос: ...в варианты, в которых я кандидат? — но стесняется человек. Конечно, Паше приятно было бы попасть туда — от всех провалов «мигалки», от шаткой ситуации, в которой оказался сейчас (доказали, что могут обойтись без него в решении т а к о й проблемы, утерли нос) — в добротный солидный вариант. Отдохнуть душой.

— Конечно,— говорю,— и не раз. Ничего опасного. При вашем здоровье, особенно после отпуска,— запросто.

— Главное, не дрогнуть душой,— замечает Сашка,— и вы сможете перейти волево, возвышенным способом.

— Ну, разумеется! — мелодично добавляет из своего угла Алка.— Не на «собачий» же переброс Павла Федоровича ориентировать.

Она поняла игру, включилась. Смотрит на Уралова с поволокой.

Решился Пал Федорыч. Все-таки в храбрости ему не откажешь.

Из стартового кресла он, когда накатила его ПСВ, исчез молча и без лишних движений. Волево. И... считанные секунды спустя из камеры донеслись звуки Бах! Ба-бах! и неразборчивые возгласы; потянуло сладковатым дымом. Через четверть минуты шум стих, позади рывком раскрылась дверь. Мы обернулись: это Уралов влетел в комнату, тяжело дыша и блуждая глазами.

Вид его был ужасен: правая щека вся в бурой копоти, под глазом зрел обширный синяк, нос — великолепный волнистый нос, мечта боксера-любителя — свернут вбок и багрово распух. На синем пиджаке недоставало верхней пуговицы. Светлые волосы всклочены.

— Там что — война? — спросил Стрижевич.

Казалось, Уралов только теперь заметил нас. Оглядел. Чувствовалось, что мысли его далеко.

— Какая война! Вы почему здесь?

Мы переглянулись.

— Так надо,— сказал я.

— А Кепкин где? — не успокаивался Уралов.

— Переброшен, еще не вернулся.

— Переброшен... н-ну, погоди мне! — Пал Федорыч будто в прострации шагнул снова на помост, сел в кресло, осторожно потрогал свернутый нос и — исчез. На этот раз окончательно.

Все произошло в пределах одной ПСВ.

Потом мы ломали головы: то ли Уралов хотел повторить эффектное возвращение Стрижа, но — вариантам не прикажешь — получилось со входом через дверь, то ли так произошло помимо его воли, когда, удалившись по Пятому измерению, налетел на что-то, сильно, судя по его виду, отличавшееся от кандидатского статуса. И его отбросило назад. Как бы там ни было, более Павла Федоровича в Нуле мы не видели.

...Так все-таки: к а к о й? Мы толкуем сейчас о диодных микроматрицах, я делаю вид усердия и озабоченности — может, и Паша так?

Надвариантный Уралов, причастный к Пятому измерению, воспаривший над миром простых целей и погони за счастьем,— в этом есть что-то противоестественное. Он не надвариантен, не может быть им. Он в н е в а р и а н т е н. Существует, и все — как дерево, дом, бык. И не матрицами он озабочен, не разработкой вычислительных автоматов или чего-то еще — своим благополучием и успехом. Всегда и всюду.

Я опускаю глаза, говорю смиренно:

— Хорошо, постараюсь к концу месяца.

Но Уралов заметил промелькнувшие на моем лице изумление, сомнение, иронию — начинает нервничать.

— Да вам и стараться особенно не надо, да! — В голосе появляются резкие нотки.— Все вам ясно, работа обеспечена... Надо только больше находиться на рабочем месте, меньше отсутствовать!

— Я уходил списывать мигал... то есть «Эву».

— «Эву»?! — У Паши перехватывает дыхание. Несколько секунд он не находит слов.— Кто вам позволил?!

— Надо же ее когда-то списать, там один каркас остался.

— Значит, вот вы как...— Пал Федорыч лиловеет.— Вот вы как, значит! Интригами занимаетесь в рабочее время, подкопами, самоуправством! Других результатов так от вас нет. Не выйдет!

(Спокойно, Кузя. Спокойно, Боб... или как там меня? — Алеша. Я существую в пятимерном мире. Заводиться не из-за чего, все до лампочки. Просто попал в штормовую ситуацию. Спокойно. Я существую в пятимерн... а, к какой-то матери!)

Равновесие рухнуло. Меня охватывает такая злость, что, будь у меня на загривке шерсть, она встала бы сейчас дыбом.

— Между прочим, вы сами обязаны ее давно списать! — ору в полный голос.— А не тянуть, не ждать чуда!

— А вы за меня не думайте, что я обязан, вы за себя думайте! За самоуправство со списанием «Эвы» вы ответите. Я отменяю акт!

— Тогда уж заодно представьте действующую «Эву»!

— Да! — сгоряча отвечает Паша.— Не считайте себя таким умным, а то много на себя берете. Как бы нам с вами не пришлось расстаться! — Он поворачивается и шумно уходит.

— Вот это вы правильно сказали! — кричу я вслед.

2

Минуту в комнате стоит оглушительная тишина.

У меня пылают щеки и уши. Фу... как я орал. Потерял лицо, надвариантник. Да, но в этой злобе как раз и сказалось знание иных вариантов — всех тех, в которых мы из-за Пашиной самодовольной тупости попали в беду.

— Ник-Ник, чего он взвился из-за «мигалки»? Мало ли мы списывали!

— Не понимаешь? — Толстобров подкручивает маховичок микроманипулятора.— Ведь акт пойдет на утверждение в главк.

— Ну и что?

— Все равно не понимаешь? А то, что не каждый день в главк присылают акты на списание сорока с лишним тысяч рублей. Все там будут вникать, вспоминать о провале «мигалки». Сделают внеочередное вливание директору. А это еще более отвратит его от Уралова.

— Так это же хорошо. Ай да я!..

— Это б ы л о б ы хорошо...— Ник-Ник косится в мою сторону.— Если бы ты не ляпнул Пал Федорычу про списание. И кто тебя за язык тянул? Пошел бы акт потихоньку куда надо. А теперь все, Уралов еще придержит. Выразит несогласие с формулой списания или что-то еще... имеет полное право. И приготовься к тому, что припишет тебе черные интриганские намерения.

— Так я ж не знал!

— Думать надо.

Настроение у меня портится окончательно. Вот: высшее образование имею, многие науки постиг, даже пятимерность бытия... а не сообразил. Элементарно сглупил. Там, где у нормального делового человека, у Уралова, того же Ник-Ника, мгновенно срабатывает вся цепочка связей (сорок тысяч — главк — втык директору — втык Паше), у меня ничего не сработало. Не заискрило даже. Это была возможность пошатнуть Уралова, помочь ему рухнуть. Она упущена начисто, поскольку я совершенно неколебимо ляпнул про списание.

А сколько вообще я благоприятных возможностей упустил из-за того, что не сообразил вовремя, тюфяк нерасторопный! И всего-то требовалось промолчать, не распускать язык... досада.

Снова тихо в лаборатории. Все работают, я переживаю.

Медленно, как-то нерешительно открывается дверь. Входит высокий сутулый мужчина с мягким лицом ребенка, редкими светлыми волосами, обрамляющими лысину. Радий Петрович Тюрин, старший инженер и аспирант-заочник,— он же Кадмий Кадмич, Скандий Скандиевич, Калий Кальциевич и так далее; кличек у него больше, чем у матерого рецидивиста, вся таблица Менделеева.

Радий Тюрин — основоположник № 1, чья мысль властвует над нами в Нуле и переносит в другие варианты. Сам он, правда, по слабости здоровья и в силу некоторых черт характера Нуль ни разу не покинул; единственная попытка перебросится закончилась вызовом реанимационной установки. Теперь там он чувствует себя перед нами виноватым.

Он везде себя чувствует таким. Мощное имя Радий ему действительно не подходит.

— Привет,— тенорком негромко говорит Кадмич здешний; так негромко, что, если не ответят, можно истолковать себе, будто не расслышали.

И действительно никто не отзывается. Лишь я киваю ему издали. Взглядываю на его грустное лицо и — подобно тому, как, оказавшись в знакомом месте, вспоминаешь все связанное с ним,— вспоминаю — уточняю относящееся к этой «линии н. в. и н. д.» Тюрина (термин его, но здесь он об этом не знает). Худо ему, вижу. И не поможешь.

...Та последняя шутка Стрижа: «Иди пиши новые этикетки, у тебя почерк красивый». Первоисточник ее — Пашин деспотизм. «Радий... э-э... Скандиевич, перепишите. У вас почерк красивый». И он останавливает опыт, прерывает расчеты — садится перебеливать докладную шефа. При этом Кадмич внутренне негодует, потом делится с нами возмущением. Единственным человеком, который никогда не узнавал о его недовольстве, оставался Уралов.

И здесь-сейчас, накануне ученого совета, Кадмич терзается. угрызается, весь в нерешительности. С одной стороны, надо противостоять Паше, объяснить всю его несостоятельность как научного руководителя — кому же, как не ему, Тюрину. А с другой — Пал Федорыч разговаривает с ним сейчас ласково и без «э-э», Пал Федорыч обещает продвинуть его статьи в институтский сборник, Пал Федорыч собирается замолвить перед директором слово, чтобы Тюрина передвинули вперед в очереди на квартиру. А число публикаций ему, соискателю, надо набирать. А без квартиры ему, семейному, с мамашей, женой, ребенком — и вторым на подходе — совсем зарез. Вот те и наука...

А когда один на один с приборами или перед листком бумаги — сильней и смелей Кадмича нет.

3

Извлечения из теории Радия Тюрина.

Движение и преобразование тел и их систем, течения всех процессов в мире — осуществляются по п. н. д. (принципу наименьшего действия). В согласии с ним текут реки, падает и разбивается выпущенный из рук стакан, пробивается сквозь асфальт растущая трава, планеты приобретают, формируясь, именно шарообразную, а не иную форму, летят в пространстве по эллипсоидным спиралям, а не мотаются по произвольным траекториям. Принцип сей отвечает на все умозрительные вопросы «почему так, а не...?» — потому что именно такое преобразование требует от материи наименьших действий, минимального расхода энергии.

Это по физике. По теории вероятностей преобразования по п. н. д. всегда наиболее вероятны. А по теории информации, третьей общей науке, принцип наименьшего действия суть п р и з н а к н а и б о л ь ш е г о с х о д с т в а между соседними в пространстве-времени (то есть мгновенными) образами материального волнения. Цепочку таких наиболее похожих мы и различаем как трехмерный движущийся и меняющийся образ — реальное тело.

Но... но! — нет оснований ограничивать мир (особенно если в нем присутствует разум — сила, превращающая возможное в реальность) только четырьмя измерениями: три пространственных+время. Принцип наименьшего действия — наибольшего сходства — равноприменим и к пяти-, шести, к n-мерным континуумам, ему все равно. А это значит, что — совершенно подобно тому, как движущееся тело может свернуть (или его можно повернуть) в пространстве — оно может свернуть и по пятому, шестому... по n-му направлению континуума. Мы не наблюдаем такого потому, что движения и процессы в нашем вещественно-полевом

мире заданы страшным напором потока времени; они «текут» в нем, относительные скорости их ничтожны по сравнению с его скоростью, скоростью света. Но это не означает, что такие «повороты» невозможны в принципе.

Какие тела наиболее способны к вневременным поворотам? Конечно, живые, активные. Для них ведь и п. н. д. не неумолимо-железный закон, а лишь наиболее вероятный путь движения и развития (та самая н. в. линия); отклонения от него хоть и менее вероятны, но вполне возможны. Мертвые тела падают, катятся под гору — живые же могут и подняться в гору, прыгнуть вверх... и вспрыгнуть на что-то.

Проще всего это объяснить на примере феномена четырех собак. Для них — для всех, собственно, подопытных собак в камере южноамериканского эмоциотрона — дальнейшее существование в нашем направлении времени (в плену ощетиненных электродов и ужасных комплексных воздействий) было не по п. н. д., не под горку. Оно им, попросту сказать, было не в жилу. А свернуть в пространстве (удрать из камеры) невозможно. Четырем псам из четырех тысяч повезло: приблизились цепочки их сходств в иных измерениях, ПСВ — они и дернули по ним. Важную роль в этом сыграла электронная машина; она почувствовала каким-то комплексным, множественным резонансом приближение полосы и, видимо, уменьшила энергетический барьер между соседними линиями н. в. и н. д.; без нее и эти четыре собаки сбесились бы — и все.

Для людей, обосновывал Кадмич, переход по Пятому (так мы стали обобщенно именовать все измерения сверх четырех физических, ибо им несть числа) облегчает наличие у них вариантного мышления. Что есть все наши планы, прикидки, как поступить или сказать, оценка возможных последствий... да и воображение, мечтания — как не попытки осмотреться и ориентироваться в n-мерном пространстве? «Я мыслю — следовательно, я существую... не только в пространстве—времени»,— развил Тюрин известный тезис.

Роль же электронной машины в этом деле именно та, что в ней с большим быстродействием просчитываются, моделируются, сравниваются множество вариантов, возникших в ее «мозгу» от исходных данных, полученных от окружающей среды «впечатлений». С большим быстродействием, вот что главное — для нас как бы все сразу, сейчас. Если эти варианты не умозрительны, моделируют, скажем, меня в участке окрестного мира — и если при этом извне, из n-континуума, подвалит цепочка моих сходств, то машина, предсказал Тюрин, должна отозваться на это особым поведением.

...Первое подтверждение теории было вот какое: Тюрин подошел к Кепкину с журналом, где был русский перевод статьи из «Ла вок де текнико»:

— Гер, раз уж ты у нас знаток испанского, проверь, будь добр,

по первоисточнику. По-моему, в этом месте,— он отчеркнул карандашом,— кое-что пропущено. Там должно быть не только, что персептрон-эмоциотрон еще десятки секунд «чувствует» присутствие исчезнувших собак, но и что потребление энергии им в это время резко падает.

— Хорлошо,— тот пожал плечами, взял журнал.— Завтрла.

На следующее утро он подступил к Кадмию Кадмичу с большими глазами:

— Ты что — рлазыгрлывал меня или знал?!

Действительно, переводчики (или редакторы журнала) выбросили фразы о том, то в моменты исчезновения собак машина работала, практически не потребляя ток от сети. Слишком уж то место показалось им забористым, покушающимся на закон сохранения энергии: откуда же энергия притекала, от собак?!

А по Тюрину так и должно было быть: поворот подопытного существа по ПСВ с последующим движением в новом русле наименьших действий и наибольших вероятий, в русле причин и следствий — был для машины как бы спуском с перевала; энергетически она уподоблялась катящемуся под гору троллейбусу.

4

Вот такой он в полный рост, Радий Петрович Тюрин, который здесь-сейчас, осторожно пробираясь между столами, приближается ко мне — и тоже с журналом в руке. Я присматриваюсь: красно-черная обложка, английское название — нет, это не «Ла вок де текнико», а «Джорнел оф апплайд физик» — журнал прикладной физики.

— Алеша, ты занят?

Ох, не с добром он явился, чувствую. Я еще после беседы с Ураловым не пришел в себя, сейчас он подбавит...

Колеблюсь — и разветвляюсь в ортогональных ответах:

— Занят!

— Нет, а что?

Вариант числителя: Тюрин смешивается, отступает с виноватой улыбкой:

— Ага... ну, хорошо. (Чего хорошего?!) Тогда я потом...— поворачивается к выходу. Минуту стоит около техника Убыйбатько, смотрит, как тот орудует паяльником. Но Андруша не обращает на него внимания,— и Кадмич пробирается к двери, перекладывает журнал из правой руки в левую, открывает дверь и мягко закрывает ее за собой.

Мне неловко и досадно на деликатность Радия. Чего он так: «Ты занят?..» Вот Кепкин не интересуется, занят или не занят, сразу бьет по плечу. Чего он приходил-то, статью какую-то хотел обсудить, что ли?..

Вариант знаменателя: Тюрин протягивает мне раскрытый журнал, указывает на короткую заметку:

— Вот прочитай.

Склоняюсь, читаю. Английский язык я, помимо института, изучал на платных курсах — и деньги не пропали зря. Некий Л. Тиндаль из технологической лаборатории фирмы «Белл» излагал — со ссылкой на свой свежеоформленный патент «способы многоступенчатой диффузии примесей в пластины кремния». Так... образуются многослойные структуры-«сандвичи» с чередующимися типами проводимости и барьерами между ними, а из них окислениями с наложением масок и травлениями можно образовать микросхемы различных типов и сложностей. Все ясно, это способ Тюрина, отзвук технологических дерзаний, проникший и в сей вариант.

...Здесь не было попытки спасти «мигалку», творческая стихия выплескивалась у кого как. Кадмич сам, без Стрижа, родил, рассчитал и опробовал этот способ дифференциальной диффузии на оставшихся пластинках кремния.

— Что ж, недурственно,— сказал Уралов, поняв после объяснений Тюрина суть и перспективы.— Очень неплохо. Надо нам с вами послать авторскую заявку. Радий... э-э... Петрович.

И, когда Кадмич перестал работать над способом, Паша делал круги, напоминал, а он отмалчивался или отговаривался, что перестало получаться. Заявку так и не послали. Это все, на что его хватило. А теперь вот — «сандвичи Тиндаля»...

Дочитываю. Поднимаю глаза. Вид у меня, наверное, лютый — Кадмич слегка меняется в лице.

— Уйди с глаз!..— Мне хочется его стукнуть.

— Ага... ну, хорошо,— говорит он, беря журнал. (Чего хорошего?!.) Отступает — кривая виноватая улыбка на детском лице с голубыми глазами. Пробираясь к выходу, задерживается на минуту возле Убыйбатько — тот не обращает на него внимания — у двери перекладывает журнал из правой руки в левую.

И выходит в коридор — догонять ту свою половину. Согласно своей теории.

А мне неловко, досадно (ну чего я с ним так, ему ведь хуже, чем мне) и тоскливо, тошно — сил нет! Я легко могу представить, как в ортогональные от здешнего пространства-времени измерения оттопырились Алкины запасные прически и клипсы, ампутированная кисть-клешня Ник-Ника и его щетина... Но вот Радий Тюрин,

существующий в мире куда более основательно, чем, большими идеями,— а куда, в какие измерения запропастились черты его характера, я не знаю.

А ведь без них и теория бессмысленна, и любой метод.

ГЛАВА VII

ВАРИАНТЫ «PAS MOI»

Если хочешь чего-то добиться от людей, будь с ним вежлив и доброжелателен.

Если ничего не хочешь добиться, будь вежлив и доброжелателен бескорыстно.

К. Прутков-инженер.
Советы начинающему гению.

1

Нет, надо хоть как-то сквитать все эти неприятности, внести положительный вклад. Для самоутверждения надо. Меня ждет неоконченный эксперимент.

Возвращаюсь к станку. Снова устраиваю на нижнем электроде ту полоску от микроматрицы, половину столбиков которой я уже раздавил. Ну-с, попробуем еще один... хруп! — и он размололся под штырем верхнего контакта. Нет, этак я их всех передавлю.

Надо... ага! — штырь придерживать над полоской рукой, смягчать контакт. А ногой только включать педаль тока. Так будет точней. Экспериментатору негоже работать ногами, он не футболист! Ну-ка?

Шестой столбик под электродом. Подвел, придерживаю штырь в чутком касании с шинкой полоски. Нажимаю педаль... контакт!

...Меня отбрасывает к спинке стула. В глазах золотистые круги. Только через четверь минуты соображаю, что я гляжу на лампочку в вытяжном шкафу. Полоска улетела неизвестно куда.

Нет, к электрическому удару через две руки привыкнуть нельзя. Надо же, правой рукой я подводил верхний электрод, а левой придерживал полоску на нижнем. Сварочный импульс пошел через меня.

...Говорят, у электриков к старости вырабатывается условный рефлекс: не браться за два металлических предмета сразу; даже если один — нож, другой — вилка. Вот Толстобров никогда бы так не взялся за электроды. Может, и у меня будет такой рефлекс. Если я д о ж и в у до старости.

...А потом удивляемся: как это — полупроводники, микроэлект-

роника, слабые токи, малые дозы веществ... и экспериментатор вдруг врезал дуба! Очень просто. Вот сейчас пошел в будущее вариант «без меня» — «па муа», как говорят французы. И с немалой вероятностью: ведь перед тем, как сесть к станку, я поколебался, не вымыть ли руки. Тоже условный рефлекс, только технолога; лишь то и удерживало, что опыт не химический. А если бы я взялся за электроды влажными руками — хана.

Memento mori... Самое время действительно вспомнить о смерти.

Рождение и смерть — две точки во времени. Но если прибавить еще измерение, точки превращаются в линии. В некий замкнутый пунктир, выделяющий меня-надвариантного из мира небытия. И я знаю немало точек, за которыми меня нет сейчас.

...И даже до моего рождения. В начале войны, когда я был еще, как говорится, в проекте, мама, беременная на четвертом месяце, отправилась на митинг в городской парк. Должны были выступить приезжие писатели, среди них два известных, их по литературе в школе проходят. В ограде летнего театра собрались сотни горожан. Ждут — нет. Потом выяснилось, что и не собирались устраивать митинг-концерт, это была провокация лазутчиков. Стали расходиться — ворота площадки заперты, никто не открывает. А уже слышен вой сирен, ухающие завывания «хейнкелей» — воздушный налет. Мужчины сломали ворота. Только успели разбежаться, как два «хейнкеля» прицельно положили на летний театр по полутонной бомбе.

...В послевоенном голодном 46-м меня, четырехлетнего, истощенного, свалил тиф. Две недели без сознания, запомнил лишь одну подробность: в начале болезни мама как раз принесла полкотелка пайкового маргарина, рассчитывал полакомиться с хлебом и сахаром — но когда очухался, котелок был пуст. Плакал.

...Еще через пару лет подцепился за машину, которая на гибкой связке тащила другую. Именно за переднюю, на заднем борту ведомой не было места: машин мало, а нас, бедовых мальчишек, много. Приятели кричали предостерегающе, но я в упоении скоростью не слышал. Передний «студебеккер» затормозил, стал — и задний ударился бампером в него совсем рядом со мной. Даже прищемило рубашку. Для моей смерти машине надо было стукнуться чуть левей.

...А та припорошенная снегом полынья на Большом Иргизе, в которую ухнул обогнавший меня на коньках Юрка Малютин. Мы бегали на равнинах, но у него коньки были получше, «дутики». Ухнул и не показался более, лишь шапка осталась на воде — серая армейская шапка с завернутыми ушами.

...А мой мотоцикл, мечта молодости, на исполнение которой откладывал из тощих инженерных заработков, мой славный Иж! Тут уж вообще:

— случаев падения при обгонах вблизи колес встречного транспорта было четыре. (Один, самый памятный — с автоинспектором, который меня арестовал за лихую езду и конвоировал в ГАИ на втором сиденье. Рухнули на крутом вираже, на перекрестке: машины спереди, машины сзади... на метр ближе к ним — и конец);

— случаев езды пьяным ночью по крымскому серпантину (и без фар, при свете луны, с девушкой на втором сиденье, которая взбадривала меня объятиями... поэзия!) было... один. Другого и не надо, в сущности, это та же полутонная бомба с «хейнкеля». Как уцелел!

— а случай в ночном Львове, когда долго плутал в поисках Самборского тракта, наконец нашел, дал на радостях газок... и влетел на ремонтный участок, на вывороченные полуметровые плиты брусчатки. Руль вырвало из рук, мотоцикл в одну сторону, я — в другую, головой на трамвайные рельсы — и налетает сзади сверкающий огнями трамвай. «Вот и все»,— не успел даже испугаться. Только досада — будто отнимают недочитанную книгу.

Трамвай остановился в метре от головы.

Каждый случай опасности подкидывает нашу жизнь «орлом» или «решкой» — в пятимерном бытии выпадают они оба.

...И во всех тех вариантах так же уходят чередой за горизонт сейчас плоские, как льдины, четко черченные облака в ясном небе. Во всех них курлычат вон те серые дикие голуби на карнизе дома напротив; не изменились, наверное, ни рисунок коры, ни прожилки в листьях просвечиваемых солнцем лип вдоль Предславинской. Мал человек! Значительными мы кажемся более всего самим себе.

Новая мысль вдруг прошивает меня не хуже сварочного импульса насквозь: ведь сейчас я подвергался гораздо большей опасности, чем нанесение еще одной «точки» на контуры моего пятимерного бытия! И это-то скверно: в каждом варианте боль больна, смерть страшна — хоть вечно жить ни в одном не останешься. Но сейчас от электрического удара мог отдать концы и в а р и а и с с л е д о в а т е л ь. Пропало бы новое, еще не привившееся в людях знание. Разрушилась бы связь между вариантами по Пятому измерению, возможность переходить от одного к другому.

У нас представление о смерти, как о чем-то абсолютном. Но т а к а я смерть, выходит, еще абсолютней? Надо быть осторожней.

2

Тихо в лаборатории. Никто ничего и не заметил.

(А какой переполох сейчас рядышком по Пятому вокруг моего

бездыханного тела! Все сбежались, испуганы, вызывают «скорую», пытаются делать искусственное дыхание... бр-р!) Ник-Ник что-то записывает в журнал. Техник Убыйбатько проверяет схему, тычет в нее щупы тестера и заодно покуривает. Смирнова выдвинула наполовину ящик химстола, склонилась над ним — читает в рабочее время художественную литературу. Заунывно щипит вытяжка, журчит вода из дистиллятора.

— Алка, ты про что читаешь, про любовь?

— Алка на базаре семечками торгует! — огрызается Смирнова и сердито задвигает ящик.

— Гы! — оживляется Убыйбатько.— И почем стакан?..

— Алла, я же говорил вам: когда нет работы, читайте «Справочник гальванотехника»,— сурово произносит Толстобров,— или «Популярную электронику». До сих пор ни схему собрать, ни электролит составить не умеете!

Лаборантка подходит к книжному шкафу, достает то и другое и возвращается на место, попутно одарив меня порцией отменного кареглазого презрения. Ничего, цыпочка, на работе надо работать.

3

...Ох, как повеяло на меня Нулем от этого незначительного эпизода! Я снова почувствовал, что здесь он, здесь — даже Алла сидит на том же месте, только за другим столом, с приборами медконтроля, да нет стены, отделяющей нашу комнату от соседней. Там она тоже, когда нет дела, любит читать книги, выдвинув наполовину ящик стола (может, и сейчас, если никто не засек... да там сейчас из старших только Кадмич, а он если и увидит, ничего не скажет). Но к а к и е книги!

Накануне последнего переброса я ее застукал, забрал книжку в мягкой синей обложке — «Очерки истории», издательство «Мысль». Полистал — бросилась в глаза фраза: «В декабре 1825 года в результате восстания войск Петербургского гарнизона, к которому присоединилось население города, а затем и всей страны, пал царизм. Династия Романовых была низложена, император Николай I (вошедший в историю под уточненным названием Николай ПП — Первый и Последний) был вместе с семьей и ближайшими сановниками заключен в Петропавловскую крепость. В июле 1826 года по приговору народного трибунала бывший царь и его братья Михаил и Константин, возможные претенденты на престол, были повешены на острове Декабристов (названном так в честь победивших царизм) в устье Невы...»

— Ого! — я заинтересовался, стал просматривать.

Ну, скажу вам, это была история!.. В ней Франция сохранила

репутацию революционной страны мира, ибо в ней в 1871 году п о б е д и л а Парижская Коммуна; установленный ею социальный порядок держится более ста лет вместо ста дней. В той истории победила Венгерская социалистическая революция 1919 года и Гамбургское восстание рабочих. Победили испанские республиканцы, а о генерале Франко упомянуто лишь, что за попытку мятежа в 1935 году он был расстрелян.

Да что о фактах новейшей истории — даже восстание Спартака завершилось, согласно этим очеркам, созданием на юге Италии «республики свободных рабов», которая продержалась около сорока лет. Два поколения там вместо рабов жили свободные люди, даже более того — з а в о е в а в ш и е свою свободу. Такие события могут менять историю.

Я листал, читал, ошеломленный. На меня от этой диковинной книжки терпко повеяло первичным смыслом процессов в ноосфере. Почему победили эти восстания? Потому что на их сторону встало явно больше людей, а против — меньше. Откуда они взялись? Да из числа колеблющихся, которые решили **не так.**

...Философия стопроцентной причины обусловленности исторических процессов в сущности философия рабов — и как таковая она по воздействию на умы равна религии, вере в бога всесильного и вездесущего, без воли которого волос с головы не упадет. Недаром же именно люди слабодушные, мелкие так любят объяснять, обосновывать, почему они промолчали (где могли правду сказать), уступили (где могли бы не уступить), предали того, кого сами и спровоцировали на рискованное действие, взятку дали, «за» проголосовали, когда надо бы «против»... Ведь потому, вонючки, и обосновывают, что сами чувствуют: могли альтернативно поступить, могли, могли! — зуд совести своей утихомиривают.

Колебание есть колебание, выбор есть выбор. А уж с выбранного решения начинается далее логика причин и следствий — и она может развиться в нечто совершенно иное. Не бывает «хаты с краю» — мы участвуем в исторических процессах и бездействием, бросаем на ту или иную чашу весов даже свою нерешительность.

Снести покорно удар бича надсмотрщика — или обрушить на него при случае обломок в каменоломне. Выйти на Сенатскую площадь — или отсидеться дома, пока не станет ясно, чья берет... И, возможно, в варианте, где на острове Декабристов повесили не декабристов, а царя, даже Майборода (донесший на Пестеля и «южан») поколебался-поколебался — и не донес.

— Ты откуда взяла эту книгу?

— Александр Иванович дал.— Смирнова ясно смотрела на меня снизу вверх карими глазами.

— Какой Александр Иванович?..— Я похолодел: это был вариант Нуля, до которого Стриж не дожил.

Но Алла уверила меня, что да, именно Стрижевич появлялся здесь — и не через двери, а в кресле на помосте, то есть прибыл из каких-то вариантов. Немного полюбезничал, оставил на память книжку, дождался своей ПСВ и исчез, заявив, что там ему интересней.

Я показал книгу Тюрину, обсудив с ним «новость о Стриже». Мы сошлись на том, что это у Алки пунктик, который лучше не затрагивать. Мы ведь знали о вариантах, в которых она после гибели Сашки тронулась рассудком; а здесь комплекс вины проявил себя, вероятно, такой гипотезой: Стрижевич жив и все хорошо.

— Да, но книга-то, очерки истории!..

— А, мало что напишут и напечатают!

Так и не разобравшись во всем этом, я ушел на следующий день по ПСВ в хороший вариант с живым батей и женой Люсей.

...Но ведь и в этом варианте, я знаю, повезло не только моим близким и маршалам РККА Егорову, Тухачевскому и Блюхеру. В нем жив и здравствует Владимир Владимирович Маяковский, могучий старик, поэт и прозаик, главфантаст планеты Земля. Жив, не сложил голову под Каневом (где не было ни немцев, ни боев) Аркадий Гайдар. Не захлебнулся в литературно-мещанском болоте, не удавился от тоски Сергей Александрович Есенин — и помимо поэмы «Черный человек» широко, еще шире известна его большая поэма «Люди-человеки», кроме «Персидских мотивов», все зачитываются циклами «Индийские мотивы», «Японские мотивы», «Яванские», «Замбийские», «Кубинские»... поэт хоть и стар, но на месте не сидит, любит путешествовать. Живут и здравствуют М. А. Булгаков и А. П. Платонов.

(И крутится около них такой круголицый темноволосый Жора-сибирячок. Галоши носит. И хоть дали ему эти корифеи благодушные рекомендации, его все не принимают и не принимают в Союз писателей — из-за склонности к графоманству.)

Больше того: в школе там мы проходили з а к о н ч е н н ы й роман А. С. Пушкина «Арап Петра Великого» и другие его произведения периода 40—60-х годов XIX века. Проходили и философские поэмы позднего Лермонтова. То есть и они оба дожили до седин.

...А ведь варианты жизней т а к и х людей нельзя свести к колебаниям типа «удавиться или погодить», «вызвать на дуэль клеветника или пренебречь», «сжечь второй том «Мертвых душ» или послать в редакцию» — это на поверхности. Эти люди — обнаженный нерв своего времени и среды; если последняя подводит их к подобным выборам — это значит, что выбора-то уже и нет.

Житейские неурядицы обычного человека, шаткость здоровья, неважный характер, ранимость могут отравить жизнь ему самому, самое большее, его близким, соседям, сослуживцам. Но драма ге-

роя — драма народа. И нужны были очень многие н е т е выборы из массива колебаний множества людей — не только современников, но и в предшествующих поколениях — многие иные решения и поступки, иная обстановка, чтобы не произошли драмы Пушкина, Шевченко, Лермонтова, Маяковского, Есенина, Гоголя и многих, многих еще.

Замечательно, что в вариантах, где не случились эти л и ч н ы е трагедии, не произошли и многие драмы народа нашего. Здесь взаимосвязь. (И вообще в них — при той же средней продолжительности жизни населения — короче век не у поэтов, не у изобретателей, не у правдолюбцев, а у лихоимцев, конъюнктурщиков, бюрократов, шантажистов, демагогов и прочего отребья: именно они преимущественно спиваются, вешаются и умирают от рака.)

...Жаль, что время моего пребывания в тех вариантах отмерено так скудно, пределами одного бодрствования. Но следующий раз, не я буду, смотаюсь в Москву или на Кавказ, куда угодно — погляжу на ж и в о г о Маяковского. Хоть издали.

И чего это я на Алку-то: «Про любовь читаешь?»— как с печки. Импульсивная я личность. Может, она снова что-то историческое, по своей специальности. А теперь и не спросишь — обиделась. Тихо в лаборатории.

ГЛАВА VIII

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ

Открытие века: если собакам при кормлении зажигать свет, то у них потом начинает выделяться слюна и желудочный сок, даже если только освещать, но не кормить. Иллюминация была и осталась н е з а в и с и м ы м от кормежки событием — но из-за повторений собачий ум усмотрел здесь связь.

...И нельзя сказать, чтобы открытие осталось незамеченным: был страшный шум, автору дали Нобелевскую премию. Но вывода о с е б е люди не сделали — и до сих пор ищут причинные связи между явлениями.

К. Прутков-инженер. Мысль № 11.

1

— Здыррррравствуйте!

Это звучит, как треск переламываемого дерева.

— Ой, мамочки! — Алла силой одних ягодиц подскакивает на высоком табурете.

Техник Убыйбатько, настроившийся сладко зевнуть, судорожно захлопывает челюсти. Даже Ник-Ник, сидящий спиной к двери, резко распрямляется на стуле, чертыхается: отвык за неделю.

В дверях, щедро улыбаясь, стоит мужчина. Он в кожаном пальто, полы обернуты вокруг серых от грязи сапог; мотоциклектные очки сдвинуты на синий берет, в руках перчатки с раструбами. Бурый шарф обнимает мускулистую шею с великолепно развитым кадыком. Выше — худощавое лицо с прямым носом и широко поставленными синими глазами: оно усеяно точками засохшей грязи и кажется конопатым, только около глаз светлые круги.

Явление следующее: те же и старший инженер Стрижевич.

В комнате легкий переполох.

— О, Александр Иванович! Боже, а заляпанный какой!..— Смирнова, полуотвернувшись, приоткрывает ящик и, судя по движениям, придирчиво осматривает себя в зеркальце, поправляет все свои прически.

— Ночью ехали, Александр Иванович, или как? На какой скорости? По асфальту или как? — Это Убыйбатько, он тоже мотоциклист.

— И не охрип, чертыка! — Это я.

— Куда грязь притащил, гусар! Умойся и почистьсл.— Это Толстобров.

— Да, верно.— Стриж стягивает с плеч мотоциклетные доспехи.— От Светлогорска по мокрой дороге ехал.

Он находит в углу свои тапочки, переобувается, закатывает рукава синей футболки (на левой руке обнажается татуировка: кинжал, обвитый змеей — клеймо давнего пижонства), начинает отфыркиваться под краном.

...В данном варианте эта татуировка единственная. Но я знаю и такие, где он разрисован, как папуас, с головы до ног. На бедрах, например: «Они» (на левом) «устали» (на правом). На руках — и «Вот что нас губит» (карты, нож, бутылка и голая дама), и «Спи, мама!» (могильный холм с крестом), и «Нет в жизни счастья»... весь, как говорят психиатры, алкогольно-криминальный набор. А на широкой груди — фиолетовый шедевр: линейный корабль в полной оснастке на волнах, под ним надпись: «Ей скажут, она зарыдает». Чтобы такой выколоть, долго сидеть надо.

И его склонность к эффектным появлениям, к блатным песенкам, исполняемым над приборами через раскатистое «р» («Здырравствуй, моя Мурка, здырравствуй, дорррогая...»— и Алла томно стонет: «Кино-о!»— только я знаю, как далеко заводят Сашку эти наклонности. И меня с ним.

...На полутрущобной окраине, где прошло наше детство: серые

дощатые домики, немощеные улицы-канавы с редкими фонарями, мишенями для наших рогаток,— блатные песни были куда больше в ходу, чем пионерские. «Зануда Манька, чего ты задаесси,— распевали мы двенадцатилетними подростками,— в гробу б тебя такую я видал. Я знаю, ты другому отдаесси, мне Ванька-хмырь про это рассказал». Это еще была из приличных, и нравы соответствовали: мы сами были не прочь проявить себя в духе подобных песен.

Как-то Стриж предложил мне:

— Давай пьяных чистить, а? Скоро праздники — Пасха и Первомай. Четвертинку раздавим для маскировки, чтоб изо рта пахло: мол, мы и сами такие, мы его друзья... и пошли. А?

Их немало было — не только в праздничные дни, и в будни — возлежащих в кустах или у заборов в немом блаженстве. Я подумал, поколебался; песенки песенками, но самому «идти на дело»... и отказался.

— Тогда и я не буду,— сказал Сашка.

...А в варианте, где я, поколебавшись, согласился и мы пошли «на дело», все обернулось так скверно, что тошно и вспоминать. Три раза сработали удачно, на четвертый попались. И нас били — пьяные взрослые двух мальчишек. Стриж, защищаясь, пырнул одного самодельным ножом.

Потом колония, блатные «короли» и «наставники»— парни шестнадцати—семнадцати лет с солидными сроками. И стремление самим возвыситься в блатной иерархии, помыкать другими — а не чтобы они тобой.

Сашка — натура страстная, артистическая. Тяга к самовыражению всюду понукает его делать дело, за которое взялся, с блеском, шиком, лучше других. И т а м он «лучше»— вор в законе с полдюжиной судимостей и большим числом нераскрытых дел. Я против него мелкий фрайер... Впрочем, в вариантах, где мы с ним «по хавирам работаем», у людей и украсть-то особенно нечего.

— Та-ак,— тянет Стриж; он умылся и стоит, вытирая раскрасневшееся лицо, над душой и телом техника Убыйбатько, рассматривает схему; физиономия у Андруши сделалась сонной.— Та-ак, понятно!.. Ну, а сейчас как здоровье, ничего?

— В... в порядке,— ошеломленно отвечает техник.

— А чем хворал?

— Да... ничем не хворал.

— Так, понятно, ага! Значит, в военкомат вызывали на переподготовку?

— Не вызывали.

— Та-ак... а, конечно, как я сразу не догадался: женился и брал положенный трехдневный отпуск. Поздравляю. Андруша, давно пора!

— Да не женился я! — Техник беспомощно озирается.

— Кино-о! — тихо произносит Алла.

— Понятно... ничего не понятно! — Сашка вешает полотенце, начинает расчесываться.— Почему же ты так мало сделал? Мы договорились, что за время командировки ты закончишь схему — от и до, как ты изволил выразиться. А?

— Так двухваттных сопротивле...

— Материально-ответственный не должен мне говорить о сопротивлениях! — гремит Стрижевич.— Это я должен ему напоминать о сопротивлениях, конденсаторах, проволоке монтажной, пергидроли тридцатипроцентной и прочем!

— Зато ж монтаж какой, Александр Иванович! — льстиво и нахально заявляет техник.— Куколка, не будем спорить. Ажур!

— Куколка. Ажур...— Стриж склоняет голову к плечу.— Не монтаж, а позднее итальянское барокко. Кубизм. Голубой Пикассо! А на какой предмет мне это искусство! Схема проживет неделю, может быть, день — а виртуоз паяльника Андруша Убыйбатько тратит месяцы, чтобы выгнуть в ней проводники под прямыми углами. Сколько тебе внушать, что экспериментальные схемы делают быстро; если идея пришла в голову утром, то к вечеру ее надо проверить, пока не завонялась. Темпы, темпы и еще раз темпы, как говорит всеми нами любимый шеф. Все понял?

Техник трясет головой, как паралитик, берется за паяльник. Дня на три ему этого заряда хватит.

— Та-ак...— осматривается теперь Стриж.— Капитан все еще брился. Аллочка, как всегда, неотразима. Какая прическа! Как называется?

— «Пусть меня полюбят за характер!» — И щеки Смирновой слегка розовеют.

— Эй, ты чего пристаешь к чужим лаборанткам? — ревниво осаживаю я Стрижевича-ординарного, видящего только один вариант прически, щетины и прочего.

— А, ты здесь? — замечает он меня.— Тебя еще не выгнали? Ну, пошли покурим.

Выходим в коридор, располагаемся друг напротив друга на подоконнике торцевого арочного окна. Закуриваем. Глаза Сашки красны от дорожного ветра.

— Чего тебя раньше принесло? Мы тебя ждали завтра.

— Так...— Он пускает дым вверх.— Конференция унылая, никакой пищи для ума. Чем коротать последнюю ночь в гостинице, сел на мотоцикл и...— Стриж мечтательно щурится.— Ночью на дороге просторно. Кошки прибегают на обочину светить глазами. Вверху звезды, впереди фары встречных. Непереключение света ведет к аварии, на кромку не съезжал. Пятьсот двадцать кэмэ прибавил на спидометре, ничего? А ты здесь как?

— Средне. Чтоб да, так нет, а чтоб нет, так да.— И я рассказываю все: поругался с Ураловым из-за списания «мигалки», подпирают сроки с матрицами, пробовал новую идею, но неудачно — ушибло током.

Стриж выслушивает внимательно.

— Погоди,— начинает он, кидая окурок у урны,— а как же все-таки...

Но в этот момент, как всегда кстати, из двери выглядывает Кепкин, видит Сашку, направляется к нам:

— Прливет, с прлиездом. Ну, как конферленция?

— Ничего, спасибо.— Тот с удовольствием трясет Геркину руку.— Вот только доцент Пырля из Кишинева очень обижал электронно-лучевую технологию. Доказывал, что она ненадежна, ничего микроэлектронного ею создать не удастся. Вот...— Стрижевич достает блокнот, листает, цитирует: — «По перспективам промышленного выхода этот способ в сравнении со всеми другими подобен способу надевания штанов, прыгая в них с крыши,— или не попадешь, или штаны порвешь». А?

— Ну, знаешь!..— И без того длинное лицо Кепкина, который строит машину для лучевой технологии и большой ее энтузиаст, вытягивается так, что его можно рассматривать в перспективе.— Между нами говорля, Пырля не голова. Светило, которлое еще не светило.

— А Данди,— оживляется Сашка.— Данди голова?

— Данди горлод... а, ну тебя к фазанам! С вами, химиками-алхимиками, чем меньше общаешься, тем дольше прложивешь.

Он поворачивается к своей комнате, но тотчас передумывает, остается; без общения с нами Геркина жизнь была бы хоть и дольше, но скучней.

— А что еще было интерлесное?

— Расскажу на семинаре, потерпи.— Стриж прячет блокнот.— Я пока не на работе.

Из коридорной тьмы, вяло переставляя ноги, приближается Тюрин. В руке у него тот же «Джорнел оф апплайд физик».

— Чувствуется в твоей походке какой-то декаданс, Кадмич,— замечает Сашка, здороваясь за руку и с ним.— Напился бы ты, что ли, да побил окна врагам своим!

— А это мысль! — подхватывает тот, стремясь попасть в тон. Но замечает мое отчужденное молчание, киснет.— Я, наверное, помешал?

(Мы собрались вместе, думаю я, четыре основоположника — хоть Нуль-вариант разворачивай. Только не выйдем отсюда к Нулю, к надвариантности, не то настроение, не тем заняты мысли — не повернуть их к т а к о й проблеме. Лишь от одной ординарной к другой подобной, в пределах специальности.)

— Нет, ничуть.— Я беру у Кадмича журнал.— Попотчуй и их «сандвичами Тиндаля», как меня давеча. Вот читайте.

Стриж и Кепкин склоняются над журналом. Оба помнят тюринский способ ступенчатой диффрузии, быстро ухватывают суть заметки. Радий стоит, как в воду опущенный.

— Да-а...— тянет Кепкин, глядя на него.

— На конференции демонстрировали микросхемы фирмы «Белл», сделанные способом Тиндаля,— говорит Сашка.— Хороши. Наши теперь будут перенимать. Ничего,— он возвращает журнал Тюрину,— главное, ты это сделал первый. Смог. И еще сможем, сделаем, возьмем свое!

...Вот этого я и боюсь.

— Между прочим,— говорю (хоть это не между прочим и совсем некстати),— этот тетрабромид бора, которым Тиндаль обрабатывал пластины кремния, коварная штука. При соединении с водой образует детонирующую смесь. Бац — и взрыв!

— Алеша, Тиндаль не применял тетрабромид бора,— мягко поправляет Кадмич.— Он применял соединения фосфора, алюминия и сурьмы, вот же написано.

— Ну, м о г применять, у бора коэффициент диффузии ведь больше,— настаиваю я. У меня сейчас почти телесное ощущение, что я пру против потока материи, преодолеваю какую-то вязкую инерцию мира.— И ты мог, и вот он...— указываю на Сашку.

— А какой дурак станет поливать бромид бора водой,— Стриж поднимает плечи,— его же в вакууме напаривают.

Кепкин тоже пожимает плечами, удаляется в свою комнату: ему любая химия скучна.

— Мало ли что в жизни бывает,— гну я свое.— Его ведь в запаянных ампулах продают, этот бромид, сизо-коричневый порошок. Вздумалось, например, кому-то смыть с ампул наклейки... или, бывает, не те наклеят, нужно вместо них другие — а под струей воды ампула ударится о раковину. Разобьется — вот тебе и взрыв. Нужно быть осторожным. Вот.

Тюрин слушает вежливо, Сашка — со все возрастающим веселым изумлением, которое явно относится ко мне, а не к той информации.

Ну и пусть, чем больше это похоже на спонтанную чепуху, тем крепче запомнится.

— Да что это с ним?! — Стриж трогает мой лоб, обращается к Тюрину.— Он здесь без меня не того... головой не падал?

Кадмич мягко улыбается, качает отрицательно головой и тоже уходит: ситуация не для него.

— Слушай, ты кидаться не будешь? — спрашивает Сашка.— А то и я уйду от греха.

— Да катись ты к... ..!— расстроенно говорю я.

Я чувствую себя усталым, в депрессии. Слабенький я все-таки вариаисследователь, мелкач. Все норовлю какую ни есть выгоду извлечь из этого дела, пользу. Если и не самую пошлую: проснуться с пуком ассигнаций в руке — то хоть Сашку подстраховать. Прилежную Машеньку ради этого обидел, сам вот сейчас претерпел — а на поверку вполне и без того могло бы все обойтись с этими ампулами; случай, как и наши колебания, многовариантен.

И главное, ведь чувствую, что не для мелких здесь-сейчасных выгадываний дано мне это знание, не в том его сила,— а подняться на уровень его, быть исследователем без страха и упрека, побеждающим или погибающим, все равно,— не могу. Я и со страхом, и с упреком...

2

— Тебя точно через руки током ударило,— не успокаивается Стриж.— Иные места не захватило?

Я оскорбленно молчу.

— Ладно,— переходит он на другой тон,— вернемся к этому факту: что дальше-то было?

— После чего?

— После того, как сварочный импульс прошел через тебя.

— Ничего не было!

— Как ничего?.. Ты не понял, я не о последствиях: идея-то твоя правильная или нет? Что, не проверил до конца?.. Нет, вы посмотрите на него: обижать безответного Кадмича — это ты можешь, перебивать содержательный разговор горячечным эссе о бромиде бора — тоже, а вот довести опыт... Есть же резиновые перчатки!

Стрижевич склоняет голову к плечу и смотрит на меня с таким любованием, что я чувствую себя даже не просто дураком, а экспонатом с выставки дураков. Ценным экспонатом.

...А ведь и вправду дурак: как это я о перчатках забыл. (Не забыл, отшатнулся от опасности, за надвариантность свою испугался.) «В резиновых перчатках с микроматрицами не очень-то поработаешь»,— хочу возразить для спасения лица. Но останавливаю себя: и э т о тоже сперва надо проверить.

— Уйди с глаз... эсперимента́тор! — завершает Стриж рассматривание.

Я сутуло направляюсь в свою комнату.

Эге! Комната та, да не та. Мой стол и стол Ник-Ника сдвинуты в стороны от окна, на их месте кульман с наколотым чертежом. Над ним склонился брюнет-крепыш с прекрасным цветом округлого лица и челкой надо лбом — Мишуня Полугоршков, ведущий конст-

руктор проекта. Никакого проекта он не ведет, просто добыл ему Паша такую штатную должность на 170 рублей в месяц, на десятку больше, чем у исчезнувшего Толстоброва.

...Строго говоря, не Ник-Ник исчез, а я-надвариантный перешел еще ближе к Нулю. Но все-таки грустно: был симпатичный мне человек — и не стало; увижусь ли я с ним? И его стол теперь Сашкин.

Мишуня — человек из Нуля, к Нулю не принадлежащий. Точнее, принадлежащий к нему не более, чем его кульман. Он классный конструктор, выходящие из-под его карандаша и рейсфедера чертежи оснастки предельно четки, строго соответствуют всем ГОСТам, без зацепок проходят нормоконтроль на пути в мастерские. Но сам он по отношению к научным проблемам занимает такую же позицию, как тот, ныне анекдотический, начальник КБ, который заявил Курчатову: «Ну, что вы там возитесь с вашими экспериментаторами! Давайте чертежи атомной бомбы, я вам ее сделаю». Мы, подсовывая Полугоршкову эскизы кресла, электродных тележек, панелей пульта и всего прочего, даже и не посвящали его в идеи вариаисследования — бесполезно.

Варианты отличаются друг от друга на необходимый минимум — и здесь Мишуня, естественно, занимается теми же фотоматрицами. Только в отличие от Ник-Ника не умствует, а копирует их с иностранных патентов и статей — так вернее и больше простора для того, в чем он тверд: в конструировании оснастки.

Вот он распрямился, подошел к химстолу, следит за работой Смирновой. Говорит укоризненно:

— Алла, вы опять криво наложили трафарет! Ну что это за рисунок!

— Ах, Михаил Афанасьевич, я же не разметочный манипулятор! Если сдвинулось... И какое это имеет значение, важен принцип!

Смирнова во всех вариантах незыблема, как скала. Непоколебима.

...Но постой, надо разобраться. Сведения о бромиде я выдавал без колебаний, не раздваиваясь,— и тем не менее перескочил из «лунки» в «лунку».

Логика событий, которая складывалась в том варианте, примерно такова: Паша отменяет акт на списание «Эвы» и, поскольку формально она считается действующей, на предстоящем учсовете присягается довести ее — тем временно спасает себя; далее он дает свободу творческим дерзаниям Тюрина и Стрижа (кои к ней рвутся) — с известным фатальным концом. Все это было, можно сказать, записано в книге судеб.

А я эту реальность — хоть и с натугой, с эффектом отдачи — изменил. Не напрасно у меня было чувство, что пру против потока. Потому что никакой книги судеб все-таки нет. Будущее не задано,

есть только н. в. линии его, пути наиболее вероятного развития. И всегда можно что-то сделать.

Молиться на меня должен этот придурок с татуировкой — а он!.. Кстати, здесь-то Сашка знает об ампулах? Не знает — еще скажу.

3

Взгляд мой снова обращается к сварочному станку: надо с этой идеей закруглиться как-то. Сейчас мне почти все равно — как; мысли мои не здесь.

Брак Мишуня держит в той самой коробке, только матрицы его покрупнее, шины пошире и сверх никеля на них тонкий налет меди — для красы? Неважно. Выбираю с согласия Полугоршкова пару ему ненужных, отрезаю от одной полоску.

— Алла, где у нас резиновые перчатки?

Неторопливо прекращает работу, медленно-медленно подходит к настенному шкафчику, достает перчатки, медленно-медленно приносит, очень выразительно кладет передо мной. Удаляется. (Ага: стало быть, здесь тоже произошел прискорбный обмен репликами — «Про любовь читаешь?» и насчет семечек; и она, золотце, теперь на меня сердита. Переживу.)

Несу все к станку. Усаживаюсь, устраиваю полоску на нижнем электроде. Натягиваю на левую руку желтую медицинскую перчатку. Ну... за битого двух небитых дают. (За битого электрическим током лично я давал бы трех небитых.) Подвожу верхний штырь до касания с шинкой. Жму педаль. Тело хранит память об ударе, хочется отдернуть руку. Дожимаю — контакт! Неудачно: хлопнула искра, разворотила пленку металла.

Второй столбик. Контакт! Гуднул трансформатор станка — значит, импульс прошел. Следующий столбик... хруп! Следующий импульс прошел! Следующий — искра. Следующий... хруп! Соседний — импульс. Сле... больше нет, полоска вся. А я только почувствовал азарт.

Ну-с, посмотрим на осциллографе, что получилось. Если идея верна, то в пяти столбиках линия-характеристика на экране должна изломиться прямым углом — стать диодной. Ну, может, не во всех пяти, в двух-трех... хоть в одном. Что-то же должно быть, раз проходил импульс!

Трогаю щупами концы шин: зеленая горизонталь на экране осциллографа почти не меняется, только в середине возникает едва заметная ступенька. Так и должно быть, когда оба встречных барьера проводимостей в столбике полупроводника целы. Значит, они целы?.. Касаюсь щупом соседней шинки... третьей... четвертой... пятой — картина та же.

Вот и все. А жаль, красивая была идея. Но почему ничего не изменилось, ведь импульс тока проходил через столбики? А, не все ли равно, зачем эти академические вопросы! Не получилось. Пусто у меня сейчас на душе.

...Я был целиком поглощен опытом — а теперь спохватываюсь: нашел чему огорчаться, надвариантник, радоваться должен, что легко отделался, а то идейка еще долго бы манила-томила-морочила — то получится, то нет. Завяз бы по уши в такой малости. А теперь я перед этим вариантом чист.

Выключаю станок, поднимаюсь, иду в коридор, а оттуда — в соседнюю комнату. Сейчас здесь в основном хозяйство Кепкина: вся середина (где в Нуле помост, кресло и электродные тележки) занята громоздким сооружением — вздыбленные панели со схемами, многими лампами и электронно-лучевыми трубками, каре-белых электролитических конденсаторов; все переплетено, связано пучками разноцветных проводов. Живописное зрелище. Гера с помощником Ваней Голышевым хлопочут около своего детища, макета электронно-лучевой установки для управления микротехнологией.

В дальнем углу (где в Нуле тумбы «мигалки»-эмоциотрона) за своим столом в окружении приборов сидит, пригорюнясь, Тюрин.

Кепкин выглядывает из-за панели, говорит неприветливо:

— Ну, чего прлиперлся?

Он опутан проводами настолько, что кажется частью схемы. Гера озабочен и опасается, что я его подначу насчет жены. Но мне не до того.

...Ну же?! Здесь и сейчас находится не это, а лаборатория вариаисследования. И вот он я — оттуда, отрешен и не связан, мне надо вернуться. Ну!!!

Дудки. Все есть, все здесь — и дальше, чем в тысячах километров. Мало стремления, мало пространственного совпадения — надо, чтобы пришла Полоса. Чтобы великий принцип наименьшего действия (наибольшего сходства) взял за ручку или за шиворот — когда как — и провел по ней.

Удаляюсь не солоно хлебавши.

— Ты чего прлиходил-то? — спрашивает в спину Кепкин.

— А!..— закрываю дверь (над которой здесь нет надписи «Не входить! Идет эксперимент»— при этих опытах входить можно), возвращаюсь в свою комнату, научно-исследовательский вариант «М-00».

Все на местах: Мишуня, Алла, Убыйбатько и даже Сашка за своим столом склонился над розовым бланком командировочного отчета. Но — звенит звонок в коридоре — перерыв. Мы со Стрижом направляемся на соседний базарчик пить молоко.

ГЛАВА IX

ВТЫК ПО ПЯТОМУ

Сограждане! Представьте себе, что это ваш череп обнаружили далекие потомки при раскопках нашего города. Что они подумают, поглядев на вашу верхнюю челюсть? Что они подумают, взглянув на нижнюю?

Пользуйтесь нашими услугами!

Реклама хозрасчетной стоматологической клиники.

1

Когда я возвращаюсь, за моим столиком сидит русоволосая женщина в светлом летнем пальто. Около нее Алла. Обе негромко и серьезно судачат о дамских делах.

— Приве-ет! — протяжно и с каким-то свойским удивлением восклицает женщина при виде меня.

...А у меня так даже все холодеет внутри. Это Лида, беременная Лидия Вячеславовна Стадник, в замужестве... кто? Вот то-то — кто? Она уже месяц в декрете, сегодня разговор о ней и не зашел, я сам не догадался уточнить. А теперь вспоминаю, что этой ночью в одном из переходных вариантов она меня разбудила, потому что ее беспокоили толчки в животе. Гм?

— Привет,— самоотверженно подхожу, жму теплую, чуть влажную руку.— Ты чего пыльник не скинешь? У нас не холодно.

Она переглядывается со Смирновой.

— Любишь ты задавать неделикатные вопросы, Алеша.

Ах да, стесняется своего живота. Мне неловко.

...Если она ныне Самойленко, зачем я подал руку? Надо было чмокнуть в щечку. Чмокнуть сейчас? Нет, момент упущен. Может, мы с ней поругались и живем врозь? Мы часто ругаемся... А может, она все-таки Музы́ка? Из-за этих больших скачков по вариантам у меня скоро шарики за ролики зайдут.

Самое интимное — самое всеобщее. Один из примеров человеческого заблуждения.

— Ну... как жизнь? — задаю глупый вопрос.

— Ничего,— получаю такой же ответ.— А у тебя?

Алка отходит. Почему? Не хочет мешать примирению?

— Бьет ключом.

— По голове?

— И по иным местам, куда придется.

— Все значит, по-прежнему?

(Нет, наверное, все-таки жена.)

— Ага.

— И воротник у тебя, как всегда, не в порядке.— Она заботливым домашним движением поправляет мне воротник. (Ой, кажется, жена! Нелюбимая, которая связывает заботами, детьми — имеет на меня права. Тогда я завяз.)

...Жена с вероятностью одна вторая. Все у нас было, что называется, на мази. Лида смотрела на меня домашними глазами, заботливо журила за рассеянный образ жизни, обещала: «Вот я за тебя возьмусь!» И мне было приятно от мысли, что скоро за меня возьмутся. Она терпеливо, но уверенно ждала, когда я предложу ей записаться на очередь во дворец бракосочетания, а затем она предложит перебраться из времянки к ней, в хорошую квартиру с интеллигентной мамой, достойной в общем-то женщиной.

Мы с ней пара, это было ясно всем. Я не слишком красивый — и она так себе, середнячка. Я образованный, негнутый — и она тоже. Фигурка у нее изящная (была), есть чувство юмора (когда не ревнует), вкус к красивому. И во многих вариантах состоялась у нас нормальная инженерная семья. В них я не бегаю по столовкам или базарчикам в перерывах, а мы здесь разворачиваем сверток с пищей, завариваем крепкий чай в колбе, едим бутерброды и домашние котлеты; Лида мне подкладывает что получше и следит за отражающимися на моем лице вкусовыми переживаниями.

(Да, но сейчас она в декрете... Все равно могла бы дать бутерброд с котлетой, если я ей муж, или вот сейчас принесла бы. Или поссорились? Ночью что-то такое назревало — а уж коли в ссоре, то думать о пище просто не принципиально.)

...А в других вариантах я привыкал-привыкал к мысли, что женюсь на Лиде, потом что-то во мне щелкнуло, и я начал быстро к ней охладевать. Какое-то чувство сопротивления заговорило: вот-де беру, что близко лежит, и лишь потому, что близко лежит. И Лида, поскучав, вышла за Толика Музыку, который тоже увивался за ней.

— Привет, Лидочка! Привет, Стадничек! — шумно появляется в дверях Стриж.

— Приве-ет! Музыки мы.

(Уф-ф... гора с плеч. Значит, в ней проявились лишь следы давней привязанности. И сразу несколько жаль, что давней: опять я одинок.)

— Да, верно, забыл.— Сашка подходит и без колебаний чмокнул Лиду сначала в левую щеку, потом в правую.— Когда тебе готовить подарок?

— Когда родина прикажет, тогда и приготовите! — Она мягко смеется.— Ну, как вы здесь без меня?

— Так ты что — соскучилась по нам, поэтому и пришла? — спрашиваю я.

— Да-а... а тебя это удивляет?

— Нашла о чем скучать! Здесь у нас химия, миазмы, вредно. Сидела бы лучше в сквере, читала книжку. Вон как тебе хорошо-то — четыре месяца оплачиваемого отпуска.

— Мне хорошо — вот сказал! — Лида смотрит на меня с упреком.— Уж куда лучше...

Я вспоминаю, что подобные слова с такими же интонациями она говорила мне сегодня ночью,— снова мне не по себе.

— Не обращайте внимания, Лидочка,— говорит Сашка.— Его тут сегодня током ударило. Через две руки с захватом головы.

Звенит телефон. Стриж берет трубку.

— Да?.. Здесь. Хорошо...— Кладет, смотрит на меня.— Пал Федорыч. Требует тебя. Перед светлы очи. Ступай и будь мужчиной, в том смысле, хоть там не распускай язык.

— Ага. Ясно! — Поднимаюсь, делаю книксен Лиде.— Покидаю. Ни пуха ни пера тебе.

— Тебе тоже,— желает она.

— Слушай! — говорю, не могу не сказать я-надвариантный, нездешний.— Если родишь сына, назови его Валеркой. Хорошее имя!

— М-м...— Лида, подумав, качает головой.— Нет, Валерий Анатольевич — тяжеловато.

— Вот Валерий Александрович — было бы в самый раз,— поддает Смирнова.

Хоть вызывают меня на явный втык, я удаляюсь скользящей походкой с облегчением в душе. О, эти женщины — интим, недосказанность, неоднозначность чувств, стремление связать или хоть сделать виноватым... и в мире о двадцати измерениях от них не скроешься. Как они меня, а!

2

Кабинет Уралова — третья дверь по нашей стороне коридора. О, Паша не один: за столом спиной к окну сидит Ипполит Илларионович Выносов, профессор, доктор наук, заслуженный деятель республиканской науки и техники, замдиректора института по научной части,— грузный, несколько обрюзглый мужчина в сером двубортном костюме; круглые очки и крючковатый нос делают его похожим на филина. Уралов в порядке подчиненности примостился сбоку.

К Ипполиту Илларионовичу у меня почтительное отношение — в физтехе он нам читал курс ТОЭ (теоретических основ электротехники). Помню, как он принимал у нас экзамены, сопел от пере-

живаний, дав каверзную задачу: решит студент или нет?.. Правда, в институте поговаривают, что исследователь из Выносова получился куда худший, чем преподаватель; даже эпиграмма появилась: «В науке много плюсов и минусов — к последним относится доктор Выносов». В какой-то мере оно и понятно: здесь физика твердого тела, полупроводниковая электроника, теория информации, кибернетика — новые науки, которым надо учиться. Это нелегко, когда привык учить других. Но как бы там ни было, благословив работы по эмоциотрону (понял он или нет, что там к чему, это уже другой вопрос), Ипполит Иларионович тем тоже примкнул к вариаисследованию. То есть сошлись трое, относящихся к Нулю,— это важно.

На столе лежит акт о списании «мигалки».

— Здравствуйте, товарищ Самойленков,— начинает Выносов сочным, чуть дребезжащим баритоном.— Павел Федорович признался мне, что не может совладать с вашей... м-мэ! — недисциплинированностью, просил ему помочь. Я и ранее был наслышан о вашем... м-мэ! — поведении, в последнее время имею неоднократные тому подтверждения, в том числе и это вот,— он указывает полной рукой на акт,— и эту вашу, если говорить прямо, попытку свести счеты с Павлом Федоровичем. А заодно и... м-мэ! — поставить в затруднительное положение дирекцию. Я не намерен требовать от вас неуместных в данном случае объяснений — и так ясно! (Уралов согласно кивнул). Но хотел бы искренне и доброжелательно — да-да, вполне доброжелательно! — предупредить вас, что это добром не кончится. Вы не в школе и не в вузе, где мы с вами.. м-мэ! — панькались. Вы работаете в научном учреждении...

Ипполит Иларионович замолчал, неторопливо разминая папиросу, Уралов чиркает зажигалкой, ждет. Выносов прикуривает.

— Благодарю... И ваша обязанность, товарищ Самойленков, ваши нормы поведения вполне... м-мэ! — однозначны. В них входит как соблюдение дисциплины, выполнение заданий вышестоящих товарищей, так и согласование своих самостоятельных действий с ними, с непосредственным начальником, это не придирки, товарищ Самойленков, не индивидуальные... м-мэ! — притеснения: это...— Профессор разводит руками.— А вы пока именно такой, как это ни... м-мэ! — огорчительно для вас. Вот поработаете, проявив себя, приобретете положение, тогда сможете... м-мэ! — претендовать на крупные самостоятельные действия. А пока — рано.

Я слушаю и постепенно впадаю в отрешенность. Вводит меня в нее более всего это «м-мэ!», которое происходит оттого, что Ипполит Иларионович, подыскивает слово, сначала сжимая губы, а потом резко раскрывая их. В свое время мы в порядке добровольного студенческого исследования подсчитали, что за академчас у него выскакивает от девяноста до ста двадцати «м-мэ!», мне и сейчас кажется, будто я на лекции по ПОЭ. Выносов говорит голосом

опытного лектора, для которого не может быть ничего непонятного. Все действительно ясно. «Я больше не могу с ним, Ипполит Ларионович,— жалостно сказал Паша, густо на меня накапав,— воздействуйте хоть вы!»—«Хорошо, я поговорю». Вот и говорит, воздействует. Ставит меня на место. Кто знает, может, он в самом деле убежден, что выволочка пойдет мне на пользу.

...Пойдет, пойдет, больше жару! Существует такой «собачий переброс». Энергичней, Ларионыч!

— Я понимаю, что ситуация в лаборатории несколько... м-мэ! — шаткая вследствие происшедшего с автоматом ЭВМ. Дирекция изучает вопрос и в скором времени примет меры для... м-мэ! — оздоровления обстановки.

— Скорей бы, Ипполит Ларионович! — вставляет Уралов.

— Да. Но, товарищ Самойленков, Павел Федорович еще ваш начальник, и велика вероятность, что он им и останется. Так что мой добрый совет вам: не строить свои планы в расчете на то, что произойдут благоприятные для вас перемены. Возможны и иные.., м-мэ! — варианты. Те именно, в частности, в которых конфликт между начальником и подчиненным, если он дезорганизует работу, решается... м-мэ! — не в пользу подчиненного. Вот я был прошлой осенью в Штатах,— поворачивается он к Паше.— Знакомился с организацией научных работ. Знаете, у американцев в фирмах очень демократичные отношения: все на «ты», зовут друг друга по имени: — не сразу поймешь, кто старший, кто младший. Но вот подобных... м-мэ! — проблем взаимоотношений у них просто нет. Не согласен, не нравится — получай выходное пособие и ступай на все четыре стороны!

— Поэтому и работают результативно,— кивает Паша,— не допускают анархии.

— Вы хотите что-то сказать? — обращается Выносов ко мне.

«Мы же не в Штатах»,— хочу сказать я. Но молчу, слишком уж это банально. К отрешенности прибавляется отвращение. Душа просится на просторы бытия, прочь от мелкой однозначности.

— Что ему сказать, нечего ему сказать. Ипполит Ларионович! — Уралов смотрит на меня весело и беспощадно: вот теперь я тебя прижал! — Я хочу добавить. Не только со мной он так, с ним никто работать не может. Даже лаборантка его, Кондратенко Маша, старательная такая, и та не выдержала, ушла. Так ведь было, Алексей... э-э... Евгеньевич?

Я молчу. В ушах неслышимый звон. Комната будто раздвигается туннелем в перспективу — и там что-то совсем иное. Неужели полоса? Кажется, она — долгожданная.

— Видите: даже разговаривать не желает! — явился где-то на периферии сознания Пал Федорович.— Как прикажете с ним это... сотрудничать?

Выносов — тоже уменьшающийся, расплывающийся, меняющийся в чертах — смотрит неодобрительно, жуя губами.

— Да. Трудно вам будет жить в науке с вашим... м-мэ! — характером, товарищ Самойленков.

...Какой простор, какие дали! Я будто лечу. Облики сидящих в комнате, их одежды, контуры предметов расплываются в множественность, в туман. Поворот, заминка — конкретизация. Ну-ка?..

Мебель с вычурными завитушками, темного цвета. Окно арочное, с портьерами. На стене — портрет в тяжелой раме какого-то усатого, в лентах через плечо, шнурах, усеянных драгоценными камнями орденах.

— Па-апрашу не возражать, когда вы со мной... м-мэ! — разговариваете! — гневно дребезжит начальственный голос.— На каторгу упеку мерзавца!

Багровое лицо над столом — с бакенбардами и подусниками, загнутым вниз носом; яростные глаза за круглыми очками; щеки свисают на шитый золотом воротник. Рядом плешивый блондин с выпученными голубыми глазами, в синем мундире с серебряными аксельбантами... Паша!

Я стою навытяжку. По правой стороне лица разливается жар от только что полученной затрещины...

Ой нет: не то. Дальше! Лечу по пятому, по туннелю из сходных контуров и красочного тумана.

Окно уменьшается до блеклого серого квадратика, темнеет и опускается потолок; стены тоже становятся темными, ребристыми какими-то... бревенчатыми? Из пазов торчит черный мох, пол из тесаных топором плах. Кислый запах.

И двое бородатых — один крючконосый шатен, другой блондин со светлыми глазами — в армяках и лаптях уже не через «м-мэ», а через простую «мать» и увесистые тумаки внушают мне, смерду Лехе, неизбежность уплаты подушной подати и недоимки за два года.

— Давай-давай! А то разорим весь двор, тудыть твою в три господа и святого причастия!

У меня только голова мотается. Кровь течет из разбитого носа на разорванную рубаху.

...Нет, и это не то. Куда меня несет? Ну, дальше — первым, говорят, был век золотой...

Исчезают и бревна. Дышат сыростью, выгибаются по-пещерному глиняные своды. Вместо окна — дыра выхода вдали. Два кряжистых самца, клыкастых, обросших шерстью, дубасят, пинают — вразумляют на свой лад третьего, меня. Не разберешь, где у них руки, где ноги.

А безымянный я только прикрываю голову шерстистыми лапами и горестно завываю.

...Нет, долой такие переходы, эта ПСВ ведет совсем не туда! Назад! Напрягаю сознание — и возвращаюсь по Пятому сквозь мордобой в бревенчатой хижине, мимо распекающего превосходительства в другой конец вереницы сходств.

Лакированный стол с белым телефоном, стены в серой масляной краске, прямоугольник окна. Выносов в центре, Уралов сбоку — уф-ф... как мне здесь хорошо, уютно, безопасно! Я даже улыбаюсь Ипполиту Илариоповичу с невольной симпатией — а сам смотрю во все глаза: вот, оказывается, какими можем быть мы, трое из Нуля.

— Ну, я вижу, вы кое-что поняли,— смягчается профессор.— Вы когда-то неплохо успевали по теоретической электронике, я помню. Но вам следует научиться так же преуспевать... м-мэ! — и в жизни. Подумайте над тем, что вам сказали, сделайте выводы. Вы свободны.

Поворачиваюсь, выхожу, направляюсь к торцевому окну, месту перекуров.

У меня горит лицо, и вообще я чувствую себя, как после сауны: легкость тела и просветление духа.

...Вот это попал в полосу! Пятое измерение ортогонально ко времени, я был не в прошлом — в вариантах настоящего. Вплоть до таких, где и эти, обнаруженные питекантропами, не неандертальцами (там ведь и признака не было ни орудий, ни утвари) — человекообразными обезьянами. И стоит здесь, на нераскопанном холме, хибара, подворье Лехи-смерда. И присутствует какое-то — там ведь вроде оплывшие свечи в канделябрах-то были, то есть до электричества еще не дошло.

И, главное дело, все бьют. Лупят по физиономии, как по боксерской груше. Дался я им! А в пещере той вообще — еще пара тумаков — и померкло бы мое сознание, погибла бы драгоценная надвариантность не хуже, чем от сварочного импульса. Уф-ф... Меня все тянет отдуваться, переводить дух.

...Теперь становится понятно то, что я раньше считал несообразительностью: почему в Нуль-вариант попали не наилучшие (по обычным меркам) исследователи и работники. Мера оптимальности здесь своя: наибольшая повторяемость по Пятому. То есть настолько наибольшая, что и вспомнить совестно. Ну ладно — Уралов очевидный троглодит, пусть — Выносов... но от себя я такого не ждал. Ай-яй-яй. (Кстати, за что они меня там, в пещере? В избе — за оброк и недоимку, в присутствии за строптивость, как и здесь... а там? Не успел выяснить.)

...Интересное получается дополнение к тем «Очеркам истории» в другую сторону от Нуля.

Иные выборы из тех же колебаний, иные решения... и длится поныне каменный век.

Мы так привыкли к факту прогрессивного развития мира, что у меня сейчас неоспоримое ощущение, будто я побывал в прошлом; так же, как и наилучшие варианты овевали меня дыханием будущего. А почему, собственно?

Время — физический процесс, выражающийся в движении стрелок часов, смене времен года, числе оборотов планеты вокруг оси и Солнца. А для нас получается, что без прогресса планета будто вращается вхолостую.

3

За спиной слышны приближающиеся шаги: грузные — Выносова и печатные — Уралова.

— Хочу показать вам, Ипполит Иларионович, установку для ионно-лучевой микротехнологии, которую мы разрабатываем. Очень перспективное направление!

— Ну что ж, пожалуйста, это интересно.

Оба входят в кепкинскую комнату. Мысли мои меняют направление. Работает Паша, на ходу подметки рвет. Умеет же человек использовать все! Сейчас он делает пассы перед Геркиным макетом. А Выносов, хоть и доктор, и заслуженный деятельно, но специалист по линейным схемам — ему что покажи из новинок электроники, все интересно. И на учсовете будет доказывать, что в лаборатории ЭПУ сейчас исследовательская работа поставлена на должном уровне, сам проверял. От его мнения не отмахнутся.

Как он мне предрекал варианты «не в пользу подчиненного», как со мной разговаривал! Им нет дела до моих идей, замыслов — лишь бы не мешал им спокойно «жить в науке». А я не смог ответить. Мне становится тошно.

Вдруг в комнате, куда вошли Ипполит Иларионович и Паша, раздаются гулкие, как из дробовика, выстрелы: бах-бах!!! Звуки эти мне чем-то знакомы. Какие-то предметы там стукают в дверь. Что такое?

Подхожу, заглядываю. В комнате коричневый дым, со сладковатым (тоже знакомым) запахом. В воздухе плавают рыжие клочья. Бах! Вз-з-з... ба-бах! В дверь возле меня ударяется алюминиевый цилиндрик. Все ясно: рвутся «электролиты», электролитические конденсаторы.

Ба-бах!.. Едва не сбив меня с ног, из комнаты вылетает Выносов. Его «Прошу извинить!» доносится уже из глубины коридора. Бах! К моим ногам падает еще один цилиндр.

Выскакивает Тюрин со сложным выражением лица; он перепу-

ган, рад, ошеломлен и весел. Доносится вопль невидимого за дымом Уралова: «Да выключите же это... питание!». Кто-то — смутный силуэт — бросается к электрощиту, поворачивает пакетный выключатель.

Пальба прекращается.

Из дыма прямо в мои объятия вываливается содрогающийся от хохота Сашка. Везет же человеку, всегда он оказывается в центре событий.

— Что там за война?

— Ой, не могу-у! — стонет Стриж.— Ну, умирать буду — вспомню.

Наконец отдышался, успокоился, рассказывает. Дело было так. Павел Федорович велел Кепкину включить макет, чтобы продемонстрировать доктору, как набираемые клавишами числовые команды перемещают в вакуумной камере электронные и ионные лучи. Гера включил.

— Ну, ты ж знаешь кепкинский макет: постоянные переделки и сплошные сопли. Естественно, произошел визит-эффект: не перемещается луч. Гера погрузился по пояс в схему и начал потеть. Паша... ты же знаешь Пашу! — отстранил его «А ну, дай я!» И, ковыряясь в схеме, Павел Федорович задел своим могутным плечиком один сопливый проводничок — как теперь можно догадаться, от конденсаторного фильтра. Проводника — как теперь можно догадаться, от сетевого питания..,

Дальше ясно. Электролитический конденсатор — он переменного тока не выносит. Как нервная женщина щекотки. В нем закипает паста — и пиф-паф.

Вот батарея великолепных электролитов, на тысячу микрофарад и пятьсот вольт каждый, краса и годость Геркиной схемы, и открыли шквальный огонь.

— Первый электролит легко ударил доктора в грудь. Он сказал «Ох!» Пал Федорыч от звуков распрямился. И его нос... ты же знаешь Пашин нос! — оказался на одном уровне с электролитами. Следующий залп свернул этот великолепный мужественный нос под прямым углом в сторону двери. Нос... нет, это же просто поэма! — несколько секунд держался в таком положении, потом медленно-медленно распрямился. И тут его, вдруг, подбил новый электролит.

Я слушаю с увлечением. Тюрин, хоть и был свидетель происшедшего, тоже. Сашка умеет живописать. Не может быть, чтобы нос держался так несколько секунд и чтоб распрямлялся медленно-медленно. Это Стриж корректирует несовершенную действительность в более выразительную сторону — но так, что хочется верить. У меня веселеет на душе. Так им и надо. Это вам не бедного инженера школить — техника. Ее нахрапом не возьмешь.

...Постой, постой! Но ведь происшествие имеет несомненное сходство с тем переходом по ПСВ, который волево совершил Пал Федорович... и вынырнул обратно под «ба-бах!» с фонарем и свернутым носом. А затем снова исчез. Это не может быть т е м случаем, тот произошел месяцы назад — но из того же пучка вариантов, развивающихся — пусть со сдвигами во времени — по одной глубинной логике. В основе ее лежит склонность Уралова демонстрировать достижения и творческая неудовлетворенность Геры делами рук своих.

Значит, вот оно как там было.

А вот и герой наш, Уралов, выходит из комнаты. Костюм не в порядке, галстук съехал на сторону. А лицо — ну, прямо просится на открытку: закопченная пятнами щека, лиловый фонарь, распухший до сверхъестественных размеров, сделавшийся ассиметричным нос.

Пал Федорович тяжело глядит на нас. Поворачивается и твердым, неколебимым шагом идет в свой кабинет. Сильная он личность у нас.

Тюрин негромко произносит:

— Нет, все-таки жизнь хороша.

Мое наслаждение — наслаждение человека, которому от Паши только что досталось в четырех, по крайней мере, вариантах,— невозможно выразить словами.

Я и не пытаюсь.

...Тогда Уралов спрашивал, где Кепкин. А сейчас не поинтересовался — различие вариантов.

Что же спрашивать — вот и Гера. Выходит, направляется к нам. На закопченном лице дикие, как у кота глаза. Озабоченно массирует правую скулу. Сашка при виде его снова заливается счастливым смехом.

— Ну, чего рлжешь?

— Гер, ты дал, молодец! — поздравляю я.— Это ты нарочно?

— Да ну... лезет, сам не знает куда, дурлак!

— Но теперь у тебя точно будет синяк под глазом. В форме конденсатора на тысячу микрофарад.

— А, иди ты!.. Где я теперь достану такие конденсаторлы? — Он не на шутку расстроен.

А Стрижевич все не нарадуется.

— Нет, не напрасно я мчал ночью на мотоцикле! Чуяло мое сердце, что мне сегодня надо быть здесь. И чуяло оно, что надо зайти к Кепкину, полистать справочник по лампам.

Я смотрю на них: снова мы вместе, четверо из Нуля.

И Паша — пятый?!

Глава X

ПЯТЬ МИНУТ ВПЕРЕДИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Мышление изменилось: раньше люди находили поэзию в таинственном — а теперь в том, чтобы его понять, опубликовать и снискать.

К. Прутков-инженер. Мысль № 20.

1

Рабочий день близился к концу. Для создания диодных микроматриц он потерян. Я сидел за столом и с неудовольствием думал, что подвел Алешу-ординарного. Именно я-надвариантный и подвел. Дело даже не в самих действиях, не в злосчастном списании «мигалки», а в моей страшенно-независимой, непринужденно-свободной позиции. Позитуре. Я ведь и на Уралова посматривал с нее, свысока, и на Выносова... начальство такое очень чувствует, запоминает и не прощает. Действительно, могут уйти его, Алешу, по собственному желанию. С одной стороны, он — лишь часть меня, сознающего компенсацию любых вариантов-отклонений и их сходимости, а с другой стороны — он-то этого не знает. Для него в единственном числе, и упущенное обратно не вернешь. Нехорошо.

Главное, с идеей этой я опростоволосился — а ведь рассчитывал ею все поправить. Завтра Алеше-здешнему придется подналечь на рутинный, цельнотянутый, как и у Мишуни, способ изготовления матриц. Посади Мишуню за мой стол, а меня на его место, один черт — взаимозаменяемые варианты. Изчезнувший Ник-Ник, видимо, прав. И то сказать, ни в каких вариантах не знаю о реализации этой идеи, хотя всюду близок к полупроводникам и микроэлектронике.

Как меня импульс-то стукнул — ух! Постой... а почему меня ударило током, с какой стати? Если бы я зажал между электродами кусок металла, то ничего такого не было бы: сопротивление металлов ничтожно по сравнению с сопротивлением моих рук. Да, но между электродами был полупроводник... Так что? Сопротивление открытого перехода в нем тоже не бог весть какое, омы,— импульс не должен меня ударить. А ударил. Значит, сопротивление столбика германия оказалось гораздо большим, чем у моего тела,— ток и пошел по плоти.

Постой-постой... конечно же, большим, если встречный-то, запертый-то барьер остался цел. Выходит, импульс через столбик германия не проходил?! Постой-постой-постой... а какой, собственно, в сварочном станке импульс?

Направляюсь к книжному шкафу. Ворошу кипу проспектов, опи-

саний приборов, инструкций по эксплуатации. Ага, вот: «Станок точечно-контактной сварки ИО. 004». Технические данные... возможные неисправности... схема. И сразу все сон. Импульс формируется трансформатором тока по принципу магнитного насыщения — то есть сильно зависит от сопротивления нагрузки. На металл пошел бы мощный ток для сварки, а на столбик германия с барьерами трансформатор выдал нечто куда более значительное по напряжению, чем по току — импульс-пшик, пощекотавший мои нервы.

Захлопываю описание. Чувствую, как уши накаливаются. Вот так, «Кузя». Все бы тебе на шармака. На дурнячка бы тебе: нажал кнопку — и имеешь исполнение желаний.

Ругаю себя, а на душе бодрее: еще не все потеряно! Надо только продумать, подсчитать, подготовить опять без дешевки. Идея-то стоящая.

2

Следующий час я провел за расчетами.

Схема все-таки получилась довольно сложная: набор конденсаторов для накопления заряда, разрядные сопротивления, переключатели для разных комбинаций того и другого, регулировка напряжения... Опять всегда есть уравнение со многими неизвестными, даже система уравнений.

Работы много. А тянет попробовать сегодня. Завтра вполне могу здесь оказаться не я — а отрешаться от т а к о г о мне совершенно не хочется.

Смотрю на Стрижа, который за своим столом тоже что-то мудрит, корчит рожи журналу. Не подпрячь ли его? Он не откажется, но... объяснить другому то, что самому трудно выразить словами! И придется сознаваться в последней ошибке, он станет подначивать, смеяться, уменьшит мою веру в себе и в успех — а она и так невелика. Вообще мое отношение к этой идее сейчас какое-то интимное, как к понравившейся женщине: никого не хочется подпускать.

Сделаю сам. Без панели, прямо на столе. Хватит разговоров, сомнений, колебаний — нету ни Сашки, ни Уралова, никого. Все оттеснилось на окраины сознания. Мир — это стол. Я один на один с природой. Все передо мной и крупным планом. Паяльник? Есть паяльник. Клейкая лента? Наличествует. Радиодетали, винтики, болтики, провода, всякий крепеж? Полный ящик. Ну, взяли!

Еще час я с упоением приводил в негодность свой стол: сверлил в нем дыры под электролиты (вроде тех, что своротили нос Пал Федоровичу, только меньшей емкости), под оси переключателей и

потенциометров. Детали помельче привинчивал к доскам шурупами, иные и просто прихватывал кусками клейкой ленты. Потом нарезал проводов, зачистил концы — па-ашел соединять все: где под винт, где капелькой олова с паяльника, а где и скруткой. (Каждая скрутка — это презрение до конца дней со стороны техника Убыйбатько, короля монтажа; десять скруток — десять презрений.) Работа кипела. Мишуля Полугоршков обратился ко мне не то с вопросом, не то с замечанием (по поводу стола?). Я рыкнул: он исчез из поля зрения.

Так. Что еще? Привинтить последний микровыключатель... есть. (Хорошее, кстати, название для детектива «Последний выключатель», что же писатели-то?..) Два провода к блоку питания... есть. Два к осциллографу, еще пара к манипулятору, еще два... нет, больше некуда. Схема готова.

Окидываю взглядом: да, видик! Левая часть стола напоминала вывернутый наизнанку телевизор. Теперь посидеть спокойно, унять дрожь пальцев. Поглядеть, не нахомутал ли где. И — начать. (Как в «Паяцах»: «Итаак, мы-ы нннаачиннаааааа...») Какой я сейчас: обычный, из пятимерного мира, из n-мерного? Не имеет значения.

Начнем с такой же матричной полоски, вереницы n-p-n-столбиков, соединенных общей шинкой. Укладываю ее на столик микроманипулятора, прижимаю одной иглой эту общую шину, другую ставлю на никелевый лоскутик под крайним столбиком. Есть контакт! Зеленая горизонталь на экране разделилась короткой ступенькой. Мне нужно, чтобы после удара импульсом линия вправо или влево от ступеньки встала торчком. Это и будет диод.

Сейчас от легкого нажатия кнопки микровыключателя моя идея или окончательно даст дуба, или... И снова у меня чувство, будто пру против потока, преодолеваю инерцию мира,— как давеча, когда внушал Стрижу об опасности бромида бора. Инерция мира, инерция потока времени; что есть то и ладно, а чего нет, тому и появляться не надо. А я покушаюсь, изменяю: творчество всегда включает в себя элемент насилия.

Ну: да или нет? Движение пальца. Легкий щелчок микровыключателя — перебрал с измерениями на разряд и обратно. Зеленая горизонталь улетела за пределы экрана и... возвращается прежней. Совсем такой же, со ступенькой. Барьеры проводимости в столбике не нарушались. Мал заряд конденсатора? Мало напряжение?

Прибавил. Поворачиваю потенциометр. Щелчок — зеленая прямая птицей вверх... и снова возвращается такая же.

Ах ты нечистая сила, упорствовать? Трещу переключателями, ввожу в бой все конденсаторы. Поднимаю напряжение до максимума. Ну, теперь?.. Щелчок. Ого! Зеленая прямая на экране осциллографа встала торчком; обе обратные характеристики сделались прямыми. Импульс пережег оба барьера, оба столбика. Ка-зэ, корот-

кое замыкание. Выходит, либо все, либо ничего? Без просвета?..

Ну, это вы мне бросьте! Чувство сопротивления обстоятельствам становится почти телесным. Ничего, что вышло ка-зэ — все-таки что-то сдвинулось. (Как в том анекдоте: «Но больной перед смертью пропотел?.. Вот видите!») Должен быть просвет между «все» и «ничего», должен! Хоть щелочка.

Попробую нащупать сей просвет по-артиллерийски. Отключая большую часть конденсаторов, перевожу контактную иглу на соседний столбик. Горизонталь со ступенечкой. Щелчок... на экране опять вертикальная палка ка-зэ. Перелет, хотя и ждал недолета. Ой-ой-ой, а есть ли просвет-то? В душе начинается тихая паника. Мандраж. Надо передохнуть, расслабиться.

Надо же... Что я делал сейчас? Несколько нажатий кнопок, два поворота штурвальчиков манипулятора. А устал больше, чем за час, в который собрал схему. И возбудился: щеки и уши пылают, пальцы дрожат. Откидываюсь к спинке стула, успокаиваю себя замедленными глубокими вдохами и выдохами.

Ну, выпирай, выламывайся из небытия, моя идея! Неужели напрасно ты меня столько томила?..

Уменьшаю напряжение на конденсаторах, отключаю еще один, самый емкий... не слишком ли? Щелчок. Горизонталь вверх — и обратно, с той же ступенькой. Недолет.

Прибавляю напряжение. Щелчок. Вертикальная палка ка-зэ на экране. Выходит, просвета нет? Даже щелочки.

...Спокойно, Самойленко, спокойно. Кузя... или как там тебя? —Алеша. Не все рухнуло. Переместим иглу на соседний столбик конденсатора. (Лихорадочная мысль: если и сейчас выйдет ка-зэ, то — все? Или пробовать другую полоску? Поставить другой набор емкостей? Изменить разрядное сопротивление? Или... словом, нет, не скоро еще будет «все»).

Щелчок. Так! Линия на экране изломалась в прямой угол — и осталась такой. Есть! Есть, чтоб я так жил! Есть, мать честная! Один p-n-переход в столбике уцелел (горизонталь слева на экране), а другой пробился... прожегся, проплавился — сгинул. Что и показывает прямая характеристика: зеленая вертикаль, направленная вниз. Есть, произошло!

Я распрямился на стуле, расслабился. Во мне сразу обнаруживается много пульсов: в запястьях, висках, около гортани, даже под ложечкой. Но это пустяки.

...Миг свершения. Миг превращения мыслимого в реальность. Я не перешел от одного варианта к другому, не сдвинулся по Пятому — я и з м е н и л реальность. Изменил, хоть и в малости, мир. Миг творения, в котором человек равен богу. Да и есть ли иной бог?

Какая-то четкая грань отсекает, будто бритвой, прежнее, в котором э т о г о еще не было, от нынешнего, в котором оно, новое есть.

Погоди Самойленко, один столбик ничего не значит. Попробуем следующий.

Ужасно не хочется отрывать иглу от столбика, на котором все получилось. Поднимаю — угол на экране распрямляется в горизонталь — и тотчас возвращаю иглу на место. Ужалила мысль: что, если диодная характеристика держалась только под током? Прервал его — все восстановилось?.. Не восстановилось: светит на экране зеленый уголок, светит, зараза. Смешные страхи. (А почему, собственно, смешные? Сейчас все впервой — а от натуры-мамы и не такое можно ожидать.)

Вперед, в неизвестность, на соседний столбик! Щелчок. Характеристика дергается, изламывается угол, застывает. Есть! Так-так-так!.. Следующий столбик. Щелчок... есть! Смотрите, как я удачно нащупал режим. Ну-ка дальше?

Даю разряд на три оставшихся столбика — удачно.

Полоска вся. Проверим! Провожу контактной иглой по отросткам шин: держатся зеленые уголки. Правда, вертикальные палки ка-зэ в столбиках, где я дал лишку, тоже сохранились. (А я очень не прочь, чтобы они исчезли... но природа не добрый дядя-волшебник.)

Теперь вторая половина проблемы — а может, и три четверти, и девять десятых ее: запись диодной схемы в матрицу. Ведь ради этого и стараюсь. Отдельные диоды что, их по-всякому делают, Толстобров прав. А вот образовать их в матричной решетке, где n-p-n-столбики связаны крест-накрест шинами... Пойдет ли импульс только в нужное перекрестие, не разветвится ли на другие?

Ликующие переживания схлынули. В душе снова азартный мандраж.

Укладываю в манипулятор вторую из заимствованных у Полугоршкова матриц. Сейчас во всех перекрестиях ее трехслойные столбики германия, «нули»; превращением из в двухслойные, в диоды, запишутся «единицы» двоичной информации для ЭВМ. Попробую записать в матрицу дешифратор, самую ходовую схему — для перевода чисел из двоичного кода в десятичный и обратно.

Ну, поехали. В первой строке «нули» и «единицы» идут вперемежку.

Щелчок. Зеленая горизонталь сломалась в прямой угол. Пропуск шинки. Следующая... щелчок. Угол. Пропускаю четвертую, ставлю иглу на пятую шинку. Щелчок. Угол.

А как на пропущенных, все ли в порядке. Страшновато: если и там возникли диоды или, еще хуже, палки ка-зэ, то все насмарку.

Под гору кувырком... делаю над собой усилие, проверяю: тычу во вторую шинку, в четвертую, в шестую — все в порядке, характеристики здесь не изменились. (Объективность науки, объективность эксперимента в том, что ответы «да» и «нет» в любом опыте одинаково ценны для познания. Но почему нам так всегда хочется, чтобы было «да»?)

Седьмая шинка, щелчок — угол. В первую строку матрицы я диоды записал... и быстро как!

Вторая строка. Щелчок — есть! Щелчок — есть! Щелчок — угол. Последняя шинка... есть. Проверяю: «нуль», диод, «нуль», диод, «нуль», диод, «нуль». В голове опять начинается ликующая свистопляска: вот это да, ведь на секунды счет-то! А если автоматизировать, то и вовсе...

Третья строка: пропуск, щелчок, пропуск, щелчок, щелчок, пропуск: щелчок, пропуск.

Проверка... порядок!

Четвертая строка: О1О1О110.

Пятая...

Шестая.

Седьмая.

Восьмая, последняя — ну, не подведи, родимая!

Щелчок — есть, щелчок — есть... (Ничего не существует сейчас, только белая решетка матрицы на оргстекле, бронзовые консулы контактных игл, черная кнопка привинченного к столику микровыключателя да вычерчиваемая электронами на матовом экране зеленая линия.) Щелчок — диод! Последнее перекрытие... есть!

Проверяю всю матрицу. (Между строками тоже связи, могли измениться характеристики одних перекрестий от разрядов в других.) Вожу иглами — первая строка, вторая, третья... последняя — ура! Ни одного ка-зэ. Где надо — диодные уголки, где не надо — горизонтали со ступенькой.

Вот теперь все.

...Все... все... все — облегченно отстукивает сердце. От головы отливает кровь.

Сколько прошло времени: час, минута? Миг? Вечность?.. Мир включился.

Шипит вытяжка. Журчит струйка из дистиллятора. Я озираюсь: ничего не изменилось в лаборатории! Ведущий конструктор Мишуля осторожно завешивает свою матрицу. На платиновой проволочке облачко мелких пузырьков. Алка Смирнова воровски читает роман. Стрижевич считает на микрокалькуляторе, тычет пальцем в клавиши. Техник Убыйбатько паяет.

Ничего не изменилось в мире. Только листья клена за окном солнце просвечивает не сверху, а сбоку.

Да на экране моего осциллографа застыл зеленый прямой угол.

3

А потом был спуск вниз, в мелкий лабораторный триумф. Я собрал у стола всех и демонстрировал — на манер Уралова, только без пассов.

— Ух ты! — сказал Стриж.— Достиг все-таки? Ну-ка, дай...— Он формирует нажатием кнопки диод, другой, третий.— Хорошо! Алешка, ты же пришел к техническому идеалу: нажатием кнопки решается проблема.

— Ну и что? — Кепкин ничего не понял (или прикидывается).— Ну, переключает схему на диод — что здесь такого!

— Схемник — он и в гробу схемник. Здесь не переключение,— пояснил за меня Сашка,— это сейчас, Герочка, я с д е л а л три диода в матрице. Нажатиями кнопки.

— Он не верит! — Я перевожу иглу на другие перекрестки.— Действуй сам, прошу.

Герка осторожно, будто ожидая удара током (помнит свои шкоды с магнето!), нажимает микрик. Характеристика на экране изламывается углом.

— Переключаешь, парлазит! — Он приближает лицо к схеме.— Где-то у тебя здесь стандартный диод, меня не прловедешь. Так не бывает.

— Гера, отведи иглу — сразу разоблачишь,— советует Стриж.

Кепкин поворотом штурвальчика отводит — линия на экране распрямляется. Подводит до контакта — складывается в угол. Выпячивает губы:

— Да-а... а как ты это делаешь?

Объясняю. Теперь мне раз плюнуть — все объяснить.

— А, прлобой перлехода!.. А обрлатно из диода во встрлечные барьльеры можешь?

— Ты многого хочешь. Пробой — штука необратимая.

— Ну-ну...— разочарованно тянет зловредный, регулярно избиваемый за ехидство женой Кепкин.— Тогда это что! Вот если бы и туда и обрлатно...— и хихикнув, удаляется.

— Иди-иди к своему разбитому корыту! — кричу я вслед.— Жена тебя все равно бьет.

Тюрин смотрит, пробует, мгновенно все понимает. С восторгом трясет меня за плечи:

— Молодец, Алеша, ну, просто молодчина! Так можно формировать микросхемы прямо в машине, даже если она на орбите где-нибудь. Посылать ей коды импульсов с Земли. Или в луноход, под воду — представляешь? И не только диоды так...

Хороший парень Кадмич. Я его давеча прогнал с глаз, обидел, а он зла не держит, рад за меня, развивает идею.

Мишуля Полугоршков солидно спрашивает:

— А какие по параметрам диоды у вас получатся, Алексей Евгеньевич: те, что в магазине по гривеннику, или дороже?

— Дороже, конструктор, гораздо дороже. Это же импульсные!

— И я-а хочу попробовать! — кокетливо тянет Смирнова.

Разрешаю. Нажимает наманикюренным пальчиком кнопку — диод.

— Ой, как здорово! И просто.

Техник Убыйбатько, отвесив челюсть, с карикатурной опаской тянется к схеме; нажимая кнопку.

— Гы... диод! Гы... диод!

А меня так просто распирает от гордости и добрых чувств.

Вдруг за дверью раздается звонок, продолжительный финальный трезвон: конец дня. И как сразу у нас здесь все меняется после него — будто после третьего крика петуха в старых сказках. В коридорах становится шумно: это сотрудники других лабораторий, заранее подготовившиеся и занявшие позиции у дверей, сразу хлынули к лестнице и лифту.

Полугоршков взглядывает на часы, потом с некоторой досадой на меня, хлопает себя по лбу, быстро возвращается к кульману, накрывает чертеж, убирает свои карандаши в стол: у дверей снимает комнатные туфли (такие утром обувал Толстобров), надевает кремовые модельные.

И у других интерес к моему изобретению быстро угасает. Кадмич отступает к двери, уходит. Андруша убирает свой стол, надевает пиджак, причесывается. Смирнова возвращается к ящику химстола, на ходу расстегивая халатик, достает зеркало, помаду, все свои причиндалы; лицо ее делается озабоченным.

...Обычно и у нас все готовы к отбою за несколько минут до звонка. Но сегодня своим результатом я отвлек коллег, отнял у них эти драгоценные минуты переключения на внешнюю жизнь. До звонка еще куда ни шло, но уж после него — шалишь: долой все научные проблемы. В умах теснятся иные, у каждого свои. Не такие они и важные, эти свои дела: зайти в магазины, встретиться, позвонить, забрать Вовку из детсада. Могли бы малость и повременить с ними, коль скоро в лаборатории содеялось Новое. Но ведь с в о и же! То ли здесь ревнивое самоутверждение, то ли просто инерция мира берет свое.

Я и сам досадую: и чего это мне вздумалось потщеславиться, сорвать аплодисменты! Вполне мог бы оставить «триумф» завтрашнему ординарному Самойленко. Неважный я все-таки надвариантник: умом понимаю ничтожность житейских удач и успехов, призрачность счастья-несчастья — а на деле...

Уходит Полугоршков. Сделав нам ручкой, исчезает техник. Алла навела марафет — и при этом пережила столько мучительных

терзаний, что от ее по разному опущенных на мраморный лобик завитков, от по-всякому подрисованных глаз и губ, от расстегнутых-или-нерасстегнутых верхних пуговок и прочего рябит в глазах: складывает все в сумку.

— Алексей Евгеньевич, дистиллятор вам не нужен?

— Нет. И вытяжка тоже.

Смолкает журчание воды. Стихает шум вытяжки.

Лишь Сашка никуда не спешит — откинулся на стуле, посматривает то на уходящих, то на меня с понимающей ухмылкой на тонких губах. Может, хочет со мной поморочиться над новым способом? Ничего не имею против. Вместе потом поедем на его «Яве» в мою времянку. Но...

— Александр Иванович, вы не подбросите меня на мотоцикле? — вдруг спрашивает Смирнова, поправляя ремень сумки на красивом плече.— Пожалуйста, я так спешу, так спешу!

Стриж с интересом смотрит на нее.

— Нет. Аллочка, ничего не получится.

— Почему-у?

— Юбка у тебя больно узка. Не сядешь ты в такой на мотоцикл.

— А я бочком.

— А за «бочком« автоинспекция права отнимает.

— Ну-у... не на всех же улицах они стоят!

— А и впрямь? — Стриж нерешительно смотрит на меня, снова на Алку. Та глядит на него прямо и просто. Она хороша собой. А человек он свободный.— Убедила. Поехали!

...И снова я не надвариантный, здешний. Мне эта сцена не по душе, мне хочется даже напомнить Сашке: «А как же Надя?» — хотя никакой Нади нет. Смирнова-то ведь и мне нравится. Современная женщина, которая сама выбирает, куда там. А я тут третий лишний.

Стриж облачается в кожаные доспехи, Алла надевает замшевую курточку. Они торопливо кивают мне, поворачиваются к двери, чтобы выйти.

— Эй,— вдруг спохватываюсь я,— ты про ампулы не забыл? Тетрабромид бора взрывоопасен при соединении с водой — и так далее...

Сашка останавливается, смотрит на меня:

— Ты опять?! Слушай, может тебе пропустить через себя импульс в обратном направлении? Говорят, помогает.

— Ладно,— машу я рукой — катитесь.

Минуту спустя вижу, как Сашка везет приникшую к нему Смирнову по Предславинской — вовсе не туда, куда ей домой... Что ж, шансы, что он погибнет, а она рехнется от чувства вины, я уменьшил. Любовь вам да совет!

ГЛАВА XI

ВЫСОКИЙ ПЕРЕБРОС

Все люди ограниченны — но каждый по своему. В этом состоит их индивидуальность.

К. Прутков-инженер. Мысль № 60

1

...И только оставшись один, я сознаю, что никогда больше не увижу этих людей, как сегодня. Перейду в Нуль — а из него куда-то потом занесет?

А теперь-то я перейду, это ясно, чувствую. Именно реализация этой идеи меня и держала здесь. Подсознательно, по тому же тезису «Ты не искал бы меня, если бы не нашел». Чуяла душа, что могу это сделать. И смог. Сейчас если оглянуться, то неловко даже за беспомощные слепые тыканья со сварочным станком, метания, колебания.

Раскрываю журнал. Надо записать опять результаты. Так всегда: пока не получается, не записываешь, потому что нечего, а когда получится, интересней делать, чем писать.

...Вот и Смирнова мне наподдала, спасибо ей. Теперь легче выскочить из этой «лунки», меньше основания задерживаться. И пусть, меня она все равно из лаборатории не утянула бы. Но жаль, конечно, что и не пыталась.

Поднимаю голову — и сталкиваюсь со своим отражением в зеркальной шкале гальванометра на полке, рядом со столом. В полосе стекла я отражаюсь по частям: сначала серо-ржавые вихры, затем покатый лоб с основательными надбровными дугами и жидкими бровями, глаза в набрякших (от постоянного рассматривания мелких предметов) веках, просторные щеки, толстая нижняя губа, челюсть... бог мой, что за челюсть! Не утянет тебя Алла из лаборатории, Кузичка, не тревожься.

На минуту меня одолевает чувство неустроенности и одиночества. И Лида, оказывается, здесь мне вовсе не жена; Алка увлеклась Стрижевичем, а Люся, хоть и брошенная Сашкой... э, о ней вообще лучше не вспоминать — с такой будкой. Изобретениями себя не украсишь.

...Но между прочим, в тех благодатных вариантах, где жив отец, Люся со мной и я завлаб в этом институте, даже исследую вещество с Меркурия,— там у меня лицо привлекательней. Подробности те же, от лба до челюсти, тем не менее все как-то более гармонично подогнано, черты изящней, одухотворенней — смотрюсь.

...Зато там, где я бывший урка, ныне грузчик продмага, у меня щеки лоснятся и в рыжей щетине, заплывшие бесстыжие глазки, начинающий багроветь нос седлом — потрясная лучезарная ряшка, просящая кирпича. И хриплый голос со жлобскими интонациями — я на подпитии читаю продавщицам Есенина.

Взаимосвязь внешности и образа жизни. Но где мой оптимум? Я знаю оптимум Ник-Ника — академик Толстобров, выдающийся экспериментатор... а свой? В тех красивых вариантах. Почему же каждый сон вышвыривает меня из них?

Я один среди густеющей тишины. И во мне тоже оседает дневная пыль-муть, нарастает отрешенность, ясность. Неторопливо и спокойно рисую в журнале схему, записываю режимы, при которых получились диодовые «уголки» на экране. Потом собираю нехитрую схему измерения параметров, измеряю их в нескольких перекрестиях матрицы. Вполне приличные параметры. «Недурственно», как сказал бы Уралов. (А ведь завтра он, чего доброго, начнет делать круги вокруг Алеши-здешнего на предмет соавторства по этому способу: научный, мол, руководитель и все такое. Совести хватит... Стоп, не нужно об этом, я освобождаюсь!)

Надо бы промерить всю матрицу, но — не хочется. И так все ясно. Ничего не хочется. Наработался, надумался, наобщался, начувствовался... сдох.

Отодвигаю журнал. Сижу, положив голову на кулаки. Сегодня все-таки был хороший день: несколько минут я шел впереди человечества. Шевелил материю — а не она меня. Если бросить камень в воду, то круги от него постепенно сойдут на нет; а круги от брошенной в океан ноосферы новой мысли могут усиливаться, нарастать. (Могут и на нет сойти, впрочем, примеров немало.)

...Шевеление материи. Утренний прилив, дневная болтанка дел, мыслей, слов, чувств — и вечерний отлив, который вот уже унес отсюда всех. Солнце уходит вспять, солнце уходит спать. Это вне вариантов, как природа. Ноосфера — тоже природа.

— Наадя-а-а, а я-аа с тоообоой играать нее буууду! — чистым, печально-ликующим, как вечерний сигнал трубы, голосом пропела за окном девочка.

По ту сторону Предславинской — коммунальный двор, в котором я никогда не был. Галдит детвора, судачат женщины, мужчины со смаком забивают козла на столике под акацией. Полусумасшедшая старуха на четвертом этаже толкает из окна ежевечернюю речь о злых соседях, маленькой пенсии и мальчишках, которых надо судить военно-полевым судом.

...Разумное шевеление материи начинается с идей. И с воли по их осуществлению. Какие-то мощные глубинные процессы в при-

роде-ноосфере кроются за этим процессом, которые рыхлят и разворачивают косные, слежавшиеся за миллиарды лет — высвобождают.

Ведь что дает мысль исследователя, его труд? Не продукт, не энергию, не конструкцию даже — осознанную возможность. Считалось, что так делать нельзя, а он доказал: можно. Небывалое перешло в бытие — по мостику из замысла, решимости, проб, усилий. По жердочке, собственно. Это и есть обычный переброс по Пятому — а не наша эмоциотронная техника.

Новые замыслы в принципе можно не реализовывать, или, даже реализовав, не использовать. В этом самый интерес жизни человека: искать и создавать. Иначе чем бы мы отличались от скотов?

...Я вспоминаю тот постыдный «собачий» переброс во время нагоняя — по длиннющей ПСВ, которая привела меня в пещеру к обезьянам. Значит, возможно и такое, существование где-то на окраине Пятого измерения, вариант, в котором здесь и сейчас нет ни зданий, ни улиц, ни электричества... да что электричество! — ни счета, ни каменного топора, ни членораздельной речи — н и ч е г о?! Только пещеры, вымытые подпочвенными водами в холме,— на месте нашего института.

Может быть — м о г л о быть; дома, лопаты, машины, штаны, ложки... даже прямохождение — все это было когда-то н о в ы м, реализовалось и применялось впервой. А такие дела — уж это-то я знаю! — с первого раза не получаются, не обходятся без колебаний, срывов, преодоления косности мира, инерции потока времени. Попытаться или нет? Выделиться поступком, новым действием — или быть как все? У колыбели всех создавших цивилизацию изобретений, сотен миллионов усовершенствований, проектов и иных новшеств,— стояли эти вопросы, сомнения, колебания, размывающие мир по Пятому.

...И главное, чтобы реализовалось все последующее, те обезьяны должны были решиться на самое первое новшество: перейти с четверенек на прямохождение.

Освободить передние лапы — будущие руки — дело непростое; недаром до сих пор у всех столов и стульев по четыре ножки в память о той «утрате», хватило бы и трех.

Вот, представим, первый такой мохнорылый новатор засомневался: подняться ему с четверенек, пройтись на двух или нет? С одной стороны, дальше видеть и вообще интересно, а с другой — трудно, споткнуться можно... засмеют, затюкают, забросают грязью. Обезьяны это умеют. Что мне — больше других надо! И — не решился.

И все кончилось, так и не начавшись.

Может, те двое в пещере меня и колошматили за попытку прямохождения?..

В комнате сумеречно. Но я не зажигаю свет. Красный лучик от индикаторной лампочки осциллографа освещает часть изуродованного схемой стола, пинцет с изогнутыми лапками, штурвальчик манипулятора, матрицу под контактными иглами. Металлическая решетка ее кажется раскаленной, столбик германия в перекрестиях, как розовые искорки.

Какая-то новая мысль зарождается во мне. Даже не мысль — предчувствие понимания... Как Кепкин-то возжелал: а обратно из диодов в трехслойные структуры нельзя? Губа не дура. Хорошо бы, конечно: образование и преобразование схем электрическими импульсами в куске полупроводника. И Тюрин, так-де можно схемы в машинах и на орбите формировать, на Луне... И на Меркурии?!

...Вон, оказывается, куда меня под (или над-?) сознание выводит: к этому стеклообразному комку, бесструктурному мозгу меркурианских «черепах» из люкс-вариантов с биокрыльями! Слушай, а ведь и впрямь там что-то такое: при надлежащих — меркурианских — температурах, может (должен) обнаружиться способ к локальным изменениям под воздействием входных импульсов... к пробоям каких-то участков, к формовке в них усилительных, переключающих и всяких там логических элементов. И, естественно, от всех внешних впечатлений, от жизненных переживаний у каждого меркурианина будет формироваться с в о я, индивидуальная структура мозга. А когда меркурианин умирает, вещество выходит из режима. Если же и внешние условия изменятся — как для мозга, привезенного нашими астронавтами,— то структура и вовсе стирается. Как и не было.

Придвигаю журнал, начинаю записывать эту догадку... и спохватываюсь: здесь-то, в этом журнале, нет смысла записывать такое. Там, где я исследую то вещество, мы не ведем журналы: диктуем и снимаем на видеомаг с передачей данных в электронный архив института. Да и не в записи счастье. Главное, реализация идейки здесь открывает путь к разрешению проблемы там. Вот она, надвариантность нового знания!

2

Засиделся, тело просит движений. Встаю, беру пинцетом матрицу, несу на аналитические весы. Включаю подсветку — зелено освещается шкала миллиграммов. Уравновешиваю. Матрица весит 460 миллиграммов. Даже полграмма не тянет — а сколько в ней всего: — предсказание германия Менделеевым («Это будет плавкий металл, способный в сильном жару улетучиваться и окисляться... он должен иметь удельный вес около 5,5 г/см^3») и открытие его Винелером;

— квантовая теория металлов и полупроводников Зоммерфельда и Шоттки (да и вообще вся «квантовая буря» начала века) и открытие супругами Иоффе барьерного перехода в кристаллах;

— гальванопластика Фарадея и Якоби, теория диффузии примесей в кристалле Кремера и его же вакуумный метод: открытие выпрямляющего действия полупроводниковых кристаллов, сделанное независимо россиянином Лосевым, французом Бранли и немцем Грондалем;

— а способ вытягивания монокристаллов из расплава Чохральского, без чего вообще не было бы полупроводниковой электроники, а метод фотолитографии, а... да всего не вспомнишь, не перечтешь!

Множество людей — умных, знающих, талантливых работяг — вложили до меня в эту матрицу свои идеи, находки, труд. Только на самой вершине этой горы знаний моя идея и моя работа. Встал на цыпочки и дотянулся до звезды.

...Как звали Лосева? Олег? Николай? Не помню, хоть и читал о нем что-то. А Чохральского? Кто его знает — Чохральский и Чохральский. Где он жил, кто он: соотечественник, поляк, американец? Тоже неведомо. Только о самых хрестоматийных что-то знаю: портретный Менделеев похож на попика из села, диссертацию он сделал о смесях спирта с водой (то-то, поди, напробовался); Фарадей не имел высшего образования, звали его Майкл — Михаил, как нашего Полугоршкова. Мишуня Фарадей. У академика Иоффе была лысина, толстые седые усы и крупный нос — видел как-то в президиуме научной конференции. И... и все. Остальные и вовсе для меня не люди, а метки на способе, теории, эффекте. Зато сами теории-способы-эффекты я знаю досконально.

...Вот, скажем, я-здешний, тщеславный инженер, возьму и назову этот способ записи диодов в матрицы «методом Самойленко» (не назову, не решусь, нынче это не принято). И попадет мой метод в вузовский учебник по узкой специализации. Студенты и аспиранты будут вникать, думать: хорошо, наверное, человек живет, ловко устроился, в учебник даже попал!

...Как ладил с начальством Винклер? Сколько детей было у Лосева? Ссорились ли супруги Иоффе? Как здоровье мистера Кремера, если он еще жив?

Черт побери, ведь все это жизни человеческие. Только малую долю их составляет какой-то способ, эффект, изображение... Так ли? Малую ли?

Новая мысль зреет во мне — и выпирает словами «...здесь нет никакой несправедливости». Нет несправедливости в том, что от личности исследователя или изобретателя, от всей жизни остается малость — метка при новом (небольшом, как правило) знании; а все прочее, что напоминало его существование, что вознесло и свело

в могилу, оказывается не стоящим упоминания. Потому что не малость это и не метка — новая информация, которая необратимо меняет мир. Сдвигает его по Пятому в сторону все больших возможностей.

...Ночь сменяет день, зима сменяется весной, весна летом, сушь дождем — и все это обратимо, от круговорота планеты и веществ на ней. Зарождается и растет живое существо: дерево, зверь, человек — но это обратимо, потому что умрут они все. И варианты наши житейские — с мучительными выборами и расчетливыми терзаниями — также обратимы, незримо смыкаются и компенсируются за пределами четырех измерений; альтернативы не упущены, они лишь отложены; все выгадывания суть перестановки в пределах заданной суммы.

А необратимо меняет мир только мысль человеческая. Надолго, может быть, навечно.

...И неважно, что сами первооткрыватели возможностей (как и здесь-сейчасный я) куда ближе принимали к сердцу отношения с начальством, коллегами, женщинами, чем отношение к их идеям, больше печалились о неустроенности в быту, чем об устройстве первых опытов. Важно, что были идеи и опыты. Нет никакой несправедливости, что запомнились именно необратимые изменения, кои произвели в жизни мира эти люди,— а не житейская болтанка, которая у них была, в общем, такая, как у всех.

...И мир перебрасывается в иное состояние. Из века в век, из года в год нарастает в нем количество диковинных предметов, каких не было раньше, растут их размеры, массы, а у подвижных — скорость и сила движений. Предметы, которые были сначала замыслами, а еще до этого лишь смутным стремлением человека выразить себя. Созиданию сопутствуют разговоры о «пользе», но они лишь вторичный лепет не видящих дальше своего носа — звуки, сопровождающие процесс. Сооружения, машины, искусственные тела распространяются, разрастаются, заполняют сушу и реки, выплескиваются в моря, в атмосферу, в космос... и все больше, крупнее, выше, дальше, быстрей! Шевелись, материя, пробуждайся от спячки, планета,— человек пришел!

В комнате темно, за окном сине. Я стою возле аналитических весов, тру лицо — но все это уже не реально. Так бывает. Блистают, накладываясь друг на друга, алмазные грани многих реальностей. Выстраиваются в перспективу туннелями сходные контуры интерьеров. И гремит, перекатывается в них громоподобным эхом Бытия не словесная, но очень понятная мысль: «Ты не искал бы меня, человек, если бы не нашел!»

Да, так — я чувствовал, а теперь понял.

Какой простор! Причастность к подлинной жизни мира наполняет меня радостной силой. Я иду, будто лечу,— делаю несколько

шагов в направлении стены, которой, я знаю, теперь здесь нет. Несколько шагов, равных межпланетному перелету.

Поднимаюсь на помост, сажусь в мягкое сиденье с поручнями.

Последняя мысль, начатая еще там: если бы мир не заворачивал все круче по Пятому, как бы мы отличали прошлое от будущего!

Я перешел.

3

Отступают, сникают, стушевываются множественные рельефы и пейзажи мысли. Все снова однозначно, конкретно: в комнате темно, за окнами сине. Только огоньки индикаторных лампочек, красные и зеленые, тлеют слева от меня: там пульт «мигалки»-эмоциотрона. Я в Нуле. Сейчас здесь никого нет. Но машина включена — на всякий случай именно таких возвратов.

Уф-ф, наконец-то! Сбылась мечта, с самого утра стремился. Итак, я в Нуль-варианте, в лаборатории вариаисследования без начальства (впрочем, номинально — Паша). В выпятившемся в бесконечный n-континуум возможностей кусочке пространства с особыми свойствами. Люди всюду не обходятся без Пятого измерения, это так,— но здесь у нас оно как-то более физично. И технично. Отсюда мы не выпячиваемся в иные варианты одним ортогональным отличием, а исчезаем целиком и появляемся целиком. В Нуле у нас нет своего тела — с каким прибудешь, такое и носи. Это странновато. Конечно, попахивает отрицанием телесности, неотразимой внешности и отутюженных штанов — но это отрицание внешности в пользу сути, понимания. Поэтому мы и надвариантны.

Опять же — техника. Индикация приближения полосы, многоэлектродный контроль биопотенциалов для сложного индивидуального резонанса каждой личности с иными измерениями — и так далее вплоть до медицинского контроля. И все по теории.

Словом, я дома, грудь дышит глубоко и спокойно. И — как всегда, когда достигнешь трудной цели,— кажется, что дальше все будет хорошо.

Встаю с кресла, делаю в темноте шаг по мосту — и спотыкаюсь, цепляю ногой за что-то мягкое. Едва не падаю. Ругаюсь. Лежащее издает стон, такой, что у меня мурашки по коже. Голос знакомый. Кепкин?!

Перешагиваю, бросаюсь к стене, нашариваю выключатель, поворачиваю. Полный свет. На помосте возле кресла лежит вниз головой Герка — и, о боже, какой у него вид! Серый костюм в грязи, в темных пятнах, а правая сторона будто обгорела: сквозь прорехи с черной каймой в пиджаке и брюках виднеется желтая кожа.

Присаживаюсь, переворачиваю его на спину. Левая сторона Геркиного лица нормальная, только бледная, а правая багрово вздута, даже волосы с этой стороны осмолены. Какой ожог! Глаза закачены. Вот тебе и «все будет хорошо»!

Тормошу:

— Эй, Гер, очнись, что с тобой? Это я, Алеша.

Он приходит в себя, приоткрывает глаза. Стонет с сипением сквозь стиснутые губы. Я почти чувствую, как ему больно.

— Что случилось, Гер? Где это тебя так?

Кепкин разлепил спекшиеся губы, облизнул их:

— Прливет... Одежду с меня сними, выбрось...— Он еще шепчет.— Рладиация, опасно... Нарвался на взрлыв... Грлибочком.

И теряет сознание. Голова валится на сторону. На досках возле его рта подсыхающее пятно рвоты. Ожоги, рвота — признаки сильного радиационного поражения, острой формы «лучевой болезни». Действительно, нарвался!

Я расстегиваю, а когда пуговицы или молнии заедает, то рву, с треском — раздеваю тяжелое обмякшее тело. Соображаю, что делать. Вызывать «скорую»? Это и обычно-то часа два-три, а в Нуль попасть им и вовсе мудрено, промахнутся. Надо самому как-то. Из Нуля можно выйти обыкновенно и повернуть в него, если в выходе не колебался и не подвергался превратности случая. Какие колебания: надвариантник погибает! В двух кварталах вверх по Чапаевской-Азинской-Кутяковской или как ее еще находится клиника, при ней, кажется, есть пункт «неотложки»... да если и нет, дежурные врачи наверняка имеются. Вот туда его и надо.

Взваливаю беспамятного Кепкина на плечо. Какой он тяжелый при своей худобе — и будто полужидкий, сползает. Пошатываясь, бегу по коридору. Лифтом вниз. Не тревожа сладкий сон вахтера в кресле, сам отодвигаю засовы двери. Переваливаю Герку на другое плечо — и вперед во тьму. За квартал увидел световое табло с красным крестом.

Возвращаюсь через полчаса один. Бросил на ходу вахтеру, который проснулся и глядел на меня недоуменно: «Приборы забыл выключить, Матвеич!» — и скорей наверх. Единственная защита от превратностей — быстрей вернуться.

Поднимаюсь по лестнице, а в уме одно: «Безнадежен. К утру помрет». Так сказали в один голос врач «неотложки» и вызванный им дежурный терапевт. «Где это его так, хватанул — не меньше тысячи рентген, втрое больше положенной нормы? На реакторе, что ли?..» Конечно, они распорядились сразу о переливании крови, об инъекциях антибиотиков и стимуляторов — обо всем, что применяют, пока человек дышит. Но это просто медицинский ритуал.

Основное было сказано — и я, чтоб быстрее закрутились, врал

медикам, что понятия не имею, кто это и что с ним случилось. Шел-де мимо сквера, слышу — стонет кто-то; сначала думал, что пьяный. Одежда? Да вроде там лежала рядом, сам, вероятно, снял. Не светилась в темноте? Вроде немножко было. Кто я и откуда? Назвал вымышленную фамилию, такое же место работы, адрес — и ходу. Что толку рассусоливать, если не выживет!

...Бедный Кепкин! Правда, из-за ничтожно малой вероятности Нуля эта смерть не в смерть, не оплачет его Лена; да и в «неотложке» все смажется иными вариантами, окажется, что я принес упившегося до самоотравления алкаша, и того спасут... того спасут! И с Герочкой я еще не раз встречусь в разных вариантах, как встречаюсь со Стрижом. Но жаль и обидно, что так оборвалась его надвариантность, н. в. линия. Переводил человек — сначала больше чтобы похохмить — статьи о южноамериканском эмоциотроне и собаках, тем подкрепил умствования Кадмича и Сашки, постепенно втянулся в работу по созданию Нуля; перебросившись, приобщился к надвариантной мудрости — той, в которой много печали. И вот...

Значит — параллельно с вариантами, где я служу в продмаге, изобретают способ электроформовки диодов в матрицах, летают на биокрыльях... и многими еще — есть и такое здесь-сейчас, с грибочковым ядерным взрывом. Мы считали, что такие возможны в будущем или где-то не здесь, а если и здесь, то ПСВ к ним не приведет, упрется в стену нашего несуществования. А Герка по своему невезению угадал, что называется, в самый раз: в час, когда началась и кончилась ядерная война.

...Это тоже ноосфера. Такие возможности созданы в изобилии, упрятаны в корпуса авиабомб и белоснежных остроконечных ракет, хранятся в готовности. Хотите — используйте, люди, не хотите — нет. Ноосфера, кончающая с собой.

По привычке дохожу до конца коридора, до последней двери. Дергаю — заперто. Спохватываюсь: ну да, в Нуле она должна быть заперта, открыта предпоследняя. Возвращаюсь, вхожу, все на месте: пульт, помост с креслом, и электродными тележками, тумбы «мигалки». Я по-прежнему в Нуле — только теперь нет чувства, что все в порядке и дальше будет хорошо.

Ничего не в порядке.

Гашу свет. Хожу вдоль помоста, от стола Смирновой у окна до пульта возле двери — двенадцать шагов от индикаторных огоньков до фиолетовой тьмы, накрест пересеченной оконным переплетом, столько же обратно. Не споткнусь, не зацеплюсь — место знакомое. Мысли тоже мечутся.

...В варианте, из которого вернулся Кепкин, нет никакого рисунка жилок на листьях клена напротив окон. И рисунка на коре тоже. Потому что нет ни листьев, ни коры — обгорелый ствол с сучьями. И сегодняшние красивые плоские облака, которыми

я любовался, испарились там в момент вспышки, затмившей солнце. Т а к о й вариант развития ноосферы влияет и на природу.

А Герка все-таки добрался сюда, в здание с сорванной крышей, вылетевшими стеклами, очагами пожаров,— поднялся на свой этаж, нашел в себе силы, умирая, вернуться и сообщить о таком варианте. Хоть видом своим дал знать, как это выглядит.

... Бедный Герка, несчастный лабораторный шут гороховый! Как оно, действительно, бывает; и человек не хуже других, способный исследователь, дельный работник — а установится к нему дурноватое отношение, через «бу-га-га», и все вроде не в счет. Он сам еще по слабости характера подыгрывал, ваньку валял. Ох, как меня сейчас гнетет чувство вины перед ним — за подначку, за дурацкую «версию», что жена его бьет (я автор, я)! И перебросили его по Пятому шутовским способом... оправдывался: «Прледчувствие останавливает». Правильное было предчувствие.

...Выходит, один я остался более-менее полноценным вариаисследователем. Кепкин погиб, Тюрин не может, Стриж «мерцает» — каждый раз неясно, появится ли он еще. И вернуться в нуль-вариант все трудней, такое впечатление, что он съеживается, будто шагреневая кожа,— особый кусочек пространства-времени. Без прошлого, без влияния на что бы то ни было... и без будущего? Что, в самом деле, меня ждет здесь?

4

И я останавливаюсь, будто налетел на препятствие. Гляжу во тьму расширенными глазами. Холод в душе, мурашки по коже.

...а тоже самое, что и Кепкина! То есть необязательно атомная война — достаточно вылетевшего из-за угла самосвала. Как меня до сих пор-то еще не угораздило... и как до сих пор не понял это!

Есть много вариантов «pas moi» в которых меня уже нет. Есть такие, где мне еще жить да жить. По этой же статистике должны быть и п е р е х о д н ы е между теми и другими — такие, в которых конец мой не в прошлом и не в будущем, а сейчас, лишь сдвинут по Пятому. Сколько всего моих вариантов с существенными различиями: тысячи? сотни тысяч? Ведь это не что-нибудь, а десятки, сотни или тысячи моих смертей! Не успеешь оглядеться — и крышка.

...Кто знает, если бы дошел до этой мысли умозрительно, то рассуждал бы, наверное, спокойней, но сейчас, после того как я нашел здесь и тащил на плече в клинику умирающего Герку, все куда более зримо. Я с ужасом смотрю в сторону стартового кресла: никакая сила не заставит меня более взойти на помост и сесть на него. И так сегодня чуть не гигнулся от импульса.

...Главное дело, не знаем, куда какая ПСВ ведет. С самого начала нацелились на одно: перебросить, сдвинуться по Пятому. Куда — неважно. И не думали об этом.

А вот, оказывается, какова плата за это знание. В обычном существовании жизнь одна и смерть одна. А в надвариантном состоянии жизнь-то все равно одна (потому что это м о я жизнь), хоть и обогащенная новыми воспоминаниями и впечатлениями, а смертей-кончин меня ждет много!

— Что, струсил? — спрашиваю я себя вслух. Мой голос глухо отдается от стен.

Опускаюсь на край помоста, провожу руками по лицу, делаю глубокие дыхания. И верно, струсил, сердце частит. Хреновый все-таки из тебя вариаисследователь, Кузя!

...С Кадмичем бы надо это обсудить, поставить ему такую задачу. Возможно ли просчитать в ЭВМ, посмотреть как-то математически: что маячит в глубине ПСВ? Или нет?..

А если установит, что невозможно, не просматривается Пятое измерение на манер шоссе перед автомобилями,— не перебрасываться вовсе? Зачем же я тогда стремлюсь в Нуль?

...В каком-то последующем перебросе мне не повезет. То, что Кепкин добрался в Нуль, скорее исключение, чем правило для гибнущих вариаисследователей. Не вернусь, останется один Тюрин. Он подождет-подождет, да и попытается сам перейти — и наперед ясно, чем это для него кончится.

Смирнова и Убыйбатько после этого... ну, наверное, просто «отключатся» от Нуль-варианта, перестанут выпячиваться в него поступками и прическами. Пал Федорыч тоже — да он, похоже, уже выбыл из игры после той пальбы электролитов.

И очень может быть, что с безнадзорно включенной «мигалкой»-эмоциотроном тогда произойдет то же, что случилось с нею в иных вариантах: перегрев, короткое замыкание... и пожар. Останется обгоревший корпус с дырами приборных гнезд, его выставят на задний двор, а потом спишут. Как, с каким объяснением? Э, слова для акта найдутся.

И все. Нуль-вариант сомкнется с другими.

Неужели к тому идет?..

И — чем попадать под обух, я могу просто встать и уйти?

...Из-за чего, собственно, на рожон-то лезть? Сначала ясно: реализовать новую идею и тем утвердить себя. А дальше? Ведь практического выхода это задание не имеет.

Ну, протопчем мы для человечества эту тропинку в Пятое, все люди смогут свободно скользить по измерениям мира возможностей... и что? Сначала они, люди мира сего, увлеченные маячащей перед носом «морковкой счастья», будут рассматривать свои варианты

так: ага, это я упустил, надо учесть и в следующий уж раз... а вот здесь я выгадал, молодец!.. а этого надо бы избежать...— то есть все новое подчинят старым целям. Но постепенно вариаисследование поднимет их над миром, отрешит от расчетов и выгод, от напряженной суеты. Изменятся цели человеческого существования. Как? Я не знаю.

Единственный пока «практический выход» — это то, что я предупредил Сашку о бромиде бора. Что же, и дальше мне, подвергая себя реальным опасностям, спасать его от опасности в большой степени мнимой?

Как сказано у Гоголя: «С одной стороны, пользы отечеству никакой, а с другой... но и с другой стороны тоже нет пользы!»

Сижу в темноте — локти на коленях, лицо в ладонях. Я не испуган, нет. Я в смятении.

ГЛАВА XII

ВОЗВРАЩЕНИЕ

> Вероятность того, что пуговицы на штанах расстегнутся, намного превосходит ту, что они сами застегнутся. Следовательно, застегивание штанов — процесс антиэнтропийный. С него начинается покорение природы.
>
> *К. Прутков-инженер. Мысль № 111.*

1

Музыкальный сигнал перехода. Не н а ш сигнал, что-то скрипично-арфное, подобное дуновению ветра над кронами деревьев. Вскакиваю, оборачиваюсь — смутный силуэт человека в кресле. Сашка? Включаю свет.

О боже, Люся моя возлюбленная. Моя жена, отбитая у Стрижевича, его вдова, к которой ушел от Лиды... женщина, которую я упустил почти во всех вариантах. Но там, где не упустил, у нас любовь, какой у меня не было и не будет.

— Ты? Почему ты здесь?

Сейчас я озадачен, и, если честно, не очень рад встрече: помню, как давеча рассматривал себя в зеркальце гальванометра. Рожей не вышел я сейчас для встречи с ней. Для тех вариантов.

Она непринужденно сходит с помоста. Тяжелые темные волосы уложены кольцами. На Люсе серая блуза в мелкую клетку, кремовые брюки — все по фигуре и к лицу. На широком отвороте блузы какой-то то ли жетон, то ли значок: искрящийся в свете лампы

параллелограмм, длинные стороны горизонтальны, внутри много извилистых линий.

Она кладет мне на плечи теплые руки, приникает лицом к груди — моя женщина, надвариантно моя. Моя судьба.

— Я боялась, что ты больше не вернешься.

— Постой... погоди с лирикой-то. (Я строг, не даю себе размякнуть. Знаем мы эти женские штучки!) Во-первых, куда я должен вернуться? Где мы вместе, я уже есть, а где нет... тому и не бывать. Во-вторых, ты-то, ты-то сюда как попала — будто с неба?

— Почти.— Она глядит снизу блестящими глазами нежно и лукаво.— Мы всюду должны быть вместе. Везде и всегда.

...Снова музыкальный сигнал — такой же. Скрипично-арфовый. И вслед за ним очень выразительное «гхе-гм», произнесенное очень знакомым голосом. Поворачиваю голову: конечно, кто же еще — Сашка. Стоит, оперевшись о спинку старого кресла, нога за ногу, голова чуть склонена к плечу. Одет не так, как днем (да и с чего ему быть одетым так же!): в светло-коричневой куртке и брюках, под курткой такая же, как у Люси, рубашка в мелкую клетку; над левым карманом у него тоже пришпилен жетон-параллелограмм с мозаичными искорками и блестящими извивами между нижней и верхней горизонталями.

Я несколько напрягся. И не из-за таких ситуаций, в которой Стриж наблюдает сейчас меня с Люсей, у нас случались драки — до крови, до выбитых зубов. Жду, что и Люся отпрянет или хоть отстранится от меня. Ничего подобного: спокойно глядит на Сашку, положив мне на грудь голову, обнимает за шею рукой.

— Ты, как всегда, кстати,— говорю я.— Впрочем рад, что с тобой все обошлось. А то я беспокоился.

— Во-первых, не обошлось, я все-таки не один раз подорвался на этих чертовых ампулах, разбивался на мотоцикле, получал нож в сердце... и даже погиб от легочной чумы в бактериологической войне. Во-первых, беспокоишься ты сейчас не о том: ты увел мою женщину!

— Уводят лошадь, Сашок,— мягко отзывается Люся.— или корову. А женщина решает сама.

— Да-да...— Сашка смотрит на нас, не меняя позы: голос у него какой-то просветленно-задумчивый.— Ты права. Если по-настоящему, то это я тебя у него уводил. Умыкал. Только теперь увидел, насколько вы пара. Смотритесь, правда.

Мне эта сцена уже кажется излишне театральной. Какие-то трое задуманных положительных персонажей из отлакированной до блеска пьесы. Во мне пробуждается злость. Отстраняюсь от Люси.

— Послушайте! Можете вы толком объяснить... Если ты — ты! — столько раз погибал, то почему ты здесь? Почему знаешь об этом? — И — Люся откуда взялась? Что все это значит!

— Тупой,— говорит Стриж нормальным своим голосом,— тупой, как валенок. Каким ты был...— И он красноречиво качает головой.

— Ну, зачем так! — вступается Люся.— Просто человеку, когда он поднимается на новую ступень познания, всегда сначала кажется, что он уже на вершине. Алешенька, милый, почему ты считаешь, что Нуль-вариант... или, точнее, Нуль-центр — только один в многомерном пространстве?

— А?.. Ага! — Я смотрю на них во все глаза.

— Ротик закрой, простудишься,— заболеешь,— говорит Сашка.

...Вот теперь мне понятно и их появление, и одежда с намеком на униформу, и эти жетоны. Я смотрю на Люсю: она та, да не та, к которой я летал вчера на биокрыльях, какую знал во всех вариантах. Та — обычная женщина, неразделимо привязанная чувствами (любовью, заботами, опасениями) к окрестному миру; когда нежная, ласковая, страстная, а когда — это и я знаю, и Сашка — как застервозничает, не дай бог, не подступишься. Эта — свободней, содержательней, одухотворенней; больше ясности в лице и в голосе.

И Сашка... Сейчас он вернулся к принятому у нас в общении тону — но это больше для меня, чем для самовыражения. Я замечаю отсвет больших пространств на его лице, тех самых вселенских просторов. Ясно, из *каких* вариантов они оба прибыли. И та жизнь, то бытие для них нормально.

— Порядок,— говорит Сашка, сходя с помоста.— Он дозрел, это видно по его лицу. Да, Кузичка, да. И что ваш Нуль-вариант исчерпал себя, сходит на нет, это ты тоже правильно понял. Будем приобщать тебя к нашему.

— Зачем?! — Я пожимаю плечами.— Это ведь до первого сна, а в нем я скачусь обратно сюда. Душу только растравлю.

— Начинается!..— Стриж выразительно вздыхает.— Нет, я с ним не могу. Люсь, попробуй ты!

— Алешенька.— Она гладит меня по волосам жестом почти материнским, глаза немного смеются.— Ну, ты действительно абсолютизируешь. Наши предки когда-то на четвереньках гуляли и все в шерсти. Сон — из того же атавистического набора. Ты перейдешь с нами туда, где люди непрерывно владеют сознанием. Решайся, а?

...Под все эти захватывающие события и разговоры незаметно прошла короткая летняя ночь. Небо за домами светлеет, розовеет.

Собственно, я с первого Сашкиного слова уже решился и согласился — а кочевряжился только потому, что иначе же и согласие не имеет веса. Пусть чувствуют.

— А как там насчет пожрать? — спрашиваю.— Это не считается пережитком? А то я голодный, как черт.

Люся смеется:

— Бедненький!

— Так с этого и начнем,— говорит Стрижевич, подталкивая меня к двери.— Пошли.

— Куда?

— На Васбазарчик пить молоко.

— А... потом вернемся?

— Там видно будет.

И Люся улыбается несколько загадочно.

Дальше расспрашивать мне не позволяет самолюбие. На базарчик, так на базарчик.

Мы выходим из лаборатории, спускаемся к выходу, минуем Матвеича, который похрапывает в кресле в сладком утреннем сне. Идем по Предславинской в сторону восходящего за домами солнца.

2

Вольное торжище, существующее, вероятно, со времен Кия и Хорива, Васильевский базар встречает нас разноголосым шумом. Здесь же людно, пыльно, злачно. Домохозяйки со строгими лицами снуют около дощатых прилавков. В молочном ряду толкутся работники, наскоро жуют, запивают молоком купленные в киоске рядом булки. Мы тоже покупаем по булке. Наш приход вызывает среди молочниц оживление:

— А ось ряженка, хлопци!

— А ось молочко — свиже, жирне, немвгазинне!

— Та йидить сюды, вы жу мене той раз купувалы!

Мы здесь свои люди. Останавливаем выбор на ряженке, это наиболее питательный продукт. С треском кладу на прилавок рубль:

— Три банки — и сдачи не надо.

— Оце почин так почин! — Дородная молочница в замызганном фартуке наливает из бидончика три поллитровые банки только что не с верхом.— Йижте на здоровья, щоб на вас щастя напало.

Проголодался не только я — Сашка наворачивает вовсю, откусывает булку, запивает большими глотками ряженки, достает пальцами из банки и заправляет в рот вкусную коричневую пенку. Только Люся смотрит на свою банку с сомнением, прихлебывает понемногу без удовольствия: такой завтрак не для семейной женщины.

— Вы их хорошо моете, эти банки? — осведомляется у продавщицы.— А то как бы нас вместо «щастя» не напало что-нибудь другое.

— Та йижте, дамо, не бийтеся, нияка трясця вас не визьме! — отвечает та.— Уси ж йидять.

— Ешь-ешь,— подтверждаю я.— Проверено.

В эту минуту слышится нарастающий, будто приближающийся арфовый перезвон, сопровождаемый скрипичными переливами,— и я не сразу соображаю, что зазвучали жетоны на груди Люси и Сашки. Уж очень эта мелодия неуместна среди торговых возгласов, куриных воплей и шума машин за забором.

— Внимание! — Сашка ставит свою банку на прилавок.

Я тоже на всякий случай ставлю банку.

...и мир стал поворачиваться ребром. Все окрестное — то есть не то, чтобы совсем все, а принадлежащие этому варианту отличия: деревянные прилавки и навесы, киоски, утоптанная или замусоренная земля под ногами, часть людей, даже ясное небо над головой — оказались будто нарисованными на бесконечной странице-гиперплоскости в книге бытия. Страница перевернулась, скрыв это, а вместо него вывернулось (как с другой стороны листа) иное:

— высокие арочные своды завершаются на высоте десяти метров стеклянным потолком с ромбической решеткой (за ним все-таки розовое утреннее небо); сходящиеся в перспективу бетонные прилавки с кафельной облицовкой, шпалеры продавцов в белых халатах за ними, кипением более изысканно, чем прежде, одетых покупателей; спиральные полоски подъемов без ступенек ведут на второй ярус.

Много бетона и ни одного куриного вопля.

— Вот это да! — восхищенно поворачиваюсь к Люсе и Стрижевичу.— Другой метод?!

— Кушай, кушай,— Сашка невозмутимо приканчивает ряженку,— деньги ж уплачены.

— Не уплачены ще,— холодно говорит молочница; она в белом, чистом и накрахмаленном халате, от этого выглядит еще дородней и аристократичней.— С вам два карбованци и десять копиек.

— Да вы что? — Я даже поперхнулся.— По семьдесят копеек ряженка?!

— Плати, не жмись. Ты думаешь, кто оплачивает это храмовое великолепие,— Стриж обводит вокруг рукой,— папа римский?

Я расплачиваюсь. Мы направляемся к выходу. Великолепен переход по Пятому, их способ, но я все же огорчен. И тот рубль пропал. Век живи, век учись, освой хоть все измерения — а что при перемещениях по Пятому вперед деньги платить не следует, все равно не сообразишь.

Мы выходим на Предславинскую. Она сплошь заасфальтирована, многие дома на ней иные — новые, высокие. Балконы их вплоть до верхних этажей обрамляет тянущийся от земли дикий виноград.

3

Нуль-центр, из которого явились Люся и Стриж, отличался от нашего Нуль-варианта, как мощное радиотехническое НИИ от уголка радиолюбителя. Исследователи там освоили Пятое почти наравне с физическим пространством. Сегодняшний маршрут нас троих был рассчитан и спланирован, Сашка и Люся держали в уме все места наибольшей повторяемости — моей, в основном, им, естественно надвариантным, любые были хороши — и подходящие для переброса моменты. (Именно поэтому Стриж так охотно и пошел на Васбазарчик, первое место нашей повторяемости.)

...Из патриотизма не могу не отметить, что Тюрин, наш Кадмий Кадмич, Циолковский Пятого измерения, развивал подобную идею: мол и хорошо бы не ждать сидя на месте, ПСВ, коя к тому же неизвестно куда ведет, а активно искать места нужных переходов. Чем большее пространство мы охватим поиском, тем больше таких точек — можно выбирать. Он даже обосновал эту идею расчетами. Но... и все. Для реализации ее требовались перво-наперво прогностические машины такой сложности и быстродействия, каких еще не было в природе. Да что говорить: один этот микроэлектронный звучащий жетон-параллелограмм заменял Стрижу и Люсе в п-мерной ориентации всю нашу пыточную систему с «мигалкой»-эмоциотроном, креслом и электродными тележками.

Впрочем, то, что места и моменты переходов для Люси и Сашки и меня-новичка повсеместно совпадали, определила не только техника, но и глубинная близость нас троих. Это я понял, не расспрашивая их. Я многое в этот день понял-вспомнил, не расспрашивая никого и ни о чем.

Мы блуждали по меняющемуся пятимерному городу, будто листали его страницы-варианты. Под лирический перезвон жетонов пространство поворачивалось к нам под новыми гранями: вместо пустыря — сквер, вместо оврага — канал с арочными мостами... Яснели лица встречных, стройнели, становились гармоничней их тела. И все это будто так и надо, можно даже не замедлять шаг при переходе. Впрочем, после пятого или шестого перезвона мы сели в стоявший на углу зеленый электромобиль с шашечками: Сашка за руль, мы с Люсей позади. Машина со слабым жужжанием помчала нас (без счетчика, отметил я с облегчением) к Соловецкой горке над рекой; там, я знал, находилась городская телестудия и ее стометровая антенная вышка.

Но когда мы прикатили туда, очередной перезвон все изменил: конструкцию вышки — она стала параболоидной, с лифтовой шахтой внутри, но без антенн наверху и формы двухэтажного дома у ее подножия. Теперь это была, понял-вспомнил я, городская

станция проката биокрыльев и стартовая вышка при ней; а телевидение идет по оптронным каналам и в антеннах не нуждается.

...Здравствуй, мой самый хороший вариант! Я и не чаял снова в тебя попасть.

Площадь вокруг вышки и станции полна движения: люди подходят и подъезжают, скрываются в здании, спешат сюда, как в электричку; они по-утреннему свежи и деловиты, и в лицах — такой дорогой, радующий душу отсвет больших пространств. И в воздухе над деревьями они же — парят, планируют, машут блестящими перепонками, удлиняющими руку, набирают скорость, улетают, уменьшаются до точки. Я смотрю, задрав голову.

— Пошли, не задерживайся.— Берет меня за локоть Сашка.— Между прочим, здесь, как ты помнишь, ночью еще спят.

Мы входим в здание, берем со стеллажей биокрылья своих размеров, проверяем зарядку, помогаем друг другу надеть и застегнуть тяжи. Поднимаемся лифтом на самую верхнюю — для хороших размеров и далеких полетов — стартовую площадку.

Солнце и сегодня поднялось, будто расшвыряв огненным взрывом близкие облака; они, сизо-багровые, вздыбились у горизонта. Такую картину наблюдали мы с Ник-Ником с Ширминского бугра, идя в институт. И река внизу под нами так же извернулась широкой дымчато-алой лентой, отражая зарю. И низменные части города залиты, как и вчера, утренним туманом... Я здесь сейчас — и в ином мире.

А вон за рекой — коттеджики поселка завода ЭОУ. Может быть, батя сидит на берегу, закинув удочки, на раскладном стульце, ежится от сырости, курит, ждет, когда поведет поплавок. Клев на уду, батя!

Даже облака первично незыблемы, надо же! А у нас — все меняется, мерцает. Честно говоря, мне не хочется покидать этот вариант: лучше бы я пошел или полетел сейчас в институт, где в сейфе м о е й лаборатории лежит тот стеклянный кусок с Меркурия, да потратил бы этот день — хоть один! — на проверку вчерашней догадки. Верна она или нет?

— Нечего, нечего, надвариантник,— говорит Сашка (и мысли угадывает, гляди-ка!),— без тебя проверят. Не отвлекайся, не нарушай график. Ну!..

Мы становимся на край площадки: Люся в середине, Стриж слева от нее, я справа,— раскидываем руки, напрягаем их. С шелестом разворачиваются, становятся упруго-послушными командным сокращениям моих мышц биокрылья. Вперед! Стремительное, со свистом ветра в ушах падение-планирование. Крылья начинают загребать воздух. Горизонтальный полет, плавный подъем. Через две минуты дома, деревья, люди внизу — такие маленькие, что душа сладко замирает.

4

И так же, как при недавнем перебросе в «прошлое» объединяющими впечатлениями были для меня нагоняи с мордобоем, так теперь переходы в «будущее» объединялись для меня впечатлением непрерывного полета: весь день мы только и переходили от одной его формы к другой. И как то «прошлое» не было прошлым, а лишь вариантами настоящего, так и вновь увиденное и понятое мною тоже существовало сейчас на планете Земля.

...Мы парим, описывая широкие круги, в восходящем потоке теплого воздуха, набираем высоту. Это искусство — так парить, удерживаться в столбе, не соскользнуть в сторону; я им тоже владею. Скрипично-арфовый перезвон — более высокий, чем прежде,— в зыбко-волнующейся становится поверхность степи под нами. Отдельные ее участки: луг с кустарником, сад с молодыми деревцами и дачным коттеджем, липовая роща с овальным озерцом посередине, гектарные прямоугольники не то бахчи, не то огорода, издали не поймешь,— выгибаются, кренятся, заворачиваются краями и... поднимаются в воздух. Медленно уходят вверх, плывут по ветру на разных высотах, отбрасывая на землю облачную тень.

Это мы пролетели над. Земледельческим Комбинатом, узнаю-вспоминаю я. Как же, бывал там не раз: земледельцы (истинные земледельцы, ибо они д е л а ю т землю, а не обрабатывают ее) создают здесь и пускают по воле ветров летающие острова на основе сиаловой пены с аргоно-водородным наполнителем; тонна массы такой пены поднимает тонну веса. Они и нарушают ее весом: подпочвой и гидропонной сетью, лучшими сортами черно- и краснозема, растительностью, сооружениями, даже водоемами с рыбой. Целые архипелаги летающей суши создают эти комбинаты. Веселые, сильные люди с открытыми лицами, работающие здесь, еще называют сами себя с в о б о д о д е л а м и. Тоже правильно: нет более важной среди свобод, чем та, чтобы людям жилось просторно. А свободней жизни и работы на «лапуте» нет ничего — живущему здесь принадлежит весь мир.

Люся заприметила островок с овальным прудом и мягкой травой, планирует к нему. Мы за ней. Опустились на первозданную летающую сушу, на которую еще не ступала нога человека. Люся сбросила биокрылья, затем одежду, распустила волосы и — прекрасная, нагая, длинноволосая — кинулась в чистую воду. Сашка последовал — во всем! — ее примеру. Я минуту стоял и смущенно глядел, как они резвятся,— потом тоже полез в воду нагишом. В конце концов, телом я не хуже Стрижевича, в плечах даже пошире: в талии, правда, тоже. Вода была по-утреннему прохладная. Взбодрились, вылезли сушиться под набравшем уже высоту и накал солнышком. Легкий ветер нес нас на юго-восток.

Я искоса поглядываю на распростершихся на траве спутников. Нет на руке у Сашки той татуированной змеи, обвивавшей кинжал: исчезла и его сутулость, память о блатном детстве. Не было у него такого детства, обстоятельств, наводивших на идею обирать пьяных, ни даже к колебаниям типа: начать курить в десятилетнем возрасте, чтобы выглядеть «мущиной», или повременить?

А мои житейские беды и срывы — тоже остались за гранью невозможного. Почему же я помню о них? Глубинно мы с Сашкой все те же. Где граница между тем, что мы сами делаем с собой — своими колебаниями-выборами-решениями,— и тем, что с нами делает жизнь: среда, предыстория, обстоятельства... все выборы, сделанные без нас и до нас?

...И понял я, будто проснулся, почему есть варианты, в которых я могу держаться только до первого сна, до расслабленности сознания, а есть и такое, серединка, в которых я могу жить долго,— и хотел бы выскочить, да не дано. Последние — от грузчика продмага, который прежде шалил да завязал, до к. т. н. А. Е. Самойленко, заведующего лабораторией ЭПУ, выбившего из седла Пашу и занявшего его место,— истинно мои, продукт только моих решений и выборов в пределах заданного состояния общества, одной его н. в. линии. Проще сказать, общество здесь ни при чем, оно все такое же — с точностью до плюс-минус единицы, до меня. А за пределами этого диапазона и общество не то, сдвинуто по Пятому прежними выборами и решениями многих других «единиц».

Выходит, чем дальше я сейчас сдвигаюсь по Пятому с этими двоими, тем больше я не сам по себе, а — продукт иного развития общества?

Я взглядываю на Люсю: она сидит, изогнулась, выжимая руками волосы. Сразу опускаю глаза, так она слепяще хороша. Все у нее более подтянуто, нет той, такой щемяще дорогой, родинки между левым плечом и грудью... Не было у э т о г о Сашки ссор, скандальных разрывов с этой Люсей. Почему же они расстались... или даже и не сходились? Выходит, она стала моей не в силу обстоятельств и случайностей, не пассивно, а полюбила и выбрала меня? «Женщина решает сама». Глядите-ка!

Я снова вглядываюсь на нее — с сомнением: так это ж получается, что не она моя, а я — ее! Хм... совершенство тела, совершенство духа — не слишком ли шикарно для меня? На такую красу можно молиться, поклоняться ей — а спать с ней возможно ли!

Люся собрала волосы, уложила по-прежнему кольцом. Взглянула на меня блестящими глазами, придвигается вплотную, обнимает, прижимается губы к губам:

— Вполне, Алешенька! Всегда, мой милый!

...и мне приходится, просто необходимо, чтобы привести себя

в порядок, броситься в пруд, в холодную воду. Вылезаю через минуту сконфуженный: ну, разве можно так — при постороннем. И мысли мои читает. Зачем мне такая жена!

Они смеются — дружелюбно и снисходительно, но все-таки смеются — над моим конфузом, неумением владеть собой. А я опять чувствую себя будто в партере с галерочным билетом.

И это туда же, чтец. Дался я им...

Мелодичный перезвон — еще более высокой и чистый — и многое меняется. Наша «лапута» больше не идиллическая лужайка с прудом, а скорее воздушный плот с устройствами управления (но и с бассейном, впрочем, тоже). Справа впереди по курсу какие-то воздушные замки. Время к полудню, в небе появились обычные облака — такие же, как вчера, плоские, с четкими краями: не сразу теперь и разберешь, что здесь от природы, что создано людьми, где атмосфера, где ноосфера.

Ага, ясно. Ну, куда замкам до сооружения, к основанию которого причаливает наш плот! Это «космический лифт», двухсоткилометровая электромагнитная катапульта — индукционная спираль, подвешенная на многих «фотолапутах» так, что верхний конец ее выходит в самые разреженные слои. Фотобатареи поддерживающих спираль «лапут» и питают ее током. Их много над планетой, таких «лифтов», выбрасывающих в космос электромагнитные капсулы с людьми и грузами; заурядный способ передвижения, вроде электрички. (Кстати, и экономичен он почти наравне с нею: израсходованная на разгон и выброс в космос капсулы энергия возвращается при опускании-торможении капсулы в спирали.)

Восьмиметровая в диаметре медная спираль, изгибаясь по гиперболе, уходит вдаль и вверх, в синеву, сначала сужающейся трубой, а затем и вовсе блестящей на солнце желтой нитью среди громоздящихся вокруг облаков и «лапут». На самом деле она, я знаю, не сужается: даже расширяется вверху в жерло,— но по законам перспективы впечатление, будто сходится.

«Полет и подъем,— думаю я, когда мы усаживаемся в прозрачную яйцеобразную капсулу с кольцевыми проводящими обводами.— Полет и подъем не только в пространстве, полет и подъем к высотам ноосферы, к вершинам коллективной мысли людей, изменяющей мир. И воображение мое должно быть готово обнять и принять все, иначе какой же я надвариантник! А, да подумаешь: если попятиться на чуть-чуть от моего варианта, тоже многие выкатили бы шары на обыкновенный запуск ракеты с космонавтом. Давно ли и этого не было!..»

Пристегиваемся. Сашка впереди, возле пульта-щитка с несколькими рукоятками и клавишами. Капсула повисает в магнитном поле, вытягивается в спираль. Витки ее все быстрее мелькают по

сторонам, сливаются — и исчезают, и будто и нет. Бесшумный и стремительный полет-подъем. Ускорение — не слишком сильное — вдавливает нас в сиденье. Небо впереди-вверху синеет, становится фиолетовым, почти черным с обильными звездами. Ускорение слабеет... невесомость! Вышли. Правая сторона капсулы темнеет, затягиваясь сама каким-то светофильтром,— иначе яростное косматое солнце с той стороны слишком бы согрело нас. Солнце, чернота с обильными немерцающими звездами, а внизу океанская чаша с материками и облачными вихрями, окруженная радужными обводами атмосферы. «Красота-то какая!» — другого ничего и не скажешь. Нас несет на юго-запад и вверх: уменьшаются внизу учебниковые очертания Средиземного моря с «сапогом» Италии, слева уходит вдаль Красное море, впереди надвигается буро-лиловый с белыми пятнами облачных массивов Африканский материк, а за ним сизо-дымчатая равнина Атлантики. Ух, красотища!..

Новый перезвон жетонов, еще более высокий и долгий, свидетельствующий о большом сдвиге мира по Пятому измерению. И я вижу, как краса внизу изменяется:

— справа по курсу меняются приплющенные перспективой очертания Западной Европы: наращивается Франция за счет Бискайского залива и Ла-Манша, смыкаются между собой и с материком Британские острова;

— а впереди вместо серой глади Атлантического океана вырастает, приближается, распространяется на север и на юг желто-зелено-белый в разных местах, сверкающий, как новенький, яркостью красок материк. Это неожиданно, но я знаю — вспомнил: коралловый материк Атлантида. Он и есть новенький, двадцать лет, как вырастили по рассчитанному проекту из колоний быстрорастущих кораллов на основе Срединно-Атлантического подводного хребта: поэтому он и повторяет его S-образную форму.

Пролетая на тысячекилометровой высоте, мы видим в косых лучах солнца (здесь еще утро) отбрасывающий на запад тень водораздельный хребет и его отроги; они геометрически четки, наметанному глазу сразу видно, что сначала эти контуры были вычерчены на ватмане. По обе стороны от хребта стекают в ущельях между отрогами, собираются в древовидные рисунки (тоже излишние прямолинейные) новые, еще наполняющиеся водой реки. Материк только обживается, знаю я, но зато, в отличие от стихийно возникших, пригодных к жизни едва на двадцать процентов, обжит-то он будет на все сто.

Мы влетаем в ночь. Она покрывает Северную и Южную Америку, большую часть Тихого океана (хотя, я знаю, и в нем на базе бывших архипелагов возникли два новых материка: Меланезия и Гондвана). Внизу видны только скопления огней. Вверху их больше.

«Какие н е т е выборы и решения из тех же первоначальных колебаний сделали люди,— думаю я, откинувшись в кресле,— чтобы мир, относимый к далекому будущему (да и то — то ли он, то ли иной, то ли радиоактивное пепелище... кто знает!), мир, забывший о раздорах и войнах, объединивший усилия в исполнении глобальных проектов, вот он, внизу? И дело не в научных идеях, не в технических замыслах... без них не обходится, верно, но не они сдвигают мир по Пятому. Замыслы что — в основе атомной бомбы и атомной электростанции лежит одна научная идея. Мир сдвигают решения — и не немногих деятелей, правителей или ученых — всех. Когда начали люди этот сдвиг по Пятому: в прошлом веке? В средневековье, которое благодаря иным выборам и решениям оказалось не мрачным, а сплошь Возрождением? В античные времена? В эпоху пирамид?.. (Кстати, вспомнил я, в этом мире нет пирамид, памятников фараоновой спеси и безысходного рабства. И не было.) Но ясно, что потребовались многомиллиардные массивы иных выборов и решений:.. тысячемиллиардные! Сначала они возникали из тех же колебаний наших предков, от которых ответвился и мой мир,— но затем новые решения уже сами направляли развитие: создавали иную обстановку, задавали иные темы для колебаний и решений. Вплоть до коллективных «терзаний»: переход от космических ракет на электромагнитные катапульты — или нет? Создавать коралловые материки на Земле — или лучше заняться освоением иных планет?.. Мне бы их заботы!»

— Тебе бы!..— укоризненно роняет Сашка.— Значит. все-таки отчуждаешься?

— А ты не подслушивай.

И снова звучит оттененный скрипками арфовый перезвон — в верхних, еще более высоких нотах гаммы. Изменился мир — или изменились мы? Я вижу внизу светлые, будто раскаленные контуры двух материков среди темноты океана; слева — знакомый, Австралия (он тускнеет вдаль, к югу), внизу и чуть вправо... ага, это и есть Меланезия, неправильный шестиугольник в приэкваториальных широтах. Он светится сильнее, особенно горные хребты, правильностью своей напоминающие крепостные стены... Это мы теперь видим инфракрасное излучение! Для проверки гляжу на Люсю, на Стрижа: светящиеся силуэты на фоне космоса и звезд.

— Это угадал.— Не то слышу, не то просто понимаю я мысль Сашки.— Ну-ка дальше?..

Испытывают мое воображение на готовность принять и понять новое, небывалое, вон что. Угадайка, угадайка — интересная игра!..

Долгий перезвон жетонов. Капсула (она изменилась, нет больше пульта и проводящих колец) замедляет полет и устремляется

вниз. К жерлу приемной спирали. Нет вблизи такого жерла — оно бы сплошь обрисовалось сигнальными огнями, я знаю. Падаем? Похоже. Спутники безмолвствуют. Восточный берег Меланезии стремительно разрастается, свечение его становится сложным, пестрым, подробным. Спокойно, Боб, спокойно, Кузя. Если это авария, стенки капсулы уже раскалились бы от трения об атмосферу. Значит?.. Ух, черт, сейчас врежемся! Нет... вошли в материк, в монолит планеты, как — даже не подберу сравнения... ну, вот будто мчишь сквозь сильный дождь с порывами ветра: приятного мало, но не смертельно. (А ведь приготовился.) Теперь даже и приятно стало (под дождем тоже так бывает), ибо — понял! В сущности, идет то же самое проникновение сквозь стену, которая в одних вариантах есть, а в других разобрана: возникновение и существование нашей планеты закономерно, но нахождение именно в этой части орбиты — случайность. Все точки орбиты для нее равновероятны. Капсула с нами сейчас движется надвариантно — а впечатление хлещущего в лицо дождя и есть мера вероятности существования Земли именно здесь-сейчас.

«Может, а!» — Мысль Стрижа адресована Люсе.

«Я и не сомневалась».

«Нет, а что же!..»— Это я сам.

Капсула вышла на поверхность и — исчезла под новый перезвон. Была ли она? Мы стоим на травянистом бугре, овеваемые теплым ветром. Впереди, за дальними холмами, заходит солнце. Вся местность здесь волнистая, с буераками и рощами, чем-то знакомая. Слева, на самой макушке бугра, не то мерцающая, не то пляшущая вышка из голубого металла. Да, именно пляшущая: она то складывается так, что площадка на острие оказывается на уровне травы, то, телескопически выдвигаясь, втыкается в небо с редкими плоскими облаками. И вышка, и облака эти с четкими, огненно подмалеванными низким солнцем краями... ба, вот мы где: на Соловецкой горке! Только теперь сюда не ведут асфальтовые аллеи, нет здания, да и вышка совсем не та. И главное — вокруг нет города.

Мы идем к вышке, лишь слегка приминая траву. Мы нагие — и это не конфузно; у мужчины с четким лицом и широко поставленными синими глазами только жетон-параллелограмм на левом запястье; у женщины такой же скрепляет уложенные в кольцо волосы.

Вышка опустила площадку к нашим ногам. Становимся на нее лицами к внешнему краю и к солнцу — мужчина и женщина по обе стороны от меня — беремся за руки. Площадка с нарастающим ускорением уносит нас в синеву. «Как же без биокрыльев?» — мелькает у меня опасливая мысль, но я тотчас прогоняю ее. Да, именно так, без биокрыльев, одной силой понимания — только и можно достичь места, куда мы стремимся. Под звон жетонов.

На предельной высоте площадка остановилась, оторвалась от наших ног — а мы полетели дальше. Сначала вверх, затем с переходом в параболу.

Двое поддерживали меня справа и слева. «Отпустите, я могу сам»,— помыслил я. И они отпустили.

...Земля, деревья, вышка, чуть приметная тропинка в траве приближались — и вдруг перестали. Инерция, которая несла меня, вдруг сделалась м о е й. Управляемой устойчивостью полета. Я начал набирать высоту.

Не так и много понадобилось прибавить к учебниковым знаниям о тяготении, инерции, законах Ньютона, Галилея, Эйнштейна, его принципа эквивалентности (правда, с поправкой, что п о ч т и равны поля тяготения и инерции — почти!) — лишь чувственное, переполняющее сейчас мою душу блаженством откровение: Земля — живая. Живое существо. Тяготение — это ее отношение ко всему сущему на ней и поблизости. Отношение ясное и всеохватывающее, немного женское, немного материнское: ты — мой, ты — мое. Даже если что-то летит стремительно в далеком просторе — и то надо попытаться закружить вокруг себя на орбите или хоть искривить траекторию. И если понять такое отношение к себе — не в формулах для статьи, не в числах, а п о ч у в с т в о в а т ь телом, то оно становится и твоим.

Можно активно использовать неточность равенства тяготения и инерции (из-за чего и возможны все движения) — и быть силой, несущей себя.

Вот на какие высоты бытия забрасывают нас иногда сны нашего детства.

Мы заворачиваем на запад, в сторону солнца. Слева и позади остается широкая река с островами, выгнувшаяся здесь излучиной,— только нет через нее мостов; удаляется низменный левый берег в лугах и старицах — только нет там жилых многоэтажек, коттеджей, заводских корпусов; правый берег высок и неровен — но нету и здесь зданий, улиц, площадей, скверов... ничего нет. Исчезли, не нужны стали города. Какие города — мы ведь и сами не люди, трое безымянных, приобщившихся к сути всех процессов в материи; а облик прежний сохраняем лишь потому, что это красиво — быть человеком. Это традиция здесь.

Животные — целиком в царстве необходимости. Человек большей частью тоже, но меньшей — разумом-воображением, тягой к новому и созданием его — все-таки проникает в царство свободы; из-за того, что такое состояние — ни здесь, ни там — длится долго, оно ему кажется нормальным. А нормальное — вот оно: полная надвариантная свобода.

5

Позади остается центральная часть, в коей нет ни кварталов, ни старых храмов. Миновали слева невыразительный холм — без институтского здания глаголем, без улиц с многими названиями. Внизу заполненное тенью ущелье Байкового кладбища — без кладбища; впереди бугор Ширмы — тоже безо всего. Даже без названий.

...Но если сдвинуться немного назад по Пятому, он есть, мой город, во многих видах — от прекрасных до жалких. (И до радиоактивного пепелища тоже.) Он здесь и сейчас, никуда не делся. И живут там Кепкин, Алка Смирнова, мой батя, Ник-Ник, Уралов... даже Сашка и Люся, более свойские, близкие мне. И Тюрин, теоретически проникший дальше всех по Пятому, но на деле не сдвинувшийся с Нуля.

Э, что мне в них! Прощай, место наибольшей повторяемости, тянущее к себе мелкими воспоминаниями. Сейчас пролетим — и привет!

...Как я Кадмича-то вчера шуганул за «сандвичи Тиндаля», за упущенное из рук изобретение! С глаз прогнал. (А когда Уралов на него наседал, навязывал соавторство... А Радий корчился на глазах у всех, не зная, что делать, смотрел на нас — и на меня! — вопросительно и с надеждой, я его поддержал? Вступился? Какое! «Вы за других не думайте, вы за себя думайте». Я и думал «за себя».

Чего же ты хочешь от общества в целом, слагаемое, «единичка»?)

...А Паша-то наш, благородный кшатрий,— надвариантен он все-таки или нет? Ведь совершил волевой переход, приобщился к многомерности мира. Правда, с вероятностью 0,98, прискорбный результат перехода отбил у него охоту интересоваться этим делом. Но — с вероятностью 0,02 — ведь не отбил! И, будучи загнан в угол неудачами и строптивыми подчиненными, вроде А. Е. Самойленко, вспомнит, рискнет проникнуть в заброшенный всеми Нуль-вариант. А затем подомнет Тюрина, усвоит от него необходимый минимум знаний и терминов... и начнет делать пассы:

— А вот наш первый советский эмоциотрон Э-1, созданный на основе этого... персептрон-гомеостата. Может перемещать человека в иные измерения, включая прохождение сквозь стену и обратно, а так же перемены внешности. Алла... э-э... батьковна, займите кресло! (Смирнова усаживается, техник Убыйбатько надвигает электродные тележки.) Радий... э-э... Кадмиевич, настраивайте! (Тюрин орудует за пультом «мигалки». Звучит сигнал приближения ПСВ.) Прошу внимания... (Пассы.) Видите — исчезла! (Пассы.) Видите: появилась с измененной прической и цветом ногтей!

— Где?! Где? — будут волноваться экскурсанты.— А-а... да-а! Тц-тц-тц!

Я так зримо представил эту картину, что даже жарко стало.

И незаметно я отклоняюсь вниз от спутников, вхожу в пике. Весом я тяжел. Оттеснили эти мысли и возбужденные ими чувства понимание первичного, разрушили связь с праматерью-планетой, дарительницей живой силы... мелкое, поверхностное, но ведь с в о е, черт бы его взял! Я камнем лечу вниз.

Нарастающий — и драматически ниспадающий от высот к нижним регистрам,— перезвон жетонов. Спутники с двух сторон подхватывают меня.

Еще перезвон — глубинный, с контрабасовым пиццикато — и вот мы трое на биокрыльях. А впереди, на бугре Ширмы, возникают — сначала расплывчатые, трепещущие всеми контурами, затем отчетливо — черные коробки многоэтажек на фоне заката. И внизу, по сторонам, всюду — проявляется из небытия мой город.

— Он привязался! — горестно восклицает Люся.

Мы, планируя, опускаемся на опушке рощи на бугре: где-то здесь я вчера утром шагал с Толстобровом по тропинке на работу. Я снимаю биокрылья.

— Ну вот,— Сашка смотрит на меня утомленно и грустно,— возись с таким... Все-то ты, Кузичка, преодолел, а вот барьер в себе не смог.

Я гляжу в его синие глаза. Нам не нужно много говорить друг другу, все ясно. Только: не смог — или не пожелал?

— Ты бы тоже мог его не перепрыгивать, Саш?..

— Глядите, чего захотел! Ты же знаешь, я здесь почти всюду пропащий: либо уже нет, либо скоро не станет. Да и...— Глаза его сощуриваются, секунду он колеблется — но мы же свои: — Не тянет меня с прямохождения обратно на четвереньки. Прощай!

Он коротко толкает меня ладонью в грудь, отходит, разбегается, раскинув крылья, вниз по склону, взлетает. Ну да, конечно: Сашка есть Сашка — не ему за мной следовать.

— Прощай, Лешенька! — Люся приникает ко мне, не скрывая слез: крылья мешают мне обнять ее как следует.— Я бы осталась, честно. Но это без толку: просыпаться ты будешь всякий раз без меня...— Она достает из волос свой звучащий жетон-параллелограмм, кладет мне в ладонь.— Возьми. Ты и так меня не забудешь, но — возьми. Мы долетим с одним... Прощай! — Теплые губы, мокрые щеки и глаза у меня на груди, на шее, на лице — отстраняется.

Секунда разбега — и она в воздухе.

Я долго слежу из-под руки, как улетают, удаляются из моей жизни навсегда (теперь я понимаю это) два самых близких человека: лучший друг и любимая женщина. Чувство одиночества так

сдавливает грудь, что невозможно вздохнуть. Вот видны только два крылатых силуэта над домами на фоне предзакатной зари — если не знать, кто это, можно принять за птиц. Люди? Да. Боги? Тоже есть малость. Не мне их судить.

Вот различаю лишь две черточки — и они растворились в огненной желтизне. Все. Солнце слепит глаза. Отворачиваюсь.

...Город, взявший свое, красуется на холмах лучшей своей модификацией: красивыми белыми зданиями, ажурными вышками, темно-зелеными парками, девятью мостами через реку... Что он мне сейчас!

6

Я сажусь на траву, рассматриваю Люсин жетон. Теперь я гораздо лучше понимаю, что здесь к чему. Маршрутная карта вариантных переходов, микроэлектронный путеводитель. Вот эти искрящиеся множественные линии, извивающиеся, не пересекаясь, от нижней горизонтали к верхней, есть не что иное, как варианты развития человечества, его н. в. линии. По горизонтали нарастает время, по вертикали (или по наклонной грани жетона, все равно) — Пятое измерение, смысл которого... в чем? В ноосферной выразительности? В свободе, в обладании людьми все большими и большими возможностями? Да, пожалуй: нижняя горизонталь — «царство необходимости» (вроде той пещеры, где меня колошматили обезьяны), верхняя — «царство свободы», в коем мы так славно прогулялись. И путей перехода от одного к другому — множество: крутых и пологих, со срывами и плавным нарастанием, начавшихся раньше или позже. Привет тебе от колеблющейся возле столбика собаки, многомерное человечество!

А эта вертикаль — сегодняшний маршрут по Пятому. (Конечно, вертикаль, ведь масштаб времени здесь тысячи, десятки тысяч, а то и миллионы лет — что против них день!) При переходе изогнутая струна соответствующего варианта и звенела, как арфа, пела, как скрипка. И нас переносило за минуты в иное состояние мира, в то, которого наш вариант достигнет еще не скоро. (А ведь оно есть сейчас — значит, могли?)

Вот он, наш вариант — средненький. Ни самый хороший, ни самый плохой. Правее него идут уже со срывами. (Но, похоже, не все изображено на жетоне — наверное, лишь нужное для путешествия под водительством Стрижа? Ведь должны быть и о б р ы в а ю щ и е с я линии — вроде варианта, в котором облучился Кепкин.

И Сашка поминал о своей гибели от легочной чумы. Все в одной плоскости не нарисуешь. Но э т о тоже есть.)

...Переход от обезьяны к человеку — лишь часть пути. Стриж

правильно сейчас высказался насчет прямохождения и четверенек: психически люди в большинстве своем стоят еще на четырех. Надо подниматься, а то как бы не вернуться совсем. Дом строят долго — разрушить его можно быстро.

Прячу жетон в карман, сижу, обняв руками колени. Слежу за тающими в небе последними облаками, плоскими... как «лапуты»? Заканчивается день длиной в десятки тысячелетий (вчера и вовсе прогулялся на миллион лет назад), начавшийся рано утром на Васбазарчике. (До сих пор не хочу есть — впечатлениями сыт?) В каком варианте я сейчас? Есть биокрылья... значит, и моя жена Люся? Нет, с ней мы расстались, отрезано. И наличие отца биокрылья не гарантируют: небольшой сдвиг по Пятому — и большое разочарование. Я здесь гость случайный, гость незваный, как ни верти.

И вообще, не хватит ли выгадывать, надвариантник? Твое знание — не для выгод, это ясно.

Темнеет. Поднимаюсь, иду к своим биокрыльям. Сворачиваю их, складываю плоскости, застегиваю в нужных местах ремешки... Во что-то превратится этот пакет утром, в рюкзак? Ложусь, подкладываю его под голову. Впереди, на холмах, загораются огни, вверху — звезды.

...Мой путь — под горку. В свою «лунку». Но все-таки хорошо, что вернулся надвариантным, прошедшим из края в край по Пятому. А то ординарный А. Е. Самойленко, что греха таить, излишне озабочен, выбив Пашу, занять его место. Не в месте счастье!

...Никакого прекрасного будущего время нам не приготовило. Верование, что XXI век окажется лучше XX, того же сорта, что и убеждение, будто одиннадцатый час утра лучше десятого. Чем лучше-то, в обоих по шестьдесят минут!

...Но и ни одно усилие не пропадает. Всегда возможно свернуть, сдвинуться решениями-выборами по Пятому — к «будущему», которое уже есть.

...Однако и ни одну ошибку, ни одну нашу слабость время тоже не прощает. Все включает оно в логику своего развития, в л о г и к у п о т о к а.

Пахнут цветущие липы. В фиолетовом небе множатся точки звезд. Ночь будет теплой. Я достаю Люсин жетон, поглаживаю пальцами рифленую поверхность. Засыпаю, сжав его в руке.

Где-то я проснусь завтра?..

1980—1990 гг.

ЧАС ТАЛАНТА

1. ТАРАЩАНСК, 14 МАЯ

В час тридцать пять минут пополудни, когда в большой комнате бухгалтерии (по-новому, счетного цеха) Таращанского завода газовых ламп после перерыва все заняли свои места и установилась деловая тишина, изредка прерываемая стрекотом арифмометров и короткими очередями пишмашинок, старший счетовод Андрей Степанович Кушнир — сорокалетний крепыш с залысой шевелюрой и обширными, всегда сизыми щеками, кои делали его лицо издали похожим на сливу, встал, беспомощно посмотрел по сторонам, провел ладонью по лбу, вздохнул... и в полный голос запел «Ох, да не шуми ты, мати зелена дубравушка». Сотрудники бухгалтерии подняли на него расширенные глаза, замерли.

Лицо у Андрея Степановича было величественным, печальным и ничуть сейчас не напоминало сливу. Взгляд был устремлен в раскрытое окно на заводской двор, где двое рабочих сгружали с машины дымящиеся параллелепипеды сухого льда.

— ...не мешай мне, добру молодцу, думу думати,— сильно и грустно выводил он густым баритоном.

Главбух Михаил Абрамович, естественно, изумился и обеспокоился более других. Он устремил взор на счетовода, кашлянул и хотел было громко, с должной серьезностью сказать: «Между прочим, Андрей Степанович, здесь вам не зелена дубравушка, а счетный цех, и не темна ноченька, а рабочий день!» Но — не смог. Перехватило горло. Какая-то степная, разбойная грусть-тоска овладела вдруг Михаилом Абрамовичем — будто это ему, добру молодцу, главну бухгалтеру, «...на допрос идти перед грозного судью — самого царя».

Андрей Кушнир — он же Степаныч или Андрюша — был известен сотрудникам как человек самый заурядный. Жил в Таращанске безвыездно, отлучился только на три года служить в армии. Работал на баянной фабрике настройщиком, потом окончил вечерний техникум совторговли и двинулся по счетной части. Ходил по сию пору в холостяках, но компаний не чурался, любил выпить, пошутить, посмеяться. Причем последнее преобладало: перед тем, как выска-

зать остроту, он со значением посматривал на собеседников, гмыкал и содрогался заранее, как вулкан перед извержением. Поигрывал на баяне, но без увлечения — не по возрасту, да и не модно в век электроники. Любил побродить с удочками по берегам здешней речки Нетечи, а затем прихвастнуть, отмеряя на руке размер пойманной (или хотя бы сорвавшейся) щуки.

Правда, в компании, подвыпив, он иной раз пытался изложить приятелям свои смутные мечтания, раскрыть душу. Его слушали любя, соглашались. Но, поскольку в теплом состоянии люди более настроены говорить, чем слушать, тотчас перебивали и несли — каждый свое.

Все знали и то, что Кушнир обладает сильным красивым баритоном. Бывало, в магазине, когда подходила его очередь и он произносил: «Мне, будьте добры, двести «отдельной», резать не надо», многие покупатели смотрели на него с неодобрением: какой голос человек расходует по пустякам! Просил бы кило... Но чтобы Андрей Степанович мог петь, да так петь! Случалось, певал он на вечеринках — и в общем хоре, и соло, выходило громко, немузыкально, непристойно — как у всех пьяных. Мысль вовлечь его в самодеятельность не возникала ни у кого.

А сейчас небывалой частоты и прочувствованности голос — его, кушнировский, но в то же время будто и не его — заполнил комнату грустной силой, болью и удалью, широко тек над столами, над головами присмиревших сотрудников, выливался через окно наружу:

Всее правду тебе скажу, всю истину:
что товарищей моих было четверо.
А как первый мой товарищ — то темная ночь.
А второй мой товарищ — то булатный нож.
А как третий мой товарищ — то добрый конь...

И казалось, что песне сопутствует музыка — хотя не было музыки, что дубрава шелестит листвой задумчиво и безразлично. И когда в небольшую паузу вплелся не то всхлип, не то вздох (Марии Федоровны, бухгалтера по зарплате): жаль, казнят человека...— песня разлилась еще шире, как блистающая под солнцем река в половодье.

Грузчики на заводском дворе сняли брезентовые рукавицы, осторожно подошли к окну — слушать.

Странные явления обнаружились в городе Таращанске (областное подчинение, пятьдесят шесть тысяч жителей, заводы газоразрядных ламп, сахарный, два кирпичных, баянная фабрика, аэродром полевой авиации, техникум, главная улица — бульвар Космонавтов, железнодорожная станция) примерно за месяц до описываемых событий. Одни проявляли себя локально, другие распространились на весь город.

Начать с того, что с середины апреля таращанцы начали видеть одинаковые, надоедливо повторяющиеся сны. То есть, конечно, не всем городом один и тот же сон: сюжеты сновидений в разных кварталах были различны,— но все-таки довольно крупными коллективами. Так, жителям дома № 12 по Прорезной, неподалеку от лампового завода, снилось, что у них украли стиральную машину. Унесли со двора — хотя во дворах никто стиральными машинами не пользуется. Подобный сон привиделся и тем жильцам, у которых не было ни стиральной машины, ни даже намерения ее приобрести.

Факт выяснился во дворе, под старой акацией, где были лавочки и дощатый столик. Сюда мужчины сходились забить «козла», женщины — обменяться новостями и взглядами на жизнь. Пересказывание снов занимало свое место в этих разговорах:

— Да полно, Дашенька,— перебила Дарью Кондратьевну, учительницу младших классов, Софья Андреевна, работавшая в «Сельхозтехнике», когда первая сообщила свой скверный сон,— это ведь у меня ее во сне увели, стиральную-то машину!

— Простите, Соня, но как ее могли у вас *увести*, если ее у вас вовсе нет. У меня же берете! — Дарья Кондратьевна посмотрела на соседку с укором.

— Так ведь сны не разбирают, у кого что есть, чего нет. Вам тоже могло бы, к примеру, присниться, что у вас украли телевизор «Санйо».

Телевизор «Санйо» (который недавно привез Соне муж-моряк) — это был удар ниже пояса. Дарья Кондратьевна изменилась в лице, набрала в легкие воздух, чтобы достойно ответить. Но тут к женщинам повернулся дядя Саша, внештатный корреспондент газеты «Таращанская заря»; он строил на столике фигуры из домино, скучая в ожидании партнеров.

— Послушьте, девушки, а мне ведь тоже снилась стиральная машина! И что у меня ее украли...

— Со двора? — дрогнувшим голосом спросила Софья Андреевна.

— Именно со двора. И я был вне себя — хотя сдаю белье в прачечную.

Из подъезда вышла тетя Аглая, техничка школы. Кликнули ее. Оказалось, и она такое видела... В последующем бурном обмене мнениями Соня, Дарья Кондратьевна и корреспондент отвергли примитивное толкование тети Аглаи: Это не к добру! — но ни к чему вразумительному не пришли.

Тогда жители, поколебавшись, постучали в окно первого этажа — хотя и заметили там жесты и возгласы, означавшие, что инженер Передерий выясняет отношения с супругой Ниной (эту Нинку двор знал еще вот такой, а теперь вышла замуж и дерет нос — за что и схлопотала прозвище Передериха). Юрий Иванович

считался в доме самым эрудированным человеком: он окончил институт в Киеве, работал в лаборатории лампового завода и, помимо того, был лектором общества по распространению. Проживал он здесь — в прыймах — у Нининых родителей.

Разговорчивый инженер высунулся в окно. У него было продолговатое лицо с округлым полудетским подбородком, волосы цвета и мягкости цыплячьего пуха, светло-голубые глаза за прямоугольными очками. Рядом тотчас выставила миловидную мордашку Передериха. Оказалось, Юрий Иванович тоже видел такой сон, в том же призналась и Нина.

— Осподи, сколь живу, такого не было! Знамение это! Вы как хотите — знамение! — заявила тетушка Аглая и перекрестилась.

Остальные не дрогнули и потребовали от инженера объяснений по науке.

— Ги... гипнопедия? — неуверенно молвил Юрий Иванович тонким и интеллигентным до невозможности голосом. Но сам и забраковал эту версию: какой педагогический смысл мог быть в снах о краже стиральной машины? Хотел помянуть телепатию, но передумал — в телепатию он не верил.

Жильцы ждали. Положение становилось щекотливым, могла победить версия тети Аглаи. Тогда Юрий Иванович решил, избегая конкретных научных положений, подвести под данный факт общефилософскую базу; так он поступал и на лекциях, когда задавали непосильные вопросы.

— Видите ли...— сказал он.— ...н-ну... как бы это вам попроще объяснить? Если подумать, то ничего сверхъестественного здесь нет. Все дело, если хотите знать, в единстве нашего образа жизни. В однородности. Мы обитаем в одном городе... и даже в одном доме. У нас близкие интересы, похожие заботы, запросы. И... и информация обо всем тоже; одни газеты читаем, журналы, радио слушаем. Телевизор смотрим. А бытие, как известно, определяет сознание. Ну... и подсознание, разумеется, тоже. Помимо того, взгляды у всех нас, смею надеяться, достаточно одинаковые...

— Всегда! — отрубил дядя Саша.

— Вот-вот... хотя, собственно?..— Юрий Иванович с сомнением посмотрел на корреспондента, чувствуя, как на лбу выступает пот. Логика высказанного тезиса с неодолимой силой влекла его в неизвестность. У инженера был вид человека, который сознает, что несет вздор, но не в силах побороть натуру.— А впрочем, конечно! Следовательно, жизнь питает нас одинаковой информацией. А сны — это продукт. Отражение действительности. Н-ну... вот она и.. и отразилась...

— ...в украденных стиральных машинах,— безжалостно закончил дядя Саша.

Жильцы разошлись в большом недоумении.

— Юрик, ну ты выдал! — кротко сказала инженеру любимая жена Передериха.— Знаешь, давай все-таки лучше не будем иметь детей.

Юрий Иванович огорченно промолчал. Задним числом он и сам понял, что действительно выдал, и недоумевал: прежде с ним такого не случалось.

Между тем и это было симптоматично для обстановки в городе в течение второй половины апреля и первых недель мая. Если человек высказывал (на совещании, собрании или просто в разговоре) не совсем верную отправную мысль-посылку, то, даже поняв, что дал маху, был не в силах уклониться от ее последовательного развития — ну, увести разговор в сторону, поправиться, свести к шутке, а с непреложностью логического автомата доказывал свое, иной раз и сам поражаясь тому, что у него получилось. Психолог сказал бы, что у таращанцев в это время преобладала логическая вязкость мышления.

Скверный сон повторился у жителей дома № 12 в следующую ночь, затем еще и еще... А поскольку у снов своя память, то каждую ночь жильцы переживали это все более драматически: опять украли стиральную машину! Уже девятую! Ну сколько же можно, не напасешься! — и просыпались в угнетенном настроении.

Но примечательно, что в основе своей мысль Юрия Ивановича была верной: все дело заключалось именно в однородности. Только однородность эта происходила не от уклада жизни, который был здесь ничуть не более единообразным, чем в местах, где люди видят разные сны, а наводилась искусственно — небольшим, размерами с портативный магнитофон, прибором под названием *коррелятор*.

Один-единственный раз горожане имели возможность наблюдать и прибор, и его действие, и даже владельца — в тот памятный вечер пятнадцатого апреля, в субботу, когда джаз Джемшерова в ресторане при горгостинице непрерывно более двух часов исполнял «Кукарачу».

Эту довоенных времен румбу возвратил к жизни, стилизовав под твист, сам дядя Женя (Джемшеров), король музыкальной среды Таращанска, саксофонист и микрофонный певец. «Кукарача» стала модной. Поэтому первые двадцать минут после того, как оркестр начал ее играть, никто не возражал. Посетители дивились только, что музыканты, кои обычно больше перекуривали, чем играли, трудятся, как землекопы. Ритм танца постепенно овладел залом: кто отбивал его ногой, кто ладонью по краю стола, кто приборматывал «А Кукарач-ча! А Кукарач-ча!..» Официанты, пританцовывая, разносили заказы.

Прошло минут сорок. От твистующих возле эстрады валил пар — а оркестр играл. Сольная партия переходила от саксофона

дяди Жени к трубе, от трубы к тромбону, от него к ударному агрегату, снова к дяде Жене... и конца не было видно. Народ заволновался.

В ресторане в этот вечер пировал с близкими товарищ Сугубов, видный в городе человек. Он подозвал директора, внушил. Тот направился к эстраде, стал делать знаки дяде Жене: кончайте, мол. Но Джемшеров лишь повел плечами и продолжал вести соло, украшая его синкопами вариаций.

— Не надо, пусть ставит рекорд! — загомонили в зале.

Но директор не хотел попустительствовать ни подобным рекордам в своем ресторане, ни неподчинению. Он внушительно дернул дядю Женю за полу пиджака. Но тот, вместо того чтобы дать финальную отмашку оркестру, направил жерло своего инструмента на директора, выдул, помаргивая от натуги, в его правое ухо такое душераздирающее фортиссимо, что тот потом в течение месяца поворачивался к собеседникам левым ухом.

Разъярившийся директор призвал на помощь швейцара и дружинника. Они втроем пытались подняться на эстраду, унять разбушевавшийся оркестр. Но музыканты, не прекращая игру, отбивались ногами и не пускали. Вид у них при этом был сосредоточенный и несчастный, а глаза постепенно становились безумными, как у Ивана Грозного на известной репинской картине.

Возможно, дело кончилось бы вызовом скорой помощи или даже пожарной команды, если бы в ресторан не вбежал приезжий — средних лет, полный, хорошо одетый, в очках. Он с возгласом: «А я-то ищу!» кинулся к столику возле эстрады (потом припомнили, что он обедал за ним), пошарил между стеной и стулом, достал оттуда прибор цвета слоновой кости, что-то подкрутил в нем, нажал, тряхнул — и оркестранты замолкли на середине музыкальной фразы, на «Кукара...».

Директор почуял в нем виновника, приблизился, требуя объяснений и документов. Сюда же подошли товарищ Сугубов, дружинник, любопытствующие. Взметнулись скандальные возгласы: «А вас это не касается!» — «А в милицию?!» — «Попрошу без рук!» — «А я попрошу пройти!..» и т. п.

Незнакомец затравленно отступал к выходу. Потом выставил перед собой прибор, нажал в нем кнопку — и оркестранты, которые стояли в позах землекопов, обессиленно опираясь на инструменты, живо встрепенулись и снова грянули «Кукарачу». Приезжий направил прибор на директора и Сугубова — и те на глазах изумленной публики взялись за руки и принялись неумело дергаться в твистовых па, приговаривая: «За Кукарач-чу, за Кукарач-чу!..» Он повел прибором по залу — и посетители, впав в ритм, подхватили:

...я отомщу!
Я не заплач-чу,

я не заплач-чу —
но обиды не прощу!

И так продолжалось, пока незнакомец, пятясь, не вышел из ресторана и не скрылся в неизвестном направлении.

2. ФЕДОР ЕФИМОВИЧ, ИЛИ ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ КОРРЕЛЯЦИИ

Таинственный незнакомец удалился, впрочем, не так и далеко: в Дом приезжих лампового завода, на который он и был командирован как представитель заказчика, солидной исследовательской фирмы под Москвой. В небольших городах все люди на виду, после скандала в ресторане его приметили, день спустя к нему наведался сотрудник милиции.

Но ничего существенного он не выяснил. Документы — и личные, на имя Федора Ефимовича Дробота, старшего инженера отдела комплектации предприятия п/я №..., и командировочные — у приезжего оказались в порядке. Любопытство сотрудника милиции относительно странного прибора Федор Ефимович быстро отвел. Имеет ли уважаемый сотрудник допуск к соответствующим работам и документам? Допуска не имелось. Присутствовал ли он в тот вечер в ресторане? Нет. Наличествует ли протокол происшествия, письменные показания очевидцев? Тоже нет? Так на чем, простите, основаны подозрения, что он, инженер Ф. Е. Дробот, причастен к пьяному дебошу в ресторане? На показаниях хоть и уважаемых, но шибко нетрезвых граждан? Да, он заходил в тот вечер в ресторан с намерением поужинать, но увидел там такой дым коромыслом, что передумал и ушел. Да, какие-то пьяные к нему приставали. Да, днем он там забыл прибор, который привез для завода: к счастью, он уцелел. Какой? Ну, если товарищу так уж интересно знать, это коммутационный тестер КТ-1 для отбраковки газосветных трубок по специальным ТУ. Он сейчас находится в ОТК завода. Что? Помилуйте, какое отношение может иметь измерительный прибор к игре ресторанного джаза и пьяному переплясу?!. Все это несерьезно, товарищ, домыслы не слишком культурных людей.

Тем разговор и кончился.

Однако в милиции не успокоились и направили на предприятие под Москвой запрос с просьбой подтвердить личность Дробота Ф. Е. и наличие у него коммутационного тестера марки КТ-1. Переписка между Таращанском и подмосковной фирмой длилась как раз те четыре недели, что были отведены на командировку Федора Ефимовича, и поэтому никак не повлияла на его дела и на развитие событий в городе. Но выяснились некоторые сомнительные (хоть и не криминальные по существу) факты. Обнаружилось, что никакого

прибора КТ-1 Дробот из своего НИИ не привозил да и вообще тестеров такого типа в природе не существует. Когда копнули поглубже, выяснилось, что для выполнения командировочного задания Ф. Е. Дроботу вовсе не требовались четыре недели, за глаза хватило бы одной. Копнув еще глубже, установили, что Ф. Е. не заурядный инженер, а кандидат физико-математических наук, автор трудов и изобретений в области информационных систем; и непонятно стало, почему такой специалист таится, даже — вместо того чтобы двигать науку и двигаться в ней — пошел в отдел комплектации на скромно оплачиваемую полутолкаческую должность. Создавалось впечатление, что Дробот использовал выгоды своего положения: доступ к приборам и материалам, частые поездки, малая ответственность — для личных целей. По возвращении Федору Ефимовичу довелось объясняться перед негласной комиссией.

Комиссия установила, что личные цели у Ф. Е. Дробота действительно были. Они состояли в исследовании открытого им четырехмерного информационного поля и в поиске способов управления им.

Бывают открытия и открытия. Одни состоят в обнаружении того, чего никто не знал. Приплыл Колумб к Америке — стали знать, что есть такой материк; поставил Фарадей опыты с соленоидами и магнитами — узнали об электромагнитной индукции. Это *открытия* в собственном смысле слова. Другие заключаются в обобщении очевидного. Таково, например, открытие Ньютоном поля земного тяготения. Все знали, что есть что-то такое: держит планета не прикрепленные к ней веревками или шурупами предметы; все пользовались этим свойством тел. Но явление было настолько всеобщим и само собой разумеющимся, что казалось странным задумываться над ним. Поэтому-то, когда Ньютон сформулировал свой закон, и возник дурацкий, принижающий значение его мысли анекдот о яблоке. Между тем анекдоты анекдотами, но именно открытия-обобщения главные в человеческом познании.

Открытие Дробота тоже обобщало «очевидное». Это станет яснее, если заменить слова «четырёхмерное информационное поле», более простыми — «пространственно-временное разнообразие». То, что в нашем мире пестрит в глазах от изобилия различных материальных предметов и всевозможных физических, биологических, социальных, астрономических, политических и т. д. явлений и событий,— известно всем. То, что картины этого разнообразия сменяются не только в пространстве, но и во времени: одно сникает, другое появляется — также ни для кого не тайна.

Обобщающая мысль Федора Ефимовича заключалась в том, что всем этим живописным и конкретным картинам жизни нашей можно придать единый смысл: они — информация. Понятие это хорошо тем, что соединяет в себе качественный смысл с количественной

мерой; соединяет именно таким образом, что, чем ярче, выразительней, диковинней явление, событие или предмет, тем больше в нем *количества* информации. Ну, а там, где сводится к количествам, можно применить математику, расчет — а за ними и технику.

Нам нет нужды следовать по извилистому руслу рассуждений и поисков Федора Ефимовича, тем более что в деталях они малооригинальны и заключаются в использовании методов статистики и теории информации. Обратимся прямо к результатам.

Главный вывод Дробота был тот, что для любого достаточно обширного участка пространства-времени справедлив *закон сохранения количества информации*. Суть его хорошо выражают бессмертные слова Ломоносова: «Все перемены, в Натуре случающиеся, суть того состояния, что если у одного тела чего-то убудет, то в другом месте в том же количестве прибавится». Во времена Ломоносова, да и долго после, не было понятия «количество информации», поэтому смысл закона толковали лишь в частных применениях к сохранению вещества или энергии. Но Федору Ефимовичу было ясно, что Михайло Васильевич понимал дело шире: у него сказано «*все* перемены» — что и позволяет применить идею сохранения в любой сфере жизни. И верно, не бывает ведь, чтобы в одном месте в небольшое время произошли сразу и землетрясение, и государственный переворот, и великое открытие, и засуха, и кроличья чума, и падение крупного метеорита, и демографический взрыв, а в других местах ничего не случалось бы. Все события, большие и малые, рассеянны по планете и по временам достаточно равномерно. В сущности, закон сохранения информации можно вывести даже из чтения газет.

Но коли так,— рассудил далее Дробот,— то информационное поле в принципе управляемо. Пусть, к примеру, в данном месте произошло крупное, отхватившее изрядную долю общего количества информации событие. Какое — неважно, содержание значения не имеет. Тогда по закону сохранения все прочие события здесь должны быть информативно мелки — по количествам информации, а соответственно и по качеству ее. Их разнообразие, если использовать глагол Ломоносова, *убудет*. Спадет, иначе говоря, сверхсобытие *подавит* окрестное разнообразие, в том числе и разнообразие человеческих дел, поступков, взаимоотношений. Ну, это, положим, не фонтан: какой в этом смысл! А вот если наоборот!.. Постой, а *как* наоборот? Не выходит наоборот: если случится «управляющее» событие с малой информацией, то... ничего, собственно, не случится. Мелкое событие ни на что не влияет, ничем управлять не в силах. Но если так... гм! Н-да!..»

И Федору Ефимовичу искренне захотелось позабыть об открытии и потраченных на него годах.

...Современную цивилизацию сделали не ученые, а изобретатели —

смекалистые парни, которых всегда почему-то не устраивала окружающая действительность. Ученые уже потом наводили академический лоск на их дела, доказывали, что то, что сделано,— можно сделать. Правда, многие ученые сверх того доказывали еще, что то, чего нет, не сделано, и быть не может; но, к счастью, изобретателей эти доводы не останавливали. И Федор Ефимович был по своей натуре не академическим мыслителем, а — изобретателем. Его куда больше занимало не беспристрастное исследование для наращивания знаний, а — как применить его на пользу людям. И желательно *всем* людям, а не одним, избранным, в ущерб другим. Вот и изучение информполя и его свойств было для него производным проблемы, над которой он давно ломал голову: проблемы талантливости и бездарности людей.

К ней он подступал с разных сторон: изучал биографии великих писателей, изобретателей, ученых, распространял среди творческих работников анкеты или сам расспрашивал их, как, при каких обстоятельствах пришли они к важным результатам. Собранные сведения систематизировал, обрабатывал даже статистическими методами на ЭВМ, надеясь обнаружить закономерности, по которым люди познают и создают Новое. На этих законах Дробот мечтал воздвигнуть великую науку Творчествоведение и посредством нее обучить всех людей творчеству. «Ведь как было бы славно сделать всех людей творцами,— разнеженно думал Федор Ефимович.— Сейчас идет к тому, что нетворческие, рутинные работы будут автоматизированы. Тогда люди, не умеющие творить, почувствуют себя лишними. Что же им — дичать у телевизоров? А вот научить бы их такому... И не для наслаждения вовсе: мол, в творчестве только и есть смысл жизни, и не для пользы, выражаемой в рублях или сэкономленных киловаттах, нет! Просто тогда они сами, без подсказок, разберутся и в пользе, и в смысле жизни, и в самой жизни».

Многое было в собранных им сведениях: условия жизни первооткрывателей — и состояние погоды в момент открытия или изобретения, намерения исследователя — и технические задания; советы знакомых, отношения с обществом, с близкими, с начальством, состояние здоровья, политические убеждения, житейский опыт... даже советы Алексея Толстого пишущим почаще чистить желудок, а если и курить, то трубку, которая часто гаснет. Не было только одного: законов творчества. Аналитический путь завел Дробота не туда. Не смог он из хаоса фактов вывести условия, пригодные для всех и на все случаи,— такие, что если в них поставить человека, то он непременно начнет творить. После двух лет деятельных размышлений Федор Ефимович пришел к тому, что общих условий и быть не может, ибо творчество — проявление индивидуальности человека, то есть именно того, чем он отличен от других.

«Да, но индивидуальность-то есть у каждого!» — не сдавался Дробот.

Пожалуй, единственным дельным выводом его на этом этапе было, что талантливых и бездарных людей нет — есть лишь талантливые и бездарные дела и поступки людей. Даже авторы выдающихся работ и эпохальных изобретений возвышались над обыденностью (и над собой), лишь когда делали *это* — а не до и после, когда ссорились с близкими, интриговали, маялись животом или пропивали гонорар в кругу друзей-марафонов. Следовательно, талантливые дела есть просто события с большим количеством информации, *всплески* информационного поля.

Эта мысль и вывела Федора Ефимовича на верную, как ему вначале показалось, дорогу общего информационного рассмотрения. «Не надо подробностей, к черту гаснущие трубки, вздыбленные патлы и нечищенные желудки! Не следует искать особой природы талантливого. Да и нету ее: прекрасные стихи пишут теми же словами, какими мы сплетничаем, рассуждаем о погоде-футболе-политике и выступаем на собраниях. Талантливые дела рук наших возникают из тех же мышечных усилий, как и размахивание кулаками, аплодисменты или голосования «за». Замечательные идеи возникают в сером веществе мозга в результате тех же биохимических процессов, что и мелкие мысли. Это — события в поле разнообразия, этим все сказано. Как добиться, чтобы крупных (талантливых) всплесков в информполе стало больше и хватило на всех?

Закон сохранения количества информации такому не препятствует: пусть убудет число мелких обыденных дел, пустой суеты, кипения коммунальных страстей, а за их счет возрастет количество талантливых событий-дел. В принципе возможно. А практически?..»

Вот тут-то у Дробота и получилось разочарование, о котором мы помянули выше. Возможно управление информационным полем — корреляция его событиями или действиями, которые содержат большую информацию, но... за счет окрестного разнообразия. Корреляция сглаживает поле; при этом перво-наперво сникнут самые выразительные всплески, носители талантливых действий. А подобного управления в жизни и так предостаточно, помогать ей техническими новшествами не надо: суеверия, догмы, доктрины, традиционные авторитеты, зоологическая неприязнь многих людей ко всему выдающемуся, напоминающему им об их посредственности — все это естественные корреляторы. Они сильно уменьшают число талантливых дел в сравнении с тем, сколько бы их могло быть. По идее, Федору Ефимовичу следовало искать способ *раскорреляции* — но он-то и оказывался в принципе невозможным.

Читатель, вероятно, с трудом и неудовольствием преодолевает научные суждения последних страниц, ждет занимательности или

хотя бы художественности — ну, в описании, например, личности этого персонажа Дробота Ф. Е. А то ведь только и известно: пол, образование да ф. и. о.— на анкету не наберется.

Здесь нелишне отметить, что, описывая идеи и гордые замыслы человека, его попытки понять мир и жизнь, мы сообщаем самое главное о нем — то, что на девять десятых составляет *личность*. Разумеется, если они есть — идеи, замыслы, попытки. А если их нет... что ж, тогда действительно надо напирать на художественность: какой у персонажа рот, рост, нос, костюм, какие глаза, ресницы, уши, волосы, как одет... чтобы персонаж сей предстал перед читателем *как живой*. Оно все бы ничего — да вот только *живой ли он* на самом деле? Не гальванизируем ли мы этой художественностью безличные полутрупы, обреченные — как в жизни, так и в книгах — на мелкое, необязательное существование, в котором, как ни поступи, все равно? Нужен ли этот золотушный реализм в наше страшное ядерно-космическое время, реализм, все жанры которого сводятся к одному — под названием «Почеши меня там, где чешется»?

Но это в сторону. Что же до Федора Ефимовича, то более существенной в нем автору представляется не его внешность (хорошо, пожалуйста: брюхом толст, бороду бреет, умеренно плешив, дальнозоркость четыре диоптрии, речь несколько невнятная — от обилия и напора мыслей), а, скажем, его фамилия, несущая признаки казацкого происхождения. А тем самым и повышенного заряда жизненной активности. Такие фамилии сначала были кличками: может, наградили ею прадеда за удалой дробный пляс вприсядку в гульбе на Сечи или на Тереке; а может, не за пляс — за быструю стрельбу. Во всяком случае то, что у предков выражало себя стремлением к воле, победам и добыче, у Федора Ефимовича пошло в научный поиск.

Разочарование разочарованием, но он был не из тех, кто легко отступает от выношенной идеи. «Я слишком упростил дело: нельзя считать талантливые поступки чисто случайными,— рассуждал он далее.— Все-таки носители их люди со способностями. И распределены эти дела среди них далеко не равномерно. По статистике как? Если некто исполнил талантливое дело (картину, поэму, изобретение), то более от него и ждать нечего. А на самом деле именно от людей, совершивших что-то из ряда вон выходящее, мы ждем еще что-нибудь. И часто (хотя далеко не всегда) надежды оправдываются. Стало быть, чисто случайным для человека бывает лишь *первый* талантливый поступок — то, о чем биографы потом напишут: ему предоставился случай проявить свои способности. Здесь действительно важно стечение обстоятельств. А затем — переживания в деле, новый эффективный результат, признание, может быть, даже премия или награда позволяют человеку понять, что он что-то

может, поверить в себя. Он запоминает это и далее сам ищет дело и условия для самовыражения

То есть важен *переходный процесс* — скачок в состояние деятельной талантливости. Если организовать такой процесс технически в обширной области информполя, то... то он охватит многих людей. Конечно, далеко не все они создадут шедевры: нужны условия, свои для каждого, а их способности проявятся в деле. В деле — вот что важно! Это запомнится, закрепится, и далее такой человек сможет творить и без допинга. Первый же допинг-скачок устроить в моих силах: закоррелировать на какое-то время изрядный участок поля, подавить разнообразие... и резко выключить корреляцию. Переход возбудит всплески информации. Что-то должно произойти!»

3. ОПЫТ

Итак, идея эксперимента была. Идею прибора-коррелятора Федор Ефимович выпестовал давно, реализация его не заняла много времени. Оставалось подобрать полигон.

Вопрос был деликатный. С одной стороны, для испытания требовались люди, желательно побольше. С другой — для чистоты опыта надо, чтобы на полигоне было как можно меньше своих очагов творчества, лучше бы вовсе без них,— то есть крупные города, исследовательские и университетские центры отпадали. И наконец, Дробота смущало, что на стадии усиления корреляции в этом месте возникнет болотный застой мысли, а когда он выключит прибор, то ли будет что, то ли нет, неизвестно. Опыт есть опыт. Как бы не навредить!

Намерение не тратить время и силы на всякие согласования, на собирание виз (еще соберешь ли!), а поставить эксперимент на свой страх и риск, естественно, еще более ограничили для Дробота возможности продуманного выбора места. В сущности, нельзя утверждать, что он выбрал Таращанск, взвесив все «за» и «против».

Комиссию на предприятии п/я № потом более всего интересовало устройство коррелятора. Федор же Ефимович более охотно излагал картину действия его — в математическом аспекте. Местное разнообразие он, Дробот, рассматривал как пространственно-временную функцию распределения количества информации; прибор находился в координатном нуле ее. Чем богаче разнообразие, тем сложнее функция — и тем больший вес имеют ее производные высших порядков по пространству и времени. А именно с производными самых высоких порядков связаны черты человеческой индивидуальности, такие, как оригинальное мышление, творче-

ские задатки, вкус, идеи... Коррелятор во время работы уменьшал в окрестности высшие производные, что приводило к повышенной однородности, к искусственному уменьшению разнообразия.

Проще всего прояснить это на эпизоде с повторяющимися снами о похищении стиральной машины у жителей дома на Прорезной. Сон такого содержания привиделся в первую после включения коррелятора ночь кому-то из жильцов (возможно, Дарье Кондратьевне, владелице такой машины) чисто случайно. В обычных условиях другие жильцы могли бы видеть иные сны или спать спокойно, без сновидений; при этом информационное различие между соседними событиями-снами было бы большим. Выражаясь математически, значения высших производных информационной функции в этих точках (в квартирах дома № 12) были бы велики. Действие коррелятора состояло в том, что он ограничил эти значения, свел их почти к нулю; поэтому в окрестности спящей Дарьи Кондратьевны и должны были повториться оттиски ее сна. Это позволяет понять, почему и в следующие ночи жители видели тот же сон. Если бы они увидели иные или не увидели ничего («сон-нуль»), то разница между предыдущими и последующими сновидениями была бы велика. Коррелятор это запрещал.

— А «Кукарача»?— спросил один член комиссии.

— Аналогично. Вся причина в музыкальной выразительности исполняемого, в синкопах особенно. Синкопа — скачок в мелодии, а любой функциональный скачок порождает массу высших производных. Чтобы свести мелодию-функцию на нет, надо привлечь еще более высокие производные. А их не было из-за работы коррелятора. Музыканты и зациклились... Собственно, произошел всем нам хорошо знакомый эффект навязчивого мотива, только усиленный.

— Товарищ Дробот, но как ваш коррелятор подавлял высшие производные? — поинтересовался другой член.

— Он их не подавлял, он их *отнимал*. По тому ломоносовскому закону сохранения: если в одном месте — в корреляторе — они велики, то в окрестности малы.

— Не хотите ли вы сказать, что ваш прибор генерировал информацию, которая содержала высшие производные — те самые, которыми вы измеряете талант и творчество? Информацию превыше всех творческих озарений, так что ли?

— Пожалуй, так оно и было,— кивнул Дробот.

— Что же это за информационная функция, позвольте узнать?

— «Белый шум». Подробности в работах доктора Эшби.

Член комиссии завелся и стал настаивать, чтобы Дробот сам дал подробные объяснения; он был радист, специалист по борьбе с помехами, и заявление, что «белый шум», с коим он враждовал, содержит духовные ценности, его поразило. Федор Ефимович их дал:

— «Белый шум» и не содержит никаких информационных ценностей, и содержит их все вместе. Все зависит от того, как смотреть... или как его фильтровать, если угодно. Вот пример: возьмем пластинки с произведениями Моцарта, Бетховена, Шопена, Чайковского, Шостаковича... всех великих композиторов, поставим их числом этак в несколько сотен на проигрыватели — и подадим все выходные сигналы от них на один динамик. Мы услышим «белый шум»... или «белый рев», если хотите. Но *из чего* он составился-то? И так обстоит дело со всеми проявлениями нашей разумной деятельности: каждое имеет смысл — и нередко большой — само по себе, по отдельности. А если свести все вместе, получится «белый шум», обильный высшими производными, но и только: большое количество информации, лишенное качественного содержания.

— Но насколько я понимаю,— не унимался радист,— чтобы подавить поле в масштабах даже небольшого города по высшим производным, вам надо было генерировать весьма мощный высокочастотный шум. Как же такую помеху не заметили, ведь ваш коррелятор должен был забить помехами все телевизоры и радиоприемники!

— Ничего он не забивал, не генерировал и не излучал. Все было тщательно экранировано. В нем физика совсем другая, в корреляторе.

— Какая именно, Федор Ефимович? — вступил представитель.

— М-м... физика без физики. Физика черного ящика.

— Такой физики не бывает,— раздраженно сказал радист.

— Темнишь, Федор Ефимович? — напрямую спросил председатель; он знавал Дробота и прежде — как человека странного, даровитого и непробиваемо упрямого.

— Да, темню. Это изобретение не заслуживает распространения.

— Но почему?! — поразились члены комиссии.— Ведь если не считать того мелкого происшествия в ресторане, там же ничего такого не произошло.

— А вот именно поэтому...— Дробот насупился, замолк, вспоминая прожитый в Таращанске месяц.

После случая в ресторане он решил не испытывать судьбу, устроил коррелятор, завернув его в пластиковый пакет, в сухом бачке унитаза в назначенном под снос старом доме неподалеку от завода газовых ламп; сам наведывался раз в три дня сменить батарейки. И так-то прятать было лишне, понял скоро Федор Ефимович: положи он этот прибор включенным посреди оживленной улицы, ничего бы не случилось — ни одна машина не переехала бы, ни одному прохожему, даже мальчишке, не пришло бы в голову поднять

его, пнуть или хоть остановиться и рассмотреть. К этому месту все чувствовали бы уважение и стремление держаться от него в стороне.

Сам Дробот, подходя к тому бачку, каждый раз настраивал себя на ясность ума и свободно-волевое поведение: я, мол, знаю, что это за штука,— не проймешь. А однажды мысли отвлеклись — и кружил несколько часов вокруг этого дома в полном обалдении.

Плавным изменениям, которыми обычно проявляют себя природные процессы, коррелятор не препятствовал. Поэтому в Таращанске тем же порядком, как и в других местах, развивалась весна. Становилось теплее, набухали почки деревьев в городском парке и на бульваре Космонавтов, появились листочки, зацвели белым цветом абрикосы, за ними черемуха, сирень, каштаны. Но и весна в городе была похожа на осень наоборот: погода все дни стояла серенькая, невыразительная — какую не замечаешь. Медленно собирались в небе тучи, из них иной раз лениво сеял дождик, а чаще они снова расплывались в белесую муть.

Но Федора Ефимовича больше интересовала не погода, а поведение людей. Все свободное время — а его было достаточно — он шлялся по городу, наблюдал, вникал. Некоторые впечатления записывал:

«16.4, воскресенье, кинотеатр «Спутник» (примерно 1,5 км от коррелятора). На фильм продают билеты в двух кассовых окошках: к правому — очередь, к левому — никого. Так все время. В зале зрителями занята только правая половина, левая пустует. После сеанса выйти из зала можно опять-таки через две пары дверей — влево и вправо. Первые зрители пошли почему-то влево (так им ближе?), остальные потянулись за ними. А в правые никто.

20.4, четверг. Остался из любопытства на заводской профконференции после работы. Ну, то, что выступали по бумажкам, это и раньше было. Новенькое: прежде жиденькие вежливые аплодисменты теперь выравниваются и переходят... в скандирование. Хряп! хряп! хряп!..— как машина работает. И лица у всех становятся бессмысленными. Выступившие стоят около трибуны в растерянности: что, им на «бис» свою бумажку зачитывать?! Один — зачитал.

21.4, пятница,— такое же скандирование в гортеатре на оперетте «Свадьба в Малиновке». После каждой арии или куплетов. Артисты не бисировали, но музыкальное впечатление эти «хряп! хряп!» разрушили полностью.

22.4, суббота, центральный универмаг «Космос», трехэтажное здание в километре от коррелятора, место паломничества в выход-

ные (да и не только) дни всех таращанцев. Входная дверь из двух половинок, выходная тоже. В одну — открытую — половинку на входе очередь, давка, некоторые норовят протиснуться, прошмыгнуть... и *никто* не тронет рукой другую половинку, которая тоже не заперта и готова впустить! Я повел себя первооткрывателем, вошел через эту другую, левую,— граждане устремились за мной. Внутри ЦУМа такая же история около выходной двери.

Когда вышел, увидел, что входят-давятся через «мою» половинку дверей, а другая в пренебрежении. Силен прибор.

26—28.4. Наблюдал, как прохожие в ближайших от коррелятора кварталах начинают шагать в ногу. Некоторые подравниваются в шеренгу или в колонну по одному, в затылок. Хорошо еще, что эта развалюха на отшибе, на пустыре.

2.5 — даже в праздники джаз-оркестр дяди Жени в горресторане наигрывает исключительно плавные, тягучие мелодии. «Кукарача» и прочее с синкопами, с форшлагами теперь не для них, поняли.

8.5, понедельник. В административном корпусе завода всюду очереди — на прием к директору, к главному инженеру, их замам, к главному технологу, в завком, партком, отдел снабжения. В чем дело?!. Оказывается, *никто из начальства ничего не решает:* не разрешает, не запрещает, не утверждает, не приказывает, не увольняет, не переводит, не принимает на работу... сплошное «не». Уже третью неделю. Все либо откладывают свои решения, либо согласовывают их, либо требуют дополнительного обоснования... жизнь кипит, а дело ни с места.

11.5, четверг. Выяснил, что подобная ситуация во многих учреждениях города: в райкоме и райисполкоме (в одном здании в пятистах метрах от коррелятора), в «Сельхозтехнике» (километр от коррелятора), в райагропроме, в стройбанке... Плохо дело, надо кончать».

Разумеется, он не все замечал, Федор Ефимович. Жизнь в городе сделалась более упорядоченной, ритмичной. Даже те, кто по роду занятий или по характеру своему раньше жили как-то разбросанно: поздно ложились, не вовремя обедали, нерегулярно чистили зубы,— теперь выровнялись на тот же режим сна, подъема, обеда и прочих отправлений, какого придерживалось большинство таращанцев. После десяти вечера на улицах редко можно было встретить даже молодых гуляк.

И, само собой, в городе не было происшествий. Настолько не

было, что истосковавшиеся домохозяйки с удовольствием вспоминали, как зимой один муж в приступе пьяной ревности сбросил с балкона жену со второго этажа, и скептически посматривали на своих мужей, не способных ни на какие проявления сильных чувств. Да что о происшествиях — все отношения людей в это время будто застыли: те, кто испытывал антипатию к соседям, сослуживцам или близким, так и продолжали ее испытывать, не стремясь ни объясниться, ни помириться, или, напротив, обострить отношения до разрыва. Нравящиеся друг другу молодые люди, несмотря на весну, не знакомились, даже не улыбались друг другу — проходили мимо с деловым видом. Влюбленные откладывали объяснения в любви, сами не зная почему. Даже те, что решили развестись (были в городе и такие), тоже тянули резину.

Естественная жажда счастья у таращанцев в эти недели выражалась более всего в том, что они очень быстро выстраивались в очереди у магазинов, киосков, лотков и, только выстроившись, начинали выяснять: а что дают? что выбросили?..

Не только начальство — никто ни на что не мог решиться. Все чувствовали, что, помимо известных им природных и гражданских законов, в жизнь вошел еще какой-то невысказанный, но все ограничивающий закон — тупой и унылый, как коровья жвачка. Каждый сознавал умом, что он, в принципе, свободен и может поступить, как хочет, никто ему не указ. Но одно дело сознавать, иное — поступать. В то же время каждый ощущал смутную неудовлетворенность, протест, недовольство жизнью и собой... и вообще, испытывал тягу плюнуть и уйти. Но куда уйти? Зачем уйти? Как это — взять и уйти? «Другие живут потихоньку, а я чего буду?..» И обычно уходили в кино: смотреть по третьему разу приключенческие фильмы.

— Напрасно так, Федор Ефимыч,— покачал головой председатель комиссии.— Дело вроде интересное. Прибор мог бы найти и другие применения.

— А я вот и не хочу, чтобы он нашел другие применения! Избави Бог от его применений! — Дробота прорвало.— Как вы не понимаете! В моем опыте главным было не действие коррелятора, а намерение выключить его, использовать переходной процесс. А если у кого-то не будет такого намерения?.. Я выбрал тихий городок, где и так ничего особенного не происходило. Жизнь там на какое-то время стала более унылой. Но оправдание моим действиям то, что заодно накопилась избыточная информация, которую я горожанам и вернул — и в более достойном качестве, за что они, думаю, на меня не в обиде. Но... какие будут применения коррелятора в местах с насыщенной, так сказать, интеллектуальной жизнью? Представим, например, что его включили... ну, в писательском Доме творчества: это ж какие до ужаса похожие серые романы начнут

выдавать писатели! А у композиторов, у художников, у архитекторов! А на киностудии какой-нибудь: как начнут гнать фильмы о войне, так никогда и не остановятся!..

Федор Ефимович перевел дух, обвел глазами комиссию. На лицах сидевших перед ним выражалось замешательство.

— Понимаете, это очень подлый процесс — корреляция. Он нечувствителен, ибо только уменьшает разнообразие, а о себе более никак не дает знать. Вроде ничего и не происходит,— а талантливые дела в обществе сходят на нет. Поскольку же понятия и относительные оценки сохранились, то заурядность переводится в разряд выдающегося, серость с претензиями — в разряд талантливого. И все чувствуют себя обманутыми. Все тихо, гладко — а люди утрачивают способность к инициативе, к решительным действиям, даже постоять за себя, за общество.

— Э, зачем так! — протестующе поднял руку председатель.— Федор Ефимыч, ведь там у тебя кое-что и другое получилось, в Таращанске-то?

— Не без того,— кивнул тот.— Да только какая ему цена — тому, что получилось-то?

Дробот вздохнул и снова замолк, вспоминая тот понедельник 14 мая, когда в час дня приближался к старому дому с намерением выключить коррелятор, беспомощно понимая, что у него нет представления, как проявят себя эффекты раскорреляции, в чем, где, да и проявятся ли вообще?

4. В ЭТОТ ДЕНЬ (утро)

Юрий Иванович Передерий в это серенькое утро шел на работу в безрадостном настроении. Конкретным поводом для него послужил мимолетный обмен любезностями с тестем, более глубоким — их стойкая антипатия друг к другу, а еще более общим — то, что жилось Юрию Ивановичу (как, впрочем, почти любому специалисту в первые после окончания вуза годы) трудно.

Трудно было после обширного, красивого, живого столичного города привыкать к тиши и малым пространствам Таращанска. Досадно вспоминалось, что вот другие однокашники зацепились в Киеве: кто в НИИ, кто на заводах, кто в главке, а он не смог, не повезло. Трудно было начинать работу — мастером в цехе сборки. Институтские знания там были решительно ни к чему, а требовалось обеспечивать, подгонять, согласовывать, ругаться, принимать меры — давать план. Он не выдержал и года, перевелся на меньший заработок в центральную заводскую лабораторию, ближе к науке. Но и в ЦЗЛ он начал неудачно: когда отлаживали испытательную установку, на Передерия разрядился высоковольтный кон-

денсатор — небольшой, к счастью, емкости; он отлетел с криком, упал, задрав ноги. На любого мог бы разрядиться треклятый конденсатор — и каждый бы задрал ноги еще выше. Но случилось с ним. И ироническое отношение: а еще с высшим образованием, а еще в очках и т. п.— установилось к нему.

Авторитет можно было восстановить только результативной работой. Но и научная практика в ЦЗЛ была у Юрия Ивановича не ахти какая: проверка газоразрядных трубок в предельных режимах. По бесхитростности и однообразию это занятие напоминало УИРы (учебно-исследовательские работы), которые он выполнял на третьем курсе. На этом не развернешься.

Единственной отрадой для души, ума и тела Юрия Ивановича была жена Нина. Но и в семейной жизни чем далее, тем становилось сложнее. Сложно было жить в прыймах, сложно было, что там имелась достаточная площадь — из-за этого Передерия не ставили на квартирный учет. Сложно было, что Нина не работала (по мнению ее мамы, замужней женщине работать не пристало, по мнению Нины — в Таращанске не было ей занятия по призванию) и от безделья начала стервозничать. Сложно было и то, что Нине предстояло стать мамой, а она не хотела: та ее реплика, чтобы не иметь детей, была не случайной, именно об этом они тогда и спорили. Но Юрий Иванович самолюбиво настоял на своем: мало того, что в него не слишком верят на работе, так не верят и дома, не верят, что он сможет содержать семью.

Словом, и забот, и неудовлетворенности своим положением у Передерия было сверх головы. Выход ему виделся один: диссертация. С ней были связаны все его помыслы. Юрий Иванович поступил в заочную аспирантуру, сдал экзамены, лысел над монографиями, кои отнимали у него остатки самостоятельного мышления, руководил дипломницей-заочницей — своей лаборанткой Зосей, втолковывал ей то, чего и сам порой не понимал, злился на ее непонятливость. Именно ради будущей защиты он взялся читать лекции от местного отделения общества «Знание»— чтобы выработать дикцию, плавность жестов, умение вести себя перед аудиторией. Он подобрал близкую к работе тему «Влияние чистоты газонаполнителя на долговечность работы газоразрядных ламп» и надеялся дать небесполезные рекомендации. Но... результаты этой деятельности пока маячили в туманном будущем.

Сейчас Юрий Иванович пересекал заводской двор, направляясь к двухэтажному домику ЦЗЛ в глубине. Как и все, кто долго работает на одном месте, он не замечал здесь подробностей; отметил только, что на площадке металлоотходов прибавился еще один контейнер, из которого живописно свисала витая токарная стружка.

В комнате он переоделся в халат, обул мягкие туфли (забота жены Передерихи), поприветствовал свою помощницу Зосю, от-

крыл форточку и приступил к работе. Действия, которыми начиналось испытание очередной партии трубок, были так привычны, что Юрий Иванович совершал их бездумно, с четкостью ружейных приемов. Повернуть пакетный выключатель на распределительном щите (при этом на приборах вспыхивали синие и зеленые индикаторные лампочки), открыть кран и пустить воду по охладительным каналам импульсного генератора, рывком крутануть на три с половиной оборота штурвальчик магнитного стабилизатора тока, сесть к столу, раскрыть журнал, записать дату и номер партии, скомандовать: «Зось, вставляй!»— и поехали. Зося вставляла в медные зажимы полуметровую белую трубку, он устанавливал ток, засекал секундомером время, смотрел то на трубку, то на приборы: не начнется ли пляска света и стрелок — нестабильный режим. Если в положенные две минуты нестабильность не возникала, трубку вынимали, ставили новую и т. д.

Комната наполнилась уютными звуками: журчала в раковине вода из охладительных шлангов, на контрабасовой ноте гудел стабилизатор, тикал секундомер на покрытом оргстеклом столе, Зося мурлыкала радиопесенку.

Две трубки оказались с брачком: слой люминофора покрывал их не полностью.

— Зося, ну зачем ты такие берешь! — рассердился инженер.— Сколько тебе говорено: явный брак нам испытывать ни к чему!

— А как они их всегда подсовывают!

— Конечно, будут подсовывать, им же интересно куда-то свой брак спихнуть. Смотреть надо! Ну, что это такое?! — Передерий потряс перед мечтательным Зосиным лицом трубкой, на треть голой от люминофора.

— Вернуть? — покорно спросила та.

— Им вернешь! Теперь цех это записал в сданную продукцию. Бачилы очи, що купувалы... Смотреть надо! — Юрий Иванович бросил трубку в корзину для мусора и неожиданно для себя зевнул с длинным подвывом: этот разговор повторялся много раз — и без толку.

Партия кончилась. Он отправил Зосю в цех за новыми трубками, наказав смотреть в оба. Лаборантка удалилась свободной походкой девушки, которой не приходится стесняться своих ног. Передерий закурил, подошел к форточке, пускал дым в окно. Мартышкин труд,— нудно подумал он.— И конца не видно.

Окно лаборатории выходило в коммунальный двор, похожий на тот, в котором жил инженер; только столик для домино находился не у акации, а под старым каштаном. Между каштаном и углом деревянного сарая была протянута веревка, на ней сушилось белье.

Сигарета кончилась, а Зося все не шла. Не иначе, как у нее в этом цехе завелся хахаль,— соображал Юрий Иванович.— Он ей

и подсовывает. Зося нравилась ему лишь немногим меньше, чем жена; к тому же отношения с ней еще не знали ни близости, ни ссор. Да и работа один на один с симпатичной девушкой пробуждала у инженера грешные мысли. Но будучи от природы человеком добропорядочным и трусливым, он держал себя с лаборанткой сурово, хотя и ловил порой на себе ее мечтательно-укоризненный взгляд. Сейчас он испытал мимолетную ревность к возможному ухажеру из цеха, стал прикидывать, кто бы это мог быть.

От уютного гудения и журчания возникла дрема. Но сидеть без дела стало неловко. Передерий тряхнул головой, встал. Чем бы заняться? Взгляд упал на выброшенную в мусорную корзину трубку. Юрию Ивановичу пришло в голову, что он никогда еще не видел разряд в трубке без люминофорного покрытия. Глянуть, что ли? Да что там — обычный газовый разряд, как в тиратроне. Однако добыл трубку из корзины, вставил в зажим, дал ток. Свечение в голой части было, как он и ожидал, сизо-красным. Ясно. Что бы еще с ней сделать? Все равно выбрасывать.

Инженер решил развлечься: быстро закрутил штурвал магнитного ограничителя в сторону больших токов до отказа. Дроссель взревел. От броска тока многожильный медный кабель шевельнулся, как потревоженный удав. Трепетное красно-синее сияние в трубке перешло в белое, стянулось в ослепительную, как сварочная дуга, линию... и в тот же миг затрещал, разбрасывая длинные искры, левый зажим, хлопнуло перегрузочное реле на щите, погасли индикаторные лампочки приборов. Свечение в трубке расплылось, перешло опять в сизо-красное и исчезло.

Несколько секунд Передерию казалось, что в комнате темно, а за окном серый полумрак. В воспаленных зрачках плавал, будто прочерченный карандашом, черный жгут. «Ух, вот это я дал точок! Реле срабатывает при ста амперах, ого!» Он взялся за трубку, но отдернул ладонь — обжегся. «Могла и лопнуть, доигрался бы». Юрий Иванович натянул на ладонь рукав халата, взял так трубку, вынул из зажимов, вернул в корзину. Подгоревший контакт пришлось зачистить шкуркой. «Хватит исканий, займемся наукой»,— вздохнул Передерий, установил реле в рабочее положение.

Неся охапку свежих трубок, вернулась Зося — возбужденная, со следами улыбки на зарумянившихся щеках. «Так и есть,— отметил инженер.— Кто же это там такой проворный?»

С этой партией управились к обеденному перерыву.

Григорий Иванович Кнышко — сорокалетний видный мужчина, в каждой черте тела и лица которого, даже в завитках темной шевелюры, чувствовалось полнокровное здоровье и сила, проснулся в это утро, как и в предыдущие, с надоедливой мыслью: бросать надо это дело.

ЗЛАЯ
СОБАКА

Дело Кнышко последние десять лет состояло в том, что он был городской скульптор. Ваятель. Именно его работы гипсовые и цементные (на железной арматуре), плохо побеленные скульптуры: спортсмены, воины, пионеры-горнисты в призывных позах, Иваны-царевичи с лягушками-квакушками, пудели в иронических завитках, гуси, они же лебеди, и тому подобное — оскверняли парк, бульвар, детские площадки и другие культурные места Таращанска. У некоторых скульптур, преимущественно совсем нечеловеческих, горожане во хмелю регулярно отбивали морды, лапы и иные выступающие места. Григория это мало трогало: реставрировать все равно пригласят его. Другого скульптора в городе нет, а двое коллег Кнышко по изобразительному искусству, художник Иван Арефьич, оформлявший празднества, и его отец Арефий Петрович, малевавший киноафиши, в смысле ваяния были неконкурентоспособны.

Жилось Григорию в общем неплохо: от трудов праведных у него получился домик на Уютной улице со двором, садом и сараем-ателье, покрытым парниковыми рамами. Здесь он обитал с женой Тамарой. Детей у них не было: Тамара оказалась резус-отрицательной и опасалась беременеть. Коллеги Иван Арефьич с Арефием Петровичем находили в его работах блестки таланта; Кнышко против этого не спорил и, в свою очередь, указывал на талантливость их работ. Но сам он к своему занятию относился спокойно и в те месяцы, когда не было заказов, брал раскладной столик, пачку черной бумаги, какою оборачивают фотопластинки, ножницы, выходил в горпарк, раскладывался и зазывал: «Н-ну, кто желает нарисоваться? Две минуты — ваш портрет!» Из-за скудости в парке культурных мероприятий от желающих отбоя не было. Григорий бойко вырезал и наклеивал на открыточные квадраты ватмана силуэты граждан; при этом он не слишком гнался за сходством, а больше налегал, чтобы профиль получился красивым у девушек и мужественным у парней, понимая, что клиент это любит.

Последнее занятие ему было даже больше по душе, чем затяжная возня с гипсом, цементом и иными материалами. Единственно: после нескольких дней вырезаний силуэтов Григорий Иванович всюду начинал видеть профили — в трещинах на штукатурке, в рисунке ветвей деревьев, в игре теней, в облаках и даже в складках одежды прохожих. Это раздражало.

В эту весну он еще не выходил промышлять силуэтами. Дела шли неплохо: после пасхи, Первомая и Дня Победы намечалась изрядная реставрация; кроме того, завод газовых ламп заключил с ним договор на полнометражную колхозницу из мрамора заказчика. То есть, конечно, не колхозницу, поскольку они не работают в электропромышленности,— просто Кнышко для ясности именовал колхозницами все скульптуры женского пола. Над этим заказом он и трудился.

Сегодня ему предстояло согласовать с заводским начальством окончательный вариант скульптуры. Результаты двухнедельных усилий — пять гипсовых статуэток величиной с поллитровку каждая — сохли на стеллажах сарая-ателье. После завтрака Григорий все ходил около них, смотрел с разных позиций. Варианты были не ахти какие и разные, прообразом всем служила скульптура колхозницы со снопом в поднятых руках над главным входом ВДНХ в Москве. Разнообразие выражалось в том, что линии одной статуэтки устремляли ее более вперед, чем вверх; а у другой, наоборот, более вверх, чем вперед; у третьей выигрышно выпирали формы... Но такова была творческая манера Кнышко: предложить заказчику выбор, чтобы он чувствовал себя сопричастным и потом меньше придирался.

Более других импонировал ему пятый вариант: в нем женственная выразительность форм удачно сочеталась с упрощенной броскостью линий. Кроме того Григорий, отступив от классического образца, одел фигуру в брюки — от чего она явно выиграла. Вместо снопа в руках колхозницы он думал поместить заводскую продукцию — пук газосветных трубок. Если еще они будут гореть разными цветами, под радугу, выйдет ох как эффектно!

Кнышко вышел из ателье, прогуливался между благоухающими удобрением клубничными грядками — ждал, пока товар окончательно просохнет. «Эта, в брючках, подошла бы заводу лучше всего: модерн, кубизм! Не ахти какой модерн, но все-таки соответствие — техника, электроника, двадцатый век. И архитектура цехов там модерновая, на уровне. Вписалась бы скульптурка, ей-ей! И я бы сработал ее с удовольствием». Григорий вздохнул. Все-таки надежда, что он хоть раз в жизни сделает настоящую работу, не покидала его; она лишь слабела под бременем лет и житейского опыта. «Да, но... вот именно: но! Здания строили по спущенному сверху проекту. А статуя — это как «управдом» посмотрит».

Если быть точным, то официальным заказчиком и куратором выступал замдиректора по АХЧ товарищ Гетьман. Но Григорий Иванович по той же застарелой привычке именовал и его «управдомом». К тому же первые контакты укрепили у скульптора мнение, что уровень запросов тов. Гетьмана ничуть не возвышается над среднеуправдомным: «чтобы все было, как у добрых людей».

От этих мыслей настроение у Кнышко еще упало. А к тому же вспомнился предутренний сон, опять тот же, надоедливо повторявшийся каждую ночь: что на заводе передумали и вместо «колхозницы» предложили ему изваять совсем другое: на мчащемся стреляющем танке Т-34 голая нимфа мечет диск. И эскизик дали. Григорий во сне изучал этот эскиз, ломал голову: ну, нимфа — ладно, та же «колхозница» плюс спортсменка... но как сообразить из мрамора мчащийся и стреляющий танк? Да и хватит ли материала?..

Этот сон внушал ему дурные предчувствия: а ну как действительно кому-то из начальства в голову стукнет? Не танк, так что-то другое...

Неподалеку беседовали жена Тамара и соседка.

— Нет, вы поду-умайте: приперся пьяный, сгреб ее, загорланил: «И за бо-орт ее бросает!..»— и кинул, паразит. С балкона.

— С ума сойти!.. Но и она, я вам скажу, была штучка...— доносилось до Григория.

Он понял, что женщины обсуждают — за отсутствием свежатинки — прошлогодний скандал в их квартале. Давно посадили хулигана-мужа, давно срослась поломанная нога у его жены, развелись они... а дамы все пробуют на язык вкусные подробности. «Не разрешит «управдом»,— трезво подумал скульптор.

Завидев Григория Ивановича, женщины примолкли, посмотрели в его сторону. Скульптор сделал вид, что не замечает их, самоуглубился. «Все работает,— проникновенно молвила соседка.— Конечно...»

— А, он больше ходит, чем работает. Это у меня не Гриша, а ходячий анекдот! — беспечно сказала жена, считавшаяся самой остроумной женщиной переулка.— Все ходит и ходит! — Она засмеялась, повторила плачущим голосом: — Все ходит и ходит!..

Соседка тоже конфузливо засмеялась. «Засмеялись, как закрякали,— с ненавистью подумал Григорий.— Невозможно... ну просто невозможно!» Он остановился через грядку напротив женщин, поздоровался с соседкой, взглянул на жену. Та с утра пораньше накрутила высокую прическу, которая ее вовсе не молодила.

— Томочка, мне сегодня в город, на завод. Ты бы приготовила рубашку.

— Вот, пожалуйста,— обрадовалась Тамара,— как он так ходит, а я так на него работай! Ты скоро выжмешь из меня последний атом!

Она снова визгливо засмеялась. Соседка тоже:

— Ох, Тома, уж вы скажете!..

«А не поджечь ли мне дом? — тупо думал Кнышко, отходя от них.— Невозможно... ну просто все никуда не годится! Еще к «управдому» тащиться согласовывать... да что там — соглашаться. Черт знает что!»

Он вошел в сарай, потрогал образцы: просохли. Бросил в чемоданчик свой инструмент: шпунт, скарпель, троянку, молоток, туда же сложил статуэтки, завернув каждую в тряпочку. И, как был в заляпанной спецовке, вышел со двора, хряснув калиткой. Григорий Иванович чувствовал, как тело его наливается грозной силой, хочет разрушать.

Улица была булыжная, одноэтажная. Тянулись в перспективу с обеих сторон дощатые заборы с калитками и надписями: «Осто-

рожно, злая собака!» Многие калитки украшали поясные портреты «злых собак» работы Арефия Петровича; у псов был вдумчиво-проницательный вид — будто они не лаяли по дворам, а по меньшей мере служили в уголовном розыске. «Халтурщик проклятый!»— пробормотал Кнышко.

Через три квартала он вышел на бульвар Космонавтов. Липовая аллея, разделявшая его, была вся в свежей зелени и новеньких фанерных плакатах «Граждане, любите деревья! За поломку — штраф». На детской площадке один пионер салютовал вместо руки ржавым прутом; такой же прут заменял голову гусю-лебедю. «Отбили — и правильно сделали!»— одобрил Григорий Иванович.

«Ничто никуда не годится. И я тоже. Я не художник, зачем прикидываться, я только этому учился. Могу замешать раствор, довести его до консистенции, вылепить экстерьер и фактуру... но зачем? Чтобы заработать на жизнь? Так не лучше ли прямо: кто желает нарисоваться, в две минуты ваш портрет — сшибать полтинники? Халтура так халтура, нечего корчить из себя жреца искусств, бередить себе душу надеждой, будто что-то смогу выразить от Красоты Жизни. Или вовсе бросить это дело, пойти на завод? Хоть грузчиком, силы хватит. Так будет честнее...»

Но в глубине души скульптор понимал, что не сделает так, слабó. Где там бросить! А что скажут соседи, жена, Иван Арефьевич с Арефием Петровичем? Пересудов будет больше, чем о сброшенной с балкона даме. Да еще заключенный договор, взятый аванс, да привычка к вольному образу жизни. И на заводе будут кивать: Фидий из него не вышел, подался в подкрановые рабочие... Нет, он крепко завяз в своей жизни!

У проходной завода ревел компрессор, рабочие дырявили пневмодолбилками асфальт под канаву для кабеля. Один рабочий отложил молоток, кивнул скульптору — они были улично знакомы. Кнышко поставил чемоданчик, спросил:

— А... можно мне попробовать? Как его нажимать?

— Давай попробуй,— обрадовался нечаянному развлечению работяга.— Вот ету нажимать, сюда давить, здеся долбить. Ну-кася?

Григорий взял молоток, упер его в метку на асфальте, нажал пуск. Поначалу было ощущение, что он держит в руках взбесившегося козла и долбит не асфальт, а себя. Остальные рабочие тоже отложили молотки, смотрели на потуги скульптора с веселым интересом. Но тот разозлился, насел на рукоять всем телом — острие пошло в асфальт. Так он продолбил четыре дыры, распрямился, вытер пот: «Спасибо, хватит!»

— А что, можешь,— одобрил рабочий.— Давай к нам в бригаду, прилично зарабатывать будешь.

— С такими граблями полторы-две нормы шутя,— поддал второй.

— А что, может, и приду в бригаду, посмотрим,— скульптор подхватил чемоданчик, чувствуя силу в руках.

Он направился было к проходной, но — свернул направо. Там, на вымощенной квадратными плитами площадке, на пьедестале из бетона, высился желтоватый двухметровый брус мрамора. Вокруг дощатые мостки: завод пунктуально выполнял договор, все было готово для работы. Кнышко залюбовался мраморной глыбой: она походила на кусок старого льда, края тепло просвечивали под солнцем. «А не лучше ли ей стоять такой, как есть? Сейчас она естественно красива».

...Когда заводчане предложили свой мрамор, Григорий Иванович и обрадовался редкой удаче, и испугался. За всю практику ему только трижды довелось работать с классическим материалом. Он помнил, как всякий раз у него — то ли от материала и инструментов, не изменившихся с античных времен, то ли от повторяемого в уме изречения Микеланджело: «В каждом куске мрамора содержится прекрасная скульптура, надо только убрать лишнее», возникало чувство существования вне времени, работы на века. Но одновременно возникало и связывало руки ощущение ответственности, боязни каждого удара — и ничего путного не получалось. «И эту глыбу испорчу?..»

По разовому пропуску он прошел в административный корпус к товарищу Гетьману. У того был захлопотанный вид: он распекал снабженца, одновременно выговаривал по телефону начальнику охраны. Кнышко заробел — и не столько самого Гетьмана, худого и остроносого старика в очках и, судя по дребезжащему голосу, со вставными челюстями, сколько значительно произносимых слов «план», «номенклатура», «документация»... Заместитель директора, поглядев варианты, сказал деликатно: «Сам я не берусь...»— и пригласил по телефону в кабинет заводскую общественность. Явились еще два замороченных заводской текучкой человека: комсомольский секретарь и член завкома по культуре и быту. Получилась обычная неловкая ситуация, когда люди должны высказать ответственное суждение о предмете, в котором они не разбираются, о котором не думали и который им вообще до лампочки. Но вариант с намеками на модерн дружно забодали.

— В брючках? — сказал Гетьман, и у него выгнулись ноздри острого носика.— В обтяжечку?! М-м... нетипично это для нас. В халатах у нас работают, уважаемый Григорий Иванович. И в шапочках. У нас, знаете, производственная стерильность на высоте.

— Да-да,— сказал завкомовец.

— Электроника — она требует,— добавил комсомольский секретарь.

— Вы сами походите по цехам, посмотрите,— предложил Гетьман.— Вам, художникам, надо плотней общаться с жизнью. Я вам

сейчас выпишу пропуск в цеха...— Он придвинул книжечку пропускных талонов, заполнил один.— Тогда и решим. И уж я вас попрошу, товарищ Кнышко, вы постарайтесь сделать на совесть. Чтоб согласно договора. Ведь материал мы вам какой даем, видели?

— Да-да,— сказал член завкома.

— Мрамор электротехнический среднезернистый, класс «А» по ГОСТу 629-41,— увлеченно поднял руку замдиректора.— Не материал, а огурчик, скульпторы о таком могут лишь мечтать. Это спасибо министерству, что сняло с нас заказ на распределительные щиты.

«Ага!»— Григорий только теперь понял, почему это заводчанам загорелось украсить территорию мраморной статуей.

И он двинулся по цехам — не для шапочного знакомства с жизнью, а больше чтобы уяснить, какую работу он здесь смог бы приискать себе — на худой конец.

5. ПОЛДЕНЬ

В обед Юрий Иванович питался не дома, чтобы не общаться лишний раз с тестем и тещей, а в буфете или в заводской столовой. В буфете шел нескончаемый переучет, в столовой — очередь и сверхскудное меню: только от чтения его Передерий ощутил во рту горечь горохового супа и промышленный вкус котлет. Он подумал и пошел на базар — пить молоко.

Рынок встретил его разноголосым шумом. Алюминиевые репродукторы передавали эстрадный концерт. Из домика с вывеской «Птицерезка и разделка птиц» неслись исполненные предсмертной тоски куриные вопли. Среди торговых рядов и грузовых машин ходили домохозяйки со строгими лицами; они рассматривали яйца через кулак против солнца, прикидывали на руке ощипанных кур, называли цены, выстраивались в очередь за картошкой и мясом. Ветер гонял по базарной площади смерчики из пыли, бумажек и тополиного пуха.

Эт-то было лет-том, лет-том,
эт-то было знойным лет-том,—

вырабатывал в репродукторе Райкин.

Юрий Иванович все это замечал и не замечал. Он выстоял небольшую очередь к хлебному киоску, купил булку, направился в молочный ряд. От момента, когда он вышел с завода, его не покидало ощущение, что надо что-то вспомнить. Что? Инженер напрягся. Ага, эта вспышка в бракованной трубке, белый жгут. Что-то в нем было не так. Да отчего же не так? — спорил с ощущением Передерий.— Ну, получился плазменный шнур. Где ему и получиться, как не при сильноточном разряде в газе?

В молочном ряду приход Юрия Ивановича вызвал оживление.

— А вот ряженка, уважаемый!

— У меня той раз брали!

— А ось молоко — свіже, жирне, не магазинне!

Он купил пол-литровую банку ряженки, это был наиболее питательный продукт. Банка была захватана руками, повертел ее с сомнением: «Не моют чертовы бабы. Ладно!»— пристроился на пустом прилавке. Там уже питалось несколько заводчан. Передерий поздоровался с ними и, стесняясь нереспектабельной обстановки, принялся за еду.

Эстрадный концерт кончился. Алюминиевый динамик на столбе пикнул шесть раз: тринадцать часов.

В подготовительных цехах Григорий Ивановича встретил сумрак — от обилия замасленного металла, от темных халатов рабочих, от серо-зеленой окраски станков и стен — и сосредоточенный шум. Смачно чавкали прессы, жуя полосы оцинкованного железа и выплевывая, как шелуху, фигурные контакты. Взвывали, набирая обороты, токарные станки, ритмично прогромыхивали строгальные. Здесь работали преимущественно мужчины. И хотя многих из них Кнышко встречал на улице, знал лично, в цехе они были какие-то иные, малознакомые. На лицах у них было суровое сознание нужности делаемого ими. Люди трудились: и ценности создавали, и на жизнь зарабатывали — и никаких сомнений в необходимости своих дел у них не возникало. «И мне бы так»,— позавидовал Григорий.

Он поднялся на второй этаж, в сборочные цеха. Стены из стеклоблоков, медицински белый кафель, кремовая окраска сборочных стендов, никель, вишневый линолеум, вымытый до блеска. Шеренги девушек в белых халатах и в белых же, плотно надвинутых на лоб, чтобы не выбивались волосы, шапочках, тоже сперва показались Кнышко одинаковыми, как и столы, за которыми они работали.

Присмотревшись, он расшифровал свое первое впечатление. Нет, девушки были разные: рослые и маленькие, худощавые и в теле, красивые и не очень, кареглазые, синеглазые, курносые, подетски толстощекие или со строгим рисунком лиц, одни постарше других... Но общим было у всех какое-то спокойно-гневное выражение лиц. «Как у оскорбленных ангелов»,— подумалось скульптору.

Руки девчат быстро вкладывали и вынимали детали, нажимали, подводили, опускали, перекидывали. Глаза следили за движениями пальцев, перемещениями сборочных механизмов; выражения лиц не менялись. «Вот она какая, наша работа,— как бы говорили лица,— смотри в оба да поспевай». Только на медленно проходившего Григория девушки бросали взгляды: любопытные — все-таки в поле зрения оказалось нечто живое, мужчина. Но глаза тотчас возвращались к деталям. Лишь в стороне от линии сборки, у

аптекарски сверкающих вытяжных шкафов и водородных печей, где напаривали люминофор в трубки и серебрили контакты, девушки образовали вольные группки и даже судачили.

После мрачноватой сутолоки механических цехов сияющее рафинадное великолепие сборки казалось праздничным — если бы не лица девушек. Григорий Иванович глядел на эти склоненные к столам лица — милые, разные и чем-то очень похожие — и чувствовал стеснение в груди. Девчушки столкнулись с прозой жизни: надо работать, зарабатывать. Делать, что скажут, жить обыкновенно... И как будто поняли, но не приняли ее. Работа чистая, аккуратная, не хуже, чем у других. И все-таки — проза...

Он заметил двух знакомых, своих соседок; они на его памяти пробегали десять лет в школу. Подошел, поспрашивал, как работают, нравится ли, какие нормы, расценки. Девчата отвечали бегло, не отвлекаясь от дела. Кнышко отошел, чувствуя неловкость.

В конце цеха он сдал халат, спустился вниз, вышел на товарный двор — трущобное нагромождение ящиков с надписями «Не кантовать», охапок труб разного сечения, досок, прутков; далее обоймами по пять высились разноцветные баллоны со сжатыми и сжиженными газами. Кнышко сел на ящик — в позе роденовского «Мыслителя». «Так что же все-таки *то*?»

Крюк со стрелы автокрана свесился над ним перевернутым вопросительным знаком.

Поднаторевший в разгадывании сюжетных ребусов читатель наверняка смекнул, что неспроста подробно описаны дела и заботы этих двух персонажей — с ними произойдет что-то такое, как и с Андреем Степановичем Кушниром. Справедливо. Иначе зачем автор переводил бы на них бумагу? Описывать неинтересную жизнь неинтересными словами? Не стоит она того. Человек — каждый человек! — должен жить ярко и выразительно, в этом автор целиком согласен с Дроботом.

Просто мы теперь иными средствами продолжаем его исследование. Логико-математическое описание проблем ущербно и никогда не даст полной картины. Это особенно справедливо при исследовании таких сложных явлений, как человеческие поступки.

Взять того же Кушнира. Ни логикой, ни математикой не объяснить, почему после выключения коррелятора он запел. Почему он, а не другой, не Михаил Абрамович, например? Несомненно, кое-какие отправные данные у него были. Во-первых, как упоминалось, голос. Во-вторых, работа настройщиком на баянной фабрике изощрила его слух, развила музыкальную грамотность. Но все же как-то оно не того: не пел, не пел человек — и на тебе. Заголосил.

Или взять Юрия Передерия — в эпизоде с забракованной трубкой, которую он от нечего делать испытал. Несомненно, что позыв

к привычной деятельности: включать, засекать, измерять — в известной мере был наведен коррелятором. Не прошелся же инженер колесом по комнате, не взялся ремонтировать микроманипулятор, который с марта лежал разобранный. Но пусть бы проверил в обычном режиме, как прочие трубки,— так нет, подал аварийной силы ток, хотя и знал, что на него газосветные приборы не рассчитаны. Зачем? Просто так.

«Хочу не так»,— как говорят самые неуемные и дерзкие творцы на земле — дети. Может быть, творческое начало и есть сохранившаяся в человеке детскость, подкрепленная знаниями?

Впрочем, все это гадание на бобах. По статистике ясно: накопившееся за время работы коррелятора количество информации должно выразиться в нескольких крупных всплесках и десятке-другом мелких. Но количество информации — не сама информация. Да и вообще никакая статистика не объясняет человеческие поступки.

Здесь автору самое время поднять палец и произнести с видом многозначительным, первооткрывателя: человек — странное существо! Но, кроме шуток, ведь действительно странное: каждому своему поступку он мысленно противопоставляет возможные поступки, которые мог бы совершить в данных обстоятельствах. И не важно, что они неблагополучны для него, рискованны, неприличны, а по объективной статистике маловероятны, они — возможны, этим все сказано. Он мог так сделать, мог, не смертельно. Даже если и смертельно, все равно мог: другие-то смогли! А сделал не так. Или ничего не сделал, уклонился. И начинается загрызение совести, самоедство, запоздалое раскаяние и прочие прелести самоанализа, от которых иной, глядишь, и запил. Или совершил непродуманно возвышенный поступок, после которого знакомые начинают глядеть на тебя с опаской.

Избавится ли человек когда-нибудь от этой двойственности, от внутреннего драматизма своего поведения? Обещать трудно, скорей всего, что нет. Отделаться от этого можно единственным путем: лишить себя воображения и способности думать — то есть перестать быть человеком.

Увиденное в цехе сборки непонятным образом взволновало Григория Ивановича. «Да... работа неплохая, ничего не скажешь. Да и не в ней дело. О том ли мечтала каждая из них: работа от сих до сих, прогулки по бульвару Космонавтов от сих до сих, разговоры о том, что кто купил или «А он мне сказал... А я ему сказала...»— то есть тоже от сих до сих, кино и танцы от сих до сих. Потом замужество за тем, кто возьмет, поскольку парней в городе негусто. Не хорошо и не плохо, обыкновенно, жизнь от сих до сих... (А у иных и выпивка с матом, чтобы выглядеть современной, бесшабаш-

ная «любовь», чтобы выглядеть современной... попытка вырваться из «от сих до сих». Страшная штука — обыкновенное, обыденное, бездарное — хуже моих скульптур!.. А ведь каждая читала книги — о себе, фильмы смотрела — о себе, песни слушала и пела — о себе. Потому что каждый человек мечтает о необычном, выдумывает его или примеряет выдуманное другими. Потому что в необычном: в ярких поступках, в драматической любви, в романтике риска, в творчестве — жизнь. В нем, а не в болотном прозябании вполсилы!»

Григорий поднялся, зашагал по двору, огибая предметы. «А я для них «колхозницу» поставлю. Не для них, для жирного заработка. И будут они посматривать на нее в перерыв, идя на смену или со смены,— равнодушно, как на забор, понимая, что сделано и зачем. В том-то и дело, что они отлично чувствуют надувательский смысл показных красивых поз и оплаченных красивых фраз. Они все чувствуют, понимают, эти девочки, поэтому и много их таких — с мечтательной душой и неверящим взглядом. Да и как не понять? Поманили прекрасным, а сами посадили, сунули в руки пинцет или электрод — наложить, дожать, включить, перевести, вынуть, наложить, дожать... Сто облуженных электродов 80 копеек, пятьдесят приваренных контактов 35 копеек... И это все? Вся жизнь, условно называемая «небывалый трудовой подъем?..»

Непривычны, трудны и отрадны были для Григория эти сумбурные мысли. Впервые в жизни он думал не о себе, не о веренице дел и забот, не о близких — и думал напряженно, как будто от того, поймет ли он души девчат-сборщиц, зависело что-то главное в его жизни. И эти мысли освобождали в нем высокие силы.

Ноги снова принесли скульптора к административному корпусу. Возле входа висела стенгазета «На посту», орган военизированной охраны завода. «С наступлением весеннего сезона,— рассеянно пробежал Кнышко фиолетовые машинописные строки передовицы,— резко возросла утеря пропусков. Если за пять зимних месяцев утеряно всего 94 пропуска, то за апрель м-ц и первую декаду мая м-ца утеря составила 52. Теряют, как правило, девушки, не имеющие карманов!»

— При чем здесь карманы,— пробормотал Григорий,— ну при чем здесь карманы?! Ведь это девушки. И это весна. Это май-чародей, это май-баловник веет свежим своим опахалом... Май-чародей — а не май м-ц, второй м-ц второго квартала! Бюрократы!

«Пропуска им не теряй в весенний сезон... выполняй, не опаздывай, не обсуждай, не то, не се — размерили, заорганизовали до посинения! — Он решительными шагами поднимался к кабинету товарища Гетьмана.— Сами обиваем высокие чувства, порывы души, а потом сокрушаемся: откуда берутся вздорные, пошлые, ограниченные, мелкомстительные, не умеющие ни любить, ни жалеть? А это они мстят за отнятые мечты...»

— А, Григорий Иванович! — поднял голову от стола Гетьман.— Ну как — познакомились?

— Угу,— кивнул скульптор, широким движением руки сметая со стола в чемоданчик свои образцы.

— И на чем же вы порешили остановиться?

— Потом поговорим,— ответил Кнышко в дверях.

Этот разговор тотчас выветрился из памяти. «Как же так, черт меня побери! Ведь когда я ухаживаю за женщиной — да и просто разговариваю! — то стараюсь, чтобы ей приятно и интересно было со мной. Самому хорошо, когда они улыбаются, оживлены, глаза блестят, румянец на щеках... в работе-то своей, в *высшем* своем общении, что же? Разве она не для того предназначена? Для этого, а не для упоминания в ведомостях и докладах, что на территории установлено урн чугунных литых — двадцать, скульптур женских мраморных — одна. Ах, халтурщик проклятый!»

Он вернулся на товарный двор, сел на прежний ящик, вывалил на асфальт из чемоданчика образцы, взял молоток — хорошо подогнанный к руке молоток-кияно для работы по камню — и расколотил все пять фигурок. «К чертям полновесные формы! К дьяволу выражаемый бедрами производственный порыв! К разтакой бабушке обусловленное договором содержание!» Ему сразу стало легче.

Пока Юрий Иванович утолял первый аппетит, ему было не до размышлений. Но когда в банке осталось меньше половины, воспоминание о необычной вспышке снова обеспокоило его.

«Что же там было не так? Картина послесвечения? Ну, люминофор после выключения тока светится еще, бывает, с секунду... Постой, но в голой-то части его не было! — инженер замедлил движение челюстей.— Да, после того, как щелкнуло перегрузочное реле... и ток, понятно, оборвался, белый жгут в этой части трубки еще был. А потом расплылся. Вздор! — Передерий отставил банку, понимая, что это не вздор.— Ерунда какая-то, так не бывает. Мне показалось. Рекомбинация электронов и ионов после ударной ионизации в разреженном газе длится не более тысячных долей секунды — это во всех учебниках написано. Это все знают. Тысячные доли — заметить глазом такое послесвечение нельзя. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!»

Юрий Иванович поймал себя на том, что весело издевается над благоразумными познаниями.

«Постой, а если все-таки показалось? В сетчатке глаз вспышка оставила раздражение, вот и... недаром потом перед глазами плавал черный жгут. Стоп-стоп! Черный — то есть теневой. Это нормальная реакция глаза после того, как смотрел на яркое. Так что это еще ничего не доказывет».

— Эт-то ничего, эт-то нич-чего, эт-то нич-чего не доказывает! — непонятно на какую мелодию положил Передерий эти слова.

Чтобы проверить себя, он в упор глянул на солнце. Небо очистилось от белесой пелены, оно светило полным накалом. Отвел глаза — в них, накрывая киоски и торговок, маячило круглое темное пятно. «Все правильно, колбочки-палочки истощились после яркого. А тогда в лаборатории, когда отключился ток... ведь так же было! Ведь видел. Но тогда... хо-хо! Выходит, рекомбинация здесь ни при чем?! Выходит, *это* невозможно?!»

Это была минута неизъяснимого наслаждения: Юрий Иванович расшатывал истины, был наравне с великими — и именно в те их моменты, звездные мгновения, когда они были велики.

Почти бегом он пересек базарную площадь, торговый шум и там звучал в его ушах музыкой. «Неужели, черт меня побери?! Ведь этим такие люди занимаются, на такой аппаратуре, с такими теориями — и вдруг!.. Хо-хо, таких послесвечений не бывает, наукой не предусмотрено. А вот захочу — и будут!»

Тополя на бульваре выгнулись под ветром зелеными саблями. Бодрый ритм «Эт-то было лет-том, лет-том...» овладел инженером, он подмугыкивал в такт шагам. Пьяненькая бабуся стояла под высоким деревом, смотрела на трепещущие листья, кланялась и голосила:

— Гой, тополя, и чого ж ты така выросла?! Гой, тополя, тополя!

И Юрий Иванович, только глянув в ее сторону, понял, что старуха и тополь — ровесники, мощное дерево — мера бабкиных годов, и она горюет-причитает о прожитой жизни, о невозвратимо утраченной молодости.

У проходной ревел компрессор, а поодаль темноволосый массивный мужчина в спецовке крушил пневмомолотком мраморную глыбу. И по музыке звуков, по могучей позе человека Передерий понял, что тот тоже пришел к важному замыслу — и у него получится.

Он сейчас все понимал!

Человек с пневмомолотом у мраморной глыбы — это был Григорий Кнышко. Тогда он вышел с завода с намерением больше не возвращаться ни сюда, ни к своему занятию. Но — как раз кончался обеденный перерыв, работницы возвращались в цеха. Лица их были оживлены по случаю весны, солнца и короткого отдыха. Григорий остановился растерянно. «Ну, проявил честность... и все? Тебе от этого стало легче, а им? Для них-то ты ничего не сделал...»— Он смотрел на их лица, стыдясь своего сильного тела, праздных рук.— Девочки, мечтательные девочки идут жить, как жили. Растерянные, сомневающиеся, доверчивые, ищущие небанального, а потом

махнувшие рукой: а, не все ли равно! Ах вы, дочки мои, несостоявшиеся любови мои, что мне сделать для вас?»

Он медленно подошел к глыбе неликвидного мрамора, соответствующего ГОСТам. Она сияла и светилась под солнцем.

«Лицо. Только лицо — *их*».

Это был даже не замысел. Он *увидел* Лицо в куске камня — то самое, с гневно-мечтательным изгибом губ и бровей, с вопросом и недоверием в расширенных глазах, вопросом к жизни и к себе. Он *знал*, что оно существует, живет там. Задача была простая: убрать лишнее. Освободить Лицо.

От возбуждения и жажды работать у скульптора затряслись руки. Слезы навернулись на глаза, слезы любви к этим девушкам, восторженного понимания. Он сейчас был готов на все, только бы они поверили в жизнь, в него... и, главное, в себя. Возбуждение не лишило рассудка, даже напротив — обострило его. «Лишнего много. Его убрать — работа большая, не на один день. А сделать надо сегодня, иначе...» С Григорием впервые было такое: он опасался спугнуть это состояние черновыми нудными делами, передышками. Или он это сделает сейчас, сегодня — или никогда не сделает. «Как же быть?»

Рабочие, буравившие асфальт, ушли на обед. Только знакомец Кнышко кейфовал, подзакусив, в тени компрессора. Он с интересом смотрел на скульптора, окликнул:

— Эй, поупражняйся еще с молотком, пока народу нет!

Для Григория это был как голос с неба. Черт, а и вправду: отвалить начерно долбилкой, а затем чисто сделаю инструментом! Он засмеялся: выходило, что случившееся с ним сегодня уже подчинялось этому замыслу. Махнул рабочему:

— Тащи его сюда!

Покрутив головой, тот поднялся, подхватил пневмомолоток, притянул вместе с шлангом.

— Как это долбило вынимается?

— А ты что, без него хошь? — рабочий, забавляясь в душе, отпустил зажим.

— У меня свое есть, вашим не чета...— Скульптор вынул из патрона избитое долото с прикипевшими кусочками асфальта, добыл из чемоданчика щеголеватый шпунт, вставил, закрепил.— Беги включай компрессор. И не скалься, работать будем всерьез.

Взревел компрессор. Григорий Иванович включил молоток, он затрясся в руках. «Держится шпунт!» Медленно, примериваясь, где начать, поднялся на мостки.

Еще одна трезвая мысль посетила его: «Эх, не захватил очки!» Но он прогнал ее. Сейчас Григорий знал даже то, чего не знал никогда: только от неточных ударов крошки камня могут попасть в глаза. А у него не будет неточных ударов.

6. ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

Федор Ефимович, выключив коррелятор, направился на завод. Как уже было сказано, он решительно не представлял, где произойдут — точнее, где, как и кем будут произведены — информационные всплески переходного процесса. Но рассудил, что наиболее вероятное место — единственное в ближайшей окрестности, где находится много работающих людей,— ламповый завод.

...Надо сказать, что это был теперь не тот Федор Ефимович, изменившийся: его изменил миг выключения прибора. Дробот загодя понимал, что, поскольку он оказывается в этот момент ближе всех, рядом, собственно, то переходный скачок может шарахнуть по нему сильнее всего; даже подумывал, не сделать ли дистанционную схемку. Но — то ли этот чертов прибор его ослабил, то ли по обычаю всех изобретателей (особенно русских) полагаться на авось — ничего не сделал. «Может, вообще никакого эффекта не будет,— сердито думал Федор Ефимович, доставая из бачка запыленный пакет, извлекая оттуда прибор,— а я буду подстилаться, перестраховываться. Важно ясное сознание и свободная воля... Ну-с!» Он перебросил рычажок тумблера на «Выкл.»

И — шарахнуло. Продлись это состояние подольше, хотя бы минуту, Федор Ефимович, скорее всего, из него бы уже и не вышел: грянулся на замусоренный пол в развалюхе, в туалетном чулане, и скончался бы от глубокого кровоизлияния в мозг. Сознание не помрачилось, напротив — оно стало таким нечеловечески сияющеясным, что в секунды Дробот охватил им все сущее, понял великую простоту Жизни Мира и ту единственную причину, от которой пылают звезды и смеется ребенок. И все в себе, все дела свои — и вот это, с коррелятором,— показались ему не имеющими значения пустяками, микроскопическим чем-то. Даже возникло чувство, что славно бы умереть сейчас, в таком состоянии, чтобы не возвращаться в обычную жизнь.

Словом, хорошо, что это был миг: Федор Ефимович перестоял его, прислонившись к стене, пришел в себя, спрятал прибор в портфель, вышел наружу. Но и хорошо, что он — был: память о пережитом в эти секунды освещала всю дальнейшую жизнь Дробота.

Однако следует признать, что практической, для дела, проницательности это переживание ему не прибавило. Перед проходной Дробот без внимания миновал Григория Кнышко, который как раз налаживал пневмомолоток. На территории завода Федор Ефимович методично обошел и прислушивался, как соглядатай: нет, нигде ничего. Только люди показались ему более оживленными, энергичными, чем обычно,— но, может быть, только показались?..

Он перекочевал в здание ЦЗЛ и, отчаявшись, начал нахально заглядывать в каждую дверь. Что Федор Ефимыч надеялся увидеть,

он и сам не мог бы объяснить. Так он заглянул и в комнату Передерия, но увидел только, как парень в очках держит за плечи довольно симпатичную девушку, и, не желая мешать лирической сцене, прикрыл дверь. «Неужели — ничего?»— думал Дробот, выходя во двор.

А было так. Юрий Иванович вбежал в свою комнату, когда уборщица — пожилая женщина с лицом в грубых мужских морщинах — как раз выгружала в лоток содержимое мусорной корзины.

— Стоп! — гаркнул инженер и выхватил из лотка заветную трубку.— Все остальное можете уносить.

— Новости,— неприветливо глянула на него уборщица, выходя.

— Зося,— Юрий Иванович от прилива энергии хлопнул в ладоши,— Зосенька! — Лаборантка, мирно читавшая у окна книжку, с интересом посмотрела на него: никогда она не видела своего начальника таким — возбужденным, подтянутым, решительным.— Дуй в цех и бери у них такие трубки. Чем больше, тем лучше. Если найдутся запаянные вовсе без люминофора — сдуру у них это случается — тащи и их.

— Но...— девушка широко раскрыла серые глаза,— вы же сами говорили!..

— Ну, говорил, говорил... мало ли что я говорил! Живо, одна нога здесь, другая там! — И, когда лаборантка проходила мимо, переполненный чувствами инженер не удержался и от души шлепнул ее по круглому, хорошо обтянутому задику.

— Юрий Иванович,— ошеломленно остановилась Зося,— я попрошу...

Но интонации ее противоречили словам: в них было куда меньше оскорбленности и больше заинтересованности — ну-ка, ну-ка, на что ты еще способен?

— На все, Зосенька! — инженер взял ее за плечи, легко крутанул по комнате (в этот момент и заглянул Федор Ефимович).— Как это в глупых песенках поют: «С неба звездочку достану и на память подарю»? Ну, а я для тебя зажгу здесь солнце. Всамделишнее. Только быстро!

— Ну, если для меня-а!..— пропела девушка и исчезла.

Передерий сразу забыл о ней. Он вставил трубку в контакты, повернул пакетник, взялся было за штурвал магнитного дросселя... но заставил себя успокоиться. «Стоп. Во-первых, надо запаять, иначе снова контакты подгорят, будут искры. Во-вторых, закоротим реле, нечего ему отключать ток в самый интересный момент». Он включил паяльник, затем нашел в хламе рабочего ящика подходящую медную пластинку, снял крышку с перегрузочного реле, зажал там пластинку контактными винтами.

Паяльник нагревался возмутительно медленно. Юрий Ивано-

вич, бегая от двери к столу и то и дело трогая его, выкурил сигарету, начал вторую. В голове кружили легкие и стройные, как обрывки мелодий, мысли. Если выразить их словами, то получатся скучные фразы с обилием терминов: «передний фронт импульса», «самоконцентрация плазмы», «обратная волна самоиндукции»... Но Юрий Иванович мыслил сейчас не словами — он чувствовал и представлял, как *это* произойдет.

Паяльник нагрелся. Передерий основательно залил припоем оба зажима. Все? Ему не терпелось. Нет, не все, надо организовать точную дозировку импульса. Как? Устанавливать рукояткой — топорно, каменный век, в стабилизаторе есть управляющая обмотка, вот и надо присобачить триодную схему, нет, это сложно, цепочка из конденсатора и сопротивления будет в самый раз!

В ящике нашлось все, что нужно. Руки Юрия Ивановича, обычно не слишком ловкие, более пригодные для теоретических занятий, сейчас как будто сами знали, что надо делать: отрезали нужной длины проводники, зачищали и залуживали их, точно выгибали контактные пластинки на стыках. Хлам из ящика: кусок шасси от разбарахоленной схемы, обрезки жести, половина распайки, которую забыл выбросить, эбонитовая шайба от наушника — все оказалось к месту. У Передерия прорезалось крайне ценное качество, кое в научных кругах с грубоватой доброжелательностью определяют, как умение «из дерьма конфетку сделать»,— качество, позволяющее исследователю быстро и четко поставить опыт.

Зося вернулась с добычей: одна трубка была совсем без покрытия, в трех других он имел большие просветы.

— Молодец, золотко! Так...— Инженер огляделся, встал на стул, снял с петель форточку. У Зоси от великого любопытства блестели глаза.— Давай коптить. Солнце — оно, знаешь, яркое.

В четыре руки горящими спичками и бумажками начерно закоптили стекло форточки. Установили, закрепив по бокам справочниками и альбомами стандартов, напротив трубки в зажимах.

— Так. Садись рядом и не высовывайся.

Зося села рядом, даже слишком рядом: он ощутил упругое тепло ее бедра. Это не отвлекло инженера, а было приятно и кстати. «Ничего не упустил? — Передерий обвел взглядом поле, на котором сейчас будет один на один сражаться с природой. У экспериментальной схемы был дикий вид; особенно оскорбляла глаза неровно закопченная форточка.— Вроде все в порядке. Ну?..» На миг ему стало страшно. Юрий Иванович не был академическим исследователем, для которого безразлично, заключена ли истина в слове «да» или в слове «нет»; ему безумно хотелось, чтоб выпало «да».

Он выдохнул воздух из груди, нажал кнопку. Легкий щелчок. Ревнул стабилизатор. Отлетела к противоположному краю шкалы стрелка амперметра. И — ничего больше. В трубе не засветился

даже обычный разряд. Передерий похолодел, снова нажал кнопку. Щелчок, короткий рев дросселя, бросок тока в амперметре — и снова все. Это походило на издевательство. «В чем дело, ведь было же?!. Спокойно, только спокойно,— утихомиривал инженер панику в голове.— Где-то я крупно хомутнул. Где?..»

— Тьфу ты, черт меня возьми! — Он вскочил, задев Зосю, бросился к столу, отвернул клеммы амперметра. Он же закоротил трубку этим прибором, когда настраивал схему! — Надо же... уф-ф!

Лицо Передерия загорелось от стыда: просмотреть такое! А еще собирается открыть новое, идиот! Уверенность в себе пошатнулась, нервы были взвинчены. Вернулся на место, уменьшил ток, нажал микровыключатель. Щелчок, рев... вспышка! Обычная вспышка газового разряда, не более, но на сердце отлегло: работает схема.

Он снова прибавил ток. Вспышка поярче — но и только. «Так. А ну-ка с другого конца, как тогда?..» Юрий Иванович вывел регулятор на максимальный ток. Нажатие, щелчок... дроссель взревел, как грузовик на подъеме. Комната осветилась сварочным бело-голубым сиянием.

— Ох! — сказала Зоса.

От неожиданности Передерий не успел спрятаться за стекло и ничего не разглядел. Он зажмурил глаза: в них плавала темная полоса. Был плазменный шнур или нет? Глаза успокоились. «А нука еще?» За закопченным стеклом белая вспышка выглядела ярко-коричневой. Но жгута в трубке не было.

Дробот чувствовал себя, вероятно, как золотоискатель, оказавшийся без всех своих приспособлений, даже без лопаты, на участке, где — и это он знает наверняка — под ногами лежат самородки. После пережитого в момент выключения он не сомневался, что переходной процесс сработал, эффекты раскорреляции есть. Но где, какие? И как узнать?..

И вот, уныло шагая через заводской двор в направлении проходной, Федор Ефимович расслышал среди производственных шумов пение со стороны административного корпуса. Если бы он не искал свое, то, скорее всего, воспринял бы его, как и многие другие слышавшие: хорошо поют — значит, по радио. Но Дробот был готов к необычному — поэтому различил, что в поющем голосе нет радиотембра. Сердце забилось бодрее.

Он подошел к открытому окну, под которым стояли два грузчика. В руке одного осыпалась табаком незакуренная папироса. Лица у обоих были задумчивые и строгие.

— Давно поет? — негромко спросил Дробот.

Грузчик, стоявший ближе, внушительно цыкнул на него.

— Вторую песню,— шепнул другой, с папиросой.

Федор Ефимович взглянул на часы: без четверти два — и воз-

ликовал. Эффект раскорреляции в чистом виде — и какой!.. Но больше спрашивать не решился, стал слушать — и через минуту тоже был под очарованием голоса.

Андрей Степанович Кушнир пел. За «Не шуми, мати зелена дубравушка» последовала «Ноченька», за ней украинская «Гой, туман яром, туман долыною...», а ее сменила «Черемшина». Он пел песни, которые знал и любил, которые исполняли по радио и продавали попластиночно... и в которых было что-то о нем самом. Пел так, что все — и сам Кушнир — чувствовали-видели этот туман, серым молоком заливающий луга и овраги в вечерний час, когда исчезают краски, только темные деревья выступают из него; чувствовали и осеннюю ночь, когда холодный ветер задумчиво перебирает сухие листья на земле, растворяются в темноте чернильные голые ветви, накрапывает дождик — и действительно трудно быть одному. И каждый из сотрудников Кушнира понимал в его песнях что-то свое. Главбух Михаил Абрамович думал сейчас, что скучновато он проводит свою жизнь в комнатах, пропитанных канцелярской тоской, среди счетов, накладных, ведомостей, арифмометров, пишмашинок, из которых за ненадобностью удалены восклицательные и вопросительные знаки,— потому что вопросы в деловой переписке задают косвенно, а восклицания в ней и вовсе неуместны; не так бы как-то надо... Две женщины — Мария Федоровна и Нелли (не любящая, когда ее называют по отчеству,— старит), одинокие и имевшие на Кушнира виды, понимали теперь, что не женился он, хоть и скучно одному, потому что не встретил до сих пор Ту Единственную, о которой мечтал... может быть, не разглядел ее в житейской толчее; и что так и будет: одиноко, но чисто — изменять мечте он не станет. Не только голос слышали люди — раскрывалась перед ними трепетная и сильная душа человеческая.

И как свободно, как чисто выражал сейчас счетовод Кушнир свои чувства-мысли. Он пел с той чисто славянской удалью, которой из всех певцов мира в полной мере обладал только Шаляпин: когда у слушателей сердца замирают от нежной и гневной силы человеческого голоса, голова кружится от величественных высот, и кажется им, что нельзя, не в возможностях человека петь сильнее и чище... а в то же время будто и не в полную силу. Можно бы, дескать, и лучше, да сойдет и так, как поется, чего там!

И самого Андрея Степановича переполняло сейчас огромное, простое и мучительное в своей невыразимости понимание сущего, себя, людей — не сотрудников, а именно людей! — слушавших его. Он не пел — он *жил* сейчас. И боялся перестать петь, потому что не знал, что делать и как жить дальше.

Плазменного жгута не было. Теперь Юрий Иванович пал духом по-настоящему. «Неужели тогда показалось? Да нет же, было!

Почему не выходит снова? Визит-эффект, что ли? Похвалился раньше времени, дурак: зажгу солнце!..» Он с суеверным недоброжелательством покосился на лаборантку. Зося кротко улыбнулась ему, вынула из кармана халатика надушенный платок, промакнула инженеру лоб. Это простое действие успокоило его, даже настроило несколько юмористически. «Ну вот: визит-эффект, дурной глаз... исследователь я или шаман? Думать надо».

— Спасибо, Зось.

Передерий внимательно осмотрел установку: все было в порядке. Взглянул на трубку — присвистнул: голая часть ее теперь была вовсе не голой, стекло изнутри покрыл сизый налет. «Вот что, люминофор испарился. Конечно, от такой вспышки... Ага, пары изменили состав газа, более тяжелые атомы легче ионизируются, по ним и идет ток... Словом, теперь *этого* там быть не должно».

— Ну, Зося, вся надежда на твою трубку.

Паяльник Юрий Иванович забыл выключить, под ним прогорел стол, но все равно это было кстати. Инженер выпаял негодную трубку, кинул ее — теперь окончательно — в корзину. Придирчиво осмотрел новую, стекло которой рассеянные технологи забыли покрыть люминофором, установил и запаял ее.

— Ну-ну...— Передерий сел на место, чувствуя, что сейчас от нажатия кнопки его идея или окончательно гигнется, или...— поехали!

Минимальный ток. Щелчок-рев-вспышка. Обычная.

Больший ток. Щелчок-рев-вспышка. Поярче.

Еще больший ток. Еще. Еще... и еще! Светящийся газ уплотнился по оси трубки. «Эт-то было лет-том, лет-том... Эт-то было лет-том, лет-том...»— лихорадочно застучало в висках. Передерий повернул регулятор. Щелчок, рев. Кабель дернулся от огромного тока. Плазменный шнур в трубке — будто проведенная острием огненного карандаша ослепительная прямая. На стенах комнаты возникли и исчезли уродливые тени.

«Эт-то было лет-том... Постой, ну и что? Самостягивание плазмы дело известное. Вот... ее послесвечение?!» Еще ток. Внимание инженера сосредоточилось на том, как обрывается свечение шнура. Он рвался и исчезал сразу, как только смолкал рев стабилизатора. «Или чуть позже?.. Это мне *хочется*, чтобы позже». Юрий Иванович достал сигарету, чувствуя слабость в руках, в животе, в коленях — везде. Ему все стало безразлично. «Пусть трубка остынет. И я — тоже. Ни черта не выйдет, пожалуй...»

Рядом кто-то шевельнулся. Он посмотрел: Зося.

— Это и было — солнце? — спросила она.

— Что?.. Не знаю, кажется, нет... Пока солнце взойдет, роса очи выест. Так-то...— вяло пробормотал Передерий.— Возьми секундомер, будешь засекать послесвечение... если оно еще будет.

Н-ну?..— он оперся о край стола, удерживая дрожь пальцев. «Все вздор. Ничего не выйдет». Это была депрессия.

Зося женским чутьем поняла, что с ним творится. И то, что она сделала, было, пожалуй, не менее талантливо, чем идея Передерия, чем все в этот день. Она отложила секундомер, придвинулась, мягко и нежно обняла инженера за шею.

— Ну, Юрий Иванович?..— В словах не было никакого смысла, он весь был в интонациях.

Передерий прижался к ней лицом, целовал ее в теплые губы, в нежную кожу шеи, в вырез платья на груди. Она целовала и гладила его. Тепло и энергия ее тела, ее движений передалась Юрию Ивановичу, наполнили его мужественной силой. Так они сидели, пока голоса и шаги в коридоре не вернули их к действительности. Зося мягко высвободилась. Но инженер снова чувствовал себя способным на все.

— Так,— сказал он твердо,— начали.

...Но когда *это* произошло, лаборантка ничего не засекла. Она, раскрыв рот, смотрела, как за неровно закопченным стеклом форточки бело-коричневый тонкий жгут медленно расплывается, озаряя комнату постепенно слабеющим сиянием... и забыла нажать секундомер. Однако Юрию Ивановичу теперь это было все равно.

Получилось! Он видел.

Потом он подбирал точную дозу импульса, чтобы максимально затянуть послесвечение. Зося отсчитывала время. Больше не было разговоров о звездочках с неба, зажженном, как в песне, солнце и вообще ни о чем. Они работали вместе — и были близки друг другу, как никогда.

Дробот тоже ждал и боялся момента, когда Кушнир перестанет петь. Момент этот наступил. Андрей Степанович замолк, обессиленно опустился на стул.

С минуту все в комнате молчали. Молчали и чувствовали нарастающее беспокойство. Выбил всех из колеи своим поступком старший счетовод, далеко выбил — надо было возвращаться, как-то отреагировать. Как? Аплодировать? Но не на концерте же, на работе... и не артисту какому-то, своему Андрюше! И начали — говорить.

Первым растворил рот Михаил Абрамович. Он, как и всякий руководитель, привык находиться в центре внимания — и спешил наверстать упущенное.

— М-да... вот это я понимаю. Ну, Андрей Степанович, теперь вам прямая дорога в этот... во МХАТ. Будете петь там с Кобзоном и Паторжинским...— У главбуха были, деликатно говоря, самые фрагментарные представления о театральной жизни страны, как и о многом другом, но высказывался он всегда определенно.—

Большие деньги будете получать! — И в подтверждение произнесенного Михаил Абрамович перекинул влево костяшки на самой верхней проволоке своих счет.

— Нет, ну вы просто как Марио Ланца! Помните в фильме «Поцелуй в ночи»,— он едет на тракторе и поет,— защебетала счетовод Нелли.— Едет и поет!.. Так и вы — стоите за столом и исполняете. Ну как я не знаю кто! Ну просто как в кино!

— Правда, замечательно, Андрей Степанович,— вступила Мария Федоровна.— Прямо как... вот когда по телевизору оперу передают, я и то не так переживала, как сейчас. Прямо, ну, потрясающе.

«Гомеостазис, гомеостазис...— завертелось в голове слушавшего за окном Дробота.— Был всплеск, потом спад».

— Вот и мы будем теперь видеть Андрея Степановича только по телевизору. А то и в кино,— молвил главбух и перекинул влево еще две костяшки на верхней проволоке.— Большому кораблю...

— Нет, но какой скромник, а? — подал голос Михаил Никитич, бухгалтер по снабжению и общественник.— Скрывал свой талант. Мы и не знали, что он умеет так исполнять. От самодеятельности уклонялся, а!

— Что ему теперь ваша самодеятельность!

— Действительно!

Кушнир слушал — и будто пробуждался. В глазах выразилось растерянное недоумение.

— Послушайте,— звонко произнес он.— Зачем вы так? Вы ведь не такие... вы только что были не такие?

Он поднялся и вышел, понурив голову.

— Да...— сказал рабочий рядом с Дроботом. Он вынул новую папиросу, закурил, натянул перчатки, кивнул напарнику.— Пошли, за простой не платят.

Они направились к машине.

Когда Кушнир вышел из админкорпуса, Федор Ефимович двинулся было за ним, но — остановился. «И я буду говорить ему слова... какие? зачем? Нет, все, мое дело кончилось. Теперь ему ни словами, ни приборами не поможешь. Он должен сам закрепиться в новом состоянии».

Дробот вдруг почувствовал такое уныние, что весенний день показался ему серым, а вся затея — просто дурацкой. Он направился к выходу. «Стоило суетиться с идеями, расчетами, прибором... вот она, бесприборная корреляция, пострашнее любой приборной. Идеологическая борьба на инстинктивном уровне. Да, самая всеобщая и древняя: посредственное против всего выдающегося, талантливого. Важны не слова, а то, что за ними; они ведь не только сами стремились вернуться после встряски в обычное состояние, но и Андрюшу своего вернуть. «Большие деньги получать будете!..»

Противостоять такому можно тоже только на инстинктивном уровне — например, с помощью сильного характера. А его прибором не наведешь... И кнопок, коими можно выключить эту житейскую корреляцию, нет».

Федор Ефимович вышел за проходную — и снова без внимания миновал скульптора Кнышко, который трудился на помосте, окутанный облаком мраморной пыли; попробуй разгляди в ней, что человек делает... Придя в свою комнату в Доме приезжих, Дробот раскрыл заднюю панель коррелятора, добыл оттуда резервуар со спиртом-ректификатом (нужном в приборе для промывки резонанса), налил полстакашка, выпил залпом, завалился на койку, закинул руки за голову. Ни черта здесь приборы не смогут. Только сами люди. Провалился опыт.

Было четырнадцать часов тридцать минут.

Григорий Иванович трудился в полную силу. Рабочий, отдавший свой пневмомолоток, ассистировал ему, как умел: принес жестянку с водой, чтобы скульптор мог охлаждать шпунт, успокоил бригадира, который, вернувшись с перерыва, поднял хай, что компрессор работает не по назначению; сгребал с мостков осколки мрамора. Непонятно, проникся ли он таким же, как и Кнышко, настроением или просто видел, что старается человек вовсю,— отчего и не помочь!

А Григорий не замечал ни времени, ни того, что делалось вокруг. Он дрался с камнем за Лицо, за девчат-сборщиц, дрался умно и точно разя то лишнее, что скрывало почти видимые дорогие черты.

— Рассадили... шапочки для стерильности...— шептал он одними губами, меняя позиции и напрягая тело для ударов.— Пропуска, конвейеры, режимы. А каждая — Мона Лиза, каждая — Мадонна, только не написанные! Каждая — Ассоль и Наташа Ростова, леди Макбет или Катюша Маслова — только не рассказанные, не воспетые!.. Они могли бы не хуже — и любить в полную силу, и страдать, и жертвовать. Они — не хуже!..

И этот шепот был — как крик идущего в атаку.

После пневмомолотка он взялся за киянку, потом пошел в дело скарпель. Когда выделывал левую сторону Лица, щеку и скулу, движения замедлились. «Не так надо, не так,— протестовал в нем опыт хорошо набившего руку гарпунщика,— височная кость не так идет. И надбровие не по анатомии... а тем самым и не по жизненной правде!»

Григорий остановился, отошел к краю помоста: да нет, все верно! Лицо выражало мысль — и неправильностями тоже. «К чертям эти черепа из учебников, унылое педантство!» Он вернулся к работе, уверенный, что делает верно и получится хорошо.

— Потому что выше правды Мысль...— шепнул он, нанося осторожные и сильные удары по камню.— Выше правды талант, сила его — сила созидания!

И вышло — хорошо весьма!

...Как раз кончилась смена. Работницы повалили из цехов, торопясь по делам, по домам. А другие шли к проходной на вечернюю. Но все останавливались у Лица, замолкали, смотрели. Новые, появлявшиеся с проходной или из ближних улиц с оживленными разговорами и смехом, тоже останавливались, смолкали, смотрели. Необычна была эта тишина.

Обессиленный Григорий сидел в сторонке, на пачке тротуарных плит, смотрел на небо и деревья, на здания, компрессор, на толпу около его скульптуры. Только на работу свою он не смотрел, боялся, хотя и знал в душе, что не показалось ему, действительно вышло хорошо.

Автор не берется описать созданное скульптором. Ну, девичье лицо в санитарной шапочке на мраморных волосах, полупрофилем выступающее из глыбы. Если подходить со строгих позиций, то скульптура вроде не завершена: ни бюст, ни барельеф, трудно определить даже, где кончаются линии лица и начинаются вольные изломы камня. Но и в этой незавершенности был свой смысл, что-то от рождающейся из пены Афродиты... Что еще опишешь словами: габаритные размеры? Если бы то, что художники выражают линиями и красками, музыканты — звуками, актеры — движениями и интонациями,— если бы все это было четко переводимо в слова, искусство утратило бы смысл. Но оно живо и жить будет вечно, потому что выражает мысли и чувства тоньше слов и не сводимо к ним.

Вряд ли и работницы пытались оформить словами впечатление от скульптуры. Они просто смотрели — и каждая что-то поняла о себе.

«Все, пора уходить,— Григорий Иванович поднялся с плит.— Ныне отпущаеши...» Он протиснулся к мосткам, собрал раскиданный инструмент, сложил в чемоданчик.

— Это вы сделали?

Он обернулся. Девушки смотрели теперь не на мраморное Лицо, а на него. Спрашивавшая подошла ближе. У Кнышко сбилось сердце: лицо ее — строгое и нежное — было похоже на то, что изваял он. Григорий Иванович оставил чемоданчик, распрямился.

— Это — вы? — повторила она.

— Да... вроде я,— с неловкой улыбкой промямлил Кнышко, сроду не терявшийся перед женщинами.

Девушка приподнялась на цыпочки, обняла Григория теплыми руками и крепко, по-настоящему, как знающая и любящая его женщина, поцеловала; никогда ему не был так сладок женский

поцелуй. Потом растрепала ему волосы над лбом и ушла, смешалась с другими. В глазах у скульптора все расплылось, он отвернулся. Что-то я сегодня слаб на слезу... Григорий Иванович глубоко вздохнул, подхватил чемоданчик и пошел прочь.

Но не сделал он и десятка шагов, как его окликнули.

— Товарищ Кнышко! — это нагонял расстроенный и озабоченный замдиректора Гетьман.— Григорий Иванович... я, конечно, понимаю: творческая индивидуальность, самовыражение натуры и все такое — но ведь это что же получается?! Согласно договору вы подрядились исполнить из мрамора полновесную статую работницы, так сказать, в полный рост. Руки, ноги, корпус... и модельки такие показывали нам. А сделали-то что?!— он драматическим жестом указал на Лицо.

Григорий спросил сочувственно:

— Не комплект?

— Именно что не комплект,— задиристо вскинул голову Гетьман.— Не соответствует пункту три!

— Да это я не по договору, а так,— улыбнулся скульптор.— Вон для них. А от договора и вознаграждения я отказываюсь.

— Вот те на! — замдиректора даже приподнял очки.— Как же так?

И Григорий в новый миг просветления увидел перед собой не величественного администратора, а захлопотанного и сбитого с толку старика.

По складкам и морщинам на лице Гетьмана, по взгляду выцветших серых глаз, по тонким сухим губам, по редким, просвечивающим в лучах низкого солнца волосам — скульптор прочел, что нету у него личной жизни, поскольку дети выросли, разъехались, обзавелись семьями и подзабыли родителя; что посему служебные дела для него — последнее пристанище личности, отступить от них значит потерять себя; только этим он и держится, этим сокрушает темное стариковское одиночество, а оставшись не у дел, сразу помрет; что он угрюмо привык к тому, что его не любят, не понимают и не стремятся понять, а лишь боятся. «Как его зовут: как имя-отчество? — попытался припомнить Кнышко.— А то все Гетьман да Гетьман». Но не вспомнил.

— Эх, папаша! — он обнял ошеломленного зама за худощавые, по-стариковски сухие плечи.— Что договор, что все сделки! Живем-то мы на земле не на договорных началах, а так, по милости природы... Трудно вам, папаша? Ну да что ж — надо держаться. Надо жить! — И, не зная, как еще утешить старика, Григорий покрепче прижал его, отпустил — и пошел не оглядываясь.

Гетьман смотрел ему вслед, неровно потягивая носом воздух и моргая морщинистыми веками.

— Сынок,— сказал он тонким голосом,— сыно-ок...

7. «НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ...»

...Малыш катил по аллее на трехколесном велосипеде. Посмотрел на солнце — и чихнул так, что вокруг носа возникла на миг игрушечная радуга. Помотал головой от удовольствия, снова закрутил ногами.

...Парень и девушка шли впереди Кнышко по бульвару. Парень что-то сказал. У девушки от смеха напряглась спина.

...Две машины встретились на равнозначном перекрестке: «Москвич» выехал с Трегубовской, грузовой ЗИЛ — с Космонавтов. Затормозили опешив. Грузовик рыкнул мотором. «Москвич» тоже рыкнул — да так, что окутался синим дымом. ЗИЛ поднатужился, рыкнул еще страшней. Порычав друг на друга, машины разъехались.

...Штукатурка на здании «Сельхозтехники» осыпалась внизу, обозначив контуры бычьей головы с устремленными на врага рогами-трещинами. «Все-таки не профиль,— мимолетно подумал Григорий.— Впрочем, я мог бы и такое вырезать из черной бумаги».

У него, несмотря на усталость, сохранялось состояние предельной наполненности, в котором любой намек на образ порождает образ, любой намекающий звук вызывает в памяти мелодию. Мир был полон всем этим, мир был интересен. Тысячи раз прежде Кнышко видел, как чихают дети, смеются девушки, порыкивают друг на друга машины, дыры в штукатурке и многое другое, а все будто не видел. «Прохлопал, что называется, сорок лет глазами!»

Он второй час слонялся по улицам без всякой цели. Собственно, цель была: сохранить это радостное чувство наполненности жизнью, чувство раскованности, свободы, соразмерности всего сущего. А для этого не надо возвращаться домой. Скульптор и думать не хотел, что пора идти домой. Он чувствовал себя мальчишкой, удравшим сразу и из школы, и из дому — от всех обязанностей. «Будьте как дети»— это ведь не зря сказано.

Так он забрел в городской парк. В павильоне съел четыре черствых пирожка, запил пивом — натрудившееся тело благодарно приняло пищу. Потом сидел на скамье, смотрел на облака в синем небе, на деревья, слушал, как шелестят листья под ветром. В шелесте тоже угадывались образы. «Ныне отпущаеши...»— прошумел порыв ветра от края до края парка. «Вот ты и пришло ко мне, настоящее,— думал Григорий.— Теперь я хоть знаю, какое ты, как это бывает. Ныне отпущаеши... нет, не отпускай, не надо. Пусть остальное все отпустит, а ты — нет. Да я теперь и сам тебя искать буду. Еще не вечер!..»

Посидев так, скульптор поднялся. Усталость прошла, тело снова наполняла бодрость. Он вышел из парка, на секунду остановился: как же дальше-то быть?.. И вдруг счастливо понял, что застарелая

проблема, мучившая его еще сегодня утром,— более не проблема; никогда он теперь не расстанется с этим чувством жизни, потому что легко принесет в жертву ему все: благополучие, заработки, соблюдение приличий, сытость... Лишь бы так, как сейчас, легко шагалось, дышалось, думалось, лишь бы так чувствовать, чувствовать до стеснения в сердце образную суть мира — в каждой линии тела человеческого, в жилках листка, в каждой складке земли, в красках заката или восхода. Он теперь не сможет иначе!

Придя домой, Григорий Иванович быстро и беспечно собрался. Разговор с женой тоже вышел непринужденный и короткий. Резусотрицательная Тамара в ярости вылетела за ним во двор и за калитку:

— Ну и проваливай, куда хочешь, придурок жизни! Хоть на все четыре стороны! — Ее высокая прическа сбилась набекрень, как папаха.— Это ж надо, на старости лет в босяки подался! И не вздумай вернуться... чтоб я тебя больше не видела!

Но скульптор, удаляясь по Уютной, понимал, что кричит она так больше от растерянности, а также для впечатления на соседей, чтобы была видимость, что не сам ушел, а она выгнала. И когда через полквартала услышал за спиной плачущее:

— Гриша! Гри-ша, ну куда же ты?! Гри-иша, господи...— жалость резанула сердце. Он замедлил шаги. Но — мотнул головой, снова наддал. «Нет, ничего хорошего здесь не будет — ни мне, ни ей».

Он снова вышел на бульвар Космонавтов, зашагал в сторону вокзала. Пройдя с километр, успокоился. Солнце садилось. Пряно пахли тополя, их просвечивающая молодая листка казалась золотистой. Чемодан не тяготил руки.

Путь Кнышко пересекли две девушки. Они шагали в ногу, четко цокая по асфальту каблуками-шпилями, задорно скосились в сторону скульптора: что, пожилой, слабó приударить за нами?.. Григорий только усмехнулся им вслед. Удаляющееся кастаньетное цоканье сразу вызвало из памяти музыку фламенко, а затем и «Арагонской хоты». Он сам зашагал более упруго, насвистывая отрывок из «Хоты». Встречный старик неодобрительно глянул, пожевал запавшими губами, покачал головой:

— Бедный будете, молодой человек.

Григорий и ему улыбнулся на ходу. «А я и есть бедный, дедушка. Дома нет, жены нет, работы нет. И самый богатый — тоже я!»

В семь вечера Юрий Иванович записал в журнал окончательный режим. При нем после импульса в пятьсот ампер вспышка держалась в трубке не менее четырех секунд.

Им не хотелось покидать лабораторию. Спугнула уборщица, которая, громыхая щеткой о ведро, пришла мыть пол. Она так по-

нимающе взглянула на Зосю, что та засмущалась и стала собираться. Закруглился и Передерий.

На улице становилось сумрачно: с востока на город надвигалась первая в этом году гроза. Она захватила их на полпути к Зосиному дому; пришлось укрыться под широким кленом. В шуме дождя и орудийной пальбы молний ничего не было слышно, и, когда Зося что-то сказала, Юрий Иванович придвинулся к ней. Их снова притянуло друг к другу. Они обнимались и целовались, пока не кончился дождь, пока не стало невмоготу только целоваться.

Потом молодой инженер и лаборантка брели по умытым булыжным улицам. Юрий Иванович глазел по сторонам, критиковал вывески.

— Ну что это — «Ателье индпошива № 3»? Надо назвать по существу: «Не платье красит человека». Или вот: «Таращанская контора загса»,— фи, как скучно! Назвали бы: «Брачная контора имени Сократа и Ксантиппы», была такая милая супружеская пара. А это? «Магазин головных уборов»... надо бы «Дадим по шапке»!— Он был в ударе. Зося смеялась и соглашалась. Потом Юрий Иванович читал ей стихи любимых поэтов: Блока, Есенина, Маяковского — а напоследок, не назвав автора, и свои, которые написал еще студентом и до сих пор никому не прочел.

Около полуночи, когда инженер возвращался домой с Зосиной окраины, гроза сделала второй заход на город. Снова полыхали сиреневые молнии, озаряли темные лужи, мостовую, над которой поднимался пар. Сладко пахли расцветающие маслины. Юрий Иванович спокойно посматривал на молнии: сегодня он видел кое-что поярче.

Дома его ждал прозаический холодный ужин на кухне. Прозаическим был и сдвоенный храп тестя и тещи в спальной. Прозаическим был вопрос жены Передерихи: «Это где ж ты пропадал до такой поры? Уж не сгулял ли налево?»

Юрий Иванович смутился, поперхнулся картошкой. Но вспомнил о сделанном сегодня, воспрял:

— Понимаешь, Нинок, я сегодня такое открыл...— И рассказал ей об опыте, о вспышке, послесвечении.

— Ну, ты ж у меня умничка,— смягчилась Нина,— я всегда это подозревала. Вот теперь и диссертацию сделаешь хорошую.

— Диссертацию?!— Передерий недоуменно посмотрел на жену.— Ах, да!..— Странно, что он сегодня ни разу не вспомнил о своей заветной мечте.— Да, конечно, еще бы — сгрохаю под первый сорт!

— Может, тогда и квартиру дадут,— мечтательно потянулась Нина.— Или вовсе уедем отсюда — хоть в Харьков. Вот бы славно!..— Она обняла инженера, чмокнула его в лоб.— Давай-ка спатки, Юрчик.

Вечером Дробот отправился ужинать в ресторан и встретил там Андрея Кушнира. Хотя деть был будний и неполучечный, в зале было людно, шумно, дымно. Оркестр наяривал вовсю; дядя Женя, выпятив живот и лучезарно сияя побагровевшей лысиной, выделывал на своем саксофоне и вариации, и синкопы, и хриплые отрывистые форшлаги — что душа пожелает. С ним соперничал ударник, который давал работу и тарелкам, и треугольнику, и колокольчикам; а уж главный его инструмент, большой барабан г'ахал посетителям в самую душу, в бога... словом, во все. Действие оркестра усиливала заезжая певица Глафира Потомак; когда Федор Ефимович вошел, она как раз исполняла «Червону троянду» и голос ее, усиленный микрофоном, был похож на начинающееся землетрясение:

Черр-р-рвону тр-роянн... ду!..
дар-р-рую я вамммм...

Танцующие у эстрады волновались всеми частями своих тел.

Однако Дробот, не поддаваясь общему настроению («Долой корреляцию!»), заказал к шницелю только бутылку минеральной воды. Мы обращаем внимание на это незначительное обстоятельство, чтобы подчеркнуть, что намерения Федора Ефимовича были самые трезвые, а в том, что он вел себя не так, повинен лишь выпитый им днем чистый спирт. Дело в том, что эта жидкость, будучи употребленной человеком внутрь, ведет себя странно: выпивший может проспаться, быть, что называется, ни в одном глазу... но стоит ему хлебнуть — даже через сутки — простой воды, как процесс начинается по новой. Теоретически это еще не объяснено, пока идет лишь накопление экспериментальных данных. Во всяком случае этот факт хорошо известен тем, кто, подобно автору, бросил пить и призывает других.

Как бы там ни было, но после бутылки минеральной воды Дробота основательно развезло.

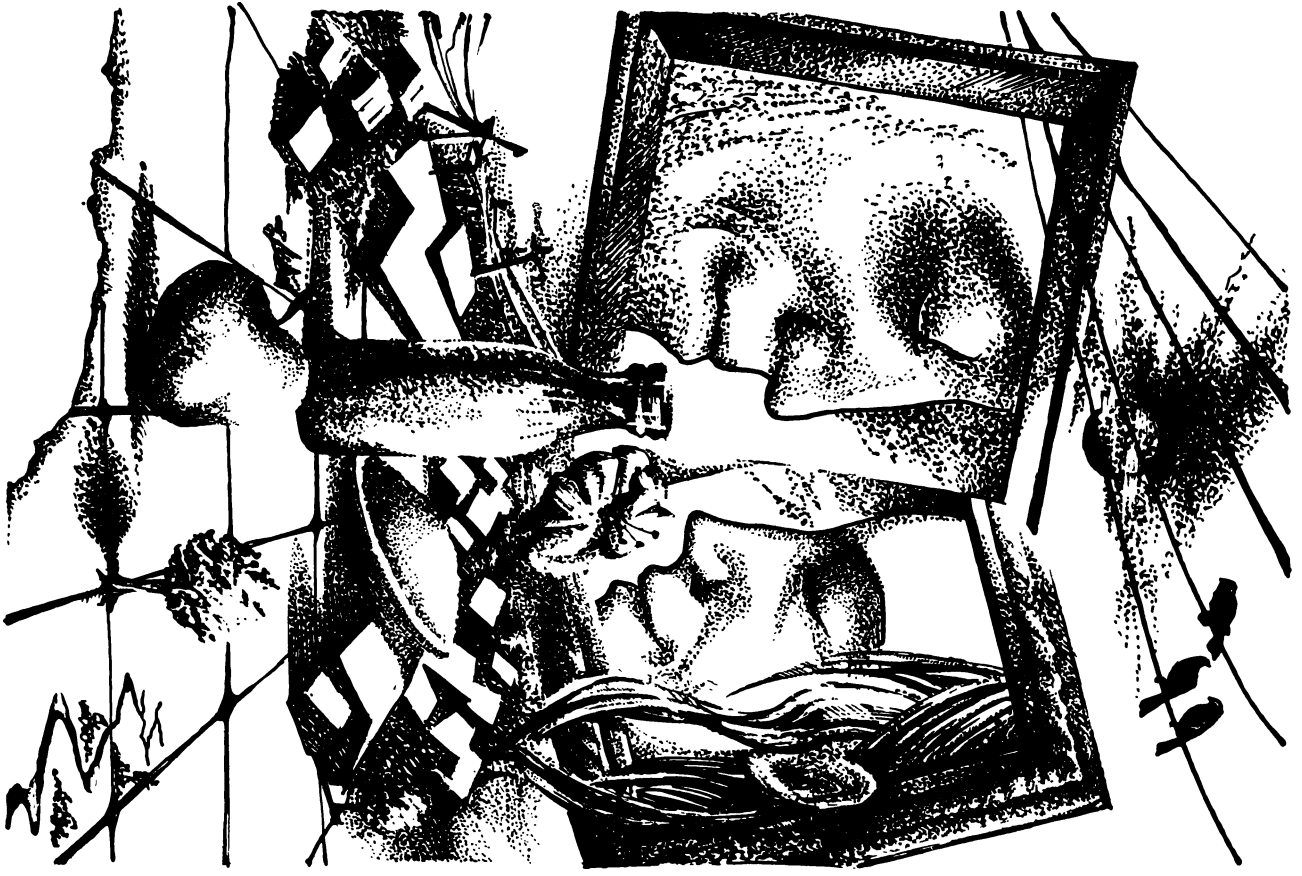
Счетовода-солиста он заметил за сдвинутыми столами у стены в развеселой мужской компании. Андрея Степановича поздравляли, пили за его будущее, за искусство вокала; он соглашался и не отставал. «Готов, спекся»,— понял Федор Ефимович. Досада и минеральная вода так разгорячили его, что он не раздумывая втиснулся в компанию со своим стулом, сел напротив Кушнира. Ему тотчас налили. Андрей Степанович дружелюбно смотрел на Дробота посоловелыми голубыми глазками.

— П-послушай,— сказал Федор Ефимович,— н-ну разве так можно? Ну разве это то? Ведь не то, а?

— Пра-авильно,— согласился счетовод.

— Ведь... ты же не «Жигули» выиграл за тридцать копеек, а — талант! Та-лант!

— Точно, талант! — сосед справа хлопнул Дробота по плечу.— Наш Андрюша теперь во, рукой не достанешь. Как грится: коший



пенному... не, не так — поший кенному... нет, понный кешему... тьфу ты, господи! — Он отхлебнул из бокала, сосредоточился.— Ага, вот: конный пешему — не товарищ!

Дробот вежливо выслушал его, снова повернулся к Кушниру;

— Зачем же ты так? Ведь я для чего стараюсь? Я стараюсь, чтобы дураков было меньше. Ведь дураков много?

— Пр-равильно. Много...

— Вот ты, например, дурак! — сердито рявкнул Федор Ефимович.

— Пра... что?! — лицо Кушнира обиженно дрогнуло.

— Дурак и есть! — забушевал Дробот.— Пьешь, других дураков слушаешь!

Мужчина справа мощным рывком повернул его к себе.

— Слушай, ты чего к нам сел? Мы тебя звали?!. А ну, качай отсюда, пока тебе углы от морды не поотбивали!

— Тс-с, тихо, не надо шума,— вмешался другой, черненький и суетливый.— Вы, я извиняюсь, оставьте нас по-хорошему. У нас своя компания, мы вас не знаем, вы нас не знаете. А то вы, я извиняюсь, пьяны как сапожник.

— Эх-х...— Федор Ефимович поднялся, держась за чье-то плечо.— А я и есть сапожник!

Он направился к выходу, столкнулся со своим отражением в большом зеркале, приподнял шляпу, извиняясь, посторонился — и вышел вон.

Кушнир и сам понимал, что с ним творится неладное. Он был под впечатлением того, что произошло днем, все ждал, когда снова накатит волна понимания и грустной силы, от которой само пелось. Сейчас, после выпитого, ему грезилось, что она накатывает, эта волна: все казались милыми, взволнованными, необычными — и в то же время понятными. Но это было всего лишь опьянение.

И когда друзья попросили потратить и на них, грешных, свой голос, и он — благо, оркестр и девица ушли на перерыв — затянул ту же «Ох, да не шуми ты, мати зелена дубравушка», то получилось у Андрея Степановича громко, немузыкально, непристойно — как у всех пьяных.

На следующее утро Дробот отправился на завод оформлять командировочное убытие — и возле входа увидел Лицо. Хоть Федор Ефимович и не был искушен в изобразительном искусстве, но понял, что видит еще один всплеск таланта в городе и что всплеск этот случился вчера. Он принялся расспрашивать о скульптуре, так добрался до замдиректора Гетьмана. Тот сообщил, что знал.

— Странный народ эти художники, не приведи господь иметь с ними дело — заключил он свой рассказ.— Собирался сделать статую в полный рост, образцы показывал... а изваял вон что. И от

договора отказался, от вознаграждения. Но, главное, хорошо сделал, девчатам нашим нравится...— Гетьман задумчиво улыбнулся, но тут же нахмурился.— Вот только как мне теперь этот договор закрыть, ума не приложу!

В отделе техконтроля только и было разговора об открытии, которое вчера сделал в ЦЗЛ инженер Передерий: яркое послесвечение газа в трубке после сильноточного разряда. Одни уверяли, что Передерий давно над этим работал, другие — что ничего подобного, но ведь испытательную установку строил, его тогда еще током шибануло. Первые возражали, что все равно, видимо, работал потихоньку, такие вещи вдруг не делаются; им отвечали, что нет, делаются. Дробот отправился в лабораторию посмотреть.

Юрий Иванович в этот день занимался тем, что демонстрировал свой эффект. Приходили инженеры из цехов — он демонстрировал. Наведалось лабораторное и заводское начальство — он демонстрировал. Поначалу он боялся, что эффект не воспроизведется, но с каждой новой вспышкой, длительность которой зрители сами отсчитывали по часам и секундомерам, его все более наполняла уверенность. Из цеха принесли другие, уже специально изготовленные без люминофора трубки; и на них получалось. Уверенность Передерия в своем эффекте и себе все росла; она выражалась в небрежно-артистических жестах, и в снисходительном тоне объяснений, и в командных репликах Зосе.

Девушка взглядывала на него тепло и укоризненно. От этих взглядов инженеру становилось несколько не по себе. Но он уверил себя, что ничего такого у них вчера не было и далее не будет, у него, слава богу, жена есть, да и вообще, теперь не до того,— и вел себя с лаборанткой подчеркнуто холодно.

Федор Ефимович пришел, когда Передерий был на самой вершине своей уверенности, упивался общим вниманием и значением содеянного. Эффект послесвечения впечатлил и Дробота: он понял, что и здесь информационное поле выдало всплеск. Но чем далее он наблюдал за автором эффекта, тем сильнее мрачнел. «И этот готов, закоррелировался успехом. Непреложные жесты, академические интонации... Ты думаешь, это ты сделал? Это с тобой сделалось. Нет, не то! Может, надо начинать с детей?»

Покончив с делами на заводе, Дробот поспешил на улицу Уютную по адресу, который дал ему Гетьман. Но застал в доме Кнышко только жену Тамару. Она, понятно, была не в настроении беседовать, да и знала только, что муж ее бросил и уехал неизвестно куда.

Под вечер Федор Ефимович покидал Таращанск, думая, что все уже позади. Но возмущенное им местное информполе выкинуло напоследок коленце, которое окончательно укрепило Дробота в мысли о неудаче.

В автобус, который вез его к вокзалу, вошел с передней площадки долговязый костистый дядя в засаленном плаще и с попартизански перебинтованной лысиной. Федор Ефимович замечал этого забулдыгу и прежде: тот терся у ресторана, на базаре, на остановках автобусов, а однажды подошел и к нему, мямля жалкие слова. Но была в его сутулой фигуре и в тоскливых алкогольных глазах такая неуверенность, что вот ему следует просить, а другим ему подавать, что и Дробот, человек добрый, тоже ничего не дал.

Сейчас в нищем наблюдалась разительная перемена. Исчезла сутулость, красное пьяноватое лицо выражало нахальство, удачу и снисходительную любовь к человечеству.

— Просить будет,— опытно определил пассажир впереди Дробота.— И куда это милиция смотрит! Здесь он нищий, а живет, поди, в особняке... тунеядец!

— Дорогие граждане, дорогие братья и сестры! — не замедлил подтвердить его гипотезу дядя. Он говорил звучным, хотя и надтреснутым голосом, который покрывал рокот мотора.— К вам обращаюсь я, друзья мои! Прошу помочь, кто сколько может, бывшему душевнобольному, поскольку я на днях только выписался из психиатрический клиники имени академика Ивана Петровича Павлова, где содержался в буйном отделении...

Среди пассажиров произошло шевеление.

—...и не имею в настоящий момент... Благодарю вас, дама! — средств пропитания, а также чтобы добраться домой. Премного обязан, сестричка! Спасибо, камрад!.. В родные пенаты, так сказать, к могилам праотцов... Данке шен! Спаси Христос, бабуся!..

Подаяния сыпались дождем. «Не иначе, как еще одна экспериментальная точка»,— смекнул Дробот.

Пассажир, заклеймивший тунеядство, крепился. Дядя склонился к нему, дохнул спиртово:

— Не стесняйся, приятель, не сдерживай благих порывов души своей! Жену я убил. Кулаком. В невменяемом состоянии. Справка есть... Спасибо, дорогой коллега! Сдачи не надо? Мерси боку!

Когда нищий поравнялся с Федором Ефимовичем, тот дернул его за плащ, указал место рядом, приказал строго:

— Сядьте!

Дядя сразу скис, произнес трусливым голосом:

— Гражданин начальник, так я ж...

— Я не гражданин начальник, не волнуйтесь. Дело вот в чем: идея, которую вы эксплуатируете, она... м-м... остроумна. Не могли бы вы вспомнить, когда она вас осенила? — И в подкрепление вопроса Дробот вынул из кармана рубль.

Нищий опамятовал, в глазах снова возник нахальный блеск:

— Всего рубль, дорогой коллега? Боюсь, один рубль не в состоянии пробудить мою память. Ах, три рубля!.. Ну, вчера, а что?

— Точнее, время! — рявкнул Федор Ефимович.

— После обеда. Имею в виду обед других граждан, а не мой.

— Ясно,— Дробот отдал трешку.— Будь здоров!

Нищий встал, выражая в трактирно-изысканных фразах искреннюю признательность. Но Дробот не слушал, в душе было холодное кипение. «Ай да я, ай да изобретатель-благодетель! Побирушку осчастливил, возбудил всплеск таланта в его проспиртованном мозгу. Сильный эффект, что и говорить!»

Никогда Федору Ефимовичу не приходилось переживать столь глубокого унижения.

...Когда поезд, набирая скорость, загромыхал по мосту через речку Нетечу, Дробот открыл окно купе, последний раз глянул на коррелятор, усмехнулся, вспомнив, как в давнем разговоре с милиционером удачно выдумал марку для прибора: «Все правильно — КТ № 1, коррелятор тайный, вариант первый... и последний!» И швырнул прибор в сонную, подернутую ряской воду.

Но настроение не улучшилось. Поезд миновал добрый десяток станций, за окном сгустилась тьма, а Дробот стоял у него, курил, морщил лоб. Было ощущение, будто он что-то забыл в Таращанске — не то сделать, не то оставил там вещь или документ. Мысли все возвращались в пункт убытия. Чтобы успокоить себя, Федор Ефимович проверил чемодан: электробритва на месте, плащ, пижама, комнатные туфли, деловые бумаги, одеколон, мыльница... даже зубная щетка, которую он забывал почти всегда, была на месте.

И только укладываясь спать, он понял, что за время опыта привык к городу, принимал близко к сердцу все, что там делалось, судьбы людей и оставил там не бумагу и не вещь, а частицу самого себя.

8. ЭПИЛОГ

Андрей Кушнир спился. То, что он не мог более запеть, как тогда, 14 мая, настолько обездолило его, что он всеми способами пытался вернуть чудесное состояние.

Инженер Передерий защитился. Правда, ему пришлось изрядно попотеть и переволноваться. Столичные консультанты, когда он представил им результаты и выводы, живо сбили с него спесь. Во-первых, «эффект послесвечения Передерия» это, простите, нескромно. Так сейчас не делают, не XIX век; люди куда более значительные воздерживаются от присвоения своих имен обнаруживаемым ими эффектам и явлениям. Во-вторых, какие у уважаемого соискателя, собственно, основания считать, что он нашел именно новый эффект, сделал открытие, а не обнаружил в подобранном режиме нечто, легко объясняемое через уже известные явления и законы? Нет, в принципе это не исключено, и вообще работа ценная, интересная

и несомненно заслуживает... Но понимает ли молодой специалист всю сложность затрагиваемого вопроса? Мало утверждать и демонстрировать опыт, надо доказать, как физические теории доказывают: числами, расчетами, логикой. Представленная работа такого не имеет. А выходить на защиту с голословным утверждением *об открытии* очень рискованно. «Поставите себя под удар, Юрий Иванович. Набросятся с вопросами, потребуют доказательств. Лучше этот момент не выпячивать. Материала для кандидатской и так вполне достаточно. Потом, когда защититесь, мы вам обеспечим квалифицированное руководство и возможность развить исследования — тогда вместе и выясним, что там к чему».

Словом, ему по-хорошему предложили переделать диссертацию. После озарения в тот майский день у Юрия Ивановича еще осталась некоторая способность читать в душах, и он понимал не только то, что ему говорили, но и то, что было за этими словами. А было за ними обыкновенное мещанское: не будьте таким умным, не ставьте себя выше других! Вот мы — уважаемые, известные трудами, степенями, званиями, преподающие студентам и экзаменующие их, прожившие в своей науке жизнь — ничего такого не открыли.. а ты, провинциал и сопляк, выходит, выше нас?! Нет, ты склонись, принизься, признай наш вес, верх, наше руководство... а если дело стоящее, то и наше соавторство,— тогда мы тебя пустим в науку.

И хотя Юрий Иванович знал, что есть эффект Передерия, и понимал, что его консультанты и будущие оппоненты в душе не сомневаются в том же, он прикинул, что на доказательство при его нынешних возможностях уйдут годы и годы, что лучше синица в руках, чем журавль в небе... и по-хорошему согласился.

Защита прошла успешно. Опасных вопросов не задавали, оппоненты оказались на высоте, голосование единогласное. И был банкет, и даже интервью с бойким корреспондентом областной газеты, а затем и очерк его об изобретении молодого инженера.

В Таращанск Юрий Иванович возвращался усталый, опустошенный и как-то не очень счастливый. Он вроде и добился своего, выиграл схватку в житейской битве, а ощущение было такое, будто проиграл. Все оказалось сложно, муторно, прозаично. Он с сожалением вспоминал о чувствах, какими был наполнен в день открытия, с какими обдумывал идею на пыльном базарчике, зажигал в лаборатории «солнце», обнимал Зосю, шагал под грозой по улицам, читал стихи... Эти чувства следовало бы нести по жизни осторожно, покойно, несуетливо, чтобы не расплескать. А он — расплескал.

От этих мыслей, воспоминаний Юрий Иванович, пока ехал в поезде, излишне часто прикладывался, выходя в тамбур, к бутылке коньяку, которую купил для домашнего торжества. В Таращанске на вокзале он ломился в заднюю дверь переполненного автобуса. Его отпихивали ногами, а он рвался и кричал:

— Кого бьете? Кандидата наук бьете?!

А потом дома жена его — брюхатая на последнем месяце, подурневшая — чистила измызганное пальто и плакала.

Григорий Иванович Кнышко бродит по стране, влюбленный в жизнь, нигде подолгу не заживается, потому что интересно ему, что там дальше, за горизонтом. За серьезную работу пока не берется, хочет той самой жажды, того Понимания — и тогда, он знает, возникнет вера в себя, возникнет идея, даже благоприятные для работы обстоятельства, и выйдет хорошо. Когда приходится туго, Григорий выносит свой ящик на треноге в парк или на вечерний бульвар: «Кто желает нарисоваться?» Но теперь не «две минуты — ваш портрет», а работает силуэты на совесть, не стремится потрафить клиенту рыночной красивостью. И, возможно, потому что Григорий, не кривя ни душой, ни ножницами, все-таки открывает в каждом человеке что-то настоящее, то ли потому что люди ценят истину не меньше, чем краску,— клиент на него не в обиде.

Его Лицо стоит перед заводом.

Комиссия разошлась, не придя ни к какому решению. Федор Ефимович остался один на один с председателем.

— Книжный герой... капитан Немо,— произнес тот, глядя из-за стола на Дробота с большим презрением,— граф Монте-Кристо!.. Такой прибор утопил, это ж надо! Тарас Бульба, вот ты кто: я тебя породил, я тебя и убью! Кто же так делает?

Федор Ефимович молчал: начальство ругает — надо терпеть.

— Я, пока мы тебя слушали, судили да рядили, прикинул,— председатель взял со стола листок.— Это же золотое дно! Вот слушай: корреляция в технике — один только эффект «Кукарачи»— означает безаварийную, бесперебойную работу сложных систем, даже за пределами обычного срока службы. Удвоить-утроить можно этот срок! А что значит удвоить-утроить? — Он поднял глаза.

— Это равносильно двойному или тройному количеству той же техники,— сказал Федор Ефимович.

— Вот! А ты... А повышение надежной повторяемости сложных дел, например, запусков — от первого удачного? Это назовем... эффект типа «сны на Прорезной». А в биологии, в животноводстве, в сельском хозяйстве? Повторяемость всех удачных событий, например, урожаев, нагулов, надоев... А ты!..

— А я, выходит, против,— ответил Дробот.— Еще раз объясню почему. Потому что во всех этих случаях быстро выяснится действие корреляторов на людей. А тогда... о, тогда применение их быстро переориентируют — с пользы для общества в пользу для себя. Люди, не имеющие своих мыслей, очень любят устанавливать контроль над мыслями других. А у нас таких предостаточно — и все стремятся повыше, откуда их дурость не видна. Любой ценой.

— Демагогия,— скривил тонкие губы председатель.— Да и

что такого особенного произошло в Таращанске во время работы коррелятора? Ну, не принимали месяц решения — так их и всюду не любят принимать, ответственности боятся. Годами тянут... Зато ж потом от выключения корреляции какие эффекты-то были, а, Ефимыч! Правда, с тунеядцем вышло не очень чтобы того... но все-таки изобретение серьезное, скульптура. И хорошо пел человек. А?

— Это еще надо доказать, про эффекты раскорреляции. И боюсь, что невозможно доказать... Я ведь встретил Кнышко на пути в Москву, на пересадочной станции, пообщался с ним. И понял, что ни мне, ни прибору этому злосчастному ни город Таращанск, ни сам скульптор в создании Лица не обязаны.

— Это почему?!

— Потому. Он сильный и благородный человек, этот Григорий Иванович. Талант у него уже наличествовал — и только по непониманию себя и жизни он его подавлял, стремился быть как все. Вот и ходил в халтурщиках. Он мне признался, что был искренне убежден: так надо. Но жизнь такая была ему в муку. Так что он все равно поступил бы, как поступил, и сделал бы то, что сделал,— разве что не в те сроки. Понимаете ли...— Дробот заколебался: стоит ли об этом говорить? Но решился.— Я ведь тоже подвергся действиям раскорреляции и кое-что понял. Если бы я это понимал раньше, то и за опыт не брался бы. *Человек первичен...*

— В смысле?

— Он понимает мир — пусть интуитивно, чувствами — глубже и полней всего, что мы узнаем в лабораториях. А машины — от паровой до информационной — всего лишь машины, штука вторичная. И коррелятор тоже. И, кстати, все они имеют коэффициент полезного действия, что бы под ним ни понимать, *меньше* единицы. То есть, хотя по Ломоносову и должно быть, что ежели чего в одном месте убудет, то в другом столько же прибавится,— практически-то, на самом деле убывает всегда больше, чем мы приобретаем. И от коррелятора моего тоже так было. Поэтому ему такой и приговор.

Неясно было, понял ли председатель эти слова Дробота.

— Ну вот что, Федор Ефимыч,— сказал он, поднимаясь из-за стола; Дробот тоже встал.— Философия философией, а практика и польза — это практика и польза. Обещаю тебе союзное постановление под эту тему. Ну, и все прочее: должность, штаты, люди... Подумай. А не надумаешь — что ж. Незаменимых людей у нас при нынешнем развитии науки все-таки нет. Особенно если идея высказана, витает, так сказать, в воздухе. Известны кое-какие результаты и перспективы. Так что очень советую: подумай!

На том они расстались.

1968—1987

СОДЕРЖАНИЕ

ДОЛЖНОСТЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Роман 7
ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Повесть 385
ЧАС ТАЛАНТА. Повесть 515

Литературно-художественное издание

САВЧЕНКО
Владимир Иванович

Избранные произведения

Том 1

ДОЛЖНОСТЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ

Фантастический роман

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ЧАС ТАЛАНТА

Фантастические повести

Редактор Л. М. ГРИБКОВА
Художественный редактор А. В. ГРИШИН
Технический редактор Г. В. СТАЧЕВА
Корректор И. С. ПИГУЛЕВСКАЯ

Сдано в набор 30.04.93. Подписано в печать 17.09.93. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага газетная и книжно-журнальная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл.-печ. л. 33,48. Уч.-изд. л. 38,45. Усл. кр.-отт. 34,8. Тираж 100 000 экз. Заказ № 4105. С 019.

Издательство «Флокс» 603000. Н. Новгород, ул. Костина, 20.

ГИПП «Нижполиграф», 603006, Н. Новгород, ул. Варварская, 32.